

САВВА МАМОНТОВ



В.А. Бахре́вский



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Книга известного писателя и публициста В. А. Бахревского представляет биографию одного из ярких деятелей отечественной истории. Савва Мамонтов — потомственный купец, предприниматель, меценат, деятель культуры. Строитель железных дорог в России, он стал создателем знаменитого абрамцевского кружка-товарищества, сыгравшего огромную роль в судьбе художников — Репина. Поленова. Серова, Врубеля, братьев Васнецовых, Коровина, Нестерова.

Мамонтов создал Частную оперу, которая открыла талант Шаляпина, дала широкую дорогу русской опере — произведениям Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского, Даргомыжского, Верстовского, заложила основы русской вокальной школы и национального оперного театра.

-
- [В. А. Бахревский](#)
 -
 - [Утро туманное](#)
 - [«Мой дневник»](#)
 - [Садко — богатый гость](#)
 - [САВВА](#)
 - [Жизнь богатых людей](#)
 - [«Летопись сельца Абрамцева»](#)
 - [Преображение Абрамцева](#)
 - [Храм](#)
 - [Театр Кроткова](#)
 - [Круг Абрамцева](#)
 - [Подвиг Мамонтова](#)
 - [Сотворение Шаляпина](#)
 - [За что уничтожили Мамонтова](#)
 - [Дожинки](#)
 - [Последнее](#)
 - [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
 - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С. И. МАМОНТОВА](#)
 - [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)

- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)



В. А. Бахревский
Савва Мамонтов



Савва Иванович Мамонтов. С рисунка В. А. Серова. 1879 г.

Прадеда Саввы Ивановича Мамонтова звали Иван, год его рождения 1730-й. И это все, что известно о родоначальнике знаменитой в России купеческой фамилии. Сын Ивана Мамонтова Федор был откупщиком. После французского нашествия 1812 года Федор Иванович помог звенигородцам отстроить сгоревший город и удостоился от сограждан памятника.

Иван да Николай Федоровичи тоже промышляли винными откупами. Николай поселился в Москве в середине 40-х годов. Купил большой дом с садом на Разгуляе, открыл фабрику сургуча, лаков, красок. Сыновей у него к тому времени было шестеро. Старшие имели свое дело — пивной завод на Пресне.

Иван Федорович в Москву не спешил, искал птицу счастья в провинции. Торговал вином в Мосальске, в Шадринске, где записался в купеческую гильдию, в Ялуторовске, Чистополе, Орле, Пскове. Наконец прибрал к рукам винную торговлю в Московской губернии и переехал в Москву. Это было в самом конце 1840-х годов.

Откупное дело хитрое. Частное лицо откупает у государства право на сбор доходов. Например, соляную пошлину, таможенную. Сборы с кабаков, с продажи вина. Откупа процветали еще в Афинах, в Древнем Риме. Римские публиканы брали на откуп большую часть налогов.

В России «медовая дань» известна с X века. Иоанн III первым из государей ввел казенную монополию на вино, а внук его Иоанн Васильевич Грозный вообще запретил частное винокурение. Со времен Грозного откупничеством занимались духовенство и бояре. Но официально откупа введены при Петре Великом в 1712 году.

В 1750 году ведро вина стоило 1 рубль 88 ½ копейки. В разлив шло дороже на десять процентов. В 1794 году стоимость ведра уже 4 рубля. Впрочем, не столько вино подорожало, сколько подешевели деньги. В 1819 году за ведро приходилось платить уже 7 рублей, а вино становилось все хуже да хуже. По закону 1781 года откупщик имел право продавать вино по той же цене, что сам брал у казны. Доход выколачивался за счет снижения качества.

Однако ж винные реки не мелели, но становились глубже, унося в свои омуты мужицкие головушки. И кто-то на том богател. Иван Федорович Мамонтов был среди преуспевающих откупщиков. Впрочем, он вкладывал деньги в дела самые разные. Основал в Москве Закаспийское торговое товарищество вместе с Кокоревым, построил несколько гостиниц, а в 1860–1862 годах одну из первых железнодорожных линий в России: Москва — Троице-Сергиев Посад.

Иван Федорович поселился в Москве в золотую пору. Попал на пиршество капитала. Меньше чем за пятьдесят лет, с 1852 по 1897 год, население древней русской столицы утроилось и превысило миллион. Торгово-промышленный оборот Европейской части России составлял в те поры десять миллиардов рублей, а на долю Москвы приходился миллиард, и еще миллиард на губернию.

Все даровитое купечество Российской империи тянулось к Москве. Приведем только самые известные купеческие фамилии: Морозовы, Рябушинские, Гучковы, Бахрушины, Найденовы, Третьяковы, Щукины, Прохоровы, Алексеевы, Солдатенковы, Шелапутины, Куманины, Зимины, Якунчиковы, Хлудовы, Мамонтовы, Сапожниковы, Боткины, Мазурины, Абрикосовы, Вишняковы, Рукавишниковы, Коноваловы, Красильщиковы, Ушковы, Шведовы, Второвы, Тарасовы, Цветковы, Елисеевы, Кокоревы, Ермаковы, Губонины...

Многие из этих фамилий явно или тайно придерживались старого церковного обряда, дониконовского.

Высшая знать Российской империи, ловцы чинов стремились в Петербург. Быть на виду, на слуху — царя, двора, света. Сокровеннейшее слово прошлого столетия, слово-ключ к исполнению великих помыслов и самых ненасытных желаний — связи.

Дарования тоже стремились в Петербург. Есть кому оценить. Здесь она, слава. Будешь известным в столице — вся страна узнает.

У тихони Москвы был иной талант — растила русских людей и была сундуком России.

Внешнее соперничество древней и новой столиц казалось современникам мелочным, но в основе его таилось глубинное противостояние.

Церковные реформы патриарха Никона, царя Алексея Михайловича принесли неисчислимы бедствия совестливой, несокрушимой в вере России. XVII век для нашего народа — время испытания живота и духа. Живота — Смуты, духа — переменами в обряде, в Символе веры.

Из всякого худа, как из кипящего молока, наш народ выходит молодец-

молодцом, краше прежнего, мудрее, могучее.

В России все ведь не так, как в умненькой Европе. В России делового человека породил не капитализм — столп материализма, а старообрядчество — несокрушенный дух.

Царь Петр, обривший бороду, куривший табак, колокола с церковей снимавший, патриарха упразднивший, — для людей старой веры — антихрист.

Великий у потомков Петр, подавляя национальное самосознание, заполнил империю иноземцами, создал чиновничество.

Для старообрядцев пойти на государственную службу, где церковь всего лишь одно из министерств, было равносильно отступничеству от истинной православной веры. Но куда девать охоту быть полезным человеком? И поколение за поколением старообрядцы копили деньги, осваивали промыслы, заводили корабли, заводы, торговали, а потом уж и ворочали капиталами.

В Петербург старообрядца не заманишь, духом чужд, то ли дело Москва-матушка. Здесь работал капитал, собранный в заволжских скитах, в Гуслице, где подделывали древние книги и новые деньги, где нищенством сколачивали состояния.

Деловые люди, перебираясь в Москву, переходили в старую веру. Старообрядцу доверия больше, своим надо быть. Московская купеческая табель о рангах проста. Читаем у В. П. Рябушинского: «В московской неписаной купеческой иерархии на вершине уважения стоял промышленник-фабрикант; потом шел купец-торговец, а внизу стоял человек, который давал деньги в рост, учитывая векселя, заставлял работать капитал. Его не очень уважали... как бы приличен он сам ни был. Процентщик».

Кстати говоря, старообрядчество имело разные толки, но делам это не мешало.

У родоначальника семейства Морозовых, у Саввы Васильевича, от пяти сыновей пошло четыре ветви могучих промышленников. Но Абрам, получивший фабрики в Твери, и потомство его были единоверцами.

Захар и все богородское гнездо и орехово-зуевские Тимофеевичи — старoverы белокриницкие. Другая ветвь орехово-зуевских Морозовых, Викуловичи, — беспоповцы.

Морозовы, как и Мамонтовы, перебрались в Москву в 40-х годах прошлого столетия. Николаевская Россия «ситцевая», возможно, поэтому Морозовы преуспели больше других. На Всероссийских выставках 1865, 1872, 1882, 1896 годов продукция их фабрик получала Государственные

гербы — знак высшего качества. На Всемирных выставках в Чикаго (1895), в Париже (1900) — товары Морозовых удостоились Гран-при.

Лондонская «Таймс» не без тревоги писала: «Согласно мнению экспертов, некоторые русские мануфактуры — лучшие в мире, не только с точки зрения устройства и оборудования, но также в смысле организации и управления».

Так что русские лапти не от безысходной бедности, обувка удобная.

2

В семье Ивана Федоровича Мамонтова и его супруги Марии Тихоновны, урожденной Лахтиной, было шестеро детей. Дочь Александра училась в Казанском институте, Федор и Анатолий — в гимназии, Савва занимается дома. Его комната — во флигеле, рядом с комнатой гувернера Федора Борисовича Шпехта. Младшие, Николенька и любимица семьи Маша с няньками, помещались на женской половине дома — возле бабушки Александры Ивановны Лахтиной.

Детство Саввы — обычное для его сословия и для той поры. Слуги кланялись маленьким хозяевам, а гувернер, подчеркнуто вежливый, за малейшую провинность сек розгами.

— Что... это? — вопрошал Федор Борисович Шпехт, указывая на штаны, брошенные на стул. — Ваша одежда... валяется.

— А это что? — И палец, длинный, как у бабы-яги, указывал на пятно на рубашке.

То ли с кисточки упало, то ли за ужином присадил.

Лицо у Шпехта становилось бесстрастным, подходил к стене, возле которой пучками — розги.

Приходилось ложиться на лавку лицом вниз.

«Вытерпи!» — приказывал себе Савва, но боль такая резкая, такая всякий раз неожиданная.

Крик вырывался пронзительный, и в нем была не одна боль, но и обида. На беспощадного Шпехта, на матушку — не идет защитить его.

— Я не тебя казню, я казню непорядок, — говорит Шпехт, отсчитав десять ударов.

За завтраком матушка Мария Тихоновна умоляла Ивана Федоровича:

— Надо прекратить наказания. Саввушке десятый годок всего. Это не детство, это солдатчина.

— Ну что ты, голубушка! Не будет бит — ума не наберется. Аристарх

Иванович мне, бывало, говаривал: русский человек задним умом крепок. Чтоб ум в голову перешел — без воя лозы не обойтись.

Много лет спустя Савва Иванович добродушно поощрит педагогическую методу гувернера.

«Отец не видел ничего дурного в воспитательных принципах Шпехта и, конечно, был прав, — напишет он в „Моем детстве“. — Розги исправно действовали. Я же вскоре сделался чистеньким и аккуратным мальчиком».

Комната Шпехта — царство птиц и книг. Птицы в клетках на окнах, книги вдоль стен в шкафах. Птицы певчие, книги немецкие и французские.

— Я отправляюсь на Трубную площадь. Ловец Евдоким обещал принести яркрасного снегиря. — Шпехт улыбается воспитанникам. — Да, господа, нынче воскресенье.

Поднимает со стола газету, и перед детьми — три книги, три фолианта! С цветными картинками!

Старший из братьев Федор получает книгу по геологии, с изображениями отпечатков доисторических растений, с рисунками окаменелых раковин, костей вымерших гигантов.

Анатолию — красота несказанная: насекомые и бабочки. Савве — альбом картин и рисунков. Младший брат Николай пока что на попечении нянек. Его и Машу взяла гулять Александра, у нее каникулы.

Без одиночества наслаждение книгой неполно. Савва, накинув пальто, перебегает из флигеля в дом и затаивается в большой зале.

Книга начинается акварелью Брюллова «Внутренний вид храма Аполлона Эпикурейского». Это всего лишь развалины храма. Колонны, тесаные камни, синева гор, синева неба, зеленое дерево, теплое серебро облака... Савва смотрит, смотрит, и картина открывается ему. Брюллов написал невидимое! Ему не храм был важен, а горячий воздух юга. Этот воздух в розовых жарких бликах на глыбах мрамора, в ослепших от солнца тенях.

На другой странице снова Древняя Греция.

Савва рассматривает обнаженную женскую фигуру. Правильная, во всем совершенная античность. На женщину легко смотреть, не стыдно. От ее оголенности не обдает жаром. Она полулежит, ноги вытянуты, соски обозначены каплями света, но свет не оживляет истукана.

— «Большой канал у церкви Сан-Джеремиа», — читает Савва надпись под следующим изображением. — Ф. Гварди.

Гондолы. Узкая четырехугольная башня, дома, уходящие в воду, вода, прорезающая картину в глубину, под веселый, углом поставленный, пешеходный мост. Венеция. Италия.

— Я буду в Италии, — говорит себе Савва. — Я буду в Италии.

И быстро прикасается пальцем к мосту над каналом.

Он точно знает: его услышали. Его слова приняли. Он будет в Италии, в Венеции, на мосту через Большой канал, у церкви Сан-Джеремя.

В залу входят слуги:

— Молодой господин, дозволю заняться уборкой. Нынче будет бал.

Савва забирает книгу и, набычив голову, чтоб только не видеть ничьих лиц, убегает в свой флигель. В темном коридоре он горько, беззвучно рыдает. Бог знает отчего.

В доме множество огней, но это еще не полный свет. Полным светом засияют залы и комнаты, когда приедет генерал-губернатор Арсений Андреевич Закревский. Закревского очень ждет друг отца Василий Александрович Кокорев. Он ради этой встречи нарочно приехал из Петербурга. Кокорев — «откупной царь» столицы.

У купца и жилье должно деньги приваживать. К малому дому — малые деньги льнут, к большому — большие. Иван Федорович купил роскошные апартаменты Чудакова на Первой Мещанской. Величественный подъезд, огромный двор. На первом этаже целый ряд приемных и гостиных, два кабинета, в каждом хоть танцуй, длинная красивая зала. Из залы двери на каменную террасу в сад... Дом некогда принадлежал графу Толстому, и его называли толстовским.

Василий Александрович Кокорев привез подарки. Маленькому Николеньке — гусарский мундир, Анатолию — шахматы, большая доска, с большими, из красного и черного дерева, фигурами. Федору — черный шелковый плащ, черные перчатки, черная шляпа. Савве досталась музыкальная шкатулка с китайцами и китайками.

Братья благодарили Василия Александровича и переговаривались между собой... на немецком языке.

— Да что они у тебя, немцы? — изумился Кокорев.

— О нет! — Иван Федорович был очень доволен. — Они хитрые русаки. Могут по-французски лопотать, но по-французски многие умеют, а по-немецки только кое-кто.

Худощавое лицо Ивана Федоровича светилось: ему нравились его дети. Ему все нравилось. Жизнь не баловала в юности, испытывала в молодости, но теперь шла в гору, и все скорее. Иван Федорович чувствовал — натяни он вожжи, и успехи пойдут еще стремительней. Однако в делах он соблюдал воспитанную дядей Аристархом умеренность, а вот с утехами света торопился, как на пожар. То званый обед для купечества, то ужин с

генерал-губернатором, то бал.

Савва с Толей катались на санках в саду. Здесь были устроены горы. Выбирай — ледяную, когда полозья санок грохочут, будто колеса поезда, или девичью — пологую, длинную. Едешь, едешь, санки никак не останавливаются, но и не торопятся. Есть горы с двумя трамплинами. Есть гора-змея: не сумеешь повернуть — улетишь в сугроб.

Еще светло, но в доме зажигают малые люстры...

— Сегодня будет вся Москва, — говорит Савва Толе. — Съедутся самые важные гости.

Дом вдруг вспухает ослепительным сиянием, словно в залу вкатилось солнце.

— Губернатор приехал. Большую люстру зажгли!

— Сегодня Сашин бал, — говорит Толя. — Она, как лебедь, в платье. Я видел, она вчера примеряла.

Над залом, в противоположной стороне от большого балкона, где помещаются музыканты, есть совсем узкий балкончик. Шпехт тоже на балу, и дети свободны. Савва вооружился театральным биноклем. Он ищет госпожу Карнович. Ольга Васильевна — первая красавица Москвы. Шпехт о ней сказал: живой греческий мрамор.

— Ах, вот она!

Голова жирафья, глаза темные, огромные, под темными ресницами. Лобик совсем маленький, неумный, но над ним море золотых волос. Ольга Васильевна с Александрой, с сестрой. Саша очень хорошенькая, она и впрямь как лебедь. К ним подходит муж Ольги Васильевны, Валериан Гаврилович. Аполлон Бельведерский, только во фраке...

Савва отдает бинокль прокравшейся на балкон радостно запыхавшейся Маше. Сам идет на первый этаж, берет свою шубу, одевается, как положено, чтобы не вызвать гнева у Шпехта, уходит во флигель.

Если у взрослых своя жизнь, то у него — своя. Он сидит перед музыкальной шкатулкой, разглядывая китайцев и китайнок. Ему кажется, что музыка не вполне китайская, движения у танцоров тоже неправильные. Китай — иное, там иная гармония. Живых бы китайнок и китайцев, живую музыку — он показал бы им, как надо танцевать китайские танцы.

ветки вербы. Под иконами верба. Лица у всех благостные, но строгие. Завтра Чистый понедельник.

За обедом — уха, на второе — судак, и в ужин — судак. Завтра рыбы — ни-ни. Строжайший пост. Зато семья в сборе. Хорошо видеть сразу всех — батюшку, матушку, бабушку Лахтину, братьев, сестриц.

— Батюшка, расскажи о нашем дедушке, — храбро спрашивает Савва.

Отец вскидывает брови, рот у него сжимается, под глазами набрякают мешочки.

— Я остался сиротой девяти лет... Что я знаю... Соберемся когда-нибудь в Звенигород, там в ограде церковной могила Федора Ивановича... Матушка еще раньше преставилась. Нас осталось трое мальчиков и сестра Александра. Александра, кажется, замужем была, но умерла очень рано. Братьев моих, Михаила и Николая, взяла тетка Наталья Васильевна Дмитриева, а меня дядька — Аристарх Иванович. Тетка и дядька в Мосальске жили... У меня, Савва, детства не было.

— А какой был дедушка?

Иван Федорович пожимает плечами:

— Не... помню. Не помню его.

Провожая Савву во флигель, бабушка Александра Ивановна, мамина мама, шепчет внуку:

— Не спрашивай отца о дедушке.

— Почему?

— Не любит он этого вспоминать. Твой дедушка не своей смертью помер. Бритвой, говорят, зарезался.

В постели Савва пытается представить деда. Но перед глазами ужасная бритва и горло, залитое кровью.

«Но ведь это неправда! — осеняет его. — Тех, кто лишает себя жизни, в церковной ограде не хоронят!»

Чуть свет он у дверей бабушкиной комнаты.

— Это неправда! — говорит он.

— Правда, голубчик! Правда! — бабушка гладит его по голове. — Где хоронить — деньги указывают. У твоего дедушки деньги водились. Откупщик он был. Все Мамонтовы — откупщики.

Большую люстру зажгут теперь не скоро. Может быть, осенью, а может быть, и зимой, но в доме светлым светло. Летом 1852 года, закончив Казанский институт, возвратилась в семью Александра. Она выбрала комнаты рядом с комнатами Марии Тихоновны. Матушка ей за подругу, а секретов завелось много. В доме появился жених. Гвардейский офицер

Денис Гаврилович Карнович. Знаменитость петербургских салонов.

Времена для дворян наступили в России последние. Военские чины кормят скудно, имения, заложенные и перезаложенные, доходы не приносят, усадьбы обветшали, дворня обнаглела. Огромные крестьянские семьи на оскудевшей земле живут голодно. Одно у дворянства упование — на гербы. Купечество за гербовое родство раскошеливается.

Иван Федорович дал за Александрой сто тысяч деньгами, купил на ее имя в Смоленской губернии четырнадцать тысяч десятин лесного имения.

Александра — человек светлый и радостный. Она всех любила, и все любили ее, но промелькнуло лето, отликовали свадебные торжества, и она укатила в Петербург, хлопотать над своим семейным гнездом.

А для Саввы тоже началась новая жизнь. Его отдали во второй класс 2-й Московской гимназии, Анатолия в четвертый.

Шпехту осталось лишь смотреть за домашней подготовкой мальчиков да обучать грамоте младшего Николеньку. Распорядок, однако, сохранился прежний: день — немецкого языка, день — французского.

Осень — сумерки года. В жизни дома тоже бывают сумерки. Мария Тихоновна ходила на последнем месяце. Иван Федорович сжалился над супругой, любительницей уюта и покоя, — ни обедов, ни гостей.

Сумерки развеялись сами собой.

Небо заблестало, ветер подмел даже малые облачка. Вернулось тепло. Так почудилось матушке. Она вышла гулять в сад в одной блузке. А вечером вызвали Топорова, знаменитого врача, у Марии Тихоновны поднялась температура. Перед родами.

Уже не сумерки, мрак повис над домом. Говорили шепотом, ходили на носках, даже в другом здании. Вдруг — свет, улыбки, словно луч солнца пробился. Родилась Соня. Матушка хотела девочку, чтоб Соней назвать, Софией. Мудростью.

— Надо зажечь большую люстру, — сказал братьям Савва, но никто не обратил внимания на его слова.

— Надо зажечь большую люстру! — громко сказал Савва за обедом, при отце.

— Что ты кричишь? — Иван Федорович поднял брови, глаза у него были воспалены от бессонных ночей. — Матушке очень нехорошо.

В гимназию на следующий день ни Савву, ни Анатолия не пустили. Что-то должно было произойти неотвратимое. К мальчикам пришла бабушка Александра Ивановна. Сама причесала, поглядела, как одеты:

— Ступайте к матушке.

Матушка лежала на высоких подушках, лицо белое, а глаза голубые,

светящие любовью. Благословила всех по очереди.

— Меня простите, я вас прощаю.

Не улыбнулась, глазами устремлена на икону.

— Я буду любить вас.

Детей увели.

Через час Мария Тихоновна скончалась. Печальная осень 1852-го...

Сразу после похорон Иван Федорович продал свой дворец Алексею Ивановичу Хлудову. Продал вместе с мебелью. Ничего не пожелал перевезти в новое жилье. Ничего, кроме портретов.

В «Моем детстве» Савва Иванович вспоминает:

«Мы переехали на Новую Басманную в дом Шульца, очень солидный и просторный». Мальчики заняли три комнаты с выходом в сад.

4

Бабушка Александра Ивановна всегда в черном. Только на шее у нее белый платок. Лицо доброе, морщины и те добрые. Она плачет украдкой, но Маша словно сторожит ее слезы.

— Бабушка! — строго говорит внучка.

— Я — ничего. — Глаза у бабушки невинные.

— Бабушка, почему ты плачешь? — спросил украдкой Савва.

— У Мамонтовых — глаза сухие, а у Лахтиных — на мокром месте.

— Мама никогда не плакала.

— Ей было не положено, раз приняла фамилию Мамонтовых.

— Не лукавь, бабушка. Кто тебя обижает?

Александра Ивановна обняла Савву:

— Ты — добрый мальчик. Кто посмеет обидеть вашу бабушку, когда у нее такие защитники — Маша, Савва... Мне горько, милый. Я, старая, жива и здорова, а дочери моей, мамы вашей, уж нет на белом свете.

У бабушки на руках, кроме десятилетней Маши, — Ольга и Соня. Ольга старшая, а Соня еще в пеленках, у нее зубки режутся.

Свободные вечера Иван Федорович теперь проводил с детьми. Маша читала ему свои детские книжки, и он слушал. Маша, как маленькая мама. Она посмотрит, и будто мамины глаза в ее глазах. Савва убежал в пустую комнату и плакал.

И снова дом в сумерках, новый дом. Снова врачи, жуткая тишина. Умирает Маша. Врачи не спасли девочку.

Бабушка с Олей и Соней переехала во флигель.

У отца крупные дела, гости. Он стал похожим на сухарь. Кожа так обтянула кости лица, что ему улыбаться больно.

А горькая чаша, нет, не опустела.

Снова тревога, но такая короткая, что уж на завтра — тишина и пустота. Умерла маленькая Соня.

То ли Кокорев присоветовал, то ли Александра упросила разделить заботу о семействе, но Савву в экзаменационную сессию за третий класс забрали из гимназии и отвезли в Петербург. Вместе с Саввой отправились двоюродные братья Виктор и Валериан, сыновья Николая Федоровича. Савву и Валериана было решено определить в Горный корпус.

Дело оказалось непростым, экзамены предстояли самые суровые. Братьям пришлось поселиться не у Александры, у которой дом был по убранству не хуже Зимнего дворца, а на Васильевском острове, в квартире преподавателя Горного корпуса господина Кизеветера. Лета не видели, но осенью экзамены выдержали достойно. Братьев определили во второй класс.

Горный институт был открыт 28 июня 1774 года. Сначала принимались в него выпускники Московского университета, но в 1776 году устав пересмотрели. Слушателями института стали молодые люди без образования, а для их образования ввели гимназический курс. В 1804 году институт еще раз поменял и устав и само имя. Горный кадетский корпус открыл двери для подростков, а в 1834 году император Николай I даровал корпусу военную организацию и перевел в разряд высших учебных заведений. В 1848 году устав в очередной раз поменялся. Савва Мамонтов поступил в Институт Корпуса горных инженеров, в закрытое военное учебное заведение.

О времени, проведенном в Горном корпусе, Савва Иванович вспоминал без сожаления, но и без радости: «Странно и чуждо было мне попасть в строгий режим военной жизни: маршировки, ружейные приемы, и вообще строгое обращение офицеров с детьми. Учился я хорошо. С товарищами я был очень дружен. Ученики старших классов ефрейтора и унтер-офицеры забавлялись мною».

Были и счастливые дни. В отпуск братья отправлялись в дом старшей сестры Саввы, к Александре Ивановне Карнович.

В платье из розового муара, струящего свет и тени, Александра

Ивановна казалась братьям волшебницей. Зимой катались на санках, любясь инеем на деревьях, морозным золотом купола Исаакиевского собора. Обедали на серебре, на саксонском фарфоре, рассматривали оружие, коллекцию Дениса Гавриловича — кавказские кинжалы, но более всего, с трепетом, обломок древнегреческого меча-махайра, оружия конников, с одним лезвием, с загнутой рукоятью, в виде орлиной головы.

— Когда-то этот меч звенел в бою, — сказал однажды своим юным гостям Карнович.

И они, польщенные, что удостоились беседы, сумели поддержать разговор. Валериан сказал:

— Вам, Денис Гаврилович, надо раздобыть акинак.

— Меч скифов? — оживился Карнович. — Да вы знатоки оружия.

— Не очень большие, — признался Савва. — Но акинак был и у греков на вооружении, его носила легкая пехота.

— А помните ли, господа кадеты, боевой клич греков?

— Помним, — сказал Савва, — алала!

— Быть вам добрыми инженерами, но прежде всего воинами!

Если воин — подросток, сколько бы ни было на нем оружия, он подвластен законам детства. За стены Горного корпуса проникла... скарлатина. Валериан заболел, попал в госпиталь и умер.

В Петербург примчался Иван Федорович, забрал Савву, увез в Москву.

— Бог с ними, с погонами военного инженера! — говорил он Кокореву. — Дома учиться надежнее.

И Савва снова встретился со своими гимназическими товарищами. Его приняли в четвертый класс. Шел 1853 год.

Василий Александрович уговорил Ивана Федоровича купить дом на Садовой, у Воронцова Поля, неподалеку от церкви Ильи Пророка. Дом не поражал ни пышностью, ни размерами, его достоинство заключалось в уюте. Мальчикам отдали флигель. Каждый занял свою комнату. Переехал и Шпехт со своей огромной библиотекой, со своим птичником. Но скоро был уволен Иваном Федоровичем.

В доме появились репетиторы, а у Ольги выписанная из Петербурга гувернантка мадам Корвон, родом из Швейцарии.

Устои жизни кажутся неодолимыми каменными истуканами. На самом же деле жизнь текуча, как реки. Даже Волга когда-нибудь да утечет без

остатка.

Порядок жизни, ее стиль зависим от характера и наклонностей правящего в стране лица.

Крепостное право создавали в России веками, но при Иоанне Грозном упряжка совсем не та, что при Алексее Михайловиче, ярмо Петра Великого несравнимо с ярмом Александра I. При Петре апогей государственной воли, при Екатерине расцвет личного самоуправления, при Николае — крах.

Однако ж государственная мощь России достигла вершины при крепостничестве. Россия владела двумя океанами, Ледовитым и Тихим, получила выходы в Атлантический океан, разлеглась на трех материках. Сила крепостнической империи, выраженная в слове и в действии монарха, превосходила многоволие обуржуазненных западных держав. Прочность строя испытал Наполеон, его удар силами всей Европы Россия перенесла, заплатив за победу пепелищем Москвы.

Но наступали новые времена. Не владыка правил миром, не меч, а деньги и расторопный ум.

Люди живут, не замечая, что облик их жилища, их города, их одежды — уже призрак, вот только потянет сквозняком, и сомлевшая куколка рассыплется, и вылетит из нее, сверкая красками, бабочка новой жизни.

Как гром среди ясного неба грянул Синопский бой. Вице-адмирал Нахимов истребил на Синопском рейде турецкую эскадру Осман-паши. Гибели избежал только один пароход, прорвался и ушел в Константинополь.

Ответный удар последовал через пять месяцев.

8 апреля 1853 года двадцать восемь французских и английских кораблей подошли к Одессе и обрушили огневой удар на шестую батарею городской обороны. Батарея имела только четыре орудия, но ее командир, прапорщик Щеголев, принял бой и повредил один из фрегатов. Высадка англичан была пресечена картечными залпами. Ни в чем не преуспев, нападавшие сожгли девять торговых судов, повредили несколько зданий в городе и отбыли. Одесский гарнизон потерял ранеными и убитыми пятьдесят солдат, а сколько потеряли покорители океанов и материков, осталось неизвестным, но четыре их фрегата были повреждены и отведены в Варну на ремонт; английский пароход «Тигр» сел в шести верстах от Одессы на мель, спустил флаг, и двести двадцать пять солдат и матросов были взяты в плен, пароход уничтожен.

Война не прибавила Савве охоты к учебе. Математику вытягивал на четверку, а вот по истории имел «два» да «три». Зато отлично знал, что совершалось на театре военных действий.

Армада из тридцати четырех линейных кораблей, пятидесяти пяти фрегатов и пароходов, трехсот транспортных судов двинулась в конце августа 1854 года к берегам Крыма. Корабли везли шестьдесят две тысячи французских и английских солдат, сто тридцать четыре полевых орудия, семьдесят четыре осадных пушки.

1 сентября небольшой отряд занял Евпаторию, а 2 сентября десант выгрузился в окрестностях Кичикбельского озера. Нависла угроза над Севастополем, он мог стать легкой добычей союзников.

Русские войска сосредоточились на Альминской позиции. Сюда удалось стянуть тридцать три с половиной тысячи солдат и девяносто шесть орудий.

В Альминском сражении 8 сентября французы и англичане потеряли три тысячи триста человек, русские — пять тысяч семьсот.

11 сентября французский генерал Сент-Арно, обойдя Севастополь, атаковал южную часть города. Французы действовали осторожно. Они не знали, что со стороны степи Севастополь недавно был вообще не защищен. Положение исправлял присланный из Дунайской армии инженер-подполковник Тотлебен. Князь Меншиков, опасаясь быть запертым в городе, отошел к Бахчисараю, Севастополь защищали только восемь — десять тысяч матросов из флотских экипажей под командой адмиралов Нахимова и Корнилова.

Боязнь контрудара и недомогание генерала Сент-Арно помешали союзникам одержать победу сходу. Болезнь Сент-Арно оказалась тяжелой, он отбыл в Константинополь и по дороге умер. Командование принял генерал Канробер.

24 сентября французы заняли Федюхины высоты, западную часть Херсонесского полуострова и устроили базу в Камышовой бухте. Двадцатитысячный корпус англичан захватил Балаклаву.

Началась знаменитая Севастопольская оборона.

У детей сердца героев. Их жажду справедливости удешевляет любовь к слабейшему, но не сдающемуся.

Впервые со времен нашествия Наполеона русская военная мощь оказалась в роли испытываемой. И ее никак нельзя было уподобить Давиду. Скорее это был Голиаф.

В том горьком для русского народа 1854 году юный Ницше в

крошечном военном городке Наумбурге пламенел любовью к славянам и ненавистью к узурпаторам-французам. Он следил за боями под Севастополем, изучал систему его бастионов, чертил схемы сражений. И плакал, когда Севастополь, выдержав одиннадцать месяцев осады, все-таки пал.

Что же говорить о Савве Мамонтове, о его братьях и товарищах по гимназии.

Каждый уважающий себя русский мальчик из благородного сословия знал: генерал Форе заложил первую параллель длиной в четыреста сажен к западу от Саранданакиной балки к пятому бастиону, англичане прокопали семисотсаженную траншею от подножия Сапун-горы к третьему бастиону, Сапун-гора занята корпусом генерала Боске, справа от позиций Боске — батальоны турецкой армии. У союзников больше орудий, их ружья скорострельные, дальнобойные, но русские стоят.

5 октября Севастополь подвергся бомбардированию. Само слово как три бомбы: бом! — бар! — дир! — и звенящее эхо в ушах — ование.

На Малаховом кургане пал адмирал Корнилов.

Героическая для народа война оказалась позорной для государства, для царя Николая.

Ружья у солдат кремневые, допотопные, воинского навыка нет — шагистика принимали за военную выучку. Железных дорог для быстрого подвоза продовольствия и солдат нет, оснащенных судов тоже. Докторов нет. Лекарств и бинтов не хватает. Снабжение армии в руках жуликов. Крах царствования, крах крепостничества.

Контр-адмиралу Истомину ядром оторвало голову, тяжелое ранение получил Тотлебен, раненный пулей адмирал Нахимов прожил два дня.

Адмиралы гибли свои, русские, а патриотизма прибывало. Сгоревшая пола Корниловской шинели наполнила сердце подростков жаждой сойтись с врагом, превосходящим числом и оружием, в рукопашной.

Русские за Родину стоят насмерть.

Царь сменил командующего. Вместо князя Меншикова назначен генерал-адъютант князь Горчаков. Французский император Наполеон III тоже недоволен своими генералами. Отстранен от командования Канробер, назначен Пелисье.

И вдруг — как гром среди зимы. 18 февраля 1855 года умер император России самодержец Николай I. Царь-богатырь. На пятьдесят восьмом году жизни. Тотчас пошли слухи — отравлен, сам отравился, не перенес позора, ведь вся Россия, слова поперек государю не произнося, смотрела на него с укором.

«На себя хотел принять все трудное, все тяжкое, — сказал перед смертью Николай сыну Александру. — Желал оставить тебе царство мирное, устроенное... Провидение судило иначе!»

Перед обедом Иван Федорович прочитал детям Высочайший манифест о восшествии на престол Александра II.

— «Священный обет иметь постоянною, единою целию трудов и попечений своих — утверждение и возвышение благоденствия России», — повторил Иван Федорович и сощурил глаза. — Витиевато и громко сказано, а как сказано, так и жить будем.

Александру Николаевичу тридцать семь лет, однако, к большим государственным делам до сих пор допущен не был. Теперь сразу вся громада ложится на его плечи. Война первая. А ведь он не военный. Николай, принимая царство, хоть командиром дивизии был...

Новый царь объявил новый рекрутский набор, но крестьянин с винтовкой в руках всего лишь мишень. Солдатская наука тоже времени требует.

Война все ожесточалась. К союзникам примкнуло крошечное королевство Сардиния, в Крым прибыло пятнадцать тысяч итальянских солдат. В Евпатории высадился корпус Омер-паши — двадцать одна тысяча. Новые дивизии получили французы. Уже сто семьдесят тысяч отборных солдат штурмовали земляные бастионы Севастополя. Наполеон III прислал инженера генерала Ниеля. Генерал повел дело к решительному штурму, сосредоточил удары всех армий на Малахов курган. Это был ключ к Севастополю.

28 марта 1855 года бастионы и город подверглись десятидневному обстрелу.

В конце мая союзники овладели Селентинским и Волынским редутами, Камчатским люнетом.

У Саввы сердце замирало, когда он произносил эти странные, ставшие обязательными в разговорах слова: бастион, реду́т, люне́т, Малахов курган.

К Малахову кургану французы продвинули траншеи так близко, что противников теперь разделяло только двести сажень.

27 июля государь император повелел князю Горчакову «предпринять что-либо решительное, дабы положить конец сей ужасной бойне». Сражение на Черной речке принесло не победу, а новые ненужные жертвы.

5 августа восемьсот орудий союзников обрушили на Малахов курган непрерывный огонь. Обстрел продолжался еще три недели, и 27 августа после получасового штурма Малахов курган пал. Все остальные бастионы устояли, но ключ от города оказался у французов.

За эту победу Наполеон III дал генералу Пелисье титул герцога Малаховского.

Дорожа жизнью солдат, князь Горчаков ночью перевел войска на Северную сторону города, за бухту.

С 27 сентября 1854 года по 27 августа 1855 года союзники потеряли убитыми семьдесят тысяч человек и столько же умершими от холеры и других болезней. Защитники Севастополя похоронили восемьдесят четыре тысячи сраженных товарищей, но война не кончилась. У союзников в Севастополе было теперь сто пятьдесят тысяч одних только пехотинцев, наша армия насчитывала сто пятнадцать тысяч штыков.

Умы юношества будоражили имена новых, непривычных героев. Говорили о хирурге Пирогове, о сестрах милосердия. Называли мать Серафиму, Якунину, Стахович, Домбровскую, родных сестер Гординских. Все знали Дашу Севастопольскую, матроса Кошку.

Наконец-то и русское оружие отпраздновало победу.

16 ноября 1855 года генерал-адъютант Муравьев взял крепость Карс, турецкая анатолийская армия перестала существовать. Можно было садиться за стол переговоров.

На всех театрах войны русские потеряли полмиллиона солдат. Война стоила народам России пятьсот миллионов рублей, союзникам на сто миллионов больше.

19 марта 1856 года царь издал манифест.

«При помощи небесного Промысла, всегда благодеющего России, да утверждается и совершенствуется ее внутреннее благоустройство, правда и милость да царствует в судах ея; да развивается повсюду с новою силою стремление к просвещению и всякой полезной деятельности, и каждый, под сению законов, для всех равно справедливых, всем равно покровительствующих, да наслаждается в мире плодом трудов невинных».

Иван Федорович, читая статьи мирного договора, вздыхал. Статьи были унижительные. Россия, получив Севастополь, возвращала Карс, часть Бессарабии, не имела права держать на Черном море флот по своему

усмотрению, число кораблей должно быть равным с Турцией и другими Черноморскими странами.

— Сами заслужили, — сказал Иван Федорович детям. — А ведь все Бонапарт, тень его проклятая.

— Ты о чем это, батюшка? — не понял Савва.

— С чего все началось? Французский посол в 1851 году предложил отпраздновать во всех церквях день рождения Наполеона, а родился супостат 15 августа, в Успение Богородицы. Французы вспомнили о Наполеоне, потому что власть у них захватил его племянник, Наполеон III. Ну а Николай Павлович на той реляции начертал собственноручную резолюцию: «Публичную церковную службу по Наполеоне допустить не следует, ибо он императором перестал быть еще при жизни, сидел на острове Святой Елены, на море глядел. Потому нет никакого приличия праздновать рождение Наполеона у нас в России, откуда императора выпроводили с подобающей честью — пинком в зад». Не совсем так было написано, без пинков, разумеется, но смысл тот самый. Вот змея-Наполеон и затаил злобу. Для нас, русских, наши друзья всегда яд про запас держат. Та же Австрия. Николай Павлович спас ее от развала, побил венгерских сепаратистов, а как у нас война началась, австрияки штыки нашим войскам в спину уперли. — Иван Федорович поглядел на сыновей, на каждого по очереди, в глаза. — Вы, ребята, это помните! Нам не воевать — торговать, но торговое дело тоже отчаянное. Друзья могут так поучить, без штанов останешься.

В гимназии дела у Саввы шли хуже, чем у царя на войне. Вот его оценки за февраль месяц. Закон Божий — 3, русский язык — 3, математика — 4, естественная история — 2, география — 2, французский язык — 2, немецкий язык — 5, история — 2, латинский язык — 3. Одно могло утешить: из двадцати трех учеников класса он занимал семнадцатое место, шестеро имели баллы еще более низкие.

На испытаниях за четвертый класс на «5» Савва сдал немецкий язык да Закон Божий, по русскому языку и по географии получил «двойки» и запись в табель: «Обязан возвратиться в гимназию 11 августа для дополнительных экзаменов».

Но то была проза жизни, были и праздники.

В Москву приехали защитники Севастополя. Народ встречал героев на заставе. От имени города солдатам и матросам поклон отдавали, к великой гордости Саввы, его отец и Василий Александрович Кокорев. Трех матросов отец взял в свою коляску и привез домой. За столом сидели

семьей — званый ужин назначен на завтра.

Все три матроса были Иванычи. Евлампий Иваныч, Максим Иваныч, Ануфрий Иваныч. Савва, забывая приличия, глаз не мог отвести от Евлампия.

— Думаешь, сынок, коль я с Малахова кургана, так из другого теста? — улыбнулся ему матрос. — Такой же, Господи! А жив остался — то веление Божие. Кланылся, видно, ядрам ниже убиенных моих товарищей.

— По вам же три недели палили!..

— Какое три... Все одиннадцать месяцев. Палят — в земле лежим, идут — встаем, штык в руки и грудь в грудь.

— И вы тоже, — Савва смутился, — французов...

— Война, сынок. Коли не ты его, так он тебя... Французы мужики достойные, от нашего «ура» наземь не валились. Не похвалясь скажу — в штыки мы крепче ихнего брата.

У Саввы от встречи с моряками сердце надрывалось от неведомой ранее, от невыразимой словами любви.

У того же Евлампия лицо было ласковое, и рука ласковая, большая, жесткая, но злой воли в ней не было, не было в ней охоты убивать, а убила многих. Царь Николай месяц службы в Севастополе засчитывал за год, ибо это не война была, но воистину бойня.

Савва никак не мог взять в ум главного: Евлампий на французов, которые день и ночь стреляли по нему, шли на него приступом, чтоб убить, в землю втоптать, — обиды не имел. Раненого офицера ихнего спас, принес в госпиталь.

— Порядку-то у них больше, и смелости им тоже не занимать, — уважительно говорил Евлампий о французах.

— Ну а турки? Турки бегали от нас? — с надеждою спросил Савва.

— Случалось! — ответил Ануфрий Иванович.

— А я вот от него бегал! — засмеялся Максим Иванович. — Еще как улепетывал!

— От турок?

— От него, от турка! Турок, когда в сердцах, каменную стену лбом расшибет.

— Так мы, русские, не лучше их, что ли? — вырвалось у Саввы сокровенное.

— Отчего же лучше! — удивился в свою очередь Евлампий. — Мы жить хотим, и они жить хотят. Человек — по нужде трус, по нужде герой. Все мы из кожи, из кости, из мяса.

— Вы не такие! — заупрямился Савва. — Вы — герои.

— Наше геройство — живы остались. Были получше нас, да в земле теперь лежат. Ты потрогай меня, сынок. Я, ей-богу, такой же!

Савва дотронулся до Георгиевского креста, а прощаясь с Евлампием, поцеловал его в руку и убежал.

10

В конце лета 1856 года древняя Москва отпраздновала коронавание императора Александра Николаевича. Воспитателями царя были генерал Карл Карлович Мердер и поэт Василий Андреевич Жуковский. Россию ожидало просвещенное царствование.

Путешествуя с одиннадцатилетним цесаревичем в Варшаву, Мердер записал в дневнике: «Мы сели в коляску и помчались по дороге, усеянной полуразвалившимися хижинами, из окон коих выглядывали бледные, бедностью и рабством искаженные лица. Проезжая деревни, коих строения и сады были крайне запущены и разорены, великий князь удивлялся бедности и невежеству крестьян».

Теперь самодержец мог силою власти своей облегчить участь народа. В Москве заговорили об отмене крепостного права. Манифеста, однако, не последовало. Зато государь вернул из ссылки декабристов. Он был их добрым гением. Во время путешествия по Сибири в 1837 году Николай, думая о будущем сына, прислал ему письмо с повелением смягчить положение каторжных и некоторым из них уменьшил сроки заключения. И наконец мечта узников о свободе сбылась, но это была не та свобода, какую пророчил Пушкин. Без радости и без меча. Со дня стояния на Сенатской площади минуло более тридцати лет.

Для Мамонтовых манифест государя Александра II о помиловании декабристов был семейным праздником. Началось счастливое ожидание их приезда из глубины сибирских руд. Декабристов в 1855 году оставалось в живых тридцать четыре человека.

«Трое из них останавливались у отца», — читаем в автобиографических записках Саввы Ивановича.

Но кто? Во время написания «Моего детства» опасаться какого-то подвоха со стороны властей за связь с декабристами не приходилось: манифест царя об амнистии в Сибирь отвозил сын князя Сергея Волконского, в Москве купечество задавало обеды, на которых звучали тосты о свободе, о молодых ветрах над Россией, о зорях.

Разгадку домашней тайны семейства Мамонтовых нужно искать в

Ялуторовске.

Перед нами выписка из метрической книги на 1841 год Град-Ялуторовской Вознесенской церкви: «Сего 1841 г., месяца Октября под № 2-ым записан Савва рожденным *второго* и крещенным девятого числа означенного месяца. Родители: в городе купец Иван Федоров Мамонтов, законная его жена Мария Тихоновна, оба православного вероисповедания — ныне записанные по городу Шадринску. Восприемники города Мосальска купецкий сын Егор Тихонов Лахтин и купецкая жена Серафима Аристарховна Гуляева. Крещение совершали: священник приходской иерей Иоанн Стефанов Арзамазов и пономарь Федор Михайловский».

Этот документ подправляет дату рождения, которую указал Савва Иванович в «Моем детстве» и которая повторяется биографами: «Я родился 3 октября 1841 года в Сибири, в г. Ялуторовске. Отец работал по откупной части, но кроме того был близок и как будто родственно связан с некоторыми из декабристов. К сожалению, связь эта была покрыта строжайшей тайной».

Родственны связан... Что же это за узы такие? Жена Ивана Федоровича Мария Тихоновна Лахтина из Мосальска, этот городок в Смоленской губернии. Сам Иван Федорович детство и молодость прожил тоже в Мосальске у дяди Аристарха Ивановича. А вот где трудился по откупному делу его отец, умерший в Звенигороде, где жил и какого рода-племени дед Иван? Почему Ивана Федоровича из Мосальска потянуло в Ялуторовск, где жили на поселении декабристы И. Д. Якушкин, Н. В. Басаргин, А. В. Янтальцев, М. И. Муравьев-Апостол, князь Е. П. Оболенский, И. И. Пущин, В. К. Тизенгаузен. Среди этих людей кто-то и был родственно близок Ивану Федоровичу. М. Копшицер, автор книги «Мамонтов», установил: «Кроме Тизенгаузена и Пущина в Москве побывали все жившие прежде в Ялуторовске. Пущин переписывался со всеми, и по письмам к нему можно понять, что в доме Мамонтовых были Янтальцев, Муравьев-Апостол...»

Тайна, возможно, и откроется, когда криминалисты сличат портреты живших в Ялуторовске декабристов с фотографиями Ивана Федоровича. Лицо у него выразительное, аристократическое.

Ну, да не все-то нам знать, коли того не желали носители тайны.

О другом хорошо задуматься. Звезды падают за горизонт, и оттуда, из-за горизонта, из-за синих лесов являются гении России, никем не жданные и не ради того, чтобы их обласкали современники. Одна только память в России — драгоценна и нетленна. Только память.

Юношеские дневники — это автопортреты гадких утят. Тут и заносчивые суждения о великих людях, дешевые красоты слога, эгоизм и самоизничтожение. Но в этих же дневниках — будущий человек, здесь можно натолкнуться на пророчества своей судьбы, судеб государства и народа.

Каким же видел себя Савва Мамонтов в шестнадцать лет? Что знал о себе и о чем так и не догадался?

Известен один дневник Саввы Ивановича. Он вел его в 1858 году и начал с 1 января.

«Господи Благослови! Встретил Новый год в кругу своих родных у нас в доме. К 12 часам приехал В. А. Кокорев и прочел стихи на Новый год Аксакова». Далее сообщается, как прошел день. Ездил в Петропавловскую церковь, после обеда отправился незванный к дядюшке. «Сацы прескучно провели время с Ванечкой. Сацам топировал, братья танцевали с сестрами и с Сацами в вальсе». Самому Савве танцевать, оказывается, запрещено врачами, но он чувствует себя здоровым. В записи 2 января читаем: «Я встал поздно, не знаю, как я буду вставать, когда буду ходить в гимназию, да еще целый час утрами надо воду пить... Хочу заниматься больше чтением и быть внимательным к гимназии. Ездил я на молодой вороной лошади к тетушке С. А., и у нас был с нею разговор, душевный, об суете мирской, такой, какого между нами давно не было... После обеда читал речи на обеде по случаю освобождения крестьян, речи очень хорошие, кроме Погодинской...»

3 января Савва посетил благотворительный благородный спектакль в помощь неимущим студентам. «Спектакль был очень мил...»

4 января. «Тетушка опять поговаривает об загранице, хочет ехать с сестрами и со мной, что было бы хорошо, да жаль, хочется окончить гимназию, а потом уже год прожить за границей».

«5-го. Воскресенье. Метель целый день. Сочельник сегодня пришелся в воскресенье, и потому день прошел как будний. Утром dokonчил „Семейную хронику“ Аксакова, действительно язык, слог удивительно прост и понятен, точно кто-нибудь рассказывает, не приискивая

выражений, естественно».

Спокойная, обеспеченная, без особых интересов и устремлений жизнь *обыкновенного* юноши. Начал дневник, ведет старательно, записывая о всех событиях дня. Чувствуется некоторая обеспокоенность гимназическими делами и стремление поскорее закончить учебу. Нездоровье не очень волнует, видимо, не доставляет особых неприятностей. Несколько позже в дневнике появится запись: «Сегодня был у меня Топоров и сказал, что у меня легкие совсем здоровы, а сердце все еще бьется». За легкими богатые люди в то время присматривали особо тщательно, туберкулез был страшным бичом молодых.

О гимназических делах из дневника узнать можно очень немного. Гимназия для Саввы — обязанность, которой избежать невозможно, ее необходимо перетерпеть, как Шпехта.

«У нас в гимназии затевают на масленице бои, не знаю, позволит ли Директор».

«Был в гимназии. Старик, который служит у канцелярии, потерял деньги инспектора 10 р., и вот этого я не ожидал от инспектора, требует, чтобы тот уплатил ему из своего жалованья. Ну, что бы ему простить эти деньги».

«В гимназии был, нового ничего нет, уже она мне так надоела, что и не говорил бы об ней, все так однообразно, что если бы я лишился теперь зрения и слуха, я бы точно так же бы исполнял все правила гимназические».

«Сегодня был у нас новый учитель Кауфман, он должно быть причисляется к обществу учителей, у которых в классе сидеть тоска нестерпимая».

Баллы этого тоскующего ученика ниже, чем посредственные. Богатому сынку нечего беспокоиться о будущем. В университет попасть не проблема, нет знаний — деньги есть.

Вот табель Саввы Мамонтова за выпускной класс.

.	авг.	сент.	окт.	дек.	февр.	при повторении	испытания
Закон Божий	5	4	4	3	5	4	3
Русский язык	2	3	3	3	3+	3	2
Математика	2	2	2	2	2	1	—
История	3	3	2	2	3	3	2
Физика	3	3	4	3	4	4	4-
Естественная история	5	2	2	2	3	5	5

Немецкий яз.	5	5	5	5	5	5	5
Французский	4	3	2	3-	3	3	4
Латынь	3	2	2	2	2	2	1
Поведение	5	4	4	4	5	5	—
Место в классе	—	26	27	26	22	22	—

И естественная резолюция на подобные успехи в учебе: «Как неокончивший полного курса гимназического учения он не может пользоваться правами, предоставленными окончившим оный, и для производства в первый классный чин обязан подвергнуться дополнительному испытанию. Март 10 дня 1859 года. Директор гимназии статский советник и кавалер Авилов».

Биографы Мамонтова поминают господина Авилова недобрым словом, но ведь со слов Саввы Ивановича. Вот что он написал о своей учебе в гимназии: «Я не могу не помянуть добрым словом почтенных и весьма культурных учителей моих, которые интересовались моим развитием. Носков, личный друг Гоголя, учитель русского языка часто попросту беседовал со мной. Учитель физики Вильканец был прямо дружен со мной».

И однако ж по русскому языку у Саввы «двойка», а по физике «четыре с минусом». Недобрым словом помянут в записках директор Авилов, с которым юный Мамонтов был «на ножах». «Мой враг директор гимназии Авилов казнил меня на выпускном экзамене за мою независимость и самоволие».

Профессор Леонтьев на выпускном экзамене предложил Савве перевести латинского классика, а когда выслушал «перевод», спросил:

— Скажите, господин Мамонтов, вы когда-нибудь занимались латинским языком?

— Откровенно признаться, господин профессор, — ответил храбрый гимназист, — латинским я не интересовался.

— Это и видно.

М. Копшицер пишет в своей книге: «Профессор поставил двойку, к великой радости директора. Двойка эта была нешуточной и грозила отнюдь не переэкзаменовкой, а повторным прохождением курса седьмого класса».

Итак, во всем повинен директор Авилов, но ведь кроме единицы по латинскому языку нерадивый ученик получил низкие баллы по русскому, по истории, получил единицу и, видимо, не был допущен к экзамену по математике.

Одним только мог погордиться Савва Иванович. «По пересадке я

должен был сидеть на последней скамье, но по настоянию товарищей всегда занимал место рядом с первым учеником на первой скамье».

Учеба, однако, это не только гимназия.

Куда более важно, как юноша сам себя образовывает — чтением, беседами, тягой к прекрасному. Читал Савва много. Дневниковые записи — регистратор духовного наполнения. «Вечер был весь дома, читал „Современник“, все прочел, что меня интересовало».

«Сегодня я прочел Рославлева, эта вещь уже очень устарелая, она мне не доставила большого удовольствия, слишком эффектен... Прочел я сегодня несколько вещей из „Отечественных записок“». «Читал сегодня первую часть романа Писемского „1000 душ“, очень хорошо, по-моему, характеры очень смелы, особенно старик. Я не ожидал этого от Писемского. Я к нему доселе как-то не симпатизировал».

Даже по этим записям видно, что Савва на стороне революционно настроенной общественности. В «Современнике» читает то, что *интересовало*.

Старшие братья были студентами и, видимо, тоже снабжали брата недозволенной литературой.

В ту пору главным вопросом российской государственности был крестьянский вопрос, крепостное право доживало последние годы. Савва, разумеется, на стороне угнетенного народа. Он записывает в дневнике: «За обедом я слышал в первый раз об освобождении крестьян от помещика, именно от Левашова, он, как видно, не совсем доволен этим, он говорит, что слишком рано отпускать на волю крестьян, они еще не поймут, в них еще желанья нет, теперь-то, по-моему, и надо их отпускать, прежде чем они поймут, тогда будет поздно, они сами захотят на волю и постараются сами вырваться, а тогда будет плохо, не обошлось бы без беспорядков».

Приезжал к Ивану Федоровичу отобедать генерал-губернатор Арсений Андреевич Закревский. Граф похудел, потускнел. Новый царь и новые салоны о вольностях пекутся, свободах. Не желая угождать окружению Александра Николаевича, граф не позволил созвать в Москве дворянское собрание, разговоры о реформах запретил. Человек, близкий к Александру I, он восемнадцать лет был не у дел, но в 1848 году, когда по Европе полыхнули революции, Николай I вспомнил о нем и дал ему в управление Москву.

Ивану Федоровичу граф сказал за обедом:

— Все ждут не дождутся моей отставки. Поверь мне, старику, на слово, Иван Федорович, — лучшего не будет. Будет хуже. Будет катиться все с их волями да свободами до полного ничтожества России. Я плох!

Деспот. «Аж в семейные дела вмешивается, самодур!..» Да только никто не знает инструкции, какую мне дал покойный император Николай... Я от августейшего получил стопу чистых бланков с его величества личной подписью, всех умников мог бы к декабристам препроводить, а я возвратил эти бланки все в целости.

И признался:

— Все думаю: опомнятся в Петербурге, оставят все по-старому, но сам-то знаю — не оставят, сляпают свою реформу на бедную русскую голову. Сто лет будет Россия хлебать иноземное варево и не расхлебает. Император Николай Павлович шесть комиссий собирал, желая избавить народ от зла крепостничества, да так ничего и не сделал, большего зла страшился. А ведь он был — сама воля.

— Мне жалко его, — сказал о графе Иван Федорович своим повзрослевшим сыновьям. — Это ушедшая Россия. Снег растаял, но сугробы еще лежат.

— Но ведь крепостное право — постыдно. Это оно привело Россию к поражению в Крымской войне! — воскликнул Савва.

Отец посмотрел на него внимательно и серьезно:

— Не повторяй за говорунами! Сам думай. Крепостное право себя изжило, да только Петербург — это крепостничество, уральские заводы — крепостничество, победы Потемкина и Суворова — тоже крепостничество. Наполеон с его армиями бит крепостными мужиками.

Савва опустил ресницы. Он не принял возражений отца, но поразился повороту разговора.

Политика редко попадает в дневник Саввы. В мир взрослых Савва стремился явиться с душой, наполненной прекрасным. «Был я сегодня в Художественной Академии, — записывает он, — картин хороших много, особенно хороши портреты Зорянко: Голицына Сергея Михайловича и Черткова... удивительно до чего искусство дошло». Но более всего Савву влечет театр. «8 января, среда. Вечером был в театре, „Травоторе и Пахита“. У нас была складчина на ложу, и вдруг ни с того ни с сего приезжает Инличинова»...

Об увлечениях, о любви дневник помалкивает. Правда, многие записи сделаны шифром. Это или любовные записи, или политические. К сожалению, рукописи наших архивов обработаны плохо. Расшифровать тайнопись юного Мамонтова, видимо, просто, но ведь специалист требуется.

Привожу одну из шифровок: # 0 / 0 ? p t z 4 ;
8 λ 1 j b , ÷ t c z 3 0 ; t t z T z t ; 0 t z 0 A t z t , -

«13 января... Иду в театр, в бенефис Щепкина. Идет „Жаккардов станок“, „И рад бы поверить“, „Прежде маменька“ и „Дивертисмент“. Спектакль был не особенно хорош, меня удивляет, неужели Щепкин не умеет выбрать себе пьесы для бенефиса; достойно в нем уважения то, что он более обращает внимание на политические обстоятельства времени и больше соображается с духом его, но, должно быть, его недостаточно понимают, но принимают его пьесы очень хладнокровно, даже один водевиль совсем ошкарли, именно: „Прежде маменька“. В „Жаккарде“ он проповедует, что надо давать больше хода третьему сословию, что в нем кроется много талантов, которые убивает совсем напыщенность, ученость, не давая им совсем никакого хода. Роли были исполнены великолепно, об этом и говорить нечего, главное, чувствителен самый недостаток пьесы».

М. Копшицер, приводя эту цитату, вместо «третьего сословия» вписывает свое словечко — «низшее», видимо, ради добавления «революционности» Щепкину да и Мамонтову.

«17 января... Вечером был в театре: „Чужое добро в прок не идет“ и „Голь на выдумки хитра“. Я эту комедию видел в первый раз, и она на меня произвела сильное впечатление; но как Васильев хорош в роли сына, это просто чудо. Я не предполагал в нем такого драматического таланта, чисто драматического, какая у него превосходная мимика, выражение лица. Колесова была довольно мила, и Шуйский был хорош».

«23 января, четверг... Сегодня иду в театр. „Сомнамбула и Сильфида“. Однако я довольно часто бываю в театре, вот уже четвертый раз в этом месяце».

27 января Савва был на балете «Наяда и рыбак» и слушал оперу «Марта».

«28 января... Вечером я поехал в театр смотреть „Нарцисса“, приезжаю, смотрю, он отменен. Мне было очень досадно, так что я захотел уехать и выдержать характер. Играли „Карьеру“, которую я не видел, но знаю понаслышке, я уехал, выдержал характер».

«29 января... Вечером был у Маркова на благородном спектакле. Моллерс удивительно мила, и Мещанинов тоже в своих ролях. Играли: „Горбун и Мария“, „Мельничиха“ и „Суженого конем не объедешь“».

«2 февраля. Воскресенье. Последний день театров (перед Великим постом. — В. Б.), поэтому все братья, в том числе и я, поехали опять в „Наяду“, сегодня я очень хорошо смотрел, был внимателен к музыке».

Как видим, юноша спешит набрать духовного богатства. Неважно, какой спектакль, какая музыка, лишь бы спектакль, лишь бы музыка. Но ведь еще и характер надо выработать. Хочется посмотреть «Карьеру», да ведь надо показать самому себе, что не всеяден. Приехал за «Нарциссом», так подавайте «Нарцисса», иного блюда не надобно.

Но главное в ином: уже в юности определился круг интересов, который будет озарять всю его жизнь, — театр, музыка, живопись.

В Великий пост театры закрыты, но можно послушать пение.

«12 февраля среда. Сегодня вечером я был на концерте у Боро, в Дворянском Собрании. Какие она штуки строит со своим голосом, надо удивляться, после польки, которую она спела, я просто руки опустил... Такие рулады, которые только скрипка может брать».

«16 февраля. Утром был у обедни в Практической Академии, надо принять к сведению, что там хороший тенор».

Савва чувствует себя не только знатоком вокала, но и причастным к этому возвышенному ремеслу.

31 января он записал в дневнике: «Сегодня утром ходил я к Александру на фабрику. У него был Булахов. Он пробовал мой голос. Говорит, что у меня баритон, и может образоваться хороший голос, если мне им заниматься».

Занимается Савва, однако, не голосом. Жить в высшем обществе не так уж и безопасно, надо быть готовым защищать свою честь. И Савва берет уроки фехтования.

«Александр дерется уже очень порядочно, и братья идут к лучшему, — записывает он. — Ну, а я все-таки могу различить хороший удар от дурного, у меня глаз наметался, и я довольно хорошо знаю теорию, недостает практики, ну, она со временем будет». И через несколько дней радостная запись: «Сегодня я взял первый урок фехтования. Это очень приятно уметь драться, по крайней мере, если дуэль случится, так не оплошаю».

В своем дневнике Савва только раз вспомнил мать и отца.

«26 января. Воскресенье. Сегодня день именин моей матери покойной. Я почти забыл это, до чего человек сживается со своим состоянием. Когда

моя мать умирала, я и представить себе не мог, страшно было подумать, как я буду жить без матери; а теперь только тогда об ней и вспомнишь, когда она сама про себя чем-нибудь напомнит. Царство ей Небесное. Она была настоящая мать. Я ей благодарен своим здоровьем, своей нравственностью, она старалась вложить в меня все добрые качества для истинно хорошего человека. Я живо помню тот момент, когда она благословляла нас, как она была невозмутимо спокойна, исполняя христианский долг, с каким самосознанием отдавала она душу Богу, покаяясь Его (Всевышней) воле».

В этой записи юношеский педантизм, стремление все оценить, все расставить по полкам. Образ матери под пером Саввы выходит рассудочным, церковно-книжным. Отец жив-здоров, и о нем — без комментариев: «28 марта. Сегодня день рождения папеньки, и мы все были у обедни в нашем приходе, потом был молебен по обыкновению у нас на дому. Вечером мы были все в концерте любителей. Более 100 человек, в пользу Гедике, который бедный не дослужил 2-х лет до пенсии и теперь без куска хлеба».

Что еще находим в дневнике? Савва — гражданин благонадежный. Несмотря на то, что запрещенная литература нравится, в день рождения государя императора 17 апреля он отправился вместо гимназии к обедне, но нигде в городе обедни не нашел.

Человек Савва искренний. Хотя и велика слава русской оперы «Жизнь за царя», он в дневнике не лукавит: «Как эта опера ни хороша, однако далеко до итальянских... В итальянской опере каждый мотив хочется запомнить, и ни одного мимо ушей не проходит, между тем как здесь много таких арий и мотивов, которые очень длинны... ждешь конца нетерпеливо».

Неповторимую эпическую силу русской оперы он оценит много позже...

Притворства и ханжества Савва не терпит.

«3 февраля. Чистый понедельник. На всех какое-то постное выражение лица, от этого сам строишь рожу еще постнее».

Но Савва еще философ-реалист. «Я решительно болею серьезно, — записывает он вдруг, — надо хоть здоровье сберечь, это главная вещь в жизни, самая драгоценная вещь. Без здоровья и ни на что не нужны и познания и образованность, все пойдет к шуту».

Молодость любит прикинуться мудрой старостью. Савва самокритичен, и его дневник не лишен самобичевания: «Все-таки мой дневник не достигает своей цели: ну что в том, что я пишу... Назначение дневника в изложении мыслей, таких, какие именно в это время кажутся

мне справедливыми, так чтобы впоследствии интересно было взглянуть на образ моих мыслей в 16 лет».

Записи Савва вел только два с половиной месяца, но и за это ему спасибо. Мыслей своих он так и не записал, но поток его жизни схвачен. В шестнадцать лет юноша не был ни глубоким, ни целеустремленным, ума большого не выказал. Великих стремлений в душе не сыскалось. Конечно, Савва за крестьян и против крепостничества, но не потому, что дорога свобода — так удобнее, как бы крестьяне не взбунтовались.

И все-таки дневнику, даже самому искреннему, доверять нельзя. Савва был такой, каков его дневник, но он еще не знал себя. Может быть, это черта русского северного человека — пробуждаться со всеми своими страстями не раньше, чем снег стает.

Садко — богатый гость

1

Господин Авилов лицом к лицу столкнулся в коридоре Московского университета с Саввой Мамонтовым.

— Господин Мамонтов, вы зачем здесь? — изумился бывший директор гимназии.

— Затем же, зачем и вы, — ответил Савва.

— Я инспектор студентов Московского университета.

— А я студент Московского университета. Потрудитесь справиться в канцелярии.

Проник в студенты Савва Мамонтов, однако, нечестно. Его друг учитель физики Вильканец посоветовал поступать в Петербургский университет и назвал ему человека, который сдал за Савву экзамен по латинскому языку. Получив право именоваться студентом, Савва перевелся с Васильевского острова на Неве на Моховую, на юридический факультет Московского университета.

Сохранился документ о времени поступления Мамонтова в Московский университет.

«Свидетельство

Дано, вследствие прошения, сыну Потомственного Почетного Гражданина и Чистопольского I гильдии купца Савве Ивановичу Мамонтову для предоставления при поступлении его в Императорский Московский университет в том, что он, Мамонтов, поведения хорошего. Мая 18 дня 1860 года Московский Оберполицмейстер свиты его Величества генерал майор». Подпись неразборчива.

О своей студенческой учебе Савва Иванович так напишет: «Посещал лекции с интересом, но и с большим вольнодумством».

Савва тотчас попадает в кружок «передовых студентов». Сборы — в фотографической лаборатории Александра Филипповича Федотова, тоже студента. Все говорят и все курят. Дым искажает лица, но не может погасить огонь в глазах. Человечество рано или поздно скинет оковы тирании, разрушит границы и соединится в единое трудящееся, процветающее братство.

Савва, вскидывая руку, чистым, звенящим, как струна, голосом

произносит строки «Вольности»:

Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру...
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок.

Савва читает так вдохновенно и так просто, что к нему бросается с объятиями сам Федотов:

— Ты обязательно должен быть у Секретарева.

О Секретарева Савва наслышан. В доме Секретарева собирается самодеятельный кружок любителей драматического искусства. Среди его членов писатели Островский, Писемский, князь Кугушев, профессор университета Усов.

Савву прослушивает сам Александр Николаевич. В кружке решено ставить «Грозу». Автор для себя оставил Дикого, а Савве отдал роль Кудряша.

— Кудряш! Воистину Кудряш! — радуется жизнелюбию Саввы Александр Николаевич.

Репетиции кончаются за полночь. Савва, приезжая домой, валится в постель. Отца он не видит неделями.

Иван Федорович никак себя не проявляет, ждет от сына мудрости. Бал не может длиться бесконечно. Но благоразумие обходит Савву стороной. Отец обеспокоен, требует взяться за ум: «Мне нужен не актеришка, а образованный, здравомыслящий юрист, которому можно без страха поручить серьезное дело. Мне нужен не фигляр, а помощник». Савва слушает, уговаривает себя быть более прилежным. Но душа не лежит к законам и параграфам, душа его поет на подмостках...

Однако Савва в том не может признаться отцу, он лукавит.

— Батюшка, — успокаивает он Ивана Федоровича. — Я буду стараться. Но ты тоже помни, я уже не гимназист, я студент университета. Наука требует свободы действий.

С подобными доводами Иван Федорович не мог не согласиться — учеба в университете предполагает в студенте широту интересов. Граф Витте в мемуарах так определит разницу между школой и университетом: «Если университет не живет свободной наукой, то в таком случае он не достоин звания университета... Без свободной науки не может создаться ни научных знаменитых произведений, ни научных открытий, ни

знаменитостей... Так, например я, будучи студентом математики, очень интересовался предметами юридического факультета». Что же тут удивительного, если Савва Мамонтов, будущий юрист, изучал анатомию человека и отдал сердце театру и любительским спектаклям. Вот только юриспруденция была забыта.

Ивану Федоровичу же стало недосуг до сыновних забот, он загорелся новым делом: построить собственную железную дорогу. Увлёк его этим инженер и промышленник Федор Васильевич Чижов. Железная дорога требует солидных капиталов. Стоимость версты обходится от сорока до девяноста тысяч.

Далеко не заглядывали. Скрип телег был громче всего со стороны Троице-Сергиевой лавры.

Перед Крестовой заставой раскинули походную палатку. Меняя друг друга, дежурили несколько недель, считая повозки с грузами, с ездоками. Подсчеты обнадежили. Деньги на бочку — и за дело. Так образовалась компания Троицкой железной дороги. Протяженность дороги всего шестьдесят верст от Москвы до Сергиева Посада. Но за синими лесами Ярославль, а там и Вологда — богатый русский Север.

Отец строил дорогу, а Савва делал вид, что учится. В апреле 1862 года он по срокам должен был закончить второй курс.

Нам, однако, не известно, на втором ли курсе был Савва или все еще на первом. В те годы в студентах хаживали по десятку лет, а хвостов и провалов у нашего студента было предостаточно. Иван Федорович и лично пропесочивал сына и, осердясь, неделями не желал ни видеть его, ни слышать.

Время было тревожное. Произошли беспорядки в Петербургском университете, появились прокламации, зовущие студенчество к бунту, к объединению и выступлению с поработанным крестьянством. В Петербурге случились страшные пожары. Поджигателями молва называла опять-таки студентов. Начались аресты среди молодежи, судебные процессы. И самый громкий из них: дело Михайловского.

Иван Федорович явился к сыну в спальню в десять часов утра. Савва спал, лицо в бородке, но совсем детское. Под взглядом отца пробудился, захолопал глазами:

— Доброе утро, батюшка.

— Добрый день! — сказал Иван Федорович. — Нынче Антип-половод. По Антиповой воде мужики о хлебушке гадают. А о чем гадают мой сын? Уж не о том ли, выгонят из университета или не выгонят за безделье, за

беспорядок в мыслях! Не хочешь учиться — трудись, хлеб зарабатывай. Ведь уж двадцать лет, и все — в лодырях!

Досадливо махнул рукой, повернулся и вышел.

Савва поднялся, умылся, оделся. Пошел к отцу в кабинет, но отец его не принял.

И на другой день не принял. Тогда Савва написал ему письмо.

«Позвольте, дорогой батюшка, обратиться к Вам. Мое настоящее положение таково, что требует скорейшего разрешения для Вашего спокойствия и для моей пользы и потому мне остается просить у Вас одного: не медлить Вашим решением, произнести Ваш суд. Вас беспокоит мысль, что я ничего не делаю, не тружусь — я готов трудиться».

Ответ Иван Федорович написал на том же листе. «Отвечаю 25 апреля 1862 года. Да, праздность есть порок, труд не есть добродетель, а прямая непреложная обязанность как исполнение прямого долга в жизни. Всякий гражданин должен трудиться морально или материально для пользы своей семьи, для пользы общественной и отечественной. Человек должен трудиться от юности и до старости, а иначе сложится человек в тунеядца... Тебе, Савва, назначен был мною труд по современным правилам классически учиться, через учебные заведения и университет, на это даны были мною все средства и грамотный гувернер и учителя, а следовательно, был путь просторный. Ты, Савва, не внял прямого долга, ленился... и убил напрасно первые годы до 20 лет. Правда, виною был я и невнимательный к своему делу гувернер, не согнувшие тебя в дугу — а причина вины моей есть современная глупость давать юноше простор к его трудам и исполнению долга. Что же из этого вышло? Ты вовсе обленился, перестал учиться классическим предметам, развлекался и предался непозволительным столичным пустым удовольствиям, музыкантить, петь и кувыркатся в драматическом обществе, все это ты делал вопреки моим желаниям и воле, которые я тебе много раз заявлял словесно и даже письменно. Затем еще вопрос: что же из этого вышло? Пустота в голове, слабость в теле и мучительный упадок в характере...»

Что ж, подобная переписка возникала уже не раз, однако все осталось по-прежнему. Сестра Ольга пришла к брату, сияя глазами:

— Батюшка просил меня достать два билета в твой театр.

«Это сильно захватило меня, — напишет он в своих записках. — Билеты я достал в первом ряду. Перед началом спектакля я смотрел в дырочку занавеса и увидел отца, серьезно сидящего с Ольгой. Признаться, я был очень взволнован, но начал спектакль как следует».

В третьем акте сцена Кудряша с Варварой прошла так естественно, что

отец смеялся от души.

«Он поймет меня», — решил Савва.

Спектакль был хорош не только тем, что в нем играл Островский, это была серьезная реалистическая постановка с блесками молодых талантов. Катерину играла любительница, имени которой мы не знаем, к сожалению, но роль она вела так сильно и страстно, что Иван Федорович утирал слезы в последнем акте. Савва ждал похвал, но, вернувшись домой, застал тишину. Ужинали вместе, а о спектакле ни слова не было сказано, но Ольга шепнула брату:

— Батюшка очень тобой доволен. Очень!

И все же «Гроза» разразилась грозой.

Утром отец позвал Савву в свой рабочий кабинет. Молча дал ему письмо. Потом сказал:

— Прочитай. От благожелателя.

Письмо было коротенькое: «У вас есть сын Савва в университете, уберите его, иначе может быть очень плохо».

— Ну, вот ты и допрыгался, голубчик, — сказал Иван Федорович. — Завтра едешь в Баку.

Отец спасал сына — он знал: достаточно было просто присутствовать на студенческих тайных говорильнях, чтобы угодить на каторгу.

В мае журнал «Современник» был закрыт на восемь месяцев. 12 июня арестовали Чернышевского. Иван Федорович не стал дожидаться, когда щупальца жандармского ведомства оплетут Московский университет в поисках неблагонадежных.

В начале августа Савва Мамонтов отбыл в Нижний Новгород.

Мамонтов-старший был купец прозорливый. Вместе с Кокоревым он участвовал в создании первых нефтяных промыслов. Прибыли получали малые, и, чтобы не прогореть, видя в торговле палочку-выручалочку, Закаспийское Торговое Товарищество устраивало по всей Персии товарные фабрики.

Первое самостоятельное путешествие оказалось для Саввы продолжительным и полным новых впечатлений. Речным пароходом от Нижнего Новгорода до Астрахани, морским от Астрахани до Баку.

Встречал его главный директор Азиатских фабрик господин Бекман. Не старый, но лысый. В глазах спокойствие, в слове твердость и насмешка.

Привез в европейского вида дом:

— Здесь наша контора и ваша будущая работа.

Квартира Саввы оказалась во дворе. Внизу кухня, на втором этаже две огромные, показавшиеся пустыми, комнаты. В спальне узкая железная койка, на стене ковер, на полу ковер — и все. В другой комнате стол, вокруг стола десяток стульев и кожаный диван у стены.

— Мы о вас немного позаботились, — сказал господин Бекман, подводя Савву к столу. — Кебаб, лепешка, чай, халва. Если кебаб остыл, печь на кухне. Располагайтесь, отдыхайте с дороги. Завтра я вас жду в конторе.

И ушел.

— Хорошо, — сказал Савва. — Начнем мое воспитание заново. Урок первый — одиночество. Но прежде всего — подкрепимся.

От кебаба захотелось пить, но чай уже остыл. Лепешка показалась жесткой, непропеченной. Савва бросился на диван и заплакал. Ему было очень жалко отца. Послал же Бог детей хорошему человеку. У Федора с головой не все в порядке. Анатолий укатил в Италию, в Милан, путается с актрисками, а он, Савва преподобный, надругался над доверием отца, истребил лучшие годы юности не на познание, на пустые разговоры, на доступных развратниц... В молодости о великом мечтают, а о чем он мечтал? О равенстве, которого быть не может нигде и никогда, о братстве, обернувшемся доносом. А свобода — вот она! Свободен. От батюшки, от родного дома, от самого народа русского, чтоб не думать за него.

Утром был пламень солнца и жара, хотя уже листья на деревьях по-осеннему сомлели.

В конторе познакомился с бухгалтером. Было видно, что этот молодой человек очень рад приезду Саввы, но, представляясь, он напряженно смотрел в глаза:

— Александр Константинович Пупыкин.

Савва не улыбнулся, хотя фамилия была забавная... Пупыкин из благодарности тотчас и отдал ему свое сердце.

Работу господин Бекман поручил Савве конторскую, бумажную, но бессмысленного отсиживания положенных для службы часов не требовал. Пупыкин водил Савву по городу, показывал древности.

Баку был невелик, в нем жило чуть больше четырнадцати тысяч человек. Население было пестрое.

На площади стоял дом губернатора, рядом вздымался золотым осенним облаком ханский сад. Здесь же начиналась истинная Азия — лавки, магазины. Улочки для осла, едва протиснешься. Вдоль улиц

глинобитные дувалы, дома без окон, с плоскими темными крышами.

— Киром крыты, — объяснял Пупыкин, — нефтяной землей.

Ходили к развалинам ханского дворца. Последний бакинский хан Гуссейн-Кули в конце прошлого века присягнул на подданство России, но вскоре отпал от нее, ушел под руку персидского шаха, а когда была присоединена Грузия, снова изъявил коварную покорность. При сдаче города 8 февраля 1806 года был предательски убит главнокомандующий русской армии князь Цицианов.

— Впрочем, — рассказывал Пупыкин, — Баку присоединили к России еще при Петре Великом, а вот Анна Иоанновна вернула его Персии.

Любовались Шах-джами — древней шахской мечетью, построенной в 1078 году, ходили осматривать маяк, где сохранилась крепостная стена, а сам маяк был устроен в круглой Девичьей башне.

Мечетей в городе было одиннадцать. Основное население составляли азербайджанские татары — мусульмане-шииты. Православная церковь была одна, армянских — две. Армяне жили обособленно и богато. Вся городская торговля была в их руках.

Производил впечатление Черный город. Здесь работали и строились нефтяные и керосиновые заводы. Топились местный поселок и сами заводы отходами из нефти. Дым над поселком восходил черными маслянистыми клубами, и земля здесь всюду была черная, пахнувшая нефтью.

На том осмотра города кончились. Питался Савва одними сардинами. Готовить не надо. Сардины на завтрак, сардины на обед, на ужин.

Через две недели бакинского житья Савва не выдержал и написал отцу письмо. Просил разрешения вернуться. Конторскую работу и в Москве можно найти, зимой в Баку жизнь совершенно замирает, даже лавки многие закрываются. Если пребывание в Баку необходимо, можно вернуться в город весной.

Иван Федорович был неумолим. «В Москве одно лишь развлечение на глазах и чад в голове, — писал он сыну. — Вот тебе образчик, Савва: Федор и Анатолий, совершеннолетние молодые люди, не могут жить и содержать себя... Ничего не делают, скучают и ходят с туманом в голове, а отчего это? Оттого, что они не привыкли к трудам...»

Впрочем, Иван Федорович желал сыну добра. На его письме он сделал запись: «Жаль мне Савву, но слава Богу, что он на деле и не дома».

Надо было как-то устраивать жизнь. Савва предложил Пупыкину поселиться в своей квартире, а для того, чтобы избавиться от непереносимых уже сардин, наняли кухарку Анну Петровну. На двоих, стол им стоил тридцать пять рублей.

Ездили в окрестности города, в Сураханы, смотрели брошенный, полуразрушенный храм огнепоклонников.

— Здесь есть выходы газа, и когда-то в этом священном месте горели вечные огни, — объяснял Пупыкин. — Армяне говорят — в древности Баку был городом огнепоклонников. Его называли Багаван.

— А что означает слово «баку»? Огонь?

— Да нет, «баку» вроде бы производное, испорченное от персидского слова «бадкубе» — удар ветра.

Северные ветры вскоре дали о себе знать. Стало так нестерпимо скучно, что Савва завел собаку. Назвал пса «Нигилист».

3

Жизнь переменилась неожиданно. Директор Бекман предложил Савве поездку в Персию. 19 декабря 1862 года они взошли на пароход, спустились к югу, миновали порт Ензели и пристали к одному из островов Ашур-адэ в Астрабадском заливе. Здесь располагалась русская морская станция. Из Ашур-адэ на лодках приплыли в Гяз, защищенный от ветров и морских бурь Потемкинской косой, уладили пограничные и таможенные дела, заплатили пошлину.

Еще на пароходе Савва познакомился со своим телохранителем — черкесом Ала-Верды. Мы не знаем имени этого преданного человека, но молодой купец дал ему удобное для себя имя, на которое тот охотно откликнулся.

Черкес был громадного роста, правая длань его постоянно лежала на рукояти большого кинжала.

— Почему он ходит за мной, как тень? — спросил Бекмана Савва.

— Он к вам приставлен, — улыбнулся Бекман. — В Персии небезопасно.

Купили лошадей и верхами три дня добирались до города Шахруда.

Шахруд стоит на границе Мазандерана и Хоросана, на границе гор и Большой соляной пустыни, по-персидски Дешт-и-Кевир.

Бекман представил Савву работникам фактории, назначил торговым приказчиком в лавке и отбыл в Барферуш, где у «Закаспийского Торгового Товарищества» имелась еще одна база.

Управляющий Шахрудской фактории был родом из Тифлиса, человек средних лет, одинокий. Савва ему понравился.

Отчетность вел персианин — почтенный мулла Абдерасул.

«Что ж, батюшка, торговать так торговать», — сказал себе Савва и стал вникать в дело, раскладывать товары, чтоб в глаза бросались, считать деньги, барыши.

Порядки в фактории были заведены местные, какие приняты у купечества Востока. Обедать сходились на крыше жилого дома. Наверху ветер обдувает.

Мулла Абдерасул почитал долгом давать наставления молодому русскому.

— У нас много, много недобрых людей. Никогда не расслабляйся. Наши люди хитрые, сначала улыбнутся, а потом убьют.

Женщины носили чадру, но иногда чадра — эта черная шелковая тюрьма, не скрывала, а, облекая, только подчеркивала изумительную красоту лица. Глянет встречная красавица и прожжет пламенем глаз.

Приходили письма от Ивана Федоровича, просил терпеть, учиться торговому делу. Восток — мудрый, Персия — древняя, ее купечество торгует не одну тысячу лет. Наверное, есть что перенять.

Савва так не думал. Из Персии Россия вывозила пшеницу, рис, табак, хлопок, шелк-сырец, изюм, свежие и сушеные фрукты, красящие вещества, опиум, шерсть, москательный товар, лошадей, баранов да еще жемчуг, бирюзу. Из промышленных изделий — шали, шелковые ткани, ковры. Ввоз подавлял вывоз. Из России шли бумажные ткани, фарфор, фаянс, стекло, металл и уж такая всякая всячина, что и не перечтешь: серпы, косы, грабли... Ввозили чай, сахар, кофе, пряности...

Тонкость торговли была не в продаже, а в умении избежать таможенных поборов.

Персидские купцы платили два с половиной процента пошлины, турецкие — четыре, европейские — пять. Но вся ловкость заключалась в том, чтобы заплатить не по стоимости товара, а по количеству вьюков. Все таможи были сданы в откуп, откупщики старались привлечь купцов к себе. Приманивали скидками. Чем больше провезешь товара, тем меньше заплатишь.

В каждом городе, однако, имелась своя таможня. Иностранцы эти пошлины не платили, а вот персидским купцам приходилось раскошелиться.

Текущие дела — верные убийцы жизни. Савва входил в них, как садист, с наслаждением уничтожая свое бесценное время, это была месть отцу, а может, и всему человечеству. Желаете, чтобы я, светлый, в лавке пропадал, за тридевять земель?! Пропадаю! Радуйтесь!

Злость, однако, сходила, и Савва всерьез задумывался, куда и как

поставить фарфор, куда замки и лопаты. И стали замки по соседству с фарфором. Купишь дорогое, подумай, как это сохранить.

В самом начале июня в Шахруд приехал директор Бекман. Привез товары, а для Саввы новое дело. Впрочем, о деле было объявлено только после беседы с управляющим с глазу на глаз. Савва получил отличную характеристику, и тогда Бекман объявил о его назначении управляющим фактории в столице Хорасана — городе Мешхеде. Сложность и особая ответственность поручения состояли в том, что фактории в Мешхеде не было, ее нужно открыть.

— Согласны ли вы, Савва Иванович, возложить на себя столь тяжкие хлопоты? — спросил Бекман не без суровости.

Савва в ответ просиял:

— Разумеется, согласен!

Шахрудом он был сыт по горло.

— Тогда готовьте товары, караван и с Богом, — напутствовал господин директор. — Помощники у вас буду! весьма толковые и расторопные. Приказчиком поедет Мирза Махмуд, переводчиком Мирза Джангир, ну а без Ала-Верды я вас в такое далекое путешествие отпустить просто не вправе.

Товары Савва подбирал сам, и Бекман его выбор одобрил. Кроме тканей, ниток, фарфоровой и фаянсовой посуды, кроме железных и стальных изделий, молодой купец взял оружие, весы и часы самых разных марок. Места занимают не много, легки, а дороги.

Караван был составлен из семидесяти верблюдов. Для себя и Ала-Верды Савва купил превосходных лошадей. Тут уж он положился на своего телохранителя, у которого при виде скакунов глаза молнии роняли.

Мулла Абдерасул, во все дни сборов, горячо молился и все советовал Савве быть в пути зорким, а в Мешхеде никому не доверять.

— Да будет Аллах милостив к тебе! Если невтерпеж станет кому-то довериться, так доверься Махмуду и Джангиру, а больше — никому, хоть рубашку будут последнюю отдавать. Помни, змея тоже на солнышке греется.

Савву, однако, если что и беспокоило, так собственные розовые щеки. Он, оставшись один, разглядывал себя в зеркало.

Лобастый, волосенки жиденькие, бородка чахлая. В глазах хоть бы

толика строгости! Губки малиновые, сложены ласково. Содвинь брови — мальчишка, выгни дугой — опять мальчишка.

Савва купил револьвер и форму капитана корабля. Это уже было кое-что. А потому — в путь!

Весь Шахруд вышел поглядеть на русский караван, на капитана, у которого под седлом не конь, а сама птица Симург, на Ала-Верды, скакавшего за спиной молодого, но очень важного русского.

Савва чувствовал себя Садко, новгородским былинным купцом.

Караванный путь пролегал по городам Мейамей — Аббасабад — Мезанан — Себзевар — Нишапур. Степи сменялись горами. Караван двигался в теснинах. Холодных, скрытых от солнечных лучей. Обычно останавливались в караван-сараях, где были хоть какие-то удобства, но однажды в горах пришлось заночевать в отвратительном духане. Помещение вонючее, крошечное, пол земляной, холод. Зажгли огонь на полу. Дым ел глаза, и Савва плакал, но не от дыма, а от жалости к себе. Ведь где-то живет без печали матушка-Москва. Пироги пекут, в хрустальных графинах наливки, скатерти хрустящие, салфетки, как снег, а тут что-то ползает по телу, то ли блохи, то ли вши...

На двадцать второй день караван подошел к стенам благословенного Аллахом Мешхеда. Для шиитов это святой город.

Здоровенные молодцы — таможенники — ощупывали тюки с товарами, требовали уплатить пошлину и дать бакшиш, обязательное на Востоке подношение. Савва быстро надел капитанский китель, фуражку и с Ала-Верды, который был в мохнатой папахе, в бурке, подскочил к таможенному начальству. Нарочито горячил коня, конь хватал таможенника зубами, а Савва, сверкая глазами, кричал по-русски грозно и повелительно:

— Где бездельник переводчик?

Прибежал перепугавшийся Мирза Джангир, кланялся Савве до земли.

— Переведи! — Рука описала плавный круг, и указательный палец уперся в начальника таможни. — Пошлина уплачена на границе Персии. Это договор императора Российского Александра Второго и великого падишаха Персии несравненного Насреддина. Посему — прочь с дороги!

И Савва повелительным жестом махнул каравану, чтоб следовал через ворота. Ошеломленные таможенники расступились, и верблюжья цепочка прошла через город к лучшему караван-сараяю.

Про себя грозный капитан хохотал.

«Напрасно, батюшка, ты корил меня за игру в театре. Пригодился театр».

Караван-сарай поразил Савву Ивановича размерами: «В самой

середине роскошного здания, — писал он в „Моем детстве“, — я занял обширный склад, а сам поместился во втором этаже, в небольшой комнате над входом в караван-сарай. Окно мое (единственное) выходило на самую живую площадь города».

Русского купца пригласил во дворец наместник Хорасана, вельможа приходился падишаху родным дядей.

Принят Савва был приветливо, но серьезной беседы не получилось. Наместник говорил на ломаном английском языке, а Савва английского не знал. Куцая вышла беседа, но не без пользы.

Полицмейстер Мешхеда посоветовал русскому купцу для безопасности и для свободного движения по тесным многолюдным улицам взять двух феррашей, разумеется, за плату. Оба ферраша имели нагайки: один шел впереди и прокладывал дорогу, другой позади, не позволяя нанести удар европейцу в спину. А опасаться было чего, фанатиков среди шиитов достаточно, да еще в святом городе.

Восточная жизнь была Савве уже не в новинку, началось испытание одиночеством. Сидел в лавке, но без языка какая торговля. Мирза Махмуд хорошо управляет. Прирожденный купец.

Савва просил переводчика познакомить его со знаменитой персидской поэзией. Джангир принес свиток с поэмой Махмуда Шабистари, прочитал отрывок, перевел:

«На том лике точка ее родинки широка,
Потому что является основой центра
И всеобъемлющей окружностью.
Не ведаю, является ли Ее родинка
отражением нашего сердца,
или сердце отражением родинки
прекрасного Лика?
От отражения Ее родинки явлено сердце
Или отражение сердца явлено там?
Сердце в Ее Лике или Она в сердце?
Сокрытой осталась для меня эта сложная тайна...»

— Господи! — удивился Савва. — Неужто персы так помешаны на родинках?

— Да, помешаны, — ответил Джангир. — «Родинка» — это не совсем родинка. Суфии называют «родинкой» сущность Мира и сущность человека, то есть его сердце. Родинка для суфиев — даже не точка, а пространство между единством красоты и единством самого существа Мира, иначе говоря Истины. Точка сердца человека — это центр небесного круга бытия и место появления «родинки».

— Э, нет, — сказал Савва, — родинку мне, видно, не одолеть.

Чтобы получить феррашей, Савве пришлось обратиться к французскому мсье Шозу, бельгийскому подданному, в чине унтер-офицера, но в Мешхеде он занимал видную должность, обучая войско европейскому строю и владению европейским оружием. Мсье Шоз был единственный европеец на сто тысяч жителей Мешхеда.

Савва подружился с ним, хотя встречаться приходилось не часто. Жить в Мешхеде предстояло, видимо, долго, но однажды к Савве пожаловала делегация местных купцов. Просили уступить им значительную часть товаров. Цены предлагали выгодные. Савва решился на продажу. Сделку оформили у персидского нотариуса за наличный расчет. Об этой истории Савва Иванович так рассказывает: «Торговцы помещались в священном квартале, куда доступ иноверцам не полагается. Я приказал Мурзе Махмуду, первому приказчику, свезти товар в их квартал и совершить сдачу».

На другой день товары были отправлены, но Махмуд не вернулся... Нужно было действовать. Савва зарядил револьвер, взял Ала-Верды и поехал в священный квартал.

Не напрасно мудрый Абдерасул предупреждал Савву никому не верить. Мешхедские купцы попытались и бедного Махмуда перехитрить, а когда у них дело не выгорело — избили его. Савва явился как снег на голову. Купцы не чаяли в молодом русском такой дерзости. Однако решили и его взять на испуг. Подняли гвалт, грозили натравить толпу. Савва тотчас отправился к полицмейстеру. Тот прислал охрану и приставил к товарам.

Восемь купцов пришли к Савве в караван-сарай, кланялись до земли, просили отсрочки на несколько дней. И тут в самое время пожаловал с визитом мсье Шоз, он сказал по-персидски, не столько для Саввы, сколько для купцов:

— Не беспокойтесь. Виновных выдерут по пяткам в вашем присутствии.

Купцы смирились. Савва вместе с ними опять отправился к нотариусу,

заклучил договор о расчете в трехдневный срок.

На третий день купцы собрали нужную сумму, и Савва со своими слугами, с феррашами мсье Шоза перенесли тяжелые золотые туманы в личную Саввину комнату, где стоял кассовый сундук.

О своем торговом успехе управляющий Мешхедской фактории решил дать телеграмму, но телеграф находился в Реште, чуть ли не за тысячу верст от Мешхеда, в западном углу Каспийского моря, близ Ензели, мимо которого Савва проплывал в начале своей персидской эпопеи. Нарочный ехал долго, и ответ пришел не скоро, но радостный.

Директор Бекман приказывал оставшиеся товары передать Мурзе Махмуду, а самому возвращаться в Баку.

Обратное путешествие Савва совершил верхом на лошади с неразлучным Ала-Верды. Добрались до Гязского берега, дождались парохода и — здравствуй, Баку, милый Пупыкин, даже бакинские сардины показали лакомством. В Баку снова была осень. Миновал год.

Директор Бекман поручил Савве ехать в Москву, заняться сбором товаров для Нижегородской ярмарки. Эта милость была заслуженной, выстраданной.

На место Саввы в Баку приехал Медынцев. Видимо, это один из трех братьев Медынцевых, друзей Павла Михайловича Третьякова, собирателя картин.

Павел Михайлович особенно близко дружил с Алексеем Медынцевым, который имел свое торговое дело и каждый год работал на Нижегородской ярмарке и заодно распространял запрещенный герценовский «Колокол».

Медынцева, видимо, тоже спасали от ареста, но он недолго жил в Баку, тяжело заболел, вернулся в Москву и умер.

Восток для здоровья северян небезопасен. Его коварство испытал на себе и Савва Мамонтов.

Иван Федорович, целуя сына, расплакался.

— Вот оно, Савва, как детей-то своих ждатель! — обнимал, утирал слезы, смеялся над собой: — Господи, сколько влаги накопилось.

Повел к иконам, перекрестился и сказал, не стыдясь торжественности тона:

— Был ты мне сын, а стал мне товарищ. Все наши купецкие тайны тебе передам, ибо ты, Савва, — наследник моему делу.

Закаспийское Торговое Товарищество доверило молодому Мамонтову ведать Московской конторой. И потому в Москве Савва трех дней не был, поспешил в Нижний Новгород закупать на ярмарке товары для персидских факторий.

Болезнь почувствовал неожиданно. Глядел с кручи у Кремлевской стены, как сливаются Ока с Волгой, и вдруг подкатила тоска под сердце — понял, что очень болен. Душа заметалась в панике, но головы не потерял. Передал дела младшему сотруднику и в тот же день уехал в Москву.

Доктор Топоров, осмотрев больного, потребовал собрать консилиум. Приговор хирурга Попова был суров: операция поясницы неизбежна.

Иван Федорович, не жалея никаких денег, пригласил знаменитого Иноземцева, тот диагноз подтвердил: «Псикас маиор», операцию, однако, отложил — организму нужен отдых.

— Какой отдых в русском холоде! Езжай, Савва, в Милан, — предложил Иван Федорович. — Хоть я обжегся один раз на Милане, но ты у меня пусть не старший сын и не младший, да наверняка самый умный... Главное, лечись, а от дела тоже не бегай. Приглядывайся, как Европа торгует. Будешь у Веденисова в Промышленной конторе, изучай шелковое производство. Шелком торговать — дело вечное.

Так зимой 1863 года Савва очутился в Милане.

Милан издавна был центром ломбардской торговли шелком-сырцом. Веденисов, предупрежденный Иваном Федоровичем, что Савве прежде всего нужно поправить здоровье, — работой нового сотрудника не загружал.

В Милане было чего смотреть, начиная от его четырнадцати ворот с беломраморной аркой Мира в честь Наполеона и кончая кафедральным собором, строительство которого закончилось в 1805 году, а началось в далеком Средневековье, в 1386 году. И как было не поклониться «Тайной вечере» великого Леонардо да Винчи в церкви Санта Мария делла Грация!

Савва исполнил благоговейное созерцание без позы и фальши. Сильное чувство он испытал и в Брере, перед полотнами того же Леонардо да Винчи, Рафаэля, художников ломбардской школы Луини, Болтрафио, Гауденцио, Феррари... Но Милан — это еще город Мельпомены! При двухстах семидесяти тысячах жителей в нем двенадцать театров, среди них несколько оперных и, разумеется, Делла Скала.

Савва снял просторную, но скромную квартиру во втором этаже на углу Корто.

— Восемнадцать снежных дней! — смеялся он, читая о суровости миланского климата.

Город утопал в цветах.

Работе Савва посвятил часы, а время отдал... учебе. Овладевал итальянским языком, без которого какая может быть торговля, и постановкой своего голоса. Голос в нем обнаружил Булахов, человек в русской музыке не последний!

Совсем иного мнения о качестве голоса русского были итальянские извозчики. Савва вспоминал в своих записках: «Два извозчика не выносили, когда приходил маэстро ставить мой голос, уезжали в другой переулок. Конечно, они не могли понять, что голос мой постепенно улучшался».

Имея средства, Мамонтов всю жизнь следовал одному твердому правилу — учиться у лучших педагогов, лечиться у лучших врачей, окружать себя людьми выдающимися и, по возможности, великими, пусть в будущем.

А потому оперные партии Савва разучивал под руководством самых известных преподавателей Миланской консерватории.

Брат Анатолий кончил тем, что пленился певицей Марией Александровной Ляпиной и, вопреки воле отца, обвенчался с нею.

Савва брал выше, его любовью была Муза, но она тоже подавала ему тайные знаки взаимности. Пусть не Делла Скала — театр попроще, но посещаемый, ценимый итальянцами, пригласил Мамонтова петь басовые партии в «Норме» и в «Лукреции Борджиа».

Может быть, силки славы и опутали бы молодого купца, но в это самое время Савва получил приглашение навестить московских знакомых, остановившихся в Милане, — Веру Владимировну Сапожникову, которая совершала путешествие со своей дочерью Елизаветой Григорьевной.

Веру Владимировну Савва не помнил, но Веденисов знал это семейство.

— Люди светлой души! Вера Владимировна Сапожникова — вдова, купчиха Первой гильдии, она родная сестра Сергея Владимировича Алексеева, человека весьма достойного.

В доме Алексеевых Савва бывал, но ехал к Сапожниковым без охоты, заранее придумав предлог, чтоб визит вежливости не слишком затянулся.

В гостиной, куда пригласили Савву, солнце ударялось о сверкающий паркет и так слепило, что пришлось прикрыть глаза.

«Хлебают солнце, как щи!» — мелькнула досадливая мыслишка.

— Здравствуйте! — голос был негромок, но такого милого, такого домашнего тембра, что Савва внутренне притих.

Девушка стояла у рояля, она, видимо, просматривала ноты и теперь

отложила их.

— Матушка сейчас выйдет.

Лицо строгое, а губы доверчивые, брови чуть вскинулись, и в них такая милая неуверенность, такой детский испуг.

— Вы играете? — спросил Савва.

— Да кто же нынче из купеческих девиц не играет? Грамоты еще можно не знать, а вот чтоб на инструментах не играть, такого невозможно.

— Что же у вас за ноты?

Девушка вспыхнула, прикрыла глаза длинными черными ресницами:

— Это оратория Листа «Святая Елизавета».

— Господин Лист теперь итальянец, в Риме живет. Уж такой, говорят, истый католик, что собирается в монахи постричься.

В гостиную вошла Вера Владимировна:

— Простите, Савва Иванович, что задержалась. Это дочь моя, Елизавета Григорьевна. Мы собирались портик смотреть возле церкви Святого Лоренцо. А где это — не знаем. Лизе древности подавай.

— Я покажу вам эту коринфскую колоннаду и охотно буду вашим Вергилием! — сказал Савва. — Надо обязательно посмотреть церковь Святого Амвросия, она построена самим Амвросием в четвертом веке. А знаете, на каких развалинах? Храма Бахуса! В этой церкви, кстати, короновались особою железной короной короли и германские императоры...

— Перед поездкой я прочитала «Божественную комедию» Данте, — сказала Елизавета Григорьевна. — Я ожидала, что здесь будут горы, плавающие в туманах, снопы лучей из облаков, как у Эль Греко. Но оказалось все не так. В природе — рай, а в жизни людей — жизнь.

— Но среди великих памятников! — тонко подметил Савва.

Он посмотрел на Елизавету Григорьевну и увидел, что она вся — внимание. Смutilась, отвела взгляд, и Савва почувствовал в груди нежность.

Дни пребывания Сапожниковых в Милане таяли, как весенний снег. О шелковых делах было забыто так основательно, что Веденисову пришлось вернуть Савву с небес на землю. Тут Савва и признался своему наставнику, что Елизавета Григорьевна для него не просто дочь московских знакомых.

— Ей семнадцать, тебе двадцать три, — одобрительно рассудил Веденисов. — Семейство солидное, дело молодое, с Богом. Проси согласия у батюшки.

Савва отправил домой телеграмму, но Иван Федорович ответил письмом: «Выбор подруги на всю жизнь зависит от сердца и здравого

рассудка, одного другим поверенного. Выбор твой указанной невесты Лизы Сапожниковой, если не противоречит сердцу, есть выбор правильный и достойный».

Пока письмо шло, Савва отправился с семейством Сапожниковых в поездку по Италии. В Неаполе, однако, пришлось проститься: Вера Владимировна направлялась с дочерью во Францию.

Улучив момент и набравши в грудь воздуха, Савва попросил Веру Владимировну выслушать его. Вера Владимировна выслушала, ответила не строго:

— Ох, Господи! Сладко дочь растить, да расставаться солоно. Оперились, видно, крылышки у Лизы... Что тебе сказать, Савва Иванович? Через месяц приезжай в Ниццу. Если чувство не переменится, не пропадет, сам Лизе скажешь.

Вернувшись в Милан, Савва и в голосе прибавил, и шелком занялся всерьез. Изучал дело, думая о будущем.

С 1800 года Россия ввозила шелка-сырца по четырнадцати тысяч пудов, в царствие Александра ввоз несколько упал, но в 1841–1850 годах поднялся почти до шестнадцати тысяч пудов и опять скатился до четырнадцати тысяч. Шелк-сырец покупали в Австро-Венгрии, в Германии, во Франции, в Швейцарии, в Китае и в Италии. Готовых шелковых изделий ввозили не много, на три-пять миллионов рублей в год — пошлины высокие. Шелковая пряжа, изготавливаемая в России, качеством уступает заграничной. Миланская основа стоит в России 356 рублей за пуд, китайская — 312 рублей, а своя, маргеланская, — 180 рублей. Отечественная шелковая промышленность развивалась в Московской да во Владимирской губерниях. Фабрики все небольшие, полукустарные.

«С отцом надо посчитать, — думал Савва, — не открыть ли свою фабрику?»

Выступление в театре пришлось отложить, ждал истечения месяца.

Помчался в Ниццу.

Вера Владимировна отпустила Лизу погулять с Саввой.

Было огромное море, огромное небо. Они посмотрели в глаза друг другу. Савва спросил:

— Вы знаете, почему я здесь?

— Да, — сказала Лиза.

Он взял ее за руку, и ее рука дрожала точно так же, как и его. Он радостно и громко вздохнул.

— Я прошу вас быть моей женой.

Задохнулся воздухом, договорил эту бесконечно длинную фразу уже одними глазами, потому что голос совершенно пропал.

— Да, — сказала Лиза. — Да. Я согласна.

И потрогала рукой щеки.

Они рассмеялись. Так смеются дети, когда у них завелась счастливая, им одним ведомая тайна.

Спеть хоть однажды со сцены, перед публикой, Савве Мамонтову так и не пришлось. Отец прислал телеграмму: тетушка при смерти, желает проститься с любимым племянником. Савва тотчас отправился в Россию.

8

Иван Федорович купил под Москвой большой дом неподалеку от села Киреево. Потянуло к природе, к земле, к вечности.

Остался киреевский дневник Ивана Федоровича, но это не дневник событий и чувств, а скорее регистратор гостей и температуры воздуха. «1864 г. Май 21. Четверг. Погода жаркая. Прибыл я в Киреево». «8 июня. Пятница. Духов день. Жарко. На солнце 32°... В 9-ом часу был пожар, сгорело 2 крестьянских дома».

Савва в Кирееве появлялся редко. Отец дал ему средства на собственное дело. В центре Москвы, на Ильинке, Мамонтов-младший открыл амбар для продажи ламбардского шелка. Великих прибылей дело не обещало, но торговля шла солидно. Чтоб голова лишний раз не болела, бухгалтером в контору Савва Иванович взял своего благородного товарища, с которым вместе перебивался в Баку сардинами, Александра Константиновича Пупыкина.

У самого Ивана Федоровича дела процветали. Коммерческий успех Троицкой железной дороги подталкивал продолжить строительство линии до Ярославля. Однако капитал еще не вернулся, а строить в долг купцы старой закалки не любили. Богатство добывается всю жизнь, а просвистать его можно в считанные дни.

Довелось Савве сумерничать с отцом в киреевском доме. Сидели перед топящейся голландкой, на огонь смотрели.

— Сколько моих золотников, хотелось бы знать, в тебе, — неожиданно

сказал Иван Федорович, тихонько посмеиваясь.

— Должно быть, одна половина, — ответил Савва. — А другая — от матушки.

— Нет, это не верно. От родителей в человеке только легкая тень сверху да внутри ларец. Заглянуть бы в тот ларчик, лучшее ли от меня тебе досталось?

— Лучшее, — уверенно сказал Савва.

— Я и сам вижу, что есть и лучшее. Но худшего тоже немало.

— Да в чем оно?

— В легкомыслии.

— Батюшка, да неужто ты, Мамонтов...

Иван Федорович поднял руки:

— Савва, умерь пыл. Это как раз та самая птица пфuffyрь перышки в тебе растопырила, о которой я и говорю... Бороться с ней смысла нет, но умом про нее знать надо. Поглядывай за нею, Савва. Она красивая, смешная, но проглядишь — клюнет страшно, в глаз.

Савва почувствовал, что отец готов откровенничать, и попросил:

— Рассказал бы ты о деде моем. Ничего ведь не знаю.

— Бог с ним с дедом, — легко отмахнулся Иван Федорович. — Для меня отцом был Аристарх Иванович. Он одну в меня истину вдалбливал: «Иван! Не верь молодости. Молодость курва!» Суровый был человек, но честный. Не подслащивал жизнь, не подкрашивал. За это я ему по гроб благодарен. А вот старшая дочь его, Ольга Аристарховна, была совсем иной человек. Красивая, мечтательная, и ведь не бедная, а в старых девах век куковала. Тетрадку мне свою давала читать со стихами. Там было даже недозволенное, поэма «Войнаровский»... Твои студенческие шалости, сын, с кровями тебе передались.

— А какое у нас родство с декабристами?

Отец пошевелил кочергой поленья:

— Я еще не совсем старик, чтоб все тайны семейные, все грехи предков на детей своих перекаладывать. Сам поношу, сколько сил есть. Не спеши, Савва. Ты у меня молодец. За невесту хвалю. Свадьбу еще не сыграли, а я уже внучат начал ждать.

Купеческие браки являлись делом для общества чрезвычайно серьезным. Согласие родителей — полдела, необходимо было заручиться

одобрением всего купеческого сословия.

«Свидетельство из Московской Купеческой Управы, дано сие Потомственной Почетной Гражданке временно Московской 1-ой гильдии купеческой дочери девице Елизавете Григорьевне Сапожниковой в следствии поданного от матери ея Потомственной Почетной Гражданки, временно Московской 1-ой гильдии купчихи вдовы Веры Владимировны Сапожниковой прошения и состоявшейся по оному резолюции, в том что по сказке 10-ой ревизии, поданной 24 февраля 1858 года ей, Елизавете Сапожниковой показано от роду 10 лет и если она пожелает вступить в законный брак, то со стороны Купеческой Управы препятствий к тому нет. Апреля 13 дня 1865 года».

Коли препятствий ниоткуда не было, оставалось пойти под венец и сыграть свадьбу. Купеческую! Чтоб небесам стало жарко.

Но, видимо, характер Ивана Федоровича, так любившего балы и званые обеды, к тому времени сильно переменялся. А может, Савва на том настоял, и уж наверняка невеста и матушка ее, Вера Владимировна, были на то согласны.

Венчание Саввы и Елизаветы совершалось в домашнем кругу, не на погляд всей Москве, в Кирееве.

25 апреля 1865 года Иван Федорович нашел-таки время и записал в дневнике: «Воскресенье. День ненастный. Была обедня. Гости прибыли к 3 часам прямо в церковь. Венчание кончилось к 4 часам. Пир начался обедом...»

Вера Владимировна была против свадебного путешествия, почитая эту новую моду за ненужное баловство и пустую трату денег, но Савва был тверд. Однако, чтобы смягчить непослушание, несколько отложил путешествие. Май, июнь молодые жили в Кирееве, и Савва даже успел оформить официальную бумагу об опекунстве... над женой.

«Указ Его Императорского Величества Попечителю Почетному Гражданину Савве Ивановичу Мамонтову Сиротский Суд сим уведомляет Вас, что Вы определены Судом попечителем к жене Вашей Елизавете Григорьевне до совершеннолетия ея, для совета и защиты в делах ея. Мая 18 дня 1865 г.»

Итак, пришлое для Москвы семейство Мамонтовых породнилось с солидными купеческими домами Сапожниковых и Алексеевых, тоже пришлыми, но крепко осевшими в стольном граде. В бумагах Саввы Ивановича сохранился крошечный конверт, а в нем визитная карточка Сергея Владимировича Алексеева с надписью:

«Госпоже Вере Владимировне Сапожниковой.

Сегодня в 3 часа пополудни Бог дал нам сына Константина благополучно. Брат твой 5 янв. 1863 г. Сергей Алексеев».

Это, видимо, самое первое сообщение о рождении Константина Сергеевича Алексеева, *известного всему театральному миру под артистическим псевдонимом Станиславский*.

В свадебное путешествие молодая чета Мамонтовых отправилась в Италию. Савва хоть и молод был, но душой чуток. Чтоб Елизавете Григорьевне было легче входить в новую жизнь, он взял с собой сестру Ольгу, ровесницу Лизы. Возвратились в Москву в августе. Здесь их ожидал большой, радостный и щедрый подарок.

— Был ты, Савва, частью меня, частью дома моего, — сказал сыну Иван Федорович, — ныне ты сам себе купец и сам себе дом. Посему владей, богатей, плоди племя наше, имя наше. Мамонты вымерли, да укоренятся в жизни Мамонтовы!

И вручил Елизавете Григорьевне ключи от двухэтажного — низ каменный, верх деревянный — дома на Спасской-Садовой улице против Спасских казарм.

Свой дом — свой корабль. И поплыл тот корабль по житейскому морю, а горой Арарат, куда можно было причалить и укрыться от бурь, оставался мудрый, несокрушимый в делах Иван Федорович.

Семейная летопись Мамонтовых запечатлена в скромном «Дневнике» Елизаветы Григорьевны. Почерк ее читается с большим напряжением, и не потому, что неряшлив, а наоборот — это какой-то беспощадный порядок! Буквы стоят плотно, как солдаты, щетинясь остротой углов, нигде никакой округлости. Посмотришь раз и — полное отчаяние. Не прочитать! И ведь не прочитать, если вглядываться в начертание букв. Схватить слово можно только с разбегу, и не останавливаясь, мчишь по строчкам, пока не зарядит в глазах! Правда, временами фиолетовый чернильный карандаш уступает место перу и черной туши. Солдатский прусский строй рушится, письмо становится воистину славянским, округлым, понятным. Сам текст, однако, прост, ясен, без стремления найти красивое слово или подчеркнуть важность события какой-либо мудростью. Вкус автора безупречен.

«Дневник» уместился в двух толстых, шикарно переплетенных тетрадах. Писала скорее всего не для себя, а для детей. Чтоб знали о своем рождении, младенчестве. А вот о себе самой, своем детстве, девичестве, первых годах замужества — ни словечка!

«Сережа родился 4 апреля 1867 г. в 6 ¼ часов вечера, во вторник, на шестой неделе Великого поста, — начинает свою семейную хронику Елизавета Григорьевна. — При его рождении присутствовала бабушка Вера Владимировна. Это был ее первый внук. Вообще рождение Сережи было событием в семье, его все приветствовали с радостью и возлагают на него много надежд. Дедушка, два моих брата и несколько друзей отца сидели в кабинете и ждали радостного известия. Отец при виде, что это мальчик, расплакался и не смотря на сопротивление бабушки, понес новорожденного показывать собравшимся в кабинете. Там собравшиеся подняли такое ликование, что бабушке пришлось их просить отправиться пировать к ней в дом».

Елизавета Григорьевна была истинно русская женщина, она не доверяла бумаге, не доверяла словам хранимое в сердце. Любовь — для любящих, свидетель любви — Бог. Савва Иванович о любви гимнов тоже не сочинял, боялся спугнуть птицу счастья. О сокровенном он не говорит, он — делатель семейного очага. В суевериях такой же, а по характеру —

совсем иной человек, нежели Елизавета Григорьевна. С мужанием в Савве Ивановиче развилась литературщина, состояние тщеславной восторженности, в которую впадает большинство одаренных людей. Тот, кто умеет изжить, преодолеть это и сохранить высоту душевных взлетов, становится художником.

Вот стиль Мамонтова той поры. Посетив Севастополь и Малахов курган, он почувствовал в себе «писателя». «... Внизу под вами, под курганом, этот фатальный ров, куда десятками тысяч складывались во время отчаянных штурмов милые легкомысленные жизни французской бойкой молодежи, здесь раздавались вдохновляющие возгласы и раздирающие душу вопли и стоны умирающих. Здесь уныло и хмуро, до тупости терпеливо и просто умирал старый измордованный русский солдат за Веру, Царя и Отечество... Это была не война, а дикое тупое упрямство, которое довело до последнего одурения обе стороны. Теперь такие войны едва ли мыслимы»...

Многословие, выпренность и некое высокомерие по отношению к истории своей страны.

У Саввы Ивановича интересы — в мировом масштабе. Оставляя жену с шестинедельным сыном, он едет в Париж на Всемирную выставку, а у Елизаветы Григорьевны какие заботы? Грудница. Кормилицу нужно найти для Сережи. С кормилицей повезло, взяли деревенскую бабу, красавицу Пелагею Яковлевну. Появилась няня Наталья Владимировна, дочь священника, девушка приветливая, ловкая. Пока муж в заграницах, Елизавета Григорьевна живет у матери, в ее имении, в Покровском... А в августе, оставив сына бабушке, отправляется с мужем в Нижний Новгород на ярмарку. Решили было совершить плавание до Саратова, но доплыли только до Макарьева монастыря. Уж очень плохая погода.

В записях Саввы Ивановича читаем: «Отец относился ко мне и к моей жене очень осторожно и сердечно».

Иван Федорович надежды свои по-прежнему возлагал на Савву, хотя и Анатолий взялся за ум, завел типографию, зарабатывал хорошие деньги. Николай был еще молод, а вот Федор требовал постоянного внимания. Женился, но женитьба от болезни не избавила.

Читаем в дневнике Елизаветы Григорьевны: «В сентябре беременна вторым ребенком... Зимой очень хворал брат мужа Федор Иванович, у него нервное расстройство».

Весна 1869 — исключительная. В апреле жарко, как в июле».

Савва Иванович подарил сыну на двухлетие двух больших солдатиков. Сережа назвал их Кирюшей и Гаврюшей. В день рождения именинника

нарядили мужичком: в русскую алую рубашку, в сапоги. Сережа расхаживал по гостинной и, веселя взрослых, пел:

— Славься да славься русский царь!

— Мужик, — поправлял внука Иван Федорович.

Сережа призадумывался, качал головой и стоял на своем:

— Царь!

На радость Елизавете Григорьевне Савва Иванович купил у своей тетки и крестной матери, у Серафимы Аристарховны Гуляевой, часть ее сада, запущенного, заросшего травой. Елизавета Григорьевна ходила в сад глядеть на цветущие яблони и вишни, в белую кипень, чтоб у бьющегося под сердцем младенца душа была красивая.

День 19 мая выдался таким теплым и душистым, что Елизавета Григорьевна отважилась вместе с Саввой Ивановичем на пешую прогулку по Кузнецкому Мосту.

В полдень, когда воротились домой, стало сильно парить, сбиралась и никак не могла разразиться какая-то невиданная гроза. Гром грянул уже в сумерках. Молнии секли небо без пощады, раскаты ударов сливались в сплошной рокот. Елизавете Григорьевне стало дурно.

«Утром прибежала мать и акушерка Надежда Ивановна, — читаем в „Дневнике“. — В 7 ½ вечера родился Андрей. Было это в воскресенье».

Смотреть внука приезжал Иван Федорович. Мальчик поразил дедушку черной длинной шевелюрой и росточком:

— Никогда не видел такого маленького ребенка! Но, слава Богу, здоровенький.

Елизавета Григорьевна пишет: «В этом же году вышел роман Гончарова „Обрыв“. Читали вместе с сестрой мужа Ольгой. Мы с ней были одних лет и очень дружили. Дедушка торопил переезжать в Киреево. Сережа боялся деда, плакал, а теперь очень подружился с ним. Ходил каждое утро к нему за баранками... Подружился с двоюродными сестрами: Машей и Соней — дочерьми Федора Ивановича».

Савва Иванович впервые беседовал с Федором Васильевичем Чижовым, компаньоном отца, о делах практических и можно бы сказать — ничтожных, но знание этих дел, здравость суждений и внимательность к малому, сосредоточенность на предмете до того понравились этому матерому человеку, что он прослезился.

— Не осуждайте старца за мокроту, — лицо Федора Васильевича светилось. — За тебя рад, за себя рад, а за дело покоен.

Савву Ивановича по настоянию Чижова пригласили в Общество Троицкой железной дороги, провели кандидатом в Правление. Ему тогда еще не было двадцати восьми лет.

Федор Васильевич Чижов был воистину русский человек, и уж о ком говорить — сын Отечества, так о нем.

По рождению дворянин, он хватил и в родной костромской глуши, и в студенчестве безнадежной голодной бедности. Имея надежды только на свои силы, закончил Петербургский университет со степенью кандидата физико-математических наук. Его оставили в университете преподавателем начертательной геометрии. Двадцати пяти лет Чижов получил степень магистра, защитив диссертацию «Об общей теории равновесия с приложением к равновесию жидких тел и определению фигуры Земли». Через два года, в 1838 году была напечатана его вторая ученая работа и первое отечественное исследование о паровых машинах. «Паровые машины. История, описание и приложение их». Но самым замечательным было нежданное перерождение математика и физика в гуманитария.

В 1839 году Чижов издал перевод «Истории европейской литературы XV и XVI столетий» Галлама со своими примечаниями. Прекратил читать лекции по математическим наукам и преподавал литературу и искусство. Его переделка с английского «Признание женщины» имела успех у читателей. Но писательский путь он тоже оставил. Появившиеся деньги и жажда искусства привели его в Италию. В итальянском искусстве он видел путь к познанию истории человечества. Статьи по искусству, преимущественно о русских художниках, работающих в Италии, он печатал в «Современнике», в «Москвитянине». Стал близким человеком Языкову и Гоголю.

В 1845 году Чижов после пяти лет заграничной жизни приехал на родину. Познакомился с Хомяковым, братьями Киреевскими, с Константином Аксаковым, с Самариным и воротился в Италию славянофилом. Он совершил большое путешествие по южно-славянским странам и в 1847 году был арестован на границе России и доставлен в Петербург. (Ответы Чижова в 3-м отделении были напечатаны уже после его смерти в «Историческом вестнике» за февраль 1883 года.) Больших грехов за Федором Васильевичем не сыскали, но ему пришлось отправиться в Киевскую губернию, где он арендовал поместье, и заняться разведением шелковичных червей и шелководством. По смерти Николая I ссылка закончилась. Чижов приехал в Москву и принялся пестовать двух

новых младенцев, национальную русскую торговлю и национальную русскую промышленность. Он издает и редактирует «Вестник промышленности» и газету «Акционер». Свои теории, свои призывы к активности русского капитала Федор Васильевич претворяет в делах. Много хлопотал над созданием Московского Купеческого Банка, Московского Купеческого Общества Взаимного Кредита. Он не только строил железную дорогу с Мамонтовым, но и организовал Товарищество Архангельско-Мурманского Срочного Пароходства.

Теперь все его помыслы были отданы превращению коротенькой дороги от Москвы до Сергиева Посада в дорогу экономическую, в торговый путь из центра на Север. Общество Троицкой железной дороги было преобразовано в Северное. Дорогу было решено продолжить до Ярославля. И Чижов был очень доволен, что рядом с ним набирается ума и опыта молодой Мамонтов, смена.

А смена была рисковая, Федор Васильевич это чувствовал по тому, как Савва скрывает недовольство, когда дело касается расчетов и трат. Но ведь деньги, как голуби, хоть и прирученные, да кто же знает — вернуться ли из полета? Могут чужую стаю за собой привести, а могут улететь к соседу.

Чижов главным инженером Троицкой железной дороги пригласил инженера Валериана Александровича Титова, человека уважаемого и знающего. Эксплуатацией ведал инженер Василий Александрович Шмидт, строитель и воспитанник Николаевской дороги. Опыт такого работника дорожке золота, но у Саввы Ивановича на этот счет было свое мнение. Опыт хорош, если не тормозит дела чрезмерной въедливостью, если не пасует перед размахом планов. Поколение отца, Чижова, Шмидта через канаву за рублем не прыгнет, как бы копейки не растрясти. Савва, однако, помалкивал, не хотел пугать стариков фантазиями, старался показать себя толковым исполнителем.

Осторожничать и в строительстве, и в эксплуатации дороги было отчего. Оснащенность путей, обслуга хромали на оба рельса. Без приключений царя не всегда могли доставить до места. Граф Витте, работавший на железных дорогах и одно время занимавший пост министра путей сообщения, вспоминал, как однажды на станции Бирзула поезд укатил, оставив своего главного пассажира. В другой раз, не доезжая Жмеринки, императорский состав сошел с рельсов, и Александр II пришел на станцию пешком.

— А кто нынче правит бал в нашем деле? — спросил Чижова Савва Иванович.

— Хищники, — ответил Федор Васильевич честно. — Самуил

Поляков, Кроненберг, Блюх. Им подсвистывают Фелькерзам, Фельдман. Министр Бобринский это жулье не очень-то жалуется, но у них не деньги — деньжищи. Чиновник, не берущий взятку, — существо зачумленное. Да и перепадает им, как шакалам, от пиршества львов. Княгиня Долгорукая тоже подношениями никогда не брезгует, если только подношение значительное.

— Кто же из русских-то, кроме Кокорева Василия Алексеевича, ворочает делами в железнодорожном бизнесе?

— Губонин. Этот и теперь выглядит, как мужик. Только пузо отрастил. Однако умен, хватку имеет мертвую. Кто еще? Барон Штенгель, фон Мек, барон Дервиз.

— Эти тоже русские?

Чижов засмеялся:

— Савва! Совсем еще недавно концессии на строительство железных дорог никто брать не хотел. Рассказывают, что прежний министр финансов Рейтерн, товарищ Дервиза по школе, едва уговорил его взять концессию на строительство Московско-Рязанской и Рязанско-Козловской дороги. Это потом уж Дервиз в охотку вошел, выпросил, выторговал концессию на постройку Курско-Киевской дороги. Был смел — вот и съел. До того богат, что пустился в чудачества. Купил замок в Италии. Держит оперу для одного себя. Старухе жене на званом обеде поднес на блюде миллион золотыми монетами. Поклонился ей за верность и при всех гостях просил оставить его ради молодых дам. Так что, Савва, глупости, интриг, подлости в мире железных дорог не меньше, чем в иных сферах российского производства, но, думаю, и не больше. Мой тебе совет: дело свое делай, а по сторонам не забывай поглядывать. Главное, не зарывайся, чтоб ненавистников не нажить.

— Я согласен, — сказал Савва Иванович, — будем делать наше дело спокойно. Но еще один вопрос: что из себя представляет — имею в виду подноготную — Главное общество Российских железных дорог?

— Химеру, — определил Федор Васильевич. — Все это спекулянтская затея и ограбление русского дурака. Среди учредителей главную скрипку поют иностранные банки, в основном, еврейские: Мендельсон — берлинский банк, Френкель — варшавский, братья Перейра — парижский, братья Беринг — лондонский, еще один парижский банк — Готтингера и Штиглиц — тут как тут, этот свой, петербургский. Беда ведь в том, что вкладывают иноземцы деньги неохотно, а барыши загибают и вывозят из России.

— Пора бы свои деньги иметь! — сказал в сердцах Савва. — Господи, не обделил же нас Бог умом!

— Вот и работай, чтоб за наш, за русский ум стыдно не было, — сказал Федор Васильевич без улыбки.

Мамонтов-старший был рад за Савву: коли умеет понравиться старикам, молодых обаяет без труда. Обаяние для делового человека оборачивается звоном лишних монет. Иван Федорович несколько отстранился от дел, давая Савве почувствовать самостоятельность. Настоящая учеба была впереди, и вдруг — обрыв.

«Раз 8 августа, — пишет в „Дневнике“ Елизавета Григорьевна, — дедушка приехал из Москвы, взял Дрюшу на руки, поехал кататься на коляске. Вечером собрал на балконе внуков — устроил фейерверк. На другой день захворал. По определению докторов М. Е. Мамонова и Соколова — воспаление брюшины. Болел десять дней и 19 августа... скончался. Дня за три к нему водили внучат прощаться. Увидев Сережу, сказал: „А Сережа в красной рубаше“. Похоронили в Алексеевском монастыре. Смерть повлияла на Ольгу Ивановну».

Чтобы смягчить душевное потрясение сестры, Савва Иванович отправил ее вместе с Елизаветой Григорьевной в Киев. Елизавета Григорьевна взяла с собой Сережу и Дрюшу. Читаем в «Дневнике»:

«В Киеве 1-ый раз, очень понравился. Погода дивная, ходили на Святой холм. Встретились там с Александрой Ивановной Карнович и ее дочерью Любой».

Какое наследство получил Савва Иванович, нам в точности неизвестно. Неизвестны и капиталы, оставшиеся от Ивана Федоровича. Каждый из наследников что-то получил, и не мало. Киреево досталось больному Федору Ивановичу, возможно, и деньги ему были оставлены. Сам он не мог вести дела. Ясно, что Савва Иванович обрел контрольный пакет акций Троицкой железной дороги, которая теперь уже именовалась Северной.

Председателем Правления был избран Федор Васильевич Чижов. Педантичный в делах, он ревниво следил за расходами, и Савва Иванович понимал, чтобы совершить прорыв от немалых денег к большим, от выверенных, сто раз отмеренных дел к делам выдающимся, требующим столь же великого риска в будущем, нужно еще многому учиться у Федора Васильевича. У него — имя и честь среди купечества, связи в чиновничьем Петербурге. И Савва действительно учился, с наслаждением, не зная меры.

Деловые встречи и работа были его уроками.

Отдыхать, ничего не творя, Савва Иванович тоже не умел. Летом 1868 года в Кирееве превратили пустую ригу в театр и сыграли пьесу Островского «Грех да беда». Публики было немного, да все ж не как у Девиза в опере, где он один был публикой.

Иван Федорович не промолчал, как после «Грозы», хвалил Савву, не боялся, что соблазнится жизнью актеришки.

Зима после смерти отца была какая-то пустая. Москва без отца была пустая.

Савва Иванович часто ездил в Ярославль по делам дороги, Елизавета Григорьевна взялась за учебу, посещала женские курсы во 2-й мужской гимназии на Разгуляе, где когда-то вымучивал свое учение муж. Не в пример Савве, училась превосходно, увлеклась математикой.

Беспокоил Дрюша. Заметила у него какое-то постоянное движение зрачков, голова стала подергиваться. Врачи, лекарства, тревоги.

А Савва Иванович совершил первый серьезный самостоятельный поступок. Возникла мысль провести из Ярославля ветку до Костромы. Чижов был костромич, ему бы радоваться — поклониться родному городу столь большим подарком, а он боялся убытков и откладывал решение вопроса. Да и заболел. Савва на Правлении сказал складную речь, предъявил убедительные расчеты, и собрание проголосовало за строительство.

Сразу после собрания Савва поехал с членами Правления на квартиру своего наставника и председателя.

Федор Васильевич совершенно перетрусил:

— Что вы сделали?! Вы хотите разорить Общество Московско-Ярославской железной дороги?

— Избави нас Бог! — твердо возразил Савва Иванович. — Мы хотим не разорить, но обогатить наше Общество. Мы хотим, Федор Васильевич, вашу родную Кострому соединить с миром, хотим истребить еще одно российское захолустье.

В своих записках Мамонтов вспоминает о страхах Чиждова и не без гордости скажет: «Дорога была выстроена очень аккуратно и дешево и днесь благоденствует. К сожалению, мой великий учитель не дожид до открытия движения по Костромской дороге».

Но Федор Васильевич успел другое.

В правительстве возник вопрос о строительстве Донецкой каменноугольной линии протяженностью в 500 верст.

Времена были уже не те, что при Девизе. Охотников получить

концессию нашлось много. Государство, приветствуя строительство железных дорог, гарантировало не только от убытков, но, оставляя за собой не проданные на рынке ценных бумаг облигации железнодорожных обществ, обеспечивало гарантию прибылей.

Княгиня Долгорукая за взятки раздавала концессии. У Федора Васильевича Чижова нашлись, однако, такие сильные ходатаи в Петербурге, что на состоявшихся торгах концессия Донецкой каменноугольной дороги была отдана Савве Ивановичу Мамонтову. Адмирал Посьет, министр путей сообщения, помог. Мамонтов занял место председателя Правления, а Валериан Александрович Титов получил оптовый подряд на строительство.

Имя Мамонтова стало известным и в деловых кругах, и в правительственных.

4

Февраль 1870 года просиял такою синевой небес, что и Савва Иванович, и Елизавета Григорьевна встрепенулись, как птицы, захопотали о летнем гнезде. Без отца Киреево было уже не родное, жить под одной крышей с Федором Ивановичем непросто, да ведь пора обзавестись своим именем.

Савве Ивановичу предложили посмотреть дом и землю в Столбове. Место понравилось. Есть лес, есть река, дом просторный, крепкий.

Но вдруг узнали, что в Абрамцево продается имение Аксакова.

Федор Васильевич Чижев рассказывал об Абрамцево только с восклицательными знаками. Решили дожидаться первого воскресенья и посмотреть, что это за чудо такое. От Москвы далековато, в шестидесяти километрах, но зато по Троицкой дороге.

— Абрамцево, Абрамцево, — напевал Савва Иванович.

В «Дневнике» читаем: «22 марта, в воскресенье, муж, Николай Семенович Кикин и я поехали его посмотреть».

На станции ждали розвальни. Ехали просекой монастырского леса, монастырь этот был в Хотькове.

День выдался ясный, снег пламенел на солнце, и на губах был вкус весны. Огромные темные ели словно бы расступались перед желанными жданными гостями. Выехали к речке.

— Это Воря, — сказал Савва Иванович.

И тут на горе они увидели серый с красной крышей дом. Сердце у

Елизаветы Григорьевны тихонько ёкнуло, Савва Иванович заглянул ей в глаза и сжал руку.

В усадьбе их встретил камердинер Сергея Тимофеевича Аксакова. Седой, величавый, очень бодрый.

— Ефим Максимович, — назвал он себя, ласково, но зорко поглядывая на приезжих. — Милости прошу, осмотрите. Может, и приглянетесь домовому.

— Сердитый, что ли, он у вас? — спросил Савва Иванович.

— Тоскучий. Без хозяев и сам извелся, и на нас сиротство нагнал. Софья Сергеевна, дочь Сергея Тимофеевича, уже второй год у нас не была. Живу я с женой, с дочерью, вместе с домом ветшаем. А место сие, господа, — вечное.

Старику, видимо, понравились покупатели, не хотел их упустить.

— Здесь летом и грибы, и рыбалка. Сергей Тимофеевич каждый вечер удил.

— Говорят, в этом доме бывал Николай Васильевич Гоголь? — спросила Елизавета Григорьевна.

— Господи, и бывал, и живал. У нас и комната ихняя сохраняется. Коли желаете осмотреть, извольте подняться на второй этаж.

Поднялись по винтовой скрипучей лестнице.

— Сия комната, что окнами в лес, — Константина Сергеевича, а сия — окнами во двор — Николая Васильевича.

— Он, что же, и сочинял здесь? — спросила Елизавета Григорьевна.

— А как же! И сочинял, и гопак плясал... А уж какой грибник был, не хуже Сергея Тимофеевича. За грибами, правду сказать, за Ворю ездили, в монастырский бор. Николай Васильевич однажды нашел уж такой диковинный гриб, что в красках его изобразил. Гриб-то обыкновенный, белый, а необыкновенного в нем — ножка. Длинная, с изгибами! Ну как змея. У Константина Сергеевича та картина висела. Николай Васильевич сам повесил.

На обратной дороге любовались лесными взгорьями, черными могучими дубами.

— Как хранители стоят, — сказал Савва Иванович.

Уже на следующий день 23 марта он был у Софьи Сергеевны, в ее московском доме.

Дочь Аксакова оказалась человеком искренним, но твердым. За Абрамцево она желала получить пятнадцать тысяч рублей и никак не меньше. У нее уже несколько раз бывал купец Голяшкин, но Голяшкин давал за имение тринадцать тысяч, а деньги Софье Сергеевне были нужны

на сиротский приют. Лес вокруг имения она уже продала мытищинскому дельцу Головину.

— И дубовую рощу тоже?! — воскликнул Савва Иванович.

— И дубовую рощу. Без Сергея Тимофеевича Абрамцева уже нет.

— Так мне придется и лес выкупать! — вырвалось у Мамонтова.

— Это как вам угодно будет, — сказала Софья Сергеевна. — Все сараи и службы там прогнили, дом тоже потребует затрат, да только другого такого имения, как Абрамцево, во всем свете нет. Это, милейший Савва Иванович, не уговоры купить старое да ветхое задорого, это — истина, которую не всякий понять может.

Наутро Мамонтов привез задаток. В первых числах апреля оформили купчую. У самого Саввы Ивановича свободных денег, видимо, не оказалось. Были потрачены деньги из приданого Елизаветы Григорьевны. Купчую выправили на ее имя.

Полностью спасти лес не удалось. Головин был из расторопных крестьян, настоящий кулак. Дубовую рощу смахнул бы, глазом не моргнув, Бог не попустил. Пришел срок очередного платежа, и Головин этот платеж просрочил, не нашлось двух с половиной тысяч. Савва Иванович внес требуемую сумму и спас богатырскую красоту от истребления.

8 мая Елизавета Григорьевна приехала в Абрамцево подготовить дом для семейства.

Ефим Максимович, его жена, его дочь Дуня вместе с привезенными из Москвы слугами расставляли кровати в спальнях, столы и стулья. Кое-какая мебель сохранилась от Аксакова. На стенах висели портреты и фотографии близких Сергею Тимофеевичу людей.

Елизавета Григорьевна долго рассматривала лицо старого хозяина. Белая борода на щеках и на подбородке похожа на воротник из птичьего пуха. Лицо спокойное, без фальшивой значительности. Фотография сделана, когда Сергей Тимофеевич был в преклонном возрасте, но видно, что это очень сильный человек. Глаза ясные. В них тоже никакого актерства, а фотографы так любят заставить человека изобразить веселость, или сам запечатляющийся напустит на себя «умного вида». Крупный нос, красиво очерченные губы, волосы, уже поредевшие, зачесаны гладко, за ушами поповская гривка.

Странно. Человек прожил большую жизнь, преклоняясь перед Пушкиным и Гоголем, не ведая, что его собственное имя будут ставить рядом со столпами отечественной словесности.

Вдруг Елизавете Григорьевне показалось, что кто-то ласково и быстро

почесал ей ладонь левой руки. Она повернулась — никого. Сжала пальцы, словно не хотела отпустить этот таинственный знак.

В комнату вошел Ефим Максимович.

Его оставили за управляющего, а жену его определили в прачки.

— Погуляйте, Елизавета Григорьевна. Поглядите, как Воря в этом году поднялась, никак не отхлынет. Сергей Тимофеевич говаривал: русский народ любит смотреть на движение воды.

— А в каком году было куплено Абрамцево?

— Сергеем Тимофеевичем? В сорок третьем годе. Константин Сергеевич уже диссертацию свою защитили, о Ломоносове. Сергей Тимофеевич, глядя на сына, тоже книги писать взялись. И об уженье рыбы, и об охоте, и хронику.

— А вы читали Сергея Тимофеевича?

— Ну а как же... Когда никого в Абрамцево не стало, одним чтением себя подкреплял. Книгу откроешь, и вот он, Сергей Тимофеевич, как живой.

— Не одолжите ли мне почитать?

— Премного благодарен за внимание. Вы только не извольте солнышка упустить, уж очень благодатно на воле.

Древний термометр за окном показывал двадцать три градуса в тени. Хранитель дома ушел, и Елизавета Григорьевна, прислонясь виском к оконному косяку, услышала, как постукивает сердце старого дома.

Она была беременна в третий раз. Ребенок родится в октябре, когда будет холодно и деревья обронят листья.

— А теперь весна, — сказала она себе и своему младенцу. — Ты пришел в этот дом и будешь владеть им, и будешь в иные уж времена рассказывать друзьям своим старые и новые легенды твоего гнезда.

Перед крыльцом порхала лимонница. Улетала на лужайку и возвращалась, словно звала за собой.

Елизавета Григорьевна посмотрела сверху на убывающий разлив реки, на желтые, розно текущие воды, у берегов неохотно, с разворотами, и стремительно посредине русла. От зарослей ивы по притоленным берегам стояла весенняя дымка, но Елизавета Григорьевна не пошла вниз, в бучу весны, а пошла к дубам. Дубы были черные и терпеливые. Елизавете Григорьевне показалось, что они глядят на свои раскинутые ветви и ждут зеленых листьев.

«Можно ли обнаружить в природе хоть самую малую перемену от перемены людей, населяющих место?» — подумала Елизавета Григорьевна, и ей стало неловко за свой вопрос, словно бы она, побившая

рублем купца Голяшкина, лучше прежних обитателей. А прежний-то обитатель — Аксаков.

На пруду пела лягушка. Елизавета Григорьевна постояла над водой, щуя глаза от слепящих зайчиков на ряби у самого берега. Кто-то невидимый дул на воду, как в блюде с горячим чаем. Хорошо!..

9 мая по старому стилю — Николин день, большой праздник. Савва Иванович успел приехать до обеда. Привез Сережу, Дрюшу, няню Анну Прокофьевну и Анну Алексеевну, Сережину гувернантку, которая только что закончила курсы в Николаевском институте. Дом не успели освятить, и Савва Иванович взял из Москвы икону Николая Чудотворца. Послали в село за священником, но ждать пришлось чуть ли не до вечера.

Елизавета Григорьевна записала в «Дневнике»: «Приехал старик и еще более старый псаломщик, волосы в косичку.

— Раньше не могли. Именины нашего помещика князя Николая Петровича Трубецкого».

Бог и соседей послал Мамонтовым замечательных. Один из сыновей князя Трубецкого, Евгений Николаевич, вырастет выдающимся философом.

Философу в том 1870 году было всего лишь семь лет. И слава Абрамцева была еще только впереди. Пока обвыкали и присматривались друг к другу — Абрамцево к Мамонтовым, Мамонтовы — к Абрамцеву.

Савву Ивановича можно считать основателем племени подмосковных ездоков, которые ежедневно мчат на поездах на работу — с работы.

Вставать приходилось рано, почти два часа езды в одну сторону, но Савва Иванович в поезде работал, просматривал бумаги.

Первым пожаловал в гости Федор Васильевич Чижов. Подарил только что вышедшую книгу «Письма о шелководстве»:

— Эти письма я когда-то в «Санкт-петербургских ведомостях» печатал. Читай, Савва, со вниманием. Дарю как шелковод шелкоторговцу.

— Вы бы мне, Федор Васильевич, презентовали ваши переводы.

— Любке или Куглера?

— Любке — это «История пластики»? Её, Федор Васильевич. Но от «Истории искусства» я бы тоже не отказался.

За обедом, конечно, заговорили об Аксаковых.

— У Сергея Тимофеевича глаза сильно болели, — вспоминал Чижов. — Видимо, от солнца, от света носил он этакий глазной зонтик. Даже когда

рыбу удил, а удил он чуть ли не каждый день.

— А что, жена Сергея Тимофеевича и впрямь была турчанкой? — спросила Елизавета Григорьевна.

— Ольга Семеновна — дочь суворовского генерала Заплатана. Вот его жена действительно была турчанка, Игель-Сюмь.

— А кто вам ближе из Аксаковых? — спросил Савва Иванович.

— Господи! Мы же люди эпохи императора Николая. — Федор Васильевич изобразил из бороды своей бакенбарды. — Я с Аксаковыми, с отцом и сыновьями, познакомился в 45-м году, когда приезжал из Италии. Сергей Тимофеевич тогда еще был совершенно неизвестным человеком. Он, кажется, успел написать всего один очерк «Буран», напечатанный в альманахе Максимовича... Время-то какое было! Первый том «Московского сборника», который Константин Сергеевич издавал, вызвал у властей недовольство и недоумение. Второй том редактировал Иван Сергеевич, его приказано было уничтожить, особенно за статью Константина Сергеевича о богатырях князя Владимира. Его драму «Освобожденная Москва» сняли со сцены, Ивану Сергеевичу запретили издавать когда бы то ни было и что бы то ни было. Меня, как вам известно, на границе Российской империи взяли под белые руки и препроводили в петербургскую жандармерию.

— Ходили разговоры среди гимназистов, что вы с Иваном Сергеевичем были издателем какого-то, теперь не помню, журнала.

— Иван Сергеевич через подставных лиц редактировал «Русскую беседу». В 59-м году он выхлопотал разрешение издавать газету «Парус», но вышло только два номера. Чтобы смягчить запрещение, позволили мне издавать «Пароход», понимая, что редактором будет Иван Сергеевич, но он вернулся в «Русскую беседу», а тут умер Сергей Тимофеевич, через полгода брат. Константин Сергеевич уехал было в Грецию, на остров Зант, но чахотка и там его нашла.

— Аксаковы... видимо — татарского рода? — предположил Савва Иванович.

— А вот и нет! — возразил Чижов. — Вспомните «Семейную хронику». Дед Сергея Тимофеевича возводил свой род к варягам, к Шимону Африкановичу — племяннику норвежского короля Якуна Слепого. Загляните как-нибудь в жития святых Киево-Печерского монастыря. Там среди первых рассказ о богатом варяге Шимоне, который крестился в Симона. Один из потомков Шимона — Иван — имел прозвище Оксак, от него и повелось — Оксаковы, превратившиеся в петровские времена в Аксаковых.

— Давайте после обеда почитаем Сергея Тимофеевича вслух, — предложил Мамонтов.

— С Богом! — сказал Чижов. — Старик Аксаков был великий любитель такого чтения. Он ведь самому Державину читал его стихи.

Дом без сада, как человек без платья. Елизавета Григорьевна рассказывает в «Дневнике»: «Устраивая сад, узнали — в пяти верстах от Артемова и Жилина продают оранжерею. Старик Михаил Иванович с необыкновенной любовью водил по саду, убеждал купить. Купили деревья и пригласили Михаила Ивановича, в Артемове садоводство совсем уничтожилось. Построили оранжерею...»

Отстраивались службы, шел ремонт в комнатах. Неприятности возникли с женой Ефима Максимовича. Видимо, работа прачки казалась ей, бывшей камердинерше, унижительной, или работать была ленива.

Сердиться Елизавета Григорьевна себе не позволяла, но неприязнь человека, которого видишь каждый день, была огорчительной.

Уехали в Москву, не дожидаясь холодов, пока скверная дорога до станции совершенно не размокла от дождей.

«15 октября в 1 час ночи родился Всеволод, — записала в „Дневнике“ Елизавета Григорьевна. — Родился с большой головой».

Крестили младенца 20 октября. Восприемниками были бабушка Вера Владимировна и Федор Иванович.

Три ребенка — три сына.

— САВ уже получилось, — целовал Савва Иванович свою милую супругу, — осталось ВА.

— ВА будут девочками, — пообещала Елизавета Григорьевна.

Сохранилась «Подорожная» Мамонтова. «По указу его величества государя императора Александра Николаевича самодержца Всероссийского и прочая, прочая, прочая от г. Ярославля до г. Вологды и обратно кандидату Правления Московско-Ярославской железной дороги Савве Ивановичу Мамонтову давать по две лошади с проводником. Дана в Ярославле 1871 г. 29 мая. 373 версты».

Рабочая поездка по делам дороги, нерасторопность управляющего Ефима Максимовича задержали переезд в Абрамцево. Перебрались на летнее житье только 12 июня.

Елизавета Григорьевна не могла нарадоваться на сад.

Волшебник Михаил Иванович так искусно пересадил деревья, что они цвели и обещали дать первый урожай новым хозяевам.

Савва подумывал устроить певческий концерт, пригласил своего гимназического товарища Петра Анатольевича Спиро, который был в то время студентом Медицинской академии, но о пении пришлось забыть.

Сидели за вечерним чаем, когда пришел Ефим Максимович.

— Дозвольте сделать сообщение, — сказал он, не поднимая глаз на Савву Ивановича.

Савва был на него сердит: строительство кухонного дома затягивалось, управляющий нанял каких-то стариков, которые то в монастырь ходили молиться, то впадали в запой. Жена Ефима Максимовича сегодня дважды надерзила Елизавете Григорьевне, и было ясно, что с камердинером Аксакова придется распрощаться.

— Извините, господа, — сказал Ефим Максимович, смущенный наступившей тишиной. — В Глебове три семейства умерли. Холера, господа.

Первый воин с холерой — чистота, Елизавета Григорьевна сама следила за порядком на кухне и в доме.

Пригласили опытного фельдшера. Он ездил по деревням, и с ним Петр Анатольевич Спиро.

Страшная холера разразилась в селе Васильевском, умирало по несколько человек в день.

И вдруг — жар и кровавый понос открылся у самого младшего, у Воки, так прозвали крошечку Всеволода. Пока ездили за врачом, заболел Дрюша, еще через три дня слег старший — Сережа.

Врач отверг опасения — это не холера, но не обрадовал — дизентерия. Весь мир сошелся для Елизаветы Григорьевны на больных детях.

Вока первый слег, первый и поправился.

Тяжелее всего перенес изнуряющую болезнь Дрюша. Его выхаживали три недели, и все же не уберегли. Дизентерия дала осложнение на почки. Воспаление почек Дрюша перенес зимой, и вот новая страшная атака на ослабленный организм.

Ему предложили любимую игру: копилку и пятаки. Он так любил, посапывая, впихивать тяжелые пятаки в узковатую щель, но теперь руки его не слушались, и он не плакал от бессилия, а молча ронял из глаз слезы. Елизавета Григорьевна ужаснулась. Она ложилась к Дрюше и грела его телом своим. Совершенно отказалась от пищи, и врач потребовал, чтобы

она не запускала своего собственного здоровья.

Слова молитв не шли на ум. Елизавета Григорьевна только смотрела на иконы Богородицы, Николая-угодника, Андрея Первозванного, покровителя Дрюши, — и молила о спасении сына — безмолвно, бессловесно.

Не зная, что еще можно сделать для милого ребенка своего, кого еще просить, кроме Господа, каким иконам кланяться, пошла днем, словно бы подышать воздухом, и отойдя за деревья, хотела отбить многие тысячи поклонов, но перекрестилась и стояла, как дерево, неподвижно: не плача, не думая ни о чем, не страдая, словно перестала быть одушевленной материей. Она вернулась домой, предчувствуя ужасное, но не соглашаясь на слово смерть.

Пришла ночь. Врач не отходил от Дрюши, и Елизавета Григорьевна тоже не желала хоть на мгновение оставить сына, словно дышала за него.

Вера Владимировна силой увела ее из спальни ребенка, уложила в постель.

— Тебе надо немного поспать, — сказал ей Савва Иванович. — Дрюше нужны твои силы, а они на исходе. Подкрепись ради него.

Она согласилась и заснула. Увидела себя на высокой горе. Сделала шаг от обрыва, но оступилась и стремительно покатилась с горы в холодный, слепящий белизною снег.

Она поднялась с постели, вся еще в сне своем, в снегу... Побежала к детской, но у двери запнулась, с ужасом глядя на медную ручку. Отворила.

— Котя, котя на печи, ты не очень лопочи! — говорил Дрюша, сидя в постели со своей любимой книжкой про бедную старушку и очень избалованного пса.

Выздоровление шло медленно, с отступлениями. Как перевозить больного в Москву, даже врачи не знали. Малейший ветерок мог быть губительным, вагонная тряска — смертельна.

Савва Иванович срочно поправил дорогу до станции, решились везти Дрюшу в карете. Дождались хорошей погоды и 25 сентября поехали. Шестьдесят километров шагом с постанывающим сыном — это была мука-мученическая, а в Москве опять начались отеки. Дом на Спасской стал похож на больницу, только жизни в белом свете не ubyло.

Появился новый знакомый, художник Иван Александрович Астафьев. Савва Иванович заказал ему сделать копию с портрета матери. Иван Александрович работал по старинке, медленно, но основательно.

Оказалось, что он близко знал Белинского, свет неистового

Виссариона невольно ложился на Ивана Александровича, человека не бесталанного, но робкого. Работал Иван Александрович в гостиной и невольно входил в семейные заботы Мамонтовых. С прежней гувернанткой пришлось расстаться, уж очень она оказалась мягкой, исполняла все капризы Сережи. Астафьев порекомендовал в воспитательницы Александру Антиповну Годеман, она была молода, начитана, приветлива. Сереже новая воспитательница понравилась, он повзрослел и не пытался взять над нею власть.

Стал бывать в доме художник Николай Васильевич Неврев. Высокий, худощавый, с черными щеточками бровей. Он удивлял своим громадным басом, неизвестно как помещавшимся в таком узком, без выпуклостей, теле.

Савву Ивановича Бог наделил даром влюбчивости. Он боготворил отца, Чижова, теперь его идолом для восторгов стал архитектор Гартман.

Гартман побывал в Италии, подружился в Риме с молодым скульптором Антокольским, новой знаменитостью, потрясшей просвещенный мир своим восхождением из студентов в академики. Восторги Гартмана были так искренни, так переплетались в его рассказах три гения: Антокольский — Рим — природа, что нельзя было не заразиться его восхищением.

— Врач Сергей Петрович Боткин спас Марка Матвеевича от горловой чахотки! Спас одним только требованием — жить в Италии! — сиял черными глазами Гартман. — Это земля света. Поезжайте — и милый Дрюша расцветет.

Гартману все нравилось в Италии — города, море, люди.

— Итальянцы сплошь счастливы. Я не знаю другого столь везучего народа.

Елизавете Григорьевне слова о спасительном климате благодатной страны запали в душу.

В деньгах недостатка Мамонтовы не знали, труднее было организовать само путешествие, получить согласие Чижова на достаточно продолжительную отлучку. На строительстве дороги все дела важные и срочные. Однако здоровье членов клана превыше всего. Федор Васильевич, сам любивший Италию, дал Савве отпуск, но взял слово, чтоб возвращался тотчас, как устроит семейство. Посоветовал ехать в феврале.

— Февраль — лучший месяц в Италии.

Гартман написал рекомендательное письмо Антокольскому. Маленького Воку оставили бабушке Вере Владимировне, с собой взяли Сережу, Дрюшу, няню Александру Прокофьевну, воспитательницу

Александрю Антиповну и 12 февраля отправились в путь.

Няня оказалась человеком изумительно преданным своему Дрюше. Она запаслась в дорогу складным... самоваром, и, как пишет в «Дневнике» Елизавета Григорьевна: «Не пускала кондукторов, чтоб не простудили Дрюшу. Сидела на корзине, спиной к двери».

Сама Елизавета Григорьевна была больна, дорогу переносила трудно. Остался позади Петербург, Варшава, Берлин... Александра Антиповна впервые попала за границу и от всего была в восторге. Удивлялась на немок в шубах, но простоволосых. Ахала, глядя на собак, на которых возили багаж.

— Ну заграница! Ну хитрюга! Даже собаки при деле.

В «Дневнике» Елизавета Григорьевна не описывает самого путешествия, но отмечены все гостиницы, в которых останавливались. В Берлине это «Отель де Рома» с окнами на «Унтер ден Линден», в Милане «Отель Кавур». В Милан ехали через Мюнхен, мерзли в горах. Попутчики предлагали сразу же ехать во Флоренцию, но в Милане все цвело, воздух был такой живительный, что Дрюша выглядел совершенно здоровым. Было решено остановиться, отдохнуть от пересадок, от вагонов, от мелькания, качания...

Во Флоренции разместились в «Отеле Италия», в комнатах, где по дороге в Ниццу останавливался покойный наследник российского престола Николай Александрович. Елизавета Григорьевна пишет: «Лакей в лицах представлял государыню и больного наследника. Садился в кресло, ложился на диван». То есть всячески показывал, что он был не последним человеком во всей этой трагической истории.

Савва Иванович отправился на поиски жилища и нашел чудесную виллу в Сан-Доменике.

— Да будет для нас эта гора над Флоренцией нашим Фавором!

Вилла принадлежала французу-эмигранту маркизу де Магни. Сановник императора Наполеона III, он жил теперь одним днем, оградив себя от политики, и даже о Франции говорил с большой неохотой.

Одиночество маркиз делил со своей дочерью и с семьей садовника.

Русским сдали верхний этаж.

Сад с фонтанами и статуями показался великолепным. Внизу, как игрушечная, Флоренция.

Савва Иванович нанял кухарку Джудитту, а в помощь няне Анину, девушку из соседнего городка Фьезоли.

Джудитта, готовя господам еду, распевала арии, Анина была веселой и легкой. Дрюшу она звала Пикинино Карино.

Устройство семейного гнезда заняло два дня. Утром Савва Иванович уезжал.

— Я счастлива, что Дрюша ожил, но я так не люблю оставаться без тебя, — призналась Елизавета Григорьевна.

— Я сделаю за две недели столько, сколько Федору Васильевичу за полгода не успеть, и он смилостивится, отпустит к вам.

Они вышли в сад, в напоенную ароматами тьму. Флоренция была похожа на груды догорающего костра.

— Пещера Али Бабы, — сказала Елизавета Григорьевна, и вдруг увидела, что мужа рядом нет. — Савва!

Не ответил.

— Савва! — в недоумении позвала Елизавета Григорьевна.

И тут откуда-то снизу раздалось негромкое, бархатного тембра, так похожее на черноту итальянской ночи пение. То была серенада.

И о чудо! Чем проникновеннее звучал голос, тем светлее становилось вокруг.

— Савва, да что это? Ты волшебник! — Елизавета Григорьевна кинулась к нему, возникшему возле коринфской колонны, со светящимся лицом, в светящейся белой рубахе.

Он обнял ее, поднял на руки и повернул лицом к луне, вышедшей из-за горы.

— Да, я волшебник. Я озарил для тебя эту ночь безупречно полным светилком. Таков перевод моей серенады. Пока я буду ездить, учи итальянский. Это радостный и легкий язык.

Уехал он очень рано, не разбудив ее. Началась размеренная курортная жизнь. Расцветали все новые цветы, поражали красотой — небо, долина, воздух в долине, сама жизнь: куда ни погляди, устроенная и мудрая.

Савва Иванович сделал семье подарок. Раз в неделю на их гору приезжала коляска, и Елизавета Григорьевна отправлялась с детьми во Флоренцию.

В первую поездку смотрели стоящего на площади Давида, взирали на место, где сожгли неистового Савонаролу, пообедали в любимом ресторанчике Гоголя. В картинной галерее Уффици Елизавета Григорьевна была только раз. Она с удовольствием смотрела на картины одного

Боттичелли, Рафаэль казался ей слащавым.

Без Саввы Италия потускнела, потеряла что-то неуловимое, но, может быть, самое главное. Вечера Елизавета Григорьевна стала проводить в гостиной маркиза. Маркиз играл в карты с дочерью садовника Джузеппе, с быстроглазой умницей Джованни. Гостей своих маркиз услаждал шарманкой, которая нравилась Сереже, а Дрюша зажимал уши. Дочь маркиза что-нибудь вязала, и Елизавета Григорьевна, сидя в удобном кресле, ужасалась бессмысленности утекающего времени.

И однако ж и маркиз, и дочь его, Джузеппе и милая Джованни, Анина и певунья Джудитта были славными, добрыми людьми. Елизавета Григорьевна так была благодарна этому чудесному месту, спасшему ее Дрюшу, что побывала здесь через тридцать лет.

В «Дневнике» она записала, что маркиз и его дочь покоятся в часовне под гербом маркизов де Магни. Виллу они завещали дочери садовника, но сеньора Джованни, ставшая учительницей, продала виллу англичанам.

8

Савва Иванович приехал в конце марта. Был устроен пир. Радость переполняла влюбленного в жену Мамонтова, он пел, читал стихи Петрарки, Мюссе. Маркиз аплодировал и, обращаясь к Елизавете Григорьевне, говорил, прикрывая веками глаза:

— Ваш супруг — гранд-артист. Поэт!

— Гранд-артист — принимаю. Но почему поэт? — смеялась счастливая Елизавета Григорьевна.

— Стиль жизни, мадам! Поэт — не тот, кто складывает слова. Поэт тот, кто живет на вершинах гор. Рядом с нами, но на вершинах! Это не очень понятно. Поэтому я говорю: стиль жизни.

Вслед за Саввой Ивановичем нагрянули брат Елизаветы Григорьевны Александр и Николай Семенович Кукин. Александр вручил сестрице две тысячи франков от Веры Владимировны на радости жизни, а если пожелает — для покупки какого-либо произведения искусства. Гости остановились на три дня и умчались в Рим. Собирались посмотреть вечный город одной компанией, но заболел Дрюша. Недомогание было легким, и вскоре Савва Иванович повез семейство в Неаполь. Виллу оставили за собой, чтоб не собирать и не тащить множество чемоданов да и надеясь еще пожить над сияющей ночной Флоренцией.

В Неаполе встретили вернувшихся из Сицилии Татьяну Алексеевну

Мамонтову и Марию Константиновну Нефедову. Ходили на набережную смотреть рыбный базар. Посетили местный музей ради мозаики, на которой изображена битва персидского царя Дария с Александром Македонским.

Сереза в гостинице сел рисовать битву и вдруг закричал, указывая в окно:

— Гора горит!

— Гора горит! — подхватил Дрюша, размахивая руками, подпрыгивая — из-за малого роста он не видел ни огня, ни горы и оглядывался на отца.

Савва Иванович взял его на руки, и все вышли на лоджию. Вершина Везувия была красная, как уголь в печи.

Татьяна Алексеевна радовалась, как ребенок.

— Боже мой, мы своими глазами видим «Последний день Помпеи».

Утром их пробудили раскаты грома.

— Юпитер сердится, — сказал Савва Иванович, подходя к окну: над Везувием стояло громадное облако. — Наш вулкан стал курчавый, как итальянец. Татьяна права первый раз в жизни — такую красоту грех пропустить.

Оставили детей на Анну Прокофьевну и Александру Антиповну, наняли коляску и поехали на Везувий. Движение на дороге было веселое. Одни экипажи возвращались с удивительных смотрин, другие только поспешали.

— Все на ночь едут, — объяснил возница. — Ночью — брависсимо! Ах, господа! Ад, от которого глаз невозможно отвести. Я сам кричал Везувию — брависсимо!

Он целовал пальцы и посылал воздушные поцелуи ужасному багровому небу.

Елизавета Григорьевна ежилась, когда вулкан утробно грохотал, поглядывала на мужа и успокаивалась.

Дорога была далека. Начинало смеркаться. Темнело очень быстро, Везувий же, наоборот, наливался огнем. Земля то и дело вздрагивала, огненные глыбы взлетали над жерлом, и грохот взрывов сливался в гул.

— А ведь это, пожалуй, подземный ураган, — сказал Савва Иванович, и в его голосе была озабоченность.

Доехали до обсерватории. Людей было множество, одетых, как к званому ужину. Савва Иванович подвел Елизавету Григорьевну к краю пропасти. Она почувствовала, что он не поддерживает ее, а держит. Ей было больно, но она промолчала.

Увидели лаву. Огненная река шла в дымящихся берегах узкого

провала. Был виден край огромного зева, в нем ворочался язык дьявола. Вместо слов — серное дыхание. Земля дрожала и пошатывалась.

Савва Иванович решительно взял Елизавету Григорьевну за руку:

— Домой. И немедленно.

Извозчик запротестовал:

— Невозможно, синьор! Лошади упадут замертво. А я так уже упал, — и, прикрывшись пледом, он то ли изобразил спящего, то ли взаправду заснул.

— Осел! — сказал Савва Иванович.

Он освободил лошадей от мешков с овсом и стал их запрягать.

— Ты думаешь, оставаться далее опасно? — пожалела лошадей Елизавета Григорьевна.

— Земля ходуном ходит! — Савва Иванович сердито посадил жену в коляску, сел на козлы и тронул лошадей.

Возница никак не отозвался, то ли из мести, то ли не проснулся. Было темно, душно, над Везувием сверкали молнии. Ехали молча.

Елизавета Григорьевна не спала, но ей было досадно: муж, пусть ради ее безопасности, чересчур преувеличивал угрозу. Навстречу попадались торопящиеся на ночное чудо экипажи.

Наконец добрались до подножия, въехали в деревню. Вдруг страшный треск разорвал черный ночной воздух.

— Слава Богу! В другой стороне. — Савва Иванович перекрестился.

Вскочил, как встрепанный, возница. Перебрался на козлы, принялся погонять лошадей, то и дело оглядываясь и поминая Иисуса Христа.

Земля дрожала и в Неаполе. Полуголые люди выскакивали из домов.

— Надо убираться отсюда, — сказал Савва Иванович. — И поскорее.

К гостинице подъехали в пять часов утра. Тотчас легли спать, но в восемь часов были на ногах. Савва Иванович ушел за новостями. Вернулся страшно расстроенный:

— Я тебя на бомбу возил. На огромную бомбу. Господи!

А ведь за умного человека себя почитаю. Откуда взялось всеобщее безумство? Представляешь — лава окружила обсерваторию, люди отрезаны. Шестьдесят человек накрыло огненной рекой. Людей из деревень вокруг Везувия вывозят на омнибусах.

Поехали к банкиру за деньгами. Савва Иванович решил уезжать из Неаполя без промедления.

На улицах встречались процессии. Несли статуи мадонн. Появились военные патрули.

Поезд на Рим отправлялся только вечером. В гостинице ожидали

Татьяна Алексеевна и Мария Константиновна.

— Мы остаемся, — объявила Татьяна Алексеевна. — Это надо досмотреть до самого конца.

— У нас дети, — сухо сказал Савва Иванович. — Я хочу, чтобы они были подальше от Везувия. Коли взорвался еще один кратер, почему бы третьему не объявиться? Бог троицу любит...

На вокзале взрывы на Везувии отдавались под сводами огромного здания, залетевшие в зал птицы бились о стекла.

В вагоне Елизавета Григорьевна перекрестилась.

9

В Рим приехали 15 апреля в Великую субботу. Остановились в «Отель де Руссия». Елизавета Григорьевна вспоминала в своем «Дневнике»: «Сережа рисовал извержения, не скупясь на красную краску».

Пасхальную службу стояли в русской церкви при посольстве. Народа было немного. На клиросе только два псаломщика. Савва встал с ними и пел. «Архимандрит Александр благодарил мужа», — записала Елизавета Григорьевна.

Через день Савва Иванович уезжал в Россию. Зашли в мастерскую Антокольского, но никого не застали. Огорчился, рассердился:

— Судьба помиловала на Везувии, но не порадовала в Риме.

— Не пустословь! — Елизавета Григорьевна веровала по-детски искренне, всякое непочтительное к Провидению слово ее пугало.

17-го Савву Ивановича проводили, а на другой день вместе с Сережей и Александрой Антиповной Елизавета Григорьевна постучала в уже знакомую железную зеленую дверцу. Дверь открыл сам Марк Матвеевич.

Пригласил войти, прочитал письмо Гартмана.

— Я рад вам, рад, — говорил Марк Матвеевич. — Гартман человек увлекающийся, чересчур страстный. Наверное, наговорил обо мне Бог знает что. А это только поиски, зачины.

Дал Сереже глины, и тот радостно принялся лепить что-то свое. Елизавета Григорьевна невольно посмотрела на узкие щели окон, заметив, что света здесь маловато.

— Да, — сказал Антокольский, — вы правы. Италия меня не балует своим божественным солнцем. Перебираться на другое место со всем этим, — он развел руки, показывая гору глины, статуи, гипсы, мраморные глыбы, — безнадежно. Одно удачно — мастерская в центре Рима. Совсем рядом

знаменитый «Тритон».

— Фонтан?

— Фонтан, — вздохнул Антокольский. — Не знаю, от каких таких вод, но у меня углы зеленые. Вы чувствуете, какой нехороший воздух...

Покосился на загрохотавших молотками каменотесов. В другом конце мастерской из мраморной глыбы выбивали Ивана Грозного.

— Это для Третьякова, — сказал Антокольский. — Господин Третьяков, кажется, родственник вашего мужа?

— Вера Николаевна, супруга Павла Михайловича, приходится моему мужу двоюродной сестрой.

Смотреть работы под внимательным взглядом автора — испытание. Елизавета Григорьевна мяла в руке платок: надо сказать о Петре похвалу, и упаси Боже от пошлости... Ее спас появившийся Адриан Викторович Прахов, ученый искусствовед. Он знал Мамонтова и принялся торопливо намечать для Елизаветы Григорьевны план осмотра Рима.

— Я бы сам все показал, но вечером уезжаю в Неаполь.

— А мы из Неаполя бежали, — призналась Елизавета Григорьевна.

Ее история о ночном приключении на Везувии поразила Антокольского.

— Вы ведь, наверное, укоряли мужа, что не повел вас к лаве? — спросил он вдруг.

— Укоряла! — согласилась Елизавета Григорьевна. — И за другое укоряла: лошадям не дал отдохнуть хорошенько.

— Страшиться — дело угодное Богу. Кто ничего не страшился, упал в огненную реку, — ласково улыбнулся Елизавете Григорьевне. — Я заменю вам Адриана Викторовича.

Антокольский повез своих новых знакомых не к древностям, не в Ватикан, а в мастерскую русского скульптора Матвея Афанасьевича Чижова. По дороге рассказывал о нем:

— Он из крестьян. Это у него на лице написано, как на моем, что я из евреев.

Елизавета Григорьевна невольно вспыхнула.

— Извините. Я знаю, для русских еврей — это не одно только наименование народа, это еще какой-то неосознанный стыд... Предание смерти Иисуса Христа, спаивание простолудинов евреями-шинкарями, финансовый разбой банкиров... Но ведь есть еще народ... Мы с Репиным об этом много говорили, и особенно со Стасовым... Но я отвлекся. Отец Матвея Афанасьевича имел в Москве, при Немецком кладбище, крошечную мастерскую надгробных плит... Это помогло ему устроить

сына в немецкую школу, дать грамоту, а вторая школа была в мастерской. С одиннадцати лет Матвей Афанасьевич резал на камне заупокойные надписи... Это тоже почти моя жизнь. Отличие в том, что отец Чижова любил своего Матвея, а мой отец меня звал истуканом, колотил за любую оплошность.

Марк Матвеевич призадумывался, но открытое лицо его было чистым, в нем не было укора прошлому, одна печаль. Глаза мудрые, но без блеска, без света. Улыбнулся:

— Первый мой рисунок на столе — изобразил канатоходцев с афиши — был отмечен оплеухой со всего плеча.

— Я слышала, вы были в юности резчиком.

— Отец отдал меня в мастерскую, где вырабатывали позументы: золотую и серебряную тесьму... Но это было такое золото, такое серебро — от зари до полуночи — я бежал... Тогда меня, отодрав, пристроили в заведение Тасселькраута, резчика по дереву... Бог послал увидеть картину Ван Дейка «Христос и Богоматерь». Я вырезал эту картину из дерева, и губернаторша Вильны госпожа Назимова, увидевши во мне дарование, отправила с письмом в Петербург к баронессе Раден, фрейлине великой княгини Елены Павловны...

Антокольский отер ладонью лоб и внимательно посмотрел в глаза Елизаветы Григорьевны.

— Что со мной?.. Я рассказываю о себе, — засмеялся. — Вот что такое дар слушать! Но знаете, Елизавета Григорьевна, у меня с Чижовым действительно много общего... Я голодал и холодал в Петербурге, он в Москве. Меня опекал Пименов, его Рамазанов... Когда учат собак — их кормят, учащегося человека накормить забывают. Оба мы делали горельефы, получали за них медали. Правда, за плечами Чижова была школа, он еще Строгановку посещал, а я совершенный неуч. Я ведь не был студентом, а вольнослушателя в любое время могли сдать в солдаты. Много говорят о солидарности евреев, но знаете, сколько мне давал банкир Гинцбург от своих миллионов — десять рублей в месяц, и очень недолго. А ведь я — скульптор. Нужно было покупать материал, платить за квартиру... Чижову повезло. Рамазанов взял его в помощники, в храм Христа Спасителя. Я был в Москве... «Сошествие Христа во ад» — колоссальный горельеф. Его Чижов изготовил по эскизам учителя. Он и для Микешина много потрудился, для его памятника «Тысячелетие России». Горельефы «героев», «просветителей», треть «государственных людей» — чижовские. Я так подробно рассказываю о Чижове, потому что о себе он говорить не любит. Русские должны бы знать своих гениев. Талант Матвея

Афанасьевича — русский... Такого скульптора в Европе нет, но Европе он чужд, а русские только тогда преклоняются перед своими мастерами, когда эти мастера озарены европейской славой.

— Я мало об этом думала, — призналась Елизавета Григорьевна. — Я мало знаю искусство. Меня больше волновала музыка.

— Итальянская.

— Скорее немецкая, Бетховен...

— Шуман, Шуберт!.. Грешен, люблю русскую музыку. Особенно Мусоргского, Римского-Корсакова... Бородина, Серова... Стасов познакомил.

Чижев обрадовался посетителям. Предложил вино, фрукты, а Сережа снова добрался до глины.

Елизавета Григорьевна подошла к еще незавершенному «Крестьянину в беде».

— Погорелец, — сказал Чижев. — Я их насмотрелся в детстве. Избы часто горели, крыши-то соломенные.

— Жалко, — призналась Елизавета Григорьевна.

— Вы — русская душа, вот и жалко! — сказал Антокольский. — Русские более всего к жалости способны.

Елизавета Григорьевна перешла к мраморной милой группке «Играющих в жмурки», но вернулась к погорельцу.

И надолго замерла около скульптуры.

С художниками быть на равной ноге оказалось совсем просто, Елизавета Григорьевна приободрилась. Сережа тоже утешил. Прощаясь, он подошел к каждой из скульптур и погладил.

— Дедушку жалко, — сказал он о «Крестьянине в беде».

— Что я вам говорил! — обрадовался Антокольский.

Знакомство с Чижевым, начавшееся под итальянским небом, в России не продолжилось, Матвей Афанасьевич жил в Петербурге. Имя этого художника со временем стало стираться и ныне мало поминаемо^[1].

На следующий день Антокольский показывал «Пьяту» Микеланджело. Он ничего не пояснял, только глаза у него, не светясь, потеплели, и белый ясный лоб под черной шапкой волос был еще белее.

Когда вышли из храма, Елизавета Григорьевна сказала:

— Это так прекрасно, но рассматривать стыдно.

— Почему? — спросил Антокольский.

— Но это же скорбь! Мне почудилось, я оскорбляю Богородицу своим ничтожным любопытством.

Антокольский посмотрел на Елизавету Григорьевну с благодарностью.

Съездили в Пантеон.

— Единственное здание, сохранившееся от Древнего Рима, — сказал Антокольский. — Теперь это церковь Санта-Мария Ротонда, а был языческий храм всех богов.

Договорились назавтра осмотреть развалины Ипперона и Тускулума. Антокольский уехал раньше. Он ждал дам и Сережу с ослами во Фраскати.

Для Сережи ехать на осле было сказкой.

— Я — Синдбад-мореход, — говорил он встречным.

В Тускулуме осмотрели камни вилл, принадлежавших Цицерону, Лукуллу, Меценату.

— Место покоя и размышлений, — сказал Антокольский. — Так говорил о Тускулуме великий Цицерон.

— Ужасно! — призналась Елизавета Григорьевна. — Покой я чувствую, а размышлений в голове нет!

— А я иной раз испытываю отвращение ко всему древнеримскому, — признался Марк Матвеевич. — Тот же Колизей. Звери, терзающие и пожирающие на глазах публики женщин, детей, старцев. Гладиаторы... Непросыхающий запах крови. Бог проклял Рим и стер его с лица земли, а мы выкапываем эти кровавые камни и поклоняемся им, как худшие из язычников.

Поднялись по тропе к Альбанскому озеру. На вершине Альбанской горы когда-то стоял храм Юпитера, в котором праздновали свой триумф полководцы, лишенные чести войти победителями в Рим.

Елизавета Григорьевна стояла перед Иваном Грозным. Сам Антокольский увел Сережу и Дрюшу посмотреть на фонтан «Тритон», и можно было теперь спокойно и внимательно осмотреть его скульптурное богатство.

Сбоку казалось: голову жесточайшему царю согнули не черные думы его, не раскаяние в злодействе. Это очередная коварная игра, очередное испытание верности ближайших слуг.

Но в искренности душевной тяжести убеждали руки Грозного. Не правая, вцепившаяся в подлокотник трона, — левая, с четками, сжатая до судороги, так, наверное, и мысли царя сжаты, скручены. Шуба ниспадает вольно, ноги хотят покоя, но сбоку видно, царь в любое мгновение метнется пантерой, ибо его раскаяние лишь запал к чудовищной вспышке

гнева.

Елизавета Григорьевна представила себе, как эту тяжеленную, распиленную на четыре части громаду рабочие тащат по высоченным лестницам академии на четвертый этаж, как Марк Матвеевич в отчаянии заглаживает швы, уничтожившие движение фигуры, ее покой, подобный взрыву. Елизавете Григорьевне было тепло от сознания, что за Антокольского порадовались Стасов, Чистяков, Крамской, сам Тургенев. Но каково было ожидать приговора академических профессоров, которые никак не могли подняться на четвертый этаж. И — чудо! Явление на четвертом этаже императора с императрицей.

— И мой сурок со мною! — пела душа Елизаветы Григорьевны.

Вся Академия собралась на лестнице. Комната, где стоял Иван Грозный, была тесная. Царь и царица осмотрели статую с великой княжной Марией Николаевной, президентом Академии, с самыми ближайшими сановниками. Смотрели долго и были потрясены. Профессора нервно толпились в коридоре. Царь сказал, выходя из мастерской:

— Приобретаю для Эрмитажа.

Тотчас состоялся Академический совет: автору присвоили звание «академика», срочно была открыта выставка для осмотра статуи: по понедельникам вход 50 коп., по воскресеньям — 10 коп., в остальные дни по 20 коп.

У Елизаветы Григорьевны навертывались слезы на глазах. Какое это счастье, если торжествует правда.

Скульптурные работы теснились одна возле другой. Здесь сама история в лицах — бравый Петр в треуголке, конные фигуры Ярослава Мудрого, Дмитрия Донского, Ивана III...

Когда Антокольский и дети вернулись, они застали Елизавету Григорьевну возле мраморного бюста Натана Мудрого.

— Это я задумывал для горельефа «Нападение инквизиции на евреев», — сказал Марк Матвеевич. — Когда-то в глине работа очень удалась, в ином материале не получается...

— Я бы хотела приобрести этот бюст. Возможно ли это? — осторожно спросила Елизавета Григорьевна.

— Почему же невозможно, — просто ответил Антокольский.

— У меня две тысячи франков, — призналась Елизавета Григорьевна, — но я должна еще купить картину.

— Тысяча франков достаточная сумма, — сказал Антокольский. — А картину можно посмотреть у Бронникова. Он много пишет на античные

темы. Сибиряк, постоянно живущий в Риме.

— Сибиряк? Откуда же он?

— Из Пермской губернии, из города Шадринска.

— Из Шадринска? — радостно удивилась Елизавета Григорьевна. — Отец Саввы Ивановича был шадринским купцом...

У Бронникова застали художника Боголюбова.

— Федор Андреевич, — представился Бронников. Лицо у него было суровое, взгляд неласковый. Познакомил с другом: — Алексей Петрович.

Работы Боголюбова Елизавета Григорьевна видела в журналах. Всем известно, что Алексей Петрович был своим человеком у императора Николая Павловича, а император Александр Николаевич поручил ему написать живописную историю флота Петра Великого. Жил он теперь в Париже.

Обоим художникам было за сорок лет, и на Антокольского они смотрели чуть отечески, одобряя его Петра и восхищаясь Иваном Грозным.

— Всю зиму писал фрески посольской церкви, — рассказал о себе Боголюбов. — Скульптура католических храмов, особенно средневековых, нет слов как хороша, но от иконы, от живописи в наших церквях теплее. Икона — для живых. Католические храмы с их мраморами — то же кладбище.

— Вы осмотрите картины, — предложил Елизавете Григорьевне Бронников. — У нас разговоры скучные, художнические.

Антокольский по дороге успел рассказать, что Федор Андреевич в последнее время несколько пыжится, его картину «Покинутая» приобрела датская королева.

Елизавета Григорьевна залюбовалась «Гимном пифагорейцев восходящему солнцу». Писал Бронников, вопреки своей суровости, нежно, тона были трепещущие, краски мягкие, и это при яркой экспрессии лиц, фигур. В мастерской стояли полотна «Последняя трапеза мучеников», «Мученик на арене амфитеатра», «Квестор читает приговор Тразею Пету».

Взгляд остановился на... такой знакомой картине.

— Ведь это княжна Тараканова?

— Да, это княжна Тараканова. Эскиз. — Федор Андреевич соблаговолит подойти к госте. — Извините, что оставили вас, но смотреть картины компанией нельзя.

— Вы правы, — согласилась Елизавета Григорьевна, она показала на этюд «Мученика»: — Я хотела бы приобрести эту работу.

Подшли Боголюбов и Антокольский.

— У Елизаветы Григорьевны очень хороший глаз, — сказал Боголюбов, — рисунок у тебя, Федор Андреевич, само совершенство.

— Да ведь и краски неплохи, — улыбнулся Бронников с детской заносчивостью.

Через две недели, взявши с Антокольского слово, что приедет в Абрамцево, Елизавета Григорьевна вернулась во Флоренцию, на виллу. Погода становилась жаркой, а возвращаться в Россию было еще опасно: весна — самое коварное для здоровья время. Елизавета Григорьевна рассчитала слуг, простилась с маркизом и его дочерью и отправилась с детьми и нянями в Женеву.

Да только рай Италии, рай Швейцарии не могли заслонить зеленого чуда Абрамцева и тоски по Савве Ивановичу.

Жизнь богатых людей

1

В московский дом даже не заехали, с петербургского поезда пересели на свой, идущий в Сергиев Посад, и здравствуй, милое Абрамцево.

— Обещаю тебе этим же летом сделать мост, — сказал Савва Иванович, когда коляска, колдыбая на каждом бревнышке, грохотала по временным сходням над Ворей.

Земля же приняла коляску ласково, пахло травами, утренним дождем, рекой, дубовыми листьями.

Возле дома хлебом и солью встретил хозяйку новый управляющий Петр Иванович Рыбаков. Видом городской человек, из учителей, но все службы отстроены, на клумбах цветы, кругом строгий, безупречный порядок.

Елизавета Григорьевна устремилась в комнаты, но Воки не было.

Савва Иванович сказал виновато и не без тревоги:

— Лиза, я не говорил тебе, Вера Владимировна в своей Любимовке. Она желает, чтобы ты за Вокой сама приехала.

Елизавета Григорьевна прижалась к Савве Ивановичу и всплакнула на его плече.

— У меня вылетело из головы. Я так по нему стосковалась.

За обедом ее удивили сливки.

— Как вкусно! Или это после заграничной кухни?

— Нет, Лиза, волшебные сливки готовит наша Прасковья. Петр Иванович нанял скотника, Иваном зовут, поселил семейство во флигеле. Прасковья и ее дочери также мастерицы ухаживать за коровами — на удивление. Не преувеличиваю, но коровы молока дают вдвое, и, по-моему, яйца стали крупней.

Утренний поезд доставил гостей. Приехали Петр Антонович Спиро, Иван Александрович Астафьев, Семен Петрович Чоколов — инженер-путеец, сотрудник Саввы Ивановича, и с ними Николай Григорьевич Рубинштейн.

Спиро привез ноты фортепьянной пьесы Мусоргского.

— Это, видимо, первое сочинение Модеста Петровича, — обрадовался Рубинштейн. — Фирма Бернад, 1852 год. Автору, наверное, лет

пятнадцать всего было.

— Гартман дал ноты, — сказал Спиро. — Он помешался на Мусоргском. И еще хор из «Эдипа».

— Хор — это для нас, — загорелся Савва Иванович.

Попробовали, еще попробовали — получилось.

— Как хорошо, — смеялась Елизавета Григорьевна.

— Подожди, Лиза. Дай время, оперу поставим.

Музыка в тот день торжествовала. Савва Иванович был в ударе, пел с Петром Антоновичем дуэтом, играли в четыре руки и, раззадорив Рубинштейна, уступили ему место у рояля.

Николай Григорьевич исполнил концерт Моцарта и тотчас пьесу Сальери. И — «Лунную сонату».

— Солнечный вариант, господа!

Вечером Николай Григорьевич опять сыграл «Лунную», но иначе. Стало понятно, какая великая разница между луной, видимой на небе при солнце, и луной — владычицей ночи.

— Савва, Савва! — только и сказала Елизавета Григорьевна, когда они остались вдвоем. — Боже! Что умеет музыка. Мне мало дышать, жить. Я желаю быть ответчицей перед Богом. Я желаю трудиться.

Савва Иванович промолчал. Он об этом тоже успел позаботиться. В Москве Елизавету Григорьевну ожидала почетная должность попечительницы Хамовнического училища.

Вока, увидев мать, сделал к ней движение, но засомневался, прижался к бабушке.

— Сыночек! — Голос у Елизаветы Григорьевны дрогнул.

— Держи, держи свое сокровище, — сказала Вера Владимировна. — Здоров, покоен, любит петь песни.

Может, и вправду подействовала музыка, исполненная виртуозом Рубинштейном, но Елизавету Григорьевну посетил Ангел добрых дел. Принялась устраивать для крестьян лечебницу. Взяла на работу опытного фельдшера Степана Никифоровича. Он мог и роды принять, и сделать несложную операцию.

Сумела Елизавета Григорьевна обеспечить крестьян и более солидной врачебной помощью. По воскресеньям в лечебницу стал приезжать доктор Дородин Григорий Григорьевич. В воскресенье у фельдшера был выходной, и доктору помогала сама Елизавета Григорьевна.

После трудов праведных обедали. Доктор любил подняться в комнату Гоголя, где изрекал какую-нибудь мудрость, но в гостиной притихал, взгляд

его становился недоверчивым.

— Господи, здесь сживал Тургенев! Перун отечественной словесности. Я в его кресле. Эти половицы прогибались, когда отплясывал гопак Гоголь. Врачу нельзя быть мистиком, но мне чудится, грани воздуха, коим дышал автор «Записок охотника», все еще витают здесь.

— Как бы эти грани не проглотил Бока! — показывал Савва Иванович на щенка, который был подарен Сереже и которому позволялось жить в комнатах.

2

Антокольский приехал в Абрамцево с Гартманом. Савва Иванович встретил дорогих гостей на станции. Гартман сиял улыбкой и представил Мамонтову Антокольского.

Рука у Марка Матвеевича оказалась маленькая, детская, но это была очень сильная рука. Они, улыбаясь глазами, не скрывали, что уже до встречи нравились друг другу и не обмануты.

«Он хрупок, как японский фарфор», — подумал Мамонтов.

«Кряж», — решил Марк Матвеевич.

— Я рад, — сказал Гартман. — На том свете один грех с меня скостят: я соединил два родственных сердца. Вы, наверное, ровесники, дети мои.

— Посмотрите на патриарха! — поднял руки к небу Савва Иванович. — Мне, милейший Виктор Александрович, тридцать! В октябре разменяю четвертый десяток.

— Мне исполнится двадцать девять, и тоже в октябре, — сказал Антокольский.

— Какого числа?

— Двадцать первого.

— Мне — третьего. Тетушка моя возражает, ей кажется, что я родился второго, но отец дарил мне подарки третьего, — смеясь, обнял Гартмана. — Вам, преклонному годами, сколько я знаю, до сорока еще жить да жить?

— Два года всего.

— Два года — вечность! За два года вы таких дворцов настроите!

— Если буду на Мамонтовых работать, о дворцах лучше не думать.

Гартман заканчивал строить на Лубянской площади типографию для Анатолия Ивановича, а за городом — дачу.

— Если будет заказ от меня, — сказал Савва Иванович, — то только на дворец. Не прибедряйтесь, Гартман! Марк Матвеевич, он водил вас на

выставку?

— Не успел. Я обещал Елизавете Григорьевне — первый визит в России будет отдан вашему дому.

— Благодарю, — поклонился Савва Иванович. — Но выставку обязательно посмотрите. Она хоть и политехническая, да Гартман на что ни поглядит — все превращается в искусство. Каков у него военный отдел! Какое плетение орнамента — языческая, колдовская грамота, в которой заключены все разгадки прошлого и будущего России. Я, когда смотрел, все прислушивался — не зашумит ли крыльями птица феникс? А какие образцы древнего зодчества! А театр? Деревянный театр на той же Лубянке!..

— Театр, к сожалению, временный, в рамках выставки, — начал объяснять Гартман.

— Ваш театр — диво-дивное. Дали бы мне русскую оперу, про Царевну-лягушку, про Бову, про Илью Муромца — я бы сам эту оперу поставил... Именно в вашем театре! Как ведь можно размахнуться, Господи. А всего и надо — захотеть! Вспомнить всем народом — да ведь русские мы! Вытряхнуть, выставить из чуланов, из амбаров красоту нашу русскую.

— Да вы русофил, Савва Иванович! — воскликнул Гартман. — Это аксаковский дом на вас так действует.

— Может быть, и Аксаков, но в первую очередь вы, Виктор Александрович! Меня, как и вас, в Италию тянет. Но то, что своего не ценим, не любим, — обидно. Вы это не только поняли, вы нас носом ткнули в свое собственное величие. А на выставку Марка Матвеевича сводите.

— Как его не сводишь, — рассмеялся Гартман. — Выставка-то Петру посвящена. Двухсотлетию со дня рождения.

— Я «Петра» привез, — признался Антокольский. — Отлил в гипсе.

— Так что же вы нас не приглашаете?

— Не хочется портить настроение хорошим людям. Вот послушаю, за что ругают, поправлю, отолью в бронзе — тогда милости просим.

Елизавета Григорьевна вышла к гостям с сыновьями.

— Сережу помню, — говорил Марк Матвеевич, здороваясь за руку, — Дрюшу помню, а ты — Вока?

Вока смотрел на гостя во все глаза. Гость отошел на середину комнаты и в тишине, полной ожидания, спросил:

— Дети! Милые дети, вы хотите быть умными?

— Хотим! — закричали Сережа и Дрюша.

— Так будьте! — сказал Марк Матвеевич.

Взрослые почему-то смеялись, а дети, ожидавшие чуда, никак не могли понять, что же все-таки надо сделать, чтобы стать умными.

Гартман привез ноты. Он, влюбленный в музыку Мусоргского, раздобыл несколько фрагментов из оперы «Борис Годунов».

— Нет! — запротестовал Савва Иванович. — Сначала отобедаем. Мы в России, и порядки надо соблюдать русские.

Стол был уже накрыт, на столе — осетр, пирог с грибами, братина, наполненная чем-то пенящимся, возле каждого прибора — серебряный нож.

— Вот бы Стасова сюда! — засмеялся Марк Матвеевич. — Он мне дорог и близок. Я помню, с какой страстью поддержал Владимир Васильевич мой горельеф «Еврей-портной». Почти миниатюра, дерево, а он молнии пошел кидать. Да уничтожится ложь, ходули, идеальничание в мире ваяния! Стасов увидел в этой совсем не броской работе — искусство, а вот Бруни желал убрать с выставки моего бедного еврея... Беда русских в природной застенчивости. Доброе слово о себе клещами не вытащишь. Ну так я не русский, мне поклоняться Стасову за его труд повивальной бабы, принимающей роды русской живописи и музыки, не стыдно.

— Какой вы горячий человек! — сказал Мамонтов.

— Я — пламень! — засмеялся Антокольский. — Елизавета Григорьевна, простите, что я с места в карьер. Скажите нам доброе свое слово.

— Теперь так много говорят о русском сердце, о русской душе. Видимо, пришла пора — посмотреть на себя. Но мои мысли об Италии. Для здоровья Дрюши — русская красавица-зима губительна.

— И я мечтаю об Италии, — признался Савва Иванович. — Работаю втрое, чтобы только получить полгода передышки. Мы задумали с Елизаветой Григорьевной организовать в Риме русское землячество. Пусть всякий день для каждого из нас будет прожит с пользой, чтоб все мы напитались соками Возрождения. Да поднимутся эти соки в вас по возвращении в Россию, и да будет Весна искусства на нашей устланной соломой земле!

— Это тост! — Антокольский поднял свой ковш.

Выпили, заговорили об Италии.

— Мы собираемся поехать уже в сентябре, — сказала Елизавета Григорьевна, — не дожидаясь осенних дождей.

— Я вернусь в Рим не скоро, — Антокольский загадочно улыбался. —

Женюсь, господа. Мне надо быть в Москве, в Петербурге, а невеста ожидает меня в родной Вильне.

— Без Антокольского какой Рим! Тогда и мы поспешать не станем, — решил Савва Иванович. — Я давно, Лиза, хотел показать тебе Вену, Мюнхен...

— А вот я в Италию не еду, — сказал Гартман. — Так много работы! Работы, которая радует... И все-таки мне очень грустно. Стасова, грешен, не люблю. А Возрождение, господа, в России уже началось. Русская музыка, еще неведомая Западу, перевернет мир. Я уж не говорю о литературе — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев. Теперь еще Толстой, Достоевский, Гончаров... На меня очень сильное впечатление произвела выставка Товарищества передвижных художественных выставок. Лет через двадцать мы будем иметь собственного Рафаэля и Микеланджело... Наши западники ищут в Европе светильник, а свет хлынет из России.

— Гартман, побойтесь Бога! Вы говорите, как пророк! — воскликнул Антокольский.

— Мне можно пророчествовать, — Виктор Александрович опустил взгляд в тарелку.

Тревога просверком метнулась в глазах Антокольского, передалась Елизавете Григорьевне. Но никто ничего не сказал: Гартман, кажется, болен, но ведь все немного больны или, лучше сказать, не вполне здоровы.

Гартман умер через год. Улетели великие замыслы...

Август Мамонтовы доживали с мыслями о путешествии. Савва Иванович нервничал, сентябрь уж наступил, а Чицова в Москве нет, поправляет здоровье на заграничных водах.

Елизавете Григорьевне пришлось отправиться в путешествие без Саввы Ивановича. Договорились: ждать она его будет в Женеве. Вместе с Елизаветой Григорьевной поехала ее мать. Взяли гувернантку для Сережи, Дрюшину няню, Вокину няню.

Вена встретила пылевой бурей, на безветренные дни город не богат, всего семьдесят в году. Поселились в аристократическом Иунерштадте, во Внутреннем городе.

Для туристов Вена начиналась с собора Святого Стефана. Собор поражал не только величиим, но и долгостроем. Начатый в 1144 году первым австрийским герцогом Генрихом Язомирготом, храм все еще

строился, вторая башня была не окончена.

Вера Владимировна пожелала помолиться в православной церкви, которую венцы построили почему-то на Мясном рынке, и осмотреть Шатцкамеру, где были выставлены императорские драгоценности: корона Карла Великого, самый крупный в мире изумруд, флорентийский бриллиант в сто тридцать три с половиною карата...

Когда погода установилась, ездили по набережной Франца Иосифа, вдоль Дунайского канала, осматривали чудовищно огромные конные статуи эрцгерцога Карла и принца Евгения Савойского, памятники Францу I, Иосифу II, колонну Святой Троицы на Грабене, ее поставил Леопольд I в память о прекращении чумы в 1679 году, статую Шварценберга, памятник Шиллеру, мосты через Дунай. Ездили в парк Пратер, с аллеей в четыре ряда каштанов, с народными увеселениями, осматривали строительство огромной ротонды. Вена готовилась к Всемирной выставке, которая должна была состояться в будущем году.

Перед отъездом в Мюнхен Елизавета Григорьевна поднялась на башню Святого Стефана посмотреть сверху город и его окрестности. Изумрудно-зеленая долина Венского леса, багряные виноградники по склонам гор... Был виден королевский замок в Шенбрунне.

«Господи, — думала Елизавета Григорьевна, — ну что здесь переменялось со времен римского императора Марка Аврелия? Вырос город, почти миллионный, но горы, леса, реки — все это было жилищем римлян. Потом явились готы, торжествовали чехи, германцы, приходили полчища турок. Теперь здесь властвует еврейская торговля. И музыка. История завершилась. Люди живут, чтобы жить».

Столица Баварского королевства была ухожена и не беднее Вены, населена конными статуями и памятниками. Красномраморная Маринская колонна, короли, генералы, галерея полководцев. Все эти каменные конники чужой истории не трогали.

Насилюя себя, однако не пропустив ни одного зала, Елизавета Григорьевна прошла по старой Пинакотеке с ее замечательными картинами, полюбовалась самим зданием в стиле Возрождения, с двадцатью четырьмя статуями великих художников.

Ради Сережи и Дрюши посетили военный музей. Мальчиков поразила коллекция оленьих рогов, коллекция карет и саней.

Вместе с Сережей и Александрой Антиповной Елизавета Григорьевна ездила на окраину Мюнхена к статуе «Бавария». Этого чудовищного колосса окружают девяносто дорических колонн с бюстами знаменитых баварцев. Вокруг статуи гулял, гудел пронизывающий ветер. Елизавета

Григорьевна хоть и прогневила мать чрезмерной поспешностью, но увезла семейство подальше от истукана.

Остановились в Цюрихе, потом перебрались в Женеву. Здесь ожидало письмо от Саввы Ивановича. «Антокольский приехал опять в Москву, — писал он, — с женою, она очень статная. Правильное, довольно красивое лицо, мало похожа на жидавку, говорит по-русски лучше его, зовут ее Елена Юлиановна. Немного недостает простоты, но вообще симпатичная».

Все чудо: горы, озеро, город. Великий покой природы, покой жизни... Но по ночам Елизавета Григорьевна плакала. Холодно замужней женщине ложиться спать в пустую, не согретую мужем постель. Холодно жить в довольстве, не видя глаз любимого человека.

Тоскуя, ждала следующего письма, но вместо письма явился Савва Иванович.

Савва Иванович, отдохнув с дороги, поднял семейство на крыло, помчались сразу в Рим. Размахнулись по-русски, по-купечески. Жилье сняли не где-нибудь, в Палаццо дель Галли, фасадом на Форум. Не мелочились — арендовали бельэтаж дворца, двенадцать комнат, на шесть месяцев, наняли четырехместное ландо, повара, выписали из Флоренции милую Анину. Если в чем и знали неудовольствие, так не могли найти самовар. Наконец, на Корсо самовар сыскался. Был он похож на арбуз, но, однако ж, самовар.

Вере Владимировне показалось, что мебели маловато, и она купила для внучат стол красного дерева и два кресла.

На следующий же день по приезде бабушка Вера Владимировна повела внучат в собор Петра.

Воке очень понравилась колоннада Бернини. Он тянул к колоннам и не успокоился, пока не прошли по правой, если смотреть на собор, стороне полукружья, по теневой, и каждую колонну Вока потрогал. Его примеру последовал Дрюша, Сережа пропустил половину колонн, но потом стал оглядываться, покусывать губы.

— Этак мы никогда не попадем в собор! — возмутилась Вера Владимировна, но Елизавета Григорьевна разрешила довести детям их выдумку до конца.

В самом соборе Вока перепугался замкнутого огромного пространства, запросился на руки.

Елизавета Григорьевна всегда мечтала осмотреть каждую достопримечательность собора Петра. Каждую!

Постояли перед алтарем, под которым гробница апостола Петра. Говорят, что она окружена восемьюдесятью девятью неугасимыми

лампадами. Поглазели на алтарную сень Бернини, на бронзовую статую Петра, со сверкающим от прикосновений большим пальцем ноги. Осмотрели чудесные мозаики, статуи пап Сикста IV, Иннокентия VIII, Климентия XIII, Павла III и новую Пия VII — Торвальдсена.

Савва Иванович тоже времени зря не терял, побывал у художников, договорился о занятиях в академии Джиджи.

— Не боги горшки обжигают. Хочу лепить, как Антокольский, — сказал он, смеясь, но Елизавета Григорьевна в его нарочитой веселости уловила детский холодок надежды, он не стал лукавить: — Лиза, мы можем полгода пожить среди прекрасного, среди великого. Но я так устроен: у меня все пролетит мимо глаз и ушей, если я не испытаю себя, не пощупаю это прекрасное, это великое руками, не примерю сию тогу. Пусть она не по мне, хоть тяжесть ее изведаю.

— Я рада за тебя, — только и сказала Елизавета Григорьевна.

— Ах, Лиза! Ведь так хочется жить умно, для души, для сердца. Шпалы и рельсы подождут. Старик Чижов ворчал на меня, но он сам изведал тягу к искусству. Благословил так задушевно, что отец перед глазами встал... Вот увидишь, Лиза, я когда-нибудь вылеплю бюст Ивана Федоровича. И ты его узнаешь.

Распорядок жизни завели строгий. Утром дети отправлялись с нянями, с гувернанткой, с Аниной в сад. Взрослые — осматривать памятники, художественные сокровища Ватикана.

После трех часов дня ехали за город. Елизавета Григорьевна записала в «Дневнике»: «Нигде так сильно не чувствуешь себя затерянным в пространстве и времени, хотя здесь собственная жизнь кажется такою маленькой, ничтожной, но все-таки частицей общей жизни — истории. Чувствуешь, что все пережитое на этой почве вложило в тебя свою частицу... Всюду торчат развалины разных эпох, под землю таятся сокровища духа, там долго таилась Идея, осветившая и осмыслившая всем нам жизнь».

Ездили смотреть катакомбы святого Калиста.

Кипарисы толпились сиротливо, тесно.

— Умели христиане выбрать место! — сказал Савва Иванович.

Елизавета Григорьевна подняла на мужа глаза, желая предупредить легкомысленную вольность. И замерла.

— Ты слышишь?

— Фоссоры землю скребут.

— Фоссоры? Кто это?

— Низшее сословие в римском обществе. Землекопы.

— Я слышу... пение.

Подошли к входу в катакомбы. Лестница круто вела вниз, во мрак.

По лестнице поднялся человек.

— Что здесь сегодня? — спросил Савва Иванович.

— Праздник. День святой Цицилии.

Спустились в крипту. У гробницы служили молебны католические священники, пел хор. Гробница была сплошь усыпана цветами.

Прошли по катакомбе. Сухо. Ниши захоронений, как соты. Желтая едкая пыль.

Савва Иванович потянул Елизавету Григорьевну на воздух.

— К свету! К свету! Я очень хорошо понимаю Юлиана Отступника. После жизни света, после колонн, устремленных в небо, Олимпа, Пегаса — подземелья, жизнь, подобная смерти, поклонение трупам... Для античного человека — христианство отвратительно.

— Но ему не было отвратительно рабство, — возразила Елизавета Григорьевна.

— Христиане — все рабы! Добровольные!

— Рабы Господа Бога.

— Посмотри, — показал Савва Иванович на вышедших из катакомбы монахов-францисканцев. — Вместо одежды — мешок, лица пасмурные, выражения постные. Но морда-то, морда! Мясо жрут, вином запивают. Тишком, тайком. И представь античный храм. Знатные девственницы в белоснежных туниках, с золотыми канефорами на головах, поднимаются чредой по мраморным ступеням.

— Что это — канефоры?

— Корзины с утварью для жертвоприношения.

— В христианстве, Савва, по-моему, больше света, больше чувства...

Античные моления — театр.

— А наши? Священнические одежды — не театр? Каждения, возгласы, хоры, таинства.

— Савва, ты же искренний христианин.

— Я за справедливость. Пасхальные службы великолепны, Рождественские трогательны... Но ведь мы не знаем, какие обряды совершались в античных храмах... И вообще, Елизавета Григорьевна, нам надо спешить в город. Я пригласил на обед Иванова. Зовут Михаил Михайлович, хороший музыкант. Пишет реквием. Друг Антокольского.

Иванов был совсем еще юноша, нескладный, длинный, рыжий. Лицо некрасивое. Он знал это и стеснялся своей некрасивости.

— Каждый день смотрим на эти три колонны храма Кастора и Поллукса, на триумфальную арку Септимия Севера, — сказал Савва Иванович, подводя гостя к окну.

Обед был устроен из морской живности и спаржи, Иванов ел рассеянно, не замечая изысканности блюд, просвещал новых знакомых, где им и что смотреть.

Отвечая на вопрос Елизаветы Григорьевны о древнейших христианских памятниках, сыпал названиями:

— Санта Мария-ин-Космедин — третий век, правда, эту базилику перестроили в 712 году. Папа Адриан I перестраивал. Санта Мария-ин-Транстевере — пятый век, с мозаикой 1148 года. Пятого века Санта Прасседе, Санта Мартино-ин-Монти. Ну а первой римской церковью, заложенной апостолом Петром, считается Санта Пуденциана. В базилике Евдоксиана вы, разумеется, были. Там «Моисей» Микеланджело, «цепи Петра». Эта базилика была заложена в 442 году императрицей Евдокией...

— Вы — ходячая энциклопедия! — сказала Елизавета Григорьевна.

— Меня так и зовут, — улыбнулся Михаил Михайлович. — Свойство памяти такое. Что прочитаю, то и запомню.

— Мы сейчас вас проверим. — Савва Иванович потер руки. — Аксакова «Семейную хронику» читали?

— Читал.

— Какой обед подавали Степану... — Савва Иванович сделал страшные глаза. — Лиза, как отчество-то?

— Михайлович, — сказал Иванов.

— Ну, конечно, Михайлович! Так что же кушал Степан Михайлович на обед? Я перед отъездом перечитывал книгу и помню.

— Ботвинью со льдом, с прозрачным балыком, желтой, как воск, соленой осетриной и с чищенными раками... Все это запивалось домашней брагой и квасом, также со льдом.

— Ну и ну! — изумился Савва Иванович. — Вот бы таких помощников иметь в Москве, в железнодорожном нашем деле.

Обед прошел так интересно, что некрасивость лица Михаила Михайловича стала совершенно незаметной.

— Недели через две приезжает Антокольский, — сообщил он, прощаясь. — Я так тревожусь.

— Отчего же?! — удивилась Елизавета Григорьевна.

— Мы были очень дружны. А теперь он жену привезет, видимо, встречи будут редкими.

— Поклеп на семьянина! — возмутился Савва Иванович. — Да ведь

Марк Матвеевич, сколько я его знаю, на улитку не похож.

— Как бы я желал, чтобы Марк не переменялся, — в голосе Иванова звенели слезы, и он торопливо ушел.

— Господи! Сентиментальная верста! — удивился Савва Иванович. — Милое, нежное страшилище.

4

Опережая Антокольского, приехали брат Елизаветы Григорьевны Александр, Виктор Николаевич Мамонтов, Масляников. Погостили четыре дня, отбыли в Неаполь, воротились, забрали Веру Владимировну и укатили в Россию.

В тот же день Иванов принес записку от Праховых. Адриан Викторович и Эмилия Львовна приглашали быть у них сегодня вечером.

Елизавета Григорьевна испугалась:

— Господи, профессорский дом!

— Лиза, ты вулкана, по-моему, так не боялась, — смеялся Савва Иванович.

— Прахов — историк. Пойдут ученые разговоры. Как это ужасно, не смей слова вымолвить, чтобы не сесть в лужу.

— Но зачем изображать себя знающим?

Праховы жили в Пинкиано.

У портона Савва Иванович три раза громыхнул железным кольцом, число ударов соответствовало этажу. Сверху раздался женский голос:

— Слышу, слышу!

Дверь отворилась сама собой, и они вступили в совершенно темный коридор, шли со спичками. Маленькая круглая женщина с глазами веселой заговорщицы встретила их на пороге квартиры.

— Пришли, пришли! — закричала она в комнаты.

— А вы скорее, все заждались вас!

Гостиная была занята длинным столом и густо сидящими молодыми людьми. Все стали двигать стульями, чтоб как-то разместить пришедших.

— Оставайтесь все на местах! — властно распорядилась маленькая женщина. — Дон Базилио, утрамбовывайся. Лаура, тихо! Буду знакомить... Как вы догадались, это чета Мамонтовых. Саввочка, вот он, а это, я полагаю, Лизенька. А теперь, Саввочка и Лизенька, запоминайте. Это — генеральша.

— Екатерина Алексеевна Мордвинова, — назвалась красивая полная

дама.

— Рядом с генеральшей Дон Базилио.

— Поленов, — умудрился встать и поклониться широкобровый, с короткой густой бородой, с испанскими усами, тоже очень красивый, строгий человек. — Василий Дмитриевич.

— Художник он, художник! — махнула рукой маленькая женщина. — От него по левую руку, чтоб к сердцу ближе, — Маруся. Между прочим, княгиня.

На матовом лице юной особы огромные глаза горели лихорадочным блеском, Елизавета Григорьевна поняла: чахотка.

— Оболенская, — тихо сказала девушка.

— Далее Михель! Он же Микеле. Он же — Ходячая Энциклопедия.

Иванов сложил ладони по-индийски.

— Под боком у него Лаура — итальянка такой изумительной красоты, какая даже среди южных женщин редкость. Не смотреть на нее невозможно, смотреть вредно. Вон Прахов опять вытаращился. Как вы, надеюсь, сообразили, это Прахов. Профессор!

Бесцеремонность Эмилии Львовны коробила Елизавету Григорьевну, но вместо ученого, для избранных, разговора здесь была веселая кутерьма, голова шла кругом. То утонченная мысль, то почти площадная грубость, и вдруг возник страстный и совсем не пустой разговор. Начал Поленов, вернее, Поленов не согласился с Праховым.

Адриан Викторович профессорски непререкаемо сказал:

— Рим, от его высот государственности, от его культа искусства до его безобразных заблуждений, суеверий, гаданий — пример недостижимый, ибо тщетно стремиться из деревянного века в век золотой. Мы можем только угадать своими чувствами почти уже растворившийся дух былого. Я убежден, природа этой земли способствовала величайшему взлету цивилизации.

— Канализации! — вставила словцо Эмилия Львовна.

Поленов чуть отставил чашку с чаем и сказал, глядя в стол:

— Витийствовать о духовности народа-паразита, народа, начисто лишённого дара творчества, можно сколько угодно, но это лишь потеха сатане. О каком искусстве речь, когда мы видим сплошь копирование греческих образцов. Религия — с чужого плеча, заимствована до йоты. Даже суеверия — не свои. Впрочем, греческая культура тоже ведь копия.

— Искусство Греции — копия?! — изумился Иванов-Микеле.

— Дикае ахейцы свой ум почерпнули в Трое, а искусство привезли с Крита. Мы говорим — Аполлон, Музы, Дельфы, Дельфийский оракул. Но

ведь пифий привозили с Борисфена. Геракл у скифа научился стрельбе из лука. Ахиллес — житель Тавриды. Я уж не говорю о скифе Анахарсисе — учителе греческих философов.

— Дон Базилио, кабальеро! Вы переплюнули Хомякова и Аксаковых! — Прахов аплодировал. — Но что поделаться с природой? Тут уж, надеюсь, придется признать...

— Никогда! Я не люблю это голое небо, я не люблю эту прожаренную землю. Здесь все благоухания сладкие и фальшивые. Господи! Ну можно ли сравнивать наши ласковые травы, наши ромашки и колокольчики с итальянскими колючками. Попробуйте-ка, профессор, раскинуться молодецки на итальянской травке. Наша земля зеленая, шелковая... Я никогда не соглашусь, что она уступает Италии. Она другая — это верно. Россия величава во всем, в речи народа, в простоте и ясности русских лиц, а какие у нас плесы, какие дали... Я бы променял, не задумываясь, все эти магнолии на запах согретого солнцем болота.

— Дон Базилио — ты поэт, но мы тебя уже слышали, — бесцеремонно оборвала Поленова Эмилия Львовна. — Мы хотим привыкнуть к голосу наших новых друзей. Мамонтовы, говорите!

— Коли так — приглашаю всех на русскую водку в шесть часов утра, — сказал Савва Иванович.

— Ура! — возликовала Эмилия Львовна. — Они наши! Однако ж, Савочка, миленький! Лизенька, голубушка... Все падаем на колени, скостите, сударик и сударынька, на сон хоть часика два.

— Ну уж нет! — сказала Елизавета Григорьевна. — Слово не воробей. В шесть так в шесть.

Компания собралась только к семи. Мужчинам предложили тоги из простыней, женщинам русские сарафаны. Сарафаны пришлось купить.

— Встреча Рима с Россией, — объявил Савва Иванович.

Вместо стульев в столовую были снесены кровати. На пиру римляне возлежали, а женщины, кроме Лауры, которая тоже возлежала, сидели по другую сторону стола, и перед ними стояла лоханка с дымящимися кислыми щами.

Когда водка ударила в головы, женщины спели песни, а римляне декламировали стихи... Водку, наконец, заменили вином, и в одиннадцать часов все уже разбрелись по комнатам и спали на постелях, положенных на пол.

Пробудившись, опохмелившись, решили не расходиться. Поехали к «генеральше».

Екатерина Алексеевна Мордвинова, урожденная княгиня Оболенская, молодость провела бурную. Участница кружка Герцена, она ходила за его осиротевшими детьми, впрочем, она и своих имела. В крепостническую русскую мерзость возвращаться не пожелала. И тогда ее отец, князь Оболенский, приехал в Швейцарию и увез внучат в Петербург.

У «генеральши» пришедшая в себя после утренней встряски «семья» настроилась на лирический лад.

Микеле сыграл на рояле свою новую сонату. Савва Иванович спел арию из «Нормы», удивив слушателей хорошо поставленным голосом, дикцией, выразительностью каждой музыкальной фразы. Адриан Викторович прочитал Лермонтова:

Ликует буйный Рим... торжественно гремит
Рукоплесканьями широкая арена...

За рояль уселась Эмилия Львовна, стрельнула по лицам озорными глазами и вдруг просто, искренне, виртуозно заиграла Шопена.

Завязался политический спор, где верховодила подруга Мордвиновой, прозванная Антокольским «Животрепещущий вопрос». Бисмарк, расстрел коммунаров в Париже. Тайный приказ императора Александра Николаевича о запрещении русским студентам учиться за границей...

Савва Иванович с Поленовым ходили в Ватиканский музей смотреть Лаокоона.

В 25 году до нашей эры мастер с острова Родос Агесандр с сыновьями Афинодором и Полидором изумили мир своим творением. Лаокоон был жрецом в Троянском храме Аполлона. Он умолял жителей Трои не вносить в город деревянного коня, оставленного греками.

— Вот видите, — сказал Поленов Савве Ивановичу, — из какой неправды иногда рождается святое искусство. Деревянный конь Одиссея — не что иное, как символ разрушительной лжи. Лаокоон пытался встать на пути этой лжи и был погублен мстительными богами. Но я всегда думаю перед этой группой, не о самом ли себе кричал людям мастер Агесандр? Возможно, жизнь душила его, как Лаокоона душат змеи?

— Мне о вас много рассказывал Чижов.

— Федор Васильевич? Он друг нашей семьи. — Поленов улыбнулся.
— О вас я тоже много наслышан.

Подвел Мамонтова к стоявшим рядом с Лаокооном греческим статуям:

— Вот что такое — Греция. Живой, дышащий, трепещущий светом мрамор. И Лаокоон — римская копия. Все вроде бы так, только очень хорошо видно, что это камень. Здесь я впервые понял, какая пропасть между Грецией и Римом, как безнадежно далеко повторение от оригинала.

— Знаете, я ведь это, на что вы указали, сам видел, но подавил в себе. Магия известности. Восторги Гёте, Лессинга!

— Винкельмана. — Поленов улыбался. — Нашими чувствами управляют авторитеты.

— Вернее сказать, молва.

— Молва. Винкельмана читали единицы, Лессинга и Гёте немногие. Я для себя избрал одно сравнение. Царь Приам, чтобы спасти любимого сына Полидора, отправил его подальше от Трои, во Фракию. Но послал с сокровищами, и Полидор погиб от руки Полиместра раньше Гектора. Вот так же и мы, зашоренные именами великих, отдаем свой ум, свои чувства во власть корыстных фракийцев.

— Мне это близко, — удивился Мамонтов. — Я тоже иногда ощущаю круговую поруку обмана. Озираюсь — кто обманывает, с какой таинственной целью — не вижу, не понимаю.

— Главный обманщик в нас сидит. Мы похожи на чревоугодника Апиция. Стремимся пожрать самое вкусное и проматываем природное чувство прекрасного. Апиций, растратив состояние, убил себя из страха лишиться подобного уровня.

— Верно, верно! Мы как воспарим на подобающий уровень, так уж пошли судить белый свет, хотя сами сидим в закрытой комнате.

— То-то и оно! Мы говорим, «великий Аполлодор»! Но вот уже две тысячи лет никто не видел творений Аполлодора.

— А кто он такой?

— Первооткрыватель светотени и перспективы. Отец живописи.

Мамонтов подал руку Поленову:

— Хотя я и темный человек, но предлагаю девиз: «Не прогляди!».

— Не прогляди, — согласился Дон Базилио.

Приехал Антокольский с молодой женой. Пировали у Праховых. Оказалось, что в «семье» он не Марк Матвеевич, а Мордхе или попросту Мордух.

— Почему Мордхе? — спросил Мамонтов.

— Но это мое настоящее имя, еврейское. — Отставляя от себя бокал с

шампанским, Мордух объявил: — Нынче последний праздник. У меня — семья, завтра я принимаюсь за работу.

Эмилия Львовна возмутилась, а разве они все не семья?! Поэтому веселиться будут все и — никаких исключений. Антокольский сдался и включился в общий хор.

Потом играли в шарады, разделясь на две группы. Савва Иванович придумал «паровоз». Его команда сначала изображала пар, а потом возила туда-сюда стол по комнате.

Мудрый Мордух шараду разгадал. Его команда предложила куда более сложную композицию — «весенний паводок». Изображали прилет грачей, ласточек, уток, а потом водили на воображаемом поводе вставшего на четвереньки рычащего Прахова.

Антокольский разыгрался, стал показывать разные еврейские типы и особенно удачно портного, который никак не попадет ниткой в ушко иглолки.

6

С приездом Антокольского жизнь «семьи» преобразилась, стала действительно умной.

Савва Иванович, удивляя всех, занялся лепкой. По утрам работал в мастерской Мордуха, а после обеда в академии Джиджи, которая была сараем, но там ставили живую натуру.

Поленов тоже увлекся лепкой, вернее, лепкой увлеклась Маруся Оболенская, а Василий Дмитриевич старался быть рядом с нею.

В мастерской Антокольского Мамонтов начал лепить бюст отца. Маэстро опять хлопотал вокруг раздетого «Петра». На выставке в Москве и в Академии Художеств в Петербурге «Петра» хвалили и хаяли. Репин заявил, что это совершенно живой Петр. Третьяков сказал три слова: просто, выразительно, грандиозно! Зато Чистяков взгрустнул: «Петр Великий не велик оказался». Крамской был еще более суров: неудача. Докатилась весточка из Парижа. Тургенев очень ждал снимка новой работы Антокольского, а когда получил — досадовал и был согласен с критиком из «Гражданина» Висковатовым: не Петр прославлен, а его ботфорты.

— Меня один Стасов поддержал! — охал Мордух, обряжая Петра в мундир Преображенского полка. — Милый громовержец! Мой Петр объят грозным порывом мысли и страсти. А то, что не исчерпывает личности Петра, так кто же ее исчерпает? Ох, грехи, грехи! Добрые люди мне

говорили: Владимир Васильевич очень был огорчен моей неудачей. Защищал же он меня, негодуя на недоброжелателей, на их непомерную радость неукладу Антокольского.

Мордух был грустен, и, казалось, он не доверяет своим рукам. Положит на статую глину и смотрит, будто ждет — не отвалится ли, трогает пальцами, словно положил не туда.

— Если вас похвалил Третьяков, это не может быть неудачей, — сказал Мамонтов. — Я смотрел в Москве «Петра». Мне кажется, во всем виноват гипс. Вы же сами нам говорили в Абрамцеве.

— Не переборщил ли я с деталями, Савва Иванович?! Может, прав Висковатов?

— Не уверен. Все эти пуговицы, застёжки — эпоха, документ... Мне Петр понравился.

Антокольский подошел, посмотрел на творимое учеником:

— Послушайте! Это же очень хорошо! И вы говорите, что никогда не занимались лепкой?

— Петь пел, шелками торговал, а вот лепить не приходилось.

— Мне бы вашей раскованности. Только не прилизывайте. Образ схвачен сразу. Смелый вы человек, Савва Иванович. Другой бы куклу взялся лепить, а вы — отца! Давайте кофе выпьем.

Сели за круглый низенький столик, кофе взялся приготовить Савва Иванович. Питье сварил крепкое, душистое.

— Думаю о Христе, — сказал Мордух. — Вот я истратил несколько лет моей жизни на историю, но история — это всего лишь костюм. Это грубые ботфорты или сафьяновые мягкие сапожки. Я не готов создать портрет обыкновенного человека. Не готов. Осенью, в Петербурге, сработал бюст Стасова. Со Стасовым просто: он — трибун, но я не решусь сделать бюст с моей Елены, с вашей Елизаветы. Это оставляю на потом, когда придет мудрость и совершенство.

— Разве Иисуса проще изваять? — не понял Мордуха Савва Иванович. — Бога?

— Бог — невидим. Я хочу сделать человека. Вернее, одну засевающую во мне мысль.

Принес Евангелие, прочитал: «Они же все признали Его повинным смерти. И некоторые начали плевать на Него и говорить Ему: прореки. И слуги били Его по ланитам». Или вот у Луки: «И поднялось все множество их, и повели Его к Пилату». И дальше, дальше: «Но весь народ стал кричать: смерть Ему!» Савва Иванович, вы понимаете? Народ желал Его смерти. Тот самый народ, ради которого Он воплотился в человека. Вот в

чем ужас!.. Когда «Животрепещущий вопрос» или Маруся Богуславская твердят, будто заклинание, — народ, народ, я всегда думаю о Христе, о том, как поступил народ со своим Спасителем.

Они снова работали, теперь уже молча, сосредоточенно, и им нравилось присутствие друг друга.

В полдень приехали Юрасов — консул в Ницце, «Животрепещущий вопрос», «генеральша», Поленов с Марусей Оболенской; взяли Елену Юлиановну, Елизавету Григорьевну и отправились обедать в кафе «Эль Греко», облюбованное русскими со времен Александра Иванова.

Разговор пошел о Франции, о расстреле коммунаров, об ужасах революций.

— Для меня суть революции — позорная казнь короля, — сказал Поленов. — А демократия — это один голос сверх половины, приговоривший Людовика к отсечению головы. У Франции был простодушный и добрый король. Его казнь — несмываемый позор революции. Но Франция свое получила.

— Что же, если не секрет?

— А то, милостивая государыня! Со времен казни Людовика XVI во Франции не правят французы.

— Кто же тогда ею правит?

— Деньги.

— Господи, я так устал от политики! — взмолился консул. — Поговорим о вечной красоте искусства.

— Вечная красота — бурлаки Репина и крестьяне Мясоедова, — сказал Антокольский.

— Но это и Семирадский! — возразил Поленов.

— Ба, ба, ба! Сыскали красоту в этой гнилой псевдоантичности, в этой фальши! — вырвалось у Антокольского, который не терпел Семирадского за его антисемитизм.

— Сгнившими бывают лапти на мужиках! — пустился в спор Поленов. — Семирадский всех этих бурлаков называет копией с натуры. Я Семирадского люблю за солнце, за его красавиц. Или красоту вы лишаете права на изображение?

— С вами сложно спорить, Дон Базилио. Сегодня вы за красоту, а вчера объявляли, что природа Италии ничтожна по сравнению с природой России.

— Да, я и теперь это подтверждаю. Мне скучно среди итальянской красоты, я люблю Имоченцы.

— Что это такое, Имоченцы?! — удивился консул.

- Наше имение в Олонецком краю.
- Господа! О чем спор — не понимаю. — Савва Иванович картинно вскинул руки. — Через десять дней карнавал!
- Так я же и приехал ради карнавала! — воскликнул консул.
- Вечером все ко мне, господа! — пригласил Савва Иванович.

Господа явились. Поленов предложил нарядиться боярами. Это было заманчиво, но поймут ли итальянцы? Тему Нептуна отвергли не обсуждая. Вакханалию Нерона забраковали.

У Саввы Ивановича глаза заблестели озорством. Он предложил смастерить сатанинскую колесницу, одеться чертями. Тогда, мол, вытворять, что угодно, и все будет соответствовать образу.

Работа закипела, но серьезному творчеству помехи от нее не было. Утром Мамонтов лепил бюсты у Антокольского, после обеда ездил в «академию», а вот вечером шили костюмы, придумывали сценки, мастерили колесницу. Сооружение получилось, изумляющее взоры. Когда пришел день вывозить колесницу на улицу, догадались наконец, что затея и труд погибли — колесница в дверь не проходила.

— Али мы не русские купцы? — подмигнул удрученным товарищам Мамонтов. — Один чудак в Москве подъехал к своему дому не с той стороны, объезжать не стал, а велел разобрать изгородь. Последуем его примеру.

Пошел к хозяину, выложил круглую сумму денег, и стена была разобрана.

Елизавета Григорьевна в сатанинском действе участия не принимала. Она приветствовала своих весельчаков с балкона, сама влиться в эту кипящую карусель не смогла: дети болели.

Итальянцы пришли в восторг от колесницы, от снующих красных, как огонь, чертенят, от их песенок, от их неожиданных уморительных трюков. У мужчин-чертей вдруг вываливались из-за пазухи огромные груди, у чертовок начинала отрастать борода. Навеселились до изнеможения. Да и мастерство проявили отменное, Саввина задумка удалась на славу — дремавший в нем режиссер проснулся вулканом...

Однако наступало Рождество, из Москвы приехал брат Саввы Федор Иванович, сбжавший от «собачьего кошмара», но от себя-то, своих переживаний куда денешься?^[2]

Сразу после Рождества Савва Иванович уехал в Россию.

На вокзале он сказал Елизавете Григорьевне:

— Какие счастливые дни подарил нам Господь... Поезд тронется, и я

уже начну скучать по тебе.

Странное дело. Самолетов в помине не было, прямых поездов тоже, а письма ходили много скорее, чем в наше космическое время.

Письмо от мужа Елизавета Григорьевна получила уже 13 января. «Собачья история, Киреевская, произвела, оказывается, здесь сильное впечатление. Все сильно раздражены на Федора. Немного опомнюсь, надо будет приняться за это дело. — И признавался: — У меня в последнее время римской жизни приходит желание не очень запрягаться во всякие дела. Да и зачем, в самом деле, голова кругом пойдет, покою знать не будешь, очерствеешь, и из-за чего? Благо не было бы что кусать, а то слава Богу на наш век очень хватит. И с этими мыслями я натолкнулся на Чижова. Ему все хочется запрячь меня еще и в Курскую... Нет, я, право, пресерьезно думаю обставить себя так, чтобы все-таки до известной степени принадлежать себе... Вообще Москва, как я и ожидал, произвела на меня тяжелое впечатление, и я только сердечно желаю, чтобы оно таким и оставалось, ибо раз начнешь со всем мириться, поневоле сам будешь подгнивать и подойдешь под общую гармонию... Ваше житье-бытье в Риме теперь мне будет... казаться каким-то апофеозом в последнем акте балета».

Это письмо было уже ответом на письма Елизаветы Григорьевны и Сережи. Пока Савва Иванович добирался до Москвы с пересадками, письма из Рима обогнали его. Жена писала: «Вчера я обедала у Федора, помоему, он эти дни несравненно лучше и веселее. Собачий кошмар перестал его так неотвязно мучить... Вечером у меня были Антокольские и Василий Дмитриевич, который в последнее время у нас в семье считается бунтовщиком. Мордух все так же серьезно и мило умен».

Письмо Сережи маленькое, но оно сплошь — информация: «Папа, раз дождь лил сильный с градом. Я сделал с Татоновной много картонных солдат. Я няне помогаю братьев раздевать, и няня этому очень довольна. Которых мне на елке солдат подарили, — еще живы... Я еще продолжаю пить какао. Эмилия Львовна тоскует по тебе».

15 января Елизавета Григорьевна уже читала следующее письмо Саввы Ивановича: «Вчера был в Абрамцеве и получил милейшие впечатления: все на ногах, всё в порядке. У Мих. Ив. персики зацветают, и вся оранжерея дышит так, что любо-дорого. В Абрамцеве будет свадьба: женится Алексей на девке из Стройкова. Он было сватался за дочь Матвея,

и она очень за него желала, но отец нашел лучшего жениха, у которого две лошади и две коровы. Невеста, говорят, хорошая девка, дебелая, работница. Я разрешил свадьбу... Вчера было собрание новой Думы и совершенно неожиданно был объявлен выбор еще пяти попечителей, кроме старых и трех на место отказавшихся. Выбрали 8 попечителей и 5 кандидатов, я, кажется, вторым кандидатом, если же из них кто откажется, тогда придется быть мне. Очень жаль, что об этом раньше не было известно, можно было бы похлопотать, меня бы, наверно, выбрали, если бы знали, что я желаю».

О человеческие слабости! Хочется быть на виду, творить добро. И в то же время — освободить себя от ляжки ради столь притягательного искусства.

Елизавета Григорьевна в очередном письме сообщает: «Живем мы скромнее. Два, а то и три вечера сидим по домам, как-то все зараз почувствовали необходимость в более сосредоточенной жизни и все принялись за дело. Марк Матвеевич с женою навещают меня чаще всех, и мы с ними подолгу беседуем. Он ужасно милый человек, и мы с ним большие приятели... Хочет преподнести нам с тобой первый свой эскиз Петра».

Савва Иванович вдруг обнаружил, что жизнь летит, кипит не сама по себе, она летит, кипит, потому что он, Мамонтов, в постоянном движении. Он вникает в дела, он приказывает, он высмеивает малодушных, потому что сам-то может и гору свернуть, и, главное, ощущает себя сильным человеком.

В доме в считанные дни оборудована скульптурная мастерская. Есть станок, скребки, мастерки, самая превосходная глина. Начинает лепку тоже очень смело. Ему позирует Семен Петрович Чоколов.

«Горельеф вышел довольно похоже, — сообщил Савва Иванович жене. — Начну бюст отца».

Об увлечении Мамонтова среди друзей пошли толки. Приехал Неврев посмотреть работы новоявленного скульптора. Удивился, сделал толковые замечания, привез на суд свою новую картину «Торг». Тема недавнего прошлого России, продажа помещиком крепостной девки, которую девкой и назвать стыдно, так она нежна и мила.

Но скульптура — это отдых от дел. В Правлении Ярославской железной дороги Мамонтов неожиданно для себя приобрел значение первого лица, Чижев и тот стал спрашивать советов, отсылать к нему для решения самых важных и сложных дел.

Московское купечество умело не только наживать деньги, удивлять

пьяными безобразиями, но и задавать веселые балы, ни в чем не уступающие дворянским.

29 января бал-маскарад устраивал Михаил Петрович Боткин. Савва Иванович вырядился черным маркизом. Все было черное: туфли, трико, рубашка, плащ, кружева — кружева по всей Москве искал, выручила Вера Владимировна, теща. Один парик был белым.

Сообщая в Рим об успехе своего костюма, Савва Иванович признается: «Я даже сбрил (о ужас!) бороду ради того, чтобы уж вполне быть католиком».

Людей на маскарад собралось множество, одеты все были очень пестро, и черный маркиз бросался в глаза. «На это я и бил», — хвастался Савва Иванович.

По ходу маскарада ему, однако, пришлось поменять образ. «Для того чтобы составить пару с Еленой Андреевной Третьяковой, — рассказывает он подробности, — я сверху надел костюм капуцина, как они ходят по Риму, т. е. коричневый балахон, босые ноги и сандалии, парик с бритой маковкой, веревкой подпоясан, с большой бородой и красным носом в очках. Елена Андреевна была чертом. Ужасно блестящий, с бриллиантовыми рогами, с трезубцем своим — втащила меня в залу, т. е. черт монаха приволок. Будь она поживее, почертявее, вышло бы недурно. Впрочем, и то вся публика к нам обратилась с хохотом. Все окружили меня и повлекли к кардиналу (Михаил Петрович Боткин вывез из Рима подлинный кардинальский костюм), и встреча наша вышла комично... Лучше всех была Вера Николаевна (Маргарита Валуа). Бархатное платье и белый высокий стоячий воротник. Жена Кирилла Николаевича — турчанкой, а Маша Алексеева — хохлушкой».

И без перехода сразу же следует рассказ еще об одном увеселении: «Вчера (в воскресенье) к нам в Абрамцево собралось общество охоты на волков, человек 20».

Радостные письма Саввы Ивановича пришли в грустный дом. Дети болели корью, и маленький Вока тяжелее своих братьев. Елизавета Григорьевна забыла про искусства, про древности. Эмилия Львовна не появлялась, опасаясь перенести заразу на свое «сокровище», на Лёлю. К тому же она ходила на последнем месяце, и стала наконец объяснимой ее округлость. Удивительная женщина! Отплясывала и резвилась, совершенно не принимая во внимание свое «положение».

К несчастью, болезнь «арбузников» близко приняла к сердцу Маруся Оболенская, приходила сказки рассказывать маленьким.

Письмо о выздоровлении «арбузников» обрадовало Савву Ивановича, и на Масленицу он устроил «блины», пригласив брата Анатолия и сотрудников своих Чижова, Шмидта, Павлова, Баташова, Спасовского.

Бюст Ивана Федоровича тронул Чижова, работа ему понравилась.

Разговор пошел о скульптуре. О всем памятной работе Каменского, где мать опекает первый счастливый шаг своего сына, и крошечный паровозик чуть в стороне, намек на первые шаги российского железнодорожного дела. Говорили о Торвальдсене, с Микеланджело, об Антокольском.

— Меня беспокоит Василий Дмитриевич, — сказал Чижов. — Изумительно талантлив, но никак не найдет себя.

— А ведь он ничего нам не показывал!

— Потому и не показывал. Мы с ним много обсуждали один из его замыслов. Собирался писать приемную вельможи. Хотел сыграть на разящем противоречии роскоши убранства апартаментов и нравственной нищете их обитателя. Василий Дмитриевич мне всегда доказывал, что он отпетый реалист, а потому не способен к полетам фантазии: Где нам до Боттичелли с его «Рожденной из пены морской»! И ведь не одного себя приковывает к земле, но все свое поколение.

— Помилуйте. Я от него иное слышал. Он восхищается Семирадским и, кажется, не в восторге от Мясоедова, от бурлаков Репина.

— Как же он может быть в восторге, если считает новое поколение художников обреченным изображать прозу жизни.

— Не попозируете ли мне, Федор Васильевич? Уж ваше-то поколение достойно признания потомков.

— Глядя на бюст Ивана Федоровича, дать согласие не страшно, но где время найти?

— У нас есть вечера.

— Может, и рискну, — почти согласился Федор Васильевич.

Пока маститый старец собирался с духом, Мамонтов работал над бюстом Неврева. Фотографии своих «шедевров» отправлял Елизавете Григорьевне, чтобы показала Антокольскому.

К бюсту Чижова приступил 2 марта, а 14-го уже мчался на курьерских поездах в Рим. Как юноша, спешил к любимой, к радости, к творчеству, а попал на поминальный «девятый день». Заразившись корью в его доме, от его детей, умерла Маруся Оболенская. Ей было только восемнадцать, она всех любила.

Поэт Голенищев-Кутузов памяти Маруси посвятил стихи:

Кругом весна, цветы, веселье,
И зной, и блеск со всех сторон —
А смерть толкает в подземелье,
В холодный мрак на вечный сон.

Антокольский, по заказу ее матери З. С. Остроги, поставил памятник на могиле. Европа, где тесно, не в пример России, где широко, — уважает и чтит предков. Памятник Оболенской и ныне можно увидеть на кладбище Монте Тестаччио. Он очень прост и ничем не поражает. Перед открытой дверью гробницы — три широкие ступени. На ступенях сидит девушка. Волосы ниспадают свободно. Рука в руке, голова чуть опущена. Лицо хорошее, ясное, она пытается думать о вечном, но мысли ускользают, и на губах вот-вот проступит улыбка.

Непонятно, чего ради Антокольский избежал портретного сходства. Впрочем, Стасов, как всегда, остался благосклонен к Антокольскому, и, как всегда, похвала его была чрезмерной: «Я не знаю другого подобного памятника в целой Европе».

Поленов написал небольшую картину «Кипарисы на кладбище» и портрет любимой. Он подарил портрет Марусиной матери. Жизнь как игра для него кончилась.

Савва Иванович с утра и до обеда пропадал в мастерской Антокольского. Теперь это была уже настоящая учеба, сам Мордух работал над эскизом надгробного памятника Николаю Алексеевичу Милютину. Об этом заказе хлопотал Тургенев, но душу и время Антокольский отдавал своему «Христу». Мысль мастера вполне определилась. Он лепил Христа перед судом народа. Работал много и быстро, но до бронзы, до мрамора было еще далеко. Пока что руки доверяли одной глине. Из глины ведь и человек создан. Божественный материал.

— Я хочу, чтобы глядя на Христа, зритель видел не только подлость и низость фарисейства, — говорил Мордух Савве Ивановичу, — я хочу, чтобы зритель видел несчастье великого слепого. Великий слепой для меня — народ. Народ был свидетелем, как слово Христа избавляет от смерти, и шел за ним, и стелил ему путь своими одеждами. И тот же самый народ повторил ложь фарисеев и пожелал видеть Спасителя своего распятым.

Мамонтов приходил в мастерскую в восемь утра, а Мордух работал с шести. Всякий день Савва Иванович видел перемену в облике Христа, иногда совершенно неуловимую, но явственную. Приходилось думать, искать, что поменял ваятель, какой штрих добавил, убрал...

Однажды Савва Иванович долго сидел перед эскизом бюста Милютинина.

— Мордух, почему вы так редко подходите к этой работе?

— Потому что за нее мне могут заплатить деньги, за Христа денег не дадут. Христа Антокольскому заказал Мордух.

— Шутка хорошая, но я не могу понять подлинной причины.

— Савва Иванович, Христос и через тысячу лет будет Христос, а кто таков Милютин? Через двадцать лет ни единый человек в России не вспомнит, кто это.

— Возможно, — согласился Савва Иванович, — но забывчивость не прибавит нам чести. Федор Васильевич Чижов, мой компаньон и учитель, очень горевал по Николаю Алексеевичу. Россия клянет чиновников единым чохом, а ведь всем лучшим, что есть у нас, мы обязаны тайным и статским советникам.

— Так уж и тайным, так уж и статским? Вот камер-юнкерам обязана.

— И камер-юнкерам, и поручикам, и крестьянскому сыну из Холмогор. Но и вицмундирам, Мордух! Если бы не брат Милютинина, солдаты до сих пор служили бы двадцать пять лет. Шестнадцать лет солдатчины тоже ужасный срок, но человек воротится в свою деревню не в сорок пять, на склоне жизни, а в тридцать шесть, когда еще можно завести семью. И вернется этот солдат в деревню грамотным. Дмитрий Алексеевич устроил трехгодичные солдатские школы. Некрасов назвал Милютинина кузнецом-гражданином. Честным кузнецом-гражданином!

— Это интересно. Расскажите, Савва Иванович.

— Милютин готовил освобождение крестьян. Его замыслы исказили, но свою реформу в полной мере он осуществил в Польше. Крестьяне получали там землю в собственность, и, в корне пресекая спекуляцию, им разрешили передавать землю только крестьянам... Николай Алексеевич был поборником устройства крестьянской общины. Ему же Россия обязана введением самоуправления в городах. Есть у меня и цеховая влюбленность в Николая Алексеевича. Он первый составил записку для царя о необходимости в России железных дорог.

— Признаю, я подошел к этой работе легкомысленно, — сказал Мордух. — Бог с ними, с заказами... Давайте поговорим о Христе. Это для меня важнее.

— Я вот что хотел давно спросить: не пугают ли вас отечественные фарисеи? Ведь вам всегда могут бросить упрек — иудей искажил образ Христа.

— Об этом я не забываю, даже когда сплю, — сказал Мордух и посмотрел Савве Ивановичу в глаза. — Спасибо за честный вопрос. В Петербурге меня пытались обратить в христианство. Дали щедро оплаченный заказ скопировать «Распятие» Ван Дейка. Заказ я исполнил, но Православие мне не стало ближе. Христос — это новое время, это четверть времени, три четверти принадлежит закону Моисея. Мой Христос — человек. Христос стоял перед судом народа, меня, мою работу будет судить тот же суд. У Христа была истина, у меня — искусство.

Они посмотрели друг на друга и вдруг обнялись. Савва Иванович засмеялся сквозь слезы, похлопывая Мордуха по спине:

— Это огромное произведение! Огромное! Я с детства твержу: Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя! Но я не знал Христа человеком, только Богом. А теперь — знаю.

— Спасибо, спасибо! — говорил Мордух.

В воскресенье всем семейством, — Эмилия Львовна, к ужасу Елизаветы Григорьевны, тоже не отказалась от поездки, — отправились во Фраскати. Место для русских людей уже тем знаменитое, что когда-то здесь побывали Иванов, Боткин, Тургенев, о чем Тургенев и поведал всему белому свету.

Елизавета Григорьевна, прогуливаясь с Саввой Ивановичем, шепнула:

— Ты посмотри, какие стоптанные туфли у Мордуха.

— Лиза, я сам все время думаю, как предложить ему деньги.

— Надо сделать заказ.

— Он Христом занят. Заказ его отвлечет. Надо все устроить перед моим отъездом в Вену.

На Всемирную выставку Мамонтов уезжал 15 апреля. С Елизаветой Григорьевной договорились, он снимет квартиру, осмотрит технические экспонаты, нужные ему для дела, и вызовет семью.

Перед отъездом Савва Иванович вручил Мордуху две тысячи рублей. Это был кредит за статую. Тема — желание ваятеля, время — когда сделается.

В письме Стасову Антокольский писал: «Вчера уехал один из новых друзей моих, некто Мамонтов. Он едет прямо в Москву, и если поедет через Петербург, то непременно будет у Вас и у Репина... Он — прост, добр, с чистою головою; очень любит музыку и очень недурно сам поет.

Приехавши в Рим, он вдруг начал лепить, — успех оказался необыкновенный. Недельки две полепил, потом уехал в Москву по делам, где успел сделать три бюста в очень короткое время. С особенным мастерством вышел у него бюст отца. Как только он освободился, он приехал обратно в Рим к своему семейству. Тут-то мы стали заниматься серьезно, и лепка у него оказалась широкой и свободной... Вот Вам и новый скульптор!!! Надо сказать, что если он будет продолжать и займется искусством серьезно хоть годик, то надежды на него очень большие».

Это оценка способностей Мамонтова — не светский разговор, не комплимент богачу в благодарность за щедрый заказ. Письмо-то к Стасову, к Громовержцу, к собирателю русских художественных сил. Антокольский дарит своему командующему еще одного бойца, в таланте которого не сомневается.

В Вене Савва Иванович пробыл несколько дней. Праховы телеграммой вызвали обратно в Рим. Эмилия Львовна родила сына, а Савва Иванович дал ей обещание быть новорожденному крестным отцом.

Мальчика назвали Николаем, крестили в посольской церкви. В это время в посольстве жила императрица Мария Федоровна, ее резиденция была рядом с церковью, а ребенок орал, как резаный. Архимандрит нервничал, приказывал унять младенца. Его качали, трясли, но орун вопил, заглушая молитвы.

На крестинах была фрейлина ее величества Елизавета Дмитриевна Милютина, осматривала бюст своего дяди в мастерской Антокольского и согласилась принять участие в торжестве. Она спрашивала Эмилию Львовну, чем может помочь, но бедная мама сама не знала, как затянуть этот крошечный ротик, издающий столько пронзительных звуков.

— Господи, дайте ему соску! — посоветовал дьякон.

Соски не было, тогда фрейлина поспешила к себе в комнаты, принесла сахара и платок. Сахар положили в платок, намочили, дали крикуну, и младенец умолк.

Тут выяснилось, что Савва Иванович забыл дома крест для новообращенного. Выручил Поленов, дал свой.

Шумного, безудержно веселого застолья в честь крестин не было. Помнили о Марусе. Мамонтовы уезжали в Вену, да и Праховым пришло время собираться в дорогу.

— Я бы отсюда никогда не уехала, — призналась Эмилия Львовна. — Господи, после Рима — этот жуткий погреб Петербург. Изгнание из рая.

— А я скучаю по Абрамцеву, — призналась Елизавета Григорьевна.

Поленов кинулся целовать ей руки.

— Как приятно, что не я один тоскую по России. В Имоченцы, на милую мою реченьку, на Оять!

— Спешит Поленов на Оять благим матом орать, — тотчас сочинила стишок Эмилия Львовна.

В «семье» один Антокольский казался довольным.

— Савва Иванович отщипнул от себя и дал мне своего везения, — признался он. — Мне еще один заказ подбросили. Приезжала в мастерскую княгиня Мещерская, внучка знаменитого графа Панина, заказала скульптуру деда для своего смоленского имения.

— Да, господа! Пора нам на свое гнездовье, — сказал Мамонтов. — Я видел у тебя, Василий Дмитриевич, очень хороший эскиз. Напиши картину для меня.

— Какой эскиз? — немного испугался Поленов.

— На котором больная девушка.

— Ах, это... Нет, это — потом. Я не готов. Мне для Академии нужно написать... Я задумал «Право господина».

— Академия превыше всего! — согласился Савва.

До отъезда в Вену еще оставалось время, и он предложил посетить Морелли, об этом художнике много говорят. Эмилия Львовна сразу вспомнила его «Поцелуй корсара» и «Одалиску после купания».

— Для меня Морелли — художник-христианин, — возразил Василий Дмитриевич. — «Взятие Богородицы на небо», «Ангел, переносящий души в Дантово Чистилище», «Христос, идущий по волнам».

— Вы осторожнее с Морелли, — предупредил Мамонтова Адриан Викторович. — Он, между прочим, революционер, дрался с Бурбонами на баррикадах. Его на этих баррикадах и расстреляли бы, да он без сознания лежал, рана была очень тяжелая.

— Так едемте! — загорелся Савва Иванович. — Едемте к революционеру-христианину, пишущему одалисок.

Но оказалось, у всех дела, неотложные, обязательные. К знаменитому мастеру неаполитанской школы колористов Савва Иванович отправился только с Елизаветой Григорьевной.

О самой встрече свидетельств, кажется, не осталось. Известно только, что у Морелли была приобретена небольшая трогательная картина «Возвращение Богоматери с Голгофы».

Конец мая и половину июня Мамонтовы жили в Вене.

Здесь Савву Ивановича посетила муза Каллиопа. Сохранился листок с эпическими виршами.

Последний взмах резца. Закончено творенье.
Заветные мечты создал я наяву.
Теперь свершай свой суд, Эллада.
Пред тобою
С покорностью склоню я голову мою.
Суд будет справедлив. Богами вдохновенный
Народ преклонится пред скромной простотой.

Осматривали экспозиции Всемирной выставки и видели здесь репинских «Бурлаков». Картина нравилась иностранцам, хотя иные пожимали плечами, показывая на лохмотья бурлаков и на столь дикий способ перевозить грузы. Картину, впрочем, купил великий князь Владимир Александрович. Репин стал знаменитостью.

Светская жизнь никогда не отвлекала Елизавету Григорьевну от семейных забот. Ей удалось показать Дрюшу знаменитому доктору Фрейдриху. Доктор нашел здоровье мальчика удовлетворительным, обнадежил: с возрастом болезнь пройдет.

В Абрамцеве тюкали топоры, пахло опилками. Возводили мастерскую для скульптора Мамонтова, достраивали лечебницу, был готов сруб школы.

Проект мастерской сделал Гартман, но Савве Ивановичу стиль «а-ля рюсс» вдруг показался фальшивым. Гартман в Абрамцево ни разу не приехал посмотреть, как идет стройка, он жил в Кирееве, сооружал дом Федору Ивановичу. Строительными делами в Абрамцеве заправлял десятник Громов.

— «А-ля рюсс» похож на бабу, которая напялила на себя все свои побрякушки, — говорил Савва Иванович Елизавете Григорьевне, но особенно не сердился. — Поленов всем уши прожужжал, как ему плохо в Италии. Пусть приезжает, пишет Русь-матушку. И Антокольскому не мешало бы пожить у нас. Лепит русских царей, не ведая, каков он, русский народ. Хотя бы с нашей дворней пообщался, поговорил бы с Михаилом Ивановичем.

Садовник Михаил Иванович продолжал удивлять. У него появилась яблоня, где каждая ветка давала свои плоды.

Работы у Саввы Ивановича было много. Он отправлялся в Москву с

семичасовым поездом, возвращался поздно.

В самом конце лета приехали Праховы.

Вечером устроили фортепьянный концерт, который закончился грозой. Погасили лампу, сидели вдали от окон, любуясь пламенем на облаках, зигзагами и стрелами молний. Гром сотрясал небо, землю, стены. Взрослые и дети собрались на одном диване, и никому не было тесно. Удары становились тише, но свет молний бродил по небесам, и казалось, что небо моргает.

— Воробьиная ночь, маленькое, но чудо, — сказал Савва Иванович. — Хорошо хоть завтра воскресенье, не ехать на службу.

Савва Иванович принес коньяк и морошку.

— Как хорошо быть богатыми! — сказала вдруг Эмилия Львовна. — Коньяк столетний, по дому бродят тени великих.

— Позавидовала? — усмехнулся Савва Иванович. — А ты поработай с мое... Ты рискни хоть разок всем своим состоянием.

— Что-то больно много рискующих!

— Уймись, Эмилия! — попросил Адриан Викторович.

— Нет, давай крой! — Савва Иванович налил рюмки дамам. — За богатых, господа! Но знала бы ты, Эмилия Львовна, как иной раз я зеленой завистью завидую твоему Адриану. Свободный человек! Купается в мире мысли, чувства, красоты.

— У каждого своя зависть, — сказал Прахов. — Я в Академии среди учеников имел всегда чуть ли не самый последний номер. Сороковой, тридцать девятый... Но когда подвели глаза и живопись пришлось оставить, я был самым несчастным человеком на свете. Хоть тридцать девятый, да на Пегасе!

— На хвосте Пегаса, — сказала Эмилия Львовна.

— Так выпьем же за хвост Пегаса! — обрадовался Савва Иванович, поднимая хрустальную рюмочку.

Тут полыхнуло, и грани рюмки вспыхнули, как алмазы.

— А ведь что-то сбудется, — сказала Эмилия Львовна. — Что-то мы напророчили.

Напророчили Поленова. Приехал утренним поездом. Лето Василий Дмитриевич провел в своих ненаглядных Имоченцах.

Решил в Рим не возвращаться, ехал теперь в Париж, оставалось еще три года академического пенсионерства.

— Говорят, Париж после немецкого нашествия ожил, бурлит, — сказал Савва Иванович. — Может быть, в Салоне выставишь своего «Господина», в Европе этокое любят.

Василий Дмитриевич улыбнулся:

— Все дразните?! А я действительно напишу «Право господина». И выставлю в Салоне.

— И будешь не Дон Базилио, а Дон Жуан, — предрекла Эмилия Львовна.

Ходили за грибами, оставив Адриана Викторовича. Он плохо видел. Ему в скором времени предстояло ехать в Петербург защищать диссертацию на степень магистра. Диссертация называлась «О реставрации группы восточного фронтона Эгинского храма в Афинах». Собственно, это была часть опубликованной еще в прошлом году в Петербурге монографии «Критическое исследование по истории греческого искусства». Защита — чистая формальность. Место Прахову было обеспечено в Санкт-Петербургском университете, и не только место, но и звание доцента, однако кто же не волнуется, когда грядет перемена в жизни.

Савва Иванович ходил по лесу вместе с Поленовым. Нашли поляну золотых, крепких лисичек.

— Вот и жаркое! — говорил Мамонтов. — Ты, Василий Дмитриевич, не задерживайся в Париже. У них, небось, одни трюфеля. А если серьезно, может, потому и мечешься, что мало писал на русские темы. Писать Россию, русское небо, глядя на итальянские небеса, — нелепица.

— Русское небо я писал в Имоченцах. Не картины — этюды. «Закат», «Окулову гору», «Избу». И картина у меня есть. «Переправа через реку Оять». Лошадка посреди брода, водички наклонилась попить, на лошадке девка, в тележке, двухколесной, пара кулей... Все похоже, а не получилось. Настроения нет.

— Приезжай в Абрамцево — получится. Третьяков, конечно, большой молодец, дает жить русскому художнику. Но, думаю, надо собрать все лучшие силы, чтоб художник художника подвигал, чтоб зажигались друг от друга.

— Художнику уединение необходимо.

— Кто же против? Уединяйся, твори, но приходи за общий стол. Пospорь, выпей круговую чашу, открой в себе кладези, которые увидишь в товарищах своих. Ведь иногда так важно спохватиться.

— Белый!

— Стой! Смотри под ноги. Можешь раздавить. Белые в одиночку не показываются. Ах, как стоят! Шапка к шапке, ниже, ниже, до самого махонького.

— Я тебе вот что хочу сказать, Василий Дмитриевич, — говорил Савва

Иванович, срезая грибы. — Тебе сколько? Тридцать?

— Двадцать девять.

— Мы зимой с Гартманом молодостью мерялись. А неделю тому назад его похоронили... Это ведь ужасный самообман — жизнь. Чудится бесконечной: от радости к радости, от надежды к надежде. Я высоким словам не верю. Жизнь для Отечества, для народа. Чепуха! Жить надо для себя, для исполнения заложенного в нас. Пригодишься народу, спасибо. Вспомнит Отечество, слава Богу.

И показал рукою на березнячок впереди:

— Кызылбаши!

— Кызылбаши? — удивился Поленов.

— Красноголовые. Я же старый персианин, — и захохотал, видя, что Поленов ничего не может понять. — Подосиновики!

Сентябрь стоял теплый, радовал высоким синим небом, жаркими днями.

В Абрамцеве под наблюдением архитектора Ропета все в том же стиле «а-ля рюсс» поставили баню. Получилось очень хорошо. Может быть, потому и получилось, что человек, носивший замысловатую нерусскую фамилию Ропет, на самом-то деле был Иван Петров.

В конце сентября Мамонтовы отправились в Рим. Сняли виллу Белладжио. Из «семьи» в вечном городе оставался один Антокольский, в ту пору очень счастливый человек — у него родился сын, названный Львом. «Христос» был почти завершен. Савва Иванович, как всегда, хоть несколько дней, а поработал бок о бок с мастером... У Христа были тонкие, почти девичьи руки, по локтям прикрученные веревкой к телу. Голова чуть опущена. Не ради того, чтобы скрыть глаза от плевка или от удара. Не желал поднятием головы нечаянно выразить несмирение перед волей Своего Отца. Он и теперь думал. Толпа бесновалась, а Он думал о каждом из этих людей и каждому желал спасения.

Мордух все еще обхаживал статую, что-то подправлял, и Савва видел, как много значит каждый нашлепок глины, каждый штрих.

Антокольский спрашивал о России.

В России было беспокойно. Дворянство, потеряв крестьян, осталось у разбитого корыта. Процветали старообрядцы. Связанные круговой порукой и тайной, непьющие, ловкие в делах, они помогали друг другу наживать капиталы.

В Гуслице, под самую Москвой, в тайных скитах великие умельцы изготавливали фальшивые деньги. Иные же занимались подделкою древних

рукописных книг. На Волге, в Хвалынске, бойко шло производство «древних» черных икон.

Считая Петра Первого антихристом, не принимая петровского флага, старообрядцы своим почитали древний русский флаг, красный. Ни за какие деньги не шли на государственную службу. Для них это значило служить сатане, но человеческая энергия требовала выхода. Выход был один — торговля.

Купеческая Москва — сплошь старообрядцы.

Мир, однако, усложнился, свобода породила ненависть, горячие головы взялись перевернуть мир самодельными бомбами. Обо всем этом и рассказывал Савва Иванович. Антокольский показал на своего Христа:

— Если бы Он пришел сегодня на землю, только не судьей, а тайно, Он восстал бы против христианства, как восстал против фарисеев. Инквизиция — христианство, крестовые походы — христианство, тюрьмы Соловков — христианство, преследование иудеев, преследование старообрядчества — все это немирное, нетерпимое христианство. Сколько лжи породила церковь!

— А сколько лжи породила синагога?

— Мы — гонимый народ.

— Куда же это вас угнали? — съязвил Савва Иванович. — Русский император угнал иудея-скульптора... в Рим. Морганатическая супруга его величества за взятки отдает подряды на строительство самых выгодных железных дорог иудею Самуилу Полякову. Мордух! Чьи банки самые богатые в мире? А ведь это и тебе, служителю муз, должно быть понятно: у кого деньги, тот и правит миром.

— Оставим эту тему.

— Оставим. Я уверен, Христос, придя в наш мир, снова пошел бы на крест.

— Он бы дал себя распять десять раз! Я за Христа, Савва! Я против ожиревших от постов архиереев. Я против неправды.

— Вопрос простой, но коварный. — Савва Иванович нежно дотронулся до Христа. — Понимаешь, Мордух! Я ведь человек не столько верующий, сколько исполняющий обряды. Таких, как я, — весь царский двор, все наши князья, графья. Если правду сказать, я на попов смотрю косо, чрезвычайно пустая публика. У меня надежда на Достоевского, на Крамского, который, как и ты, пишет Христа перед судом народа, в музыке — на таких, как Бортнянский.

— Я согласен, Савва. Искусство должно заменить веру. Если это произойдет, в мире снова восторжествуют идеалы Эллады. Мир движется

между Савонаролой и «Давидом» Микеланджело. Торжествует Давид.

Устроив жену и детей, Мамонтов уехал в Россию, но не прежней дорогой, через Германию, а завернул в Париж. О французских свободах столько трескотни по белу свету, что Савва Иванович прежде всего отправился в Версаль, в Парламент. Оказалось, рачительные французы за демонстрацию своей свободы берут деньги. За вход пришлось заплатить двадцать франков.

«Француз сказывается во всем, — запишет Мамонтов, — шуму много, а толку мало, правительство же, как и везде, пользуется своей силой и не обращает внимания ни на правоту, ни на совесть, так-таки отлично грозит своим полновесным кулаком, что из бедной свободы и тут выходит карикатура».

Осмотрел Зал малых забав, где заседали Генеральные штаты, где когда-то Людовик XVI, сказав речь, надел шляпу, и вместе с ним надело шляпы все третье сословие, которому это возбранялось в присутствии короля. Первый шаг неповиновения, самосознания.

Поглядел Савва Иванович на Версальские сады, уже сильно искаженные, но сохранившие имя их создателя Ленотра. Ленотр сооружал сады для глаз короля-солнца Людовика XIV. Три луча аллея расходились от самой спальни короля. Аллеи шли до горизонта, прямые, как стрелы. Водные «партеры» увеличивали пространство, добавляли света.

Утром Мамонтов поехал на Монмартр — знакомиться с Репиным. Его встретила Вера Алексеевна, жена Ильи Ефимовича, проводила гостя в мастерскую мужа. Мастерская была неподалеку, но можно было заплутать в улочках.

Репин оказался махоньким, похожим на подростка. Он был бы совсем мальчик, быстрый, улыбающийся, когда бы не острая бороденка да не кудри до плеч. Савва Иванович застал Илью Ефимовича в минуту растерянности.

— Я, как Антокольский, начал писать Христа в Гефсиманском саду. Христос идет навстречу толпе, которая явилась схватить Его. Тургеневу нравилось, а я в отчаянии поверх написал Стеньку Разина в лодке. Иван Сергеевич пришел вчера посмотреть Христа, а у меня его нет. Уж так на меня посмотрел Иван Сергеевич, так посмотрел, что я Стеньку Разина на куски порезал, — виновато улыбнулся. — С нашим братом такое бывает. Я

слышал о вас. От Поленова. А где он, кстати?

— В Имоченцах застрял. Он свои Имоченцы выше Италии ставит.

— А я с Василием Дмитриевичем согласен, — сказал Репин. — Мы по весне разминувшись с вами, я приезжал в Рим. С Семирадским ходили Ватиканский музей смотреть. Рим — затхлая могила. Рафаэль ихний приторный, шоколадка для детей. Один Микеланджело — громада.

— Неужто в Италии вам ничего более не понравилось, кроме Моисея?

— Сикстинская капелла понравилась. Дворец дождей... Но все перехвалено, заболтано. Понимаете ли, ехал изумляться — и не изумился.

— А не изумившись — обиделись.

— Обиделся! — засмеялся Репин. — Разве не обидно — на свое, русское, не смотрим, дескать, задворки Европы.

— На Всемирной выставке видел ваших «Бурлаков». Вот они-то, натужась, тянут и, кажется, вытянут наше искусство на белый свет.

— Приезжал в Париж министр Зеленой, в его ведении пароходства, жаловался на меня Боголюбову. Уймите, дескать, Репина, на весь мир опозорил. У нас — пароходы, бечева совсем почти отошла, а он бурлаков ободранных выставил. Хоть бы одел как следует. Стыдно русским назваться после таких картин.

— Хорошо хоть министры не разучились краснеть, — сказал Савва Иванович. — А что вы теперь задумываете?

— Стасов призывает вздымать былинную Русь... За границей Семирадскому уютно с его Элладой. Нам же, грешным, подавай мужика в лаптях. Правду сказать, о Садко думаю. Но пока это все в голове. К Парижу привыкаю. Приедет Поленов, будет веселей.

— Вы не задерживайтесь здесь. Приезжайте в Москву. Москва для русского художника кладезь, из которого никто всерьез не черпал. Ко мне в Абрамцево милости прошу. Такие дубы! Такие горы с шапками елок... Париж, Рим — это все красивые, но путанные сны.

Пришла Вера Алексеевна, принесла кофе и пирожные.

— Живут французы удобно, уютно, — сказал Репин, — а я, понимаете ли, о Чугуеве скучаю. Художников тут множество, но стоящих пока не видел. В Италии — Морелли. Здесь о Фортуни говорят...

— Академическое пенсионерство — это замечательно. Белый свет поглядеть надо, — пустился в рассуждения Савва Иванович. — Важно своего не потерять, не впасть в эпигонство.

Расстались довольные знакомством.

О Репине Савва Иванович напишет в одном письме: «Он неглупый, молодой, с высокими честными стремлениями в искусстве. В поднебесные

выси не лезет, философского камня не ищет, а потому и можно полагать, что из него выйдет положительная сила».

Репин тоже «разглядел» Савву Ивановича. Лет через двадцать он признавался Серову: «Я люблю с ним советоваться, он ведь очень чуткий человек — артист и умница!»

...Примчавшись в Россию, Мамонтов лихорадочно окунается в дела, он решителен, он не умеет мелочиться, слово его твердо, но главное для держателей акций Ярославской железной дороги — капиталы Общества округляются.

Плотной, хваткой работой Савва Иванович принуждает Чижова быть к нему снисходительным, не держать в Москве ради мелкой текучки.

Встречать Рождество мчится в Рим, к ожидающей его Елизавете Григорьевне. На этот раз Савва Иванович едет с младшим братом Николаем Ивановичем. У них тяжелый багаж. Савва Иванович везет показать Антокольскому бюст Гартмана.

— Заказанная вами статуя на две трети готова, Савва Иванович! — Антокольский показал на Христа. — Кое-что еще поправлю, переведу в мрамор, а Бог даст — в бронзу, и забирайте.

— Неужели это мне? Мой скромный заказ — родил великое произведение. Нет, весь я не умру! — Савва Иванович радостно обнял учителя и друга. — Мордух! А я к тебе тоже не без творения. Позволишь?

— Что значит позволишь? Где оно?

Мамонтов вышел и распорядился, чтобы бюст Гартмана внесли. Пока работу разворачивали, Антокольский стоял, не поднимая глаз. Посмотрел, как выстрелил.

— Это — произведение. Это — он.

Пожал Савве Ивановичу руку.

— Недостатки, Мордух, указывай. Думаешь, легко было тащить сей груз через всю Европу?

— Какие же тут недостатки? Я же сказал — это произведение. Законченное, состоявшееся. И если в нем и есть какие-то промахи, то они на пользу. Промахи — часть искусства, его интимность. Абсолютным совершенством обладает один только Бог.

— Так дело не пойдет, — не согласился Савва Иванович. — Ты мне показываешь замечательную работу и говоришь, что она закончена на три четверти. Мой скоропалительный бюст, который я слепил за месяц, да где за месяц — за три недели, — объявляешь законченным произведением. Мордух! Показывай, где я прошляпил!

Но Антокольский открыл бутылку сухого красного вина:

— За мастера! И, как с мастером, хочу поделиться своими мечтами, кое-что даже могу показать. Столько времени проведя наедине с Христом, с моим Христом, я много думал об Антихристе. Квинтэссенция средневекового христианства мне открылась в Варфоломеевской ночи.

— Если папского христианства, то пожалуйста, — согласился Савва Иванович. — В Православии такого не было и быть не могло.

— А самосожжения?

— Но ведь это самосожжения. Само-отречение от мира, неприятие мира, но не казнь, не резня за букву веры.

— Представь себе. Окно Лувра. Екатерина Медичи и Карл IX смотрят, как режут гугенотов. Было ли сомнение на их лицах или одна фанатическая радость?

— Замысел, Мордух, грандиозный. Микеланджело не одолел бы такой задачи. Наслаждение ужасом убийства. Мордух, тебя посещают озарения титанического духа.

— Высоко забираешь, Савва!

Подвел к небольшому станку в уголке, снял мокрую тряпку. Круглый горельеф. Лицо Христа, глаза закрыты, но Он еще жив, ужасно измучен, но жив, на лице тонкая прядка волос. Губы нежные, полуоткрытые.

— Последний вздох, — сказал Мордух и закрыл работу. — Я только мысль схватил... Знаешь, Савва, человеческое в Христе я все-таки постиг, но я должен показать, кто Ему противостоит. Каков он, Мефистофель, — не вижу. Пока одно в голову засело: я его вылеплю без одежд. Разоблачу, так сказать.

— Милый Мордух! — улыбался Савва Иванович. — Сначала ты вытянул и показал корни России: Иоанна и Петра. Теперь ты берешься показать миру лики Добра и Зла. Что же остается тебе на завтра, на пору твоей зрелости? Ведь вершины всегда впереди.

— Я говорил тебе однажды, с небес сойду на землю. Расскажу о смертном и грешном человеке. Варфоломеевская ночь — шекспировские страсти, но если я не сделаю этого теперь, то никогда уже не сделаю. Пристойное в тридцать лет непозволительно для сорокалетнего.

Мамонтов был даже рад, что римская развеселая компания распалась. Хотелось серьезных, основательных разговоров.

Набрал книг, начал изучать комедию. Римскую паллиату, в которой действие должно было происходить в Греции (паллиата — это греческий плащ), и тогату, где место действия — итальянская земля, а слово «тогата»

происходит от тоги. Ему были интересны все — Плавт, Теренций, создатель тогаты Невий, создатель римской комедии Ливий Андроник, родом грек, римский раб, получивший свободу за перевод Одиссеи, сочинивший гимн Юноне, научивший римлян ставить трагедии и комедии, переведя для того лучшие из них с греческого на латинский язык.

Тихая работа кончилась с приездом в Рим к Антокольскому Валентины Семеновны Серовой, вдовы композитора Серова. Она и сама была композитор, сочиняла оперы, писала критические статьи, заботилась о продвижении серьезной музыки в народ, в деревню. Приехала она к Антокольскому показать рисунки девятилетнего сына Валентина, которого все звали ласково — Тоша. Антокольский не ради взбалмошной мамыши, которую он не мог воспринимать без затаенного юмора, был сам захвачен талантливостью рисунков, их непосредственностью, творческим своеволием. Года два тому назад он рекомендовал Валентине Семеновне учить сына серьезно, без скидок на детство. Она остановилась на художнике Кёппинге, у которого семилетний Серов учился два года. Теперь нужно было двигаться дальше.

— Вы живете в Париже. В Париже Репин. Я напишу ему. Он мужик мужиком, но лучшего педагога я не знаю. Все, что есть хорошего в вашем сыне, будет замечено, ростки ухожены, политы. Урожая, Валентина Семеновна, надо ожидать совершенно замечательного.

Елизавета Григорьевна в «Дневнике» дала портрет новой знакомой: «Она для меня была очень интересным человеком, я таких еще не встречала. Типичная шестидесятница, в полном смысле этого слова, она сама участвовала в Петербурге в движении партий этого горячего времени, сама переживала то, о чем до меня доходили только смутные слухи, она и теперь спокойно сидеть не могла, всех тормошила, поднимала самые животрепещущие вопросы, убеждала, спорила, не сообразуясь с тем, кому это приятно, кому — нет. Говорила подчас резко и бестактно, что многих коробило. Мне вопросы, которые она задавала, настолько были интересны сами по себе, что я не замечала тогда всех ее шероховатостей. Наружность ее тоже не могла не остановить внимание человека, с очень определенным еврейским типом, крупными чертами, большими губами, резким голосом. Все вместе это как-то не вязалось с ее музыкальной специальностью».

А Савве Ивановичу пора было поспешать домой. Уже из Москвы писал он в Париж Поленову о римских своих впечатлениях: «Мордух со своим Христом прелесть. Христос не только не надоел ему, но день ото дня при мне росла его сила. Вообще, на мой взгляд простого смертного, это огромное произведение, в нем я впервые увидел мировое значение

Христа».

Простой смертный делец, дилетант-скульптор, не дожидаясь похвал жрецов искусства, умел увидеть великое в великом, и сказать об этом, не боясь сесть в лужу. И были в нем невероятная художническая интуиция и вкус.

Оценка Мамонтова новой работы Антокольского скоро была подтверждена восторгами множества ценителей искусства, правительственными наградами, монаршими улыбками и милостями.

В начале 1874 года Антокольский открыл свою мастерскую для посещений и сразу произвел «Христом перед судом народа» сильное впечатление на охочих до похвал итальянцев, знающих, что творчество питается признанием и расцветает от восторгов.

Русские путешественники и заезжие корреспонденты, радуясь, что свой пронял за границу, тоже не скупилась на похвалы. Писатель П. Д. Боборыкин в «Неделе» дал большую статью об Антокольском. Он увидел в «Христе» борьбу великой личности, трагическое спокойствие конца. А. С. Суворин в «Санкт-Петербургских ведомостях» объявил, что Христос Антокольского есть обличение фарисеев всех веков.

Русский художник А. А. Риццони сообщал П. М. Третьякову: «Антокольский кончил своего Христа на славу и произвел фурор в полном смысле этого слова. Все художники (всех наций) посетили его студию и все лучшие журналы написали самые строгие и лестные отзывы. Путешественники так и валили в его студию, одним словом, общее внимание, и совершенно достойно. Вещь вышла в самом деле замечательная».

«Христос» Антокольского перевернул представление о Боге Спасителе. Антокольскому стали если не подражать, так идти от его образа Христа. Ф. Лист находил, что венгерский художник М. Мункачи в своей картине «Христос перед Пилатом» «заимствовал первую идею своего Христа, более человеческого, чем небесного, от „Христа“ Антокольского, чисто реалистического».

А между тем Савва Иванович наслаждался обществом Мстислава Викторовича Прахова, старшего брата Адриана Викторовича, был он филологом, профессором Дерптского университета, знал наизусть поэмы и целые эпосы. Прошлой осенью Мстислав Викторович гостил в Абрамцеве

и полюбился его домочадцам. Человек этот жил в иных мирах. Все обыденное было ему чуждо. Савва Иванович никак не мог поверить, что подобное равнодушие к жизни возможно, что это — не розыгрыш, не хитроумно изощренное приживальство.

Обедали и ужинали они чаще всего вместе. Савва Иванович приметил: самые изысканные блюда Мстислав Викторович поглощает, словно бы не замечая ни вкуса, ни сервировки. Обидевшись за своего повара, Савва Иванович попросил принести обед из трактира. Мстислав Викторович ел столь же азартно, доказывая сотрапезнику, что искусство — нехорошо унижать, низводя, как это делал Белинский, до идейности, до obsługi партийных принципов. Искусство — дар, Паганини в душе мог быть католиком, мусульманином, иудеем, язычником — но кому до этого дело! Он — море сладчайших звуков, виртуоз настроений, тиран, подавляющий всякое инакомыслие, когда его смычок прикасается к струнам.

«Ладно», — сказал про себя Савва Иванович и приказал подавать постное, монашеское.

Мстислав Викторович перемены не приметил.

Тогда через несколько дней обеда вночь пошла купеческие, и однажды на десерт подали клубнику.

— Клубника?! — впервые изумился профессор. — Но теперь зима!

— Теперь зима, — согласился Савва Иванович, — но у меня есть волшебник Михаил Иванович.

— Вкусно и знаменательно, — похвалил садовника профессор. — Человек, устроивший лето посреди зимы! Вот кому надо посвятить мои переводы.

Прахов-старший был поглощен загадкой Хафиза, он переводил его диван, но никак не мог передать русскими словами всю полноту смысла и не показывал переводы.

— По-моему, восточная поэзия — непроходимей русских лесных дебрей, — сказал Савва Иванович.

— Отчего такой пессимизм? — удивился Мстислав Викторович. — Если знать исходную мысль, на которой возведена вся пирамида, — то бессмысленная громада сложностей тотчас приобретает строгие, ясные, пластические формы. Вы, дорогой Савва Иванович, были в Персии, вы видели множество персиянок с закрытыми лицами, но, скажите, вы себя хотя бы раз спросили, почему это так, почему женщины Востока скрывают лица.

Савва Иванович развел руками:

— Я таким вопросом не задавался. Знал — это закон для здешних

мест. Шариат. Еще жены пророка Мухаммеда лицо закрывали.

— На самом деле сокрытие женского лица — вопрос не только теологический, но и философский. Мусульмане скрывают не только лицо женщины, они никогда не произносят, даже в узком кругу, у себя в доме, имя женщины. Праздный взор не должен проникать в тайну Красоты. Сокрытие Имени и Лица соответствует слепоте и немоте.

— Гомер! — подскочил Савва Иванович.

— Верно, Гомер. И не только — Рудаки, ал-Маари, косноязычие Моисея. Христос перед первосвященником: «Он молчал и не отвечал ничего». Многие иудеи-праотцы в старости обязательно теряли зрение, правда, получая взамен глаза духовные.

— Потому и рисуют Мухаммеда, оставляя белое пятно вместо лица?

— Да, это так. Но мы подошли только к первой ступеньке мусульманского таинства. Поэт сказал: «Мир подобен локонам, пушку, родинке и бровям». Лицо для мусульманина имеет мистическую ценность. Лицо есть величайшая тайна и самоценность! — Прахов, наслаждаясь мыслью фанатиков-суфиев, даже закрыл глаза. — Но вот что замечательно. Красота Лица или его безобразия — две стороны одного образа. Образа Абсолютного Совершенства, ибо истинная красота скрыта не во внешнем облике, а в сути, в смысле. Для ее постижения — здесь талисман красоты сливается с талисманом знания — необходимо совлечь завесу — мукашаф. Как это достигается? Во-первых, отвержением очей, во-вторых, созерцательным соприсутствием.

— Мстислав Викторович! — замахал руками Савва Иванович. — Все! Тут уже от лукавого.

— Ничего подобного! Полная четкость и ясность. Следите за мыслью, Савва Иванович. Все необычайно просто. Истинная красота доступна не нашим глазам, но глазам духовным. Духовные глаза — калб — это наше сердце. Великий Руми так сказал об этом:

Когда на пути встретишь отрезанную голову,
Которая катится к нашей площади.
Спроси у нее о тайнах сердца.
И она поведаст нашу скрытую тайну.

— От Руми яснее не стало.

— Сейчас! Сейчас! Все эти звенья тайны, составляющие одну цепь, заканчиваются замком и ключом. Оказывается, достигший Лица Господа —

у нас Господа лицезрел один Моисей — всего лишь идолопоклонник. Между прочим, изображения лица Мухаммеда существуют, но все эти лица разные. Иконы у мусульман быть не может, если для них даже Лик Аллаха — идолопоклонство. Избавление от идолопоклонства приходит с постижением истины Аллаха, его сути. Шейх Насафи об этом так говорит: «Миновавший лицо Аллаха и достигший сути Аллаха освобождает себя от идолопоклонства, находит примирение с людьми мира, избавляется навсегда от возражения и отрицания. Кто достиг лица, но не постиг сути, пусть он хоть трижды правоверный, есть идолопоклонник. Истинно верующий в единобожие тот, кто достигает сути Аллаха».

— А ведь для Православия — удостоиться видеть Бога значит уже обрести спасение, у нас Лик Бога важнее Библии, или я ошибаюсь?

— Савва Иванович, а вы говорите, что не понятно! — просиял Мстислав Викторович. — Мы подошли к ответу на вопрос, что стоит за всеми этими изысками мысли, почему мусульмане предпочли Ликописи — Словопись, буквопись. Вот что сказал поэт: «Отсутствие облика является знаком божьего человека». Отсюда оно, мистическое благоговение перед чистым листом бумаги, ибо начертание слова равносильно отверзанию уст, отверзанию очей, избавлению от слепоты и немоты.

Рассказывая о московской жизни, Мамонтов писал Полену в Париж: «Мстислав Прахов и по сей момент у меня, витает в облаках, нюхает райские цветы и только потому носит штаны, что холодно. Ай, ай, какой идеалист, я таких не видывал!..»

Как-то, отправляясь на службу, Савва Иванович заметил, что Мстислав Викторович сидел в гостинной, разложив перед собой изображения Богородицы. Это были репродукции картин Лукаса Кранаха, Рафаэля, Моралеса и репродукции икон Богородицы Донской, Владимирской и Феофана Грека из Деисусного чина Успенского Кремлевского собора.

Воротившись со службы, Савва Иванович застал Прахова перед теми же репродукциями и чуть ли не в той же позе. Профессор восторженно, торопливо собрал репродукции.

— Самое удивительное, — бормотал он, — я не вынес из этого моего дневного караула ни одной новой мысли. У Кранаха — великолепие внешнего, душа на яблочках, у Рафаэля — в глазах, у Моралеса не картины — страдание. Оно не только на лице Богородицы, в позе, но и в складках одежды, в каждом светлом луче, в каждой тени. — Прахов казался рассерженным, расстроенным, собирал и снова рассыпал репродукции. — Что я хотел понять? Красота Владимирской Богородицы, отстраненная от человека, красота в себе...

— Ну так это Византия, — сказал Мамонтов.

— Да, Византия. В русской Донской Богоматери все божественное перетекло в материнскую улыбку, недоступного или отстраненного не осталось. Феофан Грек посредине. Русская духовность преобразила его кисть. Он не колеблется, он — человек русской веры, но природа его — византийская... Я ни на йоту не продвинулся, все это я понимал вчера и год тому назад. Впрочем, нынче, глядя на иконы, я улетел мыслями... к Хафизу.

— Мстислав Викторович, — спросил осторожно Савва Иванович, — вы успели пообедать?

— Кажется, нет.

— Так пойдемте пообедаем.

— Прекрасно, но я хочу сказать вам о Хафизе. Хафиз! — И Мстислав Викторович превратился в мираж.

Вроде бы и вот он, профессор из Дерпта, а потрогать его невозможно — материя истончилась, и остался дух, колеблемый воздухом.

«Ты явилась ко мне хмельная, озаренная светом луны. В прозрачных шелках, не скрывающих тайных уз тела, с чашей вина в руке. В твоих глазах безумный задор, а в изгибе губ тоска. Хохочущая, бесстыдная, села у моего ложа: — Неужели ты спишь, мой возлюбленный? Посмотри, как я пьяна! — Да будет навеки отвергнут талисманом любви тот, кто не осушит до дна сей пенный кубок!»

Мстислав Викторович потирал виски и переносицу.

— Всего четыре бейта! Содержание я передал вам почти точно, но попробуйте вместить все это в восемь строчек. — Прахов призадумался, но потрянул кудлатой головой: — Я все-таки дочитаю газель... Поди прочь, трезвенник, не отбирай вина, иной отрады нам не послано от Аллаха. Все, что налито судьбой в наш кубок, мы выпили до последней капли, до призрачного сна. Что это было за вино — мы так и не поняли: был ли это божественный нектар или ручей, в котором развели безысходную тоску? Довольно, ни о чем больше не спрашивай, мудрый Хафиз. Вино и косы красавицы — вот она, глубина мира.

Мстислав Викторович вздыхал, причмокивая и потирая то виски, то переносицу.

— Опыание, Савва Иванович, у суфиев имеет несколько ступеней. Первая — опыание любовью, вторая — опыание ужасом, ибо открылась душа и все ее сокровенные качества. Третья ступень — опыание усердием в повиновении перед Истиной, четвертая — опыание созерцанием милости Аллаха. Короче говоря, чтобы достигнуть состояния «бака» — пребывания в вечности Аллаха, — нужно осилить лестницу, где

вместо ступеней — чувства: созерцание, надежда, страх, стыд, любовь, страсть, уверенность и наконец — море небытия, без букв и слов.

— Я все понял, — рассмеялся Савва Иванович. — Нет, персидской поэзии мне не одолеть. Вы, кажется, на днях переводили немецкие стихи. Может, тут я буду сильнее. Но прежде подкрепим пищей грешную нашу плоть.

Суп Мстислав Викторович съел жадно и молча. А вот до стерляди не дотронулся, читал свои переводы Кристена. Поэт стихи писал ядовитые. Этот яд, это неприятие современного жирующего общества, видимо, отвечали настроению Прахова.

Хочешь в нем души добиться —
О казне своей несметной,
О своей растущей славе
Речь начнет он незаметно —
И, качаясь телом пухлым,
Он ведет тебя по залам
И, в далеких планах нежась,
К детям вдруг приводит малым.
Дети — вылитый родитель.
Так же тупы, так же грубы,
В зверски пошлую улыбку
Так же складывают губы.
О знакомых, о друзьях ли.
Блиzkих людях речь заходит —
Титулованных своих он
Напоказ тебе выводит.
От души ль промолвишь слово.
Позабывшись на мгновенье,
Отрезвит тебя на месте
Глаз тупых недоуменье.

— Узнаю! — воскликнул Савва Иванович. — Это мой портрет.

— Неправда, — сказал Прахов, — но именно из вашего клана подобных большинство. Из моего — только единицы не такие. В пошлости и косности профессорские семейства уступают разве что попам.

— Мстислав Викторович, откушайте стерлядок. Стерлядка волжская. Насчет косточек не бойтесь — стерлядь без костей.

— Ах, без костей! — Профессор, словно он и впрямь опасался уколиться костью, принялся есть, торопливо, неряшливо и, так же торопливо отерев салфеткой рот и руки, снова прочитал стихи.

Томный взор заучен твердо,
На губах завялый смех.
Фраз затверженная пошлость.
Сердце — высохший орех.
Это женщины! Мужчины ж
И еще того дрянней:
Только слышны разговоры
Про собак да лошадей.

— Но мы-то с вами все про красоту! — возразил Савва Иванович.

— А мы про красоту! — как эхо повторил Мстислав Викторович и заплакал.

12

В конце марта 1874 года Елизавета Григорьевна переехала из Рима в Париж, где условилась встретиться с Саввой Ивановичем. Были в Лувре и в уютном ресторане у Маньи в Латинском квартале, где любили посидеть Жорж Санд и Генрих Гейне и который облюбовала компания Алексея Петровича Боголюбова — Поленов, Репин, Савицкий, Жуковский — сын поэта, архитектор и художник.

У Алексея Петровича, жившего в Париже барином, Мамонтовы познакомились с Тургеневым. Одно имя этого человека повергало русского интеллигента чуть ли не в священный трепет, но оказалось, что Иван Сергеевич, которому никак нельзя было потеряться из-за своего громадного роста, красивой седины, смущался перед незнакомыми людьми, говорил о самом простом растерянно, многословно и, кажется, даже розовея. Но вот выяснилось: Мамонтовы — владельцы Абрамцева.

— Ах, Абрамцево! — И глаза Ивана Сергеевича подозрительно заблестели. — Я любил Сергея Тимофеевича. Ах, Господи! Как было молодо! Сколько надежд. Как горел Константин Сергеевич! А какие затеивались рыбалки на Воре! Это уже обязательно. Без рыбалки не обходилось. До сих пор физически чувствую прозрачность Вори. А дубы!

Пушкинские. В Абрамцеве Лукоморье. Там оно, там!

Разговор зашел о новой книге Тургенева, выход которой был объявлен в Париже.

— Нового будет очень немного. Несколько рассказов, из того, что не вошло в «Записки охотника», небольшие повести. Заметки. Помещаю, кстати, мои воспоминания об Иванове, о нашей поездке в Альбано и Фраскати.

— Скажите, Иван Сергеевич, в этих заметках вы обмолвились, что Гоголь не понимал живописи, — затеял разговор Мамонтов. — Потому не понимал, что одинаково приходил в восторг как от «Последнего дня Помпеи» Брюллова, так и от «Явления Христа» Иванова. Брюллов для вас — трескотня и эффекты, Иванов — беспросветный тяжкий труд без таланта, честное, но тщетное стремление к идеалу. Вы ведь вообще отказали ему в самобытности, в творчестве. Да, помнится, и всему русскому искусству отказали в том же. Дескать, нет на Руси творцов-художников.

Тургенев слушал внимательно, спросил:

— Что же вы хотите от меня? — Улыбнулся. — Чтобы я подтвердил или опроверг то, что писал пятнадцать лет тому назад?

— Вас опроверг вот этот молодец. — Савва Иванович показал на Репина. — «Христос» Антокольского вас опроверг. Мне другое интересно, в какой такой момент картина, которая не очень-то нравится современникам, которая висит себе где-то, не привлекая толп, вдруг оказывается вершиной. И вот уже затурканный слепцами-современниками художник — гордость народная!

— Увы, я не Стасов! — сказал Тургенев добродушно. — Это он у нас главный ценитель того, что сделано русским человеком.

Савва Иванович краем глаза заметил: Елизавета Григорьевна смотрит на него почти с испугом, — не стал обострять разговора.

— Мир стареет, Иван Сергеевич, а Россия — все молодая. Искусство наше молодо, и, значит, похвала придает ему новые силы, критический же разнос, пусть даже справедливый, действует угнетающе.

— Может быть, вы и правы, — охотно согласился Тургенев. — Но по себе могу сказать, меня не уничтожила ругань и даже угрозы расправы. Было дело, было! Когда я напечатал «Отцы и дети», в Баден-Баден русские студенты, учившиеся в Гейдельберге, не церемонясь, мне писали: приедем и убьем.

— Иван Сергеевич! Вы, помнится, были на стороне Германии, когда началась война с французами, — сказал Савва Иванович. — Французы вас

не обижают?

— Я учился в Германии, почитал Германию второй моей родиной... На прусскую военщину глаза мне открыла мадам Виардо... Война, развязанная Бисмарком, не была войной рыцарей. Я это понял и покинул Германию... Среди французов у меня много друзей, мы очень сошлись с Флобером. Изумительный писатель.

Боголюбов ловко перевел разговор с острых тем на приятные для великого русского писателя: заговорил о французской живописи, Тургенев оказался большим поклонником Теодора Руссо, пейзажи которого он приобретал; о музыке Сен-Санса, Гуно — своих людей в салоне мадам Виардо.

Савва Иванович выказал себя знатоком итальянской оперы, и, когда пришла пора расходиться, настроение у всех было легкое, дружеское. Мамонтовы пригласили Ивана Сергеевича в Абрамцево.

— С трепетом и с удовольствием, — говорил Тургенев, поцеловав руку Елизавете Григорьевне. — Быть в Абрамцево — это равносильно окунуться в молодость. — Тургенев снова растрогался воспоминаниями: — Ведь со мною какой конфуз в Абрамцево случился. Повел меня Сергей Тимофеевич на рыбалку. Часа два сидели. И попадись мне щука. Огромная. В полтора аршина, а Сергей Тимофеевич плотвичку поймал да ершика. И все! Ужасно был он огорчен. Ужасно! — Тургенев смеялся, его и теперь волновала давняя удача. Сказал твердо: — Я буду в Абрамцево.

«Летопись сельца Абрамцева»

1

Любовь Тургенева к Абрамцеву обострила нежность к дому на горах, над Ворей. Савва Иванович и Елизавета Григорьевна поспешили на родину и переселились в Абрамцево уже 1 мая. Мстислав Прахов последовал за семейством Мамонтовых.

Имение потихоньку строилось.

Прежний приказчик — старик Рыбаков умер, и Савва Иванович взял Сергея Андреевича Островского, кончившего курс Петровской академии. Приказчик был молод, образован, да вял. Причину вялости Савва Иванович разгадал быстро — сильная чахотка. От дела, однако, не отставил и много от приказчика не требовал. В это лето поставили конюшни, перевезли из Анохина большой амбар. Имение было не маленькое — двести восемьдесят пять десятин, куда входили двадцать десятин леса, которые не успел свести хищник-купец Головин, и дубовая роща.

Год получился негостевой. Дважды приезжала с детьми Эмилия Львовна да еще восходящая звезда Малого театра Гликерия Николаевна Федотова. Через десять лет Савва Иванович будет выходить вместе с нею, уже очень знаменитой, на поклоны, и публика устроит им овацию.

Известен точный день этого успеха — 11 марта 1884 года. В годовщину смерти Николая Рубинштейна Русское музыкальное общество устроило концерт его памяти. Было решено поставить «Манфреда» с участием Федотовой и молодого Южина. Режиссуру поручили Савве Ивановичу, он же сделал перевод пьесы. «Во время исполнения, вопреки обыкновению, никто из публики не тронулся и тишина была такая, что муха не пролетит, — писал Савва Иванович Елизавете Григорьевне в Италию. — Может быть, частью причины то, что я сам участвовал в успехе этой вещи, но во всю мою жизнь вряд ли два-три момента могу насчитать такого художественного наслаждения. Поэзия в соединении с чудной музыкой, буквально выше той нормы, при которой человек может оставаться спокоен. Сегодня под впечатлением „Манфреда“ я первый раз видел на чинной ассамблее Музыкального общества буквально плачущих барышень, даже мужчин. Да и признаться по правде, я сам чуть не заплакал при сцене свидания Манфреда с призраком Астраты. Соединение чудной,

идеализирующей музыки с умной и толковой декламацией Федотовой не могло не повлиять на душу. По окончании вызовом не было конца и наконец вытащили меня на эстраду вместе с Федотовой, как режиссера и переводчика».

Успех «Манфреда» стал прологом сценической деятельности Мамонтова. Осенью 1884 года он основал Частную оперу. И это событие откроет целую веху в его биографии. Но свою первую музу не забудет: вылепил скульптурный портрет Федотовой.

Но все это произошло через десять лет, а в 1874 году Савва Иванович, хоть и вошел в возраст Иисуса Христа, но призыва служить Богу ли, Человечеству, Искусству — не услышал в себе. Он был делец, хозяин, умел жить весело, но без купеческих замашек и дуростей.

Для великих дел созревают русские северные люди медленно.

Впрочем, хмель искусства постоянно бродил в его купеческой крови. За лето Савва Иванович изваял бюсты Адриана Викторовича Прахова, Андрея Ивановича Дельвига, Елизаветы Григорьевны...

В Москву вернулись в конце октября.

2

В 1875 году в Абрамцево въехали на санях, в метель. На календаре стояло 20 марта. Гостила Люба Карнович, племянница Саввы Ивановича. При детях в гувернантках состояла Анна Бострем.

Ждали весны, но снегу радовались. В Абрамцеве есть откуда прокатиться на санках. На все вкусы и каждому по его храбрости. Пологие склоны для девочек, откосы для Сережи.

Дрюше катание на санках было заказано. Он выходил на улицу среди дня и прочищенной дорожкой шел между дубами смотреть сверху на спрятанную в снегах Ворю, на синий лес на горах. Он разглядывал следы на снегу, кружево инея на черных дубах. Зима молчит, и в этой белой тишине Дрюша думал об отроке, который жил здесь пятьсот лет тому назад, ходил по этим снегам, смотрел на эти горы и молился. Бог услышал его молитвы и освободил русскую землю от Золотой Орды, а отрок превратился в святого заступника русских людей на Небесах, в милосердного Сергия Радонежского.

Дома Дрюшу ожидали внимательные глаза мамы.

— Я не замерз, не озяб, не остыл, — говорил он скороговоркой.

Елизавета Григорьевна брала его за руку, и они шли в ее комнату и

молились перед иконами Богородицы и Пантелеймона-целителя.

Пасха приходилась на 15 апреля, а снег все падал, падал... Дорогу перемело вьюгой, но всем семейством погрузились в трое саней и поехали в Хотьковский монастырь, знаменитый мощами Кирилла и Марии — отца и матери преподобного Сергия Радонежского.

Весна началась только на Фоминой неделе. Солнце сделалось жаркое, снег поплыл, деревья стали черные от влаги, прилетело множество птиц. Ночью Воря унесла старый мост, но в берега вошла быстро, в несколько дней.

Скоропалительная весна погубила приказчика Островского, его отвезли в больницу, но доктора не помогли. Вместо Сергея Андреевича появился Федор Иванович. Был Островский, стал Алябьев. Впрочем, тем же летом Савва Иванович должность управляющего упразднил, а дела передал толковому работнику из дворни — Алексею.

3

Преображение Абрамцева произошло 12 июня 1875 года с приездом Валентины Семеновны Серовой и десятилетнего Тоши. Преображения этого никто не увидел, не угадал, и оно прошло буднично. Краснощекий, налитой, как ядро, мальчик глядел из-под красивых ресниц ясными глазами, может быть, чуть свысока: он знал себе цену и дорожил своей избранностью.

— Здравствуй, — голос Елизаветы Григорьевны был такой искренне ласковый, такой женственный и такой незнакомо-родной, что мальчик вдруг вздохнул, словно с его плеч свалилась гора, улыбнулся и позабыл, что он — угощение для взрослых.

— У нас очередная горячка: строим плоты и скоро все поплывем, — сказала Елизавета Григорьевна, целуя Валентину Семеновну. — А вот и Степан Разин.

В комнату вбежал Сережа.

— Мой старший, — представила Елизавета Григорьевна сына.

— Сергей! — пожал поданную Валентиной Семеновной руку и вопросительно поглядел на Тошу: — Пошли?

Ребята тотчас исчезли.

— Как у них просто, — сказала Валентина Семеновна. — Будто зверята. Нюхом чувствуют — свой. Вы, наверное, думаете, я привезла вам юное дарование, хвалимое Антокольским и Репиным? Нет, милая

Елизавета Григорьевна, этот молчун ужасный озорник. В Мюнхене я отдала его в школу, и он уже на другой день участвовал в драке улица на улицу и однажды ужасно меня напугал. Видимо, мимо дома проходил его враг, так он бросился к окну с линейкой, как с саблей: «Эй, иди сюда, я врежу тебе по загривку!» Он кричал, как истый баварец, нагрузившийся пивом, на баварском, на крепком диалекте.

— Вашему сыну будет хорошо здесь, — сказала Елизавета Григорьевна.

— Но вам-то сельская жизнь, я вижу, не впрок.

Елизавета Григорьевна посмотрела на гостью с удивлением, но невольно дотронулась руками до своих щек.

Валентина Семеновна засмеялась:

— Ваш знаменитый румянец не повял, но мне чудится, а первое впечатление редко подводит, — что-то сильно тревожит вас.

— Наверное, малая личная полезность, — улыбнулась Елизавета Григорьевна и стала серьезной. — С утра мы говорили о Славянском вопросе.

— Слава Богу, славянские дела меня не волнуют.

— Но почему?

— Да потому, что я не славянка.

Елизавета Григорьевна смутилась, смешалась, промолчала.

— Меня волнуют не национальные, а социальные проблемы. Социально для меня все равны: евреи, русские, французы... Есть ли на столе хлеб у крестьянина, вот в чем вопрос! А на кого этот крестьянин или этот рабочий спину гнет — дело десятое.

В ней все было тяжелое, налитое: коротковатое тело, тяжелые, стриженные до плеч волосы, тяжелый подбородок, тяжелый взгляд. Лоб огромный, тоже очень тяжелый, и было бы лицо вполне мужское, если бы не мягкоочерченные губы да красивый взлет бровей.

С Валентиной Семеновной Елизавета Григорьевна никогда задушевных разговоров не вела, близости к ней не чувствовала, а тут такой напор, с порога. Пуще огня боясь в своих знакомых бестактности, Елизавета Григорьевна, спасая себя от чрезмерной интимности, повела гостью показать ей лечебницу и школу.

Перед обедом музицировали. Валентина Семеновна была ученицей Антона Рубинштейна, играла она нарочито сдержанно. Однако скоро забыла свою придуманную роль, и музыкальный штиль грянул музыкальной бурей.

Чувство самоутверждения у нее было развито чудовищно.

День шел размеренно. Обед. Отдых. Посиделки на удобных скамьях под деревьями. Тут и появился Савва Иванович. Он только что приехал с поезда, в деловом костюме, с золотой цепью для часов.

— Здравствуй, покойник! — подошел он к Валентине Семеновне.

Он развернул газету и заупокойным голосом принялся читать «Некролог В. С. Серовой».

Валентина Семеновна поднялась, отобрала газету. Взглянула на текст и ужаснулась. Это был действительно некролог.

— И прекрасно!.. Вам суждена долгая жизнь. — Савва Иванович смеялся весело, искренне, без ужимок, без намека на скоморошество. — И коли все живы и совсем даже не покойники, отдадимся сегодня вечером «Вражьей силе», — объявил Савва Иванович. — Играет Серова, поет Мамонтов. Кто не играет и кто не поет — те слушают и аплодируют.

«Вражья сила» — третья, последняя опера Александра Николаевича Серова. Композитором Александр Николаевич стал поздно. За пятнадцать лет чиновничьей карьеры в Министерстве юстиции он достиг генеральского чина действительного статского советника и, страшно прогневив отца, вышел в отставку. Отец тоже был статским советником и чуть ли не попал в министры. Его уволили неожиданно, за вольнодумие, и все свои надежды Николай Иванович возложил на сына. Своеволие Александра Николаевича старый служака воспринял как предательство и оскорбление. Гнев его был так велик, что он отказался от сына.

Чиновную службу Серов-младший оставил ради служения музыке. Музыке он служил ревностней, чем государю, и за пятнадцать лет успел написать двести пятьдесят семь статей. Критик он был беспощадный, резкость его суждений не знала меры и доходила до грубостей. Выражение «отделать по-серовски» стало нарицательным. От поучений и осмеяний Александр Николаевич перешел к делу и в 1862 году сочинил первую свою оперу «Юдифь». В год рождения сына Валентина, в 1865 году, появилась вторая опера «Рогнеда». Женился Александр Николаевич тоже очень поздно, в сорок три года, на ученице своей, семнадцатилетней Валентине Семеновне Бергман, крещеной еврейке без средств.

Ее родители были выходцами из Гамбурга, имели в Москве небольшой магазин и трех дочерей.

Последний акт «Вражьей силы» Серов не успел дописать, и оперу заканчивали композитор Н. Ф. Соловьев и Валентина Семеновна.

У многих русских композиторов не было академического музыкального образования. Александр Александрович Алябьев, автор

бессмертного «Соловья», был гусаром, барином, тюремным сидельцем, ссыльным. Двадцати восьми лет от роду сочинил струнный квартет и в тридцать пять оперу «Лунная ночь, или Домовые». Серьезно занялся музыкой сорокалетним, в тобольской ссылке.

Алексей Николаевич Верстовский учился в Институте корпуса инженеров путей сообщения, служил в канцелярии московского генерал-губернатора.

Михаил Иванович Глинка — помощник секретаря Совета путей сообщения. Музыкале учился в пансионе, брал уроки гармонии и контрапункта в Берлине у З. Дена. Музыкальную работу капельмейстера Придворной певческой капеллы получил в тридцать три года.

Александр Порфирьевич Бородин окончил Петербургскую медико-хирургическую академию, доктор медицины, химик с европейским именем, профессор, академик. Первые музыкальные произведения сочинил в двадцать девять лет.

Павел Иванович Блара́мберг, друг Серова, — статистик Географического общества, он ранее Рубинштейна написал оперу «Демон», раньше Чайковского «Воеводу», а также «Марию Бургундскую», «Тушинцы» (опера ставилась в Большом театре), «Скоморохи», «Девуцурасалку», «Волну». Да ведь и сама Серова — автор пяти опер. Ее «Уриель Акоста» ставился в Москве, в Петербурге, в Киеве.

Цезарь Антонович Кюи — инженер-генерал, специалист по фортификации, профессор Военно-инженерной академии. Сочинять музыку начал в двадцать два года.

Модест Петрович Мусоргский играть на фортепьяно учился у матери, образование у него военное, закончил школу гвардейских подпрапорщиков, был произведен в офицеры, но служил в армии всего два года, а вот на статской провел всю жизнь; чиновник инженерного департамента, лесного, государственного контроля.

Римский-Корсаков — морской офицер.

Такая плеяда талантов, и все учились музыке дома да у частных учителей. Впрочем, Петербургская консерватория была организована только в 1862 году. Не доверяя этому молодому учебному заведению, Антону Рубинштейну и Зарембе, Серов считал, что учиться в консерватории вредно.

И у него было немало союзников не только в России, но и в Европе.

За ужином Валентина Семеновна пыталась обратить Савву Ивановича в серовскую семейную веру. Музыкальным богом Серовых был Вагнер. Александр Николаевич видел в Вагнере три ипостаси гения. Он называл Рихарда Вагнера первым мыслителем, первым поэтом и первым музыкантом своего времени.

— В Люцерне, у Вагнера, — вспоминала Валентина Семеновна, — мы засиживались допоздна, Тоша сидел вот так же, мышонком. Разговоры иногда были очень сложные, многочасовые, но они никогда не смаривали Тошу. Наоборот, чем жарче шел спор, тем острее сверкали глазенки. Ты помнишь Вагнера, милый?

Мальчик кивнул головой.

— Вагнер, глядя на Тошу, однажды сказал: «Да, эти русские имеют в себе невероятную энергию...» Уж не знаю, почему маэстро окрестил способность маленького мальчика сидеть и слушать — энергией, но Тоша поразил его. И не раз.

— Вагнер был прав, — сказал Савва Иванович. — Молчать, вбирая в себя, — это чисто русское качество, природное. Если бы нам только позволили молчать и слушать, мы бы давно превзошли все страны мира. Беда в том, что нас вынуждают отвечать на вопросы, а начав говорить, мы говорим, говорим и забалтываем большие дела, малые, великие... Потом находим себя на обочине старой, брошенной всеми дороги. Это как в «Заколдованном месте» Гоголя.

— Не очень поняла, о чем это вы, — сказала Валентина Семеновна.

— Так, вообще, — усмехнулся Савва Иванович. — А каков Вагнер в общежитии?

— Хороший, думающий о своих знакомых человек. Не холодный. Однажды мы были приглашены к Рихарду на обед и опоздали до неприличия. Жили на высокой горе, Тоша спустился раньше нас и пропал. Кинулись искать — нет ни в городе, ни в парке, вернулись домой, а он на осле въехал обратно на гору и на нас — ноль внимания. Ни в какую не хотел расстаться с ослом! Только ради Евы и покинул своего ушастого друга. Дочка Вагнера была настоящая немочка, румяная, златокудрая. У них была игра с Тошей. Она держала собаку, которую звали Рус, а Тоша забирался на собаку и ездил. — Валентина Семеновна спохватилась: — Простите, что отвлеклась, но вот что могу прибавить к портрету Вагнера. Однажды он ужасно на кого-то рассердился и сказал: «Как много ослов в мире!» И тотчас погладил Тошу по голове: «Тебе-то они милы, мой юноша». Не забыл ослиного приключения... Когда Александр Николаевич умер, Вагнер признался в одном из писем, что дружба с Серовым была для

него достоянием всей его жизни. Серов был верен Вагнеру. Во время гастролей Рихарда в Петербурге Александр Николаевич хлопотал о точности переводов арий, которые были выбраны для исполнения, искал подходящих певцов, музыкантов... Знаете, что сказал Вагнер о проникновении Серова в его, вагнеровскую, музыку: «Все мои стремления он понимал с такой ясностью, что нам оставалось беседовать только в шутовском тоне, так как в серьезных вопросах мы были с ним одного мнения».

Но Савва Мамонтов был далек от Вагнера и не воспринимал его музыку.

— Валькирии, Нибелунги, Бог с ним, с Вагнером, с немцами. — Савва Иванович пожал плечами. — Далек это от меня. Кстати, в «Юдифи» у Серова увлечение Вагнером проглядывает там и сям. И потому давайте исполним «Вражью силу». Здесь Серов вполне Серов, без оглядки на своего кумира.

Вечер удался. Валентина Семеновна играла вдохновенно, Савва Иванович вдохновенно пел, а Тоша вдохновенно слушал. Это порадовало Валентину Семеновну. Она не узнавала сына. Ей казалось, что мальчик совершенно потерялся на абрамцевском приволье. За четыре дня он ни разу не потянулся к своему альбомчику. Городки, горелки, рыбалка, сражения, прятки...

— Я ни разу не видела книги в руках вашего Сережи, — сказала Валентина Семеновна. Елизавета Григорьевна ответила простодушно:

— Лето!

Наступило долгожданное для детей воскресенье. Солнце. Окно, закрытое марлей от комаров, распахнуто. Под окном пыхтение, царапанье — появляется голова Сережи.

— Тоша! Ты чего спишь? Плот уже почти готов. Ждать не будут.

Плот ни в чем не уступает челну Стеньки Разина. Великолепие самое разбойное. Ковры, вместо сундуков — корзины с яствами. По бортам — легкие белые табуретки. Посредине — скатерть-самобранка. А слуги все носят и носят: корзиночки, картоночки, кувшины. Завтрак будет общий, на воде.

Кто-то кричит филином. В красной рубахе появляется Савва Иванович. Атаман хлопает руками, как петух крыльями, и, вытянувшись по-петушиному, кричит звонкое:

— Ку-ка-ре-ку-уу!

Слуги мечутся скорее и скорее. Спыхватываются, кричат друг на друга, бегут опроретью на кухню, еще скорее обратно.

— Ку-ка-ре-ку-уу! — кричит Савва Иванович во второй раз, и все торопятся взойти на борт.

Третий крик петуха — мужчины заработали баграми. Плот качнулся, поплыл под сень деревьев. Сережа прыгнул и сорвал ветку. И вот уже вся детвора, не зная, как иначе выплеснуть свою радость, прыгает, хватается за ветки, срывает листья. Плот проскочил стремнину и двинулся, раздвигая берега, в неведомую даль.

— Свистать всех наверх! — кричит Савва Иванович и первый занимает место возле скатерти-самобранки.

Валентина Семеновна устроилась возле Саввы Ивановича, но все ее внимание — на Тоше. Много позже, в иные совсем времена, Серова напишет в книге «Как рос мой сын»: «Дешевые мюнхенские меблированные комнаты, парижские пансионы, даже немецкие зажиточные дома с их скудными обедами, с приличной обстановкой, — что представляли они собой в сравнении с мамонтовским хлебосольным роскошным домом в Москве и Абрамцеве? Понятно, что первым делом Тоша накинулся на утонченные яства, объедался ими непомерно...» — И тотчас следует тревожный анализ поведения сына, а вернее сказать, производимого им впечатления на окружающих: — «В Абрамцеве Тоша растерялся. Он сразу опустил со своих европейских высот, окунувшись в богатое, беззаботное житье, и очутился в весьма неблагоприятном, невыгодном для себя освещении». А мальчику было всего десять лет!

Савва Иванович выпил бокал вина, покашлял, выдал трель и закатился итальянской арией со всеми модными аллюрами. Пение подхватывало эхо.

— Савва Иванович, вы птиц послушайте! Они же с вами состязаются! — удивилась Валентина Семеновна.

— Признание, милая! Истинное признание! — И вдруг стал серьезным: — Хочу на этом приволье поделиться мечтой. Я, Валентина Семеновна, человек практический, о несбыточном думать не умею. Не вашего огорода овощ. Ваши друзья желают переменить не только устои жизни, но и саму породу человеческую. Я же убежден — это все от лукавого.

Но вот этот голубчик, сидящий рядом с вами, тоже желает перемен, только совсем иных, на крошечном пятчке земли и у себя, в сельце Абрамцеве. Что творится и свершается в мире, меня, как всякого гражданина, волнует, но сражаться с ветряными мельницами — увольте!

— Только и смысл жизни в сражениях с ветряными мельницами! — вставила Валентина Семеновна. — С допотопностью. Чтобы на освобожденном месте можно было поставить не ветряные, а паровые.

— Лучше электрические! — Савва Иванович засмеялся. — Милая Валентина Семеновна, я железные дороги строю! Я как раз и есть ваш герой, преображающий землю и жизнь, а вы, небось, причисляете меня к эксплуататорам, к врагам своим... Но я тоже отвлекся, а мысль моя проста. Без герцогов, без любвеобильных пап и кардиналов никакого Возрождения не получилось бы. Искусство требует средств! Чем щедрее затраты, тем больше возможностей для гениев. Гений, как пчела. Если у него есть улей, он принесет много меда. Если нет улья, закопает мед в земляную норку. Талант свой закопает!

— Значит, собираетесь замок построить, возвести собор? — Валентина Семеновна говорила Савве Ивановичу, а поглядывала на Елизавету Григорьевну.

Елизавета Григорьевна улыбалась, но брови у нее вздрагивали супротивно.

— Соборы и замки, материальные, мне не по карману, а вот воздушные — иное дело. Я построю именно воздушные замки, Валентина Семеновна. Абрамцево останется Абрамцевым, но над ним воссияет нимб. Я соберу певцов, музыкантов! Соберу художников. Пусть творят без оглядки, чем душа богата. Поставлю оперу, да так поставлю, что позавидуют актеры Императорских театров.

— Актеры Императорских театров — люди весьма заносчивые! Публика у них сановная, платят им хорошо. Уж я-то знаю, насмотрелась, — возразила Валентина Семеновна.

— Актер есть актер. Как бы хорошо ему ни жилось, большое искусство, проходящее мимо, без его участия, не может не взволновать. — Савва Иванович оседлал любимого конька. — Зрителя мы тоже своего воспитаем, за журавлем в небе не будем гоняться, а начнем с наших абрамцевских крестьян. Преодолеть укоренелое невежество — задачка со многими неизвестными, но увлекательная.

— Я общаюсь с крестьянскими детьми в школе, я встречаюсь с крестьянами в моей лечебнице. — Было видно, что Елизавета Григорьевна огорчена. — О каком укоренелом невежестве ты говоришь, Савва Иванович? У крестьянских детей, у большинства, светлый разум, а какие они умельцы! Природа всем дает щедро.

— Ох, это воспитание! — в притворном ужасе Валентина Семеновна закрыла лицо руками. — У меня ведь родная сестра педагог. Аделаидушка. Не попадался журнал «Детский сад»? Три года она его издавала и своего добилась. Первые детские сады в России появились ее хлопотами. Увы! Микроб педагогики и во мне сидит! — поискала глазами сына. Дети были

на корме, возились с рулем. — Тоша много перетерпел от моего воспитательного зуда. В детстве он развивался с большим опозданием, долго не говорил. Возможно, это от характера, но я перепугалась, отдала Тошу сначала в руки сестры, потом в детский сад госпожи Люгебиль, а потом отправила в Никольское, в коммуну княгини Друцкой-Соколинской. Тоша пробыл в коммуне около двух лет, но из коммуны вернулся художником. Впрочем, если быть до конца честной, он вывез оттуда еще и ненависть. И тоже благодаря педагогике. Тоша все время рисовал лошадок. Рисование — занятие барское, а к тому же нарушал порядок коммуны: или совсем не мыл свою посуду или плохо мыл. Его наказали. Очень глупо наказали. Сожгли его лошадок. Тогда он пробрался в комнату княгини и ножницами изрезал на полоски ее платье...

— Хороша педагогика! — ахнула Елизавета Григорьевна.

— За Никольское я себя не казню, — сказала Серова. — Тоша вернулся из имения княгини свежим, здоровым... А вот от собственных педагогических затей мне тошно. Вы, наверное, заметили — Тоша всегда говорит правду. Таков у нас с ним уговор. Я ему однажды сказала: солжешь, жить с тобой не стану. И однажды в Мюльтале, под Мюнхеном, он солгал. Выкупался и скрыл. Я увезла его в город, отдала в дом знакомого слесаря. Приехала, как и обещала, через неделю. Тоша не лжет, но чего мне стоила та неделя. Еще был случай. Приехали в Мюльталь музыканты с гор. Играли на цитрах. Их музыка очень нравилась Тоше. Играли они в ресторанчике, и он стал засиживаться за полночь. Я пообещала ему, что запру дверь сразу после ужина. Он не внял моим словам, пришел поздно. Толкнулся — закрыто. Так и уснул на крыльце. Я его внесла в дом, уложила в постель, урок он усвоил, а каково было мне? — Валентина Семеновна заглянула в глаза Елизаветы Григорьевны. — Для вас это ужасно?

— Да, ужасно... С детьми можно иначе. Нужно иначе.

— Я себя и не хвалю.

Савва Иванович поднялся, взмахнул руками, как дирижер, запел:

— Из-за острова на стрежень...

Песню подхватили. Дети пришли к взрослым, подпевали серьезно.

Попели, разбрелись по плоту, поглядывая на припекающее солнце, на прохладный лес по берегам. Вдруг послышался конский топ, из бора выехали экипажи. Плот причалил.

— Обед прибыл! — объявил Савва Иванович.

Обедали под деревьями. Потом сели в повозки, дети, к их радости, на верховых лошадей, и табор двинулся к Троице-Сергиевой лавре.

Были у монахов недолго. Приложились к мощам, попили святой

водички и поехали домой. В лесу опять были игры, угощения. В Абрамцево явились с туманами.

Больших веселий в то лето уже не устраивали. Елизавета Григорьевна носила ребенка и начала сторониться шумных сборищ, пустых умничаний. Валентине Семеновне тихая деревенская жизнь наскучила, и она отправилась в Петербург, где не была пять лет.

Сын пугал ее. Абрамцево на Тошу подействовало самым неожиданным образом — все его прежние рисунки казались ему ничтожными, а попытки нарисовать более сложно кончались крахом. Он рвал свои рисунки чуть ли не с ненавистью.

В Валентине Семеновне снова пробудился педагог.

— Не насилуй себя, Тоша, — успокаивала она сына. — Насильно искусства не выжмешь, не жмых. Если пока что-то не получается, попробуй копировать.

Сын смотрел в пространство — верный знак озлобленности.

— Что мне копировать?

— Посмотри альбомы, выбери по своему вкусу.

— Где их взять, хорошие альбомы?

— Пойдем к Ге! Николай Николаевич поможет выбрать подходящую картину.

— Сам выберу.

Но к Ге пошел. Остановился на эстампе нидерландской школы «Портрет дамы в белом атласном платье», «Сикстинскую мадонну» Рафаэля тоже взял. С копированием дело тоже не пошло. Фыркал, рвал листы. Наконец успокоился, несколько дней просидел над рисунком и не закончил, бросил. Валентина Семеновна возмутилась, нажала, и между нею и сыном произошла сцена. Обозвала Тошу изнеженным барчонком. В ответ — гневные взоры и яростное упрямое молчание. Победила, как всегда, мама. Рисунок был завершен и... понравился автору копии.

«Сикстинскую мадонну» Тоша нарисовал скрытно от матери, показал однажды вечером и восхитил. Через многие-многие годы этот рисунок Серов придирчиво будет рассматривать со своим учеником — И. Э. Грабарем. Они найдут копию, исполненную карандашом на серой бумаге, грамотной.

— А было мне в ту пору, — скажет Серов, — десять лет, а упрям же я

был, как тридцатилетний.

Пока юный художник мучился в поисках нового для себя пути и совершенства, 20 октября в Москве Елизавета Григорьевна в муках родила девочку. Веру. Четвертая живая буква в имени «Савва»: Сергей — Андрей — Всеволод — Вера... Эту девочку мы все знаем, потому что сядет она за стол однажды, а на столе будут лежать персики... Серов увидит это и напишет «Девочку с персиками». Пока же художнику предстояло учиться не только рисовать, но и получить хоть какое-то образование. Валентина Семеновна поместила Тошу в частную гимназию Карла Ивановича Мея, где солидно преподавали иностранные языки. Учение в этой гимназии было дорогое, сто шестьдесят рублей в год. Кстати, в гимназии Мея позже учились А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, Д. В. Философов.

Пристроив сына, Валентина Семеновна с головой ушла в музыку, но вдруг обнаружила, что сын ее болен. Он кашлял — никакие ингаляции не помогали, у него болели уши — врачи требовали постоянного лечения и грозили глухотой.

Валентина Семеновна кинулась искать чудо-врачей, и на ум ей пришел Василий Иванович Немчинов. В Абрамцеве симпатичный доктор наблюдал до переезда на Украину за здоровьем детей, и особенно внимательно за Дрюшей.

Василий Иванович откликнулся телеграммой:

«Приезжайте с сыном в Киев».

Теплый климат, большой город, хорошие гимназии. Валентина Семеновна снялась с места и нашла в Киеве не только теплый прием и теплую погоду, но и любовь. Вышла замуж за Немчинова.

Не сумев стать близкой Елизавете Григорьевне, она пыталась вести с нею проникновенную переписку.

Вот одно из писем той поры.

«Милейшая голубка! Я должна была высказать свои мысли, которые у меня вертелись в голове. Раз они высказаны, я успокоилась. Вы сами сознаете, что тяжело положение *сочувствующего*, а мне тем более, что я человек дела. Я все еще думала в Москве, за что вы страдаете из-за меня? Чем я могу вас вознаградить за эти страдания? Верить я верила и буду верить в вас всегда больше, чем в самую себя. И это все, что я могу сделать для вас. Ну хорошо, коли вас это удовлетворит, и я довольна, ваши слова „при каких бы то ни было обстоятельствах я всегда могу прийти к Вам“, понятно, очень утешительны, но придете ли вы ко мне? Я тогда почувствую, по крайней, почву под собой в отношении вас, если я действительно в подобный момент сумею вам быть полезной... Ваше

страдание усложняется *сомнением*. Сознайтесь! Вы мне никогда не говорили об этом, но я чувствую и теоретически могу предугадать, что подчас сомнение вас подтачивает. И оно-то вас более подтачивает, чем страдания семейные. Последняя отпадут с вашей верой (сознательной) в нас. Чем мы ее заслужили? Я по крайней мере. Говорю искренне. В товариществе я могу всегда выказать свою пригодность истинным гуманным влиянием. В любви — говорить нечего, я готова жертвовать всем (кроме искусства). Субъекты, связанные этими двумя связями, могут ежеминутно проверить эту мою пригодность. Ну, а вы? Чем вы проверите товарищество, когда нет общего дела или любви, когда нет жертвы? Вы должны сомневаться и вы сомневаетесь — сознайтесь! Вот, Елизавета Григорьевна, моя исповедь. Если правдивость ее не трогает, я могу молчать, мне в данном случае трудно говорить. *Сочувствие не есть близость*. Я сочувствую славянам, но я далека от них, и еще как! Что я для них делаю? Любовь вызывает жертву. Дело — товарищество. Я враг всяких заблуждений и потому говорю смело, что думаю — разбейте мои предположения, и я беру все назад. Что вам больно читать мои письма, я верю! И эта боль доказывает мне, что в них есть доля правды, иначе бы вы сказали: полноте чушь врать, Серова! Не одно терпение и время залечит ваши раны, но сила веры в себя, а тогда и в нас будете верить. Видно, вы боитесь за эту веру, что так судорожно держитесь за нея, точно она вот-вот улетит. Я теперь нашла больную струну, так сильно поражающую меня в письмах летних: вы *колеблетесь*, ибо вас только *сочувствие* окружает».

Судя по этому посланию, переписка Серовой и Мамонтовой велась не эпизодически. Валентина Семеновна затягивала Елизавету Григорьевну в товарищи, хотела увлечь ее своими идеями, но та была в своей вере строга и непреклонна. А вот был ли врач Немчинов до женитьбы на Серовой революционером, неизвестно. Однако уже через два года после женитьбы, в 1878 году, за участие в студенческих волнениях в Киевском университете его выслали в Харьков под негласный полицейский надзор. Второе замужество Валентины Семеновны, как и первое, оказалось недолгим. Немчинов был моложе на пять лет, но жизнь его оказалась короткой, он умер, едва переступив тридцатилетие, в 1882 году.

Как следует из «Летописи сельца», в 1876 году Мамонтовы переехали в Абрамцево 10 апреля. При детях были Иван Викентьевич Юркевич и

мадемуазель Морель. 30 мая сыграли свадьбу Марии Ивановны Лахтиной, двоюродной сестры Саввы Ивановича, и Константина Дмитриевича Арцыбушева. Инженер и компаньон по строительству Московско-Ярославской, а позже Архангельской дороги, Арцыбушев был человеком добрым, щедрым, большим любителем искусства. Он дружил с Суриковым, звал жить к себе, когда у Сурикова умерла жена. Построил мастерские для Поленова, для Коровина. Дочь его Ольга была замужем за художником Евгением Евгеньевичем Лансере.

Летом гостил в Абрамцеве Егор Иванович Барановский, Савва Иванович вылепил его бюст.

На три недели расщедрились Антокольские. Хозяева Абрамцева ждали дорогих гостей и боялись этой встречи. В феврале Марк Матвеевич и Елена Юлиановна потеряли сына. Маленький Лев был их первенцем, их радостью. Правда, они не остались в сиротстве, у них была крошечка Эсфирь; когда умер ее братец, ей исполнилось девять месяцев.

— Ты не зна-ешь, какой этот есть пустота. — Марк Матвеевич всегда говорил с чудовищным акцентом. Не будем, однако, передавать коверканную речь, смесь литовско-еврейско-русского. Антокольский и по-итальянски изъяснялся столь же беспомощно, не смог он и по-французски говорить чисто. Все в руках Божьих: был счастлив, испытал горе, был беден, стал богат. Внучка графа Панина княгиня Мещерская за бронзовую статую своего дедушки заплатила скульптору десять тысяч рублей. По тем временам огромная сумма. Марк Матвеевич выглядел здоровым, быстро двигался, говорил страстно, не чуждался радостей жизни.

Однажды они забрели в школу, в столярную мастерскую, сели на верстаки.

— Новое увлечение Лизы, — объяснил Савва Иванович. — Закончив школу, ее ученики будут осваивать плотницкое и столярное дело.

— Как хорошо быть ребенком, — сказал Антокольский. — Всякий человек для ребенка — тайна, всякий день — чудо. Леве этой радости Бог не дал. Нет, Савва! Я был молодец. Я не опустил руки, не умер. Я много работал. Очень много. Закончил в мраморе «Христа перед судом народа» для тебя... Пришлю после Всемирной выставки. Закончил в глине «Смерть Сократа», отлил в гипсе. Сделал барельеф моего мальчика... Одно я знаю совершенно точно: Рим для меня исчерпан, я не хочу больше Рима...

Мордух всплеснул руками, глаза засверкали, скулы сделались острыми — весь возмущение.

— Савва! Меня убивает мелочное подлое жулье. Будь ты на моем месте, было бы иначе. Ты человек дела. Ты за себя сумеешь постоять перед

твоими служащими, перед твоими рабочими. А я умею только лепить. Я не хозяин! О, этот лукавый Антонио! Я хуже робеющего подростка перед этим мошенником. Не ему — мне стыдно было принимать от него глыбу мрамора для «Сократа», от которой он оттяпал ради своей грошовой выгоды добрый аршин! Все размеры пошли насмарку! Я чуть голову не сломал, уменьшая пропорции. Савва, а моя мастерская! Это же каторга! То побелка, то крышу надо чинить, поменять стекла... Было бы возможно, я лепил бы из одной глины. Единственно живой материал. Да ведь и божественный! А мне приходится покупать гипс, мрамор, бронзу.

Савва Иванович любил слушать Мордуха, улыбался.

— Ладно, все я да я! — смеясь, махнул рукой Марк Матвеевич. — О себе расскажи.

— Тржусь, Мордух! Строю дорогу к каменноугольным копям, возрождаю Россию к новой жизни.

— А зачем такой дурашливый тон? Это ведь на самом деле — возрождение.

— Мордух! Побойся Бога! Могу ли я надуться, как действительный тайный советник... Я тут открыл недавно: все «великие» для меня дела, все прозрения пришли мне на ум в вагоне, в коридоре, в гвалте компанейского застолья...

— Потому ты и Мамонтов. Замашки ветреного человека, а на деле — стена, за которой и сильному удобно укрыться, не то что нам, художникам.

— Мордух, о задумках своих расскажи. Что начал? Что еще в голову втемяшилось?

— Втемяшилось... Знаешь, Савва, я поймал себя на том, что меня все время подталкивает к душераздирающим сюжетам. Подверг эту тягу строгому анализу и понял, это — еврейство. Вечное нытье, болезненная жажда уродства и безобразия. Я много раз подавлял в себе искушение превратить голову замечательного человека в маску, в круглый, без признаков человеческого лица шар. Изуродовать тело, чело, искорежить рот... Я уже совсем было начал «Сумасшедшую» или, скорее, «Больную», а может, и преступницу... Утопила прижитое дитя, и вот сидит на берегу реки и качает... полено. «Заблудившуюся сиротку» собирался изваять. Четыре дороги, столб и девочка с расширенными от ужаса глазами... Хотел вылепить акробатов, отца и сына. Сын, совершая смертельный трюк, потерял сознание, и отец видит, что мальчик умирает...

— А Сократ?

— Здесь я победил. Художник, живущий во мне, победил. Сократ принял чашу с цикутой и умирает. Но это достойная смерть. Вернее, смерть

достойной великой жизни. Я с ума сходил, когда искал лицо Сократа. Мне нужно было запечатлеть не просто совершенное спокойствие, но сам эталон покоя. Сократ умел жить и умеет умереть, хотя не учился этому — люди ведь только жить учатся. Именно Сократ преподавал урок умирания на все времена. Я хотел запечатлеть колоссальное спокойствие. Торжество интеллекта над страстями жизни, над потугами национальных устремлений, над государственными заботами, над ложью и над правдой. Над бытом! Даже над природой!

— А как думаешь, удалось? — спросил, и от прямоты вопроса пересохло во рту.

— Ты, Савва, видел фотографии. Это мой вопрос, Савва. — Мордух улыбался, трогал бороду на щеках. — Нет, нет! Я сам отвечу. Не все подвластно глине, а уж о мраморе я и не говорю. Всякий замысел после своего воплощения теряет процентов восемьдесят... Я потерял девяносто девять. Слишком много мертвого тела получилось. Замысел и воплощение — это свет и тень. Потому и не решаюсь изваять драгоценный для меня образ — Моисея.

— За Христа не побоялся взяться.

— Дозволь и мне быть слабым...

— Послушай, Мордух, неужели тебя не тянет изобразить хоть кого-то из современников? Разве не обязанность художника поведать миру о том времени, которое его породило?

— Я сделал бюст Стасова. — Маленький Мордух обмяк, помрачнел, сказал почти сердито: — Ты как Стасов.

— Что же во мне стасовского?

— Пристаешь... Владимиру Васильевичу вынь и положи современность, у самого горла ножом машет: подавай ему национальное, хоть русское, хоть еврейское, но национальное! А что можно сделать русского или виленского, местечкового, живя в Риме? Я вот короля Лира слепил — это понятно. Литература... Очень хочу сделать группу: ловля беспаспортных еврейских юношей для отдачи в солдаты. Но чтобы это сделать, как воздух, нужна Россия.

— Возвращайся...

— Ты же видишь, я здесь...

— Так давай найдем жилье в Москве. Я тебе мастерскую построю. Репин и Поленов собираются в Москве обосноваться.

— Спасибо, Савва. Жить рядом с Репиным и Поленовым — подзадоривать друг друга на великое — большой соблазн... Кочевая жизнь мне стала невыносима, да только в Россию мне ну никак не хочется.

— Ты посмотри на Абрамцево! Неужто здесь плохо?

— В России замечательно бывать, жить надо в Европе. Без России мне тошно, а в России еще тошней. Это моя трагедия. Нелепость, Савва, в том, что цель моей жизни — Россия, все, что во мне высокого, — от России.

В окно вдруг залетел шмель. Большой, торжественный, страшный. Он покружил у доски, сел на гераньку, затих.

— Красавец, — сказал Савва Иванович.

— Знаешь, — осенило Марка Матвеевича, — а ведь будь удача с монументом Пушкина, я бы наверняка вернулся и жил в Москве.

— Я клянусь эту бредовую комиссию! — поморщился Савва Иванович. — Мне кажется, твой монумент был бы всеобщей гордостью. Придумка изумительная! Озеро, русалка, выходящая из воды, мельник, весь этот парад образов, идущих к скамье, на которой Пушкин...

— Спешка погубила! Я Пушкина едва наметил. Он получился красивеньким, непохожим. Все бы это я потом поправил. Крамской упрекал меня за литературность сюжета, за дробность композиции... Он был, конечно, прав. А вот отзыв Тургенева меня поразил: «Высшая степень чепухи!» Каково?

Притихший шмель неожиданно взлетел, пронесся над головой Антокольского, взмыл к потолку, наполняя классную комнату раздраженным гудом, улетел.

— Рассердили мы его, — сказал Марк Матвеевич. — Грешен, уж очень я уверовал в свои силы. Пушкин поставил меня на место. А Опекушин убедил: народ и впрямь явил своего ваятеля. Пушкин с небес благословил русское сердце. Я тоже горел любовью, но моя любовь не родная...

— Ты превзойдешь себя в Спинозе.

— Ах, Спиноза! Подступал к нему еще в семьдесят третьем году. Стасов считает, что это он меня надоумил и подвиг... В общем, действительно подвиг... Как вулкан бушевал, предлагал мне взять для изображения тот самый момент, когда Спинозе объявили решение еврейских ганонов о сожжении всех его сочинений. Спиноза же улыбается в ответ и говорит словами Христа: «Не ведают, что творят»... Стасов мне прислал биографию Спинозы, рембрандтовскую репродукцию Эфраима Бохуса, врача. По-моему, Бохус более подходил к образу Спинозы, чем сам Спиноза... Прошлым летом в Сорренто вылепил голову. Получилось. Но потом смерть Лёвы... Мысль ушла... Мефистофеля начал, Иоанна Крестителя, Христа — последний вздох... Стасов ругается.

Стасов и впрямь был огорчен. Он жаловался на Антокольского Репину в Чугуев: «Я так рассчитывал на будущую его статую „Спиноза“, на

которую он было и сам одно время разгорелся; мне казалось, что наконец-то, наконец-то он сделает что-то истинно хорошее и крупное, истинное продолжение „Ивана Грозного“; уже все было налажено и условлено, я ему даже переслал в Рим сообщенную мне Гинцбургом из Парижа печатную программу всеевропейского конкурса на монумент Спинозы, который поставят в Гааге и проекты для которого надо представить к октябрю. Времени впереди довольно, все, казалось бы, благоприятствует, — и вдруг мне Антоколия пишет, что по тому-то и по сему-то не хочет работать на конкурс, их условия деспотичны и нехудожественны и т. д. Ну, что ж, пускай не работает на конкурс — это его дело, но разве это резон отказываться от такого чудесного сюжета? Разве нельзя его делать и помимо конкурса, прямо для себя, или хоть для Всемирной парижской выставки будущего года? Хочу писать ему об этом — ну, да ведь не поможет!..»

И действительно, не помогло. На подталкивания Марк Матвеевич не откликнулся. Не любил он отпускать из мастерской вещи не отстоявшиеся. Произведение «является» художнику уже в первом озарении, но вот детали, так много говорящие, приходят не сразу, приходят неожиданно, и, случается, ваятеля прошибает пот, когда ему откроется малоприметная нелепость, скажем, пуговицы не те, или вдруг осенит, что для полноты выразительности указательный палец должен быть поднят вверх и изогнут неестественно. Складку у рта Иоанн Грозный получил не сразу, эту складку Марк Матвеевич в зеркале увидел.

В 1881 году «Спиноза» все еще не будет вполне завершен. Стасов напишет Антокольскому о своем жестоком разочаровании: «Что такое выражает и что должен выражать собою Спиноза? Неужели только то, что он „прощает“ людям сделанное ему лично или кому бы то ни было зло? Он должен быть представлен (в монументе и статуе) — не пассивным и прощающим, а активным и разрушающим; он должен быть представлен не слабым и больным (духом), а сильным и могучим, невзирая, быть может, на наружную „слабость“ тела».

Антокольский на эту бурю ответил твердым несогласием: «Что именно он выражает, это мне сказать трудно; одно из двух: или он действительно ничего не выражает, или же вы недостаточно всматривались в него»...

Художника переспорить нельзя. Художник не умом думает и даже не сердцем, если, разумеется, он не исполнитель чьей-то воли... Художник творит, подчиняясь шестому чувству, которое ведет его к цели. Так птицы летят через море к обетованному гнезду. Но чтобы творение получилось на века, художнику необходимо отключить свое ничтожное «я» и довериться

свободному выбору. Если же этот выбор прекращает действовать, художник остается ни с чем, то есть с самим собою.

Вот об этом выборе создателя, который можно растратить, как шагреновую кожу, и велись разговоры в Абрамцеве.

Антокольский искал в себе суть, исток искусства, а Савва Иванович радовался, что не знает подобных мук, ибо живет в искусстве как тварь Божия, что увидит, то и съест.

— Для меня искусство — погоня за счастьем, — мудрствовал Савва Иванович. — Мне крохи переппадают.

— Наше художническое счастье не в одних радостях, — возражал Антокольский, — счастье и в отчаяниях. Сегодня ты бог, и все подвластно твоей воле, завтра ты раб, ничтожество, Навуходносор, превращенный в животное.

Говорил о сокрушенном наказанием Навуходносоре, а творил изумительно. На круглой плоскости горельефа искал «Последний вздох» Иисуса Христа. И еще одну голову вылепил, Иоанна Крестителя. Шестиконечные звезды по краю блюда, бронзовый меч, завернутый в полотенце, лоб напряжен последней мыслью, а глаза уже ввалились, спят вечным сном.

Савва Иванович радовался, что снова может поработать рядом с Антокольским, но три недели растаяли. Марк Матвеевич точно решил: Москва не для него, нацелился на Париж.

Как только Антокольские уехали, Елизавета Григорьевна взяла сыновей, Верушку оставила бабушке, и пароходом проплыла от Нижнего до Саратова и обратно. Чудесное получилось лето.

— Наговорился с Мордухом на сто лет, — говорил Савва Иванович. — Сладко наговорился. Нимб над головой чую.

А нимб и впрямь появился: лысел Савва Иванович, в отца пошел.

1876 год для России переломный.

Последствия 1812 года были изжиты до самой последней точки, ее обозначила смерть Николая I. Перерождение победы в понукания, славы в позор, любви в ненависть, могущества в ничтожество — есть плата за триумф. Плата за поражение существует, ибо все человеческое наказуемо.

Русско-турецкая, или иначе Балканская война зародилась в 1875 году, когда христианское население Боснии и Герцеговины поднялось на

вооруженную борьбу, желая получить от Турции одинаковые права с мусульманами.

Летом 1876 года начали боевые действия княжества Сербия и Черногория, полагаясь на помощь Российской империи. Войском черногорцев командовал черногорец, князь Николай, войсками Сербии — русский генерал Черняев, который десять лет тому назад удачно воевал с кокандским ханом и взял Ташкент. Под командой Черняева были также отряды русских добровольцев, прибывшие сражаться за свободу славян. Черногорцы оседлали вершины, перекрыли по ущельям горные дороги и были неуязвимы для турецких войск. Малочисленные сербские полки, сражаясь на равнинах, несли большие потери, и над Сербией нависла угроза жестокой истребительной кары. Как и предвидел черногорский князь Николай, Россия не могла не вмешаться. Император Александр II привел войска в боевую готовность и потребовал от турок прекратить наступление. В Стамбуле знали силу русского войска, падишах смирился, и было подписано перемирие на два месяца. Конфликт, однако, не затихал, а разгорался. Подняло голову болгарское освободительное движение, турки, опасаясь потерять Балканы, прошли по Болгарии огнем и мечом, вырезая поголовно селения и города.

Император Александр II не желал проливать «драгоценной крови сынов России», но, спасая болгарское население от геноцида, отдал приказ придвинуть войска к турецкой границе. До войны был один только шаг.

Горячие головы вытащили на свет мумию древнего княжеского вождения: когда-то Царьград манил к себе киевских варяжской крови князей, как манит разбойника шкатулка с драгоценностями. Черное греческое священство для православной Московской Руси эту былую тягу возродило, оправив ее в христианские ризы. Греки сами теперь предлагали русским Царьград, ибо не владели им. Ради торжества Православия, ради Иисуса Христа, ради святынь и отцов церкви.

В новые же времена владение Царьградом должно было преобразить Россию, вернуть России ее византийские одежды, ее всемирные устремления. По сути своей эта идея есть помрачение ума, ничего общего с христианством и Православием не имеющая. Возрождение языческого азарта Скифии, ибо в незапамятные времена скифы владели этой землей двадцать восемь лет и поставили возле Иерусалима крепость Скифополь. Теплая земля долго греет. Обретение Царьграда стало стержнем славянофильства. Перенести столицу в святой город для России означало бы конец Антихристу, конец петровскому закланию. Даже такой «реакционер», как Алексей Сергеевич Суворин, издатель газеты «Новое

время», записал в своем дневнике: «У нас нет правящих классов. Придворные — даже не аристократия, а что-то мелкое, какой-то сброд. Аристократия была только при старых царях, при Алексее Михайловиче, этом удивительном, необыкновенном, цельном человеке, который, собственно, заложил новую Россию. Петр начал набирать иностранцев, разных проходимцев, португальских шутов, со всего света являлась разная дрянь и накипь и владела Россией... Даже плохой русский лучше иностранца. Иностранцы деморализуют русских уже тем, что последние считают себя приниженными, рабами и теряют чувство собственного достоинства».

Совсем не по случайности род Романовых пресекся на Петре, как пресекся род Рюрика на тиране Иоанне Грозном. Цепочку династии вытянули, но полунемец по крови и немец по воспитанию Петр III от немки Екатерины русского человека не мог родить. А дальше больше. Павла Петровича женили на принцессе Гессен-Дармштадтской, Александра Павловича — на принцессе Баденской, Николая Павловича — на принцессе Прусской...

Воинственное настроение русского общества в 1876 году понятно. Позор героической крымской кампании жег сердца патриотов двадцать лет. Явилась возможность взять не только реванш за постыдное поражение беззаветно бившегося войска, не только спасти братьев-славян от истребления, но и добыть Константинополь, осуществив чаяния веков.

Царь вынужден был считаться с настроениями в обществе и, вопреки своему желанию уберечь государство от войны, подчинился.

Кстати говоря, в эту как раз пору преобразилась газета «Новое время». Владелец ее Трубников продал издание Алексею Сергеевичу Суворину. Во время войны с Турцией Суворин и его газета много сделали для подъема патриотического духа в обществе. Писал Суворин ярко и сильно. Бывший сотрудник Некрасова, он не успел еще переменить своих взглядов убежденного шестидесятника, в душе его летали искры над романом, который по приказу цензуры был сожжен.

1876 год стал переломным для Саввы Мамонтова, Абрамцева и для художников, для которых место это станет родным, а сами они — гордостью России.

Летом вернулся из-за границы Репин. Он чутко воспринял новые художественные веяния. В его картинах появился живой сочный цвет и живой свет, но он оставался русским художником, верным своим принципам.

Выставка его новых работ вызвала критику, насмешливую и резкую, то

была месть за его «нахальство». Стасов неосторожно опубликовал письма Репина, где он называл Рим пошлым поповским городом, а о знаменитых картинных европейских собраниях по простоте душевной сказал — «Какая гадость тут в галереях».

Критики Стахеев и Матушинский в газетах «Русский мир» и «Голос», оскорбленные за все мировое искусство, высмеяли «Садко» и доморощенную философию художника. Нравоучительную отповедь дал Репину в «Пчеле» «Профан». Под псевдонимом скрывался Адриан Прахов. Стасов, как лев, бросился рвать критиков в клочья, но самому Репину были дороги и Стасов, и Прахов.

Жить Репин отправился в родной Чугуев, однако осенью на несколько дней приехал в Москву и увидел в ней город, который должен оживить его обвявшее искусство. Илья Ефимович писал Стасову о Москве: «Она до такой степени художественна, красива, — что я теперь готов далеко, за тридевять земель ехать, чтобы увидеть подобный город, он единственный!»

Василий Дмитриевич Поленов, не закончив академического пенсионерства, тоже вернулся на родину и тоже отчитался выставкой в залах Академии. Выставка прошла без особого шума, Василий Дмитриевич получил звание академика и в сентябре уехал в Сербию воевать с турками. С фронта вернулся в Петербург, вполне созрев для жизни в Москве.

Время благоволило к талантам. Малоизвестный Суриков уже работал в Москве в храме Христа Спасителя, писал Вселенские соборы. Писать на стенах храма — детища четырех царей и всего народа — это вторая академия, после которой любая тема по плечу.

Виктор Михайлович Васнецов в 1876 году написал «С квартиры на квартиру» и отправился в Париж поглядеть, поучиться, а при случае и себя показать.

Жизнь искусства, как и сама жизнь, складывается из дней, из обыденности. Малоприметные события, обывательские мелочи, легко принятые решения оборачиваются неожиданными трагедиями, непредвиденными взлетами, победами. Савва Иванович Мамонтов, еще точно не зная, как он может влиять на искусство, слал друзьям-художникам письма, зазывая в Москву, и на его зов откликнулись все те же Репин да Поленов.

Первым Поленов. Переехал в Москву в марте 1877 года. В Риме, в Париже Василию Дмитриевичу приходили на ум сюжеты европейского масштаба. Он писал: «Восстание Нидерландов», «Пир у блудного сына», «Демон и Тамара», «Публичная лекция Лассаля», «Александрийская школа неоплатоников». Его подминали под себя Веронезе, Рафаэль, Морелли,

Фортуни, Коро, Невиль, Мункачи. Хотелось ухватить славы во французском Салоне. В Салоне он выставял «Право господина», «Голову еврея», «Одалиску», портрет Федора Васильевича Чижова. Умом ли, сердцем, но понял — европейский путь для русского художника тупиковый. Русский художник будет интересен Европе русскими картинами.

В Москву Поленов приехал написать сюжет из отечественной истории «Пострижение негодной царевны». Кремлевские церкви и терема его изумили. Но прежде чем взяться за этюды, нужно было найти квартиру (остановился он у Чижова). Неподалеку от церкви Спаса-на-Песках Василий Дмитриевич увидел на двери дома записку, сдавалась квартира. Зашел посмотреть, а за окном милый дворик с видом на эту чудесную белую церковку с колокольней XVII века. Тотчас и зарисовал.

Этюды, сделанные в Кремле, Поленов не выставял, они написаны для себя, для картины, которую еще и не начинал. Но эти небольшие этюды для русской живописи были новостью и открытием. Так до Поленова никто еще не писал, ни в Москве, ни в Петербурге.

Этюд «Успенский собор. Южные врата». В небе весна, синева, полупрозрачные с позолотой облачка. На белой, ослепительной от света стене голубые слепящие тени. Фрески над узорчатыми вратами яркие, голубые, золотые, фиолетовые. Песня света.

Этюд «Теремной дворец» несколько иной. Художник захвачен изощренной красотой архитектуры, кокошниками над окнами, маковками, черепицей, золотом купола. Свет и тени на Тереме чудесные. Это весенние тени. Они светятся. Поленов это увидел и передал.

У него и в самом храме светло. «Рака митрополита Ионы в Успенском Соборе» — серебро, бронза, лампы, все это горит, бликует. Не в Италии, не во Франции Поленов увидел свет, в Москве, на Родине. «Белая лошадка», написанная у белой стены в Нормандии, по-своему хороша, но по чувству света ей далеко до кремлевских этюдов.

«Негодную царевну» Василий Дмитриевич, может, и написал бы, но его снова позвала война, долг славянина. Не за наградами ехал, крест и медаль он уже имел.

Антокольский из России отправился в Париж. Он был у Боголюбова и Похитонова, у Тургенева и Эритт-Виардо, но так и не смог снять мастерскую. Парижские цены кусались. Пришлось возвратиться в Рим, где ради денег принялся за статую Самуила Полякова, самого богатого железнодорожного магната России, завершил надгробные памятники Оршанскому и Оболенской. Он еще с год проживет в Риме, но итальянская

жизнь для него кончилась. Теперь он рвался в Париж, где собирался обрести мировую известность.

И к этой славе вели его и абрамцевские тропинки, любовно ухоженные Саввой Мамонтовым.

12 апреля 1877 года император Александр II объявил в Кишиневе Манифест о войне с Турцией. Главнокомандующий, великий князь Михаил Николаевич, наместник Кавказский, двинул войска через границу и 18 апреля взял крепость Баязет.

Началась осада Карса, приступом захватили крепость Ардаган.

Дунайской армией командовал великий князь Николай Николаевич. В первый же день объявления войны эта армия вступила в Румынию и двинулась к Дунаю. Сложная переправа стоила тысячи жизней. Планируя легко овладеть Плевной, передовой отряд произвел штурм без серьезной разведки. Здесь турецкими войсками командовал мудрый Осман-паша. Он превратил маленькую Плевну в мощную крепость и разгромил русский отряд, уничтожив три тысячи солдат. Случилось это 8 июля, а 18 июля турки отбили второй штурм, причем русские потеряли уже семь с половиной тысяч убитыми. Была и третья неудача. Плевну собирались поднести царю ко дню его ангела, 30 августа. Осадную армию укрепили отрядом генерала Скобелева. Штурм захлебнулся, и бесстрашный Осман-паша сам провел пять неистовых контратак. Скобелев отбил, но армия, потеряв тринадцать тысяч убитыми и ранеными, вынуждена была отойти.

Константин Петрович Победоносцев, воспитатель цесаревича Александра Александровича, писал ему: «Приезжающие из армии не находят слов выразить горечь и негодование свое на бессмысленность планов и распоряжений. Это грозит в будущем великой бедой целой России, если все останется в армии по-прежнему».

30 августа в бою под Плевной погиб брат художника Верещагина Сергей Васильевич, а другой брат, Александр, автор рассказов о войне, в том же бою был ранен.

Война влияла на жизнь неожиданной стороной. В письме к Репину Стасов писал: «Вот у Вас нынче сын Георгий, а 3 дня назад я крестил у моей Софьи нового своего внука, тоже Георгия, только под именем Юрия. Я бы советовал и Вам предпочесть *русскую форму — византийской*».

Илья Ефимович совету внял, назвал сына Юрием. Это был третий

ребенок в семье после дочерей Веры и Нади. В начале июня Репин был в Москве и в Нижнем Новгороде. В Москве он подыскивал квартиру для переезда. Об этой поездке есть два письма. Адриану Прахову Илья Ефимович сообщал: «Были мы у Мамонтовых и, несмотря на скверную погоду, время провели чудесно. Я склонен думать, что Абрамцево лучшая в мире дача, это просто идеал!»

Видимо, чтобы соответствовать идеалу, Савва Иванович летом построил гостевую избу, знаменитый «Яшкин дом». Маленькая Веруша с детства много якала. Новая дача Веруше очень нравилась, она считала, что этот дом папа для нее построил, для Яшки.

Другое письмо Репин написал Стасову, поделился впечатлением о Третьяковской галерее. Так и написал: «В галерее Третьякова я был с наслаждением... Положительно можно сказать, что русской школе предстоит огромная будущность! Она производит немного, но глубоко и сильно, а при таком отношении к делу нельзя бить на количественность — это дело внешних школ, работающих без усталости, машинально... (Некоторая неживописность говорит только за молодость нашей школы)».

Мудрый был человек Репин, он уже в начале передвижничества увидел его главную беду — неживописность, но ему казалось, что цвет придет, как пришел на его собственную палитру, на палитру Поленова...

Через два месяца все еще из Чугуева Илья Ефимович сообщал Стасову свой московский адрес: Большой Теплый переулок (у Девичьего поля), дом купца Ягодина. И рассказал, как провел лето в деревне Мохначи. «Не знаю, долго ли я проживу в Москве, но никогда я еще не ворочался в столицу с таким полным запасом художественного добра, как теперь, из провинции, из глуши...»

В Москве Репина ждал Мамонтов.

Для семьи Мамонтовых 1877 год выдался грустным.

В Абрамцеве жили с 1 мая. Война отразилась разве что на разговорах. Когда пошли победы, вспомнили: «славянин» производное от «славы». Легко слетали с губ слова: русский дух, русская сила. Рассуждали об избранническом пути России. Поражения настраивали на иной лад: кляли отсталость, казенщину. Оговорясь так и сяк, приходили к мысли о непригодности самодержавия, о тупости неметчины, которой пронизана русская армия.

Беда пришла неожиданно.

30 июня умерла Вера Владимировна, мать Елизаветы Григорьевны.

Чтобы отвлечь супругу от горестной печали, Савва Иванович вместе с ней и сыном Сережей отправились на строительство Донецкой дороги.

Турецкая война обернулась таким контролером, на которого и взятка не действует. Железнодорожное дело выказало вдруг ненадежность путей, рельсов, неподготовленность обслуживающего персонала. Новую дорогу нужно было избавить от старого разгильдяйства.

После удачной поездки было приятно отчитаться перед Чижовым. Федор Васильевич прибалывал. Савва Иванович шел к нему с тревогой, нес старику нежнейшие персики и целую травяную аптеку, купленную у знахаря-хохла.

И явился некстати. Федор Васильевич стоял на коленях перед слугой, бил поклоны и просил прощенья.

— Савва! — обратил он заплаканное лицо к вошедшему Мамонтову. — Савва! Ты видишь перед собой окаянного!

Подобная сцена не была новостью. Федор Васильевич разгневался, прибил своего Феоктиста. Савва Иванович невольно окинул взглядом гостиную: чем был бит Феоктист, что на этот раз попало Федору Васильевичу под руку?

— Дланью бил, — понял Саввин взгляд Федор Васильевич. Выставил ладонь с растопыренными пальцами и, глядя на нее, расплакался, как ребенок. — Ею крестное знамя творю и ею же бесчинствую! Прости, Феоктист, прости мое барское скотство!

С Чижовым бывало, он и на Правлении мог прикрикнуть на купцов: «Ну вы, алтынники!»

Савве Ивановичу старик обрадовался, однако слушал рассеянно, хотя сам добыл для своего ученика и компаньона эту выгодную концессию. Мамонтову казалось, рассеянность Федора Васильевича вызвана происшедшей сценной с Феоктистом, но он ошибся.

— Донецкая дорога! Донецкая дорога! Что о ней говорить? Достроится, даст прибыль, всколыхнет каменноугольное дело, тут все ясно, — глаза Федора Васильевича смотрели остро, огромный лоб, будто утес Стеньки Разина, высок, крут. — Помнишь, Савва, как втравил ты меня в Костромскую дорогу? Очень я тогда перепугался, думал, прогорим! Но ты был прав. Дороги оживляют нашу дремотную землю. Пробудится и моя родная Кострома. Пойдут товары, побежит кровь по жилам... Есть вывоз, значит, производства расширятся, потребуются машины, к машинам инженеры, а иностранных не наберешься — своих придется учить... Так

что, Савва, наше дело нынче первое для России по значению.

Мамонтов смотрел на Федора Васильевича с интересом, куда клонит старик, совсем почти от дел отошел.

— Ты поглядываешь? — улыбнулся Чижов. — А теперь зажмурься! Я, осторожный из осторожных, второй сапог из пары с твоим батюшкой, — хочу и почти требую, чтобы ты, наследник наш, двинул железный путь к Ледовитому океану.

— Куда?!

— Для начала в Архангельск.

— Федор Васильевич, что за фантазии! — изумился несказанно Савва Иванович. — Для какого лешего вести дорогу в болота? К дикарям в звериных шкурах?

— Болота?! Дикари?! — вскричал Федор Васильевич. — Там белые пески под ковром морошки. Там золото под каждым грибом, а грибов косою коси. Там — Север! Край непчатых сокровищ. Лес, пушной зверь, рыба, изумительная семга, море сельди, море трески. Там под спудом земным драгоценные металлы и драгоценные камни. Я не знаю, что еще сыщут горные инженеры, но открытия эти не только удивят мир. Они преобразят лик не Севера, Савва, самой России.

— Пусть так, хотя все это, Федор Васильевич, — слова. Кто станет добывать эти богатства, кто повезет их по нашей дороге? В этом краю сколько мужиков, столько медведей. И один Архангельск на тысячу верст.

— Сегодня один, а с дорогой их будет сто.

— Помилуй, Федор Васильевич, тому ли ты меня учил? Что за пустопорожние мечтания?

— Я думал, Савва, я много думал. Север — это мой завет. А не исполнишь — мое тебе проклятие. Мы живем мелко, господин хороший Мамонтов. Кругом алтынники, карманные воришки. Погляди, даже великие князя — воришки. Взыбить Север — это будет посильнее, чем рубить окно в Европу. Для русского делового человека преобразование Севера — я тебе тайну открываю и глаза твои слепорожденные — есть единственный способ одолеть всяких там Ротшильдов. Вы не раз попомните меня, старика! Если одолеете Север — с благодарностью, если прозеваете — кляня свою трусость... Я тебе скажу последнее. Теперь такое время, что лошадеенок своих надобно загонять насмерть. Не успеете поднять Север — крышка, всей России крышка. Царю в первую очередь.

Савва Иванович смотрел на старика, пытаясь держать на лице серьезность, но озорная сила подмывала:

— Федор Васильевич, неужто я гожд с Ротшильдом силой, а вернее,

деньгой мериться? Наши капиталы для него разменная мелочь.

— Или ты, или он! — бешено сверкнул глазами Чижов. — Или Россия, или Денежный мешок! Христос или Иуда. Нет выбора, нет!

— Да вы всерьез, что ли?

— А вы все шутить изволите? Дошутились! Три раза под Плевной биты, а война не с Англией, с несчастными турками. Турок-то, между прочим, евреи пожрали. Изнутри. Все пузо им выели. Нет, Савва! Если победим, победу у нас отнимут. Попомнишь старика — отнимут. И мы не пикнем. Ротшильд миром правит, мешок, набитый деньгами, а это есть дьявол.

— Так что же, хлопнуть весь капитал на дорогу в никуда, в белую пустыню?

— Север не пустыня.

— Может, и не пустыня, не знаю, но то, что все это стариковская блажь, — не сомневаюсь!

— Ах, блажь! Ах, блажь! — взревел Чижов, и в руках его объявился пистолет.

Савва Иванович прынул в сторону, пыхнуло, треснуло, и они стояли со звенящими ушами, глядя друг на друга, и кинулись друг к другу обниматься и плакать, со страхом вскидывая глаза на расплюсценную, застрявшую в стене пулю.

В августе в Абрамцево приехали Праховы — Адриан Викторович, Эмилия Львовна, дети, няня. Семейство поместили в Яшкином доме. Застольные разговоры шли теперь вокруг росписей в храме Христа Спасителя, Прахову они казались не только посредственными, но и не отвечающими русскому религиозному чувству, отступлением от Византии, от истоков. И, конечно, говорили о героях Шипки. Три дня с 9 по 11 августа небольшой отряд русских отражал несчетные атаки армии Сулейман-паши. Особенно тяжело далось 11-е, когда турки подтянули орудия и расстреливали позиции безумцев русских, а те не отступали. Стойкость одолела чудовищное превосходство сил. 12 августа подоспели стрелки генерала Радецкого.

Сломлены были все-таки турки! 15 августа, после новых бессмысленных атак, Сулейман-паша отвел свою армию.

В Москву Мамонтовы возвратились в октябре и нашли в стольном

граде нового москвича — Репина. Илья Ефимович изнывал от суеты переезда, мелочи жизни, обустройство приводили его в отчаяние. Он писал Стасову 2 октября:

«В то время как голова горит от чудеснейших мыслей, от художественных идей, в то время как сердце так горячо любит весь мир, с таким жаром обнимает все окружающее, тело мое слабеет, подкашиваются ноги, бессильно опускаются руки... остается только плакать (жаль, слез у меня нет)».

И все же кое-что в Москве Репин уже посмотрел.

«Я все еще... устраиваюсь, — сообщал он Владимиру Васильевичу в том же письме. — Вчера был в храме Спасителя. Семирадский — молодец. Конечно, все это (его работы) кривляющаяся и танцующая, даже в самых трагических местах, итальянщина, но его вещи хорошо написаны, — словом, по живописи это единственный оазис в храме Спаса... По рисунку и глубине исполнения в храме первое место принадлежит Сорокину и Крамскому: серьезные вещи, только они уничтожают Семирадского... Из московских художников я еще не видел никого и не знакомился ни с кем. Вчера только познакомился с архитектором Далем — чудесный, образованный и интересный человек».

Лев Владимирович Даль работал в ту пору архитектором при храме Христа Спасителя. Стасов высоко ценил заслуги Льва Владимировича перед русской культурой, он писал: «Что Даль-отец сделал для русского языка и литературы, выполнив свой громадный труд „Толковый словарь великорусского языка“, — то самое сделал для русской архитектуры Даль-сын. Он изъездил почти всю Россию, видел все, что только было замечательного между старыми архитектурными нашими памятниками, срисовал их и тут же изучил их самым тщательным, самым добросовестным образом... Сколько молодых русских архитекторов, даровитых и стремящихся к самостоятельному русскому стилю, воспиталось в последние семь лет на глубоконациональных материалах Даля».

Даль-архитектор умер в 1878 году, ему не было сорока четырех лет. Потому, видно, знакомство с ним Репина не перешло ни в дружбу, ни в сотрудничество.

Мамонтовы приезжали к Репину смотреть его новые картины. Что ни холст, то пласт грешной российской жизни.

Из Чугуева Илья Ефимович привез три картины — «Возвращение с войны», «Под конвоем», «В волостном правлении», портреты дочек Веры и Нади, портреты чугуевских обывателей: «Мужик с дурным глазом»,

«Мужичок из робких», «Протодьякон», — и несколько эскизов: «Чудотворная икона», «Явленная икона», «Вечерицы», «Экзамен в сельской школе».

— В «Чудотворной» намечается, как я вижу, коллективный портрет простонародной России, — высказался Савва.

— Задумано, задумано! — улыбался, прикрыв глаза, довольный Илья Ефимович, любил, когда его понимали. — А что наши женщины забились в уголок и помалкивают? Вера Алексеевна, приглашайте гостью к разговору. Нам женское мнение дорого. Посетительниц выставок бывает вдвойне против мужчин.

Вера Алексеевна была крошечная, как и сам Илья Ефимович. Она прекрасно рисовала, собиралась стать художницей, но пачкать красками, глядя, как творит муж, было ей стыдно, да и семья росла, времени для художеств не оставалось.

Елизавета Григорьевна подошла к «Протодьякону»:

— Этот Варлаам стоит многих картин. Если просвещенные, блистательные наши мужчины хотят знать мнение сирых жен своих, то эта борода по силе своей, по силе выражения сродни «Бурлакам».

— Так, так, так! — Репин светился, ходил за спинами зрителей, как петух. — Но не много ли забираете, Елизавета Григорьевна? Это ведь только портрет. И о силе, о силе хочется еще послушать.

— У нас так любят говорить о русской силе, о русском богатырстве, а назовите хоть одну картину с богатырями?

— Васнецов начал. Первый богатырь скоро будет!

— Первый перед нами — «Протодьякон»! Ах, Лиза, какой у тебя верный глаз! Поздравляю! — Савва Иванович шутливо пожал руку жене. — Я о «Протодьяконе» хотел особо сказать. Это твой новый успех, Илья! Ты, Илья, и он, протодьякон твой, тоже Илья. Не пророк, конечно, но человек нутряной русской жизни. Житеец!

— Елизавета Григорьевна Варлаамом назвала, — сказал Репин. — Осветила светом Пушкина. Пожалуй, я согласен. Но коль он протодьякон, так пусть «Протодьяконом» и будет. Это ведь не придумка из головы, подлинный человек, чугуевской соборной церкви протодьякон Иван Уланов. А что о «Чудотворной» скажете, о «Явленной»? Все впереди, конечно. Важно не только хорошо начать, похвальнее — хорошо кончить. Я ведь за этой картиной в Коренную пустынь ездил. Название-то какое — Коренная!

— А что еще... будет?

— А будет царевна Софья, — сказал Репин.

— Царевна Софья! Неожиданно, — Савва Иванович склонил голову набочок. — Между прочим, я тебе покажу истинную Софью. Приезжай летом в Абрамцево — будет тебе Софья.

— Приеду, — сказал Репин, — я к Абрамцеву с первого взгляда прилепился душой. Приеду написать портрет Елизаветы Григорьевны.

— Зачем же мой? — Румяные щеки так и запылали огнем.

— Твой, Лиза, твой! — обрадовался Савва Иванович. — Ах, молодец Илья Ефимович. Буду теперь весну ждать и торопить.

У жизни перемены на каждый день заготовлены. И среди них горькие. Не ведал Репин, что за картину он напишет прежде всего.

На другой день после посещения Мамонтовых пошел навестить Федора Васильевича Чижова. Вошел в дом — открыто, Феоктиста не видно, поднялся в гостиную, а Федор Васильевич умер. Слуга, видимо, за врачом убежал. Засвидетельствовать кончину. Альбом был с Ильей Ефимовичем, сел он в сторонке и зарисовал Чижова. Смерть настигла Федора Васильевича в кресле. На столе догорали две свечи...

Год 1877-й выдался длинным. После мучительных поражений, после Шипки, где устояли опять-таки благодаря русскому солдату, пришли наконец победы. Генерал Гурко, окружая Плевну, взял городки Телиш, Горный Дубняк, оседлал дорогу на Софию, и Плевна оказалась отрезанной от Турции. Выдержав только один месяц, Осман-паша 28 ноября бросил все свои войска на прорыв, к Дунаю. Дрались турки изумительно храбро, но сила силу ломит, а храбрости у русских было не меньше. Осман-паша получил ранение в ногу, войска его потеряли шестьсот человек убитыми и были отброшены назад к Плевне. То ли голод был невыносимый, то ли Осман-паша пал духом, но его сорокатысячная, прославившая себя отвагой и стойкостью армия сложила оружие и перестала существовать.

Русские не умеют вести войну по правилам военного искусства, им нужен для успеха какой-то невероятный подвиг. И такой подвиг был совершен. Отряд генерала Карцева в самую лютую декабрьскую пору, с 22 по 26 декабря, перевалил по Траянову проходу Балканские горы и пал на головы турок в Долине Роз. Сюда же менее грозными переходами вышли отряды генералов Гурко и Радецкого, подошел из-под Плевны Скобелев. В битве при Казанлыке турецкая армия потерпела сокрушительное поражение и сдалась.

Вечерами в доме Мамонтовых за царь-самоваром полыхали политические грозы. Компаньоны Саввы Ивановича, Константин Дмитриевич Арцыбушев и Михаил Федорович Кривошеин негодовали на канцлера Горчакова, на военное командование. Почему затягивают боевые действия? Почему не торопятся пригласить европейские страны для заключения прочного, вечного мира с Турцией? Каждый день войны — это сотни убитых, раненых, улетевшие на ветер миллионы, это новые османские зверства.

— Читайте «Северный вестник», — возражал миротворцам Николай Васильевич Неврев. — Там пишут честно и прямо: вознаграждения и уступки определяются размером успехов воюющих сторон, то есть захваченными городами, крепостями.

— Территориями, — подсказал Николай Дмитриевич Кузнецов, художник и родственник Мамонтовых. — Потому и не торопятся с миром. Территории — это деньги дипломатов. Чем больше территорий, тем успешнее будут торги за независимую Болгарию.

Николай Васильевич Неврев, вздымая лохматые брови, заглушил спорщиков громовым басом:

— Как ярки и радости полны
Светила грядущих веков!..
Вскипите ж, славянские волны!
Проснитесь, гнезда орлов!

Орел проснулся, господа! Каждый его новый круг по поднебесью — освобождение славянских земель и племен. Я согласен с Данилевским! Николай Яковлевич ставит перед царем и командованием высшую задачу: полное освобождение Болгарии. А полным оно будет только в одном случае, если армия наша овладеет Константинополем. Господа, когда Данилевский предлагает превратить святыню Православия в столицу славян, он не только думает о будущем, он это будущее созидает.

— Николай Васильевич, — взывал Савва, — воротись на землю! Столица без государства?.. На мой непросвещенный взгляд ближе к истине Федор Михайлович Достоевский. — Савва Иванович взял с полки свежий номер «Дневника писателя». — Вот что пишет наш мудрец и прозорливец: «После превосходных и верных рассуждений, например, о том, что Константинополь, по изгнании турок, отнюдь не может стать вольным городом, вроде как, например, прежде Краков, не рискуя сделаться гнездом

всякой гадости, интриги, убежищем всех заговорщиков всего мира, добычей жидов, спекулянтов и проч. и проч.». Да надо же знать цену себе наконец! Цену России, русскому человеку! Достоевский прав, когда говорит: «Как может Россия участвовать во владении Константинополем на равных основаниях с славянами, если Россия им неравна во всех отношениях — и каждому народцу порознь и всем им вместе взятым?..» Почему, спрашивается, нельзя владеть городом федеративно? Достоевский это тоже объясняет весьма зримо, и с ним невозможно не согласиться: «Все эти народцы лишь перессорятся между собой в Константинополе, за влияние в нем и за обладание им. Ссорить их будут греки... Греки ревниво будут смотреть на новое славянское начало в Константинополе и будут ненавидеть и бояться славян даже более, чем бывших магометан». А вообще-то, господа, упаси нас Боже от Константинополя!

— Савва?! — изумилась Елизавета Григорьевна.

— Я не буду сам философствовать. Спрячусь опять за Достоевского. Его правда хоть и тяжела, да правда. «По внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, — не будет у России, и никогда не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными». Что, господа, вы не согласны с Федором Михайловичем?.. Слушайте дальше: «России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнут хоть что-нибудь в своем славянском значении и в своем славянском призвании в среде человечества». Тут много еще великих и горьких истин, господа... Хотя бы то, что «в минуту беды, и никак не раньше, все эти славяне поймут, что Европа естественный враг их единства». Не хочу я Константинополя! Сколько поляков кормятся Россией? У нас в железнодорожном деле что ни инженер, то поляк, и всякий тихо ненавидит и Россию, и русских.

— Никуда Константинополь от нас не денется, — сказал Неврев. — Андрианополь сдался без боя. Быть щиту на вратах Царьграда!

В Константинополь русские армии, однако, не вошли. 19 февраля 1878 года в десяти верстах от города, в местечке Сан-Стефано был подписан мирный договор. Война закончилась для русского оружия со славой, но теперь пошли игры дипломатов, бесконечные нажимы Бисмарка и

Гладстона, уступки Горчакова и Шувалова. Гладстон понимал и ценил победу русских. Совсем недавно он заявлял на весь мир: «Освобождением многих миллионов поработанных народов от жестокого и унижительного ига Россия окажет человечеству одну из самых блестящих услуг, какие только помнит история». Оказать услугу позволялось, но неприемлемо было ни для Англии, ни для Германии с Францией, чтобы Россия вышла к теплым морям да по дурости своей не взялась бы освобождать от новейшего, от английского и французского рабства Африканский материк, поработанные арабские народы. На Берлинском конгрессе князь Бисмарк, граф Андраши, лорд Рассель, лорд Салисбюри, граф Лонэ, Бюлов, Радевиц задвинули Россию в ее угол, пресекли византийские притязания, а чтобы не раздражить в ней, не пробудить яростного зверя, вернули часть Бессарабии, утраченной после Крымской войны, устье Дуная, а на Кавказе отдали порт Батум и крепость Карс.

Преображение Абрамцева

1

В январе 1878 года воротился с войны Василий Дмитриевич Поленов. К Мамонтовым он пришел с солдатским ранцем, а в ранце битком рисунки, этюды... Репин этому богатству крепко позавидовал. Он признавался Стасову: «Я страшно жалею, что не удалось мне побывать на войне; что делать — не воротишь! Да и не мог я». Репин на войне не был, но и он не прошел в своем искусстве мимо столь важного для народа события.

Под влиянием встречи с Поленовым, рассказов о Сербии, о Балканах и передавая общее приподнятое настроение общества, Илья Ефимович написал «Героя минувшей войны». Солдат с посошком на пустынной дороге. Лицо у солдата строгое, без игры в доблесть, в победителя. Сделал серьезную работу и с достоинством пошел домой. И еще были картины — «Возвращение с войны», «Проводы новобранца».

Война изменила Поленова, преобразила весь строй его мыслей. Понял всем своим существом, что нет на земле дорожке покойной, мирно текущей жизни. Детишек, ползающих в траве, женщин, справляющих свою вечную и бесконечную женскую работу. Понял истинную цену обыденности, которая пролетает мимо глаз и сердца да еще вроде бы и оскорбляет наш высоко берущий ум своей ничтожностью.

Василий Дмитриевич отложил в сторону свои славянские военные этюды, а вот мимолетная зарисовка двора с видом на церковь Спаса-на-Песках так много сказала его сердцу, что он, переполненный радостью встречи с милой родиной, написал ничем особо неприметный «Московский дворик». Детишек, сараи, рыжую лошаденку, кур, женщину с полным ведром. Это было воистину полное ведро. Картина вышла шедевром.

Белые церкви, белый дом, белоголовые ребятишки... Тем же летом и почти там же, на Арбате, на углу Трубниковского и Дурновского переулков, Василий Дмитриевич написал еще одно чудо — «Бабушкин сад»: ветшающий дом, старушку в чепце, девушку в розовом, во французском и, словно бы с французской картины, хаотичный напор диких трав на заросших клумбах.

Казалось бы, что особенного — дом да городская природа. Но как это много по сравнению с природой, написанной во Франции, в Вёле. Там тоже

трава, березы, остатки каменных ворот. Но все чужое. Для художника и для зрителя. А бабушка — наша. И лохматые кусты и травы, заглушившие искусственную садовую красоту, все тут наше.

В этом же году Поленов успел написать и «Паромик с лягушками». Это было преобразование европейца в русского человека. В искусстве совсем непросто быть русским, быть самим собой.

Событием для зимней Москвы 78-го года стали чтения Мстислава Прахова. На первой же лекции он сказал:

— Доктрина тенденции, столь любезная ныне людям, именующим себя передовыми, есть не что иное, как обязательные для детства — корь и цыпки... Наши нигилисты и народники, задрав штаны, бегают по лужам, ложатся спать, не вымыв ноги, и хвастают потом друг перед другом ороговелыми пятками и коростой на щиколотках. Однако в человечестве, как и в каждой личности, существуют вечные стремления. Это прежде всего тяга к красоте. Человек в шкурах брал уголь или кусок красящей глины и рисовал на стенах пещер, украшал себя и свою одежду, сравнивал цветы с зорями и находил в этих несравнимых, казалось бы, предметах — общее. Этим общим был восторг! Перед малым и перед огромным. Если мы попытаемся окинуть взором все минувшие цивилизации, то даже на самых отдаленных от Европы континентах обнаружим этот восторг перед красотой. Отсюда вывод: эстетическая потребность есть одно из самых важных начал человеческого существования, а может, и самое важное, самое первое. Человек даже поглощать пищу научился красиво, превратил трапезы в театральные действия, в мистический ритуал. Этот ужасный, этот кровожадный человек, даже орудия убийства — мечи, луки, топоры — превратил в произведения искусства. То же самое можно сказать о предметах крестьянского труда... Господа нигилисты опрощаются до народа, не понимая, что они не приближаются этим опрощением к крестьянину, к углекопу, а скорее, отстраняются. У крестьянина дуга расписана цветами, у пастуха рукоятка кнута резная, кнут оплетен в четыре жилы, а его рожок подобен органу.

Над Мстиславом Праховым посмеивались, но слушали жадно.

Подросли новые волнения. Готовилась очередная Передвижная выставка, шел отбор картин для Всемирной выставки в Париже.

14 февраля Репин послал Крамскому просьбу о приеме в Товарищество. Он писал: «Теперь академическая опека надо мною прекратилась, я считаю себя свободным от ее нравственного давления и потому, согласно давнишнему моему желанию, повергаю себя баллотировке в члены Вашего общества передвижных выставок, общество,

с которым я давно уже нахожусь в глубокой нравственной связи, и только чисто внешние обстоятельства мешали мне участвовать в нем с самого его основания».

17 февраля Крамской сообщил Илье Ефимовичу об избрании в действительные члены Товарищества. Ради Репина члены Правления нарушили правила приема, для всех смертных был установлен экспонентский стаж, иные художники ходили в экспонентах по десять лет.

Поделиться радостью и похвастать Илья Ефимович приехал на Спасскую, к Мамонтовым.

Мамонтовы встретили известие радостно, Савва Иванович велел открыть шампанское.

— А какие картины ты представил? — спросил он, когда выпили первый бокал.

— Ждал вопроса и хочу удивить — ни одной! Дал на выставку «Протодьякона», «Мужика с дурным глазом», «Портрет Собко», «Еврея на молитве», «Портрет матери», «Мужичка из робких». Впрочем, портрет Собко Правление Товарищества забракowało. Он у меня был выставлен в Академии, а на Передвижные выставки берут только новые работы или те, которые нигде не выставлялись. Так что я поставил одни этюды.

— «Протодьякон» — это картина, — возразил Савва Иванович.

— А много ли уступает «Протодьякону» «Мужик с дурным глазом»? — поддержала супруга Елизавета Григорьевна.

— «Мужик с дурным глазом» — мой крестный Иван Радов, золотых дел мастер, колдун. Я его писал, а сам побаивался, понравится ли? Это все этюды, этюды. «Протодьякон» — чистая натура. Другое дело, что очень уж величав, от роду таков. Лев русского духовенства, экстракт дьяконства. Послушали бы вы его! Уж такой — зев, рев! Торжества и грома на всю Вселенную, а спроси его, о чем громогласит — не скажет, совершенно бессмысленно рокошет, лишь бы голос явить. Если признаться, я в нем вижу языческого жреца. Вот кто славянин! Так что всей моей заслуги — земляка срисовал.

— Вы его слушайте больше! — засмеялся Поленов. — Этюд, этюд! А как Третьяков предложил пятьсот рублей за этюд, так иные были песни. «Протодьякон» — тип, а коли тип, так картина, полторы тысячи извольте.

— Я просил тысячу четыреста, — поправил Репин.

У Саввы Ивановича блестели глаза.

— Смотрю на вас, и какое же могучее братство представляется мне! — Встал, обнял Поленова и Репина, сидевших рядом. — Построим в Абрамцеве мастерские, соберем молодые силы и — творить, творить! Без

оглядки на Академию, на парижский Салон. Как трава растет, так чтоб и наше искусство являлось само собой и до тех пор, покуда каждый не исчерпает силы.

— А могут ли художники жить бок о бок? — спросил, посмеиваясь глазами, Репин.

— Растут же на лугах колокольчики, ромашки, иван-да-марья, цикорий, львиный зев... Растут, не мешают друг другу. От тебя, Василий Дмитриевич, я, между прочим, жду много чудесного.

— Что можно ждать от человека, у которого в ногах множество дорог, а какая его — не ведает.

— А что можно ждать от Рыцаря Красоты? Маленького чуда и чуда великого... И я этих чудес дождусь. Это какая была по счету выставка? — спросил Савва Иванович Репина.

— Для Товарищества — шестая, для меня — первая.

— Василий Дмитриевич, ты-то почему не выставяешься?

— Предложить нечего.

— Выставит, выставит! — не согласился Репин. — Летом Передвижка в Москву придёт, к ней успеешь.

— А что Васнецов? — спросила Елизавета Григорьевна. — Василий Дмитриевич, Илья Ефимович, вы квартиру смотрели, какую мне указали?

— Ох, нет! — повинулся Репин. — Опять лихорадка трясла, дома отлеживался.

— По Остоженке Третий Ушаковский переулок? В доме Истоминой? — быстро переспросил Поленов. — Я был там, Елизавета Григорьевна. Очень удобная квартира. В мастерской много света. Огромное вам спасибо! Я убежден, Васнецов в Москве воспрянет, я сам хожу, как заново родился.

— Вы, пожалуйста, Васнецову не говорите о нашем участии.

— Да почему же?! — удивился Репин.

— Чтоб сомнения не одолели! — зашумел Савва Иванович. — Помощь капиталиста всегда сомнительна. Капиталист о барыше думает...

Поднял бокал:

— За тебя, Илья! От Поленова ждем — шедевр, и не меньше, Васнецова держим в уме, а от тебя, Репин, уже кое-чего дождались. Слава тебе, Илья! Слава!

— Ну какая слава! — тряс кудлатой головой Илья Ефимович. — «Софью» кончу, вот будет слава, но больше уповаю на «Крестный ход».

— Мы — практические люди, господа художники, мы ценим существующее, осуществленное. Слава твоему «Протодьякону»!

...Сказал Савва о могучем Товариществе, об абрамцевских мастерских

и задумался, а дело-то стоящее и нужное. Знал — брошенное зерно прорастет.

Савва Иванович был прав. Зрители VI Передвижной выставки говорили о «Протодьяконе» не меньше, чем о картинах Шишкина «Рожь», «Горелый лес», о «Заключенном» Ярошенко, о «Встрече иконы» Савицкого, о «Засухе» Мясоедова... «Протодьякон» был так могуч, что зрители невольно шли к нему, поминая пушкинского Варлаама.

Модест Петрович Мусоргский после выставки писал Стасову: «Дорогой мой генералиссимус, видел протодьякона, созданного нашим славным Ильей Репиным. Да ведь это целая огнедышащая гора! А глаза Варлаамища так и следят за зрителем. Что за страшный размах кисти, какая благодатная ширь».

Шестая выставка передвижников открылась в Петербурге в марте 1878 года. 9 марта в члены Товарищества был принят Виктор Михайлович Васнецов. Он выставил «Акробатов», «Чтение телеграммы», «Витязя на распутье».

В марте же Виктор Михайлович переехал в Москву.

О Передвижной отволновались, пришло время еще большей заботы, судили и рядили об отборе картин в Париж, на Всемирную выставку. У Репина взяли всего один этюд — «Мужика с дурным глазом», у Крамского — портрет Шишкина, у Куинджи — «Лунную ночь», у Мещерского — «Лес зимой», попал и Максимов с уже известной картиной «Приход колдуна на свадьбу», но первым номером для устроителей живописного отдела был Семирадский со «Светочами христианства».

Репин настоял, чтоб на выставку отправили портрет Льва Толстого, написанный Крамским. Действовал Илья Ефимович через Стасова. Стасов испрашивал разрешения сначала у Толстого, к Толстому он посылал своего товарища по библиотеке Страхова. Толстой ответил устно: «Хлопотать о своем портрете не стану, но ничего не имею и не буду иметь против». Далее надо было испрашивать разрешения у автора портрета и у его владельца. Дело наконец сладилось, и Стасов воздал Третьякову в «Новом времени» заслуженную похвалу: «Когда речь зашла о новой Всемирной выставке, он (Третьяков. — В. Б.) только распахнул двери своей чудесной галереи распорядителям нашего отдела и позволил им взять в Париж, что они захотят. И наш художественный отдел разом сделался — истинно

великолепен. Посмотрите в каталог, кому принадлежат все лучшие и значительнейшие картины нашей выставки?»

Дмитрий Иванович Менделеев откликнулся на эту публикацию страстным письмом к Владимиру Васильевичу: «Читая разные статьи о бывшей выставке картин, отправляемых в Париж, невольно брала злость на отсутствие в печати здорового взгляда, обращенного к русской школе... Русская школа в живописи хочет говорить одну внешнюю правду, сказала ее уже, хотя этот говор — лепет ребенка, но здорового, правдивого. Об истине еще нет речи. Но истины нельзя достичь без правды. И русские художники — скажут истину, потому что рвутся понять правду, внести с ее помощью свой вклад в русский строй мыслей».

Споры о национальной школе живописи, о том, что нужно представить на обозрение всему миру и что недостойно, поднялись самые горячие.

Адриан Прахов в «Пчеле» негодовал: он считал, что в экспозиции, собранной для Парижа, нет картин «трех крупнейших представителей русского искусства за последнее десятилетие» — нет Верещагина, нет Репина, нет Харламова. Для Прахова Репин — это «Бурлаки», «Садко» и «Протодьякон».

Прахов критиковал Бронникова, Риццони, Гуна, Семирадского и противопоставлял им Ге, Крамского, Чистякова. Будущее видел за реальной школой. «Русское искусство, — писал Адриан Викторович, — стало все более и более оставлять в покое решение общечеловеческих задач путем космополитическим и все ушло в свою собственную русскую жизнь, чтобы свое национальное поднять до значения общечеловеческого. Это и есть единственно верный путь... Вне народности нет искусства...»

— Ай да наши! — радовался Савва Иванович, читая Прахова. — Ай да «Профан»! Пронял ведь устроителей. У Репина «Бурлаков» в Париж взяли. «Протодьякона», видимо, цензура не пропустила. Уж больно плотский человек этот чугуевский Иван Уланов.

А жизнь шла своим чередом. В «Летописи сельца Абрамцева» читаем: в Абрамцево перебрались 1 апреля. Пасху справляли в доме. Были Володя и Лиза Сапожниковы, Володя и Наталья Якунчиковы. Гувернером при детях состоял Альфред Базинер. Как стало тепло, расширяя дом, затеяли пристройку новой столовой. Самое значительное в том году семейное событие приходится на 3 мая. Родилась Шуренька-Муренька. Появилась

она на свет в Абрамцеве, в большом доме, в комнате верхнего этажа. Отныне имя ее отца стало полным: Сергей — Андрей — Всеволод — Вера — Александра — САВВА.

Тотчас после первой радости пошли тревоги. Шуренька-Муренька родилась слабенькой. В ней была такая вялость, такое отсутствие жажды жизни, что и кормили-то ее насильно.

Елизавета Григорьевна была бледна, повял ее знаменитый румянец. Лето, как нарочно, не радовало. Шли дожди, тучи садились на вершины дубов. Впрочем, без погожих дней лета все-таки не бывает.

Как свой человек жил в Абрамцеве Мстислав Прахов. Днем ходил, будто лунатик. А лунными вечерами сидел истуканом на ступенях крыльца среди жасмина, но тотчас вставал, если кто-то проходил мимо.

Все знали: профессор снова влюблен, безнадежно и, главное, неведомо в кого. Случайно сохранилось письмо Мстислава Викторовича, которое он написал, да не отправил.

«Сердце у меня что-то не на месте, — поверял влюбленный профессор свою тайну неустановленному лицу. — Встревожено оно и боится за предстоящее! Боюсь, боюсь! Как не к лицу это 36-летнему старому, старому бобылю — что опять попало оно на старую и вечную штуку, на личную любовь — или по крайней мере влюбленность! Ох, Господи! и хорошо-то оно, да и больно уж солоно дается! Весь истомился и — что всего хуже — пожалуй, опять по пустому! Иногда воспрянешь духом, говоришь себе: вздор, старая штука! Не поддамся! Мало ли у меня работы! Есть чем забыться. И забудешься, да не надолго! Смотришь и опять ласкается к сердцу эта сладкая жажда любви!.. Умчатся бы, думаешь, иногда за тридевять земель, погрузиться в работу! Да куда от себя-то уйдешь! Ох, хоть бы застыть, окаменеть и продолжать только работу по инерции, в одном направлении, пока не протянешь ног!»

Работал Мстислав Викторович во дни влюбленности исступленно, приходил к завтракам, обедам, ужинам, но в развлечениях участвовал редко, разве что ввязывался в словесные баталии, где всегда оставался со своим особым мнением и не терпел, когда кто-то из спорщиков принимал его сторону, не ради убеждения, а чтобы поддержать одинокого. На таких «незванных» благодетелей профессор нападал с особой язвительностью, очень ловко выставляя их беспринципность и пустомельство.

Казалось, лето обещает быть нескучным, но обычным, однако сначала приехал художник Алексей Петрович Боголюбов, а в самом начале июля явился Репин с семейством.

На станцию были посланы тарантас и телега. В тарантасе восседало семейство, в телеге везли нехитрый скарб для временного летнего житья и холсты на подрамниках, большие и малые.

У ворот прибывших встретили бременские музыканты. Савва Иванович был в маске осла, солидный и даже величавый Боголюбов с петушиным алым гребнем набекрень. Музыкантов было втрое больше, чем бременских друзей — все это кукарекало, мяукало, лаяло, ревело... Вера Алексеевна перепугалась за детишек, но старшая Вера рассмеялась, захлопала в ладошки, и вслед за нею развеселились Надя и совсем крошечный Юрочка.

Бременские музыканты, скача и кувыркаясь, повели гостей к Яшкиному дому, а потом увлекли за собою Илью Ефимовича в мастерскую и трубили славу:

Твори, творец — вот тебе дворец!

Творец, твори — с зари и до зари!

Вечером на Воре были устроены марины. Почему марины, а не речнины — никто не знал, но всякий свою роль исправлял от души. На холме расстелили ковер, на ковре посадили зрителей. И прошли по берегу Вори витязи, с факелами, в чешуе, как жар горя, и проплыла по реке флотилия: лодки «Лебедь», «Рыбка», «Кулебяка», освещенные фонарями, и плот с костром посредине. На первой лодке, на «Лебеди», явился морской царь с тритонами, на «Рыбке» Садко с русалками, на «Кулебяке» — поющие сирены, и среди них в балетной пачке Савва Иванович. Рулады его голоса были уж такие сладкие, такие зовущие, что зрители пошли ближе к реке рассмотреть морские чудя. Сирены да и только! С плота на берег высыпали разбойники и увели зрителей на темный паром. Взлетела ракета, затрещали, рассыпая искры, бенгальские огни, загорелись фонари, и пленники увидели перед собою скатерть-самобранку. Чудища перебрались на паром, и был на реке пир. Паром плавал с берега на берег, а когда все насытились, фонари вдруг погасли, и небо, полное звезд, воцарилось над рекой и над притихшими гуляками.

За праздниками следуют будни, но Абрамцево жило иначе: днем — труды, вечером — пиршества, игры, катание на лошадях, на лодках, литературные чтения.

Савва Иванович по заведенному обычаю с утренним поездом отправлялся в Москву, Мстислав Викторович все еще бился над

переводами Хафиза, Елизавета Григорьевна хлопотала в лечебнице, присматривала за другими работами, Алексей Петрович Боголюбов с детьми пытался исправить тяжелый ход «Кулебяки», устраивал новый киль. А Репин — бродил по окрестным деревням, писал этюды. К его радости местные люди, жившие в дружбе с господами из Абрамцева, не дичились, позволяли себя «срисовать». Илья Ефимович затеивал картину «Проводы новобранца» и, зная, как негодует Стасов — отставлен «Крестный ход», — приискивал и для «Крестного хода» типажи. Кисть у Репина была скорая. За полтора месяца он написал «Портрет мальчика» — Всеволода Мамонтова, «Портрет Мстислава Прахова», «Портрет А. А. Гофман», «Веру Репину в белом платье в саду», «Пейзаж близ Абрамцева», «После пожара в деревне близ Абрамцева», множество женских и мужских фигур, сделал рисунок «Крестный ход в дубовом лесу», «Крестьянский дворик», начал портрет Елизаветы Григорьевны, работая очень короткими урывками, написал «Портрет Саввы Ивановича», с маху сделал натюрморт «Букет цветов» и первый эскиз картины «Запорожцы».

Илья Ефимович писал Елизавету Григорьевну. Сеансы эти были в гостиной, в самой светлой комнате Абрамцевского дома.

— Илья Ефимович, а что же вы в мастерской не работаете? — спросила однажды Елизавета Григорьевна. — Савва ужасно огорчается.

— Мастерская чудесная, но помилуйте меня ради Бога! Лета жалко упустить, воздуха, света, цвета. Как бы мы французов ни поругивали, уж больно любят впереди скакать — лягушатники! — не поклониться им нельзя — глаза на белый свет открыли.

Принесли почту, несколько писем и огромную коробку, обратный адрес: редакция журнала «Нива».

— Это, видимо, приз! — догадалась Елизавета Григорьевна. — Я победитель конкурса.

В коробке оказалась картина, краски блеклые, фон темный.

— Холста им не жалко! — рассердился Илья Ефимович.

Поставил картину на мольберт, рьяно забелил и поверх написал стоящие на столе цветы.

— Оправлю в черную раму, и хоть в гостиную вешайте.

— Здесь ей и место! — согласилась Елизавета Григорьевна.

Среди писем одно было адресовано Репину. Павел Михайлович Третьяков заказывал для своей галереи портрет Ивана Аксакова.

Имя Ивана Сергеевича в ту пору гремело не только в России. Не генерал, не министр — человек далекий от царского двора, он сделал для Болгарии, для освобождения славян, может быть, больше, чем сам

император Александр Освободитель. Иван Сергеевич так рьяно поднимал русское общество на защиту славянских интересов, что его газета «Москва» за два года существования получила от министра внутренних дел девять предупреждений и трижды приостанавливалась. Была и такая мера воздействия у правительства: издание закрывалось на три месяца, на месяц, на неделю. Издатель, естественно, нес убытки. Впрочем, и все прежние издания Ивана Аксакова подвергались тискам цензуры. Уже второй номер газеты «Парус» был конфискован, а сама газета запрещена. Газету «Молву», которую он унаследовал от брата Константина, тоже закрыли, под нож попал второй том «Московского сборника». Тяжко приходилось газете «День», газете «Русь».

Член Общества любителей российской словесности, председатель Славянского благотворительного общества Иван Аксаков раскачал сидевший на мели Русский корабль, и корабль этот хлюпнул, выбираясь из тины, и поплыл. Славянское общество сумело собрать на нужды Сербии, поднявшейся на освободительную вооруженную борьбу, шестьсот тысяч рублей, снаряжало, вооружало и отправляло отряды волонтеров, одело, обуло, накормило, дало оружие болгарскому народному ополчению.

И вот после победоносной войны свободу славянских народов обкорнали. Иван Аксаков посчитал Берлинский конгресс, где влияние Бисмарка было огромным, преступлением перед человечеством. 22 июня председатель Славянского общества, выступая в зале Московского университета, осудил антиславянский, антирусский сговор европейских стран, саму игру в тонкую дипломатию канцлера князя Горчакова и посла графа Шувалова. Имя государя не поминалось, но кому было не ясно, чьи нерешительность, немужественность перечеркнули Сан-Стефанский договор.

«Слово немеет, мысль останавливается пораженная, — говорил Аксаков примолкшему залу, — перед этим колобродством Русских дипломатических умов, перед этою грандиозностью раболепства! Самый злейший враг России и Престола не мог бы изобрести чего-либо пагубнее для нашего внутреннего спокойствия и мира. Вот они наши настоящие нигилисты, для которых не существует в России ни русской народности, ни православия, ни преданий, которые, как и нигилисты вроде Боголюбовых, Засулич и Ко, одинаково лишены всякого исторического сознания и всякого живого национального чувства. И те и другие — иностранцы в России и поют с чужого европейского голоса».

Прав ли был Аксаков, требуя от царя и его дипломатов твердости, решились бы Англия и Германия на войну с Россией — вопросы праздные.

Но ясно одно. Всякое поражение России — военное, дипломатическое, экономическое, духовное — всегда оборачивается сплочением антиславянских сил, и не только народы нашего государства растаскиваются в озлоблении по разным углам, но и сами русские превращаются в ватаги, готовые бить друг друга смертным боем.

Речь Аксакова перепугала Петербург. Опасаясь дипломатических осложнений, царь приказал освободить Ивана Сергеевича от должности председателя Славянского общества и выслать из Москвы. Впрочем, Александр Николаевич был согласен с Аксаковым, и наказание он накладывал вынужденно. Ивану Сергеевичу предложили самому избрать место ссылки. Он поехал во Владимирскую губернию, в село Варварино, принадлежавшее Екатерине Федоровне Тютчевой, дочери великого поэта, сестре Анны Федоровны, жены Ивана Сергеевича.

Шум, поднятый речью 22 июня, прокатился по всей Европе. Бисмарк запретил чтение этой речи, переведенной на немецкий язык, экземпляры издания искали, изымали, сжигали. Но в Болгарии речь приняли с воодушевлением и благодарностью. Патриоты выдвинули Аксакова претендентом на Болгарский престол. Потому Третьяков и поспешил пополнить свою коллекцию портретов знаменитых людей России портретом Ивана Сергеевича.

От Абрамцева до Владимирской губернии было недалеко, но Репин поездку откладывал со дня на день. В гости к Мамонтовым обещал приехать Тургенев.

В конце июля, после дождей и забитого облаками неба, наступили яркие ясные дни. Радуюсь согревшейся земле, дружно высыпали грибы, да всё белые.

Встали спозаранок, отправились в монастырский лес: Илья Ефимович, Вера Алексеевна, Савва Иванович, Сережа, Дрюша, Вока, Елизавета Григорьевна, Поленов со своим другом Рафом Левицким, и даже профессор взвалил на плечо бельевую корзину.

Никто без грибов не остался, но когда собрались выходить из леса, потеряли профессора.

— Пошел Прахов прахом! — скаламбурил Савва Иванович и отпустил на поиски Репина и Поленова. Потом их пришлось аукать. Мстислав Викторович, оказывается, первым вышел из лесу и тут-то и напал на

золотую жилу. Он ползал на коленях, собирая рыжие лисички.

— Ай да профессор! — изумилась Вера Алексеевна. — Корзина-то почти с краями.

Когда наконец все собрались, Савва Иванович объявил себя Сусаниным и повел свой отряд в чащобу, а вывел на берег Вори, где на лужайке грибников ожидал обед Лешего. Впрочем, суп пришлось стряпать самим, из найденных грибов. Пока в кипящем котле варились белые и подосиновики, пока жарились на сковородах рыжики — предложены были закуски: холодная медвежатина и бок дикого кабана.

— Кабан приготовлен по рецепту Ивана Аксакова! — сообщил Савва Иванович. — С гречневой кашей и с зернистой икрой. Кто в силах — может отказаться, а я не в силах.

Мужчинам для утоления жажды был предложен «Дубняк», женщинам — малиновый ликер, детям — орехи, смородина, клюква в сахаре.

— Ах, как Мордуха не хватает! — пожалел Илья Ефимович. — Когда же он обещает приехать, Савва Иванович? Может, вместе с Тургеневым явится?

Мамонтов развел руками:

— Господин Антокольский ныне всемирная знаменитость! Нарасхват. На Абрамцево времени не остается.

— Нет, Савва! — замахал руками Репин. — Для Мордуха старые друзья — это друзья до гробовой доски. Я ужасно рад за него. Первая медаль Парижской Всемирной выставки, орден Почетного легиона. Приветствие их величества. Для Мордуха — это не просто признание его таланта, это — признание его народа.

— Господи! — Савва Иванович возвел глаза к небу. — Как же я люблю иудея из иудеев Мордуха ибн Матфея фон Антоколию. Это воистину мой учитель и друг.

— Мне о триумфе Антоколии сообщил Стасов, — сказал Репин, — я тотчас побежал в обитель Васи и Рафа, выкопали мы фотографии всей последней европейской скульптуры, положили на одну чашу весов, на другую — снимки с работ Антоколя... Никакого сравнения! Захваленный до лоска Монтеверди одного сократовского носа картошкой, не стоит. Не знаю, что у него впереди, но «Грозный», «Петр», «Христос перед народом» — это всемирное достояние. Жюри право.

— А первая премия Семирадскому? — усмехнулся Поленов.

— «Светочи христианства» — высшее достижение почившей в бозе, но все еще не похороненной и даже не отпетой школы классицизма, — сказал Репин. — В жюри — люди немолодые, их вкус нельзя поколебать ни

«Бурлаками», ни импрессионистами.

— А знаете, кому бы я дал первую медаль? — спросил Савва Иванович, и весь он сделался — загадка и торжество.

— Сейчас будет изречено что-то из ряда вон! — сказала Елизавета Григорьевна.

— А вот и нет! Изречена будет правда. И бьюсь с любым из вас об заклад: через сто лет ни один русский человек не вспомнит огромное полотно Семирадского, но будет знать и носить в душе крошечный холстик, обыкновенную сцену захолустного городка, обыкновенное солнышко, обыкновеннейших белоголовых детей — твой «Московский дворик», Поленов! Очень жалко, что ты его в Петербурге не выставил.

— В феврале «Дворика» еще не было, — сказал Поленов, он покраснел от неожиданной похвалы, но тотчас нахмурился. — Это же пустячок, Савва... Ты говоришь несерьезные вещи. Ради парадокса.

— Творец усомнился творению! Слепец ты, Вася. Твой «Дворик» переживет века. Вот мое пари: встречаемся здесь, на этой поляне, через сто лет. Если я окажусь прав, вы все выпросите у Господа для меня год жизни или хотя бы день...

Но как мало в нас еще любви к своему, отечественному! Вы читали речь на Международном литературном конгрессе нашего русского француза? Уж такое низкопоклонство перед Францией, что не знаешь — смеяться или плакать.

— Да что же мог такого сказать Иван Сергеевич? — встревожилась Елизавета Григорьевна.

— Лиза, почему ты решила, что речь о Тургеневе? — хитро спросил Савва Иванович.

— Уж наверное о нем, если так много страсти.

— Конечно, о нем! — сказал Репин. — А много страсти — от обиды, за него же. Какой писатель был! Положите руку на сердце, Елизавета Григорьевна. Положили, а теперь скажите себе и нам, много ли в нынешнем Тургеневе от автора «Записок охотника»? «Вешние воды» давным-давно утекли, стали болотом в гостинной мадам Виардо.

— Не будьте злым, Илья Ефимович, — сказала Елизавета Григорьевна.

— Ненавижу похитительницу! «Новь» с головой выдала Ивана Сергеевича. Вместо жизни — анекдоты, некоторые из них я слышал в салоне у Боголюбова.

— Господа! Хорошую мы встречу готовим Ивану Сергеевичу! — Елизавета Григорьевна смотрела поверх голов, в пространство.

— Речь не о Тургеневе, Тургенев нам дорог, — сказал Поленов. — Речь

об отрыве писателя от родной почвы. Для Ивана Сергеевича до сих пор не существует русского искусства, и сам он кланяется и кланяется французской, английской литературе, хотя Флобер, Золя, Гонкуры, Доде, молодой Мопассан — носят его на руках.

И тут подали грибной суп. Умные разговоры прекратились.

— Белый гриб боровик под дубочком сидел, на все стороны глядел и в котел наш залетел! А потому — ку-ку! ку-ку! — по рюмочке дубняку! — провозгласил Савва Иванович.

— Грибнику! — поправила Елизавета Григорьевна.

6

В Абрамцево приехал профессор Московской консерватории Рубець. Пели украинские песни, Илья Ефимович рассказывал, как оживил в нем детство гопака, который плясали на сельском празднике Чугуевские малороссы.

— А как Гоголь отплясывал гопака вот на этих половицах! — Савва Иванович сделал такое движение, что Репин в ладоши захолопал:

— Савва, с тебя надо плясуна писать! Как ты ухватил. Тебе бы в артисты — громче Щепкина бы гремел, громче Мартынова.

Рубець, окинув быстрым взглядом столовую и взмахивая руками, как крыльями, горячо прошептал:

— Ко мне, хлопцы! Ближе! — И весь загадочный, лоснящийся от предвкушения запретного, манил к себе и доставал из кармана листок бумаги. — Послушайте казацкую дипломатичну грамоту. Первый вариант, предупреждаю, пристойный:

«Запорожские казаки турецкому султану Ахмету III. Ты — шайтан турецкий проклятого чорта брат и товарищ и самого лыщиперя секретарь! Який ты в чорта лыцарь? Чорт выкидае, а твое войско пожирае. Не будеше ты годен синив христианских под собой мати: твоего войска мы не боимось, землю и водою будем битыця з тобою. Числа не знаем, бо календаря не маем, мисяць у неби, год у кнызи, а день та-кий у нас, як и у вас, поцилуй за те ось куды нас! Кошевой Серко зо всим коштом запорожським». А теперь, хлопцы, слушайте круто заверченную цыдульку.

Второй вариант письма оказался трудно вслух произносимым.

— У казаков был Хмельницкий, был Сагайдачный, Выговский был... Дипломаты первостатейные, талейраны и бисмарки, — сказал Рубець, — но этому письму цены нет. Это воистину народное послание к врагу-

соблазнителью.

— Серко — это, кажется, историческая личность, — сказал Савва Иванович.

— Великий воин, друг единства русских и украинцев, — объяснил Мстислав Прахов. — Но, как всякий казак, человек жестокий. Он однажды напал на Крым и вывел из него много пленных украинцев. За Перекопом спросил их: куда хотите идти, на Украину или обратно в Крым, в неволю? Несколько тысяч пожелаю вернуться: «Там наши дома, наши семьи». И Серко отпустил их, но когда люди радостно пошли в сторону Крыма, всех порубил.

— О времена, о нравы! — сказал Савва Иванович. И предложил: — Господа, не будем помехой творчеству. Все на конную прогулку. Запорожскую.

Репин сидел в Яшкином доме за столом у окна. Его охватило тепло, детское, простенькое, он вздремнул, понял, что дремлет, улыбнулся, потянулся, и почудилось ему, что вот она, его степь... Ветер над степью теплый, тугой. Малиновые шапки татарника лезут в глаза, ковыли ходят волнами, кузнечики смычками наяривают, темная саранча взлетывает над травой, и под крыльями у нее — пламя. Полынью пахнет! И вдруг всплыло и сказалось:

У казакови на голове шапка бырка —
Зверху дирка.
Травой пошита, витром подбыта,
Вие, повивае.
Молодого казака прохлаждае...

Карандаш сам собою выпорхнул из деревянной карандашницы, и рука пошла гулять по чистому, по белому полю, и прищептывал Илья Ефимович, щуря веселые глаза:

— Ах, Крамской, Крамской — премудрая голова! Не за тот взялся ты хохот. Над Богом ли смеяться?.. А мы далеко не хватаем. Мы все спроста, спроста... Ну-ка, сечевечки, Запорожье бравое! Ну-ка, ну-ка, пощекочите черта лысого!

Подбоченился казак с лицом калмыка, закатился черноусый с оселедцем, с висячими усами — дородный. Писарь, выставя ухо заковыристой подсказке, спешит записать предыдущую мову, сказанную

атаманом в шапке. Над усатою толпой казак-верста с рожей полного удовольствия и веселости вытянул руку с перстом на турецину. Казак с оселедцем, с пышными усищами, в шароварах на половину рисунка, сложил под столом ноги в мягких сапожках так, как сами они складываются, когда от смеха в паху свербит, а одного смешливого аж пополам согнуло!

Ведь получилось, обрадовался Илья Ефимович, отстраняясь от рисунка. А ведь ради этих гарных хлопцев можно и «Софью» в сторону отставить, да и «Новобранца», и «Крестный ход». Но Стасов сильно сердит будет.

Провел черту, внизу написал: «Запорожцы пишут ответ султану Ахмету III». В правом нижнем углу пометил: «Абрамцево, 26 июля 1878 года».

Едва всадники воротились и не успели спешиться, Репин в нетерпении показал им рисунок. Савва Иванович поглядел, передал Рубцу и изрек: «Вот будущая картина, которая прославит Абрамцево, ибо зачата под сенью нашего святого неба и на земле, где ступала нога Николая Васильевича Гоголя». И оказался прав!

Тургенева встречали на станции. Он вышел из вагона, улыбаясь, но с опаской поглядывал на толпу. Подал руку молодой женщине, помогая сойти. Оглянулся — пассажиры сгрудились возле окон, разглядывая нарядных встречающих и гадая, кто же он — седоголовый великан, которому такой почет, такие цветы.

Машинисты, уважая гостя и здешнего хозяина, не поторопились с отправлением, поезд стоял, пока экипажи не тронулись.

— Кто же это? Что за шишка? — спрашивали в вагонах малознающие всезнающих.

— Тургенев это, а встречал Мамонтов. «Записки охотника» и миллионщик...

Савва Иванович ехал в тарантасе вместе с Тургеневым и с его спутницей Еленой Ивановной, урожденной Бларамберг, сестрой композитора, по мужу Апрелевой, по литературе — Е. Ардов.

— Давно вы купили Абрамцево? — спросил Тургенев.

— Имение принадлежит супруге моей, Елизавете Григорьевне, — ответил Савва Иванович. — А купили... в марте семидесятого. Все было

такое ветхое.

— Вы поставили новый дом? — быстро и почти шепотом спросил Тургенев, лицо у него напряглось, на лбу обозначились морщины.

Савва Иванович невольно поддразнил испугавшегося писателя:

— Да уж поставил бы, но лес оказался крепок, лиственница. Дом сохранил. Обошлись пристройкой. Правда, пришлось поставить несколько новых зданий, они, конечно, изменили общий вид, но проекты делали Гартман и Ропет.

— Это тот Ропет, который сотворил столь мудреный вход в Русский павильон на Парижской выставке?

— Тот самый. А вход этот — точная копия Коломенского дворца Алексея Михайловича.

— Я слышала историю про гартмановский макет Московского Народного театра, — сказала Елена Ивановна. — Академия собиралась купить макет, а теперь, кажется, не только не хочет дать денег вдове, но и требует забрать эту никому не нужную громоздкую игрушку. Места много занимает.

— Воря! — воскликнул Тургенев. — Милая Воря!

Остановили лошадей.

— Вода журчит. Для меня это, как звуки родной речи.

Когда лошади взяли в гору, к усадьбе, Иван Сергеевич все прикладывал руку к губам и глуховато покашливал. Савва Иванович с изумлением понял: волнуется. Видимо, вечная роль знаменитого писателя тяготила гостя. Даже теперь, после всех романов, бесспорных и спорных, после триумфа на Международном конгрессе, Иван Сергеевич конфузился и страдал от обязанности одаривать собою. Но навстречу ему вышла не депутация — слава Богу! — высыпали дети, мал-мала, а с детьми Елизавета Григорьевна, Вера Алексеевна, Соня Мамонтова. Елизавета Григорьевна волновалась, но говорила просто, и Тургенев отвечал просто и обрадованно. Все это было не для истории, не для вечности, и всем сразу стало хорошо. Ивану Сергеевичу дали прийти в себя после дороги, и он уже через десять минут был готов смотреть, слушать. И пошел сначала по комнатам, вспоминая, как было у Аксаковых.

— В этой комнате Иван Сергеевич, мой тезка, читал мне поэму «Бродяга», «Присутственный день в уголовной палате». Он ведь служил в уголовном департаменте. Не знаю, как теперь, а в молодости Иван Аксаков был очень резок и крепок на слово. Смирнову-Рассет, у мужа которой он служил в Калуге, мог назвать Софьей-Премудростью, а мог и скотиной. Эта комната Константина... Из семьи таких крепких людей, из степняков,

охотников, и так рано сгорел. Как пламень был. Наяву бредил мужицкой Русью.

— Вы, сколько известно, недолюбливаете русофилов, — сказал осторожно Савва Иванович, — а с Аксаковым дружили...

— Да разве для нас, русских, это не затрапезное правило? Русофилов я временами попросту ненавижу. Русофилы погубили Гоголя. Украли год-другой у Белинского... Но Сергея Тимофеевича я любил, и Константина с Иваном тоже любил, — улыбнулся. — Давно это было, во времена «Записок охотника».

Пришли в красную гостиную, сели.

Раскрасневшаяся, сдувая лезущую в лицо прядь волос, вбежала краснощекая, сияющая глазками Веруша.

— Ах, какой ангел! — воскликнул Иван Сергеевич и протянул руки, приглашая девочку к себе.

Бесстрашная Веруша, не колеблясь, бросилась в объятия великана с белой головой, устроилась на коленях.

— Ей три с половиной? — спросил Тургенев.

— В октябре будет три.

— Значит, я не совсем еще стар. Если человек не разучился понимать, сколько лет детям, он годен для жизни.

— Веруша очень резвая. Она выглядит старше своих лет, — согласилась Елизавета Григорьевна. — Скажите, Иван Сергеевич, а было у Аксаковых в доме что-то такое, что бы вы хотели видеть и у нас?

Тургенев задумался.

— Знаете, я ведь человек недомовитый. Писателю грех быть невнимательным к мелочам жизни, но ничего особенного или сколько-нибудь выдающегося в мебели, в убранстве комнат не помню. Да тут, кажется, кое-что сохранилось.

— А говорите невнимательны! — изумилась Елизавета Григорьевна.

— Больше всего мне запомнились — длинный чубук Сергея Тимофеевича, а в чубуке сигарка чуть дымящая, да на глазах зеленый тафтяной зонтик.

— Зонтик? На глазах?

— Было такое изобретение. От резкости света предохраняло. Именно зонтик. Сергей Тимофеевич и по грибы этак ходил. На глазах зонтик, во рту чубук, но грибы, как сыч, видел. Я прохожу, а он из-под ног моих белые выхватывает... Есть ли у вас «Записки об уженье рыбы»?

Савва Иванович тотчас принес томик.

— Первое издание! — обрадовался Тургенев. — Именно «Записки об

уженье». «Об уженье рыбы» позже появилось. А знаете, Сергей Тимофеевич был страстный и очень точный статистик. Подсчитывал, сколько раз в году выстрелил и сколько убил дичи. Он показывал мне свой дневник, и я тогда прямо-таки ахнул. Скажем, в 1817 году им было сделано 1858 выстрелов, нет, кажется, 1758, а убито 863 единицы дичи, в 1819 году 1381 выстрел, а убито семьсот или восемьсот единиц: бекасов, стало быть, вальдшнепов, вяхирей, дупелей, тетеревов, перепелок, — Тургенев открыл книгу. — Как это все хорошо написано. По-человечески, по-русски... «При всем моем усердии не могу доискаться, откуда происходит имя щуки. Эта рыба по преимуществу хищная: длинный брусковатый стан, широкие хвостовые перья для быстрых движений, вытянутый вперед рот, нисходящий от глаз в виде ткацкого челнока, огромная пасть, усеянная внизу и вверху сплошными острыми скрестившимися зубами...» И снова: «Щука меняет зубы ежегодно в мае месяце. Я, к удивлению моему, узнал об этом очень недавно»... А вот еще: «Лещи бывают очень жирны, если хотите вкусны, но как-то грубо приторны, а большие — и жестки; впрочем, изредка можно поесть с удовольствием бок жареного леща, то есть ребры, начиненные кашей: остальные части его тела очень костлявы». На Ворю, господи! Поведите меня на Ворю, ради всего святого!

И тут появился Ефим Максимович, камергер Сергея Тимофеевича. Произошла трогательная сцена, и, наконец, все собрались на Ворю.

— Я Сергею Тимофеевичу кресло ихнее носил, — говорил Ефим Максимович, смахивая слезу. — Не изволите, для вас постараюсь...

— Спасибо, добрейший, но мы идем не рыбу удить, а подышать воздухом. Ворей подышать.

— Удочку-то помните, какая у Сергея Тимофеевича была? Дареная! «Леди»? Одна барыня прочитала книгу про уженье да и сплела из своих волос лесу для нашего царя удильщиков. Сергей Тимофеевич любил «Леди». Счастливая была удочка.

После прогулки над Ворей проголодались. Тургенев ходил медленно, походка у него была тяжелая, но тяжесть эта не портила образа, скорее придавала благородство. И хоть Савва Иванович вел беседу непринужденно и вполне достойно, но чувствовал — ладони влажные. Чуть впереди шагает не просто знаменитость, а вечная слава России. Охотник! Охотник на все времена, ибо на охоте Тургенев добыл не красной дичи для своего стола, но свободу народу — певцам, бургомистрам, хорям, калинычам, герасимам... В России о роли писателя в освобождении крестьян не говорили и даже не задумывались об этом, но Америка почитала Тургенева чуть ли не ровней императору Александру в деле

избавления русского народа от рабства. Государь действительно просил однажды передать Тургеневу, что именно «Записки охотника» побудили его принять решение об отмене крепостного права...

Обед был устроен совершенно замечательный. Савве Ивановичу было известно пристрастие Ивана Сергеевича к зернистой икре, к вальдшнепам. Стол, однако, не ломился от купеческого, доходящего до безобразия, хлебосольтва, но все лучшее, чем богата русская земля, на столе было: и, конечно, икра, и вальдшнепы с дупелями.

— Иван Сергеевич, а что это за писательские обеды, куда допускаются только избранные, и среди них вы? — спросил Савва Иванович. — Может, это только глупые слухи?

Тургенев улыбнулся.

— Слухи искажают действительность... Обеды существуют, но не избранных, а наоборот — освищенных. Флобер провалился с «Кандидатом», Золя — с «Бутоном розы», Эдмон Гонкур — с «Анриеттой Марешаль», Доде — с «Арлезианкой».

— А вы-то когда проваливались? Иван Сергеевич?! — воскликнула Елизавета Григорьевна.

— Много раз, много раз! — быстро и шепелявя сказал Тургенев. — Ругали «Рудина», ругали «Дым», разносят «Новь». За статью о Гоголе в тюрьму упекли. «Записки охотника» Аксаков поругивал, Константин Сергеевич. Находил, что написано с усилием, несвободно, со стремлением сказать повыразительнее... И прав был!

— Что же вы заказываете? Чем вас балуют парижские рестораны?

— Флобер обязательно требует нормандского масла и руанских уток. Эдмон Гонкур обмирает по варенью из имбиря. Доде охотник полакомиться буйябесами, Золя обожает дары моря: морских ежей, устриц, икру каракатиц и, конечно, лангуст. А мне была бы черная икра, осетровая.

— И все же назовите меню хотя бы одного из ваших заседаний, — любопытничал Савва Иванович.

— В этом году мы у Золя обедали. Сейчас припомню. Подавали зеленый суп, лапландские олени языки, рыбу по-провансальски, цесарку с трюфелями. Пили рейнское вино. Мое любимое, фиалками пахнет.

— Если вы приедете в Абрамцево еще раз, я обещаю угостить вас мясом... мамонта! — объявил Савва Иванович.

Все засмеялись.

— У Мамонтова и на столе мамонт? Помилуйте, Савва Иванович, возможно ли такое? Я в былые времена сам был мастер рассказать дамам что-нибудь сногшибательное.

— На днях я разговаривал с человеком, побывавшем на Таймыре. Представьте себе, до сих пор самоеды находят вмерзшие в лед туши мамонтов. Не только аборигены, но и русские люди едят это мясо. А самоеды едят его сырым.

— Обязательно приеду, — пообещал Тургенев. — Ради возможности отведать мамонта вся наша пятерница прибудет.

— А не думаете ли вы, дорогой Иван Сергеевич, воротиться на родину? — спросила Елизавета Григорьевна.

— Я человек пропащий! Как не хотеть, хочу. Мне для работы зима нужна. Чтоб от мороза дух захватывало, чтоб иней покрывал деревья. В такой-то чистоте, в таком-то свету и сам светлый, и повести рождаются... русские, — горькие складки легли у рта. — Я теперь — прошлый.

— Да ведь вы «Новь» написали, и это истинная «Новь»! — сказал горячо Репин.

— Думаю, воротись я в Россию, правительство, пожалуй, в ссылку меня спровадит, без права выезда... Такое ведь уж было со мной.

— Россия любит вас и не даст в обиду, — решительно возразила госпожа Апрелева-Ардов. — Вы — первый наш писатель. Первый номер!

— А знаете, какое место предоставили мне на званом обеде по случаю освобождения крестьян в Российском посольстве, в Париже? Сорок седьмое. Сразу после посольского батюшки.

После застолья отдыхали в гостиной за кофе и ликерами. Спросили у Тургенева об Антокольском, как он устроился в Париже.

— Я только знаю, что Марк Матвеевич избран членом-корреспондентом Парижской академии художеств и в Академию города Урбино — на родине божественного Рафаэля. Кстати, портрет Семирадского украсит галерею Уффицы. Был в мастерской Антокольского, видел бюст Краевского и ваш, Савва Иванович.

О серьезном разговаривать устали, развеялись беседой о таинственном, о потустороннем.

— Со мною было два совершенно непонятных случая, — рассказал Тургенев. — Однажды я шел к обеденному столу, и вижу — в туалетной комнате господин Виардо моет руки. Одет в охотничью куртку. Вхожу в столовую, а он за столом. И еще было: ехал я в гости к моему давнему приятелю. Видимо, вздремнул. Погрезилось: седой парик падает откуда-то сверху на его голову. Встречает он меня — Боже мой! — совершенно седой.

— Иван Сергеевич! — обратился Репин. — Я слышал, заседания Международного писательского конгресса проходили в Гранд Ориент, в

храме парижских масонов. Разве все писатели масоны?

— Зал красивый, просторный. Было ведь более трехсот делегатов. А уж кто из них масон — не ведаю. Были писатели из Соединенных Штатов, из Бразилии. Из русских приглашали Льва Толстого, Достоевского, Гончарова, Полонского, но первые трое отказались приехать. Были Полонский, Боборыкин, Чивилев, Шарапов, Ковалевский и я. Разговоров на конгрессе было много, а результат самый плачевный, ничего не решили, ничего!

— Зато вас теперь во всем мире знают, — сказал Репин. И вдруг взмолился. — Иван Сергеевич! Простите, Бога ради, за прежний портрет и дозвоьте еще раз написать.

— Дозволяю. Только не теперь. Завтра в Кунцеве надо быть, у Павла Михайловича Третьякова, и уезжать пора. Дал слово Джорджу Льюису посетить Кембридж, и в Оксфорд надо — Макс Мюллеру тоже дано обещание. А вот весной обязательно приеду в Москву, тогда готов и позировать.

Репин возрадовался, все так удачно складывается: Тургенев ему будет позировать, а до его приезда он напишет портрет Аксакова. И тоже — Ивана Сергеевича.

Разговор перешел на другие темы — о современном образовании, о студенчестве. На дворе вечерело. Заговорили вновь о литературе, о новых именах. Тургенев посоветовал почитать повести Елены Ивановны, «литератора талантливого и многообещающего».

Елена Ивановна смутилась.

— Иван Сергеевич слишком добр. Пишущие женщины смекнули это и превратили великого писателя в своего опекуна. Дарования в юбках люди сметливые.

— Жорж Занд писала много лучше Дюма, — возразил Тургенев. — Я убежден, не за горами время, когда русские писательницы встанут вровень с писателями-мужчинами, а скорее всего опередят. Женщина чувствует сильнее, ей известны такие движения души, которые мужчине недоступны. И, главное, женщина превосходит нашего брата терпением. Ведь это женщины вяжут огромные шали, плетут изумительно тонкие кружева. А слово в романе — сродни кружеву.

— Что можно почитать у Елены Ивановны? — спросил молчаливый Мстислав Прахов.

— Роман «Без вины виноватые», рассказ «Аполлон Маркович», — сказал Тургенев.

— Елена Ивановна! — Репин прижал обе руки к сердцу. — Дайте мне

хотя бы один сеанс. Мне чудится — вы вылитая Софья.

— Царевна?

— Дерзаю написать.

— Какое же вы избрали время, торжество или крах? — спросил Иван Сергеевич.

— Заточение. Казнь стрельцов. Один такой несчастный будет висеть за окном царевны.

— Что ж, это может сильно выйти, а может и безобразно, — сказал Тургенев. — Я не люблю, когда царствие Петра подвергают сомнению, умышленно сгущают краски.

— Какой же здесь умысел! Иван Сергеевич, побойтесь Бога! Казненные стрельцы — это первое деяние Петра.

— Вы вроде бы не русофил, Илья Ефимович? Или это аксаковский дом так действует?

— Когда пишешь картину, глаза на многое открываются...

— Илья Ефимович, может, не откладывать с моим портретом? — предложила Елена Ивановна. — До поезда часа три.

— А я, пожалуй, опять к Воре, — сказал Тургенев. — Пусть Илья Ефимович найдет достойную его кисти царевну Софью. Что же до любви к государям... Кому-то Петр хорош, а кому-то Николай Павлович. Представьте себе, известный писатель Ибсен восхищается правлением победителя декабристов. Считает, что государственный деспотизм — залог здоровья нации.

К реке Иван Сергеевич ушел один, вернулся к ужину. Был разговорчив, расхвалил репинский рисунок: «Схвачен характер. Очень похоже». И рассказал вдруг о себе историю, на которую не всякий бы отважился.

— Я ведь ужасный человек, — посмеивался Иван Сергеевич. — В молодости денег у меня иногда совершенно не было. Одним хлебом питался, а приходилось играть роль богатого... Вот и взял я у Некрасова под будущие повести две тысячи рублей, причем с добровольным обязательством печатать все свои рассказы, повести, романы только в «Современнике». Кажется, «Асю» я как раз сочинил. Журнал ждет повесть, а меня найти не могут. Являюсь. С повинной головой. Без «Аси». — Где? — спрашивают. — Продал за пятьсот рублей Краевскому. (А Краевский — конкурент.) — Как? Почему у нас денег не попросил? — У вас, говорю, стыдно просить, а без денег пропадаю. — Повесть уже у Краевского? — Нет, говорю, пока только деньги взял. Вручили мне пятьсот рублей, потребовали, чтобы возвратил взятое и письмо написал. Письмо писать я наотрез отказался. Некрасов письмо сочинил, да так ловко: уладилось дело.

И вдруг пристально посмотрел на Савву Ивановича:

— Поредел аксаковский лес. Ужасно поредел. Обнажается русская земля, скудеет.

— Савва Иванович чудом дубовую рощу спас! — сказала Елизавета Григорьевна. — Софья Сергеевна продала лес на сруб купцу Головину, тот все и смахнул.

— Для меня эти Головины хуже Васьки Буслаева, — покачал головой Тургенев. — Безобразный народ. Сколько на Орловщине лесов уничтожено. Мы это не чувствуем, а дело совершается непоправимое. Не будет леса — реки пересохнут. Пересохнут реки, и не только рыба исчезнет — зверь-то уж исчез — птица переведется. Внуки получают от нас пустую землю, пустую воду, пустое небо.

Поднялся:

— Пора, господа. Хорошо у вас. Очень хорошо. Мне когда-то Мериме сказал: «Русское искусство через правду дойдет до красоты», а я думаю, мы, русские, и в жизни дойдем до красоты, если будем исповедовать правду, как Бога. Не лгать и каяться, как велит церковь, а жить правдиво. Хватит ли у народа мужества на такую жизнь — не знаю.

На улице было темно. Несколько колясок стояло уже у крыльца. Выехали за ворота, а с горы вниз по обеим сторонам дороги — люди с факелами.

В воспоминаниях Елены Ивановны Бларамберг о поездке Тургенева в Абрамцево читаем:

«Об Аксаковых, отце и сыновьях, Константине и Иване Сергеевичах, заговорил он снова, когда, поздно вечером, после блестящего приема и не менее блестящих проводов, устроенных ему владельцами Абрамцева, мы остались одни в вагоне... Иван Сергеевич с обычным юмором начал было рассказывать, как он в один из своих приездов в Абрамцево поймал большую щуку, как он волновался, хватая щуку, упавшую с леской на траву и бившуюся в тщетных усилиях сорваться с крючка, и какое неприятное огорчение и зависть к удаче своего молодого товарища испытывал Сергей Тимофеевич — страстный рыболов, — у которого в этот день клевала только мелкая, ничтожная рыбешка... Рассказ этот со всеми подробностями местности неожиданно прервался. Слабый вздох донесся до нас с противоположного конца отделения, куда на одной из промежуточных станций близ Москвы вошла дама под вуалью. Услышав вздох, Тургенев оглянулся. Дама, сидя спиной к нам, смотрела в окно и время от времени прижимала руку к виску.

— Не больна ли? — наклонился ко мне, шепнул Иван Сергеевич. —

Может, холера?

Я рассмеялась. Добродушно смеясь, в свою очередь, он, однако, пошарил в ручном мешке, вытащил флакон одеколона, с которым никогда в пути не расставался, окропил меня, себя, наши диваны и украдкой брызнул несколько капель в сторону все в той же позе неподвижно сидевшей незнакомки»...

От Ивана Сергеевича Аксакова Репин вернулся с портретом и с жаждою писать царевну Софью. О сидельце сельца Варварино говорил с восторгом:

— Как он знает Россию! Все толки раскола известны ему до мельчайших подробностей, откуда что взялось, кто стоит за этим. Говорят: русофил, русофил! Ни пустым щам, ни курным избам этот русофил не умиляется. Его любовь к народу строгая, горькая. Я бывал на Коренной ярмарке, под Курском, но не увидел главного, что сразу ухватил Иван Сергеевич. Я все вопросы задавал. Тогда он дал почитать свои письма к родителям, к отесеньке, так он отца называет, и к маменьке. Много мне открылось. Я попросил разрешения переписать несколько страниц.

Репин принес закрытый холстиной портрет Ивана Сергеевича Аксакова. Но Савва неожиданно предложил сначала почитать вслух что-нибудь из Аксакова, а потом сравнить впечатления — тот ли образ писателя рисовался присутствующим, когда они слушали его творение.

Читали за чаепитием, под светом яркой лампы. Все это походило на какое-то новое действие Мамонтова.

Начали с отрывка о Коренной ярмарке, обсуждали, увидели здесь отличный материал для репинского «Крестного хода».

Савва Иванович после того, как Репин с наслаждением прочитал текст, попросил каждого словесно нарисовать свой портрет Аксакова. И первый начал: «Иван Сергеевич седой, лицо длинное, сухое. Сухой блеск в глазах. Глаза умные, пронизывающие. Лицо, возможно, желтоватое, желчное. У рта резкие складки».

— Я вижу так, — сказал Прахов, — лицо широкое, русское, совершенно простецкое, глаза очень невыразительные. Желчи, разумеется, нет, но лицо бледное.

Все посмотрели на Елизавету Григорьевну.

— Иван Сергеевич, видимо, похож на отца, а у нас есть фотография

Сергея Тимофеевича. Высокий лоб, красивая форма губ, лицо большое. Ведь у Сергея Тимофеевича «бабье» лицо. Крупный нос. Глаза добрейшие! Грустные. Может быть, даже мечтательные.

— Открывай, Илья, свой портрет! — ударил в ладоши Савва Иванович.

Репин сбросил холстину. На обитателей Абрамцева смотрел седой, краснолицый старик, властный, не охочий выслушивать чьи-либо возражения.

— А ведь в нем есть... нечто от самодура, — сказал Мамонтов.

— Савва! Что за резкость такая, зачем? — огорчилась Елизавета Григорьевна. — По-моему, это человек умный, много тративший себя, но все еще сильный, готовый послужить добродетели.

— Сама честность, — подтвердил Мстислав Прахов.

— Однако не без слабостей, — засмеялся Репин. — Иван Сергеевич просил убавить ему лица... Что это, говорит, я за деревенщина такая! Красномордый, как городничий. Побледней бы ты меня сделал...

В середине августа Илья Ефимович закончил портрет Саввы Ивановича и перебрался с семейством в Москву. Хорошо было у Мамонтовых, но художнику дороже всего одиночество. Одиночество творца. Репин писал царевну Софью.

Мамонтовы вернулись в свой московский дом только 19 октября: не порадовало тепло лето, зато осень удалась. Елизавета Григорьевна любила подойти к дубам, прислониться, затаиться и слушать, как срывается и падает одинокий листок. Шуму от него на весь лес.

Вдруг явился вопрос о макете Народного театра Гартмана. Академия Художеств настроилась решительно: избавиться от этого громоздкого для ее стен сооружения.

Репин писал Стасову: «Вчера был у меня П. М. Третьяков и показывал Ваше письмо о гартманской модели театра. Третьяков отказывается пожертвовать на нее 500 рублей, так как девать ему ее некуда; ее надобно подарить в Политехнический музей; действительно, там ей настоящее место. Он даже подал хороший совет: обратиться к Савве Иван. Мамонтову (ведь Гартман с ним дружил). Он по-настоящему должен был бы купить эту вещь и, пожалуй, подарить музею. Напишите С. И. Мамонтову; вот его адрес: Москва, против Спасских казарм на Садовой, собст. дом. Со своей

стороны я тоже Мамонтову скажу, но Ваше письмо лучше на него подействует».

В середине декабря дело решилось.

«Мамонтов купит модель Гартмана, — сообщал Репин ходатаю Стасову, — он говорит только, что ее перевозить большой труд, надобно разбирать». В этом же письме Илья Ефимович обращается к Стасову с просьбами о присылке материалов для первой своей исторической картины. «Вы хотели мне прислать ту удивительную фотографию Петра (Сербскую). Ох, это было бы хорошо! Лица Софьи я все еще не оканчиваю и думаю, что глаза Петра мне кое-что дадут... Если Вы справляетесь о цвете волос Софьи, то кстати справьтесь о ее росте; она у меня небольшого роста... Увы, кажется, и о цвете волос и о росте ее ничего никем не записано».

Письмо написано 11 декабря 1878 года. Репин торопился закончить картину к VII Передвижной выставке.

Когда маета сомнения поселялась в душе, Илья Ефимович шел искать подсказку. Коли в Петербурге — у Стасова, коли в Москве — у Мамонтовых, точно так же он припадал в Париже — к плечу Поленова, а в Академии — к мудрости Антокольского или теребил вопросами всезнающего Семирадского.

Двери дома Мамонтовых, кажется, никогда и на запоре не были, друзья приходили без приглашения.

Радостно сияющий самовар, стол, как поле для крикета, ласковая Елизавета Григорьевна, кипящий жизнью Савва Иванович.

— Присмотрели бы вы за Мстиславом Праховым, — сказал Савва Иванович Репину, у него всегда находилось какое-то неожиданное дело. — Спрятался в себя, как улитка. В гостиницу жить перебрался... У нас, действительно, шумно. Но ведь семья... А мы еще затеваем на Рождество живые картины.

— Я к Прахову Васнецова направлю, — осенило Илью Ефимовича. — Во-первых, он тоже блаженный, во-вторых, собирается писать картину на сюжет «Слово о полку Игореве».

— Верно! Мстислав Викторович по «Слову», кажется, диссертацию защитил.

— Ну а где же он, ваш Васнецов? — спросила Елизавета Григорьевна. — Почему не показывается?

— Летом в Вятке был. Трудно ему теперь. Деревяшками на жизнь зарабатывает.

— Какими деревяшками?

— Режет гравюры для «Нивы»... Труда много — денег мало. На Передвижной выставке картин его не купили. А еще брату помогает. Тоже художник.

— Позовите его, пожалуйста, — попросила Елизавета Григорьевна.

— Не зовите, а тащите! — потребовал Савва Иванович.

— А знаете, я чего прибежал? — Репин поскреб в затылке. — Даю рубль, кто скажет мне, какие волосы были у царевны Софьи.

— Рыжие! — Савва Иванович протянул руку за рублем.

— Откуда это известно?!

— Да я всегда знал... Не огненная, не из тех, о которых говорят: рыжий — бесстыжий. По-русски рыжая — русая с золотом. В батюшку Алексея Михайловича, в матушку Марию Ильиничну.

— Стасов тоже пишет: рыжая. Но без... — Репин запнулся перед заковыристым ученым словцом, — аргументации. Я скопировал портрет Софьи в Новодевичьем монастыре — на портрете у царевны волосы, как медь, да можно ли верить неизвестному художнику. У него все рыжие.

— Рубль! — потребовал Савва Иванович.

Репин рубль заплатил.

— Я по истории имел нетвердую троечку. В последнем классе гимназии на испытаниях получил «два», — признался Савва Иванович. — Но ведь за даты, за то, что путал ольговичей и рюриковичей. Душа моя не была глухой к дедовским временам. Я, как положено, любил Петра, но царевне Софье сочувствовал.

— Стоит она у меня, как столп, самовластная... Ух как стоит! Самого оторопь берет, — сказал Репин. — А закончить — не могу. Лица нет. Портниху одну высмотрел. Осанка замечательная. Разлет бровей, воля, гордыня, а глаза не те... Савва Иванович, ты помнишь, обещал найти мне Софью.

— Наверное, хотел указать на Валентину Семеновну, на Серову. Непокоримо упряма.

— А что?! — прищурился Репин. — У них есть общее, и у Бларамберг, и у портнихи моей, и у Валентины Семеновны. Она писала мне: Тоша учится в гимназии из рук вон плохо. Ждет не дождется, когда будет шестнадцать, чтобы поступить в Академию.

Савва Иванович с неукротимой энергией продолжал сколачивать и

населять Ноев ковчег русской живописи. Ждал Васнецова.

Виктор Михайлович Васнецов шел к миллионеру Мамонтову, будто на ноги ему по ядру привязали. Богачи — это богачи. С богачами хорошо дружить, когда сам богат или уж знаменит, по крайней мере... Новая картина «Преферанс», самая совершенная из всего написанного, не прибавила уверенности. Картина отправилась в Петербург, а поехать поглядеть на выставку, самому поставить картину — не на что.

Пальто принял лакей. Лестница на второй этаж широкая, светлая. Сердце невольно сжималось, как в детстве, перед дверью, за которой родители убирали игрушками рождественскую елку.

Навстречу ему высыпали дети, поглядели, перешушукнулись, умчались... Он увидел Репина и женщину. Невысокую, лицом строгую, но она тотчас улыбнулась ему, подала руку. Руку он поцеловал, женщина что-то сказала о его картинах, но он не услышал, что именно. Начал какую-то фразу и замолчал. И в это время в комнату вошел решительный, крепкий, быстрый человек. Рукопожатие у него было твердое, но дружеское.

— «С квартиры на квартиру» люблю, — сказал он и принялся объяснять: картина совершенно особенная, она тихая, но вызывающая, она — приговор чиновничьей России. — Этот дом — ваш друг, — сказал Савва Иванович, вводя в небольшую залу, — все друзья этого дома — ваши друзья. Господа! Вы искали Мефистофеля — вот вам Мефистофель.

Виктор Михайлович не успел духа перевести, как оказался партнером Владимира Сергеевича Алексева — Фауста, а Маргаритою была сама Елизавета Григорьевна. Она объяснила вконец растерявшемуся новобранцу:

— Мы взялись представить картину «Видение Маргариты Фаусту».

Улыбаясь, подошел Василий Дмитриевич Поленов.

— Дерзай! Здесь все дерзают. Я устраиваю сразу три живые картины: «Демона и Тамару», «Русалку», «Апофеоз искусств». Последняя — повторение парижской затеи. Адриан Прахов вчера явился. Предложил пантомиму «Юдифь и Олоферн». Вот он наш Олоферн.

Высокий, розовощекий юноша комически вскинул черные бархатные брови.

— Да-с, я Олоферн. И коварная еврейка Юдифь отрубит мне голову, — поклонился. — За пределами сцены — Константин Сергеевич Алексеев.

Виктор Михайлович улыбнулся:

— Какие вы все чернобровые! Поленов, ты под себя, что ли, подбираешь трупку? Под свои брови? Так уволь меня, я — безнадежно белес.

— Ты — тощей самого Кощея и благообразен, как ДонКихот. Твой Мефистофель будет отменный соблазнитель.

— На Рождество изображать Мефистофеля?

— Не на Рождество, а 31 декабря, под Новый год. Под Новый год пошалить разрешается.

— На сцену, Васнецов! На сцену! — раздался повелительный голос Мамонтова.

Веселая толпа тотчас окружила и увлекла Виктора Михайловича.

31 декабря в новогоднюю ночь в доме Мамонтова гремел, сверкал карнавал искусств. В программе увертюра бетховенского «Эгмонта» и живые картины. «Демона и Тамару» ставил Василий Дмитриевич Поленов. «Жницы» — Адриан Викторович Прахов, он же — «Юдифь и Олоферн». Олоферна изображал Константин Сергеевич Алексеев, ныне известный как Станиславский. Поленов представил изумительную «Русалку» по Пушкину и «Апофеоз искусств», картину, имевшую успех еще в Париже, в Салоне Боголюбова. «Гения» изображала Маша Мамонтова, «Музыку» — Таубер, «Поэзию» — Шатова, Лена Сапожникова — «Живопись», Башишева — «Скульптуру», Арцыбашев — «Микеланджело», Ира Якунчикова — «Архитектуру», Володя Якунчиков — «Гомера», «Рафаэля» — Репин, Юркенич — «Шекспира», Киричко — «Бетховена». Адриану Прахову была поручена заглавная роль «Зевса».

Олимп выстроили из столов, взгроможденных друг на друга. Актеры заняли места, а Зевс исчез. Начались хихиканья на сцене, скрытой занавесом, негодование нетерпеливых зрителей. Савва Иванович кинулся искать пропавшего владыку Олимпа. Нашел, закутал пледом и провел на сцену через публику, но еще надо было забраться наверх. Адриан Викторович, пыхтя, карабкался со стола на стол. Савва Иванович подпирал его, подталкивал, и вот Зевс ввалился в свой трон. Последнее усилие, чтобы принять позу, и белый балахон, то ли зацепившись за первый этаж, то ли Савва Иванович на него наступил, — пополз-пополз и упал. Зевс остался в курчавом парике и в костюме Адама. Боги покатались со смеху, да так, что затрясло Олимп, богини сконфузились, прятали глазки под ресницами, а Савва Иванович, словно не заметив происшествия, крикнул:

— Давайте занавес! Занавес!

— Савва! — возопил Прахов, срывая парик и прикрываясь им.

Тут уж грянул гомерический хохот, хохот перекинулся в залу, зрители, хотя и не знали, что делается за сценой, поддержали: смех заразителен. Когда занавес наконец поднялся, все увидели серьезных, величавых,

несколько надувшихся гениев Олимпа и человечества.

Мгновение, и Савва Иванович закатился своим кашляющим, бронхитным смешком, надувшиеся боги фыркнули и попадали друг на друга. Смеялись до слез, на сцене и в публике. Один Адриан Прахов сидел покойно на своем троне, однако ж свободной рукою проверял, на месте ли его прекрасная мантия.

Представление картины «Видение Маргариты Фаусту» почему-то не состоялось. Но Васнецов уже был вовлечен в радостную круговерть мамонтовского дома.

У Саввы Ивановича для нового рекрута была приготовлена приятная задача.

Сложась капиталом с Елизаветой Григорьевной, он решил издать серию альбомов «Рисунки русских художников».

— Ваши большие и малые полотна, господа, оседают у коллекционеров. Они доступны ограниченному кругу людей. Но у вас есть рисунки. Рисунок — это самое демократическое произведение. Печать делает доступным ваше искусство для всей России, даже на Камчатке. А потому с вас всех по три рисунка! — потребовал Савва Иванович. — Поеду в Петербург на открытие Передвижной, закажу рисунки Куинджи, Ярошенко, Шишкину, а Крамской уже прислал свой рисунок. Только что почта принесла от него пакет.

Открыли и — притихли.

На рисунке — дети у окна, кормилица с младенцем, плачущая вдова. За окном солдаты, вернувшиеся с войны.

— «Встреча войск», — прочитал Репин название рисунка. — Это он о себе.

Все знали — у Крамского умер ребенок.

— В прошлом году я тоже горел написать встречу войск у Триумфальных ворот, — вздохнул Репин. — Бронзовые лица солдат. Толпа уже смешалась. Радостные женщины. Букеты цветов на штыках. Из окон летят цветы. Настоящий цветочный дождь. Костюмы самые разные. Праздник всего народа! Всех слоев... Перегорел.

Виктор Михайлович получил не только заказ, но и аванс. Обещал дать в альбом: «Подружек», «Богатыря» и рисунок со своей академической картины «Иконописная мастерская».

Пришел домой, а у жены, у голубушки Александры Владимировны, глаза на мокром месте.

— От Мамонтовых слуга их приезжал.

— Да я ведь от них, от Мамонтовых.

— Мстислав Викторович...

— Что Мстислав Викторович? Его не было.

— Мстислав Викторович у себя в гостинице... удавился. В уши кинулась такая тишина, что Виктор Михайлович потряс головой. Он видел, как шевелятся губы жены, но не слышал слов.

— Зачем? — то ли сказал, то ли хотел сказать — себя тоже не услышал.

Прошел в мастерскую, к «Побоищу». Мстислав Викторович уж такие картины горячим словом своим рисовал. Приказывал любить князя Игоря.

Этот князь славы не искал. После половецкого плена до самой кончины ни разу ни в одну междуусобицу не встрял. Берег свой народ. А вот о Святославе Мстислав Викторович говорил с грустью. Этот был себе на уме, иначе и нельзя: великий князь. Переяславского князя Владимира уличал в алчности: Владимир требовал во всяком походе, чтобы его полк ставили в авангард. Авангарду доставались сливки добычи.

Васнецов дотронулся ладонью до своей картины. Вот оно — деяние князей. Поле мертвых. Не эти, оставшиеся в поле, привезут домой серебро и золото, ткани и кафтаны... Эти сами станут добычей. Воронья.

Пришла Александра Владимировна.

— Обидно, — сказал Виктор Михайлович. — Прахов был всем нужен. И мне, и Поленову, и Репину. И особенно студентам. Да в том и несчастье! Не сам он был нужен, а его светлая голова, его знания. Мы его слушали, мы восторгались его мыслям, а когда он отходил от кафедры, то в тот же самый миг оставался — один. Неприкаянный, почти блаженный. Мы его жалели, и спешили к себе, к своим теплым очагам. Как же ему одиноко было!

На похороны приезжал брат, Адриан Викторович. Был бледен, тих, но утешавших сам спешил подбодрить. И только оставшись с Саввой Ивановичем с глазу на глаз, плакал, как ребенок.

— Мстислав! Мстислав!.. Столько дано было человеку, столько знал, знал основательно, глубинно, и ничего-то по себе не оставил. Не исполнил долга, завещанного Богом. Никак не отдал за полученный талант. Жил, как гений. Неприкаянно, никому не нужный, даже брату! — Бросился перед Саввой Ивановичем на колени: — Неужто фамилия всему виной? Прахов! Клянусь! Я переломлю провидение. Трудом, потом... Если будет надо, даже полуслепоту мою одолею, но совершу достойное памяти... Праховых Россия не забудет.

Отгоревав, в Петербург не торопился, ходил по мастерским друзей.

Был у Поленова и Левицкого. У Кузнецова. У Репина.

Илья Ефимович в новогодние дни не показал Адриану Софью, а теперь тот увидел ее незакрытой. Расцеловал Репина.

— Не ожидал! — признался. — Всего-то одна фигура, не считая того, за окном, да статичной послушницы, — но картина-то многообразная! Петра видишь, Алексея Михайловича. Прошое и будущее. И сам этот ужасный миг, переживаемый царевной. Что же лица не пишешь?

— Не хочу поспешить. Ищу.

Адриан Викторович из Москвы, а в Москву примчалась Валентина Семеновна Серова. В Харькове, где ее муж, врач Немчинов, был назначен эпидемическим врачом, разразилась эпидемия дифтерита.

Страх за детей погнал из дома в благополучные края. На радость старшему сыну. Тоша трех минут на новом месте не усидел, помчался к Репину.

— На ловца и зверь бежит! — обрадовался Илья Ефимович. — Поехали за твоей матушкой, я хочу ее нарисовать.

— Она сама скоро явится, — махнул рукой Тоша, рассматривая царевну Софью. — Все уже готово! Только лицо написать.

— Лицо! Лицо! Хоть бы приснилось.

— Книга хорошо написана, чернильница.

— А монашенку приметил? Ишь как я ее посадил, глазастую.

— Стул какой бархатный!

— Это рытый бархат, древний. Благороднейший цвет.

— Илья Ефимович, а ведь Софья — упадет. Ноги впереди тела.

— Не придирайся! Башмаки должны быть видны. Без ног — зависнет. Написать одну ногу — тоже нехорошо. Будет лицо — о ногах никто не вспомнит... Послушай, а ведь я тебе заказец могу устроить! Рублей на пятьдесят.

— Ого! Я хоть теперь же готов!

— Дмитрий Васильевич Стасов просил сделать для него копию с картины Шварца. Картина у Третьякова. «Патриарх Никон в Новом Иерусалиме». Я договорюсь с Павлом Михайловичем. Думаю, на время отпустит картину в нашу мастерскую. По рукам?

— По рукам!

Тоша басил, над губой пушок. Коренастый, не улыбочивый.

— Совсем ты взрослый.

— Он не взрослый! — сказала Валентина Семеновна, заходя в мастерскую. — Илья Ефимович! Драгоценнейший голубок! С головой его выдам. Сто раз в гимназию вызывали. Черная книга сплошь заполнена

одной фамилией — Серов. Являюсь последний раз. Что стряслось? — Клопа из чернильницы вытягивал. — Но почему в гимназии клопы? — Это не мое дело, — отвечает директор. — Это дело сторожа. Мое дело следить за соблюдением порядка. Мы требуем, чтобы книги и тетради сохранялись в чистоте. Полюбуйтесь на обертки вашего сына. Где это он видел? А еще говорите, что за границей воспитывался! — В галереях, отвечаю, видел, в заграничных, у знаменитого Теньера. Разве плохи рисунки? Это же ангелочки Теньера. — Валентина Семеновна рассмеялась, но не весело. Села в кресло. — Илья Ефимович, у нас с Тошей серьезный договор. Он обязан учиться в гимназии, куда не войдет в возраст, когда можно будет поступать в Академию Художеств. Прошу вас, потребуйте от него обязательного посещения гимназии.

— Неученье — тьма! — согласился Илья Ефимович. — Я все сделаю, как вы велите. Но Бога ради извольте снять вашу шубу, шаль, я напишу вас.

— Я не умею сидеть молча.

— А вы не молчите! Вы рассказываете, а я отвечать вам буду. — Репин приколол к мольберту бумагу и уже рисовал, вглядываясь в лицо Валентины Семеновны. — Мы очень хорошо побеседуем... Как ваши музыкальные успехи?

— Мучаю «Уриеля Акосту», — глянула на сына. — Не училась вовремя — и горько теперь каюсь. Серов, муж мой, с толку сбил. Он не кончал консерватории, потому что ее попросту не было... А ведь Антон Григорьевич Рубинштейн упрашивал меня — поучиться.

— Все, — сказал Репин. — Готово.

— Так мгновенно?!

— Готово! Теперь я напишу Софью. Наконец нашел то, что долго искал. Сила, характер — все присутствует!

— Фигура могучая! — сказала Валентина Семеновна. — Впрочем, о фигуре ли тут говорить? Бабища!.. Стасову такая должна понравиться.

Однако бабищу Софью не восприняли, а Владимир Васильевич Стасов гневно заступился за царевну. «Для выражения Софьи, — писал он в „Новом времени“, — этой самой талантливой, огненной и страстной женщины древней Руси, для выражения страшной драмы, над нею свершившейся, у г. Репина не было нужных элементов в натуре. Он, наверное, никогда не видел собственными глазами того душевного взрыва, который произойдет у могучей, необузданной природы человеческой, когда вдруг все лопнуло, все обрушилось, и впереди только зияющая пропасть. А художник-реалист, сам не выдавший, тотчас же теряет способность создавать...»

Репинскую царевну не приняли многие. Один Крамской хвалил без оговорок: «Софья производит впечатление запертой в железную клетку тигрицы, что совершенно отвечает истории... Вы хорошо утерли нос всяким паршивцам».

И все же — щелчок Стасова был для Репина, как удар хлыста по рукам. Отворотил все свои холсты к стене и уехал отходить душою в Чугуев. Семейство же его в начале мая перебралось в Абрамцево, в Яшкин дом.

В 1879 году Мамонтовы прилетели в свое любимое гнездо 23 марта. Весна собиралась быть дружной. Солнце припекало, снега пылали нестерпимым светом. В деревне старики высыпали на завалинки, как воробушки. Избяное дерево теплое, спине опора, по лицу солнышко лучами гуляет, молодит.

Перед Пасхой привезли с Донецкой железной дороги двух девочек, сестер. Их мать раздавил паровоз. Старшей, Дуне, было тринадцать лет, Акулине — десять. Елизавета Григорьевна много занималась девочками, но заболела. Выступил на шее огромный, мучительно-болезненный нарыв. Врачи нарыв вскрыли, но облегчение было коротким. Нарыв принялся снова расти. Пришлось претерпеть еще одну операцию. Вся Светлая неделя прошла для Елизаветы Григорьевны в страданиях и страхах... На Пасху приезжали Поленов с Левицким. Савва Иванович пригласил их на лето, но пожить согласился один Левицкий. После молебна и разговления смотрели рисунки, собранные для первого альбома. У Поленова шли «Переправа», «Охотники», «Болгарская семья», у Репина — «Во время обедни на цвинтари», то есть на погосте, «Тайный доклад у боярина», «В театре». Крамской, кроме «Встречи войск», дал «Этюд головки», «Вечер на даче», Шишкин — «Сосновую рощу», «Ручей», «Этюд». Васнецов тоже исполнил заказ, представил все три рисунка. Куинджи, Владимир Маковский, Ярошенко — по одному, соответственно «Лес», «Дети», «Старый служивый».

Печатать альбом «Рисунков русских художников» Савва Иванович собирался в Москве. Сохранился счет заказа «От фотографов его Императорского Величества Шерер Набгольц и К^о Господину Савве Ивановичу Мамонтову.

За тысячу альбомов по 20 фотолитографических рисунков в каждом,

всего 20 000 листов, с картоном, печатанием и наклейкою рисунков, за каждую тысячу по 275 руб. По сему счету получено в ноябре 1879 года 1500. Следует нам дополучить 4000».

— Первый наш вклад, Лиза, в дело русского искусства, — сказал Савва Иванович. — Добротный альбом. Я бы такой купил.

— Альбом интересный, — согласился Поленов. — Надо бы вот так же печатать раскрашенные фотографии с картин. Издавать альбомы выставок.

Заговорили о последней Передвижной, седьмой.

— Самоуверенное у вас Правление, — сказал Савва Иванович, — ни одного объявления в Петербурге нет. Я из гостиницы сел на извозчика, приказываю, чтоб вез в Академию наук, на выставку, а кучер с Никольского моста повез к Академии Художеств. «Здесь выставка, здесь, будьте покойны!» А в Академии Художеств, действительно, выставка, только не передвижная — академическая. Осмотрел академиков и уж потом только добрался до вашей.

— Ну и кому пальма первенства? — спросил Поленов.

— Вестимо вам.

— А среди наших?

— Твой «Бабушкин сад» очень хорош.

— Я спрашиваю о значительных картинах.

— У картин Куинджи толпа. «Березовая роща» — уже легенда. «После дождя», «Север» — тоже волшебство. Не знаешь даже, что и ждать от такого мастера. «Преферанс» Васнецова — картина крепкая, милая, а может, и жестокая. Всю жизнь провели эти трогательные старички за картишками. Просадили жизнь. Рассвет за окошком — не для них. Они и не увидят восходящего солнца. Оно им помеха. Им сама жизнь — помеха. В доме и на службе отбывают часы. Наслаждение за зеленым сукном. Нет хода — ходи с бубен... Эпохи картина не делает, но Третьяков, не покупая Васнецова, совершает грех. Крамской выставил три женских портрета.

— Он готовил «Лунную ночь», но дописать не успел, — сказал Поленов.

— Зато успел со своими русалками Константин Маковский.

— Ну а Репин?

— «Софья» — произведение неистовых сил. Жаль, конечно, что Илья дал отталкивающий образ. Но его Софья — воистину сестра Петру.

— На красивом лице — гнев выглядит отвратительно, — сказал Левицкий. — Репин поступил мудро. Он же хитрец.

— Он не писал лица, сколько мог. За неделю до отправки картины вместо лица была серая болванка, — возразил Поленов. — Какая тут может

быть хитрость? Хитрят те, кто пишет нравящиеся портреты. Илья — искал! По мне — так и не нашел. Я — противник подобной царевны Софьи, но нельзя однако ж и того не признать, что лик — по ее телесам.

— Выставка, должен я сказать, получилась изумительная, — Савва Иванович посерьезнел. — И твой «Бабушкин сад», Базилио, — это, извини, именно значительная картина. Она как букет цветов из своего сада. Но, послушай, ты стал скрытным. Я ничего не знаю ни о твоих новых картинах, ни о твоих задумках.

— Пишу обычный заросший пруд.

— Все твое обычное — бальзам душе... А как Васнецов?

— Повеселел. Творит необычайное, былинное. Очень интересно по цвету, по самой манере. Москва его возродила.

Мамонтов улыбнулся, и было видно, что он очень доволен. Деньги — не живая вода, но верное средство для отращивания у художников крыльев.

Еще зимой, вернувшись из Петербурга, Савва Иванович заказал Васнецову три большие картины для кабинета Правления Донецкой железной дороги. Заказывая, был верен себе — полное право выбора сюжета оставалось за художником. Разумеется, тема дороги, богатства недр, тема степи должны присутствовать, хотя бы мифологически, но простор фантазии только этим и ограничивался. Крупный аванс избавил Виктора Михайловича от нищеты и от «деревяшек». Он задумал «Трех царевен подземного царства» — любимую свою сказку, «Ковер-самолет», «Битву русских со скифами».

Но все это только затеивалось, время и силы отдавал «Побоищу». Начал было менять колорит картины, развез грязь, испугался. Пришло на ум превратить грязь в птиц. Ошибки тоже идут на пользу, коли вовремя спохватишься.

...Поговорили о Васнецове, о том, что каждый художник до конца дней своих — загадка. Может в любой день и час преобразиться, воссиять, обрести изумительные высоты, может рухнуть со своей горы, совершенно иссякнуть.

— Христос воскрес! Христос воскрес, господа! Господь с нами, и на лице Его улыбка! — загорелся какой-то идеей Савва Иванович. — Нет, не пугайтесь! Никуда вас не потащу, ни в какие игрища вовлекать не собираюсь. Давайте возмечтаем. Не помечтаем, а именно — возмечтаем! Откроем друг другу свою потаенную вершину, которая далеко, но которую мы все-таки различаем в тумане будущего.

Левицкий поднял руку:

— Я — первый скажу. Моя мечта не хватает очень высоко. Я бы желал

всей душой исполнить то, что мне даровано. О великой славе я никогда не мечтал и не желаю даже такой славы. Однако ж пусть то, что есть «я», то, что во мне, — станет для всех и, сколько возможно, украсит жизнь.

Поленов глаз не поднял:

— Я в Палестину хочу. Если мне будет дано исполнить картины из жизни Христа, если я верну из небытия свет, который освещал лицо Христа, землю, по которой он ходил, и тех людей, которые слушали Его, любили Его и Его ненавидели, — я посчитал бы жизнь мою исполненной.

Савва Иванович платочком промокнул будто бы вспотевшую лысину.

— Господи, я самый из вас нескромный! Но, как говорится, взялся за гуж... Скажу без утайки. Я желал бы провести такие железные дороги, чтоб Россия поминала меня в худую годину.

— Почему же в худую?! — удивилась Елизавета Григорьевна.

— В сытые покойные дни задумываться недосуг. Людишки играют в картишки, гитары звенят... Я знаю, какой благодарности хочу. Построив дороги, господа, хотел бы я расстаться навек с подрядами, с концессиями, с угождением чиновникам, с бестолковыми законами, с нерадивыми инженерами, с неумелыми рабочими. Со всею глупостью и подлостью. Хотел бы я быть равным среди вашей братии.

— И с тем же недостатком? — спросил Левицкий.

— Вот о недостатке подумать надо! — засмеялся Савва Иванович. — Мне ведь не столько самому хотелось бы творить, но вытягивать к Божьему свету таких, как Васнецов. Тут без средств не обойтись. Ну а ты, Елизавета Григорьевна, какую мечту представишь Господу Богу?

— Я ничего не желаю. Грех желать большего. Хранил бы Господь и Царица Небесная детей и мужа. Дети пусть вырастут добрыми, работающими людьми, а муж пусть не разлюбит.

— Вот это я понимаю! — воскликнул Савва Иванович. — Просто, да мудрее не бывает... Господа! Обещал я вас никуда не тащить, но не пойти ли нам на Ворю, послушать, как она подо льдом ворочается, пробудившись? Половодье будет, как потоп.

Савва Иванович как в воду глядел. 7 апреля, вернувшись поездом из Москвы, он застал вскрывшуюся Ворю в таком неистовстве, какого старики не видывали.

Чтобы попасть домой, пришлось переходить железнодорожный мост.

Дома мальчишки строили корабли.

— Папа, мы придумали чудесно как хорошо! — подбежал к отцу Вока. — Мы открыли нашу копилку и сделали на кораблях паруса из рублий.

— Корабли поплывут по Воге, их увидят бедные дети, и у них будет счастливый день, — объяснил Сережа затею и вдруг закричал на Воку: — Ты опять притащил этот замызганный, этот грязный рубль!

Сорвал с мачты крепко потрепанную ассигнацию и выбросил в открытую форточку.

Савва Иванович позже не мог объяснить, почему Сережин поступок свел его с ума. Себя не помня, он схватил Сережу за шиворот, как кутенка, потряхнул, поднял и отшвырнул.

— Ступай и принеси!

— Я оденусь, папа.

— Немедля! Хоть будь ты бос! Немедля!

Сережа ползком шарахнулся прочь от отца, кинулся из дому. За ним с шубкой — гувернер с шапкой, еще кто-то из прислуги... Через пять минут мальчик вернулся в комнату, протягивая отцу рубль.

— Положи на стол! — приказал Савва Иванович. — Вока и Дрюша, садитесь. Остальные свободны. Свободны!

Бережно разгладил на ладони грязный, мокрый рубль.

— Никогда, никогда не бросайте денег на ветер. Улетит один рублишка, уведет за собой весь миллион. Ваш дед считал шкалики! Со шкалика шла в его пользу ничтожная копеечка. Копеечки складывались в рубли. Рубли в капитал. — Савва Иванович трепетал от нервного возбуждения, дети чувствовали это, жались друг к другу. — Промотать можно любое богатство. Но можно и скопить эти вот ничтожные грязные рублики. И не для того, чтоб всякая погань, заискивая, шапку перед тобой ломала. Чтобы дороги строить, великие города, чтоб творцы могли творить, отваживая человека от его зверской, от обезьяньей природы. Русские-то наверняка от медведей произошли.

Савва Иванович вдруг поцеловал рубль.

— Не имени твоему кланяюсь, но могуществу твоему... Мамонтовы, Лахтины, Сапожниковы да и многие из родни нашей, те же Якунчиковы — из откупщиков. Шкалики считали! Это теперь я, отец ваш, вслед за дедушкой вашим, дороги строю. Мамонтовы прирожденные откупщики, собиратели грязных рубликов. Сапожниковы капиталы имеют со своих шелкоткацких фабрик... Но это теперь! Прадедушка ваш, из Сапожниковых, был раскольник и откупщик. Сначала на винной торговле деньжонки скапливал, потом развернулся на Волге. Скупил осетровый промысел да и весь морской, всю добычу каспийских тюленей.

Встал, каждого из мальчиков погладил по голове.

— Вы можете пустить свои корабли. Но прежде подумайте. Если вы

свои рублики пускаете... по ветру, воротятся ли? Не лучше ли иначе делать доброе, не разбрасывая собранного, а созидая и принося людям пользу.

Савва Иванович вполне пришел в себя, но страшно ему стало за будущее.

12

В конце мая из Чугуева приехал Репин, и уже на другое утро в Абрамцево явился Тоша Серов.

— Какой ты Тоша! — шумел Савва Иванович. — А ну-ка, поворотись, сынку! Тоша! Ты — Антонище. Антон!

Подросток благодарно улыбался: в четырнадцать лет неприятно числиться в детях. Антон даже начал избегать Сережиной ватаги, прирос к Илье Ефимовичу, как тень. У Репина в руках альбомчик и карандаш, и у Антона точно такой же карандаш и точно такой же альбомчик. Репин пишет этюд, и Антон пишет этюд. Мальчик знал, чего хотел. Вот отрывок из апрелевского письма двоюродной сестре Маше Симонович: «Рисую довольно много и с охотой, и если теперь поеду с художником Репиным в деревню, то за лето сделаю огромные успехи».

Зимой Илья Ефимович натаскивал своего ученика в натюрморте. Ставил поливанный кувшин, белый калач, краюху черного хлеба и, наставляя, требовал:

— Пиши так, чтоб калач у тебя был калачом. На калаче, разумеется, рефлексы всех соседних предметов, но пусть он и свою материю сохраняет. Коричневый гладкий блеск кувшина никак не должен сбиваться на коричневый тон пористого мягкого хлеба.

Теперь, в Абрамцево, рисовали все подряд: мужиков и баб из окрестных деревень, чистую публику Абрамцева, природу. Репин написал портрет Сони Мамонтовой, в монистах, на веранде, среди цветов, — красками, Антон — в карандаше.

Лето не радовало, дожди, холодные ветры, но дачный народ прибывал. Адриан Викторович Прахов с Эмилией Львовной поселились в Монрепо. Виктор Михайлович Васнецов снял дом в Ахтырке. Приехал в Абрамцево литератор Вентцель, молодой человек со взглядами нигилиста. Увлечлись верховыми прогулками. Эти прогулки увековечены рисунками Серова и Репина. В рисунке Серова, небрежном, стремление пера дать движения лошади, подметить характерное в посадке, рассмешить. В мастерском рисунке Репина — целая картина, с цитатами из великих. Впереди Адриан

Прахов, с пером в шляпе, дон Кихотик. Посредине на могучем коне, приседающем на задние ноги от тяжести седока, — Савва Мамонтов в шапочке жокея, в сверкающих сапогах. На хорошей лошадке, скачущей галопом, Сережа, за ним, с развевающимися бакенбардами — гувернер Тань-он, потом Вентцель, а далее спускающиеся с горы три брички. В первой Раф Левицкий с детьми, во второй Елизавета Григорьевна и, видимо, Вера Алексеевна. Антон почему-то не туширован, а только прорисован. Он в глубине, между Саввой Ивановичем и Сережей. Весьма мрачный субъект.

Рисовали одно и то же, соревнуясь. Серов — Надю Репину, умненькую, с книгой. Репин — портреты-этюды с Вентцеля. Вентцеля можно узнать в неоконченной картине «Экзамен в сельской школе». Экзаменуют священник и приезжий инспектор. Учитель-Вентцель не без гордости смотрит на ученика, ответы которого озадачили экзаменаторов. Картина осталась в эскизе. Не пошла. Образ народника через школьника-крестьянина вызывал сочувствие, симпатию. Но такая картина не могла взбудоражить общество, а Репин желал громкой славы. Он заканчивал «Проводы новобранца» и видел, что картина становилась обычным жанром. Война миновала и забывалась. А писать пригорюнившихся крестьян — отбивать хлеб у злобного Мясоедова.

Вентцель был хорош для совершенно особой темы. Выстрел Веры Засулич сидел, как гвоздь, в голове. Тема раздваивалась. Репин искал композицию и к «Аресту пропагандиста», и к «Отказу от исповеди». Что трагичнее? Противостояние обществу, даже народу, ради которого студент пришел в народ и теперь этим же народом прикручен веревками к столбу. Или завершение драмы — отказ от Бога.

Илья Ефимович чувствовал, что пока еще не готов — взяться и сделать, но запретный плод сладок, искушение необоримо, а руки требовали художественного труда. И Репин писал свою жену на мостике через овраг, в тенистом парке. Антон тоже писал мостик, тоже через овраг, но старый, сделанный наскоро, без человеческой фигуры. Репин писал «Ратника», мужика в кукле, в треухе, обшитом железными пластинами. Антон — автопортрет. Себе не польстил. Ни в чем. Но это уже не тот резвый Тоша, о котором Валентина Семеновна писала Елизавете Григорьевне полтора года назад: «Мой сорванец сделался просто гигантом. Большущий, толстый, загорелый, скачет козлом с самой беззаботной физиономией и в невозможно прекрасном расположении духа. Веселость его меня самую заражает. Говорит уже с некоторым диалектом еврейско-хохлацким... Если педагоги должны заботиться о телесном

благосостоянии, то Тоня достиг идеала вполне». Лицо у Антона без какого бы то ни было намека на интеллект или утонченность. Скорее всего это грубиян, вожак отпетой братии. И все-таки, если взглядеться, то увидишь насмешливую, скрытую, угрюмую улыбку.

На Троицу ждали удивительного даже и для Абрамцева гостя — олонецкого сказителя былин Василия Петровича Щеголёнка. Привезли утром, спросили, когда желает сказывать былины: после обеда или вечером.

— Да я хоть теперь!

Старичок был невелик ростом, в серебристо-белой льняной косоворотке, вышитой по вороту, груди, рукавам малиновым узором, подпоясан скрученной из шелка тонкой веревочкой с большими кистями. Поверх рубахи была летняя легкая поддевка, на ногах сапоги.

— Я хоть теперь! — повторил Василий Петрович, с любопытством посматривая на окруживших его господ.

Он давно привык к чистой публике, к вниманию, но природная стеснительность его не покинула, и он улыбался чуть виновато, извиняясь за причиненное беспокойство.

Хотели слушать сказителя на веранде, но Савва Иванович сообразил:

— На воздухе придется голос напрягать. Надо собраться в гостиной.

Василию Петровичу было уже семьдесят три года, может, и больше, он называл год своего рождения приблизительно, читать не умел.

Удивляла молодость загорелого лица. Морщины у глаз от солнца, кожа была молодая, в голове, в бороде ни единого седого волоса.

Начал сказитель с былины о Дюке. Пел негромко, со стариковской хрипотцой, но хрипотца даже украшала былину. Василий Петрович, одолев неловкость и волнение, развеселился, глазами сиял приветливо, но явно жалеючи нынешних людей, которые против прежнего народа были и мелки и суетливы.

— Солнышко Владимир-князь стольнѣ-Киевский, — пел Щеголёнок,

—

Ен похвастает-то ведь городом,

Городом похвастает да ведь Киевом.

Самсон да Самойлович похвастал своей силой богатырской,

Де Ставѣр да сын Гоудинович Он похвастал своей силой богатырскою,

Да старый казак Илья Муромец,

Илья Муромец сын Иванович,

Ен похвастал своей силой богатырскою
И Олешенька Попов сын
Он расхвастался своей золотой казной.
— Он крест-от кладет по-писаному,
И поклон-от ведет по-ученому,
И на две, на три, на четыре стороны поклоняется,
И грозному царю да ведь Ивану Васильевичу
Он-то делает поклон да ведь в особину.

Сказывал Василий Петрович былину о Юрике Новоселе, о Хотене Блудовиче, спел песню об Иване Грозном, подчеркивая чистотою и высотой голоса благородность и честность боярина Никиты Романовича.

— А не всякого ты, Василий Петрович, любишь, — заметил Савва Иванович.

— Как же всех любить?! На то и былина — добрую силу любить, а злую не запомнить.

Стали спрашивать сказителя о его прежней жизни, сколько былин знает, от кого петь научился.

— Дядя Тимофей пел, отцов брат. У дяди ноги не ходили, сидел он в избе, в углу, сапоги шил, сорок лет был сиднем. Старинки детворе сказывал. Я старинки с малолетства перенял.

Щеголёнок был знаменит. За ним записывали былины Гильфердинг, Рыбников, Миллер, Барсов, Гурьев.

— Из деревни Боярщина Кижской волости мы будем, — говорил Щеголёнок. — Лучше и краше нашей стороны во всем свете нет.

За обедом Василий Петрович держал себя свободно, ел по-крестьянски, прихватывая ладонью сорвавшиеся с губ крошки, и так было хорошо на него смотреть, что детвора долго потом кушала по-былинному, как Русь-матушка кушает.

Репин не смог быть праздным слушателем, зарисовал Щеголёнка. Портрет потом написал.

О Щеголёнке позже говорили, что с былинами он произвольничал, соединял одну с другой, как вздумается. Однако ж его почитали за первого сказителя, восхищались фантастической памятью. Щеголёнка слушал Лев Николаевич Толстой, и не только слушал, но и набирался от него природной русской мудрости. Рассказ «Чем люди живы» написан со слов Василия Петровича.

9 июня на святого Кирилла землю и воду сковало морозом. Виктор Михайлович Васнецов работал по утрам, просыпался рано.

Крестясь и плача — этакое несчастье для полей и садов — поспешил в Абрамцево, к Елизавете Григорьевне, словно она знала, как спасти землю и людей от неожиданной напасти.

Но Елизаветы Григорьевны не было. Уехала с дочерьми в Киев. Ребяшня с Поленовым возились у лодок — на Воре, радовались льду, хрустели лужами, кто громче.

На другой уже день зелень на деревьях почернела, черной стала трава в низинах, по берегам прудов.

Виктор Михайлович в эти дни, когда природа отходила от белого потрясения, писал «Затишье».

Тишина в природе — не безмолвье, затаенное дыхание, бьющееся радостно сердце.

Братец Аполлинарий тоже много писал. Если Серов упрямо повторял за учителем каждый его художественный шаг, то Аполлинарий, стремясь не попасть под влияние палитры брата, сбегал в Москву, писал Воробьевы горы.

Вечерами же Виктор и Аполлинарий шли в Абрамцево на городошное ристалище.

По воскресеньям сходились к обеду и, вкусив хлеба, тешили себя духовной пищей, литературными городками. Команда на команду. В одной Савва Иванович, Репин, Антон, Вентцель, Соня Мамонтова, Сережа, в другой Васнецовы, Таньон, Еще, Таня Мамонтова, Дрюша. За Адриана Викторovichа всегда спорили. Команда противников получала компенсацию: двух сильных игроков, Эмилию Львовну и Поленова.

Команды выставляли друг другу вопросы и выделяли ответчика.

На этот раз Прахов попал в команду Саввы Ивановича.

— Начинаем с Сережи. Твой вопрос?

Субботный день был проведен в подготовке, и Сережа предложил противникам поломать голову:

— «Змея Юпитера просила, чтоб голос дать ей соловья». Чьи стихи? Как называются?

Команда противников выставила для ответа и вопроса Дрюшу. Дрюша знал автора: Крылов, но басню назвать не смог. На его вопрос Сережа вовсе не ответил:

«Восходит чудное светило
В душе проснувшейся едва:
На мысли, дышавшие силой,
Как жемчуг нижутся слова...»

Стихи чудесные, а чьи?

Взрослые угощали друг друга еще более сложными задачками. Васнецов-старший зачитал отрывок из произведения, предлагая назвать автора: «Мой отец, граф Роман, младший брат канцлера, был молод, любил жизнь, вследствие чего мало занимался нами, своими детьми, и был очень рад, когда мой дядя, из дружбы к нему и из чувства благодарности к моей покойной матери, взялся за мое воспитание». Команда Саввы Ивановича ответила не менее заковыристым вопросом: «Не прошло пяти минут, как мимо окна пробежал человек средних лет, которого вся одежда заключалась в парике и в башмаках; у него, сверх того, были часы на золотой цепочке. Увидев меня, он мне дружески кивнул головою и сделал рукою успокоительный знак, как будто говоря: не беспокойтесь, любезный друг, я скоро возвращусь. Он исчез между деревьями; но через несколько времени явился с противоположной стороны, прикрывая этот раз наготу большим подсолнечником».

Ответы были правильными: Дашкова, Алексей Константинович Толстой.

Когда взрослые заигрываются, как дети, и когда дети напрягают ум, стараясь быть ровнею взрослым — и если эти взрослые люди творческие, — происходят чудеса. Васнецов уже сыскал камень в черной воде и увидел девочку — точь-в-точь Аленушка. Поленов после успехов в пейзаже, причисляя себя к пейзажистам, все задумывался о Сирии, где сохранился, как уверял Прахов, дворец Ирода.

Репин, хоть и не мог никак подняться до успеха «Бурлаков», чувствовал такое мастерство, когда уже ничего нет неподвластного, непостижимого.

В считанные дни написал еще один портрет Саввы Ивановича. Мамонтов в белой верхней рубашке, в толстовке, подпоясан широким ремнем, оперся локтем на диван, голову положил на правую руку, левая поставлена на бедро. Поза человека бодрого, знающего себе цену, всесильного удачника. Губы чувственные, в лице покойное самоуверенное довольство. Не скрыта и легкомысленность, склонность к озорной веселости. Молодец молодцом! Садко — богатый гость.

А дни бежали себе, уходило еще одно лето. Приезжал ненадолго Боголюбов. Был Крамской.

Ивану Николаевичу шел сорок третий год, но выглядел он усталым, словно всё, что мог, уже совершил, впереди доживание отпущенных Богом дней.

Одет, однако, тщательно, виски подбриты, в голове седины нет, а усы, борода — почти белые.

Вершины — «Христос в пустыне», «Портрет Льва Толстого», «Умиравший Некрасов». Роль наставника Ивану Николаевичу пришлось играть еще в Академии. Теперь же он как бы отходил от искусства, а впереди «Неизвестная», «Неутешное горе», множество портретов, которые станут богатством русской живописной школы. Он приехал по делу, написать портрет Прахова.

Савва Иванович понимал: Крамской не раскроется на людях. Провел с ним вечер с глазу на глаз. Беседа поначалу шла вполне практическая, о «Рисунках русских художников», о будущих выпусках альбома. Потом начались вопросы общие и частные, но все о художниках.

— Наши успехи, наше ничтожество, я имею в виду русскую школу, — сказал Иван Николаевич, — зависят от решения вопроса, на который у меня ответа нет. Вопрос очень простой, он на поверхности: во имя чего творит искусство? Что за идеал, к которому следует стремиться? И есть ли этот идеал у современного человека? А если все-таки есть, то свят ли он, как был свят Бог для Давида? Речь не о множестве устремлений, не о сословных мечтаниях, речь о времени. В царстве Алексея Михайловича стремились построить царство духовной благодати.

— И благодать сил треснула расколом!

— И произошел раскол. Петр в щепу разнес деревянную русскую избу, чтобы построить каменный голландский дом.

— Но Европы из России не вышло! Иван Николаевич! А у вас у самого есть ответ? Я понимаю: идеал был у князя Калиты: соединить земли. Идеал был у Ивана III — освободиться от татар. Но было ли подобное стремление у народа? Освободиться от ига — несомненно. Но Петровские затеи кого обрадовали? Масона Лефорта?

— А царь-плотник? Царь-солдат? О плохом царе сказок в народе не складывают.

— Еще как складывают! — не согласился Савва Иванович. — Для народа не только Стенька Разин или Кудеяр-разбойник, но любой нынешний душегуб — легенда. О самых отвратительных грабителях православная наша Русь рассказывает с почтительным восторгом.

— В народе, здесь вы правы, дикий анархизм мирно уживается с любовью к самодержавному царю-батюшке.

— О Николае Павловиче сказок не сказывают. Всей славы — Палкин.

— Бог с ними, с царями, Савва Иванович! Давайте поднимемся на высший этаж. Идеалом для христианского мира всегда были Богородица и Христос. Но окиньте взором живописный мир нашего столетия — ни одного сколько-нибудь замечательного изображения Богородицы в России и ни одного в Европе. Вспомните блистательный восемнадцатый век — то же самое. Мы восхищаемся мадоннами Рафаэля, Мурильо, Леонардо да Винчи. А Христос? Видят ли современные художники идеал в Христе? Вы скажете, атеизм заел, но Иисус Христос в сущности самый высокий, самый возвышенный атеист. Для него средоточие божества в самом духе человека. Каждый человек, победив собственную слабость, свои пороки, обретает духовное счастье. Христос сделал невозможным оправдание наших мерзостей смягчающими обстоятельствами.

— Подождите, Иван Николаевич! Достоевский! Он об этом самом рассуждает в «Карамазовых». Помните сцену, когда «валаамова ослица» заговорила — Смердяков. Кстати, Федор Михайлович в этой сцене поминает вашу картину «Созерцатель».

— Достоевского лучше не трогать, он заводит человека в самые темные дебри. Его герои — сплошные Раскольниковы. Князь Мышкин тоже ведь Раскольников. Нет, о философии Федора Михайловича говорить тяжело и не хочется. Вспомните портрет Перова. Я-то думаю, что это — лучший портрет всей русской школы. Но смотреть-то очень тяжело. Мучительно.

— Это и есть идеал нашего времени: нравственное самоистязание. Слезы по утерянному раю — по вере отцов. — Савва Иванович остановился, улыбнулся. — Я, кажется, тоже пустился в поиски идеала... Иван Николаевич, скажите лучше, кого из художников почитаете за идеал?

— Веласкеса. — Крамской встал, подошел к окну. — Какие дубы! Я вырос в степном краю, воронежской земли человек, а люблю дубы. Люблю Веласкеса. Звезду. Ведь это столь же далеко. Совершенная звезда. Веласкес писал не красками, не кистями. Знаете, когда зубы болят... Это ведь не кость болит, нервы. Картины Веласкеса написаны нервами. Если взглядеться, то в каждом его мазке можно обнаружить ниточки нервов... Его живопись за чертой возможного. У Веласкеса нельзя учиться. Веласкесом надо быть.

— А может, люди стали иные? Иные люди, иные краски, земля иная! За сотни лет мы вместе с солнцем по океанам Вселенной уплыли совсем в

иные миры...

— На земле эти перемещения отражаются в перемене идеала. Для художников Античности, для художников Возрождения идеалом была вечная красота. Наше время этой красотой пожертвовало ради любви к людям. Я говорю о русской школе. Европа давно уж про человека забыла. В Европе искусством зарабатывают.

— Зарабатывать искусством грех?

— Не зарабатывать грех на краски, на жизнь. Грех кистью ворочать миллионами. Фортуни, кричат, Фортуни! А Фортуни — это буржуа. И Бонна — буржуа. Ему Поляков за портрет дочери отвалил двести тысяч франков! Когда такие деньги пущены в ход, есть ли время думать о задачах искусства, о красоте?

— А импрессионисты?

— Импрессионисты — бунт. Они не вышли из стадии попыток перевернуть художественный мир. Французы ужасные ломаки. Но они вынуждены ломаться. Французская публика — о эти буржуа! — пресыщена зрелищами, она требует удивления. И ее удивляют.

— Но есть ли у этих импрессионистов шанс выжить?

— За ними будущее, вопрос, когда это будущее наступит... Вы знаете, чего я боюсь? Нашествия варваров.

— Откуда же они явятся, Иван Николаевич? Не пугайте бедного селянина!

— Не напугать хочу — предупредить. Обществу, и не только европейскому, грозит внутреннее варварство. Оно у нас внутри. Пробудившаяся к деятельности бацилла. Я не пророчествую. Вы, Савва Иванович, посмотрите вокруг себя: поголовное лицемерие, звериные страсти, жажда поскорее ухватить, урвать кусок послаще. Не заработать — всякий понимает, что это ужасно трудно и долго, а именно смошенничать. Урвать, обокрасть. А крадут не сметану и даже не шелка. Крадут лес, недра, воду, даже воздух. Все это прожирается, пропивается. Мы — голытьба, но подлинными нищими станут грядущие поколения. Попробуйте узнать, что стоит франк, рубль у правительства, попробуйте погасить государственные долги, пусть уплатят кредиты всяческие компании — тотчас все разлетится в пух и прах. Цивилизация окажется банкротом. А чтобы не быть банкротами, забираются в Африку, в Среднюю Азию, к диким племенам — обируют, убивают, развращают. Вот они откуда, ресурсы для правительства, для буржуазии. Может, еще на сотни лет хватит жуировать... Нет, не к гармонии мы идем, к хаосу. К пеплу, из которого новый мир возродить будет невозможно.

— Вы ужасный пессимист.

— Почему же? Я знаю моего врага, знаю, с кем должно бороться человечество.

— С буржуазией?

— С цивилизацией.

— Недавно Боголюбов был... Старик верит, что искусство преобразит человека. Картинную галерею собирает для родного города. Как вы относитесь к его искусству?

— У Алексея Петровича есть «Устье Невы», «Прибой волн» — весьма достойные произведения. В иных этюдах он просто талантлив.

В комнату вошла Елизавета Григорьевна.

— Надо бы лампу зажечь. Что-то темно на улице. Облачно. Впрочем, ужин почти уже готов.

Иван Николаевич виновато моргал.

— Я, наверное, заговорил вас, Савва Иванович.

— Да ведь когда и с кем так поговорить? Вам бы Академию отдать.

— С Товариществом хлопот полон рот. Что же до Академии, то перемены не за горами. Старое на упрямстве держится, вернее, на старцах... Старцы-то уйдут, а вот что новые учителя предложат... Я вижу, как погружается в рутину Товарищество. Давно ли я поднял бунт в Академии, а теперь и в Товариществе хоть бунтуй.

— В чем же дело, Иван Николаевич?

— В человеке. Старятся не только люди, дела их тоже старятся.

Вышли пройтись перед ужином. Над Воре́й плавал туман. Тюкали топоры.

— Приводим имение в порядок, — сказал Савва Иванович. — Сняли, наконец, план. Просеки прорубаем.

Прошли к пруду. Вода была темная, берега щетинились осокой.

— Совсем недавно выкопали этот пруд, осоку никто не сажал, а вот растет. Даже кувшинки в этом году были. Откуда что берется!

Подвел гостя к свежему срубам:

— Это будет квартира учительницы. Елизавета Григорьевна хлопочет.

— Внимательно посмотрел на Крамского. — Вам многое открыто. Скажите, прибывает хоть что-то месту от бывших здесь великих людей? Аксаковы, Тургенев, Гоголь, Загоскин... Вот художники теперь — вы, Репин, Антокольский, Поленов с Васнецовым... Кстати, что вы думаете о Васнецове? О новой его картине?

— Васнецов — красное солнышко. А насчет того, красит ли человек место? Думаю, что место тоже кидает на человека отсветы.

— Рефлексы! — улыбнулся Савва Иванович.

— Рефлексы! — серьезно сказал Крамской.

В первых числах августа в Петербург проводили Антона Серова. По уставу Академии к экзаменам допускались лица не моложе шестнадцати лет, но Репин дал Антону рекомендательное письмо к всемогущему конференц-секретарю Академии Исееву, письмо к Чистякову.

Рекомендация Репина подействовала, Серова к экзаменам допустили, он их выдержал, и на его прошении появилась резолюция: «Принять, 16 августа 1880. В число вольно-слушающих по живописи».

14

Елизавета Григорьевна проснулась от тишины. Небо за окном синее, с горчинкой. Осень... Первое сентября!

Она поспешно поднялась, приводила себя в порядок, с удивлением вслушиваясь в тишину дома.

Отворила двери своей комнаты, готовая к шумной овации, к хору — тишина. Никого. «Приучил Савва к чудесам», — покачала головой Елизавета Григорьевна. Она прошла через комнаты — даже слуг нет. Отворила дверь во двор и ахнула: что-то похожее на каланчу, а на верхней площадке Савва Иванович в образе Симеона Столпника.

— Аллилуйя! — вскричал Столпник, и со всех сторон побежали к Елизавете Григорьевне ангелы и ангелочки с белыми крыльшками. Увенчали венком из алых роз. Повели к столпу. На столпе как раз явился архангел с трубой. Труба пропела серебряную песнь, и Савва Иванович пропел с высоты:

— С днем рождения!

Потом были подарки, покупные и сотворенные. Илья Ефимович преподнес прошлогодний портрет, побывавший на Передвижной выставке.

Вместо завтрака ездили в монастырь, прикладывались к мощам Кирилла и Марии — родителей Сергия Радонежского. Вместо обеда пир. Потом вытирали огонь из дерева. С факелами устроили шествие в сказочный лес, где рос Аленький цветок. Цветок был сорван. Савва Иванович явился среди грохота литавр в образе жуткого чудища. Но когда Елизавета Григорьевна поцеловала чудище, оно тотчас обернулось добрым молодцем. Во фраке, с коком на голове, и на весь Абрамцевский лес полилась итальянская ария.

Жгли костер, рассказывали страшное. Возвращались домой в темноте,

дом, встречая, вспыхнул огнями — обрадовался хозяйке.

Зала была превращена в сад: флоксы, гладиолусы, хризантемы...

Грянул любимый Тургеневым ланнеровский вальс, Савва Иванович собирался пригласить Елизавету Григорьевну по-старинному, но подлетел Сережа, щелкнул каблуками, закружил свою маму. Сделав круг, подвел к отцу.

Вальсируя, Елизавета Григорьевна дрожащим голосом шептала:

— Савва, я танцевала с сыном.

— Ты счастлива?

— Я счастлива.

— Помнишь Ниццу? Бесконечный берег моря?

— Да, Савва.

— А потом, когда ты жила с детьми во Флоренции... Чижов-чудак держал меня в Москве... Как я летал к тебе через тысячи верст. Как я желал быть с тобою.

— Да, Савва.

— Ты все-таки плачешь?

— Мне очень хорошо. Так хорошо, словно прощание какое-то.

— Чепуха! Эта твой личный Новый год, новое счастье.

— Мама! — подбежал Дрюша. — Потанцуй же со мной! Я тоже в перчатках.

В Москву обитатели Абрамцева перебрались 25 сентября. Сергей сдал экзамен и был принят во второй класс гимназии.

Антокольский в Москву так и не приехал. Год у него выдался не очень-то рабочий. Сделал барельеф «Последняя весна», запечатлел друга своего, барона Марка Гинцбурга, художника, умершего в девятнадцать лет. Работал над бюстами великого князя Константина Николаевича, великого князя Николая Николаевича старшего. Позволил увлечь себя очередным монументом — памятником императору Виктору-Эммануилу.

Между тем приближалось Рождество, и на Садово-Спасской кипели обычные театральные страсти.

Поленов взялся ставить драматическую поэму Майкова «Два мира». Всю драму не осилили, взяли последний акт. Музыка и декорации писал Василий Дмитриевич. Из музыки более всего удались ему песнопения первых христиан. Трагическую роль патриция Деция играл он сам, христианку Лидию — Елизавета Григорьевна. Остальные роли достались Репину, Косте Алексееву, Антону. На самую сложную роль, в которой было много пения, пригласили сопрано Большого театра Марию Николаевну

Климентову. Василий Дмитриевич, влюбленный в Марию Николаевну, музыку сочинял в восторге, декорации писал сердцем, играл так, что слова его падали в мертвую тишину.

Красив, да не богат, герой, да не генерал, талант, но без славы... Даже не умеет денег за картины свои брать, цены назначает ничтожные...

Мария Николаевна в спектакле, может, и старалась для очаровательного и очарованного ею Василия Дмитриевича, но связать судьбу с художником никак не хотела.

В тот театральный день не обошлось и без живых картин. Как и в прошлом году, представили «Русалку», а из нового — «Вальпургиеву ночь», с Репиным и Васнецовым.

На этот карнавал искусств получила приглашение Валентина Семеновна Серова. Она была удивлена, что встречали ее, как самую важную гостью, провели к эстраде. Тотчас на сцене появилась молоденькая балерина под вуалью. Балерину встретили громом аплодисментов. Начался танец. Обычные перелеты, батманы, но овацию публика устроила неистовую. К Валентине Семеновне подошла Елизавета Григорьевна:

— Вам нравится танцовщица?

Все замолкли, устремили глаза на Серову, словно ее приговор был решающий.

— Я думаю... Это, разумеется, молодо, легко... Хорошие прыжки.

— А вы с балериной разве не знакомы? — настойчиво спрашивала Елизавета Григорьевна.

— Нет, не имею чести.

— Не имеете чести? А вот и она.

Вуаль откинута, из-под вуали сияющая рожица счастливого Антона.

— Боже мой! — воскликнула Валентина Семеновна. — А я хочу, чтобы он латынь долбил!

Новый 1880 год начался для кружка Мамонтова разного рода неприятностями. После праздников пришел, припоздав, номер газеты «Молва» с ответом Тургенева «Московским ведомствам». В ноябре во французской газете «Темп» Иван Сергеевич напечатал несколько предваряющих слов к рассказу политэмигранта Павловского «В одиночном заключении».

«Московские ведомости» съехидничали: по рассказу нигилиста явно

прошла чья-то опытная литературная рука. «Маститый представитель русского слова в Европе тщится соединить чистоту голубя с мудростью змия. Он прежде всего считает нужным заявить о своей персональной политической благонадежности...» Тургенев в ответе унился до объяснений: «Я всегда был и до сих пор остался „постепеновцем“, либералом старого покроя, в английском, династическом смысле, человеком, ожидающим реформ только свыше — принципиальным противником революций, — не говоря уже о безобразиях последнего времени».

Илья Ефимович Репин писал Стасову с негодованием. «Ну охота же ему была отвечать „Моск. вед.“ Громко сознаваться, что и он холуй, да еще и в душе... Молчал бы!»

Тургенев был хотя бы далеко, а вот Васнецов рядом. Сначала у него произошла серьезная размолвка с «Товариществом передвижников». Мясоедов встретил картину «После побоища Игоря Святославовича с половцами» чуть ли не топаньем ног: «Снять, убрать, закопать! Маляра снять, мертвячину!»

Васнецов отправил в Петербург, где проходила очередная XIII выставка, заявление о выходе из «Товарищества».

Скандал погасил мудрый Крамской, но вскоре появилась статья Стасова, в которой он ни слова не сказал о Васнецове. Тут уже вскипел Репин. Он писал критику: «Слона-то Вы и не заметили, говоря „ничего тузового, капитального“ нет, я вижу теперь, что совершенно расхожусь с Вами во вкусах; для меня это необыкновенно замечательная, новая и глубоко поэтическая вещь, таких еще не бывало в русской школе; если наша критика такие действительно художественные вещи проходит молчанием, я скажу ей — она варвар, мнение которого для меня более неинтересно».

Но с Васнецовым произошли и другие неприятности. Если Стасов о его картинах только промолчал, то борзые газетные писаки их высмеяли. «Московские ведомости» назвали «После побоища» отталкивающей из-за обилия «кадаверизма», иначе говоря, трупности, «Ковер-самолет» именовали персидским ковром. Публика же над картиной попросту смеялась. Павел Михайлович Третьяков купил «После побоища» за пять тысяч, а вот «Ковер-самолет» Правление Донецкой железной дороги отказалось приобрести, как позже не пожелало платить и за «Трех царевен подземного царства», и за «Битву русских со скифами». Картину купил Савва Иванович. Позже Савва Иванович уступит картину М. С. Руковишникову, а Руковишников преподнесет ее в дар Нижнему Новгороду.

В столовой же появится другая картина Васнецова «Битва русских со скифами».

Всеволод Саввич Мамонтов, рассказывая о художниках в их доме, помянет эту любимую с детства картину: «Старый швейцар нашего дома Леон Захарович... любил, выпроваживая нас из столовой, ворчать: „Ну, чего вы ждете? Приходите завтра и увидите, кто оказался победителями — русские или татары“».

Не получила громовой известности и выставка Антокольского в Петербургской Академии Художеств. Выставка хлопотами Стасова была разрешена, но только на один день, на 15 марта. Антокольский, посылая из-за границы мраморные и бронзовые статуи и бюсты, конечно же, понес большие расходы. Надеялся, что произведения раскупят и деньги вернуться с великой прибылью. Были выставлены «Христос перед судом народа» в мраморе (собственность С. И. Мамонтова) и в бронзе, «Смерть Сократа», «Панин», «Надгробие Оболенской», бюсты Петра Великого, Иоанна Грозного, барельеф с Марком Гинцбургом, портреты-бюсты И. С. Тургенева, А. А. Краевского, С. П. Боткина, В. В. Стасова, Н. А. Малютина, три бюста Поляковых, два — баронов Гинцбургов, голова Иоанна Крестителя, голова Мефистофеля, «Безвозвратная потеря» — Лева Антокольский, «Последний вздох Христа».

Странное ограничение выставки одним днем не вызвало ажиотажа зрителей, их было немного, а покупателей совсем не нашлось. Впрочем, позже бронзовую статую «Христос перед судом народа» купил государь.

В 1880 году Мамонтов отправился в Италию, поправлять, как тогда говорили, «расшатанное здоровье».

Елизавета Григорьевна перебралась в Амбрамцево без Саввы Ивановича.

Италия сияла небесами, но перестала быть желанной. Только десять дней утерпел Савва Иванович в Неаполе, помчался в Россию, поспеть к Пасхе, самому поставить в доме прибывшую из Петербурга мраморную статую Христа. Поместил в своем кабинете, устроил над нею новейшее вечернее освещение. На смотрины было собрано избранное, понимающее искусство общество. Гостям рассылались памятные, роскошно отпечатанные приглашения.

Вот только ужин был постный, всё стерлядь да осетрина, балыки да икорка с молоками. Великий пост.

Пасха пришлась на 20 апреля. Половодье на Воре превзошло прошлогоднее. Осенью поставили по дороге в дубовую рощу плотину, но ее снесло.

Воря отрезала деревню от Хотьковского монастыря. Крестьяне пришли к Мамонтовым, знали, что на Пасху у них всегда молебен. Савва Иванович и Елизавета Григорьевна были тронуты.

— Хоть бы часовеньку поставить, — помечтала Елизавета Григорьевна, когда люди разошлись.

Встречать Пасху приезжали Чоколов, Арцыбушев, Поленов.

— Давай, Василий Дмитриевич, думай! — предложил Савва Иванович Поленову. — У вас на Севере, я знаю, дивные церквушечки рубят. Одним топором и, говорят, без единого гвоздя.

Поленов нарисовал по памяти несколько северных, с чешуйчатыми куполами церквочек, но дальше разговоров дело не пошло.

Летом совершали пеший поход во Владимирскую губернию, в собственное имение, в Кузнецов, за сорок верст.

Потом занялись очисткой Вори. Отворяли заиленные ключи. Поленов был увлечен этой мальчишеской почти работой. Хорошо плескаться в воде, когда солнце жарит. Грибов было много. Но дожди все были грозовые.

Смелому человеку — великая радость.

В Яшкином доме жила семья Репина, сам он с Антоном уехал в Запорожье, а потом в Крым писать казаков для картины «Письмо турецкому султану».

Антон сообщал Валентине Семеновне с дороги: «Как проснулся, заглянул в окно — степи, стада; все те же станции со своими начальниками станций в красных фуражках, с звонками, свистками... По дороге едут татары в телегах, запряженных парюю волов или лошадей. Везде как-то пустынно, только там, далеко, виднеются синие горы, то — крымские горы... На станции Бахчисарай мы вышли из вагона: на платформе сидели татары, некоторые из них были очень похожи на запорожцев. Для этюдов Репин решил приехать сюда из Севастополя...»

Кто-то за счастьем к морю ходит, кто-то ищет в себе или сразу за порогом дома своего. Васнецов верил, что Абрамцево ему Бог указал. Он писал теперь свою горестную «Аленушку». Елизавета Григорьевна на Виктора Михайловича нарадоваться не могла. Картина обещала быть замечательной.

2

Летом 1880 года Москва пережила подъем, какого не ведала со времен нашествия Наполеона.

Был готов и установлен на Страстном бульваре памятник Пушкину. Оставалось отпраздновать открытие.

Торжества приурочили ко дню рождения Александра Сергеевича 26 мая (по старому стилю). В Москву спешил Тургенев, который побывал в родном Спасском, в Ясной Поляне у Льва Толстого. Лев Николаевич всякие сборища почитал ложью, а памятники заблуждением. Из Старой Руссы через Новгород и Тверь ехал Достоевский, отложив ради Пушкинских дней мучительно напряженную работу над романом «Братья Карамазовы». Федор Михайлович выехал 22 мая. В поезде он узнал о смерти императрицы Марии Александровны. Это означало, что праздник будет отложен. Так оно и вышло. В Твери Федор Михайлович купил «Московские ведомости» и прочитал извещение московского генерал-губернатора князя В. А. Долгорукого о переносе открытия памятника ввиду траура. Сколь долгим будет траур, не сообщали.

Так, велением судьбы, в Москве собрались лучшие люди России, и у них выдалось несколько праздных дней для общения.

Семидесятые-восемьдесятые годы XIX столетия принято считать годами реакции, духовного застоя и даже опустошенности. Отнюдь!

Да, была цензура, приостанавливалось печатание «смелых» газет и журналов. Царь отдавал министерские посты валуевым и победоносцевым, имевшим репутацию душителей свобод. И все же самодержавие только оборонялось. О каком духовном застое речь, когда Достоевский писал «Братьев Карамазовых», Лев Толстой создал «Анну Каренину» и приступил к «Исповеди», когда одна за другой появлялись повести Лескова. Не застой и регресс, а восторг перед силами русской державы, освободившей славян от Османского ига, преобладал в обществе. Творили Даргомыжский, Мусоргский, Чайковский, Репин, Васнецов, Поленов. Суриков уже писал «Утро стрелецкой казни», а Куинджи заканчивал волхование над «Лунной ночью на Днепре».

В те годы даже публицистика совершила чудеса. Клич Ивана Аксакова воплотились в свободную, в самостоятельную Болгарию.

Открытие памятника Пушкину современники этого события сумели превратить в торжество русской идеи, в вершину, на которую потомкам следует оглядываться. Потому-то праздник, оставаясь праздником, был еще и полем сражения.

Партия Тургенева готовилась перетянуть Пушкина в свой стан, уготовляя поэту место в уголке, во втором ряду мировой культуры, западные идолы для западников были неприкосновенно высоки, недостижимы. Достоевский это понимал. Он писал жене, сообщая, что рад бы уехать из Москвы, да нельзя: «Во мне нуждаются не одни любители российской словесности, а вся наша партия, вся наша идея, за которую мы боремся уже 30 лет, ибо враждебная партия (Тургенев, Ковалевский и почти весь университет) решительно хочет умалить значение Пушкина как выразителя русской народности, отрицая саму народность... Мой голос будет иметь вес, а стало быть, и наша сторона восторжествует...»

Уверенность Достоевского в победе не напускная. Западники, опасаясь наэлектризованных и магнетических его речей, пытались провести на подготовительной комиссии вопрос о недопущении Федора Михайловича к чтению.

Слава автора «Братьев Карамазовых» вспыхнула как бы вдруг. В его честь 25 мая редакция «Русской мысли» дала обед в ресторане гостиницы «Эрмитаж». На обеде присутствовали профессора Московского университета, сторонники западной идеи. Достоевский крепко насолил им, приведя в краткой речи слова императора Николая I: «Пушкин — умнейший человек в России».

Противостояние, жречество, споры о народе, о его будущем, кому и куда вести народ, словно это теленок на веревочке. А солнце все равно светило, пирожники пекли пироги, артисты поднимали занавес, ожидая аплодисментов и славы.

Оторвать Пушкина от русского народа пытался еще Белинский, неосознанно, в Тургеневе этой неосознанности уже не было...

В один из прекрасных, праздничных вечеров в Большом театре на премьере «Фауста» Гуно совершенно случайно Василий Дмитриевич Поленов оказался соседом Ивана Сергеевича Тургенева. Маргариту пела Мария Николаевна Климентова.

— Какая искренняя душа! — изумился Тургенев. — И голос — чудо.

— Вам бы, Иван Сергеевич, послушать ее Татьяну! Невинность, ласковость... Все лучшее, что есть в русской женщине, Климентова — избави Боже! — не демонстрирует... сказать не умею. У нее это прорывается нечаянно, как скрываемое, потому что беззащитно...

Бедный Василий Дмитриевич был влюблен в певицу, но он не преувеличивал. Талант Климентовой поражал естественностью, чистотой, свято хранимым девичеством... Но это на сцене. Василий Дмитриевич не разглядел в Марии Николаевне светской львицы и пострадал. Она его манила, подавала надежду, но мечтала о дворцах, о собственном выезде.

— Писателям и художникам полезно посещать театр, — сказал Тургенев. — Здесь видишь, что ценят люди, в чем заблуждаются, на какую наживку клюют, как рыбы, но главное, именно здесь явственно обнаруживается пропасть, через которую не могут переступить ни зрители, ни артисты. И пропасть эта — будущее искусства и самого бытия.

— Не чересчур ли мы усложняем себе жизнь? — весело спросил Поленов. — Искусства созданы для радости, а мы их превратили в сплошное нравоучение, в церковь.

— Может, вы и правы, — легко согласился Иван Сергеевич. — Я целую вечность не сочинял стихов, но в прошлом году вдруг вспомнил юность...

Сияло небо надо мной,
Шумели листья, птицы пели...
И тучки резвой чередой
Куда-то весело летели...
Дышало счастьем все кругом,
Но сердце не нуждалось в нем.

Вот лучшее состояние человека и человечества — юность. Пушкин ножками восхищался, а мы из него, тут вы тоже правы, религию соорудили.

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину открыли утром 6 июня (по старому стилю). Событие это запечатлено в рисунке Николая Чехова. Сброшено белое полотнище. В воздух летят венки цветов. Кругом хоругви, флаги, транспаранты со стихами. Мужчины все в цилиндрах, дамы в шляпах.

В два часа дня в большом зале Московского университета состоялся торжественный акт чествования памяти поэта.

В шесть часов вечера в зале Благородного собрания были даны обед и литературно-музыкальный вечер. Достоевский на этом вечере читал монолог Пимена.

Седьмого и восьмого июня прошли заседания Общества любителей российской словесности.

Седьмого выступил Тургенев. Его встречали как патриарха российской литературы, как прямого наследника Пушкина. Восторг перед началом выступления, овация и цветы по окончании. Но не все-то глазели на знаменитость, иные вслушивались в сказанное. Тургенев изрек о Пушкине: «Вопрос: может ли он назваться поэтом национальным, в смысле Шекспира, Гёте и др., мы оставили пока открытым. Но нет сомнения, что он создал наш поэтический, наш литературный язык и что нам и нашим потомкам остается только идти по пути, проложенному его гением...» Упаковка красивая, а в конфете — яд. Повторил Тургенев и старую песню Белинского: «Подделываться под народный тон, вообще под народность — так же неуместно и бесплодно, как и подчиняться чуждым авторитетам: лучшим доказательством тому служат: с одной стороны — сказки Пушкина, с другой — „Руслан и Людмила“, самые слабые, как известно, изо всех его произведений».

Достоевский расценил эту речь унижением Пушкина.

Федор Михайлович выступал 8 июня, в последний день торжеств. Слово, сказанное им, так повлияло на его собственную писательскую судьбу — вкусил-таки прижизненного признания и даже славы, — так поразило участников собрания и столь высоким пламенем перекинулось на общество, на всю Россию, что нельзя здесь не рассказать об этом замечательном событии.

Можно было бы привести целый ряд свидетельств участников того заседания, но ярче Федора Михайловича никто не сумел рассказать о его триумфе.

Приведем выдержки из письма Анне Григорьевне в Старую Руссу. Федор Михайлович, отчаянно тоскуя по дому, по теплу родных людей, писал чуть не каждый день. Сцеживал душевные бури — припадка боялся. Напряжение было огромное, чувства переполняли радостные, но нервные, ведь всю жизнь ждал подобного признания, знал, что достоин его, страдал от замалчивания, от слепоты современников, и вот все разом сошлось в одной точке, в одной речи.

«Зала была набита битком, — сообщал Достоевский Анне Григорьевне. — Когда я вышел, зала загремела рукоплесканиями, и мне долго, очень долго не давали читать. Я раскланивался, делал жесты, прося дать мне читать, — ничто не помогало: восторг, энтузиазм (всё от „Карамазовых!“)». Как это искренне, по-детски почти. И вообще ничего нет в творчестве Достоевского более радостного и выразительного, чем письма жене с Пушкинского праздника. «Наконец я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий. Я читал громко, с огнем... Когда же я провозгласил в конце о всемирном единении людей, то зала была как в истерике, когда я закончил — я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими... Все ринулись ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты — всё это обнимало, целовало меня... Все, буквально все плакали от восторга... Вдруг, например, останавливают меня два незнакомых старика. „Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили. Вы наш святой, вы наш пророк!“ „Пророк, пророк!“ — кричали в толпе. Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами... Аксаков (Иван) вбежал на эстраду и объявил публике, что речь моя есть не просто речь, а историческое событие!.. С этой поры наступает братство и не будет недоумений».

Были обмороки, было чуть ли не идолопоклонство... Потом стали думать... Через пять дней Тургенев писал редактору «Вестника Европы» Стасюлевичу: «Эта очень умная, блестящая и хитроискусная при всей страстности речь всецело покоится на фальши, но фальши крайне приятной для русского самолюбия... „Мы скажем последнее слово Европе, мы ее ей же подарим — потому что Пушкин гениально воссоздал Шекспира, Гёте и

др“. Но ведь он их воссоздал, а не создал, и мы точно так же не создадим новую Европу, как он не создал Шекспира и др... И к чему этот всечеловек, которому так неистово хлопала публика. Да быть им вовсе и нежелательно: лучше быть оригинальным русским человеком, чем этим безличным всечеловеком. Опять все та же гордыня под личиною смирения».

Стасов позже вспоминал, что «Тургенев был в сильной досаде, сильном негодовании на изумительный энтузиазм, обуявший не только всю русскую толпу, но и всю русскую интеллигенцию... Ему была невыносима вся ложь и фальшь проповеди Достоевского, его мистические разглагольствования о „русском всечеловеке“, о русской „все-женщине Татьяне“ и обо всем остальном трансцендентальном и завиральном сумбуре Достоевского, дошедшего тогда до последних чертиков своей российской мистики».

4

Был ли Мамонтов на Пушкинских праздниках, точно неизвестно. Однако он доставал на заседания Любителей российской словесности билет для кого-то из близких.

В августе пришел «Дневник писателя». За 1880 год Достоевский дал только один выпуск, посвятив его своей Пушкинской речи и полемике вокруг нее.

Савва Иванович привез номер «Дневника» в Абрамцево.

— Читаем вслух!

Читал Савва Иванович сам. Читал сначала «с огнем», потом поостыл, но когда речь пошла о предназначении русского народа, о пророчестве, разволновался и всех слушателей взволновал.

— «О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!»

Последние слова речи вызвали у Саввы Ивановича слезы.

— «Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть,

менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем».

Савва Иванович отложил книгу, утирал платком мокрое от слез лицо.

— Ах, Федор Михайлович, как ты за душу берешь! Что с человеком делается от твоих слов!

Тотчас загорелись читать еще из Достоевского. Выбрали сначала сцену, где Лиза и Алеша говорят о любви, а потом сцену Смердякова и Марии Кондратьевны.

Смердякова стал читать Васнецов, а Марию Кондратьевну Елизавета Григорьевна.

— «Стихи вздор-с! — читал Виктор Михайлович залихватским хвастливым голосом.

— Ах нет, я очень стишок люблю, — как и указывал Достоевский, ласкалась голосом Елизавета Григорьевна.

— ...Может ли русский мужик против образованного человека чувство иметь? По необразованности своей он никакого чувства не может иметь. Я с самого сыздетства, как услышу, бывало, „с мальим“, так точно на стену бы бросился, я всю Россию ненавижу, Мария Кондратьевна».

— Достоевский все знает о русских! — сказал Савва Иванович. — И он ничего не желает спрятать. Подождите, будет сказана такая правда, что нас всех сначала наизнанку вывернет, а потом уж и преобразит.

— Знаете, — сказал Васнецов, — у меня плечам холодно стало. Я вдруг понял, только теперь-то и понял, что живу во дни Федора Достоевского и Льва Толстого. Это ведь нам дано...

В воскресенье Савва Иванович потащил Репина и Васнецова в мастерскую.

— Опекушин! Микешин! Микеланджело! Господа, предлагаю состязание. Мамонтов лепит Васнецова, Васнецов — Репина, Репин — Мамонтова.

— Бедный Репин! — пожалел друга Виктор Михайлович.

— Почему только Репин? — похохатывал Савва Иванович. — Из вас один я — глиняных дел мастер.

— Илья в Академии за скульптуру медаль получил.

— Я этого не знал.

— Ну хорошо, а какой приз? — спросил Илья Ефимович.

— Бессмертие, господа художники! Сладостное бессмертие! Уж кто-нибудь его удостоится из нас троих.

Принялись за дело, и у всех получилось.

— Похоже, — оценил Репин. — Как вылитые... Люблю с великими людьми знаться, никогда не подведут. Это я насчет бессмертия.

К великим Илья Ефимович и впрямь был равнодушен.

В том 1880 году он познакомился со Львом Николаевичем. Поменял квартиру и стал соседом Толстого. Кто таков Лев Николаевич, современники очень хорошо понимали.

8 октября Репин писал Стасову:

«Должен Вам признаться, что я отнесся очень скептически к известию, что у меня будет Лев Толстой...

И вдруг, когда мы кончили уже обед, часов в 7 с 1/4-ю кто-то постучал в дверь (вечно испорченный наш звонок). Я видел издали — промелькнул седой бакенбард и профиль незнакомого человека, приземистого, пожилого, как мне показалось, и нисколько не похожего на графа Толстого.

Представляйте же теперь мое изумление, когда увидел воочию Льва Толстого, самого! Портрет Крамского страшно похож. Несмотря на то, что Толстой постарел с тех пор, что у него отросла огромная борода, что лицо его в ту минуту было все в тени, я все-таки в одну секунду увидел, что это он самый!..

По правде сказать, я был даже доволен, когда порешил окончательно, что он у меня не будет; я боялся разочароваться как-нибудь, ибо уже не один раз в жизни видел, как талант и гений не гармонировали с человеком в частной жизни. Но Лев Толстой другое — это цельный гениальный человек; и в жизни он так же глубок и серьезен, как в своих созданиях... Я почувствовал себя такой мелочью, ничтожеством, мальчишкой!.. Ах, все бы, что он говорил, я желал бы записать золотыми словами на мраморных скрижалях и читать эти заповеди поутру и перед сном...»

Рождественскими днями Савва Иванович в считанные дни накатал мистерию «Иосиф» в трех актах и четырех картинах. Мистерия была предложена для постановки. Прочитали, приняли.

Декорации первого акта готовил Красовский.

Второй акт (тюрьма) и третий (дворец фараона) — Поленов.

Представление дали 28 декабря, 2 января 1881 года — повторили.

Итак, у Саввы Ивановича Мамонтова проявилось еще одно дарование — драматический писатель.

1881 год — эти восьмерки, окруженные единицами! — начался тяжелыми, горчайшими потерями для России. 28 января умер Федор Михайлович Достоевский. До шестидесяти не дожил.

1 марта убили императора Александра II. Он возвращался из Михайловского замка с церемонии войскового развода. На углу Инженерной улицы, на канале, тихвинский мещанин Николай Иванович Рысаков бросил в карету бомбу. Были ранены два казака, убит крестьянский мальчик. Царь не пострадал. Он пошел посмотреть место взрыва. Террорист был уже схвачен. И лицом к лицу оказался перед своей смертью. Она явилась в образе поляка Гриневецкого. Этот затаившийся второй террорист сделал шаг навстречу, поднял руки вверх и бросил бомбу под ноги Александру. Взрыв, облако дыма, а когда дым рассеялся, увидели: царь, прислонясь к решетке канала, полусидит, опершись руками на панель, ноги и лицо в крови, фуражка с головы сорвана, рядом шинель, вернее, обгоревшие окровавленные клочья шинели. Она была только накинута на плечи монарха.

Вокруг раненые и убитые — около двадцати человек.

Не потеряв самообладания, Александр сказал подбежавшим к нему — услышал, что они хотят положить его в соседнем доме:

— Скорее... во дворец! Несите меня во дворец... Там... умереть...

Еще не закончился траур по злодейски убиенному государю, 12 марта умер от туберкулеза Николай Григорьевич Рубинштейн, 16 марта скончался Мусоргский.

О болезни Модеста Петровича сообщила 15 февраля газета «Русские ведомости».

Репин уже на следующий день писал Стасову: «Как жаль эту гениальную силу, так глупо с собой распорядившуюся физически!»

За неделю до смерти Мусоргского Илья Ефимович, примчавшись в Петербург, успел написать в четыре сеанса его портрет и показал вместе с другими своими портретами — Писемского и Ге — на Передвижной выставке.

Стасов портрет Мусоргского оценил как «одно из величайших созданий всего русского искусства». Но картину Сурикова «Казнь стрельцов» «просмотрел», а вот Павел Михайлович Третьяков оказался прозорливым, купил «Утро» за восемь тысяч.

Храм русского искусства пополнился и новой картиной, и новым именем. Слава этого имени была еще впереди.

Март 81-го года был страшным и для семьи Поленовых. Гасла и 7 марта скончалась сестра-близнец Василия Дмитриевича, талантливая,

чуткая, нежная Вера Хруцова.

Здоровье у нее было очень слабое, по дороге из Имоченец в Петербург простудилась, слегла в плеврите и не поднялась.

Поленов для Веры симфонию сочинял, но музыка не спасла. Перед смертью Вера Дмитриевна взяла с брата слово, что он будет писать серьезно и исполнит наконец давно задуманную картину «Христос и грешница».

Василий Дмитриевич писал другой своей сестре, одаренной талантами и сердцем, несчастной горбунье Елене: «Побереги себя хоть для меня — один только и есть ты у меня близкий человек, не уходи же себя». И через несколько дней: «Думаю выехать сегодня, но работы около Вервиной могилы не кончены... Я у Мамонтовых и нравственно и физически ободряюсь...»

6

В Абрамцево семейство Мамонтовых отправилось 4 апреля. В полдень термометр показывал +11 градусов, но снег лежал горами.

Мальчики ехали в любимое гнездовье с восторгом, а Веруша расплакалась. Из Абрамцева приходил мужик, рассказывал, что в лесу берлога, а в ней медведь.

— Мама! — спрашивала Веруша, широко раскрывая глазки. — Мама, а будет медведь из леса выглядывать?

5-го было Вербное воскресенье. Вместе с Елизаветой Григорьевной Савва Иванович на санках ездил в деревню Жучки и в Ахтырку смотреть дачу для Праховых.

С понедельника Елизавета Григорьевна с детьми говела. Заболел племянник Саввы Ивановича Ваня Мамонтов. Температура поднималась до сорока градусов. В Страстную пятницу на четырехчасовом поезде приехали из Москвы Поленов, Кукин, Наташа Якунчикова.

Савва Иванович тотчас произвел спевку, готовясь к заутрене.

В субботу устроили конкурс на лучшее пасхальное яйцо. Судьями были избраны генерал Кривошеин и Савва Иванович. Были учреждены две премии. Первую получила Елизавета Григорьевна, вторую — Поленов.

На Пасху была служба. В зале установили амвон, покрытый красным сукном, амвон, как обычно, окружили зеленью лавров, розами. Служили монахи из Вифании. После разговин их сразу отправили в монастырь, о том просил игумен, оказывается, братия имеет право разговеться, когда все в

сборе.

Пасхальное утро было серое, вьюга свистела, снег летел, но в полдень небо стало синим, солнце рассыпало жаркие лучи, и дети вышли на улицу катать пасхальные яйца.

Вечером читали Евангелие. И особенно внимательно — суд Пилата.

— «Царство Мое не от мира сего», — повторил Савва Иванович наизусть. — Меня всегда растревоживает это место. — «Если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда».

— Пилат себя чувствует много выше Христа, — заметил Поленов. — Все его слова свидетельствуют об этом: «Итак Ты Царь?.. Ты Царь Иудейский?.. Что есть истина?» И с прямой насмешкой: «Хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?»

Потом эта тема отразится в его известных полотнах.

Вечером подул ветер. Сияли звезды, мороз охватывал даже самые быстрые ручьи, но река все поднималась, а утром прорвало пруд.

В понедельник дети устроили для взрослых спектакль: «Двое из сумы». Очень веселая получилась пьеса, с тумакими, с хохотом артистов.

В «Летописи сельца Абрамцева» читаем далее. «16 апреля. У Вани нормальная температура. Сергей ходит на охоту. Тяга была, но стрелять не пришлось. Убил сойку. Сам ходил на тягу. Сокрушил кошку. За что же? А за то, что она по ночам мяукала под окнами, а днем шляется по лесу и ест птах».

После такой вот шутки — сочинились стихи.

Вечером поздним мы долго бродили,
Медленно вешняя ночь надвигалась,
По небу тучки жемчужные плыли.
Шумным потоком река разливалась,
Бились о берег и, споря с преградой,
Мчались дальше с мятежной досадой.
Долго за этой немолчной рекою
Взором следили мы с тайной тоскою, —
Словно и мы к той неведомой дали
Всею душою умчаться желали,
Словно желали упрямое море
Вихрем развеять на буйном просторе, —
В жадной погоне за счастьем, весною,
Светлой зарею и жизнью иною...

Стихи Савва Иванович сочинил к празднику. 24 апреля — день свадьбы, шестнадцатая годовщина. Праздничный день начался с хлопот. Елизавета Григорьевна с утра возила в Москву приболевшую Наташу, вернулась с Репиными. Илья Ефимович приезжал нанимать дачу в Хотькове. В пять часов были гости: Васнецов, Поленов, Кукин...

Вечером устроили громкое чтение по ролям. Взяли Майкова. Уже известную драматическую поэму «Два мира» и лирическую драму «Три смерти».

Эпикуреец Люций, философ Сенека и поэт Лукан приговорены к смерти, но убить себя должны сами. И они пируют в последний раз.

Васнецов получил роль Люция:

Мудрец отличен от глупца
Тем, что он мыслит до конца...

Поленов читал Сенеку:

Оставьте спор! Прилично ль вам
Безумным посвящать речам
Свои последние мгновенья!

Лукана читал Савва Иванович.

Нет! Не страшат меня загадки
Того, что будет впереди!
Жаль бросить славных дел начатки...

Умный текст, умные чтецы, готовые восхищаться друг другом.

Перед сном ходили слушать, как шумит половодье на Воре. Вспомнили о прошлогоднем желании — построить часовенку.

— Часовню-избу за день можно сложить, — сказал Поленов.

— Какой прок от часовни! — возразил Савва Иванович. — В часовне не только гости, но и семья наша не поместится. Нужно церковь строить.

На следующий день, правда, уже без Васнецова, ездили в Лавру. После долгой службы и дороги устали, а вот в воскресенье, 26 апреля, сели за

стол с утра, и каждый нарисовал церковку.

Самый интересный рисунок, конечно же, получился у Поленова. Он по памяти воспроизвел новгородский храм Спаса-Нередицы.

— Это — близко к истине! — воскликнул Савва Иванович. — Чем же тебя наградить за идею?

— Я награды хочу тотчас! — потребовал Поленов. — Извольте-ка вытерпеть мою музыку, которую я сочинил к драме «Два мира».

Музыку слушали и не только вытерпели, но и одобрили.

— В твоих мелодиях что-то восточное, — сказал Савва Иванович.

— Я о Палестине думал, — признался Василий Дмитриевич. — Для меня Палестина — страна пророков. Столб света с небес и земля, как скрижали. Смотри, читай, если есть глаза. А что до овец, до коров... Скот — это кошелек местного населения. Бредущий по пустыне кошелек.

— Тихо, тихо! — Савва Иванович поднял обе руки. — Экспромт.

Пора, корабль взмахнул крылом!

Зовет труба моей дружины.

Иль на шите иль со шитом

Вернуся я из Палестины.

— Я вернусь с картиной, — пообещал Поленов.

Климентова его совершенно измучила, он хотел бежать на край земли, хотел возрождения для дел великих. И ведь обещание было — Вере, страшное обещание, в страшный час.

С вечерним поездом приехал Кривошеин, привез сногшибательную новость: генерал-адъютант, министр внутренних дел и шеф жандармов, а менее года тому назад полный диктатор со званием Начальника Верховной распорядительной комиссии по охране государственного порядка и общественного спокойствия с чрезвычайными полномочиями, граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов — получает полную отставку.

Известие взбудоражило.

— У него только и было, что длинный нос, усы вполовину лица да бакенбарды, лежащиеся на эполеты, — вспыхнул Савва Иванович.

Кривошеин снизил голос до шепота.

— Рассказывают, что государь Александр Александрович сказал одному из приближенных: «Конституция? Чтоб русский царь присягал каким-то скотам?»

— Каким-то скотам, — повторил Поленов. — Великое же царствие

ожидает бедный русский народ.

— У меня на днях был один инженер, человек весьма близкий к высшим кругам, — сказал Савва Иванович. — Пересказал мне историю про Достоевского, слышал он ее от Суворина... Я потому об этом вспомнил, что встреча Суворина и Федора Михайловича случилась в день покушения на Лорис-Меликова Ипполитом Младецким. Всего ведь год минул. Так вот, ни Достоевский, ни Суворин о покушении еще ничего не знали. Но Достоевский-то был человек электрический. Он набивал папиросы, а сам был, как после бани. Алексей Сергеевич так и спросил: «Вы после бани?» А Федор Михайлович отвечает: «Нет, я после припадка. Я до вашего прихода об одной странности нашего российского характера размышлял. Представьте себе: мы стоим возле окон магазина Дациаро, смотрим картины. Около нас человек, который тоже словно бы смотрит картины, но мы-то видим, что он притворяется. И тут подходит к нему один голубчик и говорит: „Через полчаса Зимний дворец будет взорван. Я завел машину“. Представьте себе, Алексей Сергеевич, мы это слышим. Но как бы мы с вами поступили? Пошли бы в Зимний предупредить о взрыве, обратились бы к городовому, чтобы он схватил этих молодчиков?» Суворин отвечает: «Нет, я бы не пошел». — «И я бы не пошел... И вот о том, почему не пошел, я и размышлял до вашего прихода. Ведь это ужас. Преступление. Я обдумал причину, которая не позволила бы мне кликнуть городского. Эта причина — ничтожная. Боязнь прослыть доносчиком. Достоевский — доносчик! Этого бы мне либералы никогда не простили...» — Савва Иванович замолчал, обвел всех взглядом. — Знаете, о чем более всего горевал Федор Михайлович? О том, что об этом нельзя сказать публично: «У нас о самом важном нельзя говорить».

— И разве это не так?! — воскликнул Поленов. — Потому и нужна конституция.

— Теперь будет не конституция, а самодержавные указы, а может быть, и виселицы, — сказал Савва Иванович. — Младецкого ведь повесили.

— За неудачное покушение, — сострил Кривошеин.

— Нет, господа! Нет! — горячо не согласилась Елизавета Григорьевна. — Мы втянулись в совершенно неинтересную дискуссию. Она ни о чем. Конституции не будет — значит, и предмет разговора исчерпан.

— Будет «Манифест», — сказал Поленов.

— А напишет его — голову на отсечение, — Савва Иванович чикнул ладонью по шее, — Костенька Победоносцев, друг Федора Михайловича.

8 мая в Яшкином доме поселились Васнецовы, а в середине мая Сережа уехал в Москву сдавать экзамены.

Перебрались в Хотьково Репины.

Илье Ефимовичу его новое жилище очень нравилось. Он писал Стасову: «Какая у нас прекрасная дачка! Какая живописная местность кругом!.. Я устроился на балконе, там и сплю и работаю, несмотря на сильный холод, — что за беда, если в теплом пальто сидишь, в шапке; я так и сплю. Зато дышу чудеснейшим воздухом, напоенным едва развернувшимися душистыми тополями, молодой березой и сиренью. А встанешь — и одеваться не надо: готов.

Вчера был сильный мороз утром, вся долина была белая при восходе солнца; а утром туман делал ее фантастической феерией».

И сто лет тому назад не баловала теплом природа Подмосковья. Письмо написано 20 мая. В этом же письме Репин сообщал: «Завтра я поеду в Москву; мне хочется написать портрет Пирогова, — не знаю, удастся ли, буду хлопотать. Поеду к встрече». (Николай Иванович Пирогов — хирург, герой Севастополя, приезжал в Москву отпраздновать пятидесятилетие своей деятельности. Репин сделал зарисовки Пирогова, а также эскиз «Встреча Пирогова на вокзале», написал портрет, вылепил бюст. И все талантливо, с повторением для супруги Пирогова.)

И снова ведь успел! Пирогов тоже умер в 1881 году.

В «Летописи сельца Абрамцева» под 20 мая записано рукою Саввы Ивановича:

«Настал день ужасов и страхов,
К нам прибыл сам профессор Прахов.
(ужасы и страхи необходимы для рифмы)».

Адриан Викторович был только три дня. Он торопился в Киев, к недавно обнаруженным фрескам в храме Кирилловского монастыря.

В это же самое время от разговоров о храме перешли к делу. 24 мая приехал в Абрамцево архитектор Самарин. Выбрали место, определили размеры будущего храма. И тотчас же быстрый Савва Иванович приказал срубить деревья. В «Летописи» читаем: «Место очень выиграло, когда

очистилось. Распоряжения о заготовке материала сделаны, и канавы фундамента будут начаты».

Но церковь — не беседка, на постройку требовалось благословение архиерея. Тут как раз стало известно, что в Хотьковский монастырь приезжает митрополит. 29 мая Елизавета Григорьевна ездила на станцию встречать владыку, говорила с ним о церкви. Митрополит на ходу обсуждать такое серьезное дело не пожелал, а для обстоятельной беседы не пригласил. И не отказал, и разрешения не дал. Елизавета Григорьевна вернулась расстроенная, но ее задушевно утешил Виктор Михайлович.

В то время он приступил к самой долгой своей картине, к «Трем богатырям», в большом доме показывался редко, но тут отложил кисти.

— Все сделается само собой ласковым Божьим промыслом, — говорил он Елизавете Григорьевне. — Я это по себе хорошо знаю. Кипят желания, голова напряжена, сердисься, родных людей обижаешь, и когда уже совсем впадаешь в отчаяние, когда ни просвету, ни надежды — вдруг как-то все переменится, без усилий, без твоей воли. Такое произойдет устройство жизни, что только диву даешься, почему, откуда что взялось? Совершенно непонятно! Да и не надо нам этого понимать, а вот помолиться задушевно — очень хорошо. Я, кажется, нарочно даже хотел бы для себя таких трудностей, чтобы еще и еще раз пережить Господнюю благодать. Желание греховное: это же Господа испытывать, но много дурости в человеке. Во всех нас есть что-то петушиное. Дескать, солнце встает ради твоего крику... Одно скажу — терпеливый своей радости дождется.

Елизавета Григорьевна улыбнулась:

— Велика ли моя беда — митрополит рассеянно выслушал... Но вам-то, Виктор Михайлович, крепко доставалось в жизни.

— Всяко было. Ничего. Мы — вятские.

— Вот вы из семьи священников, — осторожно начала Елизавета Григорьевна, — несколько поколений ваших предков служили Господу Богу, сами вы закончили семинарию, но скажите, хоть на одну ступеньку... вверх... вы поднялись? В чувстве своем, в чувстве Господа?

Виктор Михайлович покраснел, нагнул голову.

— Простите меня, пожалуйста. Я не имею права так спрашивать... Но я должна кому-нибудь сказать, что со мной делается. И не священнику на исповеди. Священник простит, и все... Виктор Михайлович, я вдруг испытала нехорошую, даже, пожалуй, омерзительную гордыню. На мои деньги — будет построена моя церковь. Понимаете — моя... Потому и спрашиваю, чтобы знать, как укротить в себе... это. Гордыню, подлое торжество.

— Церквей я не строил, но расписывал в юности. И, пожалуй, подобное чувство тоже испытал... Именно гордыню. Очень неприятную, неискреннюю... Я молился, а гордыня не исчезала, да еще и злорадствовала: «Ты расписываешь церковь, теперь ты с Богом — одно единое». Ничего, Елизавета Григорьевна, это надо тоже пережить, перебороть.

— А во имя кого должен быть наш храм? Вы не думали?

— Что же тут думать? Поленов, когда храм Спаса-Нередицы нарисовал — все обрадовались. Не есть ли это указание?

— Спас? Нерукотворный Спас?.. А ведь это хорошо для Абрамцева. Иисус Христос, утеревшись полотенцем и оставив на нем Свое изображение, дал художникам завет: исцелять и веровать. Так ли я это понимаю?

— Ах, Елизавета Григорьевна, что вы меня спрашиваете? Вы душою своей знаете больше меня.

Елизавета Григорьевна поднялась.

— Я провожу вас... — и остановилась. — Виктор Михайлович, разве Бог простит народу русскому убийство царя? Убил поляк, но первую бомбу — русский бросил... Вы скажете, нужно покаяться. Но тот, кто бомбы делает, к покаянию не ходит. Этого искупить ничем невозможно... Цареубийство. Убили царевича Дмитрия — и была Смута. Екатерина задушила Петра, мужа своего, и сын ее, Павел, был задушен... Всякое зло бывает вымещено... Даже неосторожное слово. Я была у Мамонтовых в Введенском, в имении Анатолия Ивановича. Как раз приезжала Вера Николаевна Третьякова... Вы помните эту ужасную сцену в «Карамазовых», когда старец Зосима... провонял. Наверное, Достоевский этой сценой сказал очень много. Но ужас в том, что Федор Михайлович тоже... Третьяков был потрясен этим. Вы понимаете?

На ресницах у Елизаветы Григорьевны дрожали слезы. Васнецов склонил голову, поцеловал ей руку.

— Не волнуйте себя. Покаяние спасительно. Верьте этому.

Лис был гордостью конюшни Саввы Ивановича. Лоснящийся от сытости и мощи, огромный, великолепный конь. Васнецов ставил Лиса в центр композиции, чтобы посадить на него Илью Муромца. Дрюша, которому неделю назад исполнилось двенадцать лет, был избран для писания Алеши Поповича. Поражал чистотою и восторженностью света глаз. И хотя двенадцатилетний мальчик мало походил на богатыря, Виктор Михайлович надеялся ухватить в нем удаль и юношескую, еще не вполне

развившуюся статью. Это, кажется, удавалось.

Холст для «Богатырей» был взят огромный. Под статью былине.

Победно вернулся Сережа: сдал экзамены. Как и положено гимназистам и студентам во время подготовки и сдачи, он, чтобы не спугнуть удачу, ванную комнату стороной обходил, а может быть, даже и не умывался. Героя отправили в баню, благо была истоплена — Сережа схитрил. Закутался в простыню и банщику Григорьеву разрешил вымыть голову и руки.

Явился он из бани столь мгновенно и такой веселый, что его обследовали, уличили и снова отправили в баню.

Сережу можно понять. Отец был в ударе, вместе с Петром Антоновичем Спиро он смешил всех до упаду, до коликов, даже Елизавета Григорьевна хохотала, отирая платком слезы. Когда бедного гимназиста выпроваживали, они как раз вымеряли свои лысины, кто кого превзошел. И все это с пением.

Охотою петь они были равны и заливались, как соловьи, и соловьи в роще тоже заливались. И мало кто догадывался, что в этих любительских сценах вызревал еще один мамонтовский дар, который проявился в его оперном деле.

Ночь выдалась необычайная. Ярко светила луна, на небе не было ни единого облака, а деревья гнулись от ветра... Ветер тоже свистел по-соловьиному.

Утром увидели: сломано два больших дерева, иные кусты вырваны с корнем или полегли, как хлеба полегают.

31 мая на Троицу день выдался холодный. Моросило через каждые пять минут, но плохой погоде даже обрадовались.

«Весь день просидели за столом с чертежами и рисунками, — записал Савва Иванович. — Все соглашались на том, чтобы выдержать в постройке стиль старых русских собориков. Церковь будет во имя Спаса Нерукотворного. В 2 часа дня вернулась мама из Введенского».

Кажется, впервые Савва Иванович назвал Елизавету Григорьевну мамой. Савва Иванович уже не считал ее молодой. В тридцать-то три года! Грустно!

Елизавете Григорьевне представили рисунки, и она указала на

церковку, похожую на Поленовскую, но с орнаментом, с удивительными старинными окнами.

— Твоя взяла, Виктор Михайлович! — обрадовался Савва Иванович.
— Мы тоже выбрали его проект.

Уже 7 июня Савва Иванович записал в «Летописи»: «Постройка церкви пошла довольно быстро. Размер, взятый 10 ар x 11 ар и кроме того алтарь 5 ар(шин). Кладка в настоящее время доведена под крышу с трех сторон, только двойное северное окно задержало кладку, но в настоящее время колонны готовы, и завтра окно будет сделано, и начнут делать своды».

В постройке церкви принимали участие все, кто жил в Абрамцево и кто приезжал. Васнецов, изобразивший на бумаге рисунки оконных рельефов, попробовал себя в качестве каменотеса. Получилось.

Вслед за Виктором Михайловичем расхрабрилась Наташа Якунчикова, за нею в каменотесы пошла Елизавета Григорьевна. Брались высекать рельефы мальчишки, увлекли азартом взрослых. Работали друг перед другом Поленов, Спиро, Савва Иванович. Приезжал потрудиться Неврев, приходила из Хотькова Вера Алексеевна Репина.

В эти как раз дни Илья Ефимович с Василием Дмитриевичем отправились по этюды и в одной деревеньке увидели на избе над окнами по всему фасаду изумительную резную доску.

Доску тотчас купили, сняли. Пообещали прислать новую. И прислали. Свою же находку принесли в Абрамцево.

Наташу Якунчикову осенило поискать по деревням необычные церковки.

— Храмы надо смотреть в Ярославле, в Ростове Великом, — сказал Савва Иванович. — Дорога, слава Богу, своя. В путь, господа!

Вечером собрались — утром в поезд сели.

Первая остановка Ростов Великий. Город древний, с каменными торговыми рядами, построенными в семнадцатом веке. Бродили по берегу озера Неро. Было оно в тот день, как зеркало, и высветил тот зеркальный игривый свет одну замечательную парочку — Василия Дмитриевича и Наталью Васильевну. Они и не смотрели друг на друга, но дыхание их все время смешивалось, и они немножко нервничали.

— Быть Якунчиковой Поленовой, а Поленову родней Мамонтовым да Сапожниковым, — шепнул Савва Иванович Елизавете Григорьевне.

Осмотрели церкви, прославленные еще во времена Смуты. Слушали службу в храме, где поляки разбили серебряную раку святого Леонтия, по кускам ее растащили.

В тот же день приехали в Ярославль. Остановились в гостинице, в самом центре города, против Спасского монастыря, сохранившего миру «Слово о полку Игореве». Прельстил Иова или Иону, точно люди уже не помнили игумена, то ли деньгами, то ли какими посулами вельможный Мусин-Пушкин, он вскоре получил место обер-прокурора Синода. Увез древнюю книгу в Москву, а Москва-то и сгорела.

— Не доверяйте ценности столицам! — изрек Савва Иванович, когда речь зашла о «Слове». — Духовность и талисманы народа нужно хранить в малых городах, в неприметных для своих и для чужих.

Дивились белому лебедю — храму Ильи Пророка, в центре Ярославля, часовенке Александра Невского, храмам над рекою Которослью, храмам за Которослью. Купола держали высоко, барабаны вытягивали в стрелочки. Барабаны эти были украшены темно-зелеными изразцами. И окна. И под каждой кровлей — поясок.

Изразцы зарисовали. Пригодятся для Абрамцева...

А тайна между Василием Дмитриевичем и Наташей становилась все более жгучей, и все уже немножко переглядывались, перешептывались.

— Каморра-каморра-каморра! — ударяя на «рр», пел странное словечко Савва Иванович.

Разговоры в поезде пошли о красоте. О красоте, как ее понимает народ и как — просвещенные классы. О красоте истинной и обманной, о человеческой и божественной.

— Помните, как влекла к себе «Грешница» Семирадского? — спросил Спиро. — Я был среди поклонников этой картины, а потом остыл и даже неловкость теперь испытываю, стыдно за слепоту.

— Чего же тут стыдиться?! — удивился Поленов. — Картина Генрихом написана дерзко. В ней так много света. Фальшь поз, фальшь и надуманность в лицах — все это обнаруживается при первом же взгляде. Но талант он и есть талант. Он сильнее наших рассуждений и даже самой правды. Я слышал, как Крамской говорил на выставке: «Эта картина приказывает молчать рассудку».

— А не будут ли когда-нибудь смеяться над нами, над нашей увлеченностью и любовью? — спросила Елизавета Григорьевна. — Над репинскими «Бурлаками», над «Московским двориком», над «Христом перед судом народа»?.. Смеются же теперь над «Последним днем Помпеи».

— Над «Помпеей» смеются ревнители реализма. Этот смех — зазнайство современности. Детский злой смех. Все встанет на свои места через пятьдесят лет. И «Помпея» будет восхищать, и «Бурлаки». О «Христе» же сказать не берусь. Все будет зависеть от религиозности

общества.

— А «Московский дворик»?

— А что вы сами скажете? — улыбнулся Поленов.

— Это будет любимейшая картина москвичей.

— Каморра! Каморра! Каморра! — напевал Савва Иванович.

Вернувшись из Ярославля, он затворился в кабинете, выходя к столу с загадочным видом и напевая новую свою песенку.

На пятый день все разъяснилось. Приглашенным в кабинет был прочитан водевиль, двухактовый, неаполитанский, навеянный ариями Петра Антоновича Спиро и влюбленными Наташей и Василием Дмитриевичем.

Действие водевиля — в Неаполе. Шайка мошенников голодает. На ее счастье является влюбленный граф Тюльпанов. Влюблен он в русскую девицу Марианну, но ее тетка Лариса Павловна желает видеть Марианну замужем за своим сыном Петром Ильичом.

Прочитали, загорелись, распределили роли. Графа Тюльпанова отдали генералу Кривошеину, за величавый вид, Марианну — Татьяне Анатольевне Мамонтовой, за очарование. Из ее вздыхателей можно было изгородь поставить. Ее рисовали все лето и Репин, и Антон, а теперь Илья Остроухов. Существо изумительно длинное и дико стеснительное. Роль тетки взяла Кукина, Петра Ильича — Репин, Англичанина в шляпе — доктор Якуб, роль воспитанницы Лидии Михайловны — Маша Мамонтова. Членами Каморры согласились быть — Спиро, Поленов, Сережа и Савва Иванович.

О строительстве церкви забыли на две недели. Шили костюмы, учили роли. Поленов писал декорацию.

Когда 24 июня занавес в сарае, превращенном в театр, поднялся, зрители ахнули и разразились овацией. Неаполитанское бездонное небо, сияющее синевою море, Везувий...

Пьеса была смешная, и зрители смеялись. Некоторые артисты тоже смеялись, что поделаешь, не могли удержаться. Роли актеры знали плоховато, и Савва Иванович — автор — хуже других.

Суфлеру приходилось через шум во весь голос кричать, актер повторял за суфлером не всегда точно, это вызывало очередную вспышку хохота. Отсмеялись, и за дело.

Пришла пора внутренней отделки храма. Пол решили выложить, как в древних греческих церквях, мозаикой. Виктор Михайлович нарисовал стилизованный цветок, а выкладывать мозаику охотников было много.

Неврев расписал клиросы, но вышло постно, скучно. Пришел в храм Виктор Михайлович, глянул и кликнул детей:

— Принесите цветов! Полевых, лесных, только в оранжерее ничего не трогайте.

Долго ли среди лета цветов набрать? Принесли несколько охапок.

Виктор Михайлович одним глазом на цветы, другим на клиросы. Так получилось весело, что клиросы без певчих запели.

Храм стал уютным, родным. Одно смущало — темновато, а в алтаре так совсем темно.

— Надо вырубить лес! — решил Савва Иванович.

— Нет, Савва! Ради Бога, не трогай деревьев, — просила Елизавета Григорьевна. — Сумрак — настроения придает. Не надо света, и так все чудесно.

Елизавету Григорьевну поддерживали Наташа Якунчикова и Васнецов.

Спиро и Савва Иванович стояли за свет.

Поленов улыбался и отмалчивался.

Иконостас тоже решили сделать своими силами, но сами же и тянули. Один быстрый Репин написал «Спаса Нерукотворного».

Еще август был впереди, а лето, такое даровитое и трудолюбивое, вроде бы и кончилось. Удивил Сережа. Написал драму «Станичники».

— Четырнадцать лет — и драма! — восхищался добрейший Петр Антонович Спиро. — Как Пушкин, как Гюго!

Драму сыграли 6 августа. Декорации написали автор и Поленов.

В эти дни торжества Антона и Сережи Илья Ефимович Репин, перебирая рисунки прошлого и позапрошлого лета, когда Антон был его тенью и двойником, наткнулся на простенькую акварельку. Сидит на лавке хотьковский горбун, кисть руки длиннющая, костыль в виде палки в плечо упирается, порточки белые. Для «Крестного хода» написан, один из толпы. И вдруг как кипятком ожгло! Горбун! Вот он ключ золотой! Не фонарь же — в самом деле — главное действующее лицо, а тот, у кого сомнения нет. И он — впереди, этот горбун... Лихорадочно собрался, этюдник на плечо — и в Хотьково, словно горбун птица какая, не улетел бы. На этот раз писал сепией. Сидящим опять-таки на лавочке. Договорился, чтобы пришел на дачу, позировал для портрета.

Горбун стал приходить.

Сначала Илья Ефимович написал одну голову. В лице — крестьянская

простота и доброе расположение к миру. На портрете иной образ. Это умный, много думавший, светлый, несчастный человек.

Эти все работы Илья Ефимович принес в Абрамцево.

— Зимой наконец-то закончу картину. Мне не доставало действия, мысли. Этот несчастный парень — оправдание всему полотну. Вот кому чудо необходимо.

Савва согласился, но, пристально посмотрев на Репина, вдруг сказал:

— А тебя, Илья, московская жизнь тяготит. Вижу — в Петербург стремишься, к Стасову.

Репин ворчливо ответил, что «Крестный ход» он напишет именно в Москве...

10

Наконец-то было получено благословение на закладку храма.

Молебен совершили в день рождения Елизаветы Григорьевны, возле белокаменных стен отстроенного храма.

Из Абрамцева в тот год уехали рано, 8 сентября. Детям надо было учиться, у Саввы Ивановича объявилось множество дел. Поленов собирался в Палестину. Уехал он в ноябре, вместе с учеными, с Адрианом Викторовичем Праховым и с князем Семеном Семеновичем Абамелек-Лазоревым. Их путь лежал в Египет, Палестину, Сирию, Грецию, Турцию. Оказалось, что экспедиция организована на деньги князя. Это был молодой образованный человек, его ожидало колоссальное наследство, но по натуре он оказался скупцом и очень радовался, когда ему удавалось что-либо купить на фальшивые пиастры, копейки, которых ходило в Палестине множество.

Чуть раньше, в октябре, Стасов и Антокольский тоже совершили поездку, но не столь экзотическую, из Парижа в Голландию и Бельгию, в основном в Антверпен. Поездка была короткой, с 11 по 15 октября, но что тот, что другой — люди неистовые — крепко разошлись по двум вопросам: о Спинозе и о Рубенсе. Стасов никак не хотел принять трактовку образа Спинозы, предложенную Антокольским, а Антокольский не принимал восторгов Стасова перед полотнами Рубенса. Стасов, вернувшись в Петербург, написал Марку Матвеевичу уничтожительное письмо о Спинозе. Антокольский, как мог, защищался и с гневом разносил Рубенса: «Когда я смотрю на целый ряд его блестящих картин, находящихся в Лувре, то берет досада, что такой гений так усердно лизал пол, на котором стоял

Медичи... После осмотра Антверпенского музея мое мнение о нем не только не ослабело, но даже, напротив, усилилось. По-моему, Рубенс в живописи то же самое, что Бернини в скульптуре: оба в высшей степени талантливы, доходят до гениальности, оба сильные, необузданные... у обоих в редких случаях проявляется внутренняя искра, но в большинстве случаев — внешняя риторика, пафос и фальшь».

Репин, посвященный в эту распрю духовно близких людей, защищал Марка Матвеевича и утихомиривал Владимира Васильевича.

«Я вижу в Антокольском последовательность развития его натуры, и напрасно Вы огорчаете его, особенно теперь, когда человек выразился ясно и полно. Может ли ему принести пользу Ваше мнение о его самой натуре? Куда он от нее уйдет? Перестать быть самим собою!! Напрасно, напрасно огорчили Вы его...» — убеждал он Стасова в большом письме, отправленном 8 ноября.

«Крестный ход» очередным напором, наскоком взять Илье Ефимовичу не удалось, признал: «И в эту зиму не кончу».

То ли уж Москва так тяготила, то ли свет заслоняли новомодные темы: «Не ждали», «Отказ от исповеди». Размеренная московская жизнь раздражала, писал Стасову: «Пора кончать эту ссылку».

Не мог оценить великого богатства обыденности, какое так просто, искренне предоставляла ему Москва. Это было не только общение с историком Костомаровым, открывшим ему глаза на запорожских казаков, но и дружба с художниками, которые славой России в ту пору не были, но картины, прославившие их имена, уже написали, — с Поленовым, с Васнецовым, с Суриковым. Он не только жил по соседству со Львом Николаевичем Толстым, но упивался беседами с ним и даже сотрудничал. Иллюстрировал повесть «Чем люди живы». Повесть эта с рисунками Ильи Ефимовича была напечатана в журнале «Детский отдых» № 12 за 1881 год. В мастерскую Репина на рисовальные штудии собирались молодые художники Остроухов, Матвеев, Бодаревский, Кузнецов, Суриков. Чего же недоставало «первому» художнику России?

Ниспровергателей высшего света? Илья Ефимович был противником монархии, но охотником до милостей. Стасову он выговаривал, когда показалось, что тот поддерживает самодержавие: «Сильно сомневаюсь я в этом одном... Национальные дела слишком серьезны, чтобы их слепо доверять одному кому-то... И что это за страсть наша — лезть непременно в кабалу каприза одного... А эта пресловутая воля народа! И где Вы ее взяли? В чем она у нас выражалась, выявлялась? Право, это-то что-то похоже на наших московских мыслителей...»

И хоть уже очень была плоха Москва для господина Репина, и мыслители все заскорузли здесь на самодержавии и народности, но ведь нет-нет да и радовала.

У Мамонтовых к Новому году решили поставить «Снегурочку» Островского.

Поленов был в Палестинах, и Савва Иванович сказал Васнецову:

— Тебе декорации писать.

— Побойтесь Бога! — взмолился Виктор Михайлович. — Понятия не имею, что это такое.

— Сережа писал, а Васнецов уж как-нибудь напишет.

Зима была снежная, морозная, но в городе где увидишь царство деда Мороза? Поехал Виктор Михайлович в Абрамцево. А оно, царство-то, как раз в Абрамцеве!

Спектакль играли в ночь перед Рождеством. Зрители, глядя на картину Пролога, задохнулись от восторга. Нежная зимняя лунная ночь, искры инея на сугробах, а на деревьях снег уже влажный.

Конец зиме, пропели петухи.

Весна-Красна спускается на землю...

От декораций, осмысленных, самостоятельных, даже театралы отвыкли. В 80-м году дирекция императорских театров издала распоряжение: «При постановках новых опер не готовить новых декораций, а обходиться тем, что есть, а также следить за тем, чтобы один и тот же актер не появлялся в течение оперы в разных костюмах».

У Мамонтова на костюмы и декорации денег не жалели. Для домашнего спектакля на единое представление в Тульскую губернию был послан человек для закупки у крестьян старинных костюмов, вышивок, домашней утвари.

Декорация Пролога изумила, а там Ярилина долина, Берендеев посад, Берендеева палата.

Каждая декорация заслужила аплодисменты, да и сам дед Мороз, которого играл Виктор Михайлович, — тоже.

О «Снегурочке» разговоров было много. И все-таки зрители недоумевали. На сцене такая красота, такие изумительные костюмы на актерах, но играют все кое-как, со смешками, с оглядкой на суфлера.

Константин Сергеевич Станиславский вспоминал о тех мамонтовских постановках: «День спектакля был содомом. Все опаздывало, ролей не

успевали выучить; Савва Иванович сам ставил декорации, освещал их, дописывал пьесу, режиссировал, играл, гримировал, при этом шутил, веселился, восхищался, сердился». На то он и любительский спектакль, чтоб любить даже промахи. Да, иные актеры говорили тихо, иные, оробев, не знали, куда девать руки, двигались бочком на деревянных ногах, но тут же блистал раскованностью, великолепием голоса, осмысленностью каждого жеста Берендей — Спиро, а если играл Савва Иванович, то он движением брови мог передать гнев и улыбкою — ужас.

Савву Ивановича не заботило, что спектакль трясло, как тарантас на кочках. Ему это нравилось. Несовместимость талантов, детскость, страх перед публикою начинающих, нелепая развязность в бывалых...

Мамонтовская «Снегурочка» при всех ее сбоях удивила Москву надолго. Спектакль остался в репертуаре кружка, и роль Мороза всякий раз играл Васнецов.

11

Поленов присылал письма из Каира, из Порт-Саида, из Иерусалима. «Лучше всего — это площадь Соломонова храма, теперь мечеть Омара, — делился он впечатлениями с матерью, с Марией Алексеевной. Она была детская писательница, ее книга „Лето в Царском селе“ к тому времени выдержала три издания. — Я торжественнее ничего не видал, разве только Эски-Сарайский холм в Стамбуле. Тоже очень хороши оливковые сады. Погода в эти дни была тоже особенная: шел все время мягкий мокрый снег, так что Иерусалим превратился в русский город. Один мужичок в тулупе стоит и крестится: „Слава Богу“, — совсем как у нас».

Мария Алексеевна вздыхала: сыну тридцать восьмой год, а все холостяк. Младший Алексей женат и счастлив. А Вася — золотое сердце, умница, красавец — неприкаянный, по белу свету мыкается.

В Москве зимняя жизнь шла своим чередом. В доме Анатолия Ивановича Мамонтова, издателя, — музыка, пение. У Саввы Ивановича рождественские спектакли отыграли — взялись за художества.

Сохранился рисунок Репина: художники в доме Мамонтова. За столом — Кузнецов, Бодаревский, Остроухов, Суриков и Савва Иванович.

Дружба Сурикова и Мамонтова впереди, а этот рисунок подписан 1 февраля 82-го года.

Репин привел Василия Ивановича чуть ли не в день его рождения 12 января.

— Послать за шампанским! — распорядился Савва Иванович, но оказалось, художники принесли с собою корзину бутылок.

В поясе Василий Иванович был тонок, как подросток. Лицо чуть с вызовом, брови поставлены широко, лоб из непробиваемых, широкий, спрятанный с двух сторон под тяжелыми прядями волос. Упрямство в посадке головы, в тяжеловатых скулах, в массивной шее, в налитых силой плечах.

— Сколько же вам стукнуло?

— Тридцать четыре.

— Уже не зелено, но очень еще молодо.

Суриков покачал головой:

— У меня двое детей, Савва Иванович. Нет, не молодо. Как оборочусь назад, — много осталось позади. А вот сделанного — нет ничего. Так что впрямь молодо.

— А «Стрельцы»?

— «Стрельцов» я своими руками загубил. Хотел, чтоб свечи были видны. Темноту развел.

— Мне Павел Михайлович рассказывал, его дочка Вера во время болезни бредила ужасным Петром. И крови-то, кажется, нет ни капли в картине.

— Ни единой! От красного бархата на земле блики, но мне самому кровь снилась, когда писал.

— Воистину русская картина. Без крови, но кровавая.

— Правда? — быстро спросил Суриков и победоносно стрельнул зоркими глазами на Репина. Тот рассмеялся.

— Я ему советовал хоть одного казненного нарисовать.

— И ведь уговорил! — недобро хмыкнул Василий Иванович. — Повесь! Я мелом нарисовал одного висельника, а тут нянька вошла. Глянула да хлоп — без памяти. Я сам-то крепко знал, что нельзя этого! Нельзя!

— У меня-то висит! — сказал Репин.

— Под окном Софьи трое висело или даже четверо, а всего в монастыре, куда ее заточил Петр, повешено было, не соврать бы, двести пятьдесят человек... Тоже картина. У меня все живы! Оттого и страшно. В тот день как раз, когда я мелком-то нарисовал, Павел Михайлович смотреть приезжал. Он даже испугался, глядя на повешенного... С понятием человек.

Василий Иванович спохватился: один он говорит... Савва Иванович понял его и чокнулся бокалами.

— Ходят слухи, вы теперь не показываете своих новых картин?

— Не показываю. Только не картин, а картину. Я долго пишу, — и опять разоткровенничался. — Сглаза боюсь. В прошлый раз, как стрельцов писал, чуть Богу душу не отдал. Ветер, дождь... Пальтишко легенькое было, а я телеги писал, грязь на колесах, дуги... Словно дуг этих для меня и не было ничего важнее.

— А может, и так, — сказал Репин. — Убери у твоего солдата, что стрельца ведет, блеснувшую шпагу — полкартины как не бывало. Ибо деталь!

— Деталь! Два месяца я лежал в горячке. Кумысом только и спасся в Самарских степях. Что это все обо мне!.. Баха бы теперь послушать.

— О ком же еще нынче говорить, — возразил Репин. — У тебя день рождения. Савва Иванович, поглядите вы на этого скромника. Ведь ему сразу две награды пожаловано: «Анна» и золотая медаль на Александровской ленте. За храм Христа Спасителя.

— Третьей степени моя «Анна», — сказал Суриков.

— Дворянство дает 1-я степень, — возвел глаза к потолку Репин, — но лиха беда начало.

— А зачем мне дворянство?! — У Сурикова даже брови сошлись. — Я — казак. Мой дед Александр Степанович полковой атаман. Суриковы с Ермаком в Сибирь пришли. Красноярский острог закладывали и в нем же бунтовали. Суриковы, Илья да Петр, названы среди воровских людей, с царскими воеводами за правду бились. У нас в Сибири своя старина и своя честь... Я, к примеру, с Многогрешными учился, с потомками гетмана.

Савва Иванович улыбался, и Суриков улыбнулся.

— Расшевелили... Ты, Илья, меня не замай!

— Да я ведь тоже казак!

— Сибирские казаки — особая статья, — и такая гордость в глазах Василия Ивановича полыхнула, куда дворянской.

— За «Меньшикова в Березове»! — поднял тост Савва Иванович.

Суриков так и подскочил:

— Знаете?!

— Как мне теперь не знать. Не положено. Ко мне аж барышень привозили: «Хороша ли?» Скажу «хороша», так и хороша.

— Я про вас мало знаю, — сказал Суриков, — а вот Павел Михайлович ужасно глазаст. Ни одной стоящей картины не упустит, хотя стоящих-то по великому счету — одна и есть в русской школе: «Явление Христа народу». Вот за кого выпить не грех. За Иванова, за славу его вечную. За вечное его учительство!

На Передвижной выставке в 82-м году Васнецов выставил «Витязя на распутье». Пророческая картина.

Птенцы гнездовья Мамонтова вставали на крыло. Репин, хоть и снял дачу в Хотькове, но дорогу себе избрал прямоезжую, как стрела, — в Петербург.

Прахов накрепко оседал в Киеве.

Васнецов писал своих огромных богатырей 295,3 x 446. Он и сам не ведал, что тоже на перепутье, что перед ним две дороги: одна в «Каменный век», другая в святой Киев. И выбора не будет, но он пройдет обе эти дороги.

Поленов привез из Палестины множество этюдов: «Храм в Эдфу», «Храм Изиды на острове Филе», «Харам-эш-шериф. Мечеть Омара», «Харам-эш-шериф. Часть дворика», «Парфенон», «Эрехтейон. Портик Кариатид». Этюды эти Василий Дмитриевич показывал у Мамонтовых, но выставил только в 1885 году. Илья Остроухов позднее скажет о том восторге, который испытывали он и его друзья-художники: «Поленов в этих этюдах открывал русскому художнику тайну новой красочной силы и пробуждал в нем смелость такого обращения с краской, о котором он раньше и не помышлял».

Сразу после возвращения в Москву Василию Дмитриевичу предложили вести в Московском Училище живописи, ваяния и зодчества пейзажный класс и класс натюрморта вместо Саврасова. И Поленов предложение принял. Занять надо было себя. Климентова, пока он одолевал горы и пустыни, вышла замуж за человека с положением, за чиновника высокого ранга, за Муромцева.

Для Абрамцева 1882 год трудовой. Перестраивали сенной сарай под мастерскую для Васнецова, для многосаженного «Каменного века».

В середине апреля установили в церкви иконостас, но было сыро, работы отложили до тепла. Тепло пришло в июне. Тогда и написала Вера Алексеевна Репина образ «Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья», Неврев — «Николу Чудотворца». Поленов на Царских вратах — «Благовещение».

Церковь освятили в июле.

Первым большим священным действием было здесь венчание Василия Дмитриевича Поленова и Натальи Васильевны Якунчиковой. Бедная Наташа пять лет ждала своего счастья. Ее молитвы были услышаны, и 6

сентября Василий Дмитриевич встал с нею перед алтарем и священником. Одного не пожелал, чтоб венец над ним держали. Венцы были сделаны по его рисункам, копия древних. И свой венец он надел на голову.

Летом же волной накатило на Абрамцево новое увлечение. Поленов затеял создать хор, пошли спевки, вещи брали сразу трудные, Савва Иванович, может, и в пику солидным хористам, из одних детей устроил оркестр мандолинистов. Концерты — благо тепло — устраивали на берегу Вори, состязались с лягушками.

Но если есть хор, есть оркестр, то почему бы не поставить... оперу. Событие предстояло замечательное — свадьба Володи Якунчикова и Маши Мамонтовой. Вот им и подарок.

23 августа в честь молодоженов в Абрамцево состоялось театральное действо. Была представлена романтическая поэма Жуковского «Камознс» о благородном полуслепом поэте — португальце, его роль сыграл вдохновенный Поленов, а роль юноши Васко Квеведо — его невеста Наталья Васильевна. Костюм у нее был чудо! Вася сочинил. Вторым номером — пьеса Саввы Ивановича Мамонтова «Веди и Мыслете», в которой роль Репина исполнял Репин, Поленова — Поленов, Васнецова — Васнецов и Неврева — Неврев. И, наконец, — опера! Третий акт «Фауста». Декорацию, сад Маргариты, шпиль немецкого городка написал Василий Дмитриевич. Мефистофеля пел Савва Иванович, Фауста — Спиро, на роль Маргариты пригласили профессиональную певицу С. Н. Вентцель, сестру Н. Н. Вентцеля. Мандолинистам Гуно оказался не по силам, пели под аккомпанемент фортепиано, за которым сидел профессор Московской консерватории В. Ф. Фитценгаген.

Гостей было много, прием восторженный. Вспомнили, что 24 марта государь отменил государственную монополию на зрелищные предприятия.

— Савва Иванович, вам и карты в руки, — предложил кто-то из доброжелателей. — Императорскую оперу тошно слушать.

— Театр — это прорва! — не согласился Савва Иванович. — Рискнуть было бы можно, но для кого стараться? Наша публика свое не любит, всякий частный театр прогорит в считанные месяцы. Вот любительские спектакли — по нашим силам, по нашим деньгам, по нашей претензии.

Заканчивалось еще одно счастливое лето Абрамцева. Репины уже складывали вещи, квартира в Петербурге была снята заранее.

В самом конце августа Илья Ефимович написал портрет Васнецова. Сказал, закончив:

— Великих пишем, а сами ведь тоже с усами! Да не оставит нас Бог, а

мы, чтоб Его не гневить, верны будем себе и своему дару.

1882 год для Саввы Ивановича и для всего клана Мамонтовых особо памятный. Завершилось строительство Донецкой каменноугольной железной дороги. Связав Донбасс с Мариупольским портом, дорога эта двинула промышленность на юг страны.

Петр Антонович Спиро подарил Савве Справочник купеческого общества за 1873 год. Справочник сообщал: «Мамонтов Савва Иванович, 31 год, купец I гильдии, потомственный почетный гражданин, в купечестве с 66 года. Жительствует в Сретенской части в приходе церкви Святого Панкратия у Сухаревой башни на Садовой улице в собственном доме. Торгует лесом. Состоит выборным от Московского купечества с 1869 года».

Савва Иванович сиял.

— Лесом мы и теперь приторговываем. Дом, правда, расстроился, было пятнадцать комнат, стало тридцать. Гласный Городской думы, действительный член Общества любителей коммерческих знаний, директор Правлений, попечитель того и сего, а слава — отцу моему! — подошел к бюсту Ивана Федоровича и поклонился. — Батюшка с деньгами расставаться очень не любил, но в Троицкую дорогу не побоялся вложить большую часть нажитого — 460 тысяч рубликов. И победил! Уже в 65-м году, когда дорога заработала с полной нагрузкой, прибыль составила 476 тысяч. Я эти цифры всегда в голове имею, господа!

С. И. Мамонтов не уставал удивлять московских обывателей. Всякое видели от своих богачей, но тут что-то особенное: и железные дороги строит, и театральные представления выдает, и художников привлекает.

А дело творится огромное, миллионы прокручиваются страшные. И все-то у него ладится. Тут нельзя не призадуматься: художников привлекает к себе безымянных, а они оказываются Васнецовыми, Поленовыми, а сам Савва Иванович — провидцем и знатоком отменным... Разгляди-ка в гадком утенке лебедя!

Заканчивая годовую летопись мамонтовской жизни, не обойдем все же главных событий 1883 года. Начался год постановкой «Алой розы». Этот спектакль не был особо выдающимся. Ставился он так же наспех, как и все прочие театральные творения Саввы Ивановича.

Воспользуемся снова свидетельством Константина Сергеевича

Станиславского, участника большинства фестивалей на Садово-Спасской.

«Спектакль репетировался, обставлялся в смысле декорационном и костюмерном в течение двух недель, — писал он в своей знаменитой книге „Моя жизнь в искусстве“. — В этот промежуток времени днем и ночью работы не прекращались, и дом превращался в огромную мастерскую... Кто растирал краски, кто грунтовал холст, помогая художникам, писавшим декорации, кто работал над мебелью и бутафорией... На женской половине, тем временем, кроили и шили костюмы под надзором самих художников... Вся эта работа дома протекала под грохот и стук плотницких работ, доносившихся из большой комнаты-кабинета — мастерской самого хозяина. Там строили подмости и сцену. Не стесняясь шумом, один из многочисленных режиссеров спектакля тут же, среди досок и стружек, проходил роль с исполнителями. Другая такая же репетиция устраивалась на самом проходном месте у парадной лестницы. Со всеми недоразумениями по актерской и режиссерской части бегали вниз к главному режиссеру спектакля, то есть к самому Мамонтову. Он сидел в большой столовой, у чайного и закуского стола, с которого весь день не сходила еда. Тут же толпились постоянно приезжающие и сменяющие друг друга добровольные работники по подготовке спектакля. Среди этого шума и гула голосов сам хозяин писал пьесу, пока наверху репетировали ее первые акты. Едва законченный лист сейчас же переписывался, отдавался исполнителю, который бежал наверх и по непросохшей еще новой странице уже репетировал только что вышедшую из-под пера сцену. У Мамонтова была удивительная способность работать на народе и делать несколько дел одновременно. И теперь он руководил всей работой и в то же время писал пьесу, шутил с молодежью, диктовал деловые бумаги и телеграммы по своим сложным железнодорожным делам...»

«Алая роза» — пьеса по сказке Аксакова «Аленький цветочек». Савва Иванович ради живописности перенес действие в Испанию, поменял скромный российский аленький цветочек на пышную розу.

Поленов написал две изумительные декорации: «Вечер. Летний сад с видом на Кордову» и «Лунная ночь в парке». Об этой постановке сохранился отзыв сестры Василия Дмитриевича художницы Елены Дмитриевны. «Декорации были удивительно удачны, — писала она своей знакомой, — костюмы великолепны, да и пьеса талантливо поставлена... А что всего милее, это то, что главные роли были исполнены детишками и подростками».

Пьеса так хорошо сладилась, в ней столько пели, что Савва Иванович загорелся переделать ее в либретто оперы. Среди служащих Донецкой

дороги нашелся композитор Николай Сергеевич Кротков. Он имел музыкальное образование, учился в Венской консерватории у знаменитого Брамса. Кротков взялся написать музыку, а Савва Иванович начал готовить труппу.

Для драматического спектакля артистов найти проще, половину алфавита человек выговаривает — и ладно. А в опере — петь нужно. Зарываться Савва Иванович не стал, выбрал для начала что полегче, комическую оперу О. Николаи «Виндзорские кумушки». Впрочем, для репетиций пригласили двух профессоров Московской консерватории госпожу М. М. Милорадович и уже известного В. Ф. Фитценгагена. Савва Иванович пел трудную партию Фальстафа. Получалось не просто хорошо, но и с блеском, каждая фраза отточена, слово, как кристалл, гранями сияет... Сил любителей не хватило, но когда есть деньги — трудности одолимы. Пригласили молоденьких ученики консерватории, и среди них талантливую Татьяну Любатович, пригласили струнный квартет Большого театра.

Пришла весна. Мамонтовы перебрались в Абрамцево, туда же наезжали для репетиций певцы и музыканты. Дом стал звучащим.

Спектакль объявили на 20 мая, и снова началась безалаберная кутерьма: нужно было успеть пошить костюмы, переделать сцену в сарае, научить хористов не стоять и петь, а петь и участвовать в действии.

А тут и сама Москва пришла в необычайное движение. Охорашивалась, скреблась, отмывалась, и все как на пожар. Да и было отчего поспешать. 15 мая — коронация! Александр 111, после двух лет борьбы с террористами, согласился наконец, что страна успокоена, безопасна, и потому возможно и нравственно совершить древний обряд венчания шапкой Мономаха.

На коронацию приглашались гости, слава и гордость Отечества, а в Абрамцеве был свой праздник. 11 мая приехал Антокольский. Едва он вошел в дом, как разразился ливень. Небо сотряслось от первого грома, сияло солнце, и стихи Тютчева сами собой слетали с языка.

На пир весны прикатили вечером Прахов и Кривошеин.

Милых сердцу друзей Савва Иванович угостил обедом, меню которого он составил сам: суп из лебедя, щуки и рака, телячьа головка, дичь из «Московских ведомостей», каша из манны небесной. На десерт: дули и

фиги. Вино из погреба Ноя...

— Савва! — несмеющиеся глаза Антокольского смеялись. — Савва! В Абрамцеве я снова Мордух. А ведь я приехал в Россию не только для того, чтобы поставить в Петергофе Петра Великого, но и получить пенсию.

— Так ведь не по старости.

— Пока что не по старости. Савва, мне в ноябре будет сорок лет.

— А мне в октябре еще только сорок два!

Ночью грянули соловьи.

— Господа! — вдруг догадался Савва Иванович. — Эти двое, что друг перед дружкой... Это у них учеба идет! Молодой перенимает у мастера. Вот! Это молодой! А это... Это маэстро! Патти, Лукка и Виардо, слитые воедино.

— Да это же самцы поют! — засмеялся Прахов.

— Серебро у них женское. Тургенева жалко, — сказал вдруг Савва Иванович. — Ох, Россия, Россия! Кого постреляют, кого в тюрьму упекут, а этого умыкнули, как красну девицу... Большой писатель пропал.

— Во всех этих повестях, написанных за границей, в этих «Дымах», «Новях» от прежнего Тургенева — только тень: ни языка нет, ни мысли — не возражайте! — русской мысли там не ночевало. Русского человека тоже там нет, одни имена русские, одни догадки о русском человеке. Свистнул его соловей и улетел между ног. Помните?

— Я слышал, Иван Сергеевич очень плохо себя чувствует, — сказал Прахов.

Все посмотрели на парижанина Антокольского.

— Да, я тоже слышал... Он очень плох.

Принесли свет, но читать расхотелось.

— Достоевского уже нет, — сказал Савва Иванович. — Как мало его ценили, когда он был... А я вот на Тургенева нападаю. Глупые мы люди, современники... Среди всего человечества глупее современников не бывает.

15 мая ранним утром Сергей отправился в Москву. Савва Иванович достал ему билет в Кремль, на коронацию. Чуть позже уехала в стольный град Елизавета Григорьевна с детьми. Смотреть иллюминацию.

Савва Иванович остался в притихшем Абрамцеве с Антокольским. Шел дождь, и Савва Иванович в блаженной тишине и радости лепил

барельеф со своего великого гостя.

— Я тоже два горельефа начал, — сказал Марк Матвеевич. — Один — «В неволе»... Что-то в виде окна, женщина за железным прутком, другой — «Офелия». Красивое тонкое лицо. Из тех, что нельзя забыть, а позади листья в виде бамбука или камыша.

— А «Мефистофель»?

— Перевел в бронзу. Я бы хотел его на Передвижной выставке показать. Не получается... Мефистофель — не Христос. Цензура. Да и с передвижниками не договоришься. Стасов хлопочет.

«Мефистофеля» Петербург увидит только в 1886 году, в «Эрмитаже», а еще через несколько лет им будут восхищаться в Вене, в Берлине. Австрияки наградят «Мефистофеля» Большой золотой медалью, немцы изберут автора Почетным членом Берлинской академии художеств.

— Ты Елизавете Григорьевне написал о Мефистофеле так же сильно, как сработал, — сказал Савва Иванович. — «Мефистофель есть продукт всех времен и нашего в особенности». Он есть «загадочность, чума, гниль, какая носится в воздухе», «злоба без дна, способность гнездиться в больном теле с разлагающейся душой».

— Разве это не так, Савва? Мне в Париже очень хорошо видно, что происходит с миром. Он — там, но он скоро будет и здесь.

— А мы его крестом! А мы его любовью! Ты меня любишь? И я тебя люблю. Нас-то он не возьмет... По крайней мере, он сегодня не здесь, не в Абрамцеве, — усмехнулся Савва. — Мы о высшем, а бедному народу моему Господь полковничка послал в цари. Говорят, пятаки пальцами гнет. Уж кто сегодня в восторге, так это Суриков, казак монархолобивый.

Суриков получил приглашение быть в одном из залов Кремлевского дворца для лицезрения венценосца. Он рассказывал позже об Александре: «Я ждал, что он с другого конца выйдет. А он вдруг мимо меня: громадный, — я ему по плечо был; в мантии, и выше всех головой. Идет и ногами так сзади мантию откидывает. Так и остались в глазах плечи сзади. Грандиозное что-то в нем было».

Своеобразное участие в праздновании принимал Васнецов, он нарисовал красочные меню царских обедов: 20, 24 и 27 мая.

Через три года Репин по заказу из дворца о днях коронации напишет огромную картину «Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве».

— Знаешь, Мордух, — сказал вдруг Савва Иванович, — я внутренне чувствую — это пока что не мой царь. Мой царь впереди. Я в смысле того, чтобы стать где-то поблизости от трона, упаси Боже, не для регалий или

титулов, а чтобы делать государственное дело, чтобы размахнуться по-петровски. Думаю, ты представляешь, сколько бы я мог принести пользы.

— А что мне тогда сказать? — грустно улыбнулся Марк Матвеевич. — Александр Александрович, сколько известно, не переносит евреев. К его брату, цесаревичу Николаю, умершему, даже светил-врачей из евреев не приглашали... Романовы все такие. И однако именно Александр Александрович дал мне профессорскую пенсию.

— Кошмар с этой коронацией! — В сердцах Савва Иванович обидчиво сел и скрестил руки на груди. — Двадцатого спектакль, а все мои консерваторочки и весь оркестр на коронации! — И засмеялся: — Как-нибудь вывернемся.

До премьеры в Абрамцеве отметили еще одно праздничное событие — 18 мая. День рождения Дрюши. Ради праздника Дрюше дали отпуск из его Кадетского корпуса.

Сережа в этот день приподнес брату стихи:
Нынче генералу Дрюше 14 лет,
И ему поздравление приносит поэт.
Желает счастья и благополучия
В грядущие годы самые лучшие.
Генералом-фельдмаршалом пусть будет Андрей,
Пусть идет по военному поприщу бодрей,
Пусть скорей достигнет величья и славы
Юный кадет Андрей, сын Мамонтова Саввы.

Итак, один сын собирался быть поэтом, другой — фельдмаршалом... А Савва Иванович — артистом... «Виндзорские кумушки» прошли с успехом. Савва Иванович всех удивил своим пением, но еще более игрой артистов. Пели и жили, пели и проказничали... Слушателям было смешно, а от музыки и пения радостно.

Абрамцевское лето покатилося радостное, трудящееся. Васнецов написал для храма икону Сергия Радонежского с тоненькой березкой. Поленов — «Тайную вечерю» и покровителей Шуры и Воки — «Царицу Александру», «Князя Всеволода».

Раскрашивали и обжигали изразцы для внешнего убранства храма. Васнецов все лето творил «Каменный век», двадцатипятиаршинное панно для только что выстроенного Исторического музея, но он нашел время и для портрета Антокольского, для портрета Тани Мамонтовой. По его

рисункам построили беседку в виде языческого капища. Дети эту беседку тотчас узурпировали у взрослых и назвали по-своему: «Избушка на курьих ножках».

Великолепные успехи сделал за лето Аполлинарий Васнецов. Написал чуть ли не сотню этюдов. А Поленов принялся за акварель, заказанную Александром III еще во время Балканской войны.

2 сентября умер Тургенев. О последних часах Ивана Сергеевича писало «Новое время». Тургенев в предсмертные часы говорил только по-русски, по-мужицки, ему представлялось, что он простолюдин. Потом он стал звать к себе: «Ближе, ближе, пусть я всех вас чувствую около себя. Настала минута прощаться... как русские цари. Царь Алексей... Алексей второй...» Увидел Полину Виардо, восторженно воскликнул: «Вот царица цариц, сколько добра она сделала».

Елизавета Григорьевна попросила священника отслужить в Абрамцевском храме панихиду по усопшему. Савва Иванович, Васнецов, Поленов, Остроухов устроили тургеневские чтения. Декламировали стихи, стихи в прозе... Савва Иванович читал «Порог», стихотворение было написано после выстрела Веры Засулич в Трепова.

Металлически-звеняще произнес Савва Иванович конец стихотворения:

«— Знаешь ли ты... что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь?»

— Знаю и это. И все-таки я хочу войти.

— Войди!

Девушка перешагнула порог — и тяжелая завеса упала за нею.

— Дура! — проскрежетал кто-то сзади.

— Святая! — пронеслось откуда-то в ответ».

— Да, господа! — сказал Савва Иванович. — Завеса упала еще за одним из великих... Можно издавать полное собрание сочинений.

И прочитал горестно, отчаянно, до слезы:

Вспомнишь обильные страстные речи,
Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
Первые встречи, последние встречи,

Тихого голоса звуки любимые.

Василий Дмитриевич Поленов нашел свое счастье, а вот Илья Ефимович растерял. Семейный разлад с Верой Алексеевной кончился разводом.

Летом Репин был со Стасовым в Испании и в Голландии. Вернувшись, он писал Василию Дмитриевичу: «После Мадрида я почувствовал себя тем блаженным правоверным мусульманином, который побывал в Мекке и удостоился носить чалму. Я даже подумываю серьезно: не носить ли мне испанской шляпы...» Письмо о Веласкесе, о Мурильо, Хуане Вальдесе, о Гальсе, а в конце письма просьба: «Кланяйся, пожалуйста, всему милейшему Абрамцеву, часто я вспоминал вас всех, особенно Савву Ивановича, когда ехал от „Севиля до Гренады“. Дивный инструмент гитара! Как хорошо иногда играли испанские нищие, особенно в две гитары, одна — выше строем, коротенькая, другая — обыкновенная. Просто заслушаешься... Не от Саввы ли Ивановича я получил в Мюнхене в Байришергоф листок белой почтовой бумаги? Я думаю, это он подшутил. Но как он угадал, что я остановлюсь в этом отеле?»

Мамонтов со своим бронхитом ездил в Италию, а осенью с головой ушел в постановку оперы «Алая роза».

В Италию же по совету Антокольского отправился Поленов с молодой женой. Не ради свадебного путешествия и удовольствия, а собирать материалы для картины «Христос и грешница».

Наталья Васильевна писала Елене Дмитриевне Поленовой о решительности Василия Дмитриевича создать значительную картину: «Антокольский много с ним говорил, так поднял его дух... отрешил его от всех мелочей и дрязг... Редкий человек Антокольский... Он тут на всех так чудесно подействовал, он сам так высоко настроен».

Видно, и впрямь пришло время дальних дорог, напророченных «Витязем на распутье». Суриков в это время тоже совершал семейную поездку по Европе. Осматривал картинные галереи Германии, Парижа, а на зиму перебрался в Рим. Спасибо Третьякову. За картину «Меншиков в Березове» Павел Михайлович заплатил пять тысяч.

Если Суриков для Мамонтова всего лишь потенциальный зритель, то в

Репине он потерял актера, а в Поленове и того больше — декоратора, композитора, артиста, половину души всех спектаклей, всех радостных предприятий. Для оперы Базиль был бы так необходим! Но даже находясь за тридевять земель, этот чудо-человек сумел-таки участвовать в «Алой розе». И не только декорациями. Изумительной беломраморной лестницей в волшебном лунном свете. Он подарил дому Мамонтовых своего ученика, рекомендовал его для писания декораций. Имя двадцатидвухлетнего ученика — Исаак Левитан. Исаак Ильич писал декорацию волшебной залы в замке Чудовища по эскизу Васнецова.

О том же, какие хлопоты в создании оперного спектакля пришлось на долю Саввы Ивановича, Елизаветы Григорьевны, Елены Дмитриевны и прочих, прочих, лучше всего судить по письмам.

8 ноября 1883 г.

С. И. Мамонтов — Н. В. Поленовой

«Здравствуй, любезный друг Наталья! Читал твое письмо из Вены. Вкусно пишешь — у меня даже слюнки потекли. Захотелось вон из холодной, туманной Москвы... Я последнее время сильно погружен в каменный уголь вперемежку с „Алой розой“. А ведь сия последняя двигается преисправно, и напрасно вольтерианцы утверждают, что она делается кое-как. Кротков идет сильными шагами: написал очень красивый дуэт отца Бьянки, который так и хочется постоянно напевать... Митричу мой дружеский поцелуй, навеки нерушимый. Желаю ему высоко поднять свой дух, отряхнуться и, дав простор вдохновенью, подарить нас чем-нибудь торжественно прекрасным».

28 декабря

Е. Г. Мамонтова — Н. В. Поленовой

«В доме у нас каждый день репетиции, то одна антреприза, то другая, т. е. Савва и Сережа. Сергея ужасно жаль... вся его компания жаждет играть, и ничего не выходит, так как взрослые заняты оперой. Наконец мы сегодня сжалились над ними и предложили повторить „Снегурочку“, так, запросто, между своими. Они ухватились за это. Васнецов, конечно, тотчас увлекся, и пошла работа, всех актеров собрали... Спиро будет играть царя... а Весну, нечего делать, беру я на себя. Сергей будет Мизгирем...»

31 декабря

С. И. Мамонтов — В. Д. Поленову

«Хочется написать тебе длинный и подробный ответ, но, сказать по правде, репетиции „Алой розы“, постановка и всякие хозяйственные хлопоты (не говоря уже об железных дорогах, которые все-таки забывать не приходится) настолько абсорбируют меня, что я не найду времени

расписать тебе все как следует...

Опера наша вышла сверх ожидания так интересна, что можно смело сказать, что в сокровищницу русского творчества поступает новый и небезынтересный вклад, и я хожу по этому случаю именинником...»

1 января 1884.

«Особенно сильны и прямо художественны вышли сцены Бьянки с Чудовищем. На роль Чудовища нам Бог послал такого роскошного баритона (М. Д. Малинина — бухгалтера, служившего у Алексеевых. — В. Б.), о каком я и не мечтал — художника в полном смысле. М-м Галенбек в роли Бьянки очень деликатна и изящна и достойно увлекается. Сегодня первая оркестровая репетиция — любопытно, что выйдет. Бен-Саида поет твой брат Алексей, донью Хименес — его жена. Васнецов написал для волшебной залы новую декорацию — готика со сводами и разными волшебными страхами, например, на правом кулисе огромная химера держит герб чудовища...»

1 января

Е. Г. Мамонтова — Н. В. Поленовой

...«Вчера раза три принималась я за письмо к тебе, и все напрасно... Буквально с утра до вечера провозилась с костюмами, а ведь ты знаешь, как это происходит, каждый является со своим требованием, а особенно Спиро, с ним просто беда, но дело у нас идет очень весело, ужасно много комических происшествий, а следовательно и смеху... Что тебе сказать об нашей настоящей жизни?.. После завтрака приезжает Ел. Дм., и у меня в спальней на полу открывается мастерская вплоть до обеда. После обеда одевать актеров и репетиция, до третьего часа и почти положительно каждый день так».

5 января 84.

Е. Г. Мамонтова — Н. В. Поленовой

«Вчера мне принесли твое письмо в очень критическую минуту, а именно в то время из меня делали Весну для „Снегурочки“... Виктор Михайлович так увлекся постановкой, как только он один и умеет увлекаться, а за собой и нас всех увлек. Бедная „Алая Роза“ отошла для нас даже на второй план. Какого царя Берендея создал Спиро — чудо!...»

9 января

Е. Д. Поленова — Н. В. Поленовой

«Ну, Наташа, уж и „Роза“ же вышла! Представь себе, идет опера при стечении публики более ста человек — вся музыкальная Москва налицо: и Эрдмансдерфер, и Павловская, и прочие, которую оперу сам композитор слушает в первый раз. Так как она до дня спектакля не была еще вся готова,

то не только генеральной репетиции не могли дать, но даже ни на одной не прорепетировали ее всю с начала до конца; поэтому она не только была новинкою для публики и для всех участвующих, но и для самого тревожно дирижировавшего сочинителя. Сегодня утром была у Николая Сергеевича Третьякова... Я спрашиваю его о впечатлении... „Очень, — говорит, — многое мило, интересно, симпатично, но вместе с тем писать оперетку в четыре действия и так, чтобы она шла от восьми часов вечера до двух часов ночи (это правда), согласитесь, это несколько жестоко“. Нельзя было не согласиться. Кроме того, шла она не гладко, сбивались, ввали — Савва Иванович и Петр Антонович — безголосые, за них страшно, ждешь каждую минуту, что вот-вот и со скандалом все вдруг станет...»

Почему-то биографы Мамонтова оставляют последнее письмо без внимания и пишут об успехе оперы, о единодушном чествовании Саввы Ивановича. Это верно, Прахов славил своего друга стихами, поздравляли радетеля искусств дирижер симфонического оркестра Максимилиан Карлович Эрдмансдерфер, певицы Климентова, Павловская. Восхищаться было чем: изумительно спела партию Бьянки Галенбек, публика приходила в восторг от декораций, от костюмов, но единого спектакля, конечно, получиться не могло, если даже композитор слушал полностью свою оперу впервой, но коли любители допели четырехактную оперу до конца, так и слава им!

Сил и нервов было затрачено исполнителями так много, что Галенбек занемогла. Требовался отдых Савве Ивановичу, хворала Елизавета Григорьевна.

Мамонтовы отправились в Италию, к Поленову.

Письма Натальи Васильевны Елене Дмитриевне тотчас становятся тревожными: «Василий кутит во всю мочь, то есть летает с Саввой... Ты себе представить не можешь, каким тяжелым духом повеяло на меня с приездом Саввы... Первое впечатление, как всегда, обаятельное, но затем, когда хочется чего-то более глубокого, серьезного, тогда уже пас. При этом эта страшная избалованность, эгоизм и (скажу даже) грубость чувств. Как сильно рядом контрастно выделяется нравственная сила Лизы».

Василий Дмитриевич пишет завет Веры, самую великую картину своей жизни «Кто без греха».

Эскизы Савва Иванович, однако, разбирал так «искренно и непустословно», что Наталья Васильевна не могла не порадоваться. «Все это придает Василию нового рвеня, — писала она Елене Дмитриевне, — и он со своей стороны вдохновляет Савву на новые сюжеты для оперы».

Тревога Натальи Васильевны понятна. Муж попал в водоворот

неистового Саввы и картину свою забыл. Римский кружок художников, где верховодили братья Сведомские, казался болотом, «вязнешь в цинизме, умственном оупении и пьянстве». Суриков хоть и стал ручным, но человек все-таки дикий. Прочитал статью Боборыкина, которому показалось, что в этюде старика Суриков чересчур следует Репину «в выписывании мозолей, багровых пятен и грязного белья» — пришел в неистовство: «Мы думали, что он все у нас перебьет». А теперь еще Савва, которому все надо видеть, везде быть, мчаться, бежать, пировать, шалить совершенно глупо и по-детски.

И планов у него уйма. И везде он хочет поспеть, сделать по-своему. Однажды совсем озадачил Наталью. Спросил неожиданно: прогорит ли его опера или выстоит? Наталья не поняла, о какой опере идет речь. Оказывается, Савва задумал создать свою частную оперу, оперный театр. Наталья охнула, но предсказательницей быть отказалась. «Я — не Сивилла, а легкомысленной быть, как ты, не хочу!»

— Вот видишь! — радовался Савва Иванович. — Легкомысленный! Но не все такого мнения, Наталья. Меня недавно к умнице Витте приглашали. Весь цвет русской промышленности был. Обсуждали вопрос: налагать пошлину на ввозимый в Россию каменный уголь и чугун или подождать? И знаешь, Наталья, я говорил, и меня слушали. А говорить было не просто. В одном стане — немцы, иностранщина, все наши паразиты, а в другом — русские производители. Энергичные люди есть среди русских, легкомысленных. Прения получились в высшей степени деловые, а главное, остроумные. Остроумные, Наталья! Это ты тоже себе отметь. Общее впечатление у меня осталось отрадное: в России есть силы могучие, их надо только вызвать к работе, ко благу Отечества, — и расхохотался. — Что ты рот раскрыла? Ну, говори, быть опере или не быть?!

— Пусть лучше будет.

— Золотые твои слова! Дай ручку поцеловать!

И тут уже начиналось скоморошество, как в оперетке.

Шумановский «Манфред», который Савва Иванович поставил в марте, в годовщину смерти Николая Рубинштейна, — стал Рубиконом. Успех подвигает на дерзания.

Но пришла пора ехать в Абрамцево, и все пошло по накатанной

дороге.

В «летописи» Саввы Ивановича читаем: «Еще ни разу за нашу 15-летнюю жизнь в Абрамцеве не было такого лета. Весна была холодная и мокрая, весь май, июнь, июль шли непрерывно дожди, реки то и дело превращались в бурные потоки... На ржаном поле плешины от вымочки, пшеница совершенно пропала. Овес насилу отсеяли в начале июня. Травы от дождей отличные, но уборка самая обидная... В начале лета приехал Антокольский, погостил две недели и уехал на кумыс... Васнецов все лето прожил в своем Яшкином доме и писал „Каменный век“ для Исторического музея... В начале июня приехал Валентин Серов и до сегодня пребывает, обольщая всех разнообразными талантами.

В конце июля завел разговор об каком-нибудь представлении и по обыкновению состряпал наскоро 2-х актную пьеску „Черный тюрбан“, а Кротков смаху сочинил несколько номеров музыки. Спиро разыграл хана Намыка, Антон Серов в роли Моллы обольстительно плясал, как танцовщица. Малинин играл роль 1-го любовника и красиво пел свои арии. Все дети играли феррашей с деревянными мечами и пели хоры и маршировали. И. С. Остроухов поразил всех своей впечатлительной фигурой и бессловесной ролью палача. Публики было не особенно много (август), но хохоту и удовольствия было много, В. М. Васнецов сочинил и нарисовал очень талантливо афишу. Декорации были написаны Серовым и Остроуховым. Дрюшка был так же очень хорош в роли зрителя гарема Али Гуссейна».

О Частной опере ни в строках, ни между строк помину нет.

Лето ужасное, но для крестьян.

У Мамонтовых весело. У Мамонтовых домашний театр. Одна Елизавета Григорьевна не вполне довольна. «У нас идет такая суета, страх, — сообщает она Наташе Поленовой о постановке „Черного тюрбана“. — Репетиции каждый вечер, пишут декорации, рисуют афиши, шьют костюмы... Одним словом, шум и суета с десяти утра до двух ночи. Я хотя подчас всем этим и очень утомляюсь, но отсутствие вечного чужестранного элемента меня сильно радует. Жаль только, что детям приходится работать над такую глупой вещью. Дрюша так хорош, что хотелось бы его силы приложить к чему-нибудь более серьезному. Беда моя, что я не могу просто относиться и веселиться со всеми заодно... И здесь опять несу роль полиции и цензуры. Савва так увлекается, что совсем теряет меру и заставляет детей говорить и петь совсем неподобающие вещи, а меня это возмущает, и я воюю. Много кое-что за эти дни отвоевала...»

Чужестранный элемент, отсутствию которого Елизавета Григорьевна

радуется, это приглашенные со стороны певцы и музыканты, наполнявшие дом во время постановки «Алой розы».

1 сентября, в день рождения Елизаветы Григорьевны, среди гостей — Антокольский, он вернулся с кумыса и направляется в Биарриц для дальнейшего лечения. Здоровье пошатнулось, а дела идут хорошо. В мае в Парижском Салоне выставлял «Спинозу» и «Мефистофеля» — успех, начал «Христианскую мученицу», или «Не от мира сего».

— Наверное, уже готова, а облизывать пять лет будешь, — усмехнулся Савва Иванович.

— Может быть, и пять, — согласился Мордух.

...Завершит «Христианскую мученицу» Антокольский только в 87-м году, а в 93-м ее приобретет Павел Михайлович Третьяков. «Мученица» и впрямь окажется мученицей. Статую в Петербурге уронят, она расколется...

Антокольский уехал, а на порог — новый гость.

В чудные сентябрьские дни 1884 года у Мамонтовых в Абрамцево четыре дня жил Суриков с женой и детьми.

3

О том, что будет опера, Савва Иванович объявил неожиданно, за обедом, когда никого чужих не было, если не считать ставшего своим Кроткова.

— Мама, мы завтра едем в Киев, а потом, пожалуй, и в Тифлис, — сказал Савва Иванович.

И назавтра уехали. Набирать актеров.

В Киеве были недолго, а в Тифлисе задержались. Савва Иванович увидел на сцене знакомое лицо.

— Татьяна Любатович, — показал он Кроткову, — мне ее из консерватории присылали для «Виндзорских кумушек». Послушаем, что случилось с девой.

Давали «Кармен». Сразу стало ясно. Хозе без голоса, отбывает номер, сопрано — Микаэла тоже пустое место.

— Одна Любатович оперу на себе везет. — Савва Иванович растрогался. — А бас-то у них хороший. (Заглянул в программу.) Цунига — Бедлевич. Подходит?

— Очень уж молодой, — посомневался Кротков.

— Так и слава тебе Господи! Нам, Кротков, глина нужна, материал

податливый...

Через день слушали «Русалку». Любатович пела Наташу.

— Мы начнем с «Русалки», — сказал Савва Иванович. — Смотри, Кротков, слушай. Не грех и записать, если будет что-то, достойное внимания.

О Любатович сказал:

— Искренний человек. Пение истинно русское, задушевное. Узнай, Кротков, каково ее жалованье, какую неустойку надо будет платить.

Были еще на «Евгении Онегине». Любатович пела Ольгу.

— Она моя! — сказал после спектакля Савва Иванович. — Изящно вела роль. Игриво, но деликатно. Она моя, Кротков. Меццо-сопрано у нас есть.

К певице Мамонтов приехал на квартиру. Высокая, тяжелые богатые волосы, собранные в косу. Лицо русское, милое.

— Здравствуйте, Татьяна Спиридоновна! Я за вами.

— За мной?!

— Я хочу увезти вас в Москву. Открываю Частную оперу.

Пауза была такая короткая, но молния проскочить успела.

— Я согласна, — сказала Любатович и вспыхнула, и, чтобы хоть как-то объяснить свою несерьезность, улыбнулась: — Я помню наших «Кумушек».

— Мне нужен еще Бедлевич. Вот условия контракта. Труппу беру на три сезона.

Жалованье Савва Иванович предлагал не очень большое, но пожить на одном месте для кочующих актеров было соблазнительно.

Савва Иванович любил ковать железо, пока оно горячо. Вернувшись в Москву, тотчас отправился в Петербург. Певец, студент консерватории Ершов, уже принятый в Театр Кроткова, нашел замечательное сопрано, дарование, совершенно неиспорченное сценой. Этим дарованием оказалась, как и сам он, студентка Петербургской консерватории Надежда Васильевна Салина. Девятнадцать лет, сильный голос, красота молодости.

К Салиной Савва Иванович тоже явился на квартиру вместе с Ершовым. Она открыла дверь, и сердце у нее дрогнуло от неведомых предчувствий. Этот плотный, с тяжелым взглядом человек прошел в ее комнату по-хозяйски.

— Ну-ка спойте мне что-нибудь, — сказал он бесцеремонно, но как-то по-свойски, как равный. Увидел на рояле открытый клавир: — «Русалка»! Это знак! Первое трио знаете?

Обомлевшая Наденька только головой кивнула.

— Аккомпанировать можете?

— Могу.

— Тогда начнем поскорее. Ершов споет Князя, я подтяну Мельника.

Наденька села к роялю, поставила ногу на педаль: дрожит.

Спели. Мамонтов посмотрел в глаза певице:

— Я пришел пригласить вас для большого дела, Наденька. Есть русские композиторы, есть замечательные русские голоса, но русской оперы нет. Это несправедливо. Я зову вас потрудиться вместе со мною над русской оперой.

— Но я не умею!.. — Наденька дрожала. — Моя мама была актрисой, я выросла в театре, но я всегда боялась сцены. Я хочу закончить консерваторию.

— Великолепно! — воскликнул Мамонтов. — Не были на сцене, значит, не надо вышибать из вас заученных шаблонов. Можно только радоваться, что вы не закончили консерватории. Закончить нашу консерваторию — это означает превратиться в посредственность. Голос у вас природный, сцена доведет его до совершенства. Я одно обещаю твердо: у нас вы станете художником. Консерватория через год-другой превратит вас в скверно поющую куклу. Наденька, вы нужны Частной опере. Решайтесь, и как можно скорее.

Первая репетиция состоялась в доме Дюгомеля на Никитском бульваре. Группа солистов оказалась очень небольшой. А. Галенбек — драматическое сопрано, Л. Пальмина и Н. Салина — лирическое сопрано, Т. Любатович — меццо-сопрано, В. Гнучева — контральто. Тенора — Г. Ершов, Н. Миллер, баритональный тенор — Л. Лавров. Баритоны — М. Малинин, А. Державин, Г. Горячев. Басы — А. Бедлевич, М. Скуратовский, бас-профундо — С. Власов. Дирижером был приглашен Иосиф Антонович Труффи, без итальянца не обошлось.

К удивлению артистов, Савва Иванович волновался.

— Господа! О Театре Кроткова знаем пока что мы с вами. Для зрителя театр — новость, и только от вас зависит, будет ли эта новость приятной. Без репертуара начинать дело нельзя. Надо подготовить по крайней мере три спектакля. Предлагаю избрать нашей визитной карточкой «Русалку», с нее начнем. Вы должны помнить, господа, мы не только Частная опера, мы прежде всего — русская опера. Приучить москвичей к русской опере

непросто, а чтобы зритель все-таки шел в наш театр, возьмем «Фауста» и «Виндзорских кумушек». Хочу сразу же сообщить о безусловном и обязательном для всех требования. Каждый участник нашего спектакля должен знать оперу от первого взмаха дирижерской палочки в увертюре до последнего в финале. Опера — не концерт в костюмах на фоне декораций. Придет время, оно не за горами, когда театр, по крайней мере, драматический, станет храмом для большинства народа. Драматическому театру, однако, никогда не сравниться с оперой по силе воздействия на чувства. Опера должна стать проповедью красоты. За работу, господа!

Тотчас началась репетиция. Распределили роли. Мельник — Бедлевич, Князь — Ершов, Наташа — Салина, княгиня — Любатович, Ольга — Пальмина. Чтобы другим членам труппы было над чем работать, распределили роли и в «Фаусте»: Фауст — Миллер, Мефистофель — Скуратовский, Маргарита — Галенбек, Зибель — Любатович, Валентин — Малинин.

Для молодых актеров все это было, как сон. Они сразу становились примадоннами, премьерами и в то же время — учениками. Для начала пришлось выслушать урок истории...

Поздно вечером Савва Иванович приехал на Первую Мещанскую, где было снято помещение для художников. Застал Янова, Левитана, Чехова, Симова. Художников прислал Поленов из своего училища.

— Тесновато, темновато, — сказал Мамонтов. — Распоряжусь, чтоб ламп и керосину не жалели.

Посмотрел лежащие на полу холсты.

— Это мое, — сказал Янов. — Я терем пишу.

— По цвету вкусно! — одобрил Савва Иванович. — У меня на вас, господа художники, большие надежды. Говорят, это удел любителей — рядить скверную постановку в красивые платья декораций, за художников прятаться. Наблюдение справедливое, но к нам оно не имеет никакого отношения. У нас — концепция! — засмеялся, окинул веселыми глазами юные совсем лица. — Господа, а не пора ли перекусить, я привез ужин.

— Поужинать согласны, но с условием: вы разделите с нами трапезу. — Чехов поклонился шутливо, но с настойчивостью.

— Вас зовут Николай Павлович? — спросил Мамонтов.

— Николай Павлович.

— Я читал рассказы вашего брата: «Хирургия», «Злой мальчик». Пишет коротко, но картины емкие. И очень смешно. Я с удовольствием принимаю ваше приглашение, господа.

Слуга Саввы Ивановича, карлик Фотинька, недавно появившийся в доме на Садовой, принес две корзины с едой, а художники поставили самовар.

— Вы интересно говорили о декорациях, — напомнил Чехов, — что-то о концепции...

— Моя мысль новизной не блещет, — признался Савва Иванович. — Опера — редчайший вид искусства, где к зрителю обращены сразу несколько муз. А потому должна соблюдаться гармония. Если декорации подавляют исполнителей, разумеется, это плохо, но еще хуже, когда уши радуются, а глаза скорбят на убогих костюмах и полинявших полотнищах. Опера, господа, — искусство компромисса. Нельзя в опере только петь, это ведь сюжет, действие, чаще всего драма. Иногда драма целого народа или даже эпохи. Через оперу зритель должен чувствовать приобщение к нерву человечества, к вечной жизни, к Творцу. А потому пение должно быть боговдохновенным, игра потрясающей. Кстати, потрясать может и простота, простота — это высшее для нас открытие. Музыка же выполняет свою задачу, она погружает слушателя в бездну, возносит в небо. А глазам, господа, нужны правда и восторг. Василий Дмитриевич для «Алой розы» написал декорацию лунной ночи. От этой лестницы, залитой светом, от тишины ночи, заметьте себе, переданной красками, сердце щемит сладостно, как при луне... Значит, и пение должно быть лунное, и музыка, и движения актеров. Вот что я хочу от вас, господа. Искусства и понимания. Жизнь, господа, не бессмысленна.

Ели пироги с визигой, пили чай. Молодые художники привыкали к простецкому миллионеру, но больше все-таки слушали, чем говорили. Савва Иванович спросил о Поленове.

— Мы Василию Дмитриевичу петицию писали, когда он собрался уходить, — сказал Чехов. — Нас, пейзажистов, в Училище не любят. И более всего преподаватели. Уж очень нам везет с учителями. Саврасов был добрый человек и пронзительный живописец, он понимал, что пейзажи Пуссена отошли в прошлое, навсегда. Жалко Алексея Кондратьевича, говорят, за водку картины пишет.

Прощаясь, Савва Иванович подал всем руку и задержал руку Левитана.

— Я очень надеюсь на «Подводное царство». Виктор Михайлович постарался, постарайтесь и вы. В наших силах сделать тысячу человек хоть

на несколько минут счастливыми.

Савва был вездесущ и, казалось, двужилен: от художников — к музыкантам, от музыкантов — к актерам — день ли это, ночь ли. И так — изо дня в день. Но какое это было счастье!

1884 год — целая веха в биографии. Савва Иванович Мамонтов занялся наконец-то делом, для которого был рожден. Так ему казалось в юности.

Что бы там ни было, а Театр Кроткова (считай — Мамонтова) уже явь. Не станет ли он вехой и для русского музыкального искусства?..

1884 год оказался заметным для всего русского искусства. Репин на очередной Передвижной выставке поставил картину «Не ждали». Суворин поспешил заявить, что она производит «примиряющее впечатление». Стасов, наоборот, нашел в вернувшемся из ссылки человеке несокрушенную силу, могучую интеллигентность, ум, мысль. Объявил картину шагом вперед даже после «Крестного хода». Репин показал также портреты Тургенева, Крамского, Третьякова, генерала барона Дельвига, Стасова, госпожи Моллас. Крамской потряс «Неутешным горем», Шишкин подарил любителям своей живописи «Лесные дали». «Кленовую аллею» Поленова Стасов назвал изящной, очень похвалил «Зиму» молодого Дубовского, а в «Боярской свадьбе» такого же молодого Лебедева увидел «путь правдивой историчности». Отметил портрет Стрепетовой кисти Ярошенко, портрет Льва Толстого, написанный маститым Ге. «Замечательных портретов на выставке довольно много, — писал Стасов. — Между ними особенно выдаются: портреты двух молоденьких девочек, Мамонтовых, в Москве, один — писанный г. Васнецовым, другой — г. Кузнецовым. Оба портрета дышат грациозностью и жизнью».

Но вот выставка закрыта. Начались будни, и художники поспешили к своим мольбертам. У каждого — свое. Репин за новой картиной приехал в Москву, для денег писал железнодорожного магната Ададуева, а вечерами Бларамберга и Мясоедова. В композиторе Павле Ивановиче Бларамберге и в Григории Григорьевиче Мясоедове Илья Ефимович распознал черты своего жуткого Грозного.

В приезд Репина в Москве в Историческом музее была открыта выставка конкурсных проектов памятника Александру II. Все эти тридцать пять проектов Репин назвал одним словом: дребедень.

Василий Дмитриевич Поленов вторую половину 84-го года писал картину «Кто без греха». Отвлёкся только ради Мамонтова, сделал эскизы к «Фаусту» и к «Виндзорским кумушкам».

Холст для картины он взял огромный, а задачу себе поставил

невообразимо сложную — написать истину. Написать Христа, в которого поверил бы интеллигент, отставший от религии и плавающий в океане без берегов и без кормил. Но что интеллигент, нужно было своим домашним угодить!

«Меня несколько начинает беспокоить отношение мамы к картине Василия, — жаловалась Наталья Васильевна Елене Дмитриевне. — Об волосах с мамашей ежедневные прения, имеющие последствием то, что Василием перечитаны и разобраны все сведения относительно волос, какие только могли достать, и он все тверд...»

Однако Василий Дмитриевич не устоял перед матерью. У Христа на эскизе были очень короткие волосы под белым головным убором еврейских поселян. Убор этот Василий Дмитриевич в конце концов отверг и волосы удлинил, утешил Марию Алексеевну.

В конце 1884 года вышел сборник Литературного фонда, где были напечатаны главы из незавершенного романа Льва Толстого «Декабристы». Это было событием в литературе. В том же сборнике помещено было стихотворение в прозе Тургенева «С кем спорить?»:

«— Спорь с человеком умнее тебя: он тебя победит, но из самого твоего поражения ты можешь извлечь пользу для себя.

— Спорь с человеком ума равного: за кем бы ни осталась победа — ты по крайней мере испытаешь удовольствие в борьбе.

— Спорь с человеком ума слабейшего; спорь не из желания победы, — но ты можешь быть ему полезным.

— Спорь даже с глупцом! Ни славы, ни выгоды ты не добудешь... Но отчего иногда не позабавиться!

— Не спорь только с Владимиром Стасовым».

Репин не видел в этой сентенции насмешки и радовался за Владимира Васильевича.

В осенние дни 1884 года, когда Мамонтов начинал свой театр, было ему знамение, да он не понял. Сгорел огромный «Пассаж» — театр «Парадиз». Чудовищный был пожар, сразу на трех улицах горело: на Неглинной, на Петровке, на Кузнецком Мосту. Театр сгорел, купец сгорел. Впрочем, Солодовников убытки пережил, помогло купецкое товарищество.

Мамонтов в те дни полностью поглощен репетициями и вел их с таким вдохновением и так искусно, что заражал всю труппу. На глазах рождался ансамбль, о чем даже и не помышляла казенная опера, где каждый вел только свою партию и думал только о своем успехе.

В Мамонтове жил, несомненно, дар режиссера-новатора, который хотел видеть в опере достоверность исторической эпохи, зрелищность и

слаженный ансамбль, а не только прекрасное пение. Всего этого еще не существовало тогда на русской оперной сцене, живущей только по канонам императорских театров.

Мамонтов был первым, кто поставил отечественную оперную режиссуру на должную высоту. От него пошли круги, захватившие своей волной будущих российских режиссеров.

Надежда Васильевна Салина впоследствии вспоминала: «Мы не знали тогда школы Станиславского, да и сам Станиславский тогда о ней, вероятно, еще не думал. Как родственник Мамонтова он бывал частенько на наших репетициях и внимательно следил за нашей работой. И кто знает, не заронил ли тогда Мамонтов первое зернышко беззаветного служения искусству в душу молодого двадцатидвухлетнего Станиславского».

Решено было на бенефис нового театра взять «Русалку» А. С. Даргомыжского. Театр дебютировал в помещении, где играла до этого драматическая труппа Корша.

Генеральная репетиция «Русалки» началась в шесть часов утра. В тот же день, 9 января 1885 года, Театр Кроткова предстал перед искушенным московским зрителем.

Небольшой зал был полон. Разговоры о театре сбесившегося богача Мамонтова стали лучшей рекламой. Странно это у русских — неутолимая потребность в низвержении удачливого. Провала Мамонтова очень даже хотели. Знали, Кротков — ширма.

Звучание оркестра оказалось жиденькое. Оркестровая яма из сорока музыкантов вместила половину. Под сценой пришлось остальных размещать.

Спектакль прошел по-мамонтовски, где кое-как, а где и великолепно. Волнение гасило тембр голосов. Почти все певцы — непрофессионалы. Татьяна Спиридоновна Любатович да Антон Казимирович Бедлевич, им было по двадцать пять лет, самые старшие в труппе, — знали сцену. Можно было сказать, что черный зев театра для труппы разверзлся впервые. Савва Иванович сразу все понял, побежал за кулисы спасать свое дрогнувшее воинство. Спешка, отсутствие прогонных репетиций сказывались на ритме спектакля. То, что было милым и простительным у любителей, на театре обжигало щеки стыдом. Бедная Надежда Васильевна Салина хоть и не провалила своей роли, но пела, как в тумане, не чувствуя

рук, ног, не умея быть хозяйкой своего чудесного голоса.

Аплодисменты все же были, и восторг был. «Подводное царство» очаровало, изумило.

Когда цветы и травы подводного мира колыхнулись, потекли по струям вод, открывая и закрывая русалочек, зал, забыв раздражение, разразился аплодисментами.

— Слава Мамонтову! — крикнули сверху.

Большая критика не заметила появления нового театра, рецензию поместила новая, только что открывшаяся газета «Театр и жизнь».

В рецензии за 11 января похвалы удостоилась одна Любатович. Постановка была названа «детским времяпровождением». Но 12 января рецензент все же признал: «В области театральной антрепризы всего дороже, когда она находится в руках людей, искренне любящих дело театра, и которыми (умело или неумело — это другой вопрос) руководит артистическое чувство, художественный вкус, а не барышнические инстинкты...»

Критик высоко оценил декорации спектакля, внимание художников к деталям. Поразило слюдяное окошко в тереме княгини, свет луны через слюду.

На «Русалку» публика все же пошла, хотя зрители, почитающие себя за больших знатоков оперы, тыкали пальцами в афишу и в программки, потешаясь над громким девизом театра: «Вита бревис, арс лонга эст» — «Жизнь коротка, искусство вечно».

«Русалку» до Великого Поста дали пять раз. «Фауст» выдержал только одно представление, «Виндзорские кумушки» прошли тоже один раз при совершенно пустом зале. Ни одного билета продано не было, но спектакль все-таки играли. Пустому залу. Савва Иванович приказал не сдаваться. Он знал — рано или поздно публика признает его театр, как и то, что опера — это искусство не только для услады, но и сопереживание, это — жизнь в ее сложных коллизиях, страстях, вековечной борьбе добра со злом.

В те январские дни 1885 года Мамонтов не чувствовал себя человеком из погорелого театра. Опера Даргомыжского состоялась! Ее приняли, запомнили. Наступила пауза, в России на сцене петь по-русски Великим Постом запрещалось. Савва Иванович отнесся к великопостному перерыву легкомысленно, однако все-таки приготовился. Пригласил из Милана группу гастролеров, положившись на порядочность и вкус своих итальянских друзей-дельцов. Звезд среди приглашенных не было, но голоса подобрались великолепные. Приехала Римондини — драматическое сопрано, тенор — Пиццорни, баритон — Поллиани, бас — Ванден.

Театр Корша сдавал Театру Кроткова свое помещение только на два дня в неделю. Поэтому поставили всего три оперы: «Гугеноты», «Севильский цирюльник», «Бал-маскарад».

На сбор русской труппы Савва Иванович, к удивлению сникших артистов, приехал бодрым, улыбающимся, уверенным.

— Что смолкнул веселия глас? — спросил он актеров. — Раздайтесь, вакхальны припевы! Да здравствуют нежные девы! Да здравствуют музы, любящие нас! Ничего страшного не произошло, господа. Новое вдалбливать в головы — дело сложное, рискованное.

Вдруг рассердился:

— Почему на ваших лицах — отсутствие выражения? Я, терпящий убытки, не паникую. Вы, имея на руках контракты на три сезона, в прострации. Что за панихида? «Русалка», пусть посредственная, как писал рецензент, но победа. 12 февраля начнется сезон приглашенных из Милана итальянцев. Касса пополнится... Что же до вас, господа, вы оказались не готовы, прежде всего, к борьбе... Я намерен оставить итальянскую труппу и после Великого поста, но не для того, чтобы умелые певцы заменили вас. У меня к вам предложение. Придется выучить партии на итальянском языке. Будем вводить готовых актеров в спектакли с итальянцами. Учиться так учиться. Лучшая учеба — петь дуэтом с сильным исполнителем, быть ему партнером.

Замолчал, глядя в пространство, гневно сжимая губы.

— Такого «Фауста» у нас провалили! Никто даже не заметил, у оперы новый текст, без всех этих чудовищных нелепостей. — Улыбнулся: — Обидно, господа! Перевод все-таки мой. Так сломим же косность! Сломим! Смотрите на меня. Весело смотрите! Мы взялись за хорошее дело, мы его сделаем. В апреле, господа, Николай Сергеевич Кротков обещает выпустить «Аиду».

«Аиду» Верди написал для празднования открытия Суэцкого канала. Опера торжества. Два слившихся моря соединили древний величавый Египет с новым расторопным миром. Слиток царств, спекшихся в горниле времени. Само забвение оказалось бессильным перед гением человека.

— Базиль! Без тебя «Аида» не состоится! — Мамонтов глядел невинными золотыми глазами.

— Люблю эти твои взоры, Савва, — сказал Поленов, обнимая друга.

— Но грешницу уже привели к Иисусу, Иисус чертит на песке перстом, люди ждут ответа...

— «Когда же продолжали спрашивать Его, Он восклонившись сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Видишь, знаю. — Сильно сжал руку Василию Дмитриевичу: — Ты не оставишь меня в трудный час. «Аида» — громада. Публика должна видеть эту громаду. Ну кто меня спасет, как не рыцарь красоты! Вася, ты создашь эту чудовищную красоту.

— Господи, как они меня тащили! — рассмеялся Поленов.

— Кто? Куда?

— Бедуины. На пирамиду Хеопса. Двое тянут за руки, двое подсаживают в зад. Не восхождение, а полет. Да, были мы на том великом верху. Вид, я тебе скажу, замечательный. Изумрудная долина, Нил, хребет Мокотали, море подвижных песков. А внутри пирамиды — нехорошо. Душно, темно, коридоры наклонные, скользко... Но знаешь, Савва, что более всего удивило меня. Бедуины признают русских за людей, за равных себе. Инглизы для них — полулюди.

— Все понял. Ты сделаешь эскизы. — Савва Иванович снова пожал руку Василию Дмитриевичу. — О, я теперь на шкуре своей испытал, что это такое — подлинное искусство. Каково ему служить.

На другой день Поленов приехал на Садовую с новым учеником. Жгучий брюнет, глаза веселые, в них озорство.

— Константин Александрович Коровин. «Аида» — это по его плечам. Выдюжит.

Савва Иванович ничего не сказал, посмотрел на молодого человека доброжелательно, а на Поленова с досадой. Пошли в столовую пить чай.

Савва Иванович был переполнен чувствами от спектаклей мейнингенцев и спешил поделиться своими восторгами:

— Какого они Шекспира привезли! Я был на «Орлеанской деве». Есть там сцена: английские послы в присутствии придворных оскорбляют короля. Оскорбляют тоном, выправкой, торжеством лиц. Победители. Король вынужден отдать приказ, который унижает не только королевское, но и человеческое достоинство. Однако он король, он терпит. Что тут делает со зрителем королевский слуга — пером не описать. Казалось бы, действие самое примитивное, проходное: выслушал приказ, поклонился и пошел. Но слуга этот только пытается поклониться... Он ведь не заныл, не взрыднул, у него слезы хлынули из глаз. Он убегает, чтобы не разрыдаться. Публика чуть с ума не сошла. Весь зал плакал... Вот что такое режиссер. Ни одного бездействующего лица на сцене. Каждый — нерв действия.

Нервы напрягаются — воздух звенит, а потом видишь, как нервы-люди становятся эластичными и как свободно им дышится, и зал тоже тотчас умиротворен... Подобного чуда на нашей сцене не было. Был — Щепкин, есть Федотова, но подобной сценической дисциплины, лучше сказать, сценического организма, я не видывал. Спектакли театра герцога Саксен-Мейнингенского — живое существо! — Вдруг предложил: — Поедьте в Частную оперу... Сегодня репетиция. Хочу представить госпоже публике ораторию Россини «Стабат Матер». Не пожалееете.

Поленов не поехал, а Коровин согласился.

Возвращаясь из театра, Савва Иванович заглянул Константину Александровичу в глаза:

— В месяц декорации можете написать?

— Могу, — сказал молодой человек беспечно.

— Начинайте завтра. Рисунки костюмов тоже сами сделайте. С Поленовым, конечно, посоветуйтесь, он был в Египте. Но сделайте все свое, чтоб вас ничто не стесняло... Солистки костюмы имеют, но все это мишура. Сделайте так, чтоб они свою рутину в чемоданы спрятали, на самое дно, чтоб им стыдно стало. Декорации надо писать, как Васнецов «Снегурочку» написал. Виктор Михайлович теперь в Венеции, древнюю стенопись изучает. В театр его не скоро удастся залучить... Декорации к «Аиде» тоже будут замечательные. У красоты много работников. А потом напишите «Лакме» Делиба. Я для «Лакме» пригласил Марию ван Зандт^[3].

Коровин засмеялся. Савва Иванович удивленно вскинул брови:

— Вам не нравится ван Зандт?

— Я никогда не писал декораций.

— Напишите, не сомневаюсь. В вас я вижу славную и родственную русскую природу.

— Я из рода ямщиков. Мой дед был купец первой гильдии. Отца железная дорога разорила.

— Отцы наши были конкуренты, а мы будем друзьями, — просто сказал Савва Иванович.

Эскиз к одной из декораций Коровин делал по этюду Поленова «Храм Изиды». Мощные каменные колонны, египетская купоросная синева на капителях, в тенях — тайна, солнце на колоннах — пылающее, а тайна — ледяная, чужая. Для остальных эскизов пришлось пользоваться фотографиями. Особенно удачно получились «Лунная ночь на берегу Нила», «Преддверие храма» для сцены судилища над Радамесом.

Серые, чудовищно огромные, во всю сцену каменные громады, из

которых сложены фигуры египетских богов, и на этом сером — пронзительно изящная фигурка Амнерис.

Эскизы Мамонтов одобрил, а Костенька Коровин стал в доме своим человеком.

В эмиграции, на чужбине, зарабатывая на хлеб воспоминаниями, Константин Александрович грезил благословенными днями ранней весны 1885 года: «Забавно, что когда я шел в мастерскую писать декорацию, то думал: „Как-то я буду на лестнице писать на такой высоте?“ — полагая, что писать так же придется, как картину, на мольберте, но удивился остроумию: холст лежал прибитый и загрунтованный на полу...»

Мастерская помещалась за Крестовской заставой, в помещении брошенной фабрики.

«В мастерской были маляры, — вспоминал Коровин. — Размерив холсты на квадраты, я нарисовал углем, в общем, контуры, формы колонн и фрески... Долго составляли маляры цвета, переливая в горшок из горшка; мешая краски, подбирая по эскизу.

— Вот это для фундуклеев, — сказал один бойкий маляр, Василий Белов.

— Каких фундуклеев? — спросил я.

— Вон для этих самых, которых нарисовали.

— Почему же фундуклеи?

— А кто же они? Видно, что народ такой.

В мастерскую пришел Поленов.

— Как я люблю писать декорации! — сказал он. — Это настоящая живопись. Превосходно. Сильные краски.

— А как фундуклеи вам нравятся, Василий Дмитриевич? — спросил я.

— Как? Фундуклеи? Что такое? — удивился Поленов.

— Вот я пишу фундуклеев, а вы в Египте были и не знаете. А вот он знает, — указал я на Василия Белова.

— Что такое? — рассмеялся Поленов. — Сейчас приедет Савва.

Поленов взял синюю краску и сказал:

— Я немножко вот тут колонну... лотос сделаю...

Мамонтов приехал с Дюран, остановился, смотря на декорации. Его веселые, красивые золотые глаза весело смотрели на меня.

— Это что же вы делаете? — сказал он мне. — Чересчур ярко.

— Нет, так надо, — сказал Поленов, — я сам сначала испугался».

Молодые художники видели мир молодыми глазами. То, что их учителям казалось чересчур ярким, для них было недостаточно солнечным. Им нужен был иной свет, иной звук красок. Через полгода Коровин для

оперы «Лакме» напишет деревья синими. Мамонтов ужаснется:

— Разве бывают деревья синими?

Иностранные артисты будут удивляться, пожимать плечами, но Поленов декорации одобрит, а критика даже и не разглядит, что деревья синие. В рецензии газеты «Театр и жизнь» читаем о «Лакме»: «Декорации, работы художника г. Коровина, и костюмы художественно прекрасны. Такая постановка по роскоши и знанию может считаться почти образцовой».

8

17 марта Частная опера проняла слушателей ораторией Россини.

1 апреля с грандиозным успехом прошла «Аида». Партию Аиды исполнила Ремондини, Амнерис — Любатович.

21 апреля в сборном спектакле был дан второй акт «Вражьей силы», где пели молодой Державин, Любатович и, главное, Леонова — ученица Глинки, друг Мусоргского.

У Мамонтова вся жизнь сосредоточилась на театре, а его друзья-художники шли к своим вершинам, и кто-то из них достигал вершин, но кто-то обнаруживал: истина в туманной дали, и надо снова отправляться в путь, еще более сложный и рискованный, выше, выше.

Начало 85-го года было радостным для Валентины Семеновны Серовой. Большой театр поставил «Вражью силу» и приступил к репетициям ее собственной оперы «Уриель Акоста». Валентина Семеновна писала своей сестре Аделаиде Симонович: «Вчера была первая оркестровая. Такого страху я в жизни не испытывала. У меня запрыгали какие-то круги темные перед глазами. Я замерла от первого звука оркестра...» Из другого ее письма узнаем, чем в марте 85-го года был занят Поленов. Василий Дмитриевич, видимо, дал себе отдых от большой картины. Валентина Семеновна сообщает родственнице: «Антокольский вчера (среда) уехал в Петербург и остановился у Мамонтова. Тоня знает его квартиру... Скажи Тоше, что Поленов мне делает рисунок для синагоги. Познакомилась я с Суриковым, он мне очень понравился...»

В конце года от бодрого настроения Валентины Семеновны не останется следа. Отношения с сыном обострятся до крайности. Тоша, разочаровавшись в Академии, решил покинуть ее. Как было матери не впасть в отчаяние от такой несерьезности сына. «Я боюсь, что и Тоня станет во враждебный лагерь, — писала она родственнице. — Я ему

предлагаю два выбора: или строгую жизнь со мной и Академией, или дилетантскую, разгильдяйническую жизнь с разными погрешностями, которые его характеризуют, — тогда пусть он не живет со мной! Я не хочу нянчиться и не хочу прощать распущенности...»

Дело, разумеется, было не в трудном возрасте юного Серова, не в его шалопайстве, но в тяге к самостоятельному творчеству. Учеба уже не открывала в нем его же способностей и дарований... Молодости свойственно преувеличивать свои знания и умения.

Для Виктора Михайловича Васнецова 1885 год — год успеха и перемен в жизни и в творчестве. Началось с приезда Александра III в Москву, на открытие Исторического музея. Осмотрев «Каменный век» с большим вниманием, государь спросил у свиты:

— А кто автор этого замечательного произведения?

— Васнецов.

— А почему его нет в этой зале?

Оттертого в дальний уголок художника тотчас сыскали и поставили перед монархом.

— Помните, как я был у вас в мастерской в Париже? — изумив Виктора Михайловича и сиятельную свиту, обрадовался Александр Александрович встрече. — Помните, как мне понравились ваши «Акробаты»? И нынче рад вашему успеху. Очень рад!

И пожал руку.

«Каменный век» понравился не только царю, но и простым посетителям Исторического музея. Художникам его работа казалась грандиозной.

Но что такое «Каменный век» по сравнению с громадой Киевского Владимирского собора? А в соборе уже ставили леса для художника Васнецова.

И все-таки в 85-м году громогласнее других была слава Репина. Он выставил на XIII Передвижной выставке картину «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Народ дал картине название попроще, не заметив некоего намека в авторском наименовании: «Иван Грозный убивает сына». А намек был. Репин начал своего Грозного в 81-м году. Он был в Петербурге, на открытии очередной выставки, когда 1 марта был убит царь-освободитель. Кровавое место, где революционеры уложили двадцать человек, Илья Ефимович посетил. Он вернулся с выставки домой, в Москву, но через несколько дней снова помчался в Петербург смотреть казнь. 3 апреля он был на публичном повешении убийц царя: Желябова, Перовской, Кибальчича, Михайлова, Рысакова... Рассказывая много лет

спустя об этой казни, Репин вспоминал, что на Желябове были серые брюки, а на Перовской черный капор. 1581 год, хоть и далекая, но аналогия 1881 года. Не царя, разумеется, пожалел Репин, но неразумную молодость, пошедшую на убийство и погубившую самую себя.

Первыми зрителями «Ивана Грозного» стали художники. По четвергам Репин принимал гостей, и в один из четвергов он сбросил занавес со своей картины. Илья Ефимович много лет спустя вспоминал: писать картину он начал под воздействием симфонии Римского-Корсакова «Антар»: «Захотелось в живописи изобразить что-нибудь подобное по силе его музыке... Чувства были перегружены ужасами современности... Никому не хотелось показывать этого ужаса... Я обращался в какого-то скупца, тайно живущего своей страшной картиной...» В тот четверг картину видели Крамской, Шишкин, Ярошенко, Павел Брюллов... В мемуарах Репина читаем: «Гости, ошеломленные, долго молчали, как очарованные в „Руслане“ на свадебном пиру... Я наконец закрыл картину. И тогда даже настроение не рассеивалось, и долго... Особенно Крамской только разводил руками и покачивал головой».

В первые же дни XIII Передвижной выставки «Грозного» купил Третьяков. На картину шел весь Петербург. Ждала этой встречи и Москва. В Москве выставка открылась 1 апреля, но через несколько дней по ходатайству обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева картина была снята. С Третьякова официальные власти взяли подписку: не показывать «Убийство сына» посетителям галереи. Павел Михайлович очень боялся, что картину вообще прикажут уничтожить... Однако все обошлось, ходатаем за «Ивана Грозного» стал Боголюбов, через три месяца запрет сняли.

На этом приключения картины не кончились. В 1913 году душевнобольной Балашов изрезал «Ивана Грозного» ножом. Художник Хруслов — первый хранитель Третьяковской галереи — не пережил вандализма и покончил с собой. Выходит, Репин — родоначальник «хичкоков» и чернухи. Далеко не все современники видели в «Иване Грозном» шедевр. Стасов о картине ни слова не сказал. Не принял картину Суриков. Он так говорил: «Вот у Репина на „Иоанне Грозном“ сгусток крови, черный, липкий... Разве это так бывает? Ведь это он только для страху. Она ведь широкой струей течет — алой, светлой...»

Правительственные круги попытались нейтрализовать воздействие картины. Ведь убийца — царь, царь пролил кровь. В Академии Художеств профессор Военно-медицинской академии Федор Петрович Ландцерт прочитал лекцию и издал брошюру, доказывая, что картина Репина

изобилует ошибками в пропорциях и анатомии. В газете «Минута» в заметке «Блески и изгарь петербургской жизни» некий «Шуруп» писал, что Репин перевел на полотно мысль одного студента. Позже, правда, газета извинилась. И вот что любопытно! У Репина вдруг объявился большой почитатель «Ивана Грозного», сам Алексей Сергеевич Суворин. Он писал в «Новом времени»: «Ничего более сильного, страшно реального и смелого не создавал Репин. Даже по силе и сочности красок она оставляет за собой другие произведения даровитого художника... Ей почетное место в картинной галерее, в особой комнате... Это — русская живопись, это русская школа, русское искусство».

Шум, поднятый картиной Репина, был велик, а уж как запретили — подавно.

Куда менее заметно прошло для общества другое событие, происшедшее во Владимирской губернии, на границе с Московской. В январе 1885 года в местечке Никольском были бунт и стачка. Ткачи Никольской мануфактуры Тимофея Саввича Морозова бросили работу, погромили фабрику, квартиры англичан-инженеров, дом мастера.

А потом был не менее знаменитый судебный процесс. На сто один вопрос обвинений присяжные сказали: «Нет, невиновны, действовали в свою защиту». Мало кто приметил, разве что Ленин, — в России появилась новая сила, имеющая волю постоять за себя: рабочий класс.

Пришла осень. Открылись театры. Время премьер.

Савва Иванович Мамонтов на осенний и зимний сезон пригласил в свою Частную оперу вместо слабохарактерного Труффи Энрико Бевиньяни. Труффи остался, но уже не дирижером, а капельмейстером. Получили ангажементы блистательная Либиа Дрог, Мария Дюран, обладательница красивого голоса, она поразит слушателей в «Гугенотах», из Швеции приехала Мария ван Зандт. Эта была певица с мировым именем. Делиб оперу «Лакме» написал ради нее и для нее. Прозрачное лицо с огромными детскими глазами, бледность, летящая походка, тонкие руки, милая доверчивая улыбка. Имя, как гром, а проста, дружелюбна. Зритель мог идти наверняка в Частную оперу. Его ждали чудесное пение, выразительная игра, праздник.

Устроилась Частная опера и с помещением. Здание театра в Старогазетном переулке перешло к труппе Кроткова. Корш выстроил для

своего театра новое здание. (В нем размещается теперь филиал МХАТа.)

Работать нужно было, как всегда, быстро, но по крайней мере без ночных бдений, без генеральных репетиций на заре.

В первых числах октября в Петербург ушла телеграмма: «Стасову Владимиру Васильевичу. 8 октября на сцене Частной оперы идет первый раз „Снегурочка“ Корсакова, не решитесь ли приехать на этот день, считаю лишним говорить, насколько присутствие Ваше как заступника русского искусства благотворно повлияет на дух всех искренне и горячо потрудившихся. Мамонтов».

Стасов на телеграмму не ответил, не откликнулся на приглашение и Римский-Корсаков.

«Снегурочка» была написана в 1880 году. К весне следующего года композитор инструментовал оперу, а в 1882 году ее поставили в Петербурге, но с многочисленными купюрами.

Критика, как водится, отнеслась к «Снегурочке», по выражению композитора, «мало сочувственно», упрекая несправедливо «в скудости мелодической изобретательности, сказавшейся в пристрастии моем к заимствованию народных мелодий»...

Римскому-Корсакову казалось, что вряд ли какой-то современный театр, даже не предубежденно относящийся к русской опере, сумеет поставить «Снегурочку» на достойном уровне. И он ошибся, к счастью.

Все лето 1885 года Абрамцево вдохновенно готовилось к постановке. Васнецовское «сидение» здесь завершилось самым замечательным образом: все эскизы декораций и костюмов были готовы. В конце лета Виктор Михайлович уехал в Киев, но в Абрамцеве работа продолжала кипеть. «Я работаю над „Снегурочкой“, — писал Мамонтов Васнецову в сентябре 1885 года, — и все больше и больше увлекаюсь музыкой. Есть балласт, но очень и очень много хорошего. К концу сентября, вероятно, она будет готова и должна составить в некотором роде эпоху для музыкальной Москвы, так говорят газеты, а не я. Коровин кончает декорации Берендеевского посада — я не видел еще. Палата Берендеев почти была написана, но Левитан уехал, и, пока не вернется, ее не трогают».

В отличие от Мариинки Мамонтов решил ставить оперу без сокращений и был по-своему прав: опера, как ее написал композитор, ставилась впервые.

Роли разошлись очень удачно. Партию Снегурочки исполняла Салина, Леля — Любатович, Мизгиря — Малинин, царя Берендея — Ершов, Деда Моза — Власов, Бобыля — Кассилов, Бермяту — Бедлевич.

Итак, 8 октября — премьера, ставшая счастливым праздником для Частной оперы.

Москва узнала в русской опере душу свою, радовалась ее красоте, призадумывалась.

В Петербурге декорации и костюмы были заказаны Клодту. Он почему-то представил берендеев скифами. В Москве «Снегурочка» каждым вздохом своим, каждой нотой и краской была русской.

Не снизошли до мамонтовской «Снегурочки» ни оба ее творца, ни Стасов, но на спектакле все-таки были дорогие гости — четырнадцать передвижников.

Уже в прологе, когда толпа берендеев, провожая Масленицу, вышла с настоящей старинной козой, когда Бобыли-ха пустилась в пляс с Бобылем, Василий Иванович Суриков в восторге вскочил и так неистово аплодировал, что заразил своей радостью весь театр.

На этот раз и критика не смолчала. Влиятельный для Москвы музыковед С. Н. Кругликов спектакль оценил со своего критического Олимпа: «Костюмы и декорации свежи, характерны и красивы, даже волшебные превращения не лишены эффекта. В общем, впечатление любительского спектакля в очень богатом доме. Но все-таки, хотя бы и такая несостоятельная постановка „Снегурочки“ в Москве — явление самое выдающееся из всего, что нам до сих пор дала московская музыка с начала нынешнего сезона». Опять не забыто, что ставил купец, опять подчеркнуто: хорошие костюмы и декорации — внешнее великолепие денег стоит, шальному богачу не все ли равно, по какому ветру их пускать...

Добрее и проницательнее оказался рецензент «Театра и жизни». «Со стороны художественно-сценической постановка „Снегурочки“, — писал он 10 октября, — является новым словом, сказанным в театральном деле. Со времени пребывания у нас в прошлом сезоне Мейнингенской труппы нам не доводилось видеть ничего подобного в отношении художественности ни на одной из русских сцен... Костюмы и декорации, сделанные при посредстве талантливых русских художников, блещут поразительной красотой».

Современники слеповаты, а про нашего отечественного современника и говорить бывает тошно. Мы свое золото принимаем за золото, когда оно просияет на весь белый свет. Во Франции ахнут, тогда и мы очнемся. Нет более прижимистого на славу человека, чем русский. Что говорить о рядовой публике, если такой тонкий ценитель искусства и красоты, как А. П. Чехов, писал своей сестре из Ниццы в 1897 году, когда Частная опера

Мамонтова завоевала признание Москвы:

«Здесьние уличные певцы, которым платишь по 10 сантимов, поют из опер, поют гораздо лучше, чем в мамонтовской опере, и я думаю, что здешний уличный тенор, во всяком случае, более талантливый и более изящный, чем, например, Петруша Мельников, получал бы у Мамонтова по 500 р. в месяц. Я не преувеличиваю и с каждым днем все убеждаюсь, что петь в опере не дело русских. Русские могут быть разве только басами, и их дело торговать, писать, пахать, а не в Милан ездить».

Почему так? Да потому, что не умеем любить себя и ценить не научились. Уж очень высоки наши мерки. Может, и впрямь мы с Гималаев сошли на нашу русскую равнину?..

По сообщению В. П. Россихиной, автора книги «Оперный театр С. Мамонтова», 22 октября 1885 года «Снегурочку» слушал Петр Ильич Чайковский. В письме к фон Мекк он оценил исполнение оперы Римского-Корсакова как «очень порядочное».

За сезон «Снегурочка» — самая удачная из русского репертуара Частной оперы — прошла четырнадцать раз, но никогда не делала полных сборов. «Жизнь за царя» Глинки ставили одиннадцать раз. Сусанина пел Власов, Антонину — Салина. Большинство декораций к этой опере написал Левитан: «Село Дамнино», «Ипатьевский монастырь», «Дремучий лес». Декорации публике нравились, а своя русская музыка и свои русские певцы восторга не вызывали.

Савва Иванович понимал, на какой бой он вышел. Силенок своего воинства не переоценивал, но и сдаваться не хотел. В «Фаусте», который теперь делал сборы и прошел за сезон восемнадцать раз, партии Фауста и Мефистофеля исполняли итальянцы, но рядом с ними пели Салина, Гнучева, Малинин, Гордеев. В «Лакме» — ван Зандт и Ванден, но и Любатович с Салиной.

26 декабря была премьера «Кармен». Вот участники этого спектакля: Дон Хозе — Антонио д'Анраде, Эскамильо — Франческо д'Анраде, Иль Данкайро — Карбоне, Иль Ремендадо — Ершов, Цунига, лейтенант — Бедлевич, Моралес, бригадир — Бортолотто, Кармен — Любатович, Микаэла — Салина, Франскита — Пальмина, Мерседес — Ториани.

Братья д'Анраде — баритон и тенор — пели изумительно, на них шли, перекупая билеты у барышников. Но Кармен-то была русская.

Татьяну Спиридоновну Любатович природа наградила красивым голосом и статью. Ослепительная белизна декольте, сверкающие ярко-коричневые глаза, розы в темных волосах и на платье. Она казалась публике истой испанкой.

Декорации к опере «Кармен» написал опять-таки свой человек — Илья Семенович Остроухов. Он побывал в Испании, проникся ее духом и создал декорации, дышащие негой и сладострастием юга.

На фоне этой яростной, яркой природы дразнящая, игривая, сама радость в любви, смерть — в охлаждении, Кармен-Любатович увлекала партнеров, и отвечать на ее игру рутинным отбыванием на сцене было нельзя. Татьяна Спиридоновна очень нравилась Савве Ивановичу, но выдающейся актрисой она так и не стала, хотя роли получала самые заглавные и выигрышные. В мастерстве, в проникновенности зримо уступала Марии ван Зандт. «Трудно было удержаться от слез, — пишет в своей книге В. П. Россихина, — когда ван Зандт исполняла молитву Миньон в последнем акте оперы Тома. А при первой встрече с чужеземцем в роли Лакме поражала яростью тигренка. Пререкания же ее Розины с Бартоло в „Севильском цирюльнике“ заставляли весь зал хохотать». Но вот что писал Василий Дмитриевич Поленов Виктору Михайловичу Васнецову в январе 1886 года: «В частном оперном театре последнее время пленяла любителей восторгов ван Зандт, но чем именно пленяла, доподлинно не знаю. Только ни голосом, ни красотой, ни даже талантом, ибо она этими тремя качествами не особенно обладает. Марья Александровна Мамонтова без ума от нее, поднесла ей особенную куклу из магазина (ее магазин игрушек „Детское воспитание“ находился в Леонтьевском переулке. — В. Б.) и меня обругала за мою светскую бесчувственность и чопорность. Антон пишет с нее же, с ван Зандт, портрет и, кажется, имеет успех».

На всех, как говорится, не угодишь, но именно иноземные наемники приносили доход, и общий дефицит Театра Кроткова не казался столь угрожающим.

Приваживая публику, спектаклей ставилось множество. 2 марта 1886 года прошла «Динора» Мейербера. Роли исполняли итальянцы и русские. 20 марта «Алая роза». Искру пела Любатович, чудовище — Франческо д'Андрате. Пели итальянец Ванден и русский Миллер, Лаццарини и Самарина, Карбоне и Гнучева, Руссель и Салина.

Появились в театре знаменитости с мировым именем. Анджело Мазини был приглашен Саввой Ивановичем, чтобы осуществить постановку вагнеровского «Лоэнгрина». Пока опера готовилась, Мазини пел в «Фаворитке» и по разу в «Севильском цирюльнике» и «Риголетто».

Михаил Дмитриевич Малинин, администратор и артист Частной оперы, вспоминал об этом замечательном певце: «Едва ли когда-нибудь он учился искусству пения. Природа наделила его исключительным по красоте голосовым органом. Это была чудная птица, слушать которую можно было с непрерывным наслаждением... Везде один и тот же, с типичными рутинными жестами, без грима, с обычным своим видом, без всяких движений надменного лица, часто он был смешон там, где так или иначе нужно было входить сценически в свою роль. Да и не нужно было на него смотреть, нужно было его слушать, наслаждаться красотой его голоса и мастерством пения».

Мамонтов к знаменитому певцу относился с почтением, заказал Серову портрет, но Мазини повел себя высокомерно и капризно. Однажды приехал к началу спектакля, попробовал голос — и то ли впрямь был простужен, то ли чем-то не угодили — повернулся и уехал домой, никого не предупредив, а публика-то на Мазини пришла.

Савва Иванович вспылал, отстранил певца от исполнения роли в «Лоэнгрине». Мазини тотчас порвал с Мамонтовым деловые отношения и ушел к другому антрепренеру.

Вызов был принят. На роль Лоэнгриня Савва Иванович вызвал из Байрейта певца Шейдвеллера, который слыл истинным вагнеровским исполнителем.

Посрамить Мазини Бог не попустил. Шейдвеллер оказался безголосым толстячком. На репетициях он пел, храня свое драгоценное горло, — для гастролеров дело обычное и принятое, но вагнеровское чудо и на спектакле не распелся. А тут еще и конфуз произошел в самой трогательной и величественной сцене, когда Лоэнгрин уплывает на лебедях. Лебеди застряли, рабочие за сценой их дергали, короткие ножки толстячка Лоэнгриня от этих толчков взлетали вверх. Певец судорожно цеплялся за деревянных своих птиц, зал хохотал. Савва Иванович убежал в кабинет и так и повалился на диване.

В конце 1886 года Театр Кроткова осуществил еще одну постановку русской оперы: «Каменного гостя» Даргомыжского. Декорации написал Василий Дмитриевич Поленов. Все исполнители были русские. Донна Анна — Салина, Лаура — Любатович, Дон Карлос — Малинин, Лепорелло — Власов, Монах — Гордеев. Партию Дон Жуана пел Лодий. Петр Андреевич был другом Мусоргского и Балакирева. Чайковский отдавал ему ответственные теноровые партии в своих операх. Готовили «Каменного гостя» тщательно, добиваясь особой ясности и четкости фразировки, ведь

опера — сплошной речитатив.

Премьера состоялась 17 декабря. Собирался Савва Иванович покорить московскую публику, но зал оказался почти пустым. Но вот критика оценила подвиг театра. Было публично признано: Частная опера преследует не столько материальные интересы, сколько чисто художественные, ведь рассчитывать на успех постановкой «Каменного гостя» — верх наивности. Однако дирекция театра идет на риск. Ради чего? Цель единственная: пробить дорогу русской самобытной опере, послужить русскому искусству.

Три раза появлялся в афише «Каменный гость», и трижды московская публика не пришла в театр.

— Отец бил сына не за то, что в карты играл, а за то, что отыгрывался, — сказал Савва Иванович, собрав артистов. — Но что же нам делать, как не пытаться своего счастья. Мы должны пробить серую гору, потому что в глубине ее живительные источники. У кого дрогнули нервы и кто готов опустить голову и отступить, знайте: наш спектакль замечательный. Понять это массам нынче не дано, но наступит время, и «Каменный гость» будет катехизисом драматических певцов.

Через несколько лет Савва Иванович писал Стасову об этой опере Даргомыжского на сцене Частной оперы: «Вам, конечно, интересно знать, как публика отнеслась к постановке. Просто — никак. Все, кто был, остались довольны, а масса публики и внимания не обратила, на этом и осталась. Есть и сейчас люди, помнящие эту постановку, которые захлебываются от удовольствия, но это такой малый процент, что грустно даже говорить».

В новогодние дни 1886 года, по обычаю дома Мамонтовых, была наскоро сочинена, срепетирована и сыграна сказка «Волшебный башмачок». Савва Иванович старался для подросших двух новых актрис — Веруши и Шурки. Костюмы девочкам изобрела Елена Дмитриевна Поленова, и это были чудо-костюмы. Но старания Елены Дмитриевны спектакля не спасли. Поленов сообщал в Киев Васнецову: «Савва написал не вполне удачную сценку для детей, которая была ими уже вполне неудачно разыграна, за исключением, впрочем, Веры и Шурки». Видимо, во всем этом деле отсутствовала душа Саввы Ивановича, ведь у него теперь был свой настоящий театр.

Любительские спектакли на Садовой и в Абрамцеве продолжали ставиться, но уже силами молодого поколения. Сергей Саввич взваливал на себя все режиссерские и постановочные заботы и хлопоты, но он был только тенью отца.

В 86-м году, кроме «Волшебного башмачка», играли «Снегурочку». 1 января 87-го года — «Иосифа» и «Черный тюрбан». 4 января 88-го года — «Волшебный башмачок», а в августе в Абрамцеве — «Женитьбу» Гоголя. В 89-м году зимних спектаклей не было, летом в Абрамцеве в который раз повторили «Иосифа» и «Черный тюрбан».

Чернила драматического пера Саввы Ивановича высохли, да, кажется, и свет Абрамцева для него если и не померк совершенно, то сильно потускнел.

Елизавета Григорьевна вступала в сорокалетие, для Саввы Ивановича она уже «мама». Он уважает жену, но для нее чужды его театральные дела, вся эта легкая, развязная, околотеатральная публика, льстивое итальянское жулье в образе Энрико Бевиньяни, все эти актрисы и актриски.

Елизавета Григорьевна уходит с головою в дела своей кустарной мастерской. Она молится Господу, соблюдает все посты.

У Саввы Ивановича — железные дороги, театр, обворожительная Любатович. У Елизаветы Григорьевны — Абрамцево, дети, чистая вера в Иисуса Христа, мастерская резчиков.

Трещинки пробежали и по старым друзьям. Одни сохраняли верность Елизавете Григорьевне, прежнему неделимому Абрамцеву, другие теснились вокруг Саввы Ивановича. Сам же он души не чаял в Костеньке Коровине.

Талантливый шалопай мог месяцами бездельничать и в считанные дни исполнить месячную работу десятков людей.

Костенька невольно заставлял нянчиться с собой. Коровин не только бывал у Мамонтовых, писал картины и декорации в Большом кабинете Саввы Ивановича, он часто ночевал в этом же кабинете.

В январе 1887 года ему, художнику-декоратору, Дирекция Частной оперы предоставила бенефис. Событие для театров необычайное.

«Бенефициант, получивший в Москве художественное образование, — писала газета „Новости дня“, — в течение трехлетней своей деятельности при театре написал массу декораций... Каждая новая опера давала случай художнику проявить свой талант, он вызывал всегда шумные овации и одобрения со стороны публики»...

Савва Иванович ценил талант и преданность не только рублем, но и товариществом. Дружба с миллионером для многих была притягательна, но

позже оказалось, что эта дружба имеет высший смысл, она — испытание на человеческую порядочность. Не все «друзья» это испытание выдержали достойно...

1887 год для русского искусства счастливый, но и горький. 15 февраля внезапно скончался академик и композитор А. П. Бородин. 5 марта у мольберта умер Иван Николаевич Крамской. Слабым утешением ученикам и товарищам художника-подвижника был триумф XV Передвижной выставки, триумф его дела, его жизни...

XV Передвижная выставка открылась 23 февраля. Стасов в письме брату Дмитрию Васильевичу не сдерживал своего восторга: «Просто чудеса!!! — писал он. — Такой, мне кажется, у них никогда не было за все 15 лет. Суриков — просто гениальный человек. Подобной „исторической“ картины у нас не бывало во всей нашей школе... Эта картина привела меня давеча в неистовый восторг... перешибла всю остальную выставку до такой степени, что даже портрет Листа Репина, который я обожаю, поблек для меня. Я весь день под таким впечатлением от этой картины, что просто сам себя не помню. Тут и трагедия, и комедия, и глубина истории, какой ни один наш живописец никогда не трогал. Ему равны только „Борис Годунов“, „Хованщина“ и „Князь Игорь“».

В газетной статье Стасов восторги поумерил. «Боярыню Морозову» Сурикова хоть и называл «первой из всех наших картин на сюжет из русской истории», но, пускаясь в размышления, нашел в ней отсутствие мужественных, твердых характеров и объявил: «Я никогда не считал эту картину верхом совершенства».

Стасова можно понять. XIV выставка передвижников вызвала ликование в стане противников русской реалистической школы. Картин, подобных репинскому «Ивану Грозному», суриковскому «Утру стрелецкой казни», на этот раз не было. Самой выдающейся оказалась работа Поленова «Больная». Было много неплохих пейзажей: Аполлинария Васнецова, Вжесца, Дубовского, Волкова, Кузнецова, Бегрова, Шишкина, но ничего выдающегося, поражающего. Противники Товарищества тотчас решили: реализм выдохся, сказать ему больше нечего. И вот, к радости Стасова, XV выставка устроила перед толпами зрителей парад замечательных творений. Полные жизни и мысли сцены городской и деревенской жизни представил Владимир Маковский. Мясоедов выставил «Страдную пору», мужиков и баб по пояс в золотом поле: косят высокую рожь. Среди нескольких картин Шишкина особенно выделялась «Дубовая роща», Ярошенко показал портрет Салтыкова-Щедрина, Крамской — Струве. Репин — портреты

дочери, Глинки, Листа, Гаршина, Беляева, Самойлова и две картины: «Прогулка с проводником на южном берегу Крыма» и «Собирание букета». Впечатляли работы Прянишникова, особенно его «Спасов день на Севере».

И все-таки самыми потрясающими картинами XV Передвижной выставки стали два полотна, огромных по размеру и по сути своей — национальной, художественной, нравственной: «Боярыня Морозова» Сурикова, «Христос и грешница» Поленова. Название картины «Кто без греха» не прошло цензуры. Цензура примерялась вообще снять картину с выставки, и сняла бы, да у нее нашелся очень сильный поклонник. «Дорогая мамочка, сегодня на выставке у нас был государь, — писал Василий Дмитриевич из Петербурга 24 февраля 1887 года. — Он был необыкновенно мил и деликатен; перед каждой картиной, которую он желал приобрести, он спрашивал, не заказана ли она кем-нибудь, и когда получал отрицательный ответ, говорил, что оставляет ее за собой. Увидав меня, обрадовался, подал мне руку, спросил, отчего я совсем не бываю в Петербурге. Я ему рассказал, что живу в Москве, где работаю.

В субботу поутру был у нас цензор Никитин, который, осмотрев выставку, не сказал ни слова, но поехал к Грессеру и сообщил, что есть картина Поленова, которую он пропустить не может. Грессер прислал какого-то полковника, своего чиновника особых поручений, для проверки; тот отозвался об картине Поленова положительно, т. е. что он в ней ничего непозволительного не видит... В два часа приехал Вл. Алекс, (великий князь. — В. Б.); увидав меня, закричал: „Сколько лет, сколько зим не виделись!“, и начал расспрашивать: долго ли я работал над этой картиной, откуда материал и т. д. Через двадцать минут приехал государь, государыня, наследник, Георгий Александрович и Константин Константинович. Пошли осматривать выставку, она у нас помещается в двух этажах. Государю очень понравилась картина Мясоедова „Косцы“, и он ее приобрел, потом Шишкина маленькую вещь, Маковского. Наконец, пришли к моей картине. Первое, что он сказал, как интересно, но жаль, что так плохо освещена. Потом стал подробно рассматривать и расспрашивать, я стал рассказывать, подошла государыня и заметила..., что выражение Христа превосходно. „Правда, правда, — сказал государь, — издали он мне показался немного стар, но выражение чудесное“. Я стал объяснять картину государыне. Уходя, государь сказал, что для такой картины тут свету мало и что было бы очень интересно ее увидеть в хорошем освещении. Пошли они в следующую залу, я остался у себя. Вдруг бежит Владимир Александрович и зовет: „Поленов, что Ваша картина, свободна?“ — „Никому не принадлежит, ваше императорское высочество“. — „Государь ее

приобретает“. Я поклонился. В это время показывается государь: „Ваша картина никем не заказана?“ — „Никем, ваше императорское величество“. — „Я ее оставляю за собой“. Я низко поклонился. Когда государь уехал, Грессер подскочил к Вл. Ал. и спрашивает: „Ваше высочество, как же насчет картины?..“ На что великий князь сказал: „Государь ее не только одобрил, но и приобрел, следовательно...“ Грессер шаркнул ножкой и исчез. Итак, моя картина осталась на выставке. Теперь ее благодаря любезности Лемоха и Мясоедова перенесли на другое место, где она будет гораздо лучше освещена...»

К сообщению Поленова можно добавить, что Александр III купил не только «Страдную пору» Мясоедова и пейзаж «Дубы» Шишкина. У Владимира Маковского он приобрел четыре работы: «Рыбачки», «Пастушки», «Перед купанием», «Пейзаж», у Волкова — «Церковь» и «Сельцо», у Павла Брюллова — «Утро», у Беггрова — «Севастопольский рейд во время пребывания государя императора», «Прибытие государя императора в Севастополь».

Картина Поленова была оценена в тридцать пять тысяч рублей. Это самая высокая цена, какую только получали русские художники того времени. Павел Михайлович Третьяков желал приобрести «Христа и грешницу», предлагал Поленову какую-то странную сделку. Если государь пожелает купить картину, Василий Дмитриевич должен был сказать, что картина куплена. В этом случае Третьяков обязывался заплатить двадцать четыре тысячи рублей. Если же государь не пожелает купить картину, то тогда художник получает только двадцать тысяч.

Жена Поленова, Наталья Васильевна, очень хотела, чтобы «Христос и грешница» попала к Павлу Михайловичу, но, видимо, торговля покорила Дмитрия Васильевича, и он, всегда назначавший невысокие цены на свои работы, на сделку с Третьяковым не пошел.

Мы недаром так много и подробно говорим об этой картине, важнейшей в творчестве Поленова.

Мамонтовы от мала до велика были страстными поклонниками «Христа и грешницы». Василий Дмитриевич написал это огромное полотно в кабинете Саввы Ивановича. Лучше младших Мамонтовых никто и никогда не знал этой картины, ибо каждый из героев ее появлялся на их глазах, кого-то из этих древних иудеев они любили, а кого-то ненавидели.

Детство есть детство, для него второстепенного не существует, все важно, все требует внимания и чувства.

Что же до самой картины, то можно сказать: создание этого замечательного для русской живописи полотна без участия Мамонтова не

обошлось. Были споры, советы, был свет Большого кабинета, его простор, необходимый для такой-то громадины. Было ободряющее дружеское слово, оно так необходимо творцу, когда работа кажется неодолимой и вечной... О великие творения русского духа! Редкость, когда у создателей наших русских были условия, достойные величия их дивных произведений. Самое жгучее русское слово, сказанное Аввакумом, записано в тюремной земляной яме. Поленов писал свою большую картину в чужом доме, а Суриков «Боярыню-то Морозову»! — впервые увидел, какая она у него, — на выставке. Полотно взял большое, в одной комнате не помешалось, так он писал ее частями, а хоть как-нибудь издали поглядеть — ставил между двумя дверьми — для этого две квартиры снимал — смотрел на полотно из коридора.

Чему суждено быть, будет. Стены не заслонят, тюрьмы не запрут, немота молчания превратится в речь и величание. Ложь жаждет слепоты, истина — прозрения. И то прозрение — свет и Бог. Любовь.

Контракт с русской труппой Частной оперы заканчивался весной 1887 года. Театральная прихоть стоила Мамонтову потери трех миллионов рублей. По тем временам — целое состояние. У Сапожниковых, жалая Елизавету Григорьевну, говорили:

— Надо над Саввой-преподобным опеку устроить. Совсем голову потерял, умник стоеросовый!

Всей Москве было известно: миллионщик Мамонтов держит оперу ради своей пассии — певички Татьяны Любатович. Публика не прощала певице ее ворованного счастья у другой, у законной, у достойной.

«Вчера мы были на „Лакме“, — писал 26 марта 87-го года Антон Серов в Петербург сыну Мамонтова Сергею. — Был бенефис Арнольдсон. Встречена была шумной овацией: венки, цветы сыпались на нее, на пол, в оркестр, так что пыль с полу поднималась; она была очень тронута и целовала пыльные венки, посылала неловким жестом поцелуи в публику, личико у нее сделалось такое, будто еще немножко, и она заплачет... Спектакль вообще был удачный. Была, впрочем, одна глупая выходка со стороны Любатович. После дуэта в 1 действии они, пропев его на бис, удалились, публика орет „Арнольдсон“; последняя выходит (конечно) за руку с Любатович, раскланялись, ушли. Публика опять орет „Арнольдсон соло“ — опять та же история, т. е. появляются обе: публика сильно

недовольна, чуть не шикает, опять орет „Арнольдсон соло“. Труффи бесится, несколько раз принимался махать своей палочкой, а публика свое — орет да орет — „соло“ да „соло“. Выходят опять вместе. Как это не иметь настолько чувства такта и выходить? Хотя, может быть, из вежливости, может быть, и еще по другим причинам, Арнольдсон и тащила ее за собой...»

Из этого письма ясно, что Серов не поклонник Любатович, и Сергей Мамонтов, конечно, тоже не сторонник «молодецких» увлечений отца. Однако какого-то резкого разрыва в семье Мамонтовых не случилось. Увлечение Саввы Ивановича воспринималось как постыдное несчастье, о нем молчали.

Савва Иванович, подкидывая дровишек в костер сплетен, не торопился проститься с труппой. Он не только до конца выдерживал контракт, но и финансировал гастроли на все лето 1887 года в Харькове, с выездами в Одессу и Киев.

Скоро он доказал, что не любовь к женщине ввергла его в жестокие убытки, но любовь к мечте. Ему горько было отказаться от театра, созданного ради русской оперы, русской музыки, русских голосов.

Как никто другой, он видел, что его артистам еще не хватает мастерства, профессионализма, но это дается практикой и учебой. Главное уже есть. Провозглашены новые принципы, которые лягут в основу русской оперной школы — петь играя; перевоплощаться в образ, диктуемый сюжетом и музыкой, создавать не только певческий ансамбль, но и общий ансамбль постановки, где все будет в единстве и гармонии — музыкальный рисунок, вокальная выразительность, сценография.

И первые постановки показали, что Мамонтов на верном пути. Уже была «Снегурочка», были «Русалка», «Аида», «Кармен». Пусть только для нескольких истинных любителей — был «Каменный гость». Такой «Каменный гость», что для всего мирового искусства — новость. Увы, время торжества еще не поспело. Беда в том, что публика была не готова воспринимать ни новаторского взгляда на оперу, ни новую русскую музыку, которую принесли на оперную сцену Мусоргский, Римский-Корсаков, Даргомыжский. Оказалось, что публику тоже надо готовить, воспитывать, учить и переучивать, как и самих певцов. На это требовалось время. А пока, пока... В спектаклях Частной оперы господствовали теперь гастролеры. Приехал тенор Антонио Сильва. Для него Мамонтов поставил «Нерона» Рубинштейна. Партия Кризы была отдана Марии Дюран, но Сильва пожелал, чтобы с ним пела Салина. Савва Иванович ликовал: не так-то уж и плохи его русские певцы.

На «Дон Жуана» Моцарта билеты стоили втридорога, но публика раскошеливалась. Партию Донны Анны исполняла обладательница необъятного драматического сопрано немка Мария Вильт. Партию Оттавио пел Лаццарони, пухленький, с круглым животиком, но с замечательным голосом. Дон Жуана исполнял Арто Падилла. Ему было под шестьдесят, но он вел свою партию столь выразительно и проникновенно, что пение казалось чудом, хотя слушатели понимали — это только остатки великого голоса. Салиной в «Дон Жуане» была отдана роль Эльвиры, итальянцам нравилась ее искренность на сцене, ее свежий голос. Каждая из постановок зимы-весны 1887 года по-своему хороша, и каждая слеплена наскоро. Задача — не спектакль создать, а чтоб знаменитость просияла. Ставили оперы Доницетти «Фаворитка» и «Дон Паскуале», «Фенеллу» Обера, «Джоконду» Понкиелли, «Эрнани» и «Бал-маскарад» Верди. В операх Верди пел баритон Броджи. Закатывал такие ферматы, что женщины толпами ждали певца у выхода из театра и осыпали цветами.

Кстати сказать, в бенефис Константина Коровина была поставлена опера Пуччини «Виллисы» — первая опера композитора. Этой постановкой Пуччини пришел в Россию.

Сезон закончился. Итальянцы отбыли на родину. Русская труппа вместе с Мамонтовым и Коровиным переехала в Харьков.

Надежда Васильевна Салина поминала эти первые в жизни гастролы добрым словом. «Везли исключительно итальянские оперы и одну русскую „Снегурочку“, как новинку, нигде еще не шедшую... Мы пели в театре Коммерческого собрания. К нему примыкал старинный барский парк с длинными заросшими аллеями, с буйным кустарником, с овражками, через которые кое-где были перекинута обветшавшие мостики... Коровин всегда носил с собой ящик с красками, и как только перед нами появлялось живописное место, мы сейчас же делали привал, и Коровин набрасывал эскиз, для которого позировали все, кто желал... И Коровин и мы были беззаботны и совсем не думали о том, чтобы сохранять наброски, написанные шутя, мимоходом».

Последним спектаклем Частной оперы Кроткова стала «Снегурочка», поставленная в Харькове 16 сентября 1887 года. Спектакль этот был бенефисом Салиной. 17-го актеры разъехались кто куда.

Татьяна Любатович, благодаря протекции Мамонтова, получила приглашение в итальянскую Королевскую оперу, которая гастролеровала в Лондоне, в театре «Ковент-Гарден». Савве Ивановичу надо было доказать, что его пассия — актриса европейского уровня и поет заглавные партии не по прихоти доброго дяди.

Тенор Н. П. Миллер получил приглашение в Большой театр. Позже он с успехом гастролировал в Барселоне, пел в миланском Ла Скала.

В Большой театр отправились также бас-профундо С. Г. Власов, контральто В. Н. Гнучева, сопрано Н. В. Салина.

Тенор Г. О. Ершов понадобился Петербургской императорской опере, получил должность режиссера. Баритон Г. Ф. Гордеев уехал в Одессу, где пел, а позже стал серьезным и очень интересным режиссером.

Все эти приглашения, успех на сценах России и за рубежом — признание и похвала школе Мамонтова. Посредственностей у него в театре не водилось, были очень молодые люди, новички сцены, которые за два с половиной года стали профессионалами и — художниками. Салина в своих воспоминаниях пишет, как боролась она с рутинной Большого театра, как изнемогала от интриг и чиновничьего равнодушия. И чего-то все-таки добилась. Знаменитый баритон П. А. Хохлов настоял, чтобы ей была отдана партия Татьяны в «Евгении Онегине». Сам Чайковский вручил Надежде Васильевне роль Лизы в «Пиковой даме».

Театр Кроткова кончился, и Елизавета Григорьевна вздохнула с облегчением. Она снова обретала своего неумного Савву. Так ей казалось. Но Савва Иванович без театра остался, как без души. Заботы железной дороги целиком его не забирали, а энергии с годами не ubyло... Радость и надежда на выздоровление мужа от его увлечений скоро померкли в Елизавете Григорьевне.

Савва Иванович оставался верен своей непопулярной любви и, вполне возможно, чтобы не потерять Татьяну Спиридоновну, начал держать театральную антрепризу. На Великий пост 1888 года он набрал труппу из итальянцев, которая пела в том же театре Корша. В этой труппе были не просто хорошие актеры, а высший класс. Тенора: Анджело Мазини, Лечо, де Фалько, Дерюжинский, Яльберт, баритоны: Маэстрини, Полли, басы: Ротоль, Ванден, сопрано: ван Зандт, Торриджи, Кетли-Ролли, меццо-сопрано: Сюннербер, Марченко и, конечно, Любатович. Репертуар, как всегда, соблазнительный и широкий: «Миньона», «Травиата», «Кармен», «Севильский цирюльник», «Динора», «Трубадур», «Лакме», «Фра-Дьяволо», «Фауст». Оркестром дирижировал Труффи.

О драматургической целостности спектаклей говорить не приходилось. Из нового Мамонтову удалось поставить только оперу Флотова «Марта», но все делалось в такой спешке, что не о глубине образов пришлось думать, а о том, как довести спектакль до финала. Текст певцы знали плохо, хор сбивался, пропускал свои номера.

Итальянцы пели по-итальянски, хор — по-русски, немец Яльберт — по-немецки. В «Травиате» Яльберт явился перед публикой в пенсне, и Савве Ивановичу оставалось только рукой махнуть. Одно было не в пример русской Частной опере — считали не убытки, а барыши.

В конце 1888 года Савва Иванович поехал в Италию и взял с собой Коровина. Есть художник, есть путешественник, владеющий пером. Значит, надо создать книгу «Путевые заметки». И такая книга была создана. Вернее, не книга, а рукопись с рисунками на полях. «Пока не сел в вагон и покуда не тронулся, все еще не верилось, что можно уехать за границу, хотя на короткое время, — так начинает Савва Иванович свою „одиссею“. — Пошли разные Вязьмы, Смоленски, Мински и неизбежный тоскливый пейзаж. Тощая земля, тощий белорус на своей тощей клячонке. Только березка родимая да елочка неприхотливо живут себе, не мудрствуя лукаво, довольные и солнышком холодным и серым небом и тощей землицей. Но нет, что я говорю? Где же найдешь столько задушевной прелести, простоты и шири, как в русском пейзаже?»

Обычный школьный зачин, в котором проглядывает стилистика Гоголя. Но глаз у Саввы Ивановича цепкий.

«Курьерский поезд идет не спеша, развозя по маленьким станциям юрких еврейчиков в лапсердаках и бархатных картузах. На этот раз, впрочем, была суббота и еще пристал какой-то большой праздник, так что еврейчики кое-где только показывались на станциях, без обычной суетливости, торжественно... прогуливались по платформе».

И вот Варшава. Прежде через Варшаву ехали в экипаже, теперь же надо пересесть из вагона в вагон.

«Меня почему-то очень занимала мысль, — признается Савва Иванович, — увижу ли я на станции моего старого знакомого еврея — менялу Манассха. Почтенный старец не заставил себя дожидаться... Я увидел симпатичную голову седовласого сына Израиля. Откуда берется такая изумительная выдержка? В течение по крайней мере 20 лет Манассх приезжает в каждую ночь из своей деревеньки, для того, чтобы услужить приезжающей публике разменом денег и при этом, конечно, наживет несколько рублей. Никто никогда не жаловался, что Манассх обманул или невыгодно разменял, и 70-летний старец этим гордится. Костенька приготовился было зарисовать его, но Манассх очень ловко увернулся и

избегнул этой чести...»

Далее Савва Иванович пишет о пассажирах, приятных и неприятных, и не забывает помянуть о своем спутнике, который пересек границу Российской империи впервой. «Юный мой спутник Костенька, — записывает Савва Иванович, — как только мы перешагнули через австрийскую границу, начал приходить в неопиcуемый восторг от всего иностранного, он почувствовал себя свободным от угнетающего и испытующего взгляда русского жандарма».

В Вене путешественники прежде всего отправились в собор Святого Стефана. «Могучий готический старец-великан, — записал Савва Иванович. — У одного из приделов, слабо освещенного восковой свечой, сидела немолодая женщина, погруженная в благоговейное созерцание... Патер при произнесении имени Христа жеманно и с утонченной вежливостью снимал и тотчас надевал свою шапочку, как будто кланяясь хорошему знакомому. В течение каких-нибудь 3 минут он поклонился раз 8. Толпа человек в 50 слушала проповедника, и я глубоко уверен, так же как я ничего не понимала. С начала до конца весь католицизм основан на этой церемонной элегантнoй лжи».

Портье всучил русским билеты в оперетту, но представление оказалось пошлым и нехудожественным. Однако пора прощаться с австрийской столицей, и следует итог:

«Общее впечатление от Вены осталось неприятное, во всем виден характер головокружения, мелкой погони за грошем, за мишурным удовольствием, все и везде шуршит и топорщится, а еврейский хандель изо всего извлекает свой барыш, который в расчет на массу потребителей всегда несомненен. Деньги в руках еврея, продажный ум, т. е. пресса тоже, театр, музыка — еврейское царство, только высшая отвлеченная наука, чиновничество, военная карьера да мелкое ремесло вероятно великодушно предоставлены коренным христианам. — А далее Савва Иванович садится на своего конька: — В России мы не имеем понятия о здешней железнодорожной эксплуатации, — пишет он с явным удовольствием. — Точность и быстрота поистине изумительные, все разработано до самого мелкого деления, здесь минута является уже несомненной и серьезной единицей времени. Личный состав службы почти не виден, они функционируют молча, в строгом порядке, видимо, весь проникнутый строжайшими инструкциями, правилами и угрожаемый такими же штрафами, поэтому лентяй, зевака или пустомеля здесь не мыслим».

В Болонье Коровин, не знавший ни одного языка, кроме русского, потерялся, сел в поезд уже на ходу. Для него остаться посреди чужой

страны без языка и денег было сплошным ужасом, а Мамонтов только посмеивался. Ему было хорошо. Он был в своей милой, в своей великой Италии. Во Флоренцию приехали на восходе солнца.

«Сколько раз мне ни приходилось бывать в этом городе великих творцов XVI столетия, — записал Савва Иванович, — каждый раз душу мою охватывало особое чувство благоговения».

Стиль повествования становится высоким, автор пытается быть достойным гения города. Он пишет: «Искусство не было прихотью, приятной забавой, оно руководило жизнью, политикой, на него опиралась церковь, религия. Золотой счастливый век! Мы вошли в капеллу Медичей. Никогда с таким благоговейным чувством не приходилось мне стоять перед молчаливым мрамором Микеланджело. Кругом не было никого, царила мертвая тишина, и только великий дух могучего творца, заставивший навек задуматься неугомонного Медичи, витал под сводами здания...»

Ни рукопись Мамонтова, ни рисунки Коровина света до сих пор не увидели, да и писалось все это ради узкого круга друзей, которым можно было разочек прочесть сие сочинение и показать талантливые рисунки. Забава и прихоть богатого человека.

22 декабря 1888 года Илья Семенович Остроухов писал Серову в Петербург: «Ну вот и поздравляю тебя, наконец, милый Валентин Александрович, с получением, так сказать, патента: твое имя в Третьяковской галерее». Речь идет о покупке за 300 рублей работы двадцатитрехлетнего художника «Девушка, освещенная солнцем». В этом же письме Илья Семенович сообщал: «У нас объявлена итальянская опера. Участвуют: Арнольдсон, Фигнер (Отелло), Никита, Франден (знаменитая Кармен)...»

Зигрид Арнольдсон — лирико-колоратурное сопрано — хоть и считалась звездой итальянской оперы, была шведкой, «шведским соловьем». Красивая, прекрасноголосая, она только еще начинала свою сценическую жизнь, успех в России ее окрылял. В своей книге «Жизнь на сцене» Надежда Васильевна Салина писала о зрелой Арнольдсон: «Грудь ее по числу орденов, которыми ее украшают при всяком случае, вероятно, напоминает грудь дивизионного генерала».

Русский певец Николай Николаевич Фигнер был первым исполнителем партии Отелло на отечественной сцене. Луиза Никольсон-

Никита была американкой, но русской по крови. Позже она стала примадонной Парижской оперы. Ею восхищались и ей отдавали заглавные роли композиторы Массне, Абуаз Тома. Лизон Франден — была знаменитой французской певицей. Среди новобранцев Мамонтова Остроухов не помянул очень хорошую шведскую актрису — сопрано Шер, которая пению училась в Петербурге. Так что «итальянцы» мамонтовской антрепризы оказались русскими, шведами, французами. Все звезды были очень молодые, не испорченные славой, и Савва Иванович ставил спектакли, полагаясь на свое чутье, добиваясь от артистов проникновения в глубинную драматургию образов. За словом — мысль и действие. Действие может совершаться вопреки чувству, вопреки желанию, и зритель должен все это видеть, а главное — слышать.

Зигрид Арнольдсон была благодарна Савве Ивановичу, что он прошел с нею роли в операх «Дон Жуан» Моцарта и «Фра-Дьяволо» Обера. Даже капризный, захваленный прессой, заласканный столичной петербургской знатью Фигнер подчинился режиссерскому диктату Мамонтова. Подчинился и блеснул новыми гранями своего дарования в «Гугенотах» Мейербера и в «Отелло» Верди. Об «Отелло» в постановке Мамонтова критик «Московских ведомостей» сожалел, что такая чудесная, высокохудожественная работа пройдет только четыре раза.

У антрепризы Мамонтова оказался конкурент, сам Анджело Мазини с труппой настоящих итальянцев, но его виртуозы пения не смогли превзойти русско-скандинавскую антрепризу Мамонтова. Критика и, главное, публика были на стороне думающего театра.

И еще два года держал Савва Иванович антрепризу. В 1890 году в его труппе солировали: тенор Массини, баритон Бланшар, бас Танцини, сопрано Гараньяни, Соффрити, из русских певцов — меццо-сопрано Любатович и артисты императорской Петербургской оперы Николай и Медея Фигнер.

Последняя антреприза 1891 года надолго запомнилась любителям оперного искусства. Конкуренция с Мазини заставила Мамонтова пригласить звезд первой величины. В «Гамлете» Тома пели Адель Борти и баритон Кашман. В «Ромео и Джульетте» Гуно Фигнер и ван Зандт вызывали у слушателей благодарные слезы, столь высоко и трогательно было их искусство в этом изумительном спектакле. Но всех актеров, блистательных, неподражаемых, знаменитых на весь мир, затмил тенор Франческо Таманьо. Станиславский в книге «Моя жизнь в искусстве» передает свои впечатления от этого голоса, поразившего великого режиссера в юности и на всю жизнь. «До его первого выступления в

Москве, — пишет Константин Сергеевич, — он не был достаточно рекламирован. Ждали хорошего певца — не больше. Таманьо вышел в костюме Отелло, со своей огромной фигурой могучего сложения, и сразу оглушил всеокрушающей нотой. Толпа инстинктивно, как один человек, откинулась назад, словно защищаясь от контузии. Вторая нота — еще сильнее, третья, четвертая — еще и еще, — и когда, точно огонь из кратера, на слове „мусульма-а-а-не“, вылетела последняя нота, публика на несколько минут потеряла сознание. Мы все вскочили. Знакомые искали друг друга, незнакомые обращались к незнакомым с одним и тем же вопросом: „Вы слышали? Что это такое?“ Оркестр остановился, на сцене смущение. Но вдруг, опомнившись, толпа ринулась к сцене и заревела от восторга, требуя „биса“».

Такие вот певцы век тому назад пели в Москве, в Петербурге и по городам России. Как тут не процитировать Константина Коровина, который в мрачную пору своей парижской эмиграции вспоминал ту, ушедшую навсегда благословенную Россию. «Москва была богата и избалована... Довольство жизнью было полное. Рынки были завалены разной снедью — рыбой, икрой, птицей, дичью, поросятами. Промышленность шла, Россия богатела... Из-за границы поступало все самое лучшее... Летние сады развлечений были полны иностранными артистами — оперетка, загородные бега и скачки, рестораны были полны посетителями, там пели венгерские, цыганские, румынские хоры... Но странно, несмотря на довольство жизнью, многие из поместий и городов стремились уехать за границу... Я нигде не видел лета лучше, чем в России, и не знаю моря и берега лучше Крыма. Но Крым считался „не то“, чего-то не хватало».

Вернемся, однако, к Таманьо. Станиславский так пишет о его даровании, о волшебстве, которое творит работа: «Он был посредственный музыкант. Часто детонировал, фальшивил, попадал не в такт, ошибался в ритме. Он был плохой актер, но он не был бездарен. Вот почему с ним можно было сделать чудо. Его Отелло — чудо. Он идеален и в музыкальном, и в драматическом отношении. Эту роль он в течение многих лет (да, именно лет) проходил с такими гениями, как сам Верди — по музыкальной части и сам старик Томазо Сальвини — по драматической... Таманьо был велик в этой роли не только тем, что его научили два гения, но и тем темпераментом, искренностью и непосредственностью, которые были даны ему Богом... Сам он не умел ничего с собой сделать. Его научили играть роль, но не научили понимать и владеть искусством актера».

Успех Мамонтовского театра падал отсветом на самого Мамонтова, но

не такой славы он желал себе. Человек дела, Савва Иванович стремился преобразить русскую оперу, дать жизнь русской музыке. Ведь было известно, что репертуар Мариинского оперного театра просматривает сам Александр III, и это он вычеркивает всякий раз оперы Римского-Корсакова, полагая, очевидно, что спасает Петербург от скуки.

Почему Савва Иванович прекратил антрепризу? Размолвка с Любатович? Разочарование в театре гастролеров?

Скорее всего повлияла на Савву Ивановича смерть сына Андрея. Милый талантливый Дрюша умер на двадцать втором году жизни 20 июля 1891 года.

Круг Абрамцева

Птенцы гнезда Мамонтова, обретя славу и имя, по-прежнему чувствовали себя в этой благословенной среде легко и свободно, видя то ли в московском мамонтовском доме на Садовой, то ли в Абрамцеве свою родную стихию, тепло и уют, где можно и душой отдохнуть, и поразмышлять о всех проблемах бытия.

Великим постом 1885 года Антон Серов, живший у Мамонтовых в Москве, писал своей невесте Ольге Трубниковой в Одессу: «Здесь, у Мамонтовых, много молятся и постятся, т. е. Елизавета Григорьевна и дети с нею. Не понимаю я этого, я не осуждаю, не имею права осуждать религиозность и Елизавету Гр. потому, что слишком уважаю ее — я только не понимаю всех этих обрядов. Я таким всегда дураком стою в церкви (в русской в особенности, не переносу дьячков и т. д.), совестно становится. Не умею молиться, да и невозможно, когда о Боге нет абсолютно никакого представления. Стыд и срам, я так ленив мыслить и в то же время страшусь думать о том, что будет за смертью, что эти вопросы так и остаются вопросами — да и у кого они ясны? Ну, будет или, вернее, что будет, то будет, не правда ли?»

Такое отношение Серова к Православию не удивительно. Мать у него шестидесятница, народница, просвещала народ музыкой, создавала коммуны, участвовала в тайной, в подпольной работе противников царской власти. Христианская вера, священство были для Валентины Семеновны опиумом для масс. Это убеждение не мешало ей исповедовать иудаизм, заботиться о благолепии синагоги. Сына она вырастила все в тех же еврейских коммунах и за границей. Однако отпадение России от Церкви, от Православия началось не с агитации «Земли и воли», не с «Капитала» Маркса. Атеизм по существу насильственно внедрил в высшие сословия царь Петр. Духовная смута продолжалась целое столетие, развращая народ протестантизмом и просвещением. У просвещения врагом номер один стал русский священник. В чем-то «просветители» преуспели, но народ рассказывал о своих пастырях забористые заветные сказки не с их голоса.

После венчания в церкви Серов вынес от общения с православным духовенством чувство омерзения. Он писал Андрею Мамонтову: «Проклятые попы, вот народец — признаюсь, не ожидал, т. е. такие грубияны, нахалы и корыстные, продажные души — одно безобразие — и это пастыри духовные, перед которыми, так сказать, нужно исповедовать

свои грехи, одним словом, выкладывая свою душу — покорно благодарю. Намыкался я с ними, за последнее время штук восемь перевидал, и за исключением двух-трех, что помоложе — остальные непривлекательные туши». В этом письме нет намека на иноверие, одна только обида и разочарованность. Готовясь к столь замечательному таинству, как венчание, Валентин Александрович настраивал душу на высокий лад, не могло не сказаться влияние светлой религиозности Елизаветы Григорьевны, — но столичные петербургские пастыри выказали все свое пузатое хамство и оттолкнули, отвадили от церкви искреннего молодого человека.

Не будучи верующим, не без колебаний брался расписывать стену в Киевском Владимирском соборе. «Интересно бы узнать еще, как обстоит моя кандидатура на ту 8 аршинную стену, на которой долженствует быть изображено „Рождество“, — писал он Виктору Михайловичу Васнецову. — Горе мое, работаю я не так плохо, как медленно. С этой стороны я Киева немножко побаиваюсь, тем более, что совершенно не знаю, какую предложить цену. С Праховым об этом щекотливом вопросе ни полслова не было говорено... Работать и сработать что-нибудь порядочное на тему „Рождество“ для меня весьма интересно и привлекательно».

Эскиз, картинку в восемь вершков, он отослал Васнецову и сам побывал в Киеве. Увидел, как худо живет Врубель. Не остался, перетащил и Врубеля в Москву, под крыло Мамонтовых. Через Дрюшу Валентин Александрович в июне 1890 года известил Прахова, что отказывается от работы во Владимирском соборе, но потом передумал, послал Адриану Викторовичу письмо, высказывая желание писать «Рождество». И опоздал. Письмо отправил 5 ноября, а 7-го Прахов заключил контракт с Нестеровым. Виктору Михайловичу эскизы Нестерова нравились, но он признавал: «Может быть, Врубель и Серов сделали бы интереснее»... Может, и сделали бы, да только Врубель поверх Богородицы мог написать циркачку, а Серов из-за своей неустроенной жизни спешил заработать деньги портретами, уроками, иногда задумываясь над художественной стороной «Рождества», но совершенно не испытывая религиозного призыва.

До женитьбы, после женитьбы Валентин Александрович подолгу жил у Мамонтовых, зимой в Москве, летом в Абрамцево. В одном из писем невесте он признавался: «Если спросишь, как живу — отвечу: живу я у Мамонтовых, положение мое, если хочешь, если сразу посмотреть — некрасивое. Почему? На каком основании я живу у них? Нахлебничаю? Но это не совсем так — я пишу Савву Ивановича, оканчиваю, и сей портрет будет, так сказать, оплатой за мое житье, денег с него я не возьму. Второе, я их так люблю, да и они меня, это я знаю, что живется мне у них легко

сравнительно, исключая Саввы Ивановича и т. д., что я прямо почувствовал, что я и принадлежу к их семье. Ты ведь знаешь, как люблю я Елизавету Григорьевну, т. е. я влюблен в нее, ну, как можно быть влюбленным в мать. Право, у меня две матери».

Родная мать Валентина Александровича всегда была чрезмерно чем-либо да увлечена. Сочинительством очередной оперы, любовью к Немчинову, музыкальными проповедями в деревне. Так же чрезмерно она увлекалась воспитанием сына, превратив его жизнь в сплошной экзамен.

Ласку, одобрение любому доброму движению души, заботу в болезни Тоша встретил в доме Елизаветы Григорьевны.

Он был другом ее сыновей и дочерей, а от нее всегда ждал материнского слова.

«Дорогая Елизавета Григорьевна, — это из Ярославля, от Чоколовых, — пишу Вам из места ссылки ваших сыновей (добровольной или недобровольной — другое дело). Представьте, что мне тоже, как и им (хотя я и не ваш сын), ужасно хочется получить от Вас письмо, именно ужасно (как говорит Дрюша)».

Кому он пишет из Флоренции, с кем делится своей гордой радостью — ведь эта поездка заработана своим трудом, своим искусством? Елизавете Григорьевне: «Вспоминаю Вас часто, очень часто и во сне вижу Вас тоже очень часто. Крепко люблю я Вас. А люблю я Вас с тех самых пор, как Вас увидел в первый раз десятилетним мальчиком, когда, лежа больным в дамской комнате, думал, отчего у Вас такое хорошее лицо».

Это письмо отправлено в Абрамцево 22 мая 1887 года.

Счастливый для двадцатидвухлетнего Серова год.

За границу Антон ездил с детьми Анатолия Ивановича Мамонтова, с Юрой и Мишей. После возвращения он не раз бывал в Введенском, хлопоча возле захандрившего Мишеля. На того странно подействовало великолепие итальянской живописи: прекратил занятия живописью. Оказалось, это не блажь, не каприз, а тяжелая душевная депрессия. Серов и Остроухов, сговорясь, решили лечить друга работой. Мишель и впрямь постепенно оттаял, ожил, втянулся в учебу. Он был студентом Московского художественного училища живописи, ваяния и зодчества и вырос в талантливом пейзажиста. Впрочем, в 1900-х годах, по смерти отца, Анатолия Ивановича, ему пришлось оставить искусство и заняться делами типографии.

Дом «анатолиевичей», или «леонтьевцев» — жили в Леонтьевском переулке — был притягательным местом для людей искусства. Жена Анатолия Ивановича Мария Александровна была в молодости актрисой,

певицей. Музыкальные вечера Мамонтовых отличались серьезностью музыки, высоким мастерством приглашаемых музыкантов. Послушать Баха и Бетховена ездил к Анатолию Ивановичу Суриков. А жизнь катилась, как река.

Дети выросли, обзаводились своими семьями. Таня стала женой ученого, филолога и философа Григория Алексеевича Рачинского, автора двух значительных книг «Трагедия Ницше» и «Японская поэзия». В начале 1900-х годов, по смерти Татьяны Анатольевны, Григорий Алексеевич соединил судьбу с овдовевшей Марией Федоровной Якунчиковой. Любопытно, что старшая дочь Мамонтова, Наталья Анатольевна, тоже носила фамилию Рачинская. (Нам, к сожалению, известны только инициалы этого Рачинского — А. К. А. К. станет в 1906 году мужем младшей дочери Анатолия Ивановича — Параши.) Так что фамилия Рачинских для женской линии «анатолиевичей» оказалась вещей.

Что же касается Марии Федоровны Мамонтовой, она, выйдя замуж за Владимира Васильевича Якунчикова, стала очень богата. Ее муж был совладельцем и директором Воскресенской мануфактуры. Он хорошо знал Антона Павловича Чехова, Чехов гостил у него. Впрочем, сам Владимир Васильевич был человеком от мира сего. Любил роскошествовать, всячески баловал себя и был чрезмерно ленив. Мария Федоровна, как и все Мамонтовы, наоборот, лености не терпела, умела видеть прекрасное в простом. По примеру Елизаветы Григорьевны она серьезно занималась кустарным производством и в 1900 году на Всемирной Парижской выставке получила золотую медаль, а в советское время организовала «Артель вышивальщиц».

Анатолий Иванович Мамонтов, как и его брат, привечал в своем доме не только музыкантов, но и художников.

В своей типографии Мамонтов-старший издавал богато иллюстрированные книги и журнал «Детский отдых». Валентин Александрович Серов исполнил для этого журнала не менее двадцати рисунков и акварелей, иллюстрировал книгу «Басни Крылова», работал над рисунками для затеянной Анатолием Ивановичем «Библии для детей». Антон успел нарисовать «Змея-искусителя», «Адама», но издание грозило быть слишком дорогим, и Мамонтов не решился идти на затраты, которые могли не окупиться. Книга не состоялась. Подобная накладка была редкостью. Серову работа иллюстратора очень нравилась, и он сотрудничал с типографией в Леонтьевском переулке до самой смерти.

И все же дом на Садовой против Спасских казарм, милое Абрамцево были Антону роднее и дороже. После заграничного итальянского вояжа,

после Венеции и Флоренции он хотел быть рядом с Елизаветой Григорьевной. Может быть, еще и потому, что ей было трудно, театр крал у нее Савву Ивановича.

Антон приехал в Абрамцево поздно, выпил на кухне молока с хлебом и отправился в терем, где было место в мезонине. Знакомо и ласково пахло теплым деревом. Пол под ногами поскрипывал, в окошке стояла звезда, простыни хранили свежесть Вори и ветра. Он заснул тотчас, как положил голову на подушку. Успел подумать, как завтра все удивятся ему, как все обрадуются, и покатился с горы в снег, очень удивляясь снегу, откуда взялся... в июле!

Утром Антон встал с солнцем. Хотел сразу идти на реку, но завернул в оранжерею. Михаил Иванович был уже в своем царстве, собирал персики.

— Угощайся! — садовник поставил перед гостем блюдо с плодами. — Самый красивый твой.

— Я из Италии, Михаил Иванович. Там этой красоты — полные прилавки. Пусть персики девчонки едят, чтоб щечки были румяные.

— Ишь ты, совсем барин стал, — одобрительно сказал Михаил Иванович. — По Италиям раскатывать! Наследство получил?

— Откуда ему взяться, наследству? Заработал, Михаил Иванович. Помнишь, в мастерской лошадей писал? За них тысячу целковых отвалили.

— А Италия на кой ляд понадобилась? Наши ездили, так Дрюшу от смерти спасали. Разве плохо в Абрамцево? Вот она наша Италия, — показал на персики.

— Лучше Абрамцева нет, а в Италию ездил — картины глядеть, подучиться.

— Это дело другое. На учебу никаких денег не жалко, — согласился садовник. — Я бы треть жизни отдал, если бы кто научил персики на воле выращивать, под нашим небом. Как думаешь, есть такие учителя?

— Думаю, что нет, Михаил Иванович. А впрочем, есть. Ты сам десяти профессоров дороже. Недаром у Мамонтова служишь.

— Недаром, — согласился садовник. — Мамонтов держит тех, кто, как огонь. Он и сам, как огонь.

— Купаться пойду, — сказал Антон.

Вода за ночь не остыла, ласкалась к старому другу. Над осокой летали иголки-стрекозы.

Искупавшись, поспешил к дому напрямиком, на гору. Вышел к парадному крыльцу, к жасминовому буйству. На крыльце никого не было. Антон вошел в гостиную, удивился тишине, открыл дверь в столовую — опять никого.

Сел в кресло у окна, сладостно потянулся, чувствуя себя довольным котом и предвкушая впереди тысячу абрамцевских удовольствий.

И увидел персики. Они лежали на том самом блюде, которое поднес ему садовник. Золотые блики от плодов падали на белоснежную скатерть, на край блюда, на серебряный нож. Кажется, сам воздух золотился над золотыми персиками.

Вдруг дверь распахнулась и вбежала Веруша. Она глянула на стол, просияла, схватила самый большой, самый золотой и уселась на стуле, крутя персик перед глазами, выбирая особо вкусный бочок.

Увидела Антона и покатила со смеху, приглашая в свой счастливый детский заговор.

— Подожди, — сказал он ей шепотом. — Вот так! Так вот и сиди.

Поднялся, отставил блюдо, положил персики на стол.

— Веруша, я должен *это* написать.

Он смотрел на ее розовое утреннее платье, на большой бант на груди.

— Это будет как портрет репинской Нади. Помнишь, девочка в розовом? Полулежащая на высокой подушке? — Встал на колени. — *Моя* будет лучше! Веруша, послужи музам. Не погуби искусства.

И пришлось бедной Веруше сидеть, терпеть изо дня в день, целый месяц по два, по три часа. Но и награда была: желанный утренний персик.

15 августа Антон все еще терзал бедную свою жертву. Он писал Остроухову: «Если бы я не был связан Верушкиным портретом и ближайшим отъездом в Ярославль, я с удовольствием бы воспользовался твоим приглашением погостить у тебя в Астафьеве». В этом же письме Серов сообщает: «Да, между прочим, прочел я брошюру Криста о картине Поленова. Очень толковый разбор... Васил. Дм. прочел всего несколько страниц, но затем объявил, что скучно написано, и дальше читать не стал — странно».

Замечательная XV Передвижная выставка путешествовала по стране. Отправилась с выставкой и поленовская картина «Христос и грешница». Правда, не сама картина, а несколько уменьшенная копия, написанная братом Константина Коровина — Сергеем. Василий Дмитриевич, ради большей близости к оригиналу, написал на этой копии лица.

Имя Поленова стало широко известным. Его картину хвалили одни и ниспровергали другие. «Московские ведомости» углядели отход от канонического Христа, обвиняли художника в натурализме. Вместо «древних евреев» представил «современных жидов». В. М. Гаршин приветствовал картину. «Христос Поленова, — писал он в „Северном вестнике“, — очень красив, очень умен и очень спокоен. Его роль еще не началась. Он ожидает; он знает, что ничего доброго у него не спросят, что предводители столько же и еще более хотят его крови, как и крови преступивших закон Моисеев. Что бы ни спросили у него, он знает, что он сумеет ответить, ибо у него есть в душе живое начало, могущее остановить всякое зло». Другой известный писатель В. Г. Короленко в «Русских ведомостях» тоже радовался картине: «Луч живой любящей правды сверкнет сейчас в этот мрак изуверства».

Бывшая любовь Василия Дмитриевича Климентова-Муромцева прислала художнику письмо: «Поздравляю с громадным успехом Вашей картины! Это просто гениальная вещь... Счастливец, какой у Вас талант!»

Наконец-то разглядела. А может, государь помог, приобретя картину.

Радовался за друга Спиро. «Воображаю, как бы Тургенев восхищался твоей картиной! — писал он из Одессы. — Мне еще ужасно нравится, что Буслаев Федор Иванович от твоей картины в большом восторге... это, говорит, первый настоящий выход реализма на Руси...»

Горячо звал Василия Дмитриевича на леса Владимирского собора Адриан Прахов, а вот молодые художники, у которых дух захватывало от этюдов их учителя, не понимали, зачем было писать такую громадину. Серов монумент Василия Дмитриевича принимал за вполне заурядную иллюстрацию «Библии для детей». Поленов чувствовал это разочарованное равнодушие молодых к труду его жизни.

Перед отъездом в Крым, на лечение — работа над картиной стоила многих сил, — Василий Дмитриевич приезжал в Абрамцево, увидел в столовой на мольберте «Верушу» и очень хвалил за цвет, свет, за смелость и мастерство. Задачу Антон поставил перед собой сложнейшую — написать природу против света — и не сплеховал.

— У меня все впереди! — посмеивался Антон.

— А у меня? — спросил Поленов. Вопрос был задан так серьезно, что Антон опешил и промолчал, а Василий Дмитриевич по-детски покраснел. Потом преодолел смущение, глаза светили тепло, но оставались строгими.

Создатель «Христа и грешницы» никогда не имел о своем даровании преувеличенного не только мнения, но и чувства.

На призыв Васнецова поработать вместе в Киевском соборе, ибо «нет

на Руси для русского художника святее и плодотворнее дела, как украшение храма», — отвечал честно и прямо: «Ты искренне веришь в высоту задачи, поэтому у тебя и дело идет. А я этого не могу... Для меня Христос и его проповедь — одно, а современное православие и его учение — другое; одно есть любовь и прощение, а другое... далеко от этого. Догматы православия пережили себя и отошли в область схоластики. Они нам не нужны».

Себя Василий Дмитриевич оценивал с наивозможной бесстрастностью, да только подобная бесстрастность окунается в кровь сердца. «Сам я по таланту небольшой человек, — продолжал он свою исповедь, — таким меня все считают, и справедливо, но замыслы у меня большие; много я и долго работал и, наконец, достиг теперь некоторой известности. Достиг я ее главным образом благодаря сюжету моей картины, т. е. смыслу сюжета, или, как говорят, идее картины... В жизни так много горя, так много пошлости и грязи, что если искусство тебя будет сплошь обдавать ужасами да злодействами, то уже жить станет слишком тяжело».

Василий Дмитриевич был удивительный человек. В табели о рангах он мог искренне поставить себя много ниже своего же ученика. Первее всего было для него искусство. Он дописывал за Врубеля огромное панно «Принцесса Греза», потому что тому надо было исполнить другие работы, а на этого колосса не оставалось ни сил, ни времени. А у Врубеля в это время не то что двора или хотя бы кола, но даже имени не было. Так. Сумасшедший мазила.

Осенью того замечательного года, когда русское искусство получило картины «Христос и грешница», «Боярыня Морозова», а в Абрамцеве обрело еще и «Девочку с персиками», с Поленовым произошел удивительный случай. Ехал в Крым с Сергеем Тимофеевичем Морозовым, фабрикантом и основателем Кустарного музея в Москве. Ехали из Симферополя в Алушту. Разумеется, на лошадях. В пути застала ночь. «Я рассказывал Морозову, — пишет Василий Дмитриевич жене Наталье, — что такое Фортуни, и сделал такое сравнение: „Видите эти звезды, это мы, разной величины художники, и, представьте, если бы теперь пролетел блестящий метеор, это был бы Фортуни“. Через несколько минут над нами загорелся огромный метеор, осветил все электрическим светом и довольно медленно спустился в балку. Мы так и ахнули».

Не дождался Василий Дмитриевич лаврового венка от современников, за него теперь нужно было платить. Времена-то были уже худшие. Слава превратилась в товар. Но как в ковше Большой Медведицы — семь звезд,

так в русском искусстве среди его семи светил — одна навеки за Поленовым. Воистину сын своего народа, наивно принявший дело Петра за спасительный для России путь, он начал свои искания в творчестве с познания Европы. «Право господина», «Арест гугенотки». Не только холодность, но и сама суть этих картин европейская. Каждый человек здесь сам по себе, со своей выгодой и со своим собственным несчастьем. Но русское в русском рано или поздно пробуждается. Поленовский «Сказитель былин Никита Богданов» — это не Европа. Это уже наше. Лапотник в драных штанах, в драном зипуне, но именно ему, задрипанному крестьянину, дано носить в себе и хранить вещь правду. С лицом напряженным, с руками, словно вышел из угольной ямы, неказист, доброты не излучает — такова она, бездонная и безмерная русская суть. Конек-Горбунок. Василий Дмитриевич это понял и сказал об этом, не пыжась, не мудрствуя лукаво. Лик Родины — не личина, румянить да белить — грешно. Всего украшения «Московскому дворику» — белые детские головки. А заросшие пруды! У русского человека на бережку такого пруда душа щемит. Кувшинки, лягушки, аир да осока, соловьи по кустам, русалки в черной чистой воде. Потому и писал любимую с детства речку Оять, а в зрелые годы открылась Ока. И осень. Никакое тропическое цветение несравнимо с русским золотом русской земли.

Думая о Боге, о Христе, Поленов написал не только «Христа и грешницу», но и «Генисаретское озеро». Покой неба, покой воды и земли. Христа, идущего узкой тропью. Одинокого, любимого в этом Его одиночестве. Любимого, как умеет любить одно только детство.

О Святая земля! Всякий русский человек носит в себе заветную тягу взять посошок да и пойти к морю, а там и через море до Гефсиманского сада, до Иордана и Вифлеема. Не за ради чуда или особой силы, без корысти, без намека на затею, без мысли — упаси Боже, одним только сердцем. Лишь бы пройти по земле, по которой Христос ходил. Мы ведь родня каликам переходим, тихим странникам и странницам.

И писал Василий Дмитриевич «Большую», ибо знал утраты горчайшие.

И писал сны наяву, сказки для представлений. Возвращал взрослых людей в их детство.

Ходил на войну за славянское дело, когда был молод, в зрелые лета учил новое поколение тайнам искусства.

Довелось ему быть свидетелем, как сгорела дотла бедная Россия. И остался с народом, веруя, что родится она из пепла птицей феникс. Работал ради русских людей до глубокой старости, сколько мог. И был он духовным братом Никиты Богданова, хранителя красоты русского слова, русского

духа.

Нынче мы знаем, сколь драгоценна в сокровищнице русского искусства «Девочка с персиками». А вот посетителям VIII периодической выставки Московского общества любителей художеств, увидевшим ее первыми, она хоть и нравилась, но казалась торопливым эскизом будущей картины. Ни одно сердце не замерло от восторга.

Илья Семенович Остроухов — это он устанавливал картины Антона на выставке в самом выгодном для них освещении, — рассказывая в письме о других претендентах на конкурсные премии, «Девочку с персиками» не мог принять как неоспоримую художественную удачу. «Твой портрет, — писал он, — интереснее и свежее, талантливее в сто раз, одним словом, я бы после большого колебания отдал бы все же, в конце концов, преимущество тебе, но сделавши это, непременно болел бы, что не поступил иначе... Премия портрета одна».

Серов, страхуясь, выставил еще два портрета: «Этюд девушки» — ныне широко известную «Девушку, освещенную солнцем», это его двоюродная сестра Маша Симонович, и еще портрет композитора Бларамберга.

Дерзал отхватить премию и в жанре пейзажа. Этот пруд в поленовском духе Остроухов назвал «Сумерки». Кстати, Остроухов эту работу ставил даже выше «Портрета В. М.» («Девочки с персиками»), «В пейзаже у тебя, — высказывал он свои опасения, — тоже есть один конкурент (Левитан, по секрету), и я не знаю, кто из вас получит первую премию, но вы оба, по моему, должны получить первую и вторую. Интересно знать, как вас разделят. Мое откровенное мнение, и здесь я бы не колебался и не раскаивался потом, что 1-ая премия должна быть отдана Левитану, вторая — тебе. Остальные пейзажи слабы... Коровинская осень — одни пятна сомнительной правды... Жанр представлен слабо. Лучшая вещь Коровина „Чаепитие“, но, думаю, первой премии никто не получит в этом году».

Конкурс Общества любителей художеств был самый заурядный, ежегодный. Художники представили одиннадцать жанров, шестнадцать пейзажей и только пять портретов. Однако заурядным этот небольшой парад молодых, в основном, художников казался только современникам. Историки-искусствоведы признают VIII периодическую выставку — явлением для русской живописи исключительным. Среди многих новых

имен, появившихся на VIII периодической, любители искусства четыре имени запомнили твердо: Серов, Коровин, Левитан, Нестеров. Первые трое стали победителями и призерами конкурса.

Остроухов оказался прав. За жанр первой премии не присудили. Второстепенную получила картина Коровина «За чаем». По пейзажу второстепенной премии удостоилась картина Левитана («Вечереет»), третьей — Коровина («Осень»), Первой тоже никому не дали. Премия за портрет — единственная — была отдана картине Серова «Портрет В. М.». Так была названа в каталоге «Девочка с персиками». Нестеров выставлял на конкурс картину «За приворотным зельем». Премией даже не повеяло, внимания прессы не удостоился, но критик «Русских ведомостей» обронил-таки похвальное словечко: «Картина „За приворотным зельем“ обличает в г. Нестерове очень талантливого художника». Имя Левитана критики поминали охотнее, а иные даже пытались разбирать его картину. «Момент выбран очень удачный для настроения зрителя, — писал доброжелательный газетчик, — момент перехода от солнечного дня к лунной ночи. Вообще картина эта отличается чувством и вызывает известное настроение — в этом и заключается главная заслуга художника... Что же касается до таланта, то г. Левитан и своими эскизными работами завоевал себе почетное положение среди наших пейзажистов».

Коровинские картины принимались с оговорками. В пейзаже отмечали вкус, «художественный интерес». В жанре усмотрели «слишком внешнее, поверхностное отношение к натуре» и «несомненные достоинства» в технике письма.

По-настоящему большой прессы удостоился один Серов, но каковы высказывания! Влиятельная газета «Новое время» признала: «Вполне удачным конкурс назвать нельзя: первой премии по жанру и пейзажу не дано никому, да и действительно некому было дать... Премию за портрет девочки получил г. Серов. Лицо написано очень бойко, экспрессивно, а в аксессуарах колорит и рисунок очень слабы и небрежны. Думается, художник просто кокетничал этой небрежностью». «Русские ведомости» хоть и отметили, что портрет поражает жизненностью и простотой манеры, но нашли передачу света неестественной. Пятна солнца показались критику похожими на слои пудры.

Для прозрения ценителей, для переоценки живописи, широко заявившей о себе на VIII периодической выставке в 1887 году, понадобилось всего двадцать два года. В 1909-м картины двадцатидвухлетнего Валентина Серова «Девочка с персиками» и «Девушка, освещенная солнцем» «История русского искусства» признала

высшим достижением отечественного искусства. Это «две такие жемчужины, что если бы нужно было назвать только пять наиболее совершенных картин во всей новейшей русской живописи, то обе неизбежно пришлось бы включить в этот перечень». «Истории», однако, пишут люди. Эта принадлежит перу И. Э. Грабаря.

История, бессмертная слава, а что художник получил для жизни, для стола своего, для возможности быть одетым и обутым, свободным в работе и в передвижении?

Серов считал: для него эта выставка — сплошное благополучие. Премия — 200 рублей, «Девушка, освещенная солнцем» — 300, «Пруд» — 300... (Кстати, по сообщению И. С. Зильберштейна, картины Остроухова — он выставлял три работы на периодической выставке — оценивались и продавались всего по сто рублей. Купили Морозов и Гартунг.)

Деньги, полученные Серовым, позволили спокойно закончить большой портрет отца. Этот портрет он писал к юбилею оперы «Юдифь». Юбилейных торжеств не состоялось, но портретом композитора Серова художник Серов дебютировал на Передвижной выставке 1890 года. Стасов — непримиримый газетный враг Серова-критика — в большой статье о работах передвижников посвятил молодому дарованию несколько дружественных и проницательных абзацев: «Отцовский портрет, — писал Владимир Васильевич, — вышел у молодого Серова истинно превосходною и сильно примечательною вещью. Теперь, покуда, мудрено сказать, выйдет ли впоследствии из Серова колорист, его красками теперь нельзя еще быть довольным, они мутны, серы и монотонны, но способность схватывать натуру человека, целую фигуру, внутреннее выражение — присутствует у него уже и теперь в высокочудотворительной степени, и если не исторический живописец, то по крайней мере отличный портретист выйдет из него — несомненно».

Так вот оно и бывает... Пророчат какое-то «несомненное» будущее, а вершина уже достигнута. Мастер создает еще множество превосходных работ, за которые будут платить большие и очень большие деньги, его мнение станет приговором, его захотят видеть в царском дворце, Академия будет счастлива иметь такого преподавателя, но «Девочка с персиками», «Девочка под деревом», которые казались первым зрителям несовершенным началом чего-то очень большого, прекрасного, станут бесценными для искусства.

Не французские импрессионисты совершили переворот в русской живописи, но «Девочка с персиками». Вот что писал сестре Михаил Васильевич Нестеров, впервые побывавший в Абрамцеве в июле 1888 года,

то есть за полгода до выставки: «После обеда отправились осматривать домашний музей и картинную галерею. Из картин и портретов самый заметный — это портрет, писанный Серовым (сыном композитора) с той же Верушки Мамонтовой. (Ранее Михаил Васильевич говорил о чудесном портрете кисти Кузнецова. — В. Б.) Это последнее слово импрессионального искусства. Рядом висящие портреты работы Репина и Васнецова кажутся безжизненными образами, хотя по-своему представляют совершенство».

Нестеров прав. Картина французистая, но только перед глазами Серова, когда он писал портрет, были не импрессионисты, а великие итальянские мастера Возрождения. Ведь он явился в Абрамцево из художественных галерей Венеции и Флоренции. Молодость живет спором. Восторгом и спором. Одно пламя, возбуждавшее творчество, исходило от гениев Италии, другое, поменьше да позлей, от спора с Поленовым, ибо Поленов в огромном «Христе и грешнице» выглядел отступником от своих радостных, живых красок в этюдах Кремлевских соборов, Палестины, Египта, Греции, милой речки Оять.

Стремление к самому себе, через поклонение высочайшему, через спор с учителями — да еще яркое солнце, наполнявшее просторную столовую, да розовое платье девочки, да милое личико — совершили чудо, называемое нами «Девочка с персиками».

Абрамцево пополнялось уже художниками нового поколения.

Михаила Васильевича Нестерова в Абрамцево привел отрок Варфоломей. Художник о том не ведал, святой промысел открывается не тотчас.

Двадцати трех лет от роду испытал Михаил Васильевич такое горе, что открылась ему бездна человеческого несчастья. 29 мая 1886 года умерла Маша, жена его, любовь его и жизнь. Она подарила ему дочь и чувство зыбкости жизни, бесценности Божьего дара.

Родители Михаила Васильевича этот брак не благословили, отказали сыну от дома. Да что он гнев родительский перед любовью. Любовь сильнее запретов. Всего лишь студент Училища живописи, ваяния и зодчества, жил в ту пору Нестеров скудно, зарабатывая рисунками, да так счастливо, что года этого из восьмидесяти отпущенных ему лет, — света и ласки одного года — хватило на всю жизнь.

Любовь и на небесах не меркнет. В «Воспоминаниях» Нестеров расскажет: «... Явилась мысль написать „Христову невесту“ с лицом моей Маши... В этой несложной картине тогда я изживал свое горе... Любовь к Маше и потеря ее сделали меня художником, вложили в мое художество недостающее содержание и чувство, и живую душу, словом, все то, что позднее ценили и ценят люди в моем искусстве».

Художник приехал в Троице-Сергиеву лавру, движимый неясным, но сильным чувством. Стихия творчества требовала выхода, а ум, боясь не угодить зову, метался в поисках достойных образов.

Нестерову было двадцать шесть лет. Он успел написать десятки картин и этюдов, которые не были посредственными, но и не давали право на имя.

Как и его учитель, Василий Григорьевич Перов, он отображает жизнь, домашние и городские сценки, пытается быть острым, современным: «Домашний арест», «Задавили», «Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет», «Старый да малый», ему хочется быть милым, лиричным, и на его полотнах появляются дети: «Девочка, строящая карточный домик», «Мальчишки играют в снежки». Копируя в Эрмитаже «Фому Неверующего» Ван Дейка, он был замечен Крамским. Иван Николаевич пригласил молодого художника домой. Видимо, отзвуком встречи со знаменитым портретистом стала проба сил в этом сложном жанре. Увлеченный Малороссийским театром, Нестеров упробил блистательную Заньковецкую позировать ему. В своих «Воспоминаниях» Михаил Васильевич писал об этой актрисе: «Женственная, такая гибкая фигура, усталое, бледное лицо не первой молодости, лицо сложное, нервное; вокруг чудесных, задумчивых, может быть, печальных, измученных глаз — темные круги... рот скорбный, горячечный...» Словесный портрет, однако, получился более выразительный, нежели портрет в красках... Чувствуя, что все, что он делает, ничтожно, художник пускается в исторические изыски. Пишет: «Избрание Михаила Федоровича на царство», «До государя челобитчики», «Первая встреча царя Алексея Михайловича с боярышней Марией Ильиничной Милославской»; пробует найти себя в сказке: «Иван-царевич везет Жар-птицу», «Царевна Искра», в иллюстрациях к Достоевскому, ко Льву Толстому, к Пушкину и Лермонтову. Ему начинает казаться, что он на верном пути, ведь в том же самом знаменательном для русского искусства 1887 году, на конкурсе Общества поощрения художников его картина «До государя челобитчики» разделила с картиной С. Я. Лучшева премию имени Виктора Павловича Гаевского. Похвалы учителей, Большая серебряная медаль Училища, звание классного художника — это ли не успех? И в глубине души понимал: успех — иное. Иной мир. Дверь туда открывается

не премией, вот разве что Третьяков картину купит...

И нежданно вступил в этот мир «Христовой невестой». За «Христову невесту» Михаил Васильевич не желал ни славы, ни денег... Картина-разлука. Он написал милую юную женщину, монашку — по одежде, по судьбе. Она уже не от мира сего, да только нежности в ней не ubyло, не ubyло желанья удержать ее. Слишком много осталось в мире доброго, ласкового, родного. Ее благословляющая рука нерешительна, сама она, как сон. Такая явственная, но опусти глаза и — больше не увидишь: растворится в этом русском пространстве. Перед нею — деревце — тонкий росток, еще одни только прутики... Мария Ивановна умерла на третий день после родов, девочку оставила, Олю. В образе Христовой невесты — жена, возлюбленная, найденная и навеки потерянная половина, была Михаилу Васильевичу избавлением от черной бездны. Христовой невесте нельзя оставаться в миру, вот ее и нет... И жизнь, и смерть неминуемы... Но он был художник. Он мог сотворить чудо, пусть только на полотне. Язычество заговорило в нем. «За приворотным зельем» — это хождение за чудом, обман безнадежности... Он писал картину, возвращаясь в жизнь... Но душа его двоилась... Его манил мир чистой высокой молитвы, свобода от бременной жизни, за радости которой надо платить уж очень высокую цену.

Писал «За приворотным зельем», а думал о «Пустыннике». Он искал его. Без пустынника картина не могла состояться. Летом 1888 года Михаил Васильевич поселился возле Троице-Сергиевой лавры, близ Гефсиманского скита, знаменитого чудотворной иконой Черниговской Божьей Матери. Он писал своей сестре Александре в родную Уфу: «Вот я и на даче, если будет можно назвать мою хибарку, у вдовы Бизяевой или проще Бизяихи, дачей. В сущности, это небольшая изба, очень чистая, оклеенная голубыми обоями, с оклеенным глянцевой бумагой потолком, с бесчисленным множеством образов и лампад, с несколькими стульями и столом... Кругом рощи и пруды обительские, но погода еще не дала познакомиться мне с ними... Тоска невообразимая... Как подумаешь, что еще 2–3 месяца жить здесь, и может быть, задаром, жутко делается. Думаю съездить на ненастное время к Поленову».

В воскресенье утром пробилось сквозь облака долгожданное солнце.

Михаил Васильевич, поглядывая на небо, оделся, взял мольберт, поспешил в монастырь в надежде найти среди иноков хоть чем-то близкого

его пустынною. Каков должен быть этот пустынный, он точно не знал, глаза сами увидят его, узнают.

Михаил Васильевич вошел в храм, где стояли мощи Сергия Радонежского, купил дешевую свечу, зажег, поставил. Хотел помянуть убиенного сына Годунова, а попросил невольно Господа избавления от болезней. За кого? От каких болезней? Отчего убиенный царевич Дмитрий — святой, а Федор, убиенный мученически, — не прославлен, не вспоминаем? Годуновы нехороши?

Расшагался вслед за мыслями и вдруг увидел перед собою знакомое лицо. Господи, да ведь это сестра Поленова.

— Елена Дмитриевна! Здравствуйте!

— Здравствуйте, Михаил Васильевич, — она улыбалась. — Я узнала вас. Вы так сосредоточены. Шагаете... Я думала, не заметите.

Он смутился:

— Нечаянно получилось.

— А я уж и не помню, когда в последний раз серьезно задумывалась. Мы сюда — табором. Видите, сколько нас?

Их окружили. Подошли Елизавета Григорьевна Мамонтова, Вера Алексеевна Репина. Поленова представила его дамам. Тотчас состоялся совет, и было решено посетить монастырь, сходить к иконе Черниговской Богоматери, а потом поспеть на балаганы с клоуном Дуровым, с живой картиной «Боярский пир» профессора Маковского. Нестеров, беседуя с Еленой Дмитриевной, пошел вместе со всеми.

Когда же наконец отправились к Гефсиманскому скиту, все уже так устали, особенно быстрая Верушка. Ее Михаил Васильевич узнал по портрету Кузнецова. Этот портрет он видел на Передвижной выставке.

— Господа! — предложил он, покашливая, — горло от волнения пересохло. — Если желаете, можно передохнуть... у меня. Мои палаты совсем рядом... Чаю выпьете...

Все обрадовались предложению.

«И эта армия баб (виноват), — рассказывал Михаил Васильевич в письме к сестре, — очутилась, спустя немного, у меня, в моей приемной. Тут выдвинулась вся мебель, существующая в доме, и все же сидели некоторые по очереди. Подали самовар. Репина (милая и добрая барыня, маленькое, немного запуганное существо) взялась хозяйничать, и тут пришлось опять ждать очереди. Но, так или иначе, было очень весело и шумно, все, по-видимому, были довольны. Поленова (милый урод) нарисовала мою комнату. Мамонтова тоже. Наконец уже пришлось перерешить, и вместо Черниговской все отправились прямо на балаганы.

При прощании м(адам) Мамонтова взяла с меня слово быть у них вскоре в Абрамцево. Абрамцево знаменито тем, что все знаменитости писали его окрестности, и еще знаменитей своей церковью, где все картины и образы принадлежат корифеям современного искусства: Васнецову, Репину, Поленову, Сурикову и др. Тут знаменитый эскиз Васнецова для собора св. Владимира — „Богоматерь с предвечным младенцем“. У Мамонтова все рисуют, играют или поют. Семья артистов и друзья артистов. Зимой я, вероятно, тоже буду у них бывать. В Абрамцево поеду на той неделе, а числа 16–17-го к Поленову».

Так нежданно-негаданно произошло знакомство Нестерова с семейством Мамонтовых, узелок завязался, а ниточка потянется...

Стеснительность мешала Нестерову поспешить к новым, уж очень знаменитым знакомым, но случай снова был тут как тут. Он встретил Мамонтовых в Хотькове. Они собирались ехать к Троице, осматривать развалины древней церкви.

— Хотите я покажу вам храм, целехонький, деревянный, а стоит со времен великого князя Василия, отца Грозного.

Все обрадовались предложению.

Посмотрел Михаил Васильевич, как путешествуют богатые. До Троицы ехали на поезде, в первом классе и бесплатно, дорога-то своя. На станции ожидали отправленные заранее экипажи, ехать нужно было в Благовещенское, всего три версты.

Михаила Васильевича пригласили в коляску Елизаветы Григорьевны, где ехали Поленова и Репина.

— Я видела ваши рисунки в «Севере», — сказала Елизавета Григорьевна. — «Наина в образе кошки» — очень интересно и жутко. «Живая голова» тоже хороша.

— А я помню: «Пустынница», «Дети-крестоносцы», — ободря художника, вступила в разговор Репина.

Нестеров покраснел, опустил глаза:

— Я этим зарабатываю на хлеб.

Поленова пришла ему на помощь:

— Михаил Васильевич выставлялся в Училище живописи, ваяния и зодчества. Мой брат очень высокого мнения о вашем даровании.

— Дарование! — Нервно сцепил пальцы. — Дарование должно быть на холстах. Любят у нас говорить про эту шапку-невидимку.

— А что вы пишете здесь, под сенью Троицы? — спросила Елизавета Григорьевна.

— Пустынника хочу написать. Пустыньку и пустынника.

— Славно-то как! Я бы очень хотела, чтобы у вас получилось, — сказала Елизавета Григорьевна. — Наша пресса, многие наши художники безобразно относятся к религии. Ерничество, смешки да издевки... А смешками можно убить любое доброе дело. И даже само государство. Я рада, что в молодых людях пробудился страх за святыни. Мы ведь многое утратили...

Впереди замелькали избы, показалось Благовещенское.

В письме в Уфу милой Саше Нестеров обстоятельно рассказал о поездке в Благовещенское. «Я разыскал старосту, — писал он, — мужика умного, степенного и себе на уме. Он сразу смекнул, в чем дело, и повел нас в церковь, которая снаружи не делала собой исключения из типа подмосковных деревянных построек этого века, но внутри она поражает своей оригинальностью... Она состоит из пяти частей, как бы вставленных одна в другую. Тут все веет давно прошедшим, выхватывает зрителя из его обстановки и переносит в былое, может быть, лучшее время. Подробно осмотрев как церковь, так и ризницу, где нашли много набоечного облачения (Елизавета Григорьевна и Елена Дмитриевна были членами Археологического общества. — В. Б.), многое зарисовали и усталые от полноты впечатлений, отправились подкрепить себя. Против церкви нам устроили самовар, и в присутствии чуть ли не всего села мы услаждали себя питьем и яствами... В Абрамцево мы поехали на лошадях, а часа через два были на месте. Абрамцево, имение старика Аксакова, — одно из живописнейших в этой местности. Сосновый лес, река и парк и среди всего — старинный барский дом, с многочисленными службами и барскими затеями, которые я опишу тебе завтра, а теперь пойду спать...»

Так, 17 июля 1888 года Михаил Васильевич Нестеров оказался в Абрамцево. Царь Случай! Но именно здесь он стал Нестеровым. Не в Жуковке, у Поленова, не в Гефсиманском скиту у Бизяихи, не в родной Уфе, а в Абрамцево.

Весь следующий день Нестеров провел, осматривая художественные богатства гнезда Мамонтовых. Картины и скульптуру, постройки Гартмана и Ропета и особенно внимательно церковь. К иконам, написанным самой художественной славой России, Нестеров отнесся критически. «...Местный образ „Нерукотворный Спас“, — делится он впечатлениями с сестрой своей, Александрой Васильевной, — писал и недавно переписывал Репин. На меня сделал этот образ впечатление современного идеалиста-страдальца с томительным ожиданием или вопросом в лице, человек этот прекрасный, умный, благородный, и пр., пр., но... не Христос! Рядом с ним, только несколько левее, царские двери, и на них „Благовещение“ работы

Поленова, первая вещь, написанная по возвращении его из Палестины. Обстановка и костюмы веют Востоком, всё изящно и благородно, но чего нет... нет того, что есть в рядом находящемся творении Васнецова „Благодатное небо“ или „Дева Мария с предвечным младенцем“. Эта вещь может объяснить Рафаэля... Теперь упомяну лишь о „Сергии“ того же Васнецова. Тут как нигде чувствуешь наш родной север. Преподобный Сергей стоит с хартией в одной руке и благословляет другой, в фоне — древняя церковка и за ней дремучий бор, на небе — явленная икона „Св. Троицы“. Тут детская непорочная наивность граничит с совершенным искусством».

Эта встреча с Васнецовым-иконописцем стала для Нестерова пророческой.

Мог ли молодой художник даже помечтать, что через два года он поднимется на леса Владимирского собора и станет рядом с обожаемым художником, будет писать по его эскизам, потом и по своим. А уже через три года его больно ранит критик Соловьев, который в похвалу Васнецову скажет в душевной простоте: у вас есть последователи и именно — *Нестеров!* В письме к все той же Саше, к сестре своей, Михаил Васильевич горестно и гордо отречется от *последователя*: «До сего дня я был и есть лишь отклик каких-то чудных звуков, которые несутся откуда-то издалека, и я лишь ловлю их урывками... Истинный художник есть тот, кто умеет быть самим собой, возвыситься до независимости».

Благожелатели, которым казалось, что они делают честь молодому художнику, в конце-то концов развели Васнецова и Нестерова на десятилетия.

Михаил Васильевич в том давнем письме 1891 года защищал свое искусство, дарованное небом «я» с горестной безнадежностью: «И последователь я его лишь потому, что начал писать после него (родился после), но формы, язык для выражения моих чувств у меня свой». Справедливо. Религиозные картины Нестерова в духовности, в молитвенности превосходят в большинстве своем Васнецова. Его святые — это беззвучные, светлые слезы души высокой, трепещущей от любви к Господу, к русской земле, к русской святости. Эта замершая, не сорвавшаяся с ресниц слеза закипела в сердце Нестерова в Абрамцеве, у васнецовского Сергея, у тоненьких березок, таких странных для иконы, но без которых икона потеряет половину чудного света.

Васнецов прошел мимо своего открытия, а Нестеров увидел *это* и через *это* родился заново.

Возможно и, наверное, так оно и есть, — наше узнавание

васнецовского мотива в картинах и в иконах Нестерова — все то же его несчастье — «писать начал после», потому что «родился после». В Абрамцево попал не первым, не первым из художников был поражен Ворея, ее прозрачностью, черными пятнами елей на серебре неба, на золоте лесов.

Но Господи! Разве не смешон спор о первенстве между родными по духу художниками. Да его и не было — спора! Нестеровская драма существовала только в нем. Он эту драму носил в себе, изживал и в старости, переродясь художественно, изжил. Но было, было...

В Сергиевом Посаде, у Бизяихи, Михаил Васильевич собирался пожить до 20 августа. Однако натура для пустынноика сыскалась, и он задержался. Встретил инока Геннадия. Годами не стар, лицом — постник. Постника не худоба выдает — взор. Глазами отец Геннадий не был кроток, но в них жила такая сила веры, какую у никониан редко встретишь. Отец Геннадий был православный человек, а обликом старовер, будто из скитов явился.

Эскиз «За приворотным зельем» был почти готов. И в августе Нестеров дал себе передышку, нужно было отойти от эскиза, не замучивать. Поехал к Поленову. Провел в Жуковке три дня.

Устроили рыбную ловлю, поймали двух прекрасных налимов. Один тотчас попал в уху, а огромного красавца Поленов написал красками. Михаил Васильевич сделал два этюда и оба их подарил: один — Василию Дмитриевичу, другой — Елене Дмитриевне.

Потом катались на лодке. Вели разговоры. Вспомнили про Сурикова. Наталья Васильевна сквозь слезы рассказывала, как он метался, как бился, когда скончалась Елизавета Августовна. После похорон все твердил бедный: «Я хоть одно доброе дело в память ее да сделаю — всем мужьям буду говорить: берегите вашу жену. Я не берег, и что же я теперь!»

Долго был беспомощен и безутешен. Лев Николаевич Толстой прислал Татьяну Львовну за Василием. Суриков сам просил, чтоб Василий был рядом.

— Что делать, — сказал Василий Дмитриевич, — есть тысяча способов убить художника. Стать художником — одна возможность из тысячи, а убить — тысяча. Убивают невниманием и чрезмерным вниманием, безденежьем и деньгами... Судьба тоже не щадит.

— Суриков — сильный человек, — сказала Елена Дмитриевна. — Он потерялся, потому что горя никогда не знал.

Михаил Васильевич все это испытал, жена оставила ему трехдневную

девочку.

— Ничего, ничего! — быстро сказал Нестеров. — Я уже вполне воспрял.

— Воспряли, а пишете монахов.

— Монахи такая же часть России, как все прочие. Не худшая...

Проплыли в разговорах верст пять. Обрато лодку вели на бечеве. Василий Дмитриевич половину пути никому бечевы не уступил.

— Вы не одобряете?.. — осторожно спросил Нестеров учителя. — Ну, что я... пустынника хочу писать? Елена Дмитриевна, как я вижу, противница таких тем...

— Я одобряю все, что создается душой и сердцем. «Каменный век» Васнецова — могучая работа. Чистяков назвал ее «ясновидением». Но труды во Владимирском соборе — еще больший взлет. Потому что это — его. Он верует, для него работа в Соборе — служение высочайшим идеалам. И, помяните мое слово, критики скоро объявят нам Васнецова Рафаэлем.

— Не так уж и преувеличат, если объявят. Эскиз «Благодатного неба» в Абрамцеве вызывает такое чувство, будто это — видение. Я был рад, что вижу, и страшился, что вдруг исчезнет.

— Я слышал, как Ге разносил в пух и прах росписи киевского собора. Ге — человек не злой, но он возненавидел Васнецова. И особенно «Благодатное небо».

— Ге — протестант по складу ума. Все его картины — ересь.

— А что тогда скажете о «Христе и грешнице»?

— В вашей картине нет веры.

— В «Христе» Антокольского тоже нет веры. Тургенев нашел такой ракурс — специально лестницу ставил, сверху смотрел, и оттуда, сверху, Христос яростен, ненавидит толпу. Антокольский такой задачи, разумеется, не ставил перед собой... И вопрос в другом. Разве без веры произведение хуже?

— Хуже, — сказал Нестеров. — Нет веры, зачем писать Христа?

— Религия не может претендовать на полноту добра. Какая-то часть мирового света принадлежит искусству... И кто сказал, что Христос — собственность христиан? Но я очень хочу посмотреть ваши новые картины.

— Их надо еще написать.

Сестре своей Михаил Васильевич писал о поездке в Жуковку, о Поленовых: «Та простота, которая так приятно поражает у них в московском доме, тут чувствуется еще больше, единственно, что не по мне, это то, что все встанут не раньше 10 часов, но это объясняют они

наследственной привычкой больших бар».

Картину «За приворотным зельем» Нестеров начал 10 сентября 1888 года. Он бывал на четвергах у Поленовых, ездил на званые обеды к Мамонтовым.

Коровин и Серов чересчур серьезного, тянувшегося к Елизавете Григорьевне новичка невзлюбили. Кличка ему была дана злая: Трехлобий. Впрочем, и Нестеров о Коровине отзывался не без презрения. «Его роль ограничивается шутовством», — писал он сестре.

Душу Михаил Васильевич отводил у Сурикова. Однажды просидел у него с шести вечера до половины третьего ночи. И, разумеется, рассказал об этом бдении в письме к Саше: «Много говорили и читали Иоанна Златоуста, Василия Великого и т. п. Интересный он человек. Недавно вышел в „Севере“ мой рисунок, конечно, изуродован, тем не менее, он Сурикову очень нравится, название — „Созерцатель“». (Монашек, сидящий на лесной опушке.)

Новую свою картину — Поленову она понравилась — Нестеров решил на Передвижную выставку не предлагать. Сестре он писал 29 октября: «Это почти дело решенное, я давно сказал, что выставлю вещь лишь тогда, когда буду ясно видеть, что она будет из первых... Завтра начну писать „Пустынника“, опять восторг, опять разочарование и отчаяние, но такова участь большинства художников, живущих чувством в ущерб разуму».

Завершил Михаил Васильевич работу над «Пустынником» в Уфе, в самом конце года. Впрочем, успел сделать еще иллюстрации к истории Петра Великого «Преображенское и окружающие его места, их прошлое и настоящее». Книга увидела свет только в 1895 году.

Вернувшись в середине января в Москву, Нестеров вместе со своим «Пустынником» поселился на Лубянке в «Коммерческих номерах». Решил показать картину близким друзьям. Левитан — посулил успех. Суриков был доволен, но голову старца раскритиковал. Нестеров тотчас и убрал ее. И вдруг слух: картину желает посмотреть Павел Михайлович Третьяков. Ах, как затрепетало сердце, как задрожали руки: явится — *сам-то!* — а пустынный — без головы...

И ведь нежданно приехал. О том посещении Михаил Васильевич написал в книге «Давние дни»: «Сидя, стоя, опять сидя, подходил, отходил, задавал односложные вопросы, делал замечания, всегда кстати, умно, со

знанием дела. Пробыл около часу... Неожиданно, вставая, спросил, не могу ли я уступить вещь для галереи?»

Нестеров был купеческого рода. Его дед Иван Андреевич — дворовый человек Демидовых, получив вольную, завел торговое дело и среди уфимских граждан был почитаем, двадцать лет — городской голова. Отец Василий Иванович торговал мануфактурой, имел галантерейные магазины, а потом с компаньонами основал банк. Матушка Мария Михайловна тоже купчиха, ее семейство вело хлебную торговлю.

— Пятьсот рублей, — назвал свою цену Михаил Васильевич.

Третьяков чуть подумал и сказал:

— Оставляю картину за собой... Непременно отправьте ее на Передвижную выставку.

Как Третьякова не послушать, но на подвиг Нестеров решился не сразу. Тихая картина может и на выставке тихо пройти... Да и примут ли? Однако послал.

Василий Дмитриевич Поленов, избранный Товариществом устройтелем XVII Передвижной выставки, прислал супруге список голосов жюри, поданных за экспонентов-москвичей. Всего голосов было шестнадцать. Левитан представил три пейзажа, и все три прошли: «Под вечер» — девять голосов, «На Волге» — тринадцать, «Пасмурный день на Волге» — десять. Картина Елены Дмитриевны Поленовой «Странствующие музыканты (шарманщик)» получила пятнадцать голосов, картина Коровина «У балкона» — тринадцать. «Пустынник» Нестерова прошел единогласно.

О выставке Василий Дмитриевич писал: «Особенно выдающегося на ней у товарищей нет. „Николай-чудотворец“ Репина есть выдуманная рассудочная вещь. Шишкина пейзажи очень слабы. Маковского картины черны до сапожной ваксы. Волков такую отсебятину накарсил, какой ему еще не удавалось. Пастернак рисунок почти не исправил и от этого очень теряет. Репину из экспонентов больше всего нравится Константин Коровин и Елена Поленова».

А между тем на этой выставке Шишкин выставил «Утро в сосновом бору» с медведями Савицкого. («Медведи недурны, а лес плох», — писал Поленов.) Максимов представил картину «Все в прошлом».

Шишкина и Максимова приобрел Третьяков, а Поленов, хоть и поругивал Максимова за фон («разрушенное прежнее величие — плохо до наивности»), должен был признать: «Удивительная вещь. Я его назвал внуком Апеллеса, он думал, что я его ругаю. Как нарисовано, как написано!»

Что касается Репина, его «Николай-чудотворец» был создан к празднованию 800-летия перенесения мощей из Мир Ликийских в город Бар. Картина была событием. Поленов представил один из своих шедевров «На Генисаретском озере». И были Коровин, Левитан, Степанов, Архипов. И был Нестеров.

Воистину современники слепы и глухи к тому, что имеют сами. Человек — инструмент, настроенный воспринимать настоящее, когда оно становится прошлым. Одно только прошлое и дорого ему...

Пятьсот рублей от Третьякова пошли Нестерову на заграничную поездку, в Италию.

14 мая был в Варшаве, 19-го — в Венеции, во Флоренции — 21-го, 29-го поселился в Риме, съездил в Неаполь и на Капри. Побывал в Милане и через Швейцарию 22 июля 1889 года прибыл в Париж на Всемирную выставку.

Главным чудом этой выставки была только что построенная трехсотметровая Эйфелева башня. Нестеров размышлял, то ли за пять франков посетить эту башню, то ли за ту же цену взмыть на воздушном шаре. Во-первых, поднимают выше башни, во-вторых, дают диплом о полете, о пребывании на высоте четырехсот метров!

Французские художники покорили Михаила Васильевича. Пювис де Шаванн, который показался мудреным, Башкирцева — быстро сомлевший цветок, Бастьен-Лепаж, любивший Башкирцеву... Бастьена-Лепажу Нестеров признал первым и величайшим из современных французов. К его картинам приходил каждый день, поражаясь глубине образа Жанны д'Арк, высокому настроению картины, мастерству кисти и... равнодушию французов к шедевру.

«Глаза Жанны д'Арк, — писал Михаил Васильевич в Уфу, — действительно видят что-то таинственное перед собой. Они светло-голубые, ясные и тихие. Вся фигура, еще не сложившаяся, полна фации, простой, но прекрасной, она как будто самим Богом отмечена на что-то высокое».

Всемирная выставка была для русского общества магнитом, для одних амбициозным (как же это на Эйфелевой башне не побывать!), для других духовной необходимостью, приобщением к всемирному человечеству.

Серов с молодой женой, почти без денег, тоже примчался отведать из

родника сынов и дочерей Адама и Евы, познать гений мира, а гений, между прочим, одного корня со словом «дьявол». Впрочем, Серова интересовала не техника, а искусство. Он заметил Руссо, Добиньи, Тройона, с оговоркой — однообразен — Коро, но очарован был, как и Нестеров, Бастьен-Лепажем. В письме к Остроухову, который после свадьбы тоже двигался к всемирному Вавилону, Антон писал: «В Париже теперь решительно все, кажется. Поленовы, Третьяковы, Мария Федоровна Якунчикова, Тучков, Кривошеин, Морозов (Сергей Тимофеевич. — В. Б.), Гвозданович, Абрикосовы, Шейманы». И, сообщая это, спрашивал: «Правда, что Василий Дмитриевич и Наталья Васильевна обедают в 1 франк 25 сантимов? Говорят, они экономят напропалу (может быть, это сплетня)». И еще один фрагмент: «...По художеству я остаюсь верен Бастьену, его „Жанне д'Арк“. Обидно, что решительно всем она нравится, и все в одно слово утверждают, что она лучшая вещь на выставке. Поленыч заявил Мише (Мамонтову. — В. Б.), что это „кульминационный пункт женской мысли-с“».

Наверное, по всему миру на художественных выставках, последовавших за Парижской, можно было легко заметить всеобщее увлечение Бастьен-Лепажем. Альпинистам, идущим на вершину, не зазорно ступать след в след. В искусстве такое хождение осуждается, хотя не всякому дано первому оскорбить девственно непорочный снег.

А между тем Нестеров продолжал свое путешествие. 7 августа он предстал в Дрездене перед «Сикстинской мадонной», а выходя из галереи, встретил Остроухова с супругой, который порадовал его сообщением о том, что в Москве, в Абрамцеве, сейчас живет В. М. Васнецов. Его-то Нестеров хотел увидеть по приезде...

20 августа Михаил Васильевич писал своему другу Николаю Александровичу Бруни, уже из Хотькова, восхищался Бастьен-Лепажем и «два слова» сообщал о своих деяниях: «Работаю этюд к картине „Явление старца отроку Варфоломею“ (преподобному Сергию)... Эта вещь вернее, чем другие, задуманные мной, может увидеть свет Божий».

Если кому-то показалось, что отрок Варфоломей — прямой отклик на Жанну д'Арк, это не верно. От Бастьен-Лепажя Нестеров воспринял не образы или манеру. Бастьен-Лепаж открыл могущество и глубину простоты. Мы такую простоту зовем святой. Образ Варфоломея явился Михаилу Васильевичу в Троице-Сергиевой лавре. Здесь тот же случай, что с Серовым, когда тот писал «Девочку с персиками».

Кресало великих мастеров Возрождения высекло искру. В Италии, рассматривая портреты кардиналов, изображения Мадонны, Нестеров

думал о благотворности заказа. Ведь вся живопись Возрождения — это не свободное излияние творчества, но всегда исполнение желания и воли богатого и сильного. Заказа!

В России же близилось грандиозное духовное событие — пятистолетие со дня преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1892 год). Но последуют ли заказы на иконы, на картины от Православной церкви, от царя, от меценатов? И однажды у Нестерова мелькнула странная, детская совсем мысль: а ведь у них с Сергием общая беда. Сергия до пострига в монашество звали Варфоломеем. В отрочестве жил он в Радонежье — почти в Абрамцеве! Был Варфоломей к учению прилежен, да неспособен. То же претерпел и Михаил Васильевич. В гимназии в полном ничтожестве провел два года, пока отец, не сжалившись, забрал его и отвез в Москву, чтобы определить в Императорское техническое училище. Экзамены Миша выдержал по Закону Божьему, по чистописанию и по рисованию, по остальным предметам — или нуль, или единица. Василий Иванович не смирился, отдал своего отрока в реальное училище. Подучится и сдаст экзамены в техническое училище.

Из огня в полымя угодил бедный ученик. В гимназии каторгой была латынь, в училище — арифметика.

У отрока Варфоломея дела шли еще даже хуже, никак читать не мог научиться.

Нестеров думал о прежних своих горестях и улыбался: нашел чем равняться со святым! Грехи, грехи! Но сердце сладко щемило. Как в детстве, перед чудом Рождества, перед Пасхой. Чем не сюжет: отроку явился старец, который благословит, даст частицу тела Господня, пойдет с Варфоломеем к нему домой, и мальчик удивит родителей вдохновенным и безупречным чтением «Псалтыри».

Картина будет бесценная для всех, почитающих себя малоспособными, обойденными Божьей милостью.

В Хотькове Михаил Васильевич поселился, чтобы быть ближе к Елизавете Григорьевне. Ему нужны были беседы с ней.

И еще хотелось именно здесь, среди земляков Сергия найти отрока, как некогда Репин нашел своего горбуна для «Крестного хода».

Душа приготовилась к чудной работе, голова пылала нетерпением, но чтобы начать — мало веры и отваги, нужна паутинка, ведущая к образу. Как ее разглядеть, эту паутинку, среди огромного мира, не ошибиться, взять ее, а не ту, что рядом.

Однажды, в пусто начавшийся день, Михаил Васильевич пришел в

Абрамцево за утешением.

Лето уже кончилось, но ветры тепла еще не выдули, и осень не разгорелась, только приготавливалась к празднику. Было так хорошо, что чай пили по-летнему, на террасе.

Елизавета Григорьевна заговорила о Лескове, дивилась, сколько в его произведениях детскости, простодушия, любви к Господу и к людям. Лесков мог стать великим писателем, когда бы сам не был «уязвлен» непомерной тягой нашего века к реализму, к постылой мелочной критике.

— Хотите, почитаем из «Соборян», — предложила Елизавета Григорьевна. — Я сейчас принесу книгу.

Пока она ходила за книгой, Нестеров оглядывал окрестности, смотрел на Ворю далеко внизу, под холмом, на серебристо-матовую, с причудливыми разводами, как на малахите, капусту... Капуста, Господи, но как это красиво! Поднял голову выше, чтобы не видеть огородов, к ясным далям за шапками лесистых холмов. А там тоже серебро. Розовое. Нежное. Вился сизый дымок. Печь что ли затопили? Или в каком-то распадке, невидимом отсюда, лесник жжет сучья. Над Вореи, справа, ровно и тихо золотилась березовая рощица.

— Да вот же она! — сказал он вслух, думая о своей картине. — И капуста, и розовая даль, и золото березок.

Поднялся, открыл мольберт, принялся рисовать.

Вернулась Елизавета Григорьевна с книгой.

— Вы уже за работой... А я другое принесла. Послушайте. — Она села, открыла заложенное место, бережно провела пальцами по странице. — «И егда письмо изготовил, занемоглось мне гораздо, и я выслал царю на переезд с сыном своим духовным, с Федором юродивым, что после отступники удавили его, Федора, на Мезени, повеся на виселицу. Он же с письмом приступил к царе корете со дерзновением, и царь велел его посадить и с письмом под Красное крыльцо, — не ведал, что мое; а опосле, взявше у него письмо, велел его отпустить. И он, покойник, побывав у меня, паки в церковь пред царя пришед, учал юродством шаловать, царь же, осердясь, велел в Чюдов монастырь отслать. Там Павел архимандрит и железа на него наложил, и Божию волей железа рассыпалися на ногах перед людьми. Он же, покойник-свет, в хлебне той после хлебов в жаркую печь влез и голым гузном сел на поду и крошки в печи побираючи, ест. Так чернцы ужаснулись и архимандриту сказали, что ныне Павел митрополит. Он же и царю возвестил, и царь пришел в монастырь, честно ево велел отпустить...» Вот сцена из времен, когда вера была жива и когда верой жили...

— Аввакум, — сказал Нестеров. — Я читал... У него так все просто и такая драма, что сердце останавливается.

— Аксаковы верили: Россия спасется крепостью старообрядцев.

— От кого спасется, от чего? — Нестеров поморщился, словно ему стало больно. — Простите, Елизавета Григорьевна! Я часто это слышу — будущее России, преобразование, спасение!.. Европа живет беднее нас. Они к нам в слуги едут, они русских у себя ждут. От кого мы должны спасаться?

— От безверия.

— А я вам так скажу. — Потер ладонью лоб и смотрел на ладонь, будто считывая с нее. — Безверия не остановить. Гора рухнула, мы не чувствуем катастрофы только потому, что летим вместе с горою... Страшный удар еще впереди, боль, беспомощность... — Быстро посмотрел на Елизавету Григорьевну и тотчас опустил глаза. — Я всю мою жизнь отдаю прославлению святой нашей веры... Ни на что не надеюсь.

— Ваш «Пустынный» — молитва.

— Вы поняли! — вырвалось у Михаила Васильевича. — Я боялся, что это поймут в Петербурге: Мясоедов, Лемох, Ге... Ярошенко это понял, но сказал только мне, и мы стали друзьями.

— Но разве это возможно — нести свет и желать, чтобы его не видели?

— Если бы увидели сразу, я получил бы, по крайней мере, десять черных шаров. У нас ограждают искусство от Бога с такою же ревностью, с какой миссионеры крестят в Африке негров...

— А Васнецов?

— Васнецов — это Симеон Столпник.

— Надо таким, как он, как вы, быть вместе... Я радуюсь за сына моего, за Андрея. Он после Училища собирается поработать в Киевском соборе. Андрей — архитектор, но Прахов предлагает ему написать орнаменты... Михаил Васильевич, я вижу, вы поработать хотите. Я оставляю вас, но прошу отобедать с нами.

Она ушла. И земля Радонежья тотчас придвинулась к нему. И он, робея, по-ученически набрал на кисть краски и замер, не смея тронуть белого.

12 сентября Михаил Васильевич Нестеров писал Бруни: «Живя в деревне, в двух верстах от Абрамцева, я часто бываю там, иногда Елизавета

Григорьевна Мамонтова берет книгу и читает что-либо, выбор обыкновенно бывает удачный, и слушаешь с неподдельным удовольствием. Сюжет своей картины я Вам, кажется, говорил еще в Италии: это „Видение отроку Варфоломею“ (преп. Сергию). Интерес картины заключаться должен в возможной поэтичности и простоте трактовки ее. Достигну ли я этих, по-моему, главных и совершенно необходимых условий картины, скажет будущее. Эскиз же пока меня удовлетворяет. А также нравится он и тем, кто видел его, в том числе и Е. Г. Мамонтовой, которая в данном случае может быть довольно надежным судьей. Серый, осенний день, и листики молодых рябинок и берез, раскинувшихся по откосу сжатого поля, далеко видно кругом, видна и речка, видно и соседние деревни. За лесом выглядывает погост — на нем благовестят к вечерне... Уже давно Варфоломей ходит по полю. Отец послал его искать лошадей. Он устал, хотел присесть у дуба, подходит поближе, около него стоит благообразный старец. Он молится. После молитвы старец любовно подозвал Варфоломея к себе, благословил его, утешил... Пейзаж и фигура Варфоломея почти готовы. Еще проживу здесь недели три, и думаю, что за это время успею сделать все этюды, нужные к картине...»

В начале октября Михаил Васильевич из Хотькова переселился в Комино, написал эскиз маслом и еще раз переехал, в Митино. Нашел просторный дом, поставил холст, начал прорисовку углем. Елизавета Григорьевна предложила жилье и мастерскую в Абрамцеве, но он, страстно желая быть ближе к Мамонтовым, поработать там, где писали Репин и Васнецов, с детским горьким упрямством противился желаниям и здравому смыслу. Да и занят он был поиском «отрока». Бродил по деревням, приглядываясь к детям, и не находил, кого искал. Встречались мальчишки худенькие, ласковые, но не было того, кто стоял перед глазами.

Шел он как-то через Комякино, шел быстро, здешних мальчишек всех пересмотрел, торопился в дальние деревеньки. Да и стал, как громом пораженный. У колодца, опершись плечиком на журавель, смотрела на ослабшее осеннее солнышко стриженная, тоненькая, как былинка, девочка. Глаза большие, удивленные. Лицо прозрачное, под кожей синие жилки видны, рот яркий, дыхание горячее... Возле рта бело, и все лицо от этой белизны и от яркого цвета губ — болезненное, скорбное...

Перевел взгляд на руки. — Боже мой, то, что искал: в кистях тонкие, пальцы сухие, длинные.

«Я замер, как перед видением, — писал Нестеров много лет спустя. — Я нашел то, что грезилось мне. Это был „документ“ моих грез. Я остановил девочку, спросил, где она живет, узнал, что она „комякинская“, что она дочь

Марьи, что изба их вторая с края, что зовут ее так-то, что она долго болела грудью, что недавно встала и идет туда-то».

Ах, художник, художник! Не оставил нам имени своей «натуры». А «натура» воистину драгоценная, вся Россия узнала в «отроке» юность святого Сергия.

Елизавета Григорьевна приезжала смотреть эскиз, настойчиво звала в Абрамцево. Он согласился, но вдруг собрался в одиночасье и сбежал в родимую Уфу.

20 декабря Михаил Васильевич прислал Елизавете Григорьевне покаянное письмо. «До сего времени меня не оставляет тяжелая мысль, что, не воспользовавшись Вашим более чем любезным предложением переехать в Абрамцево, я навлек на себя Ваше нерасположение... Словом, если оставалось в Вас хотя отдаленное чувство неприязни ко мне, то прошу меня простить. Моя поездка в Уфу мало дала мне утешения, приехал я больной, пресловутая инфлюэнца заставила меня неделю вылежать в постели, и я, слабый еще, принялся за картину, но, верно, в недобрый час... У меня закружилась голова, и я, упав с подставки, на которой сидел, прорвал свою картину. Начались для меня и окружающих тяжелые дни ожидания, когда г-н Мо поспешит выслать мне новый холст. Холст пришел, и я, как голодный, кинулся к картине. Три недели я буквально работал с утра до вечера и теперь картина замазана вся, осталось ее довести до возможного для меня совершенства в разработке частностей, и я, как только будет возможность везти её, сейчас же уеду из Уфы, с тем, чтобы в Москве кончить её в раме, и прошу Вас еще раз, Елизавета Григорьевна, не отказать первой высказать свое мнение о моем „Отроке Варфоломее“».

Михаила Васильевича била лихорадка, когда думал, сколько еще нужно сделать непременно! Всякая былинка да изумит. Не вдруг, но бросится в глаза синий цветок в стерне, а там еще, еще. Кто будет вглядываться в картину, как в звездное небо, тот увидит саму бесконечность. И он творил эту бесконечность: цветы, листья, травинки. Написал крошечную сосенку, деревце-дитя, едва поднявшуюся над травой, между старцем и Варфоломеем. Не забыл капустное поле, только поместил его на дальнем плане. Обрадовал себя найденной полоской серебра на воде, через темное отражение. Прорисовал тонкую веточку на дубе, на ней — лист. Убавил пустоты, убрал нимб над головой Варфоломея. Отвороты богатых боярских сапожек насытил красным.

Работал горячечно, его любимое слово. И не стало у него никакого терпения, так хотелось в Москву, показать Варфоломея.

Елизавета Григорьевна вошла в мастерскую, остановилась, замершая. Смотрела молча, не переводя дыхания.

Михаил Васильевич дрогнул от этого молчания, не смел слова сказать, даже посмотреть на своего жданного первого зрителя, а посмотрел и увидел: в глазах Елизаветы Григорьевны блестят слезы, и сорвались, покатались.

Нестеров ехал на Академическую выставку, заранее раздраженный и негодующий. Газеты друг перед другом расхваливали и всю выставку, и каждого известного художника отдельно. Особенное словоизвержение вызывали исторические картины: Кошелева «Владимирское разорение», Новоскольцева «Последние минуты митрополита Филиппа», «Колыбель Михаила Федоровича в доме бояр Романовых в Москве», Степанова «Дискобол»... О своей картине на Передвижной Михаил Васильевич ни единого доброго слова не встретил. Если «Пустынника» помянули пять раз, мимоходом, но все же одобрительно, то вокруг «Отрока Варфоломея» плясали вихри откровенной злобы. Ладно бы передовая критика изощрялась, но холодом отчуждения веяло от художников. Елена Дмитриевна Поленова подарила таким взглядом, будто ушат опростала с ледяной водой. В ненависти к «Варфоломею» соединились вдруг люди, никакой привязанностью несоединимые. Нашли друг друга писатель Григорович, барин и демократ, автор «Антон Горемыки», вечно злобствующий Мясоедов, Стасов — неистовый поборник реализма — и... Суворин! — хозяин и редактор «Нового времени», рупор многих полицейских затей, хулитель всего, что ценил и поднимал Стасов. Нестерову пересказали, как эти господа окружили на выставке Павла Михайловича Третьякова и громко, привлекая к себе внимание, обратились с решительной просьбой — не оскорблять драгоценной русской галереи приобретением столь вредного, неживописного полотна. Сия стихийная депутация представляла грозную силу, каждый из четверых был человеком влиятельным, а то и могущественным.

Третьяков ответил, подумав, серьезно, спокойно:

— Господа, я приобрел эту картину еще в Москве.

— Но нам известно — деньги не выплачены. У вас есть все основания разорвать данное слово из-за неприятия картины общественным мнением, — подсказал отступнический ход Алексей Сергеевич Суворин.

— Картина — позор всей русской школы! — изрек Стасов, а Мясоедов, играя желваками, прибавил:

— От этого подслеповатого холста веет таким черным мистицизмом, что могильная яма перед ним полна света!

— Господа! — повторил Третьяков. — Я приобрел картину в Москве и скажу вам прямо, если бы я не купил ее там, то купил бы здесь, даже выслушав ваши и все прочие обвинения.

Господам пришлось откланяться, отступить, единство их тотчас распалось. Обрушиться с обвинениями на Третьякова даже они не смели. Да и что сказать: галерея — личная собственность. Третьяков, бывало, приобретал вещи, неудобные Победоносцеву, неудобные великим князьям и даже государю...

Ответ Третьякова пересказывали с наслаждением: приятно, когда натягивают нос сильным мира сего. Кто не видел картину, спешил посмотреть. Но Михаилу Васильевичу было не по себе. Деньги он запросил с Третьякова большие, Павел Михайлович согласился с ценою, но всеобщее неприятие картины не может не сказаться на сумме гонорара.

Академическая выставка на этот раз была огромной. Академики решили побить передвижников числом, выставили четыреста двадцать картин.

— Вчера государь был! — сообщили гардеробщики. — С государыней. Государь ничего не купил, был ужасно хмур. Государыня купила мелкие картинки, для отвода глаз.

Михаил Васильевич прошел по залам. Сначала быстро, и взгляд его выхватил одного Константина Маковского. Его картина «Перед венцом» была нарядная, добрая, но красивость, как всегда у этого художника, преобладала над красотой.

Прошел другой раз, ища потонувшие в посредственности настоящие художественные работы. Отметил Аскназия «Экзамен из талмуда», «Оду» Бакаловича, «С голубями» Степанова. Отыскал картину Творожникова «У церкви». Говорили, что ее купил Третьяков. Картина показалась грубоватой, но в свежести ей нельзя было отказать.

— Здравствуйте! — Перед ним стоял Сергей Мамонтов. — Я вчера был на Передвижной, видел вашу картину. Мама права. На выставке много сильных вещей, в первую очередь, конечно, «Баронесса Искуль» Репина. Антон тоже не потерялся, но ваш «Отрок» — исключение. Совершенно нежданная картина.

С Сергеем Саввичем Нестеров виделся в день представления у Мамонтовых «Саула». Сергей был одним из авторов драмы, принимал

поздравления. Знакомство их было кратким: рукопожатие, несколько добрых слов о драме, в ответ — благодарность.

— Спасибо за доброе слово, — улыбнулся Нестеров. — Месяц тому назад хвалил я вас, теперь вы меня.

— Я не хвалю, я — ваш сторонник. Вы не верьте писакам. — И дал газету. — «Московские ведомости» на вашей стороне. Извините, мне — в училище. Увольнение всего на два часа... — Пошел, но вернулся. — О вашем «Отроке», я в этом убежден, будут писать много и хорошо. Не теперь, конечно.

Михаил Васильевич уже покидал выставку, когда его остановил солидный господин.

— Истомин, — представился незнакомец. — Редактор «Правительственного вестника». Ваша картина на Передвижной произвела на меня странное, но положительное впечатление. Скажу правду, я не вполне ее понимаю, но другие картины после вашей — я себя поймал на этом — смотрел рассеянно. Меня тянуло на это сжатое поле, к этому удивительному лику, к березке и рябинке. Картина ваша, несомненно, русская по сокровенному духу, которого, пожалуй, никто до вас не умел так выразить.

— Благодарю, — поклонился Михаил Васильевич.

— Мне хотелось бы поговорить подробнее, понять истоки вашего творчества. Может быть, встретимся в редакции или на выставке, у вашей картины?

— Впервые встречаю пишущего человека, который не отверг мою работу, но и тут мне не повезло, — сказал Нестеров. — Я сегодня уезжаю, а у меня еще с Третьяковым разговор.

Уходил с Академической выставки успокоенный. Понял — «Варфоломей» не потеряется ни среди множества картин, ни в соседстве с любыми знаменитостями.

На улице мела поземка, ветер ударял порывами, и на свою Передвижную выставку Михаил Васильевич приехал озябший, растеряв перед встречей с Третьяковым последние крохи уверенности. Дело предстояло малоприятное: попросить немного денег в счет конечной расплаты за картину.

Добрые слова в «Московских ведомостях» — подспорье, мнение Соловьева Павел Михайлович уважает, но не будет ли полного отказа?..

Шел к «Варфоломею» совершенно уже раздавленный неверием.

— Вот и Нестеров! — увидел его Ярошенко и представил своего собеседника: — Адриан Викторович Прахов, профессор, распорядитель

работ в Киевском Владимирском соборе. Адриан Викторович ждал вас.

— У меня к вам предложение, — сказал Прахов, взглядывая через сильные очки не без удивления и не без радости. — Вы так молоды! И так глубоко берете... Я хочу предложить вам работу в соборе.

— Но там же Васнецов!

— Работы еще очень много... А вы тот, кто очень нужен Владимирскому собору. Я это понял с первого взгляда на вашу картину. Она полна русского чувства, можно и сильнее сказать — русской любви... С ответом не торопитесь. Но я вижу, я знаю — вы необходимы собору.

Ярошенко и Прахов простились — они ехали к Репину, и Михаил Васильевич, оставшись наедине со своей радостью, никак не мог успокоить дрожь, которая трясла его изнутри. Он стоял перед какой-то картиной, не видя ее... Решиться на росписи в соборе — отказать множеству своих замыслов, но это тот самый заказ, что родил Микеланджело, Рафаэля, чудо новгородских и псковских церквей, ярославского храма Ильи Пророка!..

Еще через полчаса Михаил Васильевич встретился с Третьяковым. И был сражен. Вниманием, отеческой заботой. Он выдал ему 150 рублей (Нестеров сам назвал эту цифру) и внимательно проследил за тем, чтобы деньги были уложены в бумажник и надежно спрятаны.

11 марта 1890 года Михаил Васильевич писал родным: «В пятницу я был у Третьякова, принял он меня очень любезно, но денег дал лишь половину (тысячу рублей. — В. Б.)... другую (заплатит. — В. Б.) тогда, когда вещь вернется из провинции. Показывал Третьякову наброски будущей картины. Композиция ему понравилась, понравился и дух картины, после долгой беседы он проводил меня, поцеловавшись... Между прочим, он, как и Поленов, советовал ехать в Киев, но не утруждать себя работой и побережь силы на картину».

15 марта 1890 года Нестеров был в Киеве.

Савве Ивановичу Мамонтову Нестеров не был близок, он души не чаял в Костиньке Коровине — жизнелюбе и шалопае. У Коровина душа нараспашку, умен, весел, с ним легко. Нестеров — ходячий обнаженный нерв. Хохоча сам и других забавляя, не расстается с неведомой трагедией. О первородном грехе, что ли, все время помнит?! Печали и радости от матери родной скроет. Душа женственная, настороженная, чувствующая

обиду за сто верст. А Савва-то Иванович, заматерев, приобрел замашки вельможные. Однажды срезал Врубеля, потянувшегося за бутылкой дорогого вина: «Это не про твою честь! С тебя довольно чего попроще!» И гордый, но пьющий Врубель пропустил мимо ушей безобразную реплику покровителя... Нестеров такого даже подумать о себе не позволил бы. Неуютный был человек Михаил Васильевич. Иное дело Врубель. Он появился в доме Мамонтовых на год позже Нестерова, но тотчас стал своим человеком и на Садово-Спасской, и в Абрамцеве. Нестеров тоже жил в Абрамцеве, а вот в московском доме Мамонтовых он — редкий гость. Письма писал одной Елизавете Григорьевне. Если же поминал Савву Ивановича, то с иронией, с оттенком неодобрительности. В 1928 году, побывав в Абрамцеве, Нестеров писал Дурылину: «Там все по иному, чем было еще недавно. Природа же все так же прекрасна, как и сорок лет назад... Вспомнился и прекрасный образ Верушки, и ее благочестивой, без ханжества матери. И сам Савва великолепный, шуты и карлы, его окружавшие...»

Этими «шутами и карлами» много сказано. От того дара, каким владел Нестеров, Савву Ивановича ломало и корчило, как ломает и корчит колдуна перед святым крестом.

Другое дело Елизавета Григорьевна. О всех творческих задумках Михаил Васильевич сообщал ей первой, ожидая совета, духовной поддержки. «Непременно буду в Абрамцеве, — писал он из Кисловодска, от Ярошенко, — за последние месяцы много набралось такого, что поговорить и посоветоваться с Вами, Елизавета Григорьевна, есть необходимость». Он радуется, что ее сын станет товарищем по работе: «На днях отсюда (из Киева. — В. Б.) уезжает Андрей Саввич, с которым теперь у меня общие интересы по собору, так как на хорах орнаменты поручены ему». С Дрюшей ему легко, и он спешит сообщить Елизавете Григорьевне: «Андрей Саввич передал мне желание Ваше иметь снимок с моего „Рождества“, а также и Ваш отзыв о нем, который меня немало обрадовал. (Интересно, как Вы найдете оригинал)...

Я очень рад, что судьба свела в работах по собору с Андреем Саввичем. Его орнаменты мне крайне симпатичны, и приятно то мирное соглашение, которое до сих пор существует между нами в этом деле. Я в отношении Андрея Саввича испытываю те же благодарные чувства, какие бывают у рисовальщика к талантливому граверу, зная, что таковой не только не испортит рисунка, но часто придаст ему нечто совершенное».

Кончив картину «Юность преподобного Сергия Радонежского», Нестеров опять же обращается к Елизавете Григорьевне: «Хотелось бы,

чтобы Вы... как и раньше было, посмотрели ее одной из первых, и если она окажется удовлетворительной, то я думаю послать ее на Передвижную выставку».

Для молодого художника одобрение Елизаветы Григорьевны не единожды было спасительным. Художников убивают по многу раз, а живы они молитвами и утешениями своих почитателей.

В художническом окружении Мамонтова в конце 80-х — начале 90-х годов происходят заметные изменения, оно теряет черты некоего единства и консолидируется вокруг двух центров — одни тяготеют к Савве Ивановичу, другие — к Елизавете Григорьевне. Васнецов, Нестеров, Андрей Саввич, духовные друзья Елизаветы Григорьевны, — на лесах Владимирского собора. А друзья Саввы Ивановича? Врубель, покинув Киев, церковную живопись, творит «Демона», Антокольский — «Сатану», а новобранец Шаляпин — своего Мефистофеля. Удивительные совпадения и контрасты.

Духовные устремления Елизаветы Григорьевны и Саввы Ивановича не просто разошлись, они мчатся друг от друга, как разбегающиеся по Вселенной галактики.

Семья не распалась не только потому, что детей было жалко. Развестись — ославить подрастающих девочек, уже невест. Для Елизаветы Григорьевны ее слово «да» под венцом — обет Богу. Обманутая, оскорбленная, она смиряется и несет свой крест, не жалуясь, не протестуя... Теряя мужа, Елизавета Григорьевна не знала предательства старых друзей дома. Для Поленова, Антокольского, для Васнецовых, Неврева, Остроухова, для Серова, для отдалившегося Репина — Абрамцево и дом на Садово-Спасской — это не Савва Иванович, прежде всего это — Савва Иванович и Елизавета Григорьевна.

Что же до личных заслуг перед музами отечества, как, чем вымерить, выделить долю того и другого?

В Венгрии женщина, выходя замуж, теряет не только фамилию, но и свое имя. Приблизительно такое же отношение к женщине у нашей истории. Помним только цариц-самодержиц, но не жен государей, особенно в спокойные, в счастливые для государства времена.

В искусствоведческой литературе есть Третьяков, Мамонтов, Щукин, Морозовы. О женах этих людей мы чаще всего ничего не знаем. Но разве собрал бы коллекцию икон Илья Семенович Остроухов без капиталов супруги? Разве мог бы Третьяков создать галерею, если бы его половина, Вера Николаевна Мамонтова, противилась бы подобному «вкладу» денег?

Елизавете Григорьевне биографы Саввы Ивановича Мамонтова не

могут не уделять доли внимания, но она тоже всегда в тени своего Саввы Великолепного.

А ведь если быть внимательным, справедливым, то мы должны признать следующее. Абрамцево Мамонтовых начинается с Антокольского, судьба же распорядилась так, что другом Антокольского прежде Саввы Ивановича стала Елизавета Григорьевна. Марк Матвеевич почитал ее своим другом и писал ей удивительные, мудрые письма.

«Девочка с персиками» — это не только песнь песней во славу собственных безмерных сил, но и запечатленная любовь к матери, к дому, к Абрамцеву Елизаветы Григорьевны.

Валентин Александрович Серов — человек исключительной честности и прямоты — писал о Валентине Семеновне, о родительнице своей: «Еще одно ее больное место: холодность моя к ней. Она права, нет во мне той теплоты, ласковости к ней, как ее сына. Это правда, и очень горькая, но тут ничего не поделаешь. Я люблю и ценю ее очень как артиста, как крупную, горячую, справедливую натуру, таких немного, я знаю. Но любви другой, той спокойной, мягкой, нежной любви нет во мне. Если хотите, она во мне есть, но не к ней — скорее к Вам. Странно, но это так. Мне кажется, Вы знаете это, Вы не можете этого не знать». Письмо адресовано Елизавете Григорьевне.

Вот и поразмыслим, какая заслуга перед искусством у хозяйки Абрамцева, если двадцатичетырехлетний Серов признавал ее своей мамой.

Понятия «духовность», «духовная близость» — очень широкие, многое в себя вбирающие. Духовность Васнецова, Поленова, Нестерова, Серова, Антокольского — это все разные, далеко отстоящие друг от друга материи. Свет, идущий от них, соединяется высоко на небесах.

Ближе всего Елизавете Григорьевне Васнецов и Нестеров. Она любила беседовать с Виктором Михайловичем о Боге, о путях человека к Богу, о спасении через любовь. И он любил эти беседы и жаждал их, как и младший его товарищ по работе в соборе. Невозможно предметно указать, каково влияние Елизаветы Григорьевны на религиозную живопись конца прошлого века, но это влияние несомненно.

Попробуйте учесть силу воздействия на художника сочувствующих женских глаз, благословляющих, а может быть, и любящих. Одно можно сказать точно: Великая Богородица Владимирского собора явилась в Киев из Абрамцева. Виктор Михайлович начал работу с малого, с орнамента в алтаре, преодолел робость и приступил к большому, к Благодатному небу, к Богородице с Младенцем. В том подвиге он поддерживал себя молитвой и верою в его силы двух женщин, жены Александры Владимировны да

Елизаветы Григорьевны.

Трудами Васнецова и Нестерова стала абрамцевская крошечная церковь предтечей целому направлению в духовном русском искусстве. Васнецов, а позже Нестеров, ездившие набираться византизму (!) в Венецию, в Равенну, в Рим, нашли свой стиль не за морем, а в абрамцевском пейзаже, в его воздухе, в благословении Сергия Радонежского и святых родителей его преподобных Кирилла и Марии. В тихом слове, в ласковой улыбке Елизаветы Григорьевны, в ее грустных, желających доброго глазах.

Рука Васнецова написала во Владимирском соборе 2840 квадратных метров — пятнадцать картин, тридцать фигур, часть орнамента. Когда силы покидали художника, он приезжал в Абрамцево, под небеса преподобного Сергия, укрепиться словом Елизаветы Григорьевны.

Нестеровым расписаны два придела: один — Бориса и Глеба, другой — равноапостольной святой княгини Ольги.

Потрудились в соборе и еще несколько мастеров, в разное время, но близко связанных с Абрамцевым. Аполлинарий Васнецов по замыслу брата на хорах написал «Четыре стихии: земля, вода, огонь, воздух». Орнаменты боковых приделов принадлежат Врубелю, Прахову, Андрею Мамонтову.

Но будем справедливы до конца. Несмотря на разницу в духовных устремлениях и вкусах, и друзья Елизаветы Григорьевны получали от Саввы Ивановича свое благословение и поддержку, да и в целом русская школа живописи премногим обязана Мамонтову.

Для Андрея Саввича его работа в Киевском соборе была счастливым началом служения искусству, да на этом оно и закончилось — служение.

К работе в Киеве готовился Андрей Саввич серьезно, ездил набраться духа великих мастеров в Италию. Своими впечатлениями он делился с Серовым, и Антон писал ему: «Рад за тебя, что ты повидал античные оригиналы твоих школьных гипсов. Это даром не должно пройти; невольно будешь их вспоминать, все их благородство... Ты совершенно прав относительно Рафаэля и Микель Анджело, они часто ввали, т. е. не так часто ввали, как утрировали, но перед их истинной мощью это все безделица. Сам же говоришь, что тебя еще никогда пластика так не захватывала, как глядя на этих самых Рафаэлей и Микель Анджелов. Про себя могу сказать то же самое. В первый раз в жизни я был совершенно растроган, представь плакал, со мной это бывает не часто, еще в театрах бывало, но перед живописью или перед скульптурой — никогда. Ну тут перед Мадонной Микель Анджело во Флоренции я совершенно расстроился. Да, с этими господами не шути, хотя порой они и бывают

манерными».

Видимо, Антон Серов чувствовал в Андрее Мамонтове родную душу, потому и открывался так.

Работать во Владимирском соборе Андрею Саввичу было не просто. Адриана Викторовича Прахова, Виктора Михайловича Васнецова он знал с самого детства, вырастал у них на глазах. И невозможно было огорчить этих людей, почти родных и уже очень знаменитых, небрежностью и — упаси Боже! — бесталанностью.

К общей радости орнаменты Дрюши оказались исполнены профессионально и со вкусом.

«Очень рад твоему успеху, — писал сыну Савва Иванович, — надеюсь, что он послужит тебе в пользу. Самое главное, к чему нам всем в жизни надо привыкать, это к труду, каков бы он ни был».

Как не вспомнить назидательных писем Ивана Федоровича, который вразумлял беззаботного Савву во времена его студенчества. Тот же стиль, те же мысли, хотя минуло поколение и сотни тысяч отцовских рубликов выросли в многомиллионное состояние.

«Раз у человека есть работа, и он сознательно, без отвиливаний исполняет ее горячо, — наставлял отпрыска Савва Иванович, — он имеет право на уважение других, а следовательно и на радость в жизни... Сегодня еду в Петербург к Сергею решать вопрос куда, в какой полк ему выходить. Кончил курс он очень хорошо и имеет, следовательно, все лучшие права. Было предложение выйти в Гродненские гусары в Варшаву, но это не устраивает кажется. Напиши мне, сколько у тебя есть денег и какие твои нужды. Имей в виду быть любезным к Эмилии Львовне и детям. 11 июля 1890 г.».

Через год Дрюши не станет. Сломается имя САВВА, потеряв букву. Испытает сиротство Елизавета Григорьевна.

Памятником светлomu юноше — «Три богатыря» да орнаменты великого Владимирского собора. Да еще Абрамцево.

Врубель появился у Мамонтова в конце 1889 года.

Однажды Михаил Александрович сказал Коровину: «Константин, Савва Иванович любит жизнь больше красоты и искусства, а я люблю искусство больше жизни. Впрочем, это все не совсем так, а еще тоньше».

Врубель был прав: кесарю кесарево. Дар Мамонтова иной, нежели дар

опекаемых им художников. Творчество Мамонтова — сама жизнь. И все-таки они похожи — Врубель и Мамонтов, как похожи шапки полюсов, Северного и Южного.

Одинаковость в отношении: у одного — к собственным произведениям, у другого — к своему богатству. Савву Ивановича никогда не обуревала жажда обладания сокровищами в любом их облике: деньгами, шедеврами, землями... Добытые средства пускались в дело, но не ради получения сверхденег и сверхкапиталов, а ради грандиозных дел, ради всеобщей всенародной пользы, ради России. В доме Мамонтова оседали лишь те картины, скульптуры или какие-то иные художественные ценности, которые становились частью семейной и его собственной жизни.

Мамонтов мог бы собрать исключительную коллекцию картин при его-то вкусе, при его-то предвидении! Но он приобретал у художников произведения, которые никто у них не покупал. Другое дело, что эти картины через годы стоили многократно дороже картин некогда ценимых мастеров.

Не занимался Савва Иванович и благотворительностью. Так уж получалось, на огонек в его доме слетались самые превосходные, самые прекрасные стрекозы. Он умел разглядеть даже в кажущемся безобразии скрытую от обывателей драгоценную красоту и не оставлял этих стрекоз за дверью на трескучем морозе неприятия.

Михаил Александрович Врубель в артистизме жизни, конечно, превосходил Савву Ивановича. К своему богатству, к работам своим относился он с беспечностью, ужасавшей и художников, и всех добровольных опекунов его таланта.

Не умея объяснить ученицам-дамам, как надо рисовать цветы, он брал кисти и в считанные мгновения творил чудо. Его лепестки, бутоны или только часть бутона — это как промельк изумительной, несбыточной тайны, от которой холодеют руки и замирает дыхание. Врубель бросал листочки, как ничего не значащие, как испачканные краской, испорченные... Теперь эти клочки бумаги с лепестками и бутонами — музейная драгоценность.

А трагическая и даже зловещая история с картиной «Моление о чаше», рассказанная Нестеровым?

«Гефсиманский сад, залитый прозрачным, мягким лунным светом, в глубине сада — молящийся изнемогающий Иисус. И то, что увидели случайно заглянувшие к еще спящему утром Врубелю Васнецов и Прахов, поразило их несказанно. Они разбудили объятых сном художника, полные неописуемого восторга... А он, протирая глаза, недоуменно их слушал,

слушал, как они умоляли не трогать, не прикасаться к чудной картине, просили дать им слово в этом. И он, беспечный, им его дал (это так просто — дать слово)».

Васнецов и Прахов бросились к богачу Ивану Николаевичу Терещенко, убедили, умолили ехать с ними и тотчас купить картину. Терещенко приехал, восхитился, заплатил деньги, да не забрал полотна с собой. Врубель же попал вечером в цирк, пришел в восторг от номера наездницы и ночью, поверх «Моления о чаше», написал циркачку.

Анна Гаппе — Дульсинья Тобосская новоявленного Дон Кихота — невольно погубила и другое замечательное творение Врубеля — «Богородицу».

Восхитившийся Васнецов поспешил опять-таки к Праховым, звать Адриана Викторовича смотреть работу. Адриан Викторович был занят и некоторое время не посещал собора. Пришли спозаранок, церковный сторож повернул им холст для просмотра, а на холсте вместо Богородицы — все та же циркачка на рыжем коне.

Только в больнице для душевнобольных, в светлые часы свои, вспомнил Врубель о кощунстве и раскаялся.

Он счистил портрет жены и написал поверх «Пана», оставив ему глаза Надежды Ивановны. Он едва не уничтожил последний автопортрет, разорвал в клочья «Восточную сказку», писал на обороте своих картин, резал старые работы, чтобы подклеить новые. А история с портретом Николая Ивановича Мамонтова? Николай Иванович не терпел Врубеля, демоны его ужасали, но Савва убедил брата в таланте художника, и Николай Иванович даже заказал свой портрет, согласился позировать. Было много сеансов, портрет заказчику нравился, и когда можно было бы уже и забрать оплаченную и вполне законченную работу, вместо собственного изображения Николай Иванович нашел «Цыганку-гадалку». Врубель чистосердечно признался:

— Не могу больше глядеть на ваш портрет. Осточертел он мне!

Что это — болезнь, беспечность гения? Происки дьявола?

Болезнь века? Или торжество цинизма, умышленное разрушение норм общежития, пляска дьявола на растерзанной душе человечества?..

Был ли умысел в его нелепостях? Может, и был. Михаил Александрович — не дикарь с медвежьим хитрым умом. Он говорил на восьми языках, был начитан, как никто из окружения Мамонтовых.

Ошеломить Михаил Александрович умел кого угодно. Однажды в Абрамцеве он сказал Репину:

— А вы, Илья Ефимович, рисовать не умеете.

— Все может быть, — ответил Репин.

Серов за учителя обиделся, а Савва Иванович рассердился.

— Черт знает что такое! — говорил он Коровину и Серову. — Уймите вашего друга!

Скандальная выходка Врубеля не была нарочитой.

— Репин — тоска! И живопись его тоска, и мышление, — говорил он Коровину.

И это тоже не было позой. В Петербурге Михаил Александрович посещал акварельные сеансы Репина. Вот что писал ученик об учителе после просмотра Передвижной выставки, где экспонировался «Крестный ход в Курской губернии»: «Перед нами проходили вереницы холстов, которые смеялись над нашей любовью, муками, трудом: форма, главнейшее содержание пластики, в загоне — несколько смелых, талантливых черт, и далее художник не вел любовных бесед с натурой, весь занятый мыслью поглубже напечатлеть свою тенденцию в зрителе... Почти так рассуждают передвижники. Бесконечно правы они, что художники без признания их публикой не имеют права на существование. Но признанный, он не становится рабом: он имеет свое самостоятельное, специальное дело, в котором он лучший судья, дело, которое он должен уважать, а не уничтожать его значения до орудия публицистики. Это значит надуть публику... Пользуясь ее невежеством, красть у нее то специальное наслаждение, которое отличает душевное состояние перед произведением искусства от состояния перед развернутым печатным листом. Наконец, это может повести к совершенному даже атрофированию потребности в такого рода наслаждении. Ведь это лучшую частицу жизни у человека украсть! Вот на что приблизительно вызывает и картина Репина».

Так что бравадой реплику неизвестного Врубеля о знаменитом Репине не назовешь. Это взгляд нового искусства, нового мира на мир признанных, но отживших ценностей. Беда только в том, что новый этот мир так и не вылупился из скорлупы. Врубель ведь только сумел набросать эскизы своих художественных грез, это только намерения, попытка наскоро ухватить прекрасные черты нового мира. Грядущий золотой век искусства оказался злым миражом. Искусство Врубеля тоже похоже на мираж.

Как погублены «Гефсиманский сад» и «Богородица», так гибнут, гаснут его картины, написанные наскоро, уничтожающими друг друга красками.

Новое искусство не состоялось, расшиблось, как расшибся о землю павший с небес врубелевский «Демон»... Превращенное в товар, оно служит деньгам и власти, оно давно уже не каприз гения, а хорошо

настроенный инструмент уничтожения человеческой личности.

Инструмент дьявола!

«Миша предан своему Демону всем своим существом... — писал дочери в 1886 году отец художника, — верит, что Демон составит ему имя».

Демон составил имя Врубелю, но он и погубил его...

В ноябре 1889 года Наталья Васильевна Поленова писала Василию Дмитриевичу в Париж: «Вчера у нас рисовало тринадцать человек, между прочим и Врубель, который временно здесь работает над эскизом „Воскресения“ для Киевского собора. Он на вид очень неказист, но очень образованный человек и страсть любит философствовать».

Василий Дмитриевич затеял рисовальные четверги еще в 1884 году, чаще всего рисовали костюмированную модель, сохранился, например, портрет Левитана в костюме бедуина. На четвергах бывали Суриков, Виктор и Аполлинарий Васнецовы, Нестеров, Остроухов, Серов, Коровин, Левитан, Архипов...

В 1889 году, когда Василий Дмитриевич был за границей, Наталья Васильевна четверги поменяла на воскресенья. Собиралась молодежь: Пастернак, Головин, Щербиновский, Хруслов, появлялся Врубель. Он в то время все писал и переписывал эскиз «Воскресения» для Киевского собора. Положение у него было отчаянное, он слал слезные письма Прахову, выпрашивая денег на дорогу, но Прахов на Врубеле поставил крест и на письма не ответил. Просил Михаил Александрович двадцаточку у Остроухова, но тот был занят приготовлением к свадьбе. Илья Семенович желал получить эскиз в подарок, а покупать у сомнительных художников их никому не нужные творения даже за двадцаточку — глупо.

Серова в Москве не было. Вернувшись из Парижа, он гостил в Домотканове, в имении своего друга и родственника Владимира Дервиза. Черна показала Москву Михаилу Александровичу, ледовита...

Коровин так описывает свою встречу с Врубелем у Сухаревой башни: «Однажды в октябре поздно вечером я шел в свою мастерскую на Долгоруковскую улицу. Фонари светили через мелкий дождик... „Костя Коровин!“ — услышал я сзади себя. Передо мной стоял М. А. Врубель. „Миша! Как ты здесь? Пойдем ко мне...“ Я держал его мокрую руку: летнее пальто, воротник поднят — было холодно. „Ты уже здесь давно?“ —

„Дней десять“. — „И ты не хотел меня видеть?“ — „Нет, напротив, я у тебя был, но ты все у Мамонтова, а я его не знаю. Послушай, я к тебе не пойду сейчас, а ты пойдешь со мной в цирк“».

Но почему, спрашивается, Врубель оказался в городе, где у него кроме Серова — знал по Академии — да Коровина, с которым встречался на Украине, — и знакомых-то больше не было?

При хроническом безденежье Михаил Александрович в августе уже совершил длительную поездку в Казань, к больному отцу, которому пришлось выйти в отставку. Александр Михайлович служил председателем казанского военно-окружного суда, он хоть и расстался со службой в чине генерал-лейтенанта, средств к существованию кроме пенсии не имел, а семья у него была немалая.

В Москву Врубель устремился не от обиды на Прахова и не ради товарищества, единения с молодыми силами искусства. И не от нищеты бежал он в Москву, хотя временами в кармане у него было всего пять копеек.

Врубель прибыл в Москву с единственной целью: быть рядом с итальянкой, циркачкой Анной Гаппе.

Эта история уже потому романтическая, что «романа» не существовало. Артистка была верна супругу, и любовь Врубеля выражалась в одном донкихотском преклонении перед дамой, перед Красотою.

Серов и Коровин, кстати, не видели в Анне Гаппе выдающихся достоинств да и красавицей не признали.

Костя Коровин и привел Врубеля к Мамонтовым.

У Мамонтовых было светло илюдно. Близился Новый год, а Савва Иванович в соавторстве с Сергеем Саввичем сочинил драму «Саул», собирался ее поставить, как в былые радостные времена.

Гости попали за стол, шло чаепитие. Обсуждали литературные достоинства драмы. Врубель взял листок пьесы, прочитал глазами:

Давид.

В пустыне рай земной и, если б не разлука,
Я б мог благословить блаженный свой удел,
Средь дикой красоты мне незнакома скука,
Полет моей мечты стремителен и смел.

Сижу я на скале в блаженном созерцанье,
Рой чудных, светлых грез передо мной встает,
И ум мой ясно зрит красоты мирозданья.

Ионафан.

Беги скорей, Давид, отец сюда идет!

— Что скажете? — спросил Савва Иванович. — Я, разумеется, не о драме, а о качестве стиха?

— Возвышенно.

— Это хула или одобрение? У современной молодежи понятия иные, чем у нас, седеющих и лысеющих.

— Это одобрение, — сказал Врубель. — После Пушкина и Лермонтова русская литература все время катится по наклонной. Первейшее качество поэзии — возвышенность.

— А если эта возвышенность отсутствует в самой жизни?

— Грубости и низости во времена Гомера и Овидия было значительно больше, ибо многие народы жили как дикари, — ответил Врубель и увлекся. — Помните Вергилия? «Снег идет по всему воздуху, гибнут стада, большие туши быков стоят, окруженные снегами, и олени густыми стадами увязают в новых снежных скалах, из которых едва виднеются верхушки их рогов».

Врубель смотрел перед собой, в чашку чая, но голос его, сначала тусклый, словно бы наливался серебром, и его слушали, умолкнув, не дотрагиваясь до чая.

— «Тут на них не натравляют собак, не расставляют сетей, не обращают в бегство, дрожащих от ужаса, пуническими стрелами, но бьют в упор железом, пока они тщетно стараются пробить грудью противостоящие горы снега, убивают тяжко ревущих и весело уносят домой с громкими криками. Сами жители проводят свои безмятежные досуги в вырытых пещерах глубоко под землю, прикатывают к очагам собранные дубы и целые вязы и предают их огню. Здесь они проводят ночи в играх и весело заменяют в чашах вино кумысом и кислым соком рябины. Таково свободное племя, которое под гиперборейской медведицей поражается дуновением рифейского Евра и прикрывается щетинистыми рыжими шкурами животных».

— Я жалею, что написал о Сауле, надо было написать о скифах, — сказал Савва Иванович.

— Да, — согласился Врубель, — жизнь скифов была дикой, но

возвышенной, и потому эту жизнь воспевал лучший из поэтов.

В тот день Врубель немало удивил Савву Ивановича. Раскритиковал «Христа перед народом» Антокольского, утверждая, что это не искусство, а когда Мамонтов возразил, подчеркнув «а это всем нравится», сказал, как отрезал:

— Вот и плохо, что всем. Когда нравится всем, значит, в произведении отсутствует таинство жизни. Значит, оно умерло, не родившись.

Савва Иванович смотрел на Врубеля с любопытством.

— Прахов почти с восторгом говорил о ваших работах в Кирилловской церкви... Вы, видимо, недавно в Москве. Мастерской еще нет, должно быть. Вот вам этот кабинет для возвышенного искусства.

Врубель развел руки:

— Просторно. И света, должно быть, много. Здесь любой холст поместится. Я мог бы писать «Демона».

— Вольному воля. Но грядет Новый год, а значит, и «Саул». Нужны декорации. Это ведь тоже возвышенно. Древние евреи, великие страсти... Вы писали для театра?

— Матушка Серова увлекла однажды сочинить декорацию для «Уриэля Акосты», но дело сошло на нет.

— У нас на нет сойти дело никак не может, — сказал Савва Иванович. — Перебирайтесь с пожитками в этот кабинет и — за работу. Времени осталось не так уж и много. Антон поможет, подскажет. Он — старый театрал. О цене, думаю, сговоримся.

Михаил Александрович взялся за новое для себя дело. Он писал так ярко, такой необузданной фантазией веяло от его полотнищ! Савва Иванович смотрел и приходил в восторг.

Вслед за Врубелем перебрались к Мамонтовым и Серов с Коровиным. Они получили заказ расписать церковь Космы и Дамиана в Костроме, в приходе фабрики Третьякова и Коншина. Огромный холст, восемь с половиной аршинов на десять с половиной, поставить было негде, кроме кабинета Саввы Ивановича. Тема — «Хождение Христа по водам» или «Христос на Генисаретском озере». А Серову приходилось еще и декорации писать.

О тех прекрасных днях Антон сообщал молодой жене своей Ольге Федоровне: «Мы с Врубелем в данное время находимся всецело у Саввы Ивановича, т. е. днюем и ночуем из-за этих самых декораций. Савва Иванович и Елизавета Григорьевна чрезвычайно милы с нами, и я рад, что они так ласковы с Врубелем».

Спектакль «Саул» был поставлен в Большом кабинете Мамонтова 6 января 1890 года. Серов играл пленного амалихитского царя Агата, Константин Алексеев (Станиславский) пророка Самуила. Врубель тоже попал в артисты. Одновременно была поставлена «Каморра», и Михаил Александрович пел за сценой «Санта Лючию». Голос у него был небольшой, но красивый, баритональный тенор.

Праздники кончились. Декорации свернуты. Жизнь на чужом хлебе ничем уже не оправдана, но куда деваться. Савва Иванович понимал состояние Врубеля, заказал ему адрес к двадцатипятилетию Московско-Ярославско-Вологодско-Архангельской железной дороги. Адрес — не картина. Врубель завидовал друзьям, имевшим такой солидный, хоть и недорогой заказ на роспись в храме. Холст они поставили, а сочинить композицию никак не могли.

Спорили, восхищались найденными деталями, приходили в отчаяние: хорошо задуманное на словах теряло на холсте выразительность.

Всеволод Саввич Мамонтов вспоминал много лет спустя: «Врубель смотрел, смотрел на муки творчества и не вытерпел. Побежал в столовую комнату, оторвал там от подоконника прилаженный около печки лист серого картона-асбеста и в каких-нибудь полчаса написал на нем акварелью одну из лучших своих вещей „Хождение Христа по водам“».

Эту работу купил у Врубеля Коровин, ее видел Третьяков, не понял, но много позже он тоже оценит эту удивительную акварель и пожелает иметь в своей галерее. В те поры на обратной стороне картона уже будет написан эскиз театрального занавеса. Коровин укажет на это комиссии Третьяковской галереи, и картон благополучно разделят. А вот акварель «Воскресение» Врубель смыл, картон изрезал и пустил на подклейку. Тело Христа было написано как бы состоящим из множества сверкающих бриллиантов. Врубель сумел передать этот огонь и жар драгоценного сияния. В искусстве своем он не ведал пределов.

Видимо, чтобы как-то занять художника, Савва Иванович заказал ему занавес для Частной оперы. В работе принимал участие Серов, он писал жене в марте 1890 года: «Кончили мы с Врубелем, т. е. Врубель со мной, затея его, я помогал ему, как простой или почти простой поденщик, каков занавес, расскажет мама».

Жизнь скоро устроилась: появилось основательное, долгосрочное дело. Савва Иванович, может даже в пику деревяшкам Елизаветы Григорьевны и Елены Дмитриевны, построил в Абрамцеве гончарную мастерскую. Тут как раз приехал из Киева Андрей Саввич, и Врубель перестал чувствовать себя нахлебником у малознакомых людей. Вместе с

Дрюшей он изготовлял модели изразцов, экспериментировал с красками, глазурью.

Дрюша написал эскиз печи. Врубелью понравилось, увлекся и сам взялся за печи. Один из его каминов оказался на обороте юбилейного адреса — заказа Саввы Ивановича.

Мир майолики — это счастливые игры взрослых в детство. Сотворение сказки, служение солнцу.

Врубель не жаловал вниманием детей, не был им близок, майолика влекла его самой сутью своей. В живописи невозможно достичь того звучания красок, каким обладает поливной, глазуревый черепок. В живописи мгновение остановлено. В майолике за мгновением следует мгновение, краски живут вместе с восходом и с заходом солнца, живут при луне, в сумерках, в зорях, при звездах, в крошечной тьме, при свече и лампе, живут под водой и в огне пожара.

Врубелью было тридцать три года. Бездомный и нищий, он был счастлив. Он мог работать: в кабинете Мамонтова был поставлен большой холст и начата картина.

22 мая 1890 года Михаил Александрович писал сестре: «Вот уже с месяц я пишу Демона. Т. е. не то чтобы монументального Демона, которого я напишу еще со временем, а „демоническое“ — полуобнаженная, крылатая, молодая, уныло-задумчивая фигура сидит, обняв колена, на фоне заката... Обстановка моей работы превосходная — в великолепном кабинете Саввы Ивановича Мамонтова, у которого я живу с декабря. В доме, кроме его сына-студента (Всеволода. — В. Б.), с которым мы большие друзья, и его самого наездами, никого нет. Каждые 4–5 дней мы отправляемся дня на 2–3 гостить в Абрамцево, подмосковное, где живет мать с дочерьми, где и проводим время между кавалькадами, едой и сном».

Наездником Врубель был замечательным, недаром в Киеве, влюбленный в циркачку, он одевался жокеем. Никакого другого спорта не признавал. Разве что играл в крикет, но только в том случае, если его приглашала Вера Саввишна.

Николай Адрианович Прахов, сын знаменитого профессора, приводит в воспоминаниях милую сцену абрамцевской жизни. Однажды Врубель опоздал к вечернему чаю, он вошел в столовую «в тот момент, когда Верушка сказала что-то шепотом сидевшей с ней рядом моей сестре... Михаил Александрович воскликнул: „Говорите все шепотом! Говорите шепотом! — я только что задумал одну вещь. Она будет называться — „Тайна““. Мы все стали дурачиться, шептать что-нибудь соседу или

соседке. Даже всегда тихая и спокойная „тетя Лиза“ улыбнулась, глядя на нас, и сама спросила шепотом у Врубеля: „Хотите еще чашку чая?“»

Через день Михаил Александрович принес к вечернему чаю женскую головку, обвитую священной египетской змеей Уреей.

— Вот моя «Тайна», — сказал Врубель.

— Нет, — возразили ему, — это «Египтянка».

Лето 1890 года, последнее лето Дрюши, было удивительно теплым, щедрым на цветы, на птичьи песни, вода в Воре ласкала, если шли дожди, то слепые, то сверкающие на солнце. Грибы высыпали дружно, земляника уродилась крупной, сладкой.

Но зато и осень наступила рано. Читаем в «Летописи сельца Абрамцева»: «В дурную погоду при холоде и сильном дожде предложено написать каждому из присутствующих четверостишие на тему осень».

Сергей Саввич сочинил нечто минорное:

Зелень вся давно поблѣкла,
Мелкий дождь стучится в стѣкла.
Как собачка взаперти,
Сердце плачется в груди.

Андрей Саввич пошутил:

Люблю я грязную дорогу,
Когда на ней лежит свинья.
Люблю я чистую дорогу,
Когда ушла домой свинья.

Всеволод Саввич блеснул эрудицией:

Ах, осень! Вставляется первая рама
И в комнате стало тепло,
К камину присела прозябшая мама
И смотрит тоскливо в окно.

Почти японские стихи сочинил Михайло Александрович Врубель, так он назван в «Летописи»:

Бурые, желтые, красные бурные
Листья крутятся во мгле,
Речи несутся веселые шумные,
Лампа пылает на чайном столе.

Савва Иванович дал Врубелю полную свободу творчества — занимайся всем, к чему тянется сердце и рука художника.

Есть свидетельство Станиславского, которому Савва Иванович однажды сказал: «Вот, смотри, сегодня Врубель сидел и мазал, а я подобрал. Черт его знает, что это, а хорошо».

Есть и другое. Сразу после переезда Врубеля к Мамонтовым Савва Иванович говорил Коровину: «Вы видели его картины... Что это такое? Ужас! Я ничего подобного не видел никогда. И представьте, я ему говорю: „Я не понимаю, что за живопись и живопись ли это“. А он мне: „Если бы вы понимали и вам бы нравилось, мне было бы очень тяжело“... В это время ко мне приехал городской голова Рукавишников... Увидал эти картины и говорит мне: „Что это такое у вас? Что за странные картины, жуть берет. Я, говорит, знаете ли, даже, признаться, забыл, зачем я к вам приехал...“ Я ему говорю: „Это так — проба красок, еще не кончено...“»

Не беда, что Савва Иванович не понимал живописи Врубеля, хвала за то, что пустил непонятого и ужаснувшего в свой дом, позволил написать «Демона». Этим Демоном Савва Иванович и сам в конце концов соблазнился, вылепил из глины своего, страшного, и даже раскрасил. Видимо, под влиянием майолик Врубеля.

Врубель жил красотой, она его воздух, но, мечтая о великих полотнах, о грандиозных храмах, к жизни своей, ко времени, ему отпущенному, относился, как худший из мотов. Мамонтов этого мотовства не только не пресек, но и способствовал трате сил на что ни попадя. Гения во Врубеле Савва Иванович, может, и чувствовал, а использовал для дел сиюминутных, для своих дел.

Врубель писал плафон для театра, декоративные панно в особняк фабриканта Алексея Викуловича Морозова — заказ Савва Иванович нашел, — разрисовывал изразцы, расписывал фарфоровые блюда, даже балалайки. Затея с балалайками принадлежала княгине Тенишевой. Балалайками она собиралась удивить Париж, заказала росписи лучшим художникам России,

в том числе Репину. Репин ничего не сделал, да еще и возмутился, а Врубель балалайки расписал. Для него не существовало ничего не достойного его великого таланта, ничего низкого. Ныне врубелевская балалаечка, возможно, стоит дороже иных репинских картин, но речь о другом. Речь о том, что *картины не написаны*. Мамонтов «толкал» Врубеля в дела преходящие. Предложил нарисовать декорации для элитного самодеятельного спектакля. Декорации поразили зрителей и даже Коровина, но умерли тотчас, как упал занавес. Наутро их сняли, свернули и выбросили. Ах, если бы сыскался воистину заботливый человек, который предложил бы Врубелю не кусок хлеба и полную свободу, а собор и труд до изнеможения. Микеланджело, расписывая Сикстинскую капеллу, даже спал в сапогах, а закончив дело, снял сапоги вместе с кожей.

Мы знаем цену собора, где трудилась кисть Васнецова, знаем соборы, расписанные Нестеровым. Но нет хотя бы часовенки Врубеля. Кирилловская церковь не в счет, он латал здесь пустоты... Будь у Врубеля собор!.. Но что ставить восклицательные знаки, возводить слова в превосходную степень — нет собора Врубеля, есть врубелевские балалайки, изразцовые каминные, есть даже лежанка со скамейкой — это в Абрамцеве, для прихотей его обитателей. Есть чудное фарфоровое блюдо в Ликино-Дулеве. Драгоценности, но для Абрамцева, для Дулевского фарфорового завода, да только не для человечества.

Так что встречу Врубеля и Мамонтова можно считать почти трагедией великого художника.

Теплом мамонтовского уюта он тоже не был обогрет, очень скоро для Елизаветы Григорьевны само присутствие Михаила Александровича стало невыносимым. М. Копшицер причину такой перемены усмотрел в насмешках Врубеля над живописью Морелли, а живопись эту Елизавета Григорьевна ставила очень высоко.

Отчуждение произошло после смерти Андрея Саввича, в Италии, куда Мамонтовы отправились всей семьей, взяв с собой Врубеля. Даже Верушка, которую Михаил Александрович рисовал, а если он рисовал человека, так значит любил его, стала называть своего друга «Монелли». Монелли — по-итальянски воробей, то же что «вробель» — по-польски. Прозвище было мезью за Морелли, но Михаил Александрович не обиделся, нарисовал изумительный портрет Саввы Ивановича в черном берете и подписал прозвищем.

В Италии Врубель прожил достаточно долго, писал декорации к «Виндзорским кумушкам». Однако Савва Иванович новую гастрольную труппу набирать не стал, и занавес «Неаполитанская ночь» нашел

применение только через несколько лет.

Не картину заказал Мамонтов Врубелю, а всего лишь занавес, и Елизавета Григорьевна тоже, наверное, могла бы заказать картину на религиозную тему, отвлечь от демонов, но ведь не заказала. Вкусы Елизаветы Григорьевны были устоявшиеся, нового искусства не понимала, не терпела. Даже «Девушку, освещенную солнцем» Серова не приняла. Михаил Александрович был для нее пугающе далеким художником.

«Заходили к Врубелю, — писала из Рима Елизавета Григорьевна Елене Дмитриевне, — сделал акварельную голову Снегурочки в натуральную величину на фоне сосны, покрытой снегом. Красиво по краскам, но лицо с флюсом и сердитыми глазами. Оригинально, что ему нужно было приехать в Рим для того, чтобы писать русскую зиму». Холод в этих словах, неприязнь.

И все же 1891 год стал значительным в творчестве Михаила Александровича. Издательство И. Н. Кушнерева пригласило художника принять участие в иллюстрировании юбилейного трехтомника М. Ю. Лермонтова. Николай Адрианович Прахов, живший в это время у Мамонтовых, в «Воспоминаниях о художнике» рассказывает о беседах с Врубелем редактора Петра Петровича Кончаловского. Савва Иванович иногда присутствовал при этих беседах, давал советы иллюстратору. Прахов свидетельствует: Казбича, мчащегося на чудо-коне, Врубель написал с Всеволода, черты его лица узнаются и в «Демоне». Печорин — с моряка Свербеева, гостившего у Мамонтовых. «Тамара в гробу» — рисунок не попал в юбилейное издание — с Верушки. Вот уж счастливая для художников девочка!

Графические работы Врубеля вызывали споры, протесты, даже злобу. Приходилось их отстаивать Полену, Серову, Коровину. Кончаловский тоже был сторонником художника. Пораженный его дарованием, он упросил Врубеля перебраться в квартиру в доме, где жил сам, и, может, благодаря этой опеке, этой любви, дело с иллюстрациями было доведено до конца.

Петр Петрович поддерживал уверенность в художнике и после выхода книги. Ругань была большая. Дочь Льва Толстого, Татьяна Львовна, писала Репину об этом издании: «Как хороши рисунки Пастернака и Васнецова и как ужасны Врубеля, и как их много!»

В это же время Михаил Александрович занялся еще одним новым для себя делом. Спроектировал двухэтажный флигель, построенный во дворе дома Мамонтовых на Садово-Спасской и еще часовню в Абрамцеве над могилой Дрюши. (Спроектировал, да не расписал.) Отныне Врубель не

только участник всех художественных затей Саввы Ивановича, но и его служащий, заведующий керамической мастерской.

Надо признать главное: благодаря Мамонтовым непризнанный, подвергающийся травле художник обрел прочное место в жизни, перестал быть бродягой, не погиб, как погиб Саврасов. Врубель нашел в Савве Ивановиче работодателя, стал нужным, смог закончить — без мастерской и этого не было бы — «Демона сидящего». И хоть писал «врага человеческого», воздух Радонежья изливал на мастера дух жизни.

Михаил Александрович писал сестре: «Сейчас я опять в Абрамцеве, и опять меня обдает, нет, не обдает, а слышится мне та интимная национальная нотка, которую мне так хочется поймать на холсте и в орнаменте. Это музыка цельного человека, не расчлененного отвлечениями упорядоченного, дифференцированного и бледного Запада». В Абрамцеве Врубель почувствовал себя русским.

Завершим главу о художниках второго абрамцевского поколения рассказом об Аполлинарии Васнецове. В его автобиографических записках читаем: «Абрамцевская среда художников, около которых я рос и развивался, блестела звездами первой величины». Здесь, в Абрамцеве, Аполлинарий Михайлович получал наглядные уроки мастерства и у брата, и у Репина, и особенно у Поленова. Он так и говорит: «Учился я на природе и у природы, а помогали мне в этом, вечная им за то благодарность, и сверстники Виктора во главе с ним, и мои сверстники, и особенно Василий Дмитриевич Поленов». О его уроках художник вспоминает: он «часто обращал мое внимание на краски, указывал, что их нужно брать ярче и красочнее...»

Собственно художник Аполлинарий Васнецов состоялся именно в Абрамцеве. Святое небо Радонежья благословило его любовь к земной красоте. Здесь он написал свои чудесные поэтические пейзажи: «Ахтырка», «Рожь», «Яшкин дом», «Летний день», «Поляна», «Лесная тропинка», «В верховьях реки Вори», «Поле».

В 1883 году с XI Передвижной выставки Третьяков купил пейзаж Аполлинария Васнецова «Серенький день». Картина рождена природой Абрамцева.

На XVI Передвижной выставке художник поставил картину «Днепр перед бурей». Картина была новаторская для русской школы пейзажа.

Запечатленное мгновение неуловимой границы покоя и бури поразили Савву Ивановича Мамонтова, и он купил картину.

В начале 90-х годов Аполлинарий Михайлович увлекся археологией и стал воссоздавать в своих картинах облик древней Москвы. Это увлечение привело к сотрудничеству с Мамонтовым. Для возобновленной Частной оперы художник написал декорации к «Хованщине». Савва Иванович показал эскизы старшему Васнецову, и скупой на похвалу Виктор Михайлович разволновался: «До мелочей пронизано духом времени! Аполлинарий недаром в нашей семье числится ученым. Ни к чему не придерешься! Документы и притом найденные душой и сердцем художника!»

В 1890 году Аполлинарий Михайлович Васнецов ездил «за природой» на Урал. Он нашел великие просторы и обрел великое искусство. Уральские пейзажи дали ему имя не только среди художников.

Картины «Тайга на Урале», «Утро в Уральских горах», «Дебри Урала», «Сибирь», «Оренбургские степи», «Кама» вызвали в обществе прилив интереса к Русскому Северу. И если для большинства узнавание Родины питало гордость за свой народ, за свою необъятную землю, то таких людей, как Савва Иванович Мамонтов, вдохновение художника подвигало на значительные практические дела. Прибыли промышленников могут способствовать искусствам, но искусство тоже может влиять на промышленность.

К сожалению, сохранилось очень мало живых рассказов об Аполлинарии Михайловиче Васнецове в Абрамцево, и потому каждое из них дорогое. Платон Николаевич Мамонтов, режиссер и театральный деятель, сохранил такое воспоминание из своего детства. После лыж он задремал в кабинете Саввы Ивановича. «Вбежал Аполлинарий, поставил холст, в пятнадцать минут написал этюд. Запылали последними лучами облака, дубки, солнце сквозь них...»

Оказывается, художники наезжали в Абрамцево и зимой...

Подвиг Мамонтова

1

Связь между двумя замечательными событиями, происшедшими в начале 90-х годов, несомненна. Третьяков подарил городу свое собрание картин, Мамонтов начал строительство железной дороги от Вологды до Архангельска. Эти два события только на первый взгляд несопоставимы.

В июле 1892 года скоропостижно скончался Сергей Михайлович Третьяков, нежно любимый брат Павла Михайловича. По завещанию покойного часть дома и часть коллекции, а именно восемьдесят четыре картины иностранных мастеров, поступали в собственность города Москвы.

31 августа, после мучительных раздумий, Павел Михайлович подал «Заявление» в Московскую Городскую Думу. Он писал: «Желая способствовать устройству в дорогом для меня городе полезных учреждений, содействовать процветанию искусства в России и вместе с тем сохранить на вечное время собранную мною коллекцию, ныне же приношу в дар Московской Городской Думе всю мою картинную галерею со всеми художественными произведениями». В дарственной Павел Михайлович ставил, однако, несколько условий: он с женою пожизненно пользуется жилым помещением, продолжает пополнение собрания, пожизненно остается попечителем галереи. Был в заявлении и такой пункт: галерея должна быть «открыта на вечное время для бесплатного обозрения всеми желающими не менее четырех дней в неделю».

«Мучительные раздумья», о которых сказано выше, были не о том, дарить или не дарить. Ужасала неизбежность внимания и славословия. Павел Михайлович понимал величину и значение своего дара, но человеческая суетность была ему невыносима.

Представив «Заявление» городским властям, Третьяков чуть ли не на другой день уехал в Германию.

Шум поднялся большой. Были патриотические восторги, были мерзостные ухмылочки. Предоставим слово современнику, язвительному правдолюбу Михаилу Васильевичу Нестерову. Он писал родным: «История только способна оценить значение такого нравственного великана, каким является П. М. Третьяков, является как прекрасный контраст ко всем этим

Алексеевым, Солдатенковым, Мамонтовым и другим людям, иногда умным и способным, но мелким и ничтожным по существу своему... Живут два брата душа в душу, ничего не деля, думают пожить и еще, работая на пользу своей родины, в сердечных разговорах поверяя друг другу свои планы. Вдруг один неожиданно умирает, оставляя часть своего богатства родному городу. Но между этим даром есть кое-что общее, не разделенное при жизни, как, например, дом, где находится галерея и в котором живет другой брат. И вот, чтобы благодарные граждане не вздумали законно отобрать половину принадлежащего по завещанию умершего городу дома, — решено при жизни свести все счета: отдать, или, вернее, вырвать живому из себя, как клочок тела... В Москве П. М. Третьякова сравнивают с несчастным королем Лиром, кто-то только будет его Корделией?»

Никакой трагедии, однако, не произошло. Бюрократическая машина работала медленно, но сама дума уже через две недели постановила: согласиться с условиями дарителя, выделять пять тысяч рублей ежегодно на новые приобретения.

Даже далекие от искусства люди восприняли поступок Третьякова как событие общерусское. Для художников оно стало праздником: ведь их картины отныне — национальная собственность.

11 апреля 1893 года экстренное заседание Московского общества любителей художеств направило Павлу Михайловичу приветственное письмо: «Заслуга Ваша не забудется ни в истории национального самосознания, ни во всемирной истории искусства». Среди подписавших приветствие — Савва Иванович и Николай Иванович Мамонтовы, Бахрушины, Поленов, Серов, Неврев. Всего девяносто девять подписей.

На этом же заседании было принято решение: созвать в апреле 1894 года первый имени П. М. Третьякова Съезд художников и любителей художеств.

15 августа 1893 года Городская галерея Павла и Сергея Третьяковых была открыта для посетителей.

Владимир Васильевич Стасов написал пылкую статью о Третьякове, красноречивыми цифрами доказывая уникальность собрания и дарения. Вот эти цифры. В Лувре числится 2745 картин, из них французских — 1049, итальянских — 573. В Мадридской галерее Прадо — 2360 картин, картин испанских живописцев здесь чуть более 500. В Венском Бельведере — 2037 картин, но полотен австрийских художников только около 200. В Лондонской национальной галерее — 1045 картин, из них английских — 335. В Амстердамском музее — 1800 картин, в Мюнхенской старой Пинакотеке — 1433 картины, во Флоренции в галерее Уффици — 1300

картин, итальянских — 500; в Эрмитаже — 2000 картин, русских — 75. Приводит Стасов имена знаменитых собирателей, подаривших свои коллекции Отечеству в преклонном возрасте. Бомонта было 73 года, подарил 16 картин, Вернону — 73 года — 157 картин, Лаказу — 68 лет — 275 картин, графу Кушелеву-Безбородко только 30 лет, но он знал, что дни его сочтены. Он подарил 466 картин и 29 скульптур.

Павлу Михайловичу Третьякову было 50 лет, и подарил он Москве 1276 картин масляными красками, 471 рисунок, 10 скульптур, 1757 произведений отечественных художников и ваятелей. С картинами Сергея Михайловича собрание насчитывало 1841 произведение искусства. Вывод Стасова таков: по количеству национальных работ собрание Третьякова — первое в мире. По общему же количеству произведений оно сравнимо с самыми знаменитыми государственными картинными галереями.

Вот что такое Третьяков, фабрикант небольшой руки, вот что такое цель в жизни.

Значение Третьяковской галереи для русского искусства не ограничивается количеством и художественной значительностью произведений. Само существование Третьякова, покупающего русские картины о жизни русского государства, русского народа подвигло художников искать себя, свою Музу в родном доме, а не за тридевять земель, видеть героическое и высокотрагическое в истории своего народа, а не только в преданиях о древних евреях, древних греках, в жизни римских и византийских императоров.

Поступок Третьякова воспринимался современниками именно подвигом, служением России, русскому народу. Одно дело, когда шло накопительство, когда картины стекались под крышу собственного дома, и другое дело, когда бесценное богатство было отдано на всенародное обозрение, стало вдруг всеобщим, от крестьянина до царя. Дар Третьякова для современников был равносителен очистительной молитве великого святого за весь народ. Третьяков стал ровней Пушкину и Ломоносову. Об этом мы не всегда помним, но это так и есть.

Среди задумавшихся о подвиге Павла Михайловича Третьякова был его дальний родственник Савва Иванович Мамонтов.

В 1893 году на Садово-Спасской отмечали свой большой праздник — пятидесятилетие художественного кружка. Собирались вместе, просматривали старые фотографии, рисунки костюмов, афиши спектаклей.

«Будет представление — всем на удивление.

Выйдет мертвец из гроба. — Пожалуйста,
смотрите в оба».
Милый, глупейший «Черный тюрбан»!
А Дрюши уже нет... Убыл актер.

Решили увековечить былые деяния, издать книгу и назвать ее без затей: «Хроника нашего художественного кружка». Тираж книги ограничили числом участников спектаклей.

Получилось собрание драматических произведений Саввы Ивановича, ведь по его пьесам ставились спектакли. Напечатать книгу взялся Анатолий Иванович. Фолиант вышел солидный, шедевр полиграфии. Печаталась книга долго, она появилась только в 1895 году. Бедный Петр Антонович Спиро ее уже не увидел.

16 ноября 1893 года Василий Дмитриевич Поленов писал Наталье Васильевне: «Вчера я получил из Одессы телеграмму, которая меня ужасно поразила: „Отец умер от удара. Спиро“. (Телеграмму прислал сын умершего. — В. Б.) Такую же телеграмму получил и Савва Иванович. Ах, как мне жаль Петра Антоновича, и сказать не могу. Здесь все здоровы, веселы, бодры. У Мамонтовых идут репетиции к мандолинному концерту. Просто не хочется от них уходить».

К новогодним праздникам начали готовиться на Садово-Спасской заранее. Савва Иванович написал очередную комедию «Около искусства», репетировали живые картины. Спектакль состоялся 6 января. Поленов поставил «Христианские мученики», Врубель — «Отелло», Серов — «Дант и Вергилий». Данта играл Аполлинарий Васнецов, Вергилия — Врубель. Виктор Михайлович Васнецов поставил «Русалки». Картина шла под музыку с декламацией. Стихи читала Мария Федоровна Якунчикова. В комедии «Около искусства» в роли режиссера Калиныча блеснул Серов, в роли пьяницы-трагика Хайлова-Раструбина — Врубель. Итальянку-мандолинистку сыграла Вера Саввишна, а итальянские песни на мандолинах и гитарах исполняли Параша, Вера, Всеволод Мамонтовы и Погожев. Елизавета Григорьевна на спектакле прослезилась: радовалась детям, вспоминала Дрюшу. Кругом были все свои, родные или очень дорогие люди, не было этой Татьяны Любатович, осквернившей чужое гнездо.

Сыграли спектакль, отпраздновали юбилей кружка, новое дело подоспело. Пора было готовиться к съезду художников. Это ведь не просто съезд, а первый съезд. Савва Иванович вошел в Предварительный комитет

вместе с Поленовым, Савицким, Владимиром Маковским. Всего в комитете было пятнадцать человек. Добровольных помощников нашлось много, все люди замечательные, историк И. Е. Забелин, например. Кто речь приготавливал, а кто и оперу. Профессор Московской консерватории А. С. Аренский сочинил в дар художникам «Рафаэля», Л. О. Пастернак написал декорации к опере, артист А. И. Ленский режиссировал постановку. Савва Иванович предался поэзии, сложил стихотворный гимн-пролог к живой картине «Афродита».

Декорации писал Поленов. Его «Эллада» — это яркое манящее море, обданные светом и жаром солнца горы, сияющая белизной мрамора безрукая Афродита, портик и ярко-рыжая гречанка, пришедшая молиться богине любви.

Савва Иванович за день до открытия съезда писал Васнецову в Киев о хлопотах по своему спектаклю: «Все говорят, рассуждают, все очень озабочены, мечутся, ломают голову, как одеть „Москву“ — Ермолову в „Апофеозе“. И все-таки должно быть кончат тем, что оденут русской бабой с кулебякой. Наша „фирма“ свое дело сделает, и думаю, что Греция будет, если не строга, то все-таки красива. Поленов чудесно работает декорацию, Кротков написал талантливую музыку, которую сегодня наиграли уже в оркестре, и я был тронут чуть не до слез. Этот жирный медведь имеет в себе какие-то тонкие фибры... А как они смели не обратиться к тебе? Кто кроме тебя может дать русскую красоту? Мне это глубоко обидно, а не обратились только по убожеству. Я сказал им, чтобы они пошли и поклонились тебе, и ты будешь великодушен...»

Заседания съезда открылись в Москве 23 апреля в большой аудитории Исторического музея.

Подъем, патриотизм собравшихся были сродни Пушкинским дням 1880 года.

Съезд приветствовали городской голова К. В. Рукавишников, представители университетов: от Московского — И. В. Цветаев, от Петербургского — Ф. Ф. Петрушевский, от Казанского — Д. В. Айналов.

Речей было много, поднимались вопросы художественного образования, развития искусств в России, говорилось о жизни художников, о творчестве. Съезд длился девять дней и закончился 1 мая большим концертом, где исполнялись опера Аренского «Рафаэль», «Камаринская» Глинки, увертюра Чайковского «1812 год», а заканчивался концерт «Апофеозом», где Савва Иванович Мамонтов отвечал за «Пролог», в котором роль скульптора играл Станиславский, а монолог читала Мария Николаевна Ермолова.

В дни съезда «имени Третьякова» в Москве открылась XXII Передвижная выставка, и впервые на выставке не было Павла Михайловича. Можно сбежать от почитателей, но нельзя скрыться от славы. Съезд назвал собрание Третьякова «Первой национальной галереей».

Последнее слово Первого съезда художников было сказано Николаем Николаевичем Ге. В нем отразились новые веяния. «Мы, небольшая группа людей, любивших искусство, искали друг друга, работали, сплотились, разносили искусство, насколько могли, по всей России, сделали ту перемену во взглядах, в которую далее наши братья внесли новые взгляды, стали искать новые идеалы...»

Эта речь об идеалах была завещанием старейшего передвижника. Он умер ровно через месяц, 1 июня 1894 года. Репин на съезде не был, и Врубель не был. Репин уехал в Париж, а Врубель сопровождал по Италии Сергея Мамонтова.

Искусство для Саввы Ивановича Мамонтова — радость, отдых, счастье, но у него была работа. Жестокий труд промышленника, не только владеющего миллионами, но постоянно пускающего эти миллионы в соиздание, в дело, которому нет конца. В начале 1894 года Мамонтов подал министру финансов Сергею Юлиевичу Витте записку о богатстве Русского Севера, предлагая оживить эти мертвые сокровища единственно доступным образом — провести через нехоженые дебри, через леса и болота железную дорогу. Эту дорогу Савва Иванович брался построить за три с половиной года. Витте был внимательным чиновником. Карьеру сделал головокружительную. Начав службу на Одесской железной дороге начальником движения, он вырос в директора Департамента железнодорожных дел, пробыл на этом посту три года, был назначен министром путей сообщения, а через несколько месяцев, в конце 1892 года, получил наиважнейший государственный пост — министра финансов. Уже через несколько месяцев после этого назначения хозяин и редактор «Нового времени» Алексей Сергеевич Суворин в январе 1893 года записал в дневнике: «Витте стал неузнаваем. Когда делают доклад, он смотрит вверх, точно мечтает о вещах не от мира сего или о величии своего призвания. Когда говорят с ним — почти не отвечает. Царю, говорят, нравится его авторитетная манера... Кривошеин (Аполлон Константинович

— министр путей сообщения. — В. Б.) от себя сделал доклад о том, чтобы вывозить рельсы и вагоны из-за границы, чтобы заставить горных заводчиков понизить цены, но говорят, что его побудил к этому Витте. Витте же сказал против него речь, разбив его доводы: правительство 140 миллионов употребило на заказы с целью поднятия этого производства, были два специальных распоряжения государя, чтобы отнюдь не заказывать за границей... Теории Витте оригинальны, но он не хорошо рассчитывает и хочет рубить сплеча. Петра Вл. Антоновича содержали еврейские банкиры. На Жуковского (управляющий государственного банка. — В. Б.) Витте смотрит свысока и хочет сделать директором банка Антоновича, но он просит 100 тысяч рублей жалованья. Витте, когда был в Киеве, субсидировал Антоновича, который защищал юго-западные дороги». И так, финансами России заправлял человек большого ума и больших скрытых связей с международным капиталом, с богатейшими еврейскими домами Европы, друг главы дома Ротшильдов Альфонса и президента Франции Лубэ. Через много лет, в 1907 году Суворин записал в дневнике: «Граф Витте давно занимается экспроприацией. Он делал конверсии, девальвацию, винную монополию».

Думается, мы до сих пор не знаем всю правду о Витте, о его связях и о его тайной службе. Многие, прочитав «Воспоминания» Витте, до сих пор принимают его за благодетеля России. Савве Ивановичу Мамонтову этот царедворец, чиновник новой формации, ответчик за будущее государства, доверенное лицо Александра III казался светочем. Витте тоже заметил Мамонтова, Мамонтов был ему нужен. В ответ на «записку» Сергей Юлиевич пригласил Савву Ивановича совершить почти фантастическое по тем временам турне по Северу. Таким образом, мысль о скорейшем преобразовании Севера становилась мыслью, желанием Витте, который собирал вокруг себя достойных исполнителей своих замыслов.

Уже 10 июня Савва Иванович писал своему младшему сыну Всеволоду, которого он провёл в Директора Правления Московско-Ярославско-Вологодско-Архангельской железной дороги: «Дорогой Вока! Я вернулся из Петербурга вчера. Дело по Северной дороге кончено и нами подписано. Теперь, благословясь, будем приступать к нему. Я еду завтра вечером в Ярославль, где в воскресенье прибудет Витте и в воскресенье же вечером мы выедем в Вологду... Беру с собой в качестве секретаря Голубева. Вернусь, вероятно, через две недели. Тебе поручается вся канцелярия и все делопроизводство по строительному отделу, т. е. все будет проходить через твои руки и ты должен быть больше всех в курсе дела. Я очень счастлив, что могу так деловито и ответственно поставить

тебя. Благодаря этому ты сразу станешь нужным серьезным человеком при живом и крупном деле. От тебя уж будет зависеть влезть в хомут и пойти солидным ходом. Вознаграждение тебе будет назначено солидное, какое следует самостоятельному человеку. От Сергея опять нет известий... Еду сейчас на свадьбу Третьяковых».

Мистическая закономерность семейства Мамонтовых! Дело отца наследует третий сын. Недоверие Ивана Федоровича Мамонтова к старшему сыну Анатолию было вызвано непослушанием последнего, женитьбой на певице. Старший сын Саввы Ивановича Сергей — гусар-поэт — оказался человеком легкомысленным. Получив офицерский чин, служил недолго, вышел в отставку по болезни, уехал в Рим, где и женился на маркизе Виктории да Пассано. У маркизы был титул, но не было средств. Жил Сергей Саввич на акции железных дорог, писал стихи, пьесы, дружил с художниками. Пьесы его шли в московских театрах, в издательстве дядюшки Анатолия Ивановича напечатал в 1902 году солидный сборник своих стихов и прозы «Были и сны».

Второй сын Ивана Федоровича был больным человеком, второй сын Саввы Ивановича умер молодым.

Помощником отца в многотрудных делах стал третий сын — Вока впрягся в отцовскую лямку.

О путешествии по Северу, которое совершил Витте, с большой свитой, с деловыми людьми, с репортерами и художниками, лучше всего проследить по письмам Саввы Ивановича. Письма адресованы Елизавете Григорьевне.

«14 июня 94 года 6 ч. вечера. Дорогая мама! Пользуюсь случаем послать вам весть о себе — через два часа Устюг Великий, где можно сдать письмо на почту. Едем со вчерашнего утра на пароходе. В Вологде было приготовлено два казенных парохода. На одном расположился министр, а на другом в числе простых смертных дали мне хорошую каюту, куда я и перебрался с моим багажом, секретарем... поваром, лакеем и массой провизии. (В этой поездке был еще племянник Саввы Ивановича — Платон. — В. Б.). За четверть часа до отхода министр, узнав, что я расположился на другом пароходе, пожелал перетянуть меня к себе. Я наскоро схватил вещи и очутился в обществе министра, Романова (директора канцелярии), Вологодского губернатора, Кази (капитана I ранга, директор Балтийского завода. — В. Б.) и еще двух капитанов. Кроме того корреспондент „Нового времени“ (Евгений Львов). Кроме министра и Романова все помещаются в общей каюте. Обед, завтрак, чай — все общее. Разговоров много, хорошо, просто, умно, серьезно... порядком-таки

утомительно. Казн не умолкает. Река Сухона довольно красива, но однообразна, зато воздух превосходный. К вечеру стали кусать жестоко комары, но я догадался взять с собой чистого дегтя, и все наслаждались... Ночью были в Тотьме. Выходили жители встречать министра, но не видели, все спали... Я очень жалею, что Вока не со мною. Для него это была бы не поездка, а второе крещение... В Архангельске пробудем два дня, потом в Соловки, откуда я прощусь и выеду в Сумской посад на Кемьском заливе, оттуда на лошадях на Повенец, Петрозаводск и Петербург... В Тотьме Витте получил телеграмму об убийстве Карно». (Президент Франции был смертельно ранен итальянским анархистом. — В. Б.)

«Четверг 16 июня 1894. 1 час дня, сто верст до Архангельска. Вчера принялись меня уговаривать ехать в кружной путь с министром, т. е. на Мурман и кругом Норвегии. Из Москвы я выехал с твердым намерением возвратиться вспять из Архангельска, т. к. не рассчитывал на впечатление, которое сделал на меня Север. Теперь это путешествие улыбнулось мне, и я на приглашение Витте согласился... Надеюсь, что, кроме большого удовольствия видеть далекий Север, я вынесу из поездки такую пользу, которая может отразиться благоприятно и на наших детях. Возвращаюсь опять к характеристике Витте. Прежде в министрах я ранее делового и умного человека всегда видел царедворца и высоко чиновную особу, а теперь совсем иное. Витте отлично умеет себя держать и министр сразу виден, но в то же время чувствуешь сразу и ум и дело — и постоянная реальная забота. О нем говорят, что он все делает слишком бойко и скоро может напутать. Это неправда. Голова его постоянно свежа и работает без усталости, а потому и решение скорое и обдуманное до мелочей. На пустяки и пустословие у него нет времени, чего про других царедворцев сказать нельзя. Витте очень правдив и резок, и это в нем чрезвычайно привлекательно.

Море, говорят, до Мурманска будет бурное и затем не хуже речной тишины... Двина, вероятно, шире Волги и уж очень красива. Будь, например, Коровин работающий человек, он бы в одну летнюю поездку сделался бы знаменитостью, он плакал бы от восторга, смотря на эти чудные светлые тона, на этих берендеев. Какая страшная ошибка искать французских тонов, когда здесь такая прелесть... Я никому больше не пишу, а потому прошу вызвать Арцыбушева или Чоколова и прочесть им. В Архангельске министр поедет сам осматривать место подхода железной дороги к городу — толков об этом много дорогой. В Котласе (место, где должна проектироваться Пермско-Котласская дорога) мы выходили на берег. Место пустынное и на берегу унылый погост, около которого

несколько покосившихся домов. Посещение было очень картинное и впечатлительное. Хорошо, если бы я мог все описать — ценный материал для истории развития экономической жизни России».

«Архангельск 17 июня 94 г.

...Архангельск чистый, дельный, трезвый город. Приняли нас здесь очень хорошо и радушно. Вероятно, вы там уже все прочли в газетах... Близость моря и общения с иностранным миром чувствуется, иностранцев коммерсантов много, и они, видимо, вносят во всё порядливость и некоторую отчужденность. Народ коренной русский здесь превосходен, встречаются превосходные трогательные экземпляры. Есть самоеды — они возбуждают отвращение.

Витте, как и следовало ожидать, совершает победу за победой. Это ходячий ум, знание и постоянная рассудочная работа — просто завидно смотреть на такой роскошный экземпляр. Это настолько умный и дельный человек, что ему нет надобности хитрить или скрывать свои мысли. Как что видит, так и говорит в упор. Сегодня город давал ему обед, утром же он делал прием, говорил и там и здесь и все умнее умного. Губернатор здесь умный человек, а архиерей (45 лет) прельстил меня своей жизненностью и простотой... Тебе с девочками надо непременно собраться сюда как-нибудь и именно проехать по Двине — вы вернетесь более русскими, чем когда-либо... Какие чудные деревянные церкви встречаются на Двине. Далее еду на прекрасном пароходе „Ломоносов“ в Соловки и далее. Всего пробудем на море 16 дней. Фотографирую и, вероятно, будут недурные иллюстрации к моим рассказам. Ну, а если погибну, не поминайте лихом и знайте все, что я вас всех очень любил. Твой С. Мамонтов.

С нами едет художник Борисов делать этюды, юноша только кончил Академию... Кругом масса воды, куда ни взглянешь, все реки и даль... Везде масса рыбы и пахнет треской. Сначала маленько странно, а потом хорошо! На Крайнем Севере солнце совсем не заходит, буду фотографировать в 12 часов ночи и зажигательным стеклом закуривать папиросы... На Двине есть город Красноборск. Жаль не остановились, ибо это наверно была столица царя Берендея...»

Витте не только очаровал Савву Ивановича, но и подал ему большие надежды на сотрудничество. Недаром Савва Иванович заговорил в письме о пользе встречи, о том, что она отразится на детях. И действительно, отразилась, через пять лет. Но знал бы он тогда — как!..

Строительство дороги на Архангельск было делом грандиозным, но и рискованным. Объем работ предстоял чудовищный, трудности почти непреодолимые. Однако все эти препятствия и сверхсложные задачи,

которые ставила перед путейцами Северная земля, только обостряли ум, находчивость, дерзость русских инженеров, сметку десятников и рабочих. Дело еще только разворачивалось, а Савва Иванович уже думал об эксплуатации дороги, о ее эстетике.

3

Савва Иванович пил чай с морошкой, один.

— Медведь сдох! — воскликнул в удивлении Антон Серов, останавливаясь в дверях.

— Какой медведь? — не понял Савва Иванович.

— Наверное, тот, что эту морошку лопал. Никогда не видел вас в одиночестве.

— Все в Абрамцеве, а я приехал в Москву, чтоб тебя повидать. Расскажи, как прошли торжества в Борках, твои торжества.

Савва Иванович налил гостю чаю, придвинул туюсок с морошкой.

Антон виновато улыбнулся:

— Волновался и потел, как мышь перед кошкой. Врожденное холопство. Вся бравада слетела. И это при том, что я своими глазами видел, какие это люди.

— И что же это за люди?

— Машины, заведенные до отказа машины.

— Ты, Антон, давай по порядку. Не каждый день с царями беседуем.

Борки стали знамениты катастрофой царского поезда в 1888 году. Поезд сошел с рельсов, упал под насыпь, и несколько человек были изувечены, среди них знаменитая впоследствии Вырубова. Царя и его семью хранил Бог: сдвинулись стены вагона, удержали крышу, и никто из их величеств и высочеств не пострадал. Говорили, правда, что от беды спас семейство сам царь Александр, удержал крышу на своей могучей спине, потому никого и не ушибло. Может, было и то и другое, сначала помогли стены, потом сила царя: он действительно гнул пальцами медные пятаки.

Катастрофа в Борках оказалась счастливой не только для царского, спасшегося от гибели семейства, но и для Витте. За несколько месяцев до катастрофы Сергей Юлиевич ехал в царском поезде от Ровно до Фастова. Поезд шел с очень большой скоростью, и Витте представил министру путей сообщения адмиралу Посъету доклад, требуя замедлить движение на целых три часа. Доказательства Витте были следующие: погонный фут русских рельсов весит 22–24 фунта против 28–30 заграничных, шпалы на

дорогах России деревянные, за границей — металлические, балласт песочный, за границей — щебенка.

Расписание изменили, но Александр III был очень рассержен, он сказал Витте:

— Я на других дорогах езжу, и никто мне не уменьшает скорость, а на вашей дороге нельзя ехать просто потому, что ваша дорога жидовская. (Дорогу строил И. С. Блюх. — В. Б.)

Такое же недовольство высказал и министр Посьет. Ему Витте ответил, и царь этот ответ слышал.

— Знаете, ваше высокопревосходительство, — сказал Сергей Юлиевич, — пускай другие делают, что хотят, а я государю голову ломать не буду, потому что кончится это тем, что вы такой ездой государю голову ломаете.

Витте как в воду глядел.

На обратном пути из Ялты царский поезд, весьма тяжелый, ведомый двумя товарными паровозами, выбил рельс возле станции Борки.

Теперь, в 1894 году, в этом городке Харьковской губернии освящали церковь и часовню, построенные во спасение семьи государя. Серову был заказан групповой портрет «Александр III с семьей».

— Картину мою поставили в павильоне, возле церкви, где для их величеств и высочеств был устроен чай, — рассказывал Антон Савва Ивановичу. — Заправлял приемом харьковский предводитель дворянства граф Капнист. Он звал меня быть у картины, когда святое семейство изволят осмотреть ее. А я не пошел.

— Но отчего?! — воскликнул Савва Иванович.

— Не знаю. Струсил, должно быть... Когда меня позвали, государь сказал: «Кажется, она еще не совсем кончена». И я опять не нашелся, сказал, как щенок: «Да, не совсем». Тут подскочил Капнист, представил меня, а царь говорит: «Мы давно знакомы». Потом подошли Ксения и Михаил, а я, бедный, не знаю, как быть: кланяться — не кланяться. Поклонился слегка. Ксения тоже в ответ поклонилась, Михаил руку подал. Тут еще подошел Сергей Александрович, тоже за руку поздоровался. Вот и весь мой фурор. Царица чай пила, ей, видно, неудобно было подойти, а потом сразу началось представление харьковского дворянства. Капнист мне говорил позже: царица посмотрела картину и сказала Ксении: «Папа очень хорош и ты», а Ксения ответила, что на эскизе она лучше. Сам же государь сказал, как вошел: «Михаил совершенно живой, а против перчатки протестую». Наследник и Георгий не понравились... С Победоносцевым познакомился, он картину одобрил, почему-то за исключением Михаила.

Как говорится, успех был, но уж и надоели мне эти Борки.

— Ты засиделся на одном месте, — сказал Савва Иванович. — Не хочешь ли прокатиться, хорошо прокатиться, так что дух будет захватывать?

Смотрел загадочно.

— На Север, что ли? — догадался Антон.

— Костенька уже чемоданы собирает, а ведь вы, как два сапога. Антон, обещаю: вы не только увидите красоту, которая изумительнее детских сновидений, вы станете Колумбами этой красоты... Существует и практическая сторона. Костеньку одного отпускать боязно. Он охотник, человек легкий. Увлечется медведей стрелять — и плакало искусство. Я вашими картинами украшу вокзал. На Серова и Коровина будут ежедневно взирать тысячи зрителей!

— Лескова я написал, царскую семью написал... Еду, Савва Иванович.

— Антон, ты — умный человек! Вам будет с Костенькой и весело, и дружно.

На Серова и Коровина друзья и знакомые художники смотрели с жалостью, предлагали брать винчестеры, патроны, заряженные пулями. Выдумщик Мамонтов посылает добрых людей на съедение белым медведям.

Иные же не одобряли выбор Саввы Ивановича, попыхивали синей завистью.

«Из Вашего письма я узнал, — писал Нестеров Аполлинарию Васнецову, — что Костя Коровин и Серов поехали по поручению С. И. Мамонтова на север в Архангельск, но, по-моему, в выборе художников С. И. оказался не находчивым, что будет делать Костенька, например, в Соловках, как он отпишет природу могучего и прекрасного севера, его необычайных обитателей?! Ведь это не Севилья и не Гренада, где можно отделаться приятной шуткой. Серову же, мне кажется, там будет скучно (как художнику). А впрочем — никто, как Бог!»

Нестеров полагал: на Север должны были ехать он да Аполлинарий. Наверное, претензия законная. Но Савва Иванович не ошибся. Изумленный, сраженный красотой Севера, он хотел подарить его своим любимцам. Костенька и Антон не подвели. И Нестеров покался. «Видел этюды Серова и Коровина, — писал он в Уфу, — в общем они очень красивы, по два же или по три у каждого прямо великолепны. На Соловецкий остров они не попали совсем. Тем лучше для меня и тем хуже для них».

Впрочем, и сам Михаил Васильевич на Соловки не попал, многое ему

было дано, но Севера он так и не увидел.

Коровин, может, и был человеком легкоувлекающимся, непостоянным, но он умел видеть за внешними малозначительными событиями грядущие перемены, он хорошо слушал и услышанное запоминал.

В очерке «На Севере дальнем» есть небольшая зарисовка о селе Шалкуте.

«Деревянная высокая церковь, замечательная. Много куполов, покрыты дранью, как рыбьей чешуей. Размеры церкви гениальны. Она — видение красоты... Трое стариков крестьян учтиво попросили нас зайти в соседний дом. В доме — большие комнаты и самотканые ковры изумительной чистоты. Большие деревянные шкафы в стеклах — это библиотека. Среди старых священных книг я увидел Гончарова, Гоголя, Пушкина, Лескова, Достоевского, Толстого... Я и Серов стали писать у окна небольшие этюды. Нас никто не беспокоил.

— Что за удивление, — сказал Серов. — Это какой-то особенный народ».

Далее рассказано, как старики предложили художникам осмотреть красивые места вокруг села. Повезли их на лодке четыре нарядные девушки.

«Лодка причалила у больших камней, заросших соснами. Девушки вышли на чистую лужайку, расстелили большую скатерть, вынули из корзины тарелки, ножи, вилки, разложили жареную рыбу „хариус“, мед и моченую морошку, налили в стаканы сладкого кваса.

...Я еще узнал, что в селе Шалкуте никто не пьет водки и не курит.

— Село управляется стариками по выбору, — рассказывал местный доктор, — и я не видывал лучших людей, чем здесь. Но жаль, что с проведением дороги здесь все пропадет: исчезнет этот замечательный местный быт... Старики это понимают...

Шалкута, чудесная и прекрасная, что-то случилось теперь с тобой?»

Вопрос был задан сто лет тому назад. И ответ наш горек.

Леса Русского Севера сведены и уничтожены, реки загажены, рыба заражена, зверь выбит. Край стал изобиловать не природными богатствами, а тюрьмами, со своими тюремными законами, с тюремным зодчеством, своей историей.

Ныне тюрем поубыло, но не убыло беды. Добытчики природных богатств разворачивают внутренности земли, заливают нефтью, уродуют радиоактивностью. Все меньше и меньше на этой земле живого и все больше на ней пустыни. Новой пустыни. Мертвой. Постчеловеческой. Вот

она — плата за цивилизацию.

Небывалую по тем временам рекламу Северу и, стало быть, своей Северной железной дороге Мамонтов устроил на знаменитой Всероссийской Нижегородской выставке 1896 года.

Павильон, получивший название «Крайний Север», представлял собою высокий, углом поставленный сарай. Крыша взмывала вверх остро и равнялась самому зданию. Конек венчала как бы летящая по волнам огромная белуха. Коровин в книге о Шаляпине писал: «На днях выставка открывается. Стараюсь создать в просторном павильоне Северного отдела то впечатление, вызвать у зрителя то чувство, которое я испытал там на Севере. Вешаю необделанные меха белых медведей. Ставлю грубые бочки с рыбой. Вешаю кожи тюленей, шерстяные рубашки поморов. Среди морских канатов, снастей — чудовищные шкуры белух, челюсти кита. Самоед Василий, которого я привез с собой, помогает мне, старается, меняет воду в оцинкованном ящике, в котором сидит у нас живой, милейший тюлень, привезенный с Ледовитого океана... Самоед Васья кормит его живой плотвой и сам, потихоньку выпив водки, тоже закусывает живой рыбешкой. Учит тюленя, показывая ему рыбку, кричать „ур...а!“»

Открытие Нижегородской Всероссийской выставки 1896 года входило в программу коронационных торжеств. На престол вступил молодой, светлый лицом, ясноглазый Николай II. Новый царь — новые надежды.

Короновался император в Москве в Успенском соборе 14 мая. 18 мая при раздаче кружек и угощений для народа на Ходынском поле было задавлено 1282 человека. Кружка стоила 10 копеек, гостинцы — 5 копеек. Суворин записал в дневнике: «Если когда можно было сказать: „Цезарь, мертвые тебя приветствуют“, это именно вчера, когда государь явился на народное гулянье. На площади кричали ему „ура“, пели „Боже, царя храни“, а в нескольких сажнях лежали сотнями еще не убранные мертвецы». Зная об ужасной беде, царь не отменил церемониал и веселился в тот скорбный для народа вечер на балу французского посла графа Монтебелло.

28 мая Николай II почтил присутствием Всероссийскую Нижегородскую выставку-ярмарку. Был он и в павильоне «Крайнего Севера». В это время разразилась гроза, поднялся ветер, дождь перешел в град, градом выбило стекла, а тут еще навстречу царю выскочил из чана

тюлень и закричал: «Ур-а!»

Николай пришел в восторг, приказал выдать самоеду Ваське часы и сто рублей, а на острове Новая Земля построить для его соплеменников дома.

Выставка-ярмарка показала государю сундук России. Купеческий богатый сундук.

Нижегородская ярмарка своими истоками уходила в XIII столетие, когда на Арском поле близ Казани устраивались торга. Место оказалось несчастливым, татары однажды соблазнились и ограбили русских купцов. В 1524 году великий князь Московский Василий учредил ярмарку в Васильсурске, в изумительно красивом месте, где Сура сливается с Волгой. Помните «Дубовую рощу» Шишкина? Это в Васильсурске.

В XVII веке ярмарку перенесли в Макарьев монастырь, ближе к Нижнему, к богатым купеческим селам Лысково и Большое Мурашкино.

С 1817 года ярмарку перевели в Нижний Новгород. Военный строитель генерал Бетанкур построил сорок два торговых ряда.

Место выставки 1896 года указали ее главные устроители — Витте и Морозов. Поленов писал жене: «Выставка в высшей степени интересна, но, к сожалению, место для нее выбрано самое бездарное. Россию Бог обидел горными красотами, но что хорошо — это реки. И тут при слиянии двух самых грандиозных русских рек выставку ухитрились поставить так, что об реках и величественном виде помину нет».

Однако посмотреть было чего и без природных красот. Освещалась выставка редким для того времени электричеством. Вокруг выставки была проложена железная дорога, по которой ходил электропоезд. Зрителей ожидали в 120 павильонах. Особым вниманием пользовались отделы императорский, Сибирский, Среднеазиатский, построенный в мавританском стиле, Крайнего Севера (Московско-Ярославско-Архангельской ж. д). Привлекал павильон братьев Нобиль с панорамой бакинских заводов и промыслов. За 129 дней работы выставки ее посетили 991 033 человека. Кстати, для учащихся и рабочих проезд на Нижегородскую выставку предоставлялся бесплатный.

Был на выставке еще один замечательный павильон — художественный. Витте поручил Савве Ивановичу Мамонтову отобрать картины для показа и прежде всего представить личную коллекцию картин.

Савва Иванович не только откликнулся на просьбу, но и воспылил фантазиями. Ему сразу бросилось в глаза, что большие пространства под крышей павильона будут зиять пустотой. Он тотчас заказал Врубелю два огромных панно, которые скрыли бы нерабочее пространство.

Врубель сделал эскизы очень смелые, непривычные — «Встреча

Вольги с Микулой Селяниновичем» и «Принцесса Грёза». Мамонтову эскизы понравились, но он предпочел не предоставлять их на утверждение уполномоченному Академии Художеств Альберту Николаевичу Бенуа. Написать свои панно Врубель не смог. Его выручил Polenov. Василий Дмитриевич взялся за дело как простой исполнитель и нисколько не жалел об этом. Панно писал в кабинете Мамонтова. Врубель приходил, смотрел, он был благодарен Василию Дмитриевичу до слез. Сам из последних сил писал панно для дома Морозова «Маргарита и Мефистофель».

Бенуа, получив, наконец, «Принцессу» и «Богатырей», пришел в ужас, он докладывал в Петербург: «Панно Врубеля чудовищны». Прибыла комиссия академиков, воззрилась в недоумении и «сочла невозможным оставить эти панно... в зале художественного отдела».

Заступничество Витте, ссылка на мнение государя, что надо собрать повторную комиссию, куда вошли бы Васнецов и Polenov, не помогли. Президент Академии Художеств великий князь Владимир Александрович ходатайство отклонил. Непокорный, ценящий свой вкус Савва Иванович вознегодовал и построил на свои деньги специально для двух панно павильон.

Врубель рассказал о всех этих треволнениях в письме к любимой сестрице Анне: «В материальном отношении (Мамонтов купил у меня эти вещи за 5000 руб) этот инцидент кончился для меня благополучно... Выберусь за границу к Надежде Ивановне (Забела. — В. Б.) не раньше конца июня.

Свадьба не раньше 30-го. Конечно, из 5 тысяч мне осталось получить только 1 тыс, из которой, получив 500, триста послал Наде и 100 Лиле (сестра, оперная певица. — В. Б.), и этим я совершенно утешен в этом фиаско».

Кстати говоря, по дороге в Швейцарию, к месту своей свадьбы, Врубель остался совершенно без денег. Какую-то часть пути, видимо, в самой уже Швейцарии, ему пришлось пройти пешком.

«Принцессу Грёзу» впоследствии перевели в гончарной мастерской на Бутырках на глазурованные плиты и водрузили на гостинице «Метрополь».

Сотрудничество с Витте на Всероссийской Нижегородской выставке, изумляющий оригинальностью павильон «Крайний Север», скандальный павильон «Принцессы Грёзы», спектакли Частной оперы в местном театре сделали имя Мамонтова знаменитым на всю страну.

Первого января 1897 года Витте писал Савве Ивановичу: «Государь Император по засвидетельствованию моему об отлично-усердной и полезной деятельности Вашей, Всемиловнейше соизволили в 1 день

января сего года пожаловать Вам орден Св. Владимира 4 степени».

Кстати говоря, еще через год коммерции советнику Савве Мамонтову была пожалована серебряная медаль для ношения в петлице на Андреевской ленте, учрежденная в память Священного Коронования Государя Императора Николая II.

Обе награды праздничные. А вот за работу свою, за дело поистине великое награда Савве Ивановичу была совсем иная.

Как строил дороги Мамонтов? Это тоже надо знать.

Путь на Архангельск — первый в мире опыт железнодорожного строительства на Крайнем Севере. Мамонтов продемонстрировал человечеству возможности русской инженерной мысли и практики. Молниеносная работа, где поле деятельности — шестьсот экстремальных верст, не только поражала, но, возможно, и ужасала недоброжелателей России. Своих завистников у Мамонтова тоже было множество. Не нравилось, как живет, с кем дружит. Да еще этот театр! Сам певун! Пьески сочиняет, лепит из глины знакомых. Не деловой, пустой человек!

О самом Архангельском железном пути писали много дурного. Корреспондент суворинского «Нового времени» нашел массу недостатков, мелочных, заслоняющих громадность дела. Писал о показухе. Для работ, дескать, используется старенький малосильный пароходик «Чижев», а начальство возит комфортабельный мощный пароход «Москва». Кашеваров одевают с иголки, когда высокие чины появляются, в обычные дни все ходят в рвани, драни. Жить в домах, построенных вдоль дороги, невозможно, в них даже печей нет. Это на Севере-то!

Статья появилась 12 июня 1897 года. 25 июня «Новое время» предоставило полосы для ответа. Ответ корреспонденту дал инженер Николай Георгиевич Гарин. Он же писатель Гарин-Михайловский, автор знаменитой книги «Детство Темы». «В техническом отношении поездка представляла для меня двоякий интерес, — писал Гарин в статье „По поводу Архангельской дороги“, — с точки зрения проектировки излюбленного моего детища — узкой колеи и в отношении исполнения работ на Крайнем Севере без всякого населения с такими препятствиями, как тундра, непроходимые леса, болота и прочее».

Пусть читатель внимательно проследит за мыслью выдающегося инженера, который строил дороги в Сибири, знал по себе, почему фунт лиха.

«В технике, как и в литературе, — утверждал Николай Георгиевич, — существует идейная и безыдейная работа... Какая идея Архангельской дороги? Очень большая. Ее колея — полсажени — уже широкой. Следовательно, Архангельская дорога из сорта узкоколейных железных дорог. При сравнении узкой и широкой колеи главным недостатком узкой признается сравнительно малая провозоспособность. Этого нет на Архангельской ж.д.; ее паровозы 48-тонные, т. е. такие же, как и на широкой колее, ее вагоны поднимают такие же 750 пудов, скорость 50 верст в час, и поезда Архангельской дороги, благодаря уклонам не свыше восьмитысячного, длиннее многих поездов ширококолейных дорог. В то же время рельсы Архангельской дороги всего 13 фунтов, а на широкой колее для 48-тонного паровоза требуются 24-фунтовые рельсы, или на версту дороги лишние 2 тысячи пудов рельс. Прибавьте к этому тот факт, что вагон архангельский, поднимающий те же 750 пудов, в то же время легче ширококолейного вагона на 150 пудов, или, другими словами, архангельский паровоз на 20 процентов везет больше продуктивного (не мертвого) оплачиваемого груза и решите тогда вопрос, где выгоднее использовать материал и какое сбережение при таком использовании получилось бы на всю нашу ширококолейную сеть в 40 тысяч верст выстроенных и 200 тысяч верст нам необходимых?»

Для Гарина-Михайловского проблемы экологии не имели первостепенного значения. Север был царством Природы. А мы должны шапку скинуть перед Мамонтовым за его экономически выгодный, узкий путь, сохранявший жизнь на полосе в аршин, да протяженностью в шестьсот верст. Сколько трав, мхов, лишайников, сколько невидимых глазу существ не умерщвлено жестокой человеческой деятельностью.

Далее Гарин-Михайловский писал: «Переходя к деталям проектировки, нельзя не указать на прекрасные гражданские постройки (вопреки корреспонденции, они не покосились, а все до последней стоят прекрасно прямо и высокохудожественно архитектурные). Я — враг всякой роскоши, но здесь, на дальнем Севере, где цинга и тундра, где никаких радостей жизни нет, хорошее жилье — неизбежная, необходимая приманка для хорошего персонала. Зато в мостах и трубах вместо дорогой облицовки простые цементные бетоны. Это удешевляет на 50–60 процентов стоимость работ и по прочности также отвечает своим целям, как и самая роскошная облицовка...

Передвижение стрелок — механическое, и их передвигает не стрелочник, а сам начальник станции в комнатке, помещенной рядом с его кабинетом. К этим стрелкам я бы приспособил только и механические

запоры».

Инженер Гарин не просто доволен увиденным, он в восторге от постановки труда и дела. Так, «контора по всей линии организовала 6 пунктов перевоза земли вагонами, а не тачками». Здесь тоже экономия: денег, труда, времени. Рабочий с тачкой стоит дороже, людей надо много, а работать они могут в условиях Крайнего Севера наполовину меньше, чем в средней полосе, с середины августа дожди превращают землю в вязкую жижу. Так что возить грунт вагонами выгоднее.

«Но эти паровозы, вагоны, рельсы, — восклицает Гарин, — надо было протащить сквозь дебри и чащобы на лошадях на протяжении шестисотверстной линии! Это целая эпопея. Я видел фотографии: сто лошадей и триста людей везут со скоростью двух и менее верст в час такой паровоз. Это стоило громадных денег, но без такой организации дорога строилась бы не в три года, а в шесть».

Гарин ничуть не приукрашивал действительность. «В 1-ый год рабочие сбежали», — сообщал он читателям, но ведь это тоже похвала администрации. Значит, дорога строилась не три года, а практически только два. И в каких условиях! На каком фунте!

«Почва какая-то помойная яма земного шара, — удивлялся Николай Георгиевич. — Готовая насыпь садится, исчезает». Поисковики землю и бурят, и зондируют, но провалы сразу обнаружить не всегда удается, провалов — десятки. Этим заканчивается первая часть статьи. Продолжение газета напечатала через номер, 27 июня. Николай Георгиевич рассказал, какие работы еще предстоят строителям: «Срок дороги до 1 января 1898 года. Строители же хотят сдать ее в эксплуатацию уже в октябре 1897 года». Гарин убежден: такие сроки реальны. «На линии до 8 тысяч землекопов... Через месяц земляные работы будут окончены... Забалластировать осталось половину, т. е. 300 верст или 30 тыс. кубов — это полмесяца работы. Мосты, гражданские сооружения готовы. Меньше 10 процентов неуложенного еще пути (всего 600 верст, неуложенных 55). Подвижной состав готов. Что же остается? Штукатурка? Раньше двух лет нельзя штукатурить. Какая-нибудь недоделанная печь? В Америке не только без печей, но и без домов открывают движение».

Не правда ли, замечательное место? Совсем недавно, ругая себя, мы всегда кивали на Америку, на образец организации труда, на заботу хозяев о человеке. Оказывается, Америка у России училась, мы свое хорошее попросту успели забыть.

Не удержался Гарин и от поэтических картин: «Я видел совершенно новые для меня страны, видел этот север — таинственный; тихий и белый:

зимой белый снег, летом белые ночи, белое море, белые медведи, белухи, белые чайки, под лучами солнца белая, серебром отливающая холодная Сев. Двина: то темным опсидановым, то белым ярким. Какая-то ласка и скрытый ужас».

Для инженера и писателя Гарина-Михайловского Север — страна неведомая. Кстати сказать, Коровин, дававший пояснения в павильоне «Московско-Ярославско-Архангельской дороги» чиновникам самого высокого ранга, был поражен: эти люди, власть империи, «ничего не знают об огромной области России», называемой Крайний Север. Так что Мамонтов и впрямь был Колумбом земли великого безмолвия. Он закончил строительство, как и обещал, осенью 1897 года. Дорога была бездоходная, а вложил Савва Иванович в строительство огромные деньги, и пайщиков, и свои. Современники, однако, понимали значение для России этой не очень пока нужной железной дороги. Профессор И. В. Цветаев, отец поэтессы Марины Цветаевой, основатель Музея изящных искусств, который москвичи называют Пушкинский музей на Волхонке, писал Савве Ивановичу 21 ноября 1897 года: «Узнавши из газет о Вашем возвращении из Архангельска, спешу приветствовать Вас с завершением великого исторического дела, с которым отныне будет навсегда связано Ваше имя. Все грядущие счастливые судьбы нашего Европейского севера будут напоминать о той титанической смелости и энергии, которую Вы с истинной отвагой Русского человека положили на этот доселе немыслимый для других подвиг».

Цветаев благодарил Савву Ивановича за согласие быть среди членов-учредителей Комитета по устройству музея. В этот Комитет входили, кроме великого князя Сергея Александровича, знаменитый богач, гофмейстер Ю. С. Нечаев-Манцов, Лазарь Самуилович Поляков, Алексей Викулович Морозов, князь Юсупов, Поленов... Но присутствие в Комитете Мамонтова Цветаеву было дорого. Он пишет: «Из профессоров и художников мечтаем приобрести еще А. В. Прахова, Васнецова и кого Вы укажете».

Так что когда приходите на очередную изумительную выставку на Волхонке, помните: музей создан на пожертвования богачей, и деньги Мамонтова здесь тоже потрудились во славу искусства.

Любопытно еще одно место в цитируемом письме. Профессор торопился с приглашением Саввы Ивановича к активной работе по устройству музея, боялся, как бы его не увлекло, не завертело новое дело. А такое дело у Саввы Ивановича уже было на примете.

Сотворение Шаляпина

1

Второе открытие Частной оперы состоялось 14 мая 1896 года в Нижегородском Деревянном оперном театре. В честь Дома Романовых, в день коронации императора Николая II давали «Жизнь за царя». Мамонтов свое причастие к труппе снова скрыл. Этот второй, возрожденный театр принадлежал Клавдии Спиридоновне Винтер, старшей сестре Татьяны Любатович. Сестер в этом семействе было несколько: Тамара была певицей, тоже оперной, Ольга — революционерка, участница «Земли и Воли».

Решив открывать оперу, Мамонтов собрал актеров Частной оперы, которые, объединясь с новобранцами, в 1894 году совершили длительное турне по городам Сибири, Урала, Кавказа. Кстати, среди певиц в этих гастроях видное место занимала сестра Врубеля Елизавета. Михаил Александрович сообщал о ее успехах другой сестре, Анне: «Во все время путешествия бисировались только две вещи: ария Зибеля с цветами и песня Ольги из „Русалки“. Последняя бисируется постоянно, так что Лиля может быть довольна». Зимой театр давал спектакли в театре Шелапутина.

Племянник Мамонтова, Платон Николаевич, рассказывает в неизданных записках, что, приехав в Петербург, Савва Иванович пошел в Панаевский театр послушать П. А. Лодия, который раньше пел в Частной опере. Шел «Демон». Лодий исполнял заглавную роль, но Савва Иванович был разочарован. Зато ему понравился молодой певец Шаляпин в партии Гудала. О нем сказал: «Слабо развиты верха. Пускай пока привыкает к сцене годика два».

Антрепризу нового своего театра Мамонтов поручил Клавдии Спиридоновне Винтер. Спектакли давали в помещении Панаевского театра. Савва Иванович до поры наблюдал за деятельностью труппы со стороны, но не утерпел и взялся поставить оперу Гумпердинка «Гензель и Гретель». Партию Гензеля исполняла Татьяна Спиридоновна Любатович, партию Гретель — Надежда Ивановна Забела.

«На одной из репетиций, — вспоминала Надежда Ивановна, — еще первоначальных, утренних, я во время перерыва (помню стояла за кулисой) была поражена и даже несколько шокирована тем, что какой-то господин

подбежал ко мне и, целуя мою руку, воскликнул: „Прелестный голос!“ Стоявшая здесь Т. С. Любатович поспешила мне представить: „Наш художник Михаил Александрович Врубель“. И в стороне мне сказала: „Человек очень экспансивный, но вполне порядочный“. Оказалось, что Коровин, который писал декорации, серьезно заболел, и заканчивать их приехал Врубель».

Таковы людские судьбы. Служение Мамонтова Любатович возродило в нем тягу к опере. В поисках новых ролей для Татьяны Спиридоновны ему попала опера Гумпердинка. Случайно заболел Коровин, но совсем неслучайно встретились Врубель и Забела. С этой поры работа в театре стала для Врубеля не заработком, но смыслом жизни, проявлением любви.

Оперная певица Мария Андреевна Дулова не раз была соседкой Михаила Александровича по театральному креслу в третьем ряду, наблюдала, как он слушал свою Надежду, как служил ее искусству. «Он ее обожал! — рассказывает Дулова. — Как только кончался акт, после вызовов артистов М. А. спешил за кулисы и, как самая тщательная костюмерша, был точен во всех деталях предстоящего костюма к следующему акту, и так — до конца оперы... М. А. всегда собственноручно одевал Н. И. с чулка до головного убора, для чего приходил в театр вместе с Н. И. за два часа... до начала спектакля».

Голос Забелы, манера ее игры, изящная, проникновенная, подкупили Мамонтова. Видимо, и Любатович она пришлась по душе, Врубель, кстати, написал их парный портрет в опере «Гензель и Гретель».

Труппа для Нижнего Новгорода подбиралась интересная. Решили начать гастроль четыремя спектаклями. В «Аиде» пел Секар-Рожанский, в «Демоне» — Цветкова, в «Фаусте» и «Жизни за царя» — Шаляпин. А кто такой Шаляпин, в те поры понимал разве что Третий Иванович Филиппов, государственный контролер, собиратель русских народных песен. 4 января 1895 года в доме Филиппова на певческом вечере выступил Шаляпин. Этот день и есть начало Большого Шаляпина. По протекции Третья Иванова Шаляпин уже 1 февраля подписал контракт с дирекцией Императорского Мариинского оперного театра.

Пригласил Шаляпина петь в Нижнем Новгороде летом, в межсезонье, И. Я. Соколов, он вместе с женой Нумой-Соколовой, Малининым и Бедлевиным уже подписал контракт.

В Мариинском театре Шаляпину поручили на лето разучить всего одну партию Олоферна, в «Юдифи», а это означало: петь придется, как и в минувшем сезоне, редко. Родную Волгу Федор Иванович любил, но выше Казани бывать ему еще не приходилось. Сел и поехал. Условия контракта

хорошие, от роду двадцать три года, в новом городе побывать одно удовольствие, да и по славе заскучал в Мариинском вельможном театре, по милой провинции, где публика на восторги щедра. Без гордыни тоже не обошлось: с Волги уехал без гроша, радуясь, что в хор петь берут, а возвращался — артистом Императорских театров. Правда, писать об этом в афише запрещалось, таковы условия дирекции. Но что афиша! Есть молва — друг артиста.

«Снял я себе комнатку у какой-то старухи на Ковалихе и сейчас же отправился смотреть театр, только что отстроенный, новенький и чистый», — напишет Шаляпин в книге «Страницы из моей жизни».

О первой встрече с Саввой Ивановичем и заодно с Коровиным в этой книге так рассказано: «Однажды, придя на обед к Винтер, я увидел за столом плотного коренастого человека, с какой-то особенно памятной монгольской головою, с живыми глазами, энергичного в движениях. Это был Мамонтов. Он посмотрел на меня строго и, ничего не сказав мне, продолжал беседу с молодым человеком, украшенным бородкой Генриха IV. Это — К. А. Коровин».

Коровин же в своих воспоминаниях поведал три или четыре совершенно разные истории о своей первой встрече с великим певцом, о первой встрече Шаляпина и Мамонтова.

Тяга Саввы Ивановича к итальянскому проявилась в нижегородских гастролях. Доверив оперу русским исполнителям, он все-таки подстраховался приглашением итальянского балета. Лучшей танцовщицей в труппе, так казалось влюбленному Шаляпину, была Иола Торнаги. М. Копшицер сообщает, что однажды на репетиции «Евгения Онегина» Федор Иванович пропел:

«Онегин, я клянусь на шпаге,
Безумно я люблю Торнаги».

Актриса по-русски не понимала ни единого слова. Савва Иванович сам перевел ей эту арию:

— Поздравляю, Иолочка! Феденька объясняется вам в любви.
Эта ария Савве Ивановичу очень и очень понравилась.

У гастролера няnek не бывает. Хочешь иметь успех — пой, как серафим, но откуда берется твой голос, от Бога, от усердных занятий, — это личное твое дело.

В Частной опере подход к исполнителям был иной. Шаляпин это не сразу увидел и оценил не сразу.

Савва Иванович на прогонной репетиции оперы «Жизнь за царя», после первой картины громко сказал из зала:

— Федор Иванович, ведь Сусанин не был боярином.

Реплика певцу не понравилась, актеры люди самолюбивые, но это было единственное замечание, высказанное громко, прилюдно. Оно и стало началом его плодотворной учебы у Мамонтова.

На премьерe ложи сверкали орденами. Присутствовал Витте, губернатор, чиновные устроители выставки.

Арию «Чуют правду» Шаляпин исполнил с такой силой, что зал взорвался аплодисментами. А именинником стал Мамонтов. К нему в ложу пришел Витте, благодарил за нежданную находку. Между актами пригласили Шаляпина — поглядеть на диво вблизи, изумились его молодости.

На следующий день газета «Волгарь» писала: «Из исполнителей мы отметим г. Шаляпина, обширный по диапазону бас которого звучит хорошо, хотя и не особенно сильно в драматических местах. Играет артист недурно, хотя хотелось бы поменьше величавости и напыщенности». (Помните реплику Саввы Ивановича?)

17 мая Шаляпин пел партию Гудала в «Демоне», 18-го — Мефистофеля в «Фаусте» и получил от Мамонтова еще один урок. На этот раз молчаливый, но выразительный.

«Прямо не верилось, смотря на Мефистофеля, — писал рецензент „Волгаря“, — что это тот самый г. Шаляпин, который пел Сусанина. Куда девалось умение показать голос, блеснуть его лучшими сторонами!.. По сцене ходил по временам очень развязный молодой человек, певший что-то про себя... В сцене с Мартой он вызывал смех, но что было грустно, смех повторился во время размахивания крыльями плаща в сценах перед церковью».

Это был почти провал, но Савва Иванович не кинулся наставлять певца, ни тем более оценивать, что он поет хорошо, а что плохо. Пригласил на выставку. Федор Иванович знал: Мамонтов железнодорожный воротила, думал, станет показывать паровозы, вагоны, но они пришли в павильон, где висели две картины, одна другой чуднее. Богатыри Ми-кула и Вольга были написаны разноцветными кубиками, в глазах рябило от пестроты, от хаоса

красок. Все в этих картинах было не так, не по-людски.

— Хорошо! — говорил Савва Иванович. — Хорошо, черт возьми!

— Да что же тут хорошего? — удивился Шаляпин.

— После поймете, батюшка! Вы еще мальчик. Между прочим, автор этих картин, художник Врубель, написал совершенно замечательного Демона. Это то же, что Мефистофель. Его Демон вселенски печален и вселенски красив. Вы Гёте читали?

И стал рассказывать о «Фаусте». Прощаясь, пригласил вечером к себе «на Печорку».

— Порепетируем. Пройдем мизансцены.

Невмешательство в театральные дела кончилось. Савва Иванович назначил Шаляпину отдельного концертмейстера и настоятельно просил начинать день с вокальных упражнений. Артисту Императорского театра совет показался обидным, но вскоре занятия сказались на качестве голоса, досада сменилась чувством скрытой вины перед людьми, желающими добра.

Репетиции с мизансценами тоже шли ежедневно, иногда по два раза на день.

Наконец была назначена прогонная на сцене.

«Чему дивишься, гляди и приглядишься», — пропел Шаляпин, и опять это был мелкий кривляка.

— Да нет же! — Савва Иванович остановил концертмейстера.

Взбежал на сцену, встал в толпу, и все его увидели. Спел одну фразу — и все узнали, кто это.

— Повторите! — сказал он Шаляпину, суетливо сбегая по лесенке в темный зал.

Платон Мамонтов, подаривший нам это воспоминание, восклицает: «Какую он дал фигуру!»

Шаляпин повторил. Он переменялся за неделю, стал похож на раковину, которая раскрылась и готова принять в себя океан.

Однако в сцене с Мартой в саду, изображая дьявольский смех, он по-прежнему складывался чуть не пополам и выглядел карикатурно.

Савва Иванович подскочил к подмосткам:

— Меньше движений! Все в мимике! На позе!

А в картине с Валентином опять поднялся на сцену и мимикой в четверть минуты показал смену чувств Мефистофеля: злобу, муку, страх, презрение...

Заключительную фразу: «Увидимся мы скоро! Прощайте, господа!» — Савва Иванович пропел с таким сарказмом, что все почувствовали —

сквозняком тянет.

Шаляпин — весь внимание. Он понял: свершилось! У него есть учитель. У него есть театр. В этом театре живет радость. И сердце ныло: скоро всему конец. Снова будет державная Мариинка, где каждый спектакль похож на казенный экзамен.

Газета «Нижегородский листок» о повторном выступлении Шаляпина в «Фаусте» дала снисходительный отзыв. Голос оценила как ровный во всех регистрах, красивый по тембру, в игре же оригинальности не нашла, но удовлетворилась соответствию «тому условному художественному образу, который принят для сценического олицетворения духа отрицания и сомнения».

А вот «Русалка» произвела на рецензента сильнейшее впечатление: «Игра Шаляпина вместе с его гримом заслуживает полной похвалы. Если молодой артист будет продолжать работать и идти вперед, как он делает теперь, то можно с уверенностью сказать, что через несколько лет он займет видное положение среди басов русской оперы». Имя этого критика Кащенко.

Мамонтов тоже понимал, в какого артиста может вырасти Шаляпин. Если, конечно, дадут петь.

— Частная опера, Феденька, ждет тебя в Москве, — сказал Савва Иванович, провожая певца в Петербург.

— А неустойка?! — Шаляпин только рукой махнул. — Три тысячи шестьсот рубликов.

— Я бы мог дать тебе шесть тысяч в год и контракт на три сезона. Кстати, Иола Игнатьевна остается в Частной опере.

Федор Иванович улыбнулся, но улыбка получилась растерянная, разнесчастная.

За три месяца выступлений в Нижнем он пел тридцать пять раз. Савва Иванович прошел с ним партию Странника в опере «Самсон и Далила» Сен-Санса. Открылось, каких глубин можно достигать в разработке образов. И это не все. Савва Иванович научил — певца-то Императорского театра! — как ставить звук на верхних нотах, показал, чего стоит осмысленная фразировка и безупречная дикция. Потрудился и почти изжил «у Феденьки» застарелую страстишку дать «звучок».

— Это музыкальная пошлость, Феденька, отсебятина.

Благородство ровного, спокойного пения тоже стало открытием.

Урок мог уместиться в одной реплике, а вкус приобретался на всю сценическую жизнь.

А как было приятно сказать Савве Ивановичу на выставке, перед

«Принцессой Грёзой», которая уже нравилась:

— Я сегодня кончил читать «Фауста». Какая красота!

Шаляпин уехал в Петербург 17 августа. 29-го Частная опера закончила гастроль в Нижнем Новгороде. За три с половиной месяца труппа дала сто шесть спектаклей: шесть русских опер, десять зарубежных, балет «Коппелия».

8 сентября возобновленная Частная опера представила московскому зрителю свой первый спектакль в только что построенном театре Гаврилы Гавриловича Солодовникова (позже — филиал Большого театра, а ныне это Театр оперетты). Здание выглядело бедно. Великий богач не желал тратить деньги «на пустые затеи», зато вместимость зала превосходила Большой на 500 мест.

Клавдия Спиридоновна Винтер хотела купить театр или хотя бы землю неподалеку, но Солодовников знал, кто стоит за ее спиной, и заломил такую сумму, что переговоры пришлось прекратить. Гаврила Гаврилович просчитал на два десятка лет вперед, сколько процентов прибыли даст ему затраченный капитал, как ему послужат денежки. Арендная плата в 1896 году равнялась 24 тысячам рублей, в 1902 году она поднялась до 45 тысяч.

Еще в Нижнем Савва Иванович сказал своим товарищам:

— Нам нужен Шаляпин! Будет Шаляпин — будет и русская опера. Неустойку плачу.

В Петербург добывать певца поехали Малинин и... Торнаги. Вернулись ни с чем.

Федору Ивановичу в Мариинке дали роль князя Владимира в «Рогнеде». Обещал наезжать в Москву, но в Петербурге было ему лихо.

Дотошный Направник изводил требованием педантично точного музыкального рисунка партии. Впоследствии Шаляпин будет благодарен дирижеру, но в ту пору — после громовых-то рукоплесканий нижегородцев — все это раздражало.

К Мамонтову хотелось, к Иоле.

Но как расстаться со званием артиста Императорского театра? Разумно ли поменять золотого голубя на серенького воробья?

Читаем у Шаляпина: «Императорские театры... имели своеобразное величие. Россия могла не без основания ими гордиться... Антрепренером этих театров был не кто иной, как российский император. И это, конечно,

не то, что американский миллионер-меценат, английский сюбскрайбер или французский командитер... Прежде всего, актеры и вообще все работники и слуги императорских театров были хорошо обеспечены. Актер получал широкую возможность спокойно жить, думать и работать. Постановки опер и балета были грандиозны... Наряду с театрами существовали славные императорские консерватории в Петербурге и Москве с многочисленными отделениями в провинции, питавшие оперную русскую сцену хорошо подготовленными артистами и в особенности музыкантами. Существовали и императорские драматические школы. Но исключительно богато была поставлена императорская балетная школа... В какой другой стране на свете существуют столь великолепно поставленные учреждения? В России же они учреждены более ста лет тому назад. Неудивительно, что никакие другие страны не могут конкурировать с Россией в области художественного воспитания актера».

Певцу-самоучке, достигшему радости служить службу государю императору в Санкт-Петербурге, жутко было низвергнуться в неизвестность. Частная опера хороша, в ней царствует творчество, но это — частная опера. Она жива, пока жив хозяин, пока в хозяине не иссякло пристрастие к музыке, к пению. А что, если он проснется завтра и скажет: я хочу собирать древние монеты, театральные страсти мне наскучили.

Нелегко полковничьи погоны поменять на погоны поручика.

Но Иола, нотации Направника... Тоска! Феденька кинулся на вокзал и в день открытия сезона сидел в директорской ложе госпожи Винтер.

Поздним вечером в ресторане у Тестова Савва Иванович предложил Шаляпину 7200 рублей в год, неустойка — пополам.

Дирекция Императорского театра охотно рассталась с Федором Ивановичем, протестовал один Г. П. Кондратьев, он видел в Шаляпине будущего Федора Стравинского.

Первое выступление Шаляпина в Москве состоялось уже 12 сентября. Начал он Мефистофелем, а не Сусаниным, как пишет в книге. Сусанина пел 22 сентября.

Готовясь к спектаклю, Шаляпин предупредил Савву Ивановича:

— Я духа отрицания хочу играть иначе, чем в Нижнем. Мне нужен другой костюм.

— Ради Бога! — обрадовался Савва Иванович. — Идемте в магазин Аванцо, посмотрим гравюры.

Остановились на Кульбахе. Заказали костюм. В день спектакля Шаляпин колдовал над гримом. Пришел Поленов, посмотрел. Одобрил. Поправил мелкие детали.

Знаменитый московский критик С. Кругликов на другой день после спектакля приветствовал нового певца. «Вчерашний Мефистофель в изображении Шаляпина, может быть, был не совершенным, но во всяком случае, настолько интересным, что я впредь не пропущу ни одного спектакля с участием этого артиста».

Мамонтов принес газету Шаляпину, сказал шутливо, а посмотрел твердо:

— Феденька, вы можете делать в этом театре все, что хотите! Если нужно поставить оперу, поставим оперу. Для вас.

— У меня «Рогнеда» готова, — сказал Федор Иванович, — князь Владимир.

— А будете еще и Галицким в «Князе Игоре».

— Это здорово!.. Но знаете, Савва Иванович, о чем я думаю? Я думаю о Грозном.

— Грозный? А где у нас Грозный? В «Псковитянке»? Это очень скучно... Впрочем, воля цезаря — закон. Дерзайте, Феденька! С вами и я готов рисковать.

Шаляпин пел Сусанина, Нилаканту в «Лакме», учил партию Галицкого. Репетиции начались в Большом кабинете Саввы Ивановича. Речь пошла сразу и о «Князе Игоре», и о «Псковитянке».

— Ключ к царю Иоанну искать надо в сцене встречи с дочкой боярина Токмакова, — уверенно сказал Савва Иванович. — Не там, где Грозный грозный, а там, где нежен, влюблен. Это очень выгодная сцена, Феденька. Но — Грозный впереди, а каков у нас Галицкий?

У Шаляпина Галицкий был не хуже, чем у других — пьяный безобразник.

— Это верно, — согласился Савва Иванович, — но мало. Мало потому, что на виду. Бородин литаврами подчеркивает это его «Эх-х!» Надо искать, что таит Галицкий в глубине души.

— Он хочет власти.

— Он хочет власти... Потому и охальник, над людьми измывается... А что, если таким вот дурным образом он вымещает злую обиду на судьбу? Ведь он желает не просто власти, а великокняжеской.

Шаляпин слушал, пробовал. Глаза у Саввы Ивановича светились.

— Запоминай, Феденька, найденное!

Повел в гостиную, представил семейству:

— Это — Шаляпин.

За чаем разговор шел о ролях, как их надобно готовить.

— Тебе, Феденька, следует пойти к Василию Осиповичу Ключевскому.

Он тебе и Галицкого представит, как живого, и о Грозном наговорит повесть временных лет...

В «Князе Игоре» Савву Ивановича не столько актеры интересовали, сколько хор. Он поднимался на авансцену, становился у портала и поправлял хор жестами, одобрял репликами, подпевал.

Спектакль получился интересным. Бедлевич пел Кончака утробным басом, был он грузен, неподвижен. Такой Кончак публике нравился. Ярославну пела Цветкова, Игоря — Соколов. Шаляпин — в Галицком — тоже удивил, восхитил. Мамонтов поставил ему задачу: быть в образе всякое мгновение на сиене. И публика глаз с него не сводила, даже если он молчал.

Готовя роль Грозного, Федор Иванович к историку Ключевскому пойти не решился, а вот в Третьяковку ходил. На первой репетиции был Репин, рассказывал, показывал этюды, но в Грозном Репина Шаляпин не увидел образа по себе. И у Шварца в Третьяковке не увидел.

— У Чоколова есть этюд Васнецова, — подсказал Серов. — Думаю, то что нужно тебе.

Серов не ошибся.

«Псковитянка» была поставлена в Мариинском театре 1 января 1873 года. Опера показалась длинной, скучной и двадцать три года пробыла в забвении... Вот почему Мамонтов не жалел затрат и репетировал оперу серьезно.

В первой прогонной репетиции Грозный явился в доспехах. Глаза из-под шлема горели ненавистью. Он был похож на волка-оборотня, готового растерзать коленапреклоненный безмолвствующий народ.

Впечатление было жуткое, и Савва Иванович только покашливал, сдерживая восторг, да пуще брался за муштровку хора.

— Не глядите же вы на палочку дирижера! — кричал он в сердцах и, чтобы добиться жизни и правды, разбил хор на группы, приказывая одним смотреть на Гонца, другим на Тучу. И в конце концов поставил хор спиной к залу.

Тут уж возмутился хормейстер Каваллини:

— Звук теряется, без управления хор будет врать!

— Хор будет стоять в этой сцене так, как я поставил, — отрезал Савва Иванович.

Каваллини постоял, постоял и ушел, оскорбленный, за кулисы.

Но нервы сдавали и у Шаляпина.

В сцене перед хорами Токмакова Грозный спрашивает себя: «Войти

иль нет?» Шаляпин играл ханжу. Произносил реплику смиренно, тихим, полным яда голосом. Но эта первая фраза первой сцены давала настрой всему спектаклю, Федор Иванович чувствовал, как разливаются на сцене тоска и скука.

На второй репетиции тоска и скука опять хозяйничали на сцене. Шаляпин ужаснулся: такое публике нельзя показывать. Разорвал ноты, убежал в уборную, расплакался. Через минуту-другую к нему пришел Савва Иванович:

— Феденька! Ведь это царь говорит: «Войти иль нет?» Здесь надо потверже. — И положил руку на плечо.

Как молнией озарило. Кинулся на сцену. Царь! Это же царь!

— Войти иль нет?

И все, кто был на сцене, увидели: Грозный пришел.

Премьера состоялась 12 декабря. Начался спектакль странной сценой. Выехал на коне государь Иоанн Васильевич, обзрел публику, и занавес опустился. Хлопали весело — обманули, ждали пения, а царь — молчком сидит.

Но сцена пошла за сценой. Царь-изверг, узанный дочерью, превратился в нежного, умиротворенного льва, а в следующей сцене все увидели, что это трус. Какая подлость была в этом страшном самодержце, когда он выглядывал из шатра, слыша голос Тучи, ведущего псковичей.

И вот Грозный — над трупом дочери. Муслит пальцы, листая молитвенник. Хор поет тихо, скорбно. Стонет зверь, захлебывается рыданиями...

Занавес. Жуткая тишина.

И только потом уже: рукоплескания, благодарные слезы, восторг.

Платон Николаевич Мамонтов вспоминал об этом спектакле: «Шаляпин страшно уставал, но приходил в себя, играл рубаху-парня — все ему нипочем».

В сезоне 97-го года Мамонтов осуществил постановку «Орфея».

«Частная опера воскресла, и дело по-прежнему в моих руках, — писал Савва Иванович Поленову, — но с той разницей, что в общем составе есть новое, живое и даже талантливое (даже страшно говорить это). Я мечтал дать „Орфея“ Глюка, и хорошо дать. Сам Орфей уже готов, и я на него возлагаю большие надежды. Обращаюсь к твоей отзывчивой художественной душе. Сочини декорации в строгом классическом стиле... Коровин будет писать их».

Далее Савва Иванович сообщает: сезон начали в Эрмитаже. Пожарные потребовали переделок в театре. Блеснули «Богемой» — поставлена в

России впервые; через неделю будет дана, и тоже в первый раз, — «Хованщина». Письмо отправлено 5 октября, а 30 ноября Поленов писал жене: «Вчера была генеральная репетиция „Орфея“. Вокальная сторона слаба. Я советовал Савве еще репетиции две сделать и получил на это умный ответ, что это ему слишком большой убыток принесет. Вообще в бочку меда попало, несмотря на все мои старания, довольно-таки дегтю».

Василий Дмитриевич одел и загримировал артистов, но на спектакле не остался, не захотел видеть провала.

«Орфей» успеха не имел, но и не провалился. Савва Иванович писал Поленову: «„Орфей“ так как он вышел, приводит меня в искреннее художественное умиление... Это, я думаю, есть наш лучший подарок молодежи. Я полагал бы назначать „Орфея“ по утрам в воскресенье и посылать билеты в большом количестве учащейся молодежи. Этим путем мы можем заронить искру Божию в юные души. Во всяком случае „Орфея“ я с репертуара не сниму и во что бы то ни стало буду навязывать его публике».

В 1897 году Частная опера подарила москвичам еще несколько премьер: «Опричник», «Хованщина», «Аскольдова могила», «Садко». Чайковский, Мусоргский, Верстовский, Римский-Корсаков — все русские композиторы, слава России, контуры которой еще только обрисовывались. Савва Мамонтов, обладавший редким даром угадывать таланты, присоединил к ним еще одного, совсем молодого композитора, только что окончившего Московскую консерваторию, — Сергея Рахманинова. Но пока еще в качестве дирижера-постановщика. Его дебют состоялся 12 октября 1897 года — дирижировал «Самсоном и Далилой» Сен-Санса.

Через пять дней, 17 октября, Частная опера представила «Опричника», и хотя опера прошла без большого успеха, пресса, наконец, заметила усилия Саввы Ивановича. «Новости дня» писали: «...Мы смотрим на Частную оперу как на учреждение, стремящееся не только пополнить пробелы репертуара казенной сцены, но и оживить вообще наше зачерствелое оперное дело новым к нему отношением. Мы уже по многим признакам чувствуем, что в этом сезоне художественная сторона исполнения попала в руки опытного, думающего и чувствующего руководителя, умеющего вдохнуть новую струю в это далеко не установившееся дело. Мы чувствуем, что руководитель этот с особенной

любовью относится к постановке опер отечественных композиторов, особенно сочувствуем ему именно в этом, так как ни в одной цивилизованной стране Европы отечественная музыка не находится в таком загоне, как у нас в России. А в опере наше народное творчество не уступает заграничному, и России принадлежит и будет принадлежать последнее слово. Слово это, поставленное в девиз русской школы Даргомыжского, есть художественная правда». Пророческие слова! Мамонтов мог торжествовать — его поняли и оценили — русская опера получила общественное признание.

Однако этапной работой Мамонтовской оперы стала «Хованщина» Модеста Мусоргского, которая всецело увлекла Савву Ивановича, дала ему возможность показать масштабную работу.

«Хованщина» не могла не поразить грандиозностью картин, бездной национальной драмы.

Эскизы Мамонтов заказал Аполлинарию Михайловичу Васнецову как самому большому знатоку древней Москвы.

По совету того же Васнецова актеры совершили паломничество на Рогожское старообрядческое кладбище. Ездили в село Преображенское, в старообрядческий храм, слушали службу. Разочаровались. Пели старообрядцы фальшиво. Но сами люди, ни в чем не заискивающие, с чувством собственного достоинства, заставляли робеть перед собой.

Роли разошлись прекрасно: Бедлевич получил Хованского, Иноземцев — князя Андрея, Соколов — Шакловского, новая, изумительная актриса Селюк-Рознатовская — Марфу, Шаляпин — Досифея.

Русская музыка, освященная именами Верстовского, Глинки, Даргомыжского, Бородина, Римского-Корсакова, Мусоргского, любила погружаться в седую старину российской истории, в переломные ее и смутные времена, в глубокие ее драмы и трагедии. «Хованщина» — это трагедия старообрядчества. А старообрядчество — живой сосуд, в котором сохраняется со времен царя Алексея Михайловича истинный цветок русской души.

Своей «Хованщиной» Мамонтов воспел этот цветок, сделал подарок московскому, почти сплошь старообрядческому купечеству.

«Псковитянка» Римского-Корсакова погружает вас еще в более древние времена — времена Ивана IV, злой опричнины. Партия Грозного стала для Шаляпина великой.

Всякий художник — поэт ли, живописец, артист, композитор — ищет образ. Поиск идет в бесконечности пространства и в бесконечности времени, но сколь бы велик или мал этот образ ни был, он невозможен без

точного видения.

Грозный Шаляпина не потому грозный, что артист, изобразив на лице с помощью грима аскетическую худобу, пугающе вращал глазами и горбился. Даже образ облака — не туман, а лучи и тени на тумане.

Появляясь в Прологе «Псковитянки» верхом на лошади, Шаляпин не просто «страшно» смотрел перед собой в черный зев зала. Он всматривался в этот зал. Он искал не вообще, не изображал поиск, он жаждал найти одного или многих, чтобы тотчас предать смерти.

Зал под этими ищущими глазами охватывало зловещим, неотвратимым предчувствием беды. Сцену заливал свет, а веяло холодом.

В хоромах Токмакова зрителю снова делалось страшно. Теперь за Ольгу. Боярышня подает царю поднос с пирогом, а царь угощается. Но как это делалось! Старческая рука с длинными пальцами зависала над подносом, над самой Ольгой и брала... через мгновение. Весь зал следил за этой рукой.

Не все находки принадлежали фантазии Федора Ивановича. Но все они сливались в единый, в неповторимый образ. Коровин, например, измерил рост Феденьки и нарочно сделал дверь, ведущую в хоромы, низкой. Шаляпин, входя, произносит не очень-то сильную фразу: «Ну, здравия желаю вам, князь Юрий, мужи-псковичи, присесть позволите?» Говоря это, медленно разгибался во весь огромный рост. Пространство судорожно сжималось, и всем становилось ясно, как мал великий Псков перед великим самодержцем, перед государыней Москвой.

Рисунок шаляпинских партий ошеломлял своей новизной, глубиной и истинностью. И эту истину певцу помогал обрести Савва Иванович.

В «Хованщине» звучит песня раскольников «Победихом и перепрехом», песню подхватывает и поет со всеми вместе старец Досифей. Что тут драматического? Шаляпин на репетициях играл кроткого, отвергшего мирские страсти инока, но Савва Иванович сказал ему:

— Досифей — не один из многих. Досифей укротил в себе Ваську Кореня, но жизнь, вера, поправление святых обрядов превращают его в Стеньку Разина с крестом.

Шаляпин тотчас повторил сцену и «победихом и перепрехом» запел, переполненный любви к Всевышнему. И не сам он, но Савва Иванович и бывшие в зале и на сцене слышали громы и видели молнии летящих престолов, на пламени крыл которых сияла Истина.

Каждая сцена «Хованщины», после разбора ее Саввой Ивановичем, обретала у Шаляпина глубину и неистовость, это были бездны человеческого духа. Каждую можно было ставить в финал, но гений потому

и гений, что нет ему предела. «Гадание» потрясло зрителя, но далее следовали сцены — «Убийство Хованского», «Самосожжение». Падающий занавес не мог уже остановить погружения в человеческий космос... Лучше ли становились люди, хуже... Но все, кто слышал и видел Шаляпина, получали печать преобразования. Зритель покидал театр с чувством причастности не только к миру искусства, но вообще к миру. Ощущать ток времени — удел избранных. Возможно, этому чувству и посвящены ухищрения каббалы и всяческого иного тайноведения, жречества. Шаляпин не имел посвящения от людей, он был от Бога. Когда он пел, даже очень обделенные ощущали несравнимое ни с каким благом счастье существовать в это мгновение, быть частью мира. Промыслом Творца. Это не умничанье, не красивые слова изощренной похвалы великому таланту, это — правда. А мистика здесь в том, что Шаляпин был пророком, но об этом не догадывались. Он был величайшим певцом великого поющего народа.

И именно в Мамонтовской опере он стал тем Шаляпиным, который останется на века.

В доме на Садовой собрался цвет Частной оперы. Все немножко нервничали. Шутки не смешили, умное слово казалось неуместным...

Ждали.

Гроза посредственности московский критик Семен Николаевич Кругликов, недавно принятый в Частную оперу заведующим репертуарной частью, возвращался от Римского-Корсакова. Кругликов был учеником и другом композитора. Эту дружбу быстрый Мамонтов тотчас использовал на благо Частной оперы. Было известно: императорские театры отвергли «Садко» — оперу-былину, жанр совершенно новый не только для русской, но и для мировой музыки. От высокопарных многоречивых вагнеровских опер-мифов опера-былина отличалась не только уважением к народной фантазии, но и к музыкальным образам.

Римский-Корсаков, получив от Кругликова письмо с предложением поставить «Садко» в Частной опере, был рад натянуть нос кому следует, но выставил условие. «Желательно, чтобы был полный оркестр, — писал композитор Кругликову, — и достаточное число оркестровых репетиций при хорошей разучке вообще... Он (Мамонтов. — В. Б.) не щадит своих средств на декорации и костюмы, а по сравнению с этим затраты на

добавочные инструменты и 2–3 лишние репетиции так ничтожны, а между тем в опере все-таки первое дело музыка, а не зрительные ощущения».

Николай Андреевич знал, на какую ногу хромает Мамонтовский театр. За Кругликовым на вокзал послали экипаж, на стрелках часов уже мозоли от взглядов обозначились... Но привезет ли он партитуру оперы? Труппа ждала в напряжении.

Никакие разговоры, забавные истории не могли унять дрожь томительного волнения.

Сделалось совсем тихо, и тут все увидели Кругликова.

Семен Николаевич стоял в дверях Большого кабинета, подняв над головой клавир «Садко».

— Ура! — как птичка, крикнула Забела.

— Ура-а! — грянули артисты во всю радость великолепных своих глоток.

Секар-Рожанский первым заполучил клавир:

— Семен Николаевич! Пожалуйте за рояль. — И звонко, лихо запел с листа: — «Кабы была у меня золота казна...»

Листали клавир почти беспорядочно, как сундук с наследством копали.

— Надежда Ивановна, это для вас! — радовался Антон Владиславич, он, поляк, готов был удружить поляку Врубелю.

Надежда Ивановна спела зовы Волхвы:

— Сказка — наяву. Я как во сне... Сон прекрасный, добрый.

— А нам-то что-нибудь есть?! — грянул громово Бедлевич, обнимая Шаляпина.

Кругликов, который уже хорошо знал оперу, сказал:

— Морской царь, Антон Казимирович, будто специально для вас писан. Уверен — это будет ваша слава. Федор Иванович, а вы попробуйте это.

И поставил «Песнь Варяжского гостя».

— Боже мой! Как это все можно нарисовать, — размечтался Коровин. — Древний Новгород. Подводное царство.

— Вы мне скажите, поплывет ли по нашей сцене корабль? — забеспокоился Савва Иванович. — Помните, как дергались лебеди в «Лоэнгрине»?

— У нас машинист сцены — гений, — сказал Коровин. — У него поплывет. Сколько вот времени на все про все?

— Премьера на Рождество! — сделал невинные глаза Савва Иванович.

— Три недели?! — испугался Кругликов. — Николай Андреевич не

терпит небрежности в музыке, он просил увеличить оркестр...

— Оркестр у нас мал да удал. Три недели — это три недели. Смотря как работать... Авань! Моя «авось», Семен Николаевич, добренькая, не подведет.

И пошла-поехала рождественская мамонтовская карусель. Сооружали кита с двигающимися плавниками, строили корабль, писали Подводное царство, думали, как сделать, чтобы рыбы плавали...

Жизнь тоже шла своим чередом. Приезжал Цорн, писал портрет Саввы Ивановича. Писал Савву Ивановича Врубель. У Цорна портрет как портрет, добротный, мастерский. У Врубеля все вздыблено, и это все — испуг, который тотчас рождается в душе зрителя. Стоямя стоит белая накрахмаленная рубашка, словно за горло схватила. Одна рука у Саввы Ивановича холеная, вольготная, в перстнях, другая сжата судорогой. В лице что-то от Ивана Грозного, уж такая власть! — и ужас: увидел неотвратимое, чего не отмолить. Кресло огромное, верхняя часть тела восседает, как монумент, а ноги вот-вот кинутся бежать, в ногах суетливость, нетерпение...

Понравился ли врубелевский портрет Савве Ивановичу или напугал, неизвестно. Демонизм мог льстить Савве Великолепному.

1897 год для нашей империи благополучный, значительный. Николай II «в воздаяние особых заслуг по врачеванию больных и раненых воинов» в Абиссинии 27 мая 1897 года Всемилостивейше соизволил пожаловать студентов Императорской Военно-Медицинской Академии имярек кавалерами ордена Св. Станислава 3 степени, а 7 сентября Петербург принимал Абиссинскую миссию, состоящую из русского авантюриста Николая Леонтьева, секретаря негуса Менелика и двух придворных чинов. У России появились интересы в Африке. На Востоке активность отечественной политики также никогда не угасала.

Мамонтов, изведав вкус не только славы, — это всего лишь газетный шелест, — но вкус дела, когда человек служит настоящему и будущему Отечеству, теперь устремил свои взоры на Восток.

29 мая газета «Новое время» напечатала письмо Н. Михайловского (так подписал эту публикацию инженер Николай Георгиевич Гарин). Речь шла «о проектируемой постройке железной дороги вдоль западной границы Китая от Томска через Барнаул, Семипалатинск, Верный до Ташкента длиною с лишком в две тысячи верст и... стоимостью до 150 миллионов рублей».

За этим проектом стоял Савва Иванович Мамонтов. Его плечи уже лихостились без непомерной тяжести. Две тысячи верст, то, что надо. Он

был уверен: великий, а главное, умный человек Витте ему, умному Мамонтову, единомышленнику, хватающему так же высоко, как сам Сергей Юлиевич, концессию на такую-то тяжкую для строительства дорогу выхлопочет и поднесет на блюдечке, с благодарностью. Кто? Кто еще осилит такое, чтоб быстро да прочно? Слава на славного работает, как верная лошадка. Над будущим радуги коромыслами сияли.

Ну а что же искусства? Разве мог Савва Великолепный ограничить себя Частной оперой?

19 июня в «Новом времени» появилось объявление: с начала 1898 года княгиня М. К. Тенишева и С. И. Мамонтов начинают издавать в Москве художественный журнал «Мир искусства». 20 июня было дано другое объявление: журнал «Мир искусства» станет выходить в Петербурге два раза в месяц. Редактором утвержден С. П. Дягилев. Первый номер читатели получают в ноябре текущего года.

Мамонтов и здесь успел, связал свое имя с началом деятельности «Мира искусства», с новой философией живописи и пластики.

Художественный мир преобразался. В начале 1897 года состоялась юбилейная XXV выставка передвижников. Товарищество покинули Куинджи, Репин, В. Васнецов, Клодт, К. Маковский, но на юбилейной выставке участвовали все, кроме Куинджи.

Сергей Павлович Дягилев так высказался об этом событии: «Передвижная выставка из года в год отделяется от своей первоначальной окраски и становится гораздо разностороннее. Поворот этот следует приписать двум условиям: общей перемене требований и появлению молодежи московской школы, влившей совсем новую струю в нашу живопись. (В 1894–1895 годах в члены Товарищества были избраны Серов, Ендогуров, Корин, Бакшеев, Шанкс. — В. Б.) Отсюда, из этой кучки людей, от этой выставки надо ждать того течения, которое нам завоюет место среди европейского искусства».

Приглашая Серова участвовать в выставке молодых художников в музее барона Штиглица в Петербурге, а потом в Мюнхене, Дягилев был убежден в успехе новой школы: «Русское искусство находится в настоящий момент в том переходном положении, в которое история ставит всякое зарождающееся направление, когда принципы старого поколения сталкиваются и борются с вновь развивающимися молодыми требованиями. Явление это... вынуждает... прибегнуть к сплоченному и дружному протесту молодых сил против рутинных требований и взглядов старых отживших авторитетов».

Для Дягилева творчество такого новатора, как В. М. Васнецов, было

невыносимо устаревшим, но в первых двух номерах «Мира искусства», вышедших в 1898 году, без всяких комментариев, журнал поместил множество иллюстраций васнецовских работ. В первом номере: «Затишье», «Битва скифов», «Богатыри», «Витязь у трех дорог», из росписей Владимирского собора — «Адам и Ева», «Никита Новгородский», «Нестор-летописец», «Прокопий Устюжский», орнаменты, а также фотографии шкафов, сделанных по рисункам Виктора Михайловича, и рисунок блюда. Во втором номере: фотографии Абрамцевской церкви и еще одного шкафа.

Видимо, это была редакторская уступка Мамонтову, который, давая деньги художественным бунтарям, оставался верным живописи Васнецова, пластике Антокольского.

Счастливым для русского искусства и для Саввы Ивановича 1897 год заканчивался премьерой «Садко». Представления состоялись 26, 28 декабря. На третье — 30 декабря — приехал из Петербурга Николай Андреевич Римский-Корсаков с супругой. Ради такого гостя — все лучшее напоказ. Вместо Алексанова Савва Иванович выпустил Шаляпина, вместо Негрин-Шмидт — Забелу-Врубель.

За два спектакля оркестр подтянулся, в очередной раз изумил Шаляпин и танец его возлюбленной Иолы Торнаги в Подводном царстве с кордебалетом русалок в виде серпантина, взятого из французского этюали. Иллюзия дышащего океана изумляла.

Но Римский-Корсаков не забудет своих огорчений и через много лет. Читаем в его воспоминаниях: «В оркестре помимо фальшивых нот не хватало некоторых инструментов; хористы в первой картине пели по нотам, держа их в руках вместо обеденного меню, а в четвертой картине хор вовсе не пел, а играл один оркестр. Все объяснялось спешностью постановки. Но у публики опера имела громадный успех, что и требовалось С. И. Мамонтову. Я был возмущен, но меня вызывали, подносили венки, артисты и Савва Иванович всячески меня чествовали, и я попал как „кур в оцип“».

Неистребимое «авось» исповедовалось Частной оперой так же свято, как и гениальность. Публика «авось» прощала. Оркестр, верно, жидковат. Итальянец Эспозито не понимает сути русского язычества, хранимого в напевах старины глубокой, исполняемой музыки не понимает! Но Секар-Рожанский как запоет: «Высота ль, высота ль поднебесная!» — сердце замирает. Слезы навертываются на глаза от плачей Волхвы-Забелы: «Уедешь в дальние края, увидишь синие моря». А варяг Шаляпин? — Скала. Бас Бедлевича — царя Морского — рокошет аки океан. Все мощно, все по-нашему, по-русски. Театр не вмещал желающих видеть и слышать.

Мамонтов тотчас поднял цены, но люди денег не жалели.

Поговорка «Куй железо пока горячо» родилась в кузне, но это мудрость торгашей.

Савва Иванович, раскинув быстрым умом, предложил Рахманинову разучить и поставить «Майскую ночь». Римский-Корсаков нравится, на него идут, чего же от добра добра искать!

Работа закипела, но глубокой ночью 20 января, после постановки «Хованщины» Театр Солодовникова запылал.

Актеры, поднятые трезвоном, прибежали на Дмитровку и боролись с огнем, помогая пожарникам. Сцену с костюмерными, склады с декорациями спасли.

На следующий день труппа Частной оперы собралась в доме Мамонтова. Мамонтов предложил арендовать Интернациональный театр на Большой Никитской. Первый спектакль дали уже 24 января. Публики было мало, москвичи еще не поняли, что это та же Частная опера. Но поклонники поднесли дирекции Винтер серебряный венок с лентой: «Русская Частная опера. Правда в огне не горит и в воде не тонет. Вперед!»

Вперед так вперед! 30 января состоялась премьера «Майской ночи». Рахманинов, дирижируя, страдал за ошибки оркестра, за свою беспомощность, но Голову пел Шаляпин, и зрители были довольны.

Промахи критика высмеивала ядовито и по делу. О хористах в «Садко» было сказано: «Они необыкновенно сильны... в паузах. Если б хоть отчасти они были сильны там, где хору надо петь».

Недоделки, однако, не заслонили главного. Критик Н. Д. Кашкин писал в газете «Русские ведомости»: «После „Садко“ мы считаем Н. А. Римского-Корсакова решительно не имеющим соперников между современными композиторами в отношении художественного мастерства... Русской частной опере выпала на долю честь и даже историческая заслуга впервые поставить такое замечательное произведение».

Великим постом Московская Частная опера открыла гастроли в зале Петербургской консерватории. Помог Римский-Корсаков. Но не ради его заботливых хлопот, а ради русской музыки вся первая неделя выступлений была отдана операм Николая Андреевича. Это ведь вызов не только дирекции Мариинского Императорского театра, это был вызов всему петербургскому чиновно-сановному обществу.

Афиша Театра Винтер предлагала «Садко», «Псковитянку», «Хованщину» (Мусоргский не успел закончить оперу, Римский-Корсаков ее дописал, оркестровал, отредактировал), снова «Псковитянку», «Садко» и обещала премьеры «Майской ночи» и «Снегурочки».

На «Садко» 22 февраля публики было немного. В одно время с Театром Винтер гастролировала труппа из Германии, которая привезла вагнеровские оперы. Но в зале Консерватории был «Нянь» русского искусства Владимир Васильевич Стасов. «Садко» был его любовью, его детищем. Владимир Васильевич участвовал в разработке либретто. Это он настоял, чтобы опера-былина начиналась сценой народного пира, присоветовал ввести образ жены Садко — Любавы.

Шумные приветствия Стасова артистам, декораторам, композитору — не поза, не вызов кому бы то ни было, а всего лишь состояние души. Доволен был спектаклем и сам композитор. Он усердно репетировал оперу с труппой, и та чутко отзывалась на каждое его пожелание. «Садко» был дан в весьма приличном виде... «Опера понравилась и была дана несколько раз», — писал Римский-Корсаков в «Летописи моей музыкальной жизни».

В «Псковитянке» Шаляпин произвел фурор. 25 февраля Владимир Васильевич опубликовал свою знаменитую коротенькую статью «Радость безмерная».

«Кто был в зале консерватории вчера, 23 февраля, — писал он в „Биржевой газете“, — наверное никогда, во всю свою жизнь, этого вечера не забудет. Такое было поразительное впечатление. Давали в первый раз, после долгого антракта изгнания и добровольного неведения, одну из лучших и талантливейших русских опер: „Псковитянку“ Римского-Корсакова. Эта опера так сильно даровита, так характерна и своеобразна, что, само собой разумеется, ее давно уже нет на нашей сцене».

«Псковитянка» убедила всех в том, что «одним художником у нас больше. Это — оперный певец Шаляпин, создавший нечто необычное и поразительное на русской сцене... создавший такого „Ивана Грозного“, какого мы еще никогда не видели ни на драматической, ни на оперной сцене». Стасов припомнил и его Варяжского гостя в «Садко»: «Среди этого древнего пейзажа вдруг является перед нами сам варяг, у которого кости словно выкованы из скал... гигантский голос, гигантское выражение его пения...»

Савве Ивановичу принесли газету в театр.

— Феденька! Это пока не бессмертие, но несомненная слава.

Шаляпин уставился в газету через плечо Саввы Ивановича и нашел, чем ответить:

— Где они таких отыскивают в Москве? Вот люди-то! Это не про Шаляпина, Савва Иванович! Это все про Мамонтова.

— Феденька, ты зри в корень! Сей гимн твоему Грозному. А сколько восклицательных знаков: «Боже, какой великий талант! И такому-то человеку — всего 25 лет!» Феденька, беру свои слова обратно: это как раз о бессмертии.

Ночью, оставшись один, Савва Иванович дотошно перечитывал статью: «Только московская Частная опера, на днях к нам из Москвы приехавшая в гости, смотрит на русские талантливые музыкальные создания иначе и дает нам взглянуть на многие чудные вещи, тщательно от нас скрываемые... Итак, сидел я в Мамонтовском театре и раздумывал о горестном положении русского оперного, да и вообще музыкального дела у нас, как вдруг»... и далее все о Шаляпине, который «безмерно вырос», но, однако ж, у Мамонтова...

В начале марта Частная опера представила петербургскому зрителю «Снегурочку». Николай Андреевич Римский-Корсаков сам вел репетиции, трепетно прошел заглавную роль с Надеждой Ивановной Забелой-Врубель.

В книге о Мамонтовском театре В. П. Россихина приводит отзыв М. Ф. Гнесина о вокальных возможностях актрисы. Ее голос был «ровный-ровный, легкий, нежно-свирельный и полный красок или, точнее, сменяющихся переливов одной какой-то краски, предельно выразительный, хотя и совершенно спокойно льющийся. Казалось, сама природа, как северный пастушок, играет или поет на этом одушевленном музыкальном инструменте... И какой облик!.. Эти широко расставленные сказочные глаза, пленительно-женственная, зазывно-недоумевающая улыбка, тонкое и гибкое тело и прекрасные, длинные руки».

Для композитора Снегурочка Забелы-Врубель была идеальным воплощением творческой мечты. И вдруг, как гром среди ясного неба. В день спектакля Мамонтов заменил Надежду Ивановну вызванной из Москвы, как на пожар, юной, розоволикой актрисочкой. В афишах вычеркивали Забелу-Врубель и вписывали Алевтину Пасхалову.

Савва Иванович хоть и грешил поспешностью большинства постановок, но о пополнении, обновлении труппы пекся неустанно. Будь у него достаточно средств, завел бы свою оперную школу... У каждого своя червоточина. Савва Иванович впадал в мелочную деспотическую

экономии, не желая прибавить лишний рубль жалованья певцам, отказываясь купить нужное количество холстов и красок для декораторов, но он же за свой счет посылал молодых актрис и актеров учиться пению, а на примете у него было всегда несколько юных дарований.

Конечно, Мамонтов сгенеральничал. Никому не ведомая Пасхалова заняла место Забелы, благоговейно подготовленной композитором и не менее благоговейно Врубелем. Костюм и грим были продуманы до пуговиц, до каймы на подоле.

Бедная Пасхалова, встреченная ледяным молчанием товарищей по сцене, совсем еще начинающая, горящая желанием очаровать публику, послужить искусству, доброму Савве Ивановичу, — спела бесцветно, а выглядела еще бесцветнее. Мамонтов, не желая того, подставил молодую певицу. И конечно, был не понят. Римский-Корсаков писал Кругликову: «Я вел дело в простоте душевной, а встретился с самолюбием самодура. Замечаю, что в Московской частной опере царствует значительная доля лицепрятия, талантливых людей оттирают».

Роль Снегурочки Забеле возвратили, но Савва Иванович, видимо, был все-таки злопамятным, по крайней мере своенравным и капризным человеком. Не увольняя Надежду Ивановну из труппы, театру Врубель был нужен, он все время обходил ее ролями. Через год Михаил Александрович писал сестре: «Наде грустнее: ее право на артистический труд в руках Мамонтова, у которого в труппе целых 9 сопран и полный разгул фаворитизму и глумлению над заслугами. Ей мало приходится петь...» Римский-Корсаков «кончил новую оперу на сюжет „Царская невеста“ из драмы Мея. Роль царской невесты Марфы написана им специально для Нади. Она пойдет в будущем сезоне у Мамонтова; а куда такой знак уважения к таланту и заслугам Нади от автора заставляет завистливую дирекцию относиться к ней еще суровее и небрежнее». Свидетельство для Саввы Ивановича малоприятное, но было в нем и такое. Не ангел.

Русская Частная опера прибыла в Петербург частным образом, и ее восприняли сначала как частное дело частного лица, но за великолепным «Садко» следовала потрясающая «Псковитянка», эпопея «Хованщины», теплые слезы «Снегурочки». За два неполных месяца с 22 февраля по 19 апреля москвичи сумели заявить о себе как о явлении национальном, историческом. Героев события, несмотря на то, что опера организм

сложный, что это коллектив, было двое: Мамонтов и Шаляпин.

Шаляпин задел за живое сановный Петербург. Не все поняли, не все согласились с восторгами Стасова, но это был не фейерверк быстро сгорающей сенсации, а ровный чистый пламень национального гения.

Триумф, в особенности русский триумф, невозможен без традиционного оплевывания, без попытки затолкать вылезшее тесто обратно в дежу, развенчать, утопить, уничтожить.

Редактор музыкального отдела «Нового времени» Михаил Михайлович Иванов, знаток античности, ходячая энциклопедия, съязвил: «По-моему, у г. Шаляпина в Грозном на первом плане везде стоит внешность... Она поглощает его внимание, все его силы...»

Преображение Шаляпина в Москве Иванов считал дутым, видя в этом проявление антагонизма, соперничества двух столиц.

Ответ Стасова был беспощадным, начиная с заголовка — «Умозрительный музыкальный критик».

Частной опере Владимир Васильевич посвятил большую, обстоятельную статью. Поставив Мамонтова в один ряд с Третьяковым и М. П. Беляевым (Беляев собрал библиотеку произведений русских композиторов, занимался не только изданием партитур, но и организацией концертов отечественной музыки), Стасов писал в этой своей статье: «У нас существует настоящее гонение на русские оперы. Надо полагать, что для наших казенных театров нет никакой надобности в талантливых русских операх. Их там преследуют. Их там презирают. „Руслана“ 14 лет не давали». И воздавал хвалу Частной опере не громогласием словес, а самим перечислением постановок: «Лучшая часть нашей публики, средняя, с восторгом принимает широкий, великолепный дар С. И. Мамонтова и с любовью идет смотреть: „Псковитянку“, „Снегурочку“, „Садко“, „Князя Игоря“, „Хованщину“, „Русалку“... Московская русская опера — одно из крупнейших проявлений... духа доброжелательства на пользу родины и соотечественников».

Стасов справедливо оценил заслуги отечественного купечества. «В деле помощи искусству выступили у нас, на нашем веку, на наших глазах — интеллигентные русские купцы. И этому дивиться нечего, — радостно утверждал Владимир Васильевич. — Купеческое сословие, когда оно, в силу исторических обстоятельств, поднимается до степени значительного интеллектуального развития, всегда тотчас же становится могучим деятелем просвещения и просветления».

Подобная оговорка тоже была приятной. Савва Иванович мог торжествовать. Даже сдержанный Цезарь Антонович Кюи прислал

благодарное письмо:

«Вы для русской музыки сделали очень много. Вы доказали, что кроме Чайковского у нас есть и другие композиторы, заслуживающие не меньшего внимания. Вы поддержали бодрость Римского-Корсакова и желание в нем дальнейшего творчества (без Вас он бы совершенно пал духом). Вы протянули руку помощи нашему искусству, изнемогавшему под гнетом официального нерасположения и презрения. Как же Вам не сочувствовать и не быть благодарным».

В ответ Савва Иванович разоткровенничался:

«Ранее я выносил потоки злобы, сплетен и разных заушений со всех сторон, никто не решался верить, что я работаю для искусства. Но время и выдержка берут свое, и масса публики почувствовала, что это не пустая затея, а что тут есть чистое и хорошее. К Частной опере стали относиться жизненно и даже горячо».

В другом письме он радостно сообщает: «Наблюдается знаменательное явление. Публика резко выражает симпатии к русским операм, а из иностранного репертуара ничего знать не хочет. Хорошо исполненные „Ромео и Джульетта“ или „Самсон и Далила“ не собирают и трети театра. Словом, князья, бояре, витязи, боярыни, простонародье, скоморохи со сцены не сходят».

С Кюи Савва Иванович познакомился в Петербурге во время гастролей, а вот с его музыкой чуть позже, сразу по возвращении в Москву.

Кружок любителей русской музыки, собравшись у Керзина, отметил тридцатилетие оперы Кюи «Вильям Ратклифф». Савва Иванович был на заседании и написал Кюи письмо: «Стыдно признаться, я до сих пор не был знаком с Вашей музыкой. Теперь я знаю до некоторой степени характер Вашего творчества. Он совершенно согласуется с тем личным впечатлением, которое я вынес из беседы с Вами. Вы на мой взгляд тонко и общечеловечно чувствующий человек и чисто плотный и деликатный романтик».

Что расточать комплименты композитору? Лучшая похвала — осуществление постановки. И Савва Иванович спешит сообщить: «Остаюсь при намерении попробовать осилить его („Анжело“. — В. Б.) на будущий сезон». Письмо написано 27 апреля 1898 года. Вдохновленный успехом гастролей, Мамонтов уже не только берет в репертуар то, что лежит на поверхности, не востребованное до поры. Он заказывает оперы. Заказ для искусства — жизнь. Без заказа не было бы «Сикстинской капеллы».

Старый сотрудник Мамонтова, Николай Сергеевич Кротков, автор

«Алой розы», с которой все и началось, написал для Частной оперы «Боярина Оршу». Савва Иванович решил поставить «Боярина» уже осенью, и Кротков, обрадованный, но строгий к себе, садится и заново переделывает первый акт, а в декабре он в отчаянии попросит снять оперу с репертуара, недовольный собственной инструментровкой. Взамен предлагает туманный символический сюжет: два «ничто», одно тяжелое, бесталанное — символ Большого театра, другое иное, гениальное, полное жизни и высоких стремлений, — символ Частной оперы. Либретто пишет Савва Иванович, музыку он — Кротков.

Савва Иванович предложение похвалить публично себя и изничтожить Большой театр не принял. Написал другое либретто — «1812 год». Музыка была заказана молодому, очень большому композитору В. С. Калинникову. Сначала оперу собирался написать Римский-Корсаков, но либретто ему показалось наивным до беспомощности. Для Калинникова сто рублей ежемесячной зарплаты были спасением от голода. Однако потребовать от миллионера драматургических переделок он не мог. Зато требовал и капризничал автор либретто. Работа для Калинникова получилась тягостной. Чахотка вскоре свела молодого человека в могилу. Написан был только «Пролог», который Савва Иванович и представил публике в одном сборном спектакле.

Работала для Театра Винтер и Валентина Семеновна Серова. Ее опера «Илья Муромец» увидела сцену 22 февраля 1899 года. Провал был полный. Не спасли декорации Тоши, не спас Шаляпин, певший богатыря Илью. Валентина Семеновна утешалась отзывом сына: «Мне твой почетный провал дороже дешевого успеха». Публика, однако, не нашла в опере ни былинной мощи, ни русской национальной напевности. Впрочем, С. Н. Кругликов, который ушел от Мамонтова и был директором Московской филармонии, отозвался о новом сочинении Серовой с похвалой.

Лето 1898 года — счастливое в жизни и в творчестве друзей Саввы Ивановича. Гении шалили, гении трудились... Русская природа, влюбленность, любовь, свадьба... Многие вместились в то лето.

Шаляпин, Иола Торнаги, Коровин, Антонова, Рахманинов, Кругликов, Малинин, Савва Иванович нагрянули во Владимирскую губернию, в Путятино, в имение Татьяны Спиридоновны Любатович.

Сыграли свадьбу Шаляпина и Торнаги. В Путятине церкви не было,

венчались в соседнем селе, в Гагине. Венец над Шаляпиным держал Рахманинов, над Иолой — Коровин. Посаженым отцом на свадьбе был Савва Иванович.

Погоуляли и за дело. Савва Иванович уехал в Париж поправлять здоровье. Шаляпин и Рахманинов остались разучивать новый репертуар к осеннему сезону.

Рахманинов уже сообщил Мамонтову, что покидает театр. Работа дирижера его выматывала, в Частной опере приходилось трудиться на износ. За один месяц в конце 1897 года ему пришлось дирижировать пятью разными операми и еще готовить к выпуску «Майскую ночь» Римского-Корсакова.

Савва Иванович попросил Сергея Васильевича не объявлять об уходе, пройти с артистами их новый репертуар.

Клавдия Спиридоновна Винтер о всех делах сообщала Савве Ивановичу в Париж.

«Жизнь у нас в деревне идет хорошо, — писала она в июне, — только вот у Тани нет занятий... Шаляпин ежедневно учит Фальстафа часа полтора с Анатолием Ивановичем... А уж о Сереже и говорить нечего, он теперь от нас удалился, или бродит один в лесу, или занимается у себя в домике».

Рахманинов действительно воскрес после провала Первой симфонии. Творческая потогонная суeta Частной оперы оказалась целительной. Он снова начал сочинять.

Артисты не только наслаждались природой, учили новые партии, но и зарабатывали деньги. В этом же письме Клавдия Спиридоновна сообщает: «Шаляпин имел такой успех, что просто стон стоял в Сокольниках. Сейчас приняла кассу от Литвинова, на долю каждого пришлось по 150 рублей, все же лучше прежних двух разов».

Но нам особенно важно письмо из Путятина от 20 июня: «Таня мне говорила, что она уже писала Вам о Борисе Годунове, что он очень хорош в исполнении Шаляпина. Один раз только разбирали, а впечатление громадное. Не вздумаете ли поставить, пока у нас служит Шаляпин?»

Уже через несколько дней Клавдия Спиридоновна сообщает в Париж: «Телеграмму Вашу о Борисе Годунове получили. Секар едет в Путятино на эту неделю, чтобы совместно с Шаляпиным учить Самозванца. 1-го же июля он уезжает за границу... Таня даже купается в пруду». В этих трех строках вместились множество информации. Мы видим, как мгновенна реакция Саввы Ивановича на предложение поставить «Бориса Годунова». Репетиции начались тотчас. Все дела — в сторону. И опять спешка:

основную работу по разучиванию заглавных партий нужно сделать в неделю... А Таня — близкий, дорогой человек, о котором Савве Ивановичу приятно знать даже малости.

Мемуаристы — большие любители перетянуть одеяло на себя. Так, Коровин умудрился вспомнить, что на венчании Шаляпина это он держал корону над головой Федора Ивановича. А что «вспомнил» Шаляпин о Рахманинове в двух книгах? Как ездили к Льву Толстому и как Сережа волновался: «Руки у меня совсем ледяные». Единственная живая картина. Сказано, правда: «замечательный пианист», «несмотря на сухой, хмурый вид» — «человек детской доброты», «любитель смеха».

А между тем Рахманинов — это высшее музыкальное образование Шаляпина, консерватория, преподанная за одно лето. Сергей Васильевич в Путятине разобрал с Шаляпиным клавиры «Юдифи», «Моцарта и Сальери», «Бориса Годунова». И главное, привил Шаляпину взгляд на оперу как на единое музыкально-симфоническое произведение. С той поры Федор Иванович никогда уже не учил партий, он выучивал всю оперу. Вот он откуда, знаменитый шаляпинской вкус. Артист нутром понял, как оно мелко, актерское трюкачество, придумывание поз, деталей. Все это необходимо для роли, но исходить надо из музыкального образа всего произведения. Броская деталь может быть неприемлемой, если «не вытекает из музыкального содержания».

Рахманинов утвердил в Шаляпине веру в главенствующее значение ритма, первые уроки ритмики артист получил от Направника, но какова подлинная цена этим урокам, он узнал от Рахманинова. Эмоциональное, философское значение музыкальных интервалов — пропасти и полеты молчания — стали для Шаляпина величием его художественного мастерства, тайной его искусства.

Шаляпин был великим учеником.

Из Путятина он ездил в деревню к историку Василию Осиповичу Ключевскому поучиться древностям российским. Ученый встретил Шаляпина ласково:

— Слушал и видел вашего Грозного. Согласен. Кое-что мне, грешному, открылось, чего не знал.

Василий Осипович говорил, чуть посмеиваясь, смотрел из-под очков, не пронзая взглядами, не умничая, но с такой искренностью, с такой доверчивой глубиной, что у Федора Ивановича дух перехватывало. Брякнул, краснея за невежество свое:

— Вот за Бориса Годунова взялся. Помогите. С Грозным было проще.

— Грозный — проще, — согласился Василий Осипович. — Пойдемте-ка под сень дерев. Там и подумаем вместе.

Сосновый бор стоял на песке. На песке сосны хорошо растут. Песчаная, но твердая дорожка вывела на поляну. Белую, слепящую.

— Ромашки, — ласково улыбнулся Василий Осипович. — А Годунов — зеркало. Он ведь слуга. Слуга! Царем, даже сидя на троне, только притворяется. Слуга привычен отражать образ Хозяина. Вот уж и сам стал Хозяином, а все равно отражает. Иное дело Шуйский...

Василий Осипович повел головою, переменил взгляд, и Федор Иванович увидел Шуйского... А Василий Осипович очки пальчиком подsunул вверх и засеменял тропинкою в бор, звал за собою взглядами, словно клад собирался показать.

— У Пушкина в «Годунове» Варлаам — ключевая фигура, — сказал неожиданно и засмеялся. — «Ключевая»... Ключевский... Варлаам у Пушкина — это народ наш русский. Варлаам пьет, но он — большой умница. Историю творят самозванцы. Годунов ведь тоже самозванец, а терпеть Варлааму. Ему надо исхитриться в очередной раз пережить Годунова, как пережил Грозного, пережить Самозванца, как пережил Годунова... До истины дотянуть, до истинного, до справедливого царя, до счастья России...

День с Ключевским — все историческое образование Шалапина. Но кто живет и мыслит образами, за день может получить не меньше, чем за пять лет слушания лекций.

Образ сродни шаровой молнии. Шарик невелик, а энергия в нем чудовищная. Энергия и тайна.

«Моцарта и Сальери» Федор Иванович репетировал со Шкафером. Образ Сальери не сложен для исполнения, но громадность этой сколь зловещей, столь и человеческой фигуры зависит от степени таланта исполнителя.

Сальери весь в первых же строках драмы:

«Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет — и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма».

Сия тирада — есть приговор собственной вечной душе. Здесь вся гордыня человеческая, суд над Богом.

Пушкинский текст маленькой трагедии органично лег в русло речитативно-аризозного стиля музыки композитора, ее мелодическая ткань чутко следила и следовала за малейшими изгибами текста. Сложное оркестровое сопровождение, включающее великолепную моцартовскую импровизацию, выразительно подчеркивало вокальный рисунок двух контрастных героев.

Но публика, воспитанная на итальянской опере, еще не готова была к восприятию такой музыки, лишенной внешнего блеска и виртуозного вокала. Шаляпин не без горечи вспоминал: «С огромным волнением, с мыслью о том, что „Сальери“ должен будет показать публике возможность слияния оперы с драмой, начал я спектакль. Но сколько я ни вкладывал души в мою роль, публика оставалась равнодушна и холодна».

Русские композиторы вынуждены были творить ради будущего, преодолевая вельможность императорской сцены и саму публику, для которой оперный театр был местом показа туалетов, кавалеров, новеньких красавиц... Но сцена была сценой в оперном театре, сценой были ложи и бельэтаж. А о балете и говорить нечего. Не только кавалергарды, но великие князья, наследники и даже самодержцы то и дело попадали в сладкий плен танцовщиц...

«Я терялся, — писал о своем Сальери Шаляпин. — Но снова ободрили художники. За кулисы пришел Врубель и сказал: „Черт знает, как хорошо! Слушаешь целое действие, звучат великолепные слова, и нет ни перьев, ни шляп, никаких ми-бемолей!“»

Новому искусству был нужен новый служитель, новый зритель.

Впрочем, критика понимала, Сальери Шаляпина — великое искусство.

Публика, может, и досадливо, но на спектакль являлась: не пропускать же Шаляпина!

«Искренне признателен Вам за сообщение о впечатлении, сделанном Моцартом и Сальери, — писал Римский-Корсаков Мамонтову 1 декабря, — радуюсь, что он Вам нравится. Интересно бы знать, как прошло 2-ое представление, как пройдут последующие, когда придет в театр „рычун“ по Вашему выражению. Думаю, что ему это будет не по вкусу».

Вот уже более ста лет минуло, а опера живет себе, она прочно заняла свое место в отечественном репертуаре. «Рычун», может быть, и ворчит, но актерам соблазнительно снова и снова предстать в образах Сальери и Моцарта. И публика покорно является, ради любимых актеров, ради Пушкина, ради Римского-Корсакова.

Николай Андреевич становится почитаемым и наиболее исполняемым композитором в Мамонтовской опере.

Савва Иванович пел «Старого капрала»: спокойно, с угрюмой ворчливостью, через которую так сквозила солдатская отцовская любовь к молодым новобранцам.

В ногу, ребята, идите,
Полно, не вешать ружья,
Трубка со мной... Проводите
В отпуск бессрочный меня.

Солдатикам страшно, на расстрел ведут своего капрала, офицера-грубияна поучил. Солдатикам лихо, и потому нежданно весело, задиристо звучит припев:

В ногу, ребята! Раз-два!
Грудью подайся!
Не хнычь, равняйся!
Раз-два! Раз-два!

Праздновали открытие сезона. Ремонт Солодовниковского театра затянулся, первый спектакль «Садко» был сыгран только 22 ноября. 23 ноября шла «Юдифь» с Шаляпиным в роли Олоферна.

Иудифь, дочь Мерарии и сына Окса, вдова Манассия, возложившая после смерти мужа вретище на чресла свои, скинула вретище ради спасения родного города Ветелуи от ассирийского полководца Олоферна, намастилась благовонной миррой, оделась в одежды веселия своего и, блистая красотой, явилась в лагерь ассирийцев, очаровала простодушного полководца, прельстила, споила и его же мечом снесла ему голову.

Шаляпин искал рисунок роли, ухватился за нечаянную подсказку Серова. Для Валентина Александровича эта опера была служением памяти отца. Он не только писал декорации и придумывал костюмы, но режиссировал. Однажды за чаепитием у Мамонтовых поставил полоскательницу на голову и, повернувшись к Шаляпину в профиль, расставил согнутые в локтях руки, окаменел.

— Смотри, Федя. Так владыка ассирийских полчищ демонстрировал свое величие.

Принесли «Историю Ассирии» Парри, рассматривали барельефы, и Шаляпин загорелся. Его Олоферн — это последовательный ряд величавых каменных поз.

Серов попробовал отговорить от затеи. Но то, что делал Шаляпин, было по-шаляпински превосходно.

Потому и праздновали.

— Нынешний сезон для тебя, Феденька, право, великий, — сказал Савва Иванович. — Послезавтра ты у нас Сальери, еще через недельку — Борис Годунов. Частная опера — это твой театр. Сокровищница открыта, бери любую драгоценность, являй белому свету. Пусть горит, сияет к общей радости. Главное, русское не забывай, не обходи. Тебе все подвластно в музыке, но ты из рода Антея: оторвешься от родной земли — потеряешь силушку.

Премьера «Бориса Годунова» прошла в Частной опере 7 декабря 1898 года. После генеральной репетиции Мамонтов приказал снять сцену под Кромами. Артисты восстали, и Савве Ивановичу пришлось отступить. Он писал Римскому-Корсакову: «Эта картина на генеральной репетиции произвела на меня тяжелое впечатление. Надо отдать справедливость Лентовскому, который занимался постановкой действия. Он довел сцену разнузданности толпы до отталкивающей реальности. Топоры, колья, всклоченные грубые мужики рвут кафтан с Хруцова в клочья, бабье визжит... словом, на меня пахнуло таким сиволдаем, что я запротестовал решительно и потребовал вырезать совсем эту картину. К тому же строгое отношение к театру со стороны блюстителей порядка подсказывало осторожность. Решено было не давать ее, но держать наготове; так как опера до этого действия шла с огромным успехом, я склонился на убеждения и согласился дать эту сцену, но значительно смягчив грубый тон... Сцена исполнена была очень старательно, хор пропел прекрасно... Юродивый (Шетилов) был недурен, то же можно сказать и об иезуитах (Малинин и Комаровский). Секар проехал на коне, за ним масса войска — все прошло гладко. А успеха не было. Два-три хлопка, и все затихло. Пусть сердятся на меня, но я решительно при всем моем искреннем сознании огромного таланта Мусоргского сцену эту более давать не буду».

Римский-Корсаков с Мамонтовым не согласился: «Пусть публика приучается и поучается, — писал он мягко. — Публика попросту не раскусила трогательное пророчество Юродивого... Не следовало бы, глубокоуважаемый Савва Иванович, пропускать эту картину».

Мамонтов, видимо, так и не понял всей глубины «Бориса Годунова».

Не понял, что в этой опере главные герои народ и царь.

Умом не понимал этого и Шаляпин, но истину о двух героях он преподносил зрителю магической силой интуиции. В конце концов пожелал взять на себя обе эти роли. Исполнять не только царя Бориса, но и Варлаама. В песне бедолаги монаха «Как едет ён» Федор Иванович выговаривал печаль о собственной прежней мытарской жизни, о несчастной жизни отца своего, матери своей, о всем неустройстве русского народа на родной русской земле. Но великому певцу и этого показалось мало, он начал петь еще и Пимена, делателя истории и одновременно памяти и высшего суда над царем и народом. Суд этот в правде, в неприкосновенной правде ради потомков.

Постановка «Бориса Годунова» была явлением такого порядка, что выводила Частную оперу в число театров мирового значения. И никто в этом прекрасном театре не ведал, кроме одного, что подлая интрига приготовила сокрушительный удар по детищу Мамонтова.

Судите сами. 7 декабря — день триумфа «Бориса» и Шаляпина, а через пять дней, 12 декабря, Шаляпин совершил... предательство. Он начал в Частной опере с роли Мефистофеля — покупателя душ, а кончил тем, что сам соблазнился, за деньги.

Управляющий московскими императорскими театрами, Большим и Малым, Владимир Аркадьевич Теляковский, чтобы нечаянно не спугнуть драгоценную дичь, действовал через своего чиновника, очень ловкого господина Нелидова. Тот пригласил Шаляпина в «Славянский базар» всего лишь на завтрак. Вино было подано самое дорогое, яства изысканные, похвалы говорились по-ученому, и никаких предложений — упаси Боже! Хорошим людям после разлитого застолья расстаться всегда трудно. Ну как это — встали и разошлись! Не по-человечески и уж совершенно не по-русски. Продолжать питье поехали домой... к Теляковскому. Владимир Аркадьевич был сыном знаменитого военного инженера. По учебникам фортификации Аркадия Захаровича училась вся Европа. Сам он был генерал-лейтенантом, врагом ученой схоластики, насаждения неметчины в русской армии. Его теория на славу поработала в Севастополе, но вот Тотлебен был его противником и не только убрал генерала из армии, но отстранил и от преподавания. Сам Владимир Аркадьевич тоже был военный, кавалерист, дослужился до полковника, вышел в отставку и в мае 98-го года получил назначение управлять московскими царскими театрами.

К Федору Ивановичу, к гостю дорогому, вышла супруга Владимира Аркадьевича Гурли Логиновна.

— Я не только поклонница вашего таланта, Федор Иванович, —

сообщила она, — я влюблена в искусство Константина Александровича Коровина. Он ведь друг вам?

— Самый близкий, — согласился Федор Иванович.

— Сплю и вижу, когда сцена Большого театра — а ведь это воистину Большой театр! — озарится и засверкает декорациями вашего товарища, а вы, несравненный Федор Иванович, возьмете в руки всё это многоярусное строптивное чудовище, и оно замрет от одного движения вашей длани, ваших глаз, умрет от восторга, слушая ваш голос.

Контрактик был уже приготовлен и после новых тостов, славословий поднесен Федору Ивановичу. Глянул «царь Борис» в бумагу, и блаженная теплота разлилась по его большому телу. Контракт на три сезона: в первый год оклад — девять тысяч, во второй — десять, в третий — одиннадцать. Мамонтов дает только семь да еще неустойку вычитает. А какова неустойка у Теляковского? — Тридцать пять тысяч!

Упало сердце у Феденьки. Девять тысяч, одиннадцать тысяч, но на попятную уже не сметь.

— Эх-х! — вскипело ретивое.

Принял перо, придвинул красивую бумагу, чувствуя себя счастливым подлецом. Спыхватился:

— У меня условие! В театре вашем одному не сладко придется. Принимайте Мельникова и Коровина. Мельников режиссер умный, мы с ним понимаем друг друга. А Коровину давно пора иметь под рукой все, что надобно большому художнику, а не то, что оторвет от себя Савва Иванович.

Предательство было похоже на сговор. Одним из пунктов договора была тайна контракта до самого дня вхождения его в юридическую силу, до 23 сентября 1899 года.

А что в том плохого — в Большом театре петь?! — успокаивал Феденька совесть. Разве свет клином на Частной опере, на преподобном Савве Ивановиче сошелся? Плохо ли, если Шаляпин желает для себя иной участи, иной славы, иного звания? Желает быть артистом Императорского театра, первым в этом театре и еще множество чего желает: домов, земель, шуб, выездов, шушуканья, сплетен, чтоб и в царской семье о нем, о Шаляпине, говаривали. И восторгов, восторгов! Ну, где тебе, Савва Иванович, взять всего этого для Феденьки? А главное в другом. Таких денег, какие предложил Теляковский, испокон веку в России басам не плачивали. Большие деньги отваливали тенорам. Это да! Но чтоб басу, да ведь и басок-то далеко не стенобитный. Стало быть, нужен, стало быть, хорош, каков есть, ибо — Шаляпин!

Из песни слова не выкинешь.

Ревностно бережем мы славу своих кумиров, не желая знать о них унижающей их правды. Шаляпин великий певец, но человеческий его уровень не дотянулся до его артистических вершин. На товарищеских пирах, когда приходило время деньги доставать, больше «тройка» у него не оказывалось. Себя позволял угощать. Гулять гулял, но всегда на чужие. Горькие слова сорвались у Коровина о друге Феденьке в парижской эмиграции: «Прошло то время, когда милый Федя Шаляпин жил в Гурзуфе по месяцам на моей даче, и Анна Яковлевна расстилалась услужить ему и его большой компании пирожками с визигой. Теперь не то, теперь Федор Иванович за один спектакль получает втрое больше, чем я зарабатываю в год... Как бы милый храбрый Федя не заподозрил меня, что я попрошу у него сто франков займа...»

Нужно ли знать о великих людях всю правду? Сомнение — от лукавого, но другая истина — не сотвори себе кумира — от Бога. Из людей безгрешен один Иисус Христос. Театральный секрет долго не удержишь. Еще задолго до репетиций с новыми партнерами, с хором, с оркестром узнал Савва Иванович о поступке Шаляпина.

23 января 1899 года Кюи пишет в ответ на сообщение Мамонтова о постановке «Богемы» «новости» о Шаляпине и о работе над оперой Цезаря Антоновича «Анджело». «Ваше распределение ролей мне кажется великолепным, — радуется композитор. — Талант Черненко я высоко ценю. *Жаль мне Шаляпина*. Ну, да что делать. Оленина совсем не знаю, но раз он выбран Вами, не сомневаюсь, что это талантливый актер. „Богема“. Бытовые сцены и жанровые представляют винегрет из пестрых фразок, механически смешанных с собою. Лирические сцены приводят каждые пять минут к воплям на высоких нотах с развалом оркестра. На всем лежит печать пошлости и грубости. А все же Пуччини человек талантливый»...

Кюи не видит большой трагедии в уходе из театра Шаляпина, композитор не Савву Ивановича пожалел, а Феденьку...

Но общественность всполошилась.

Станиславский объявил сбор средств на выкуп Шаляпина из плена Большого театра. Деньги собирали, но сам-то Савва Иванович поставил на Шаляпине жирный крест, ни копейки не дал на выкуп. Шаляпин — это Шаляпин, но Частная опера — это Частная опера. Потерю переживет. На шаляпинские роли Мамонтов пригласил Владимира Аполлоновича Лосского.

Стасов ликовал, новые постановки ему очень нравились. Кюи, рецензируя спектакли, указывал, что Московская Частная опера «велика и

обильна и порядка в ней много, — до такой степени исполнение ее дружно, обдуманно, твердо, гармонично».

Даже Римский-Корсаков признал: «Оркестр и ансамбль очень удалось подтянуть». Николай Андреевич уже передал театру свою одноактную оперу «Вера Щелога» и вел переговоры о постановке «Царской невесты». Заглавную роль Марфы композитор написал для Забелы-Врубель. Видимо, какая-то кошка все же пробежала между Саввой Ивановичем и Николаем Андреевичем. На одной из репетиций композитор вспылал.

— С Мамонтовым работать невозможно, — заявил он во всеуслышание. — Декорации, картины, красивые тряпки и полное пренебрежение к грамотному исполнению музыки. Опера, господа, — музыка!

Но на сердитое письмо Римского-Корсакова Савва Иванович ответил из Москвы искренне и доброжелательно: «Вы знаете, дорогой Николай Андреевич, что всякий Ваш приезд — праздник для Частной оперы... Зачем же Вы обижаете меня, говоря, что Ваше отсутствие (видимо, присутствие. — В. Б.) на репетициях может быть против моего желания?.. Вы знаете, что Частная опера, к сожалению, не изобилует деятельными и толковыми руководителями, а ведь к искусству всякого приказчика не приставишь. Вы, конечно, видели, что значительную часть активной распорядительной работы мне приходится вести самому. Плохо ли, хорошо ли, но дело движется и достигает чего-то. В последний сезон в три месяца в Москве в 105 спектаклях перебивало 160 000 слушателей. Это все-таки кое-что. Когда мне указывают на нехватки, на ошибки, не обижаюсь и откровенно признаюсь, что я не безошибочный папа... Конечно, я не бесхарактерный человек и подчас отстаиваю мое мнение, да разве это позорно? За бездарного человека, хоть будь это мой брат или сын, я ломать копий не буду — таков мой девиз в искусстве... Ваши творения я ценю очень высоко...»

Слова эти — от души.

Римский-Корсаков это понял и оценил.

Вспышки интеллектуального гнева обрушивались на Савву Ивановича от самых близких друзей, неожиданно, несправедливо. Так Илья Ефимович Репин после долгой разлуки приехал в Москву, был приглашен на «Хованщину», пришел от спектакля в ярость. Наговорил Савве Ивановичу много обидного и уехал со спектакля. Опамятовался только уже в поезде.

«Меня мучает совесть, — писал он на другой день, — что я уехал, не простившись с Вами, да еще наговорил Вам (таких злых) вещей по поводу исполнения „Хованщины“. Это вместо той благодарности, которую я

чувствовал к Вам все время, живя у Вас, наслаждаясь, кроме комфорта, и превосходными созданиями искусства, которые я нигде бы никогда не увидел, если бы не попал в Москву теперь, по Вашему понуканию»... И далее следовал чисто репинский поток восторгов и восхвалений: «Я люблю Вас, как всегда любил и бесконечно восхищаюсь Вашей талантливостью и разносторонностью и тем неиссякаемым ключом кипучей жизни, которая меня всегда освежает и восстанавливает, как здоровый душ...»

Ударил в самое сердце, но извинился. И на том спасибо.

Шаляпин за свой поступок переживал. Помчался в Петербург к директору императорских театров Всеволодскому, но тот перешел уже в Эрмитаж, и разговаривать пришлось с новым директором, князем Волконским. Просил помочь Частной опере Мамонтова, просил отпустить обратно в Частную оперу. И Теляковского просил, даже 21 сентября, за два дня до своего дебюта в Большом. Не отпустили... Но восшествие Шаляпина на престол русского оперного искусства состоялось, и заслуга в этом Саввы Ивановича первостатейная.

Коровин, Костенька, тот вовсе о переходе в Императорский театр даже не сообщил, в это время работал в Париже, украшал русские павильоны Всемирной, заключающей XIX век, выставки.

Кого больше всего любил Савва Иванович, те и предали, и его, и его дело. Но само дело шло вперед. Мамонтов решил распрощаться с иностранными помощниками.

Итальянцы Бевиньяни, Эспозито, Труффи, чех Зеленый были хороши для постановок итальянских опер. Короткая работа Рахманинова многому научила Савву Ивановича. Решился заполучить для Частной оперы обязательно русского и обязательно замечательного музыканта. Выбор пал на Ипполитова-Иванова. Михаилу Михайловичу было сорок лет, ученик Римского-Корсакова, профессор Московской консерватории, композитор, написал две оперы, «Руфь» и «Азра», хорошо знал не только русскую, но и грузинскую музыку, музыку Востока.

Летом 1899 года Ипполитов-Иванов отдыхал в имении Зарудных недалеко от станции Лозовой. Савва Иванович ехал в Севастополь и буквально украл Михаила Михайловича. Пригласил для переговоров в свой вагон, а поезд и тронулся. Билет до Севастополя Михаилу Михайловичу был куплен заранее, жене Варваре Михайловне отправлена телеграмма о насильственном увозе мужа. Но речь-то шла о постановке «Царской невесты», оперы любимого учителя, о судьбе русской музыки. Михаил Михайлович если и негодовал, то недолго. Дал согласие возглавить Частную оперу.

Этот «увоз» профессора был счастливым для русской музыки, и это еще один подарок Мамонтова всей нашей культуре.

Частной опере Ипполитов-Иванов служил до самого ее конца. Вот список опер, которые он поставил, которыми он дирижировал с осени 1899 года по январь 1904 года: «Царская невеста» Римского-Корсакова, Пролог к опере «1812 год» Калининкова, «Громобой» Верстовского, «Кавказский пленник» Кюи, «Ожерелье» Кроткова, «Мазепа» Чайковского, «Сын Мандарина» Кюи, «Ася» Ипполитова-Иванова, «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова, «Чародейка» Чайковского, «Вильям Ратклиф» Кюи, «Тангейзер» Вагнера, «Купец Калашников» Рубинштейна, «Пиковая дама» и «Черевички» Чайковского, «Тушинцы» Бларамберга, «Руслан и Людмила» Глинки, «Сарацин» Кюи, «Иоланта» Чайковского, «Кащей бессмертный» Римского-Корсакова, «Страшная месть» Кочетова, «Сказание о граде великом Китеже и тихом озере Светлояре» Василенко, «Вертер» Массне, «Мадемуазель Фифи» Кюи, «Дети степей» и «Горюша» Рубинштейна, «Манон Леско» Пуччини.

Из двадцати семи опер только три иностранные. Ипполитов-Иванов ставил и дирижировал всеми, кроме «Вертера» и «Горюши». Таков его первый вклад в русскую оперу, таковы труды Частной оперы. А ведь мы указали только премьеры, были еще и повторения знаменитых опер Мусоргского, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Бородина, Глинки, зарубежных композиторов.

Мамонтов не простил предательства ни Коровину, ни Шаляпину. Федор Иванович нигде об этом не говорил, но душой за старое болел. В книге «Маска и душа», написанной в эмиграции за пять лет до смерти, Шаляпин не раз помянул Савву Ивановича Мамонтова добрым словом. Федор Иванович никогда не забывал, кто взял его за руку и по ступеням великих русских опер возвел так высоко и так надолго.

«Я думаю, что с моим наивным и примитивным вкусом в живописи, я не сумел бы создать те сценические образы, которые дали мне славу... У Мамонтова я получил тот репертуар, который дал мне возможность разработать все особенные черты моей артистической природы, моего темперамента. Достаточно сказать, что из 19 ролей, созданных мною в Москве, 15 были роли русского репертуара, к которому я тяготел душою». Биографы подсчитали и уточнили: в Частной опере Шаляпин создал 21 роль, 17 из них — в операх русских.

Последние слова книги-завещания обращены к Савве Ивановичу «И вспоминается мне Мамонтов, — написал Шаляпин 1 марта 1932 года в

Париже. — Он тоже тратил деньги на театр и умер в бедности, а какое благородство линии, какой просвещенный, благородный фанатизм в искусстве! А ведь он жил в „варварской“ стране и сам был татарского рода. Мне не хочется закончить мою книгу итогов нотой грусти и огорченности. Мамонтов напомнил мне о светлом и творческом в жизни. Я не создал своего театра. Придут другие — создадут. Искусство может переживать времена упадка, но оно вечно, как сама жизнь».

С именем Мамонтова на устах заканчивал свои счета с искусством великий Шаляпин. Это больше, чем покаяние перед памятью учителя. Это — указание пути.

11

Русская опера, так бурно пестованная Саввой Ивановичем, жива и царствует на русской сцене. Пришла к другим народам, пересекла океаны. Искусство оперы, пение, песня — явления знаковые в национальной культуре.

Русская музыка родилась на родной земле и вскормлена ее народом. Великий Глинка любил повторять — музыку создает народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем.

Шестьдесят лет тому назад великая песенная душа России — Федор Иванович Шаляпин народу кланялся за всю мировую славу свою: «Я считаю знаменательным и для русской жизни в высокой степени типичным, что к пению меня поощрили простые мастеровые русские люди и что первое мое приобщение к песне произошло в русской церкви, в церковном хоре».

Русский человек тем и отличен от европейца, что один не живет и не жилец. Прежний русский человек с младенчества был в хороводе, в общинном или в семейном труде, и не на свою одинокую молитву уповал, а на приходскую, на совместную песнь Богу.

Молитва наших праотцов была согласной и единой, как дыхание Адама. Не корабль в океане света, но сам океан.

Красотой соблазнились наши предки. Сокровище православного богослужения — чистое золото — поменяли «на блеск стеклянных бус». Запели в царствие Алексея Михайловича с чужого голоса — вызвали в мир Петра Великого. Ввергнутая в раскол, Россия сохранила Православие, веру в святую силу соборного моления. И звенели колокола над русскою землей, и весь народ пел в храмах славу Господу.

Как об истине, не требующей пояснения, Шаляпин говорит о своем благодарении народу: «Русские люди поют с самого рождения. От колыбели, от пеленок. Поют всегда. По крайней мере, так это было в дни моего отрочества». И горькое недоумение: «Народ, который страдал в темных глубинах жизни, пел страдальческие и до отчаяния веселые песни, что случилось с ним, что он песни эти забыл и запел частушку, эту удручающую, эту невыносимую и бездарную пошлость? Знаю только, что эта частушка — не песня, а сорока, и даже не натуральная, а похабно озорником раскрашенная. А как хорошо пели... Одержим был песней русский народ и великая в нем бродила песенная хмель».

Чуткое ухо Шаляпина уловило самые первые признаки песенной немочи русского народа. Частушка — дитя фабрики, века машин. Перекрывая грохот челноков, гомон толпы, частушка кричит о своем на всю ивановскую, ножом по сердцу режет... По роду своему она злая, но родившись среди доброго племени, преобразилась. Она печаль, она любовь, но прежде всего она — смех. Это предел отчаяния — отвечать порабощенным смехом. Потому и забыл фабричный люд долгие песни. Смех — как ножик за сапогом, им орудуют быстро. Плакать тоже коротко научились. Капнула слеза — и довольно.

Дома с полем уберутся
И сидят, как господа,
А я фабричную работу
Не закончу никогда.

Вот что пели на мануфактуре Саввы Морозова.

Господи! Почернело бы сердце Шаляпина, если бы знал, что случилось с его поющим народом.

У поющего народа — душа объята любовью. Народ умолкший — старик, глядящий в гроб. Русский народ — верую, Господи! — не умолкший, а только молчащий. Птицы тоже несут перед великой грозой. Потом идет дождь, и так дышится легко!

Перед великой ектеньей дьякон умолкает, набирая в грудь воздуха.

Песенная немота нашего народа заказная. Это только так кажется, что сама жизнь убила песню, а читать-то надо — душу. Сколько в том собственной вины, тут и говорить нечего. Скорбь, скорбь!

Народ наш пел и в радости, и в горе.

Даже революция у песенного народа была песенная. Черепа дробили, а

пели с притопочкой: «Эх, яблочко, куда ты котишься!» Хватала за душу «Там вдали за рекой»...

Сельскую жизнь вздыбили до основания, а пели еще веселей: «Дайте в руки мне гармонию, золотые планки». Великая Отечественная война — это не только «Вставай, страна огромная», это — «Смуглянка-молдованка», это — «Соловьи, соловьи», это — «Синий платочек».

Конферансье любили поминать историю нашу песнями: «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц», «Станем новоселами и ты, и я», «Дорога железная, как ниточка, тянется»... Но вспомните хоть единую песню Перестройки или августа 1991 года...

Частушек сколько угодно. И ни одной песни. Никакой головоломки здесь нет. Все, что делалось, — делалось против русского народа. От его имени, как всегда, но во зло ему, и, хоть почитают его умные народы дураком, он знает, видит, терпит. У него нет пушек, у него одна частушка, и он кричит эту частушку в лицо новым хозяевам, себя тоже не щадит:

Раньше пили каждый день,
А теперь с полочки.
Этот с пятнышком на лбу
Нас довел до ручки.

На то они и частушки, чтоб правду говорить. Всю правду...

У русского народа давно нет своих песен. Чужие поет, к себе принаравливая.

Мы обольщаемся, если думаем, что язык наш, русский, великий и могучий, жив. Он умирает, как умирает наша русская песня. И может умереть, если мы всем народом не вернемся на землю, не возродим деревню — наши родниковые истоки.

Первый удар по деревне, из самых лучших побуждений, думая о здоровье народа, о богатстве семьи, нанес... Столыпин. Он, насаждая отруба, изымал крестьянина из общества, превращал в зажиточного, в работающего бирюка. Бирюки не поют, бирюки воют.

Реформа столыпинская, но идея заемная, идея Витте.

Надругательство Сталина над русским крестьянством равносильно вавилонскому пленению, но Сталин, перерезав пуповину старой жизни, сотворил из единоличника колхозника. И народ, выживая, запел. Иные песни. Но запел. И если кто-то усмехается, почитая песню миражом, то Бог ему судья.

В Крыму знал я одного председателя, Гаврилина, из рязанских мужичков, без образования. Когда его прислали в обнищавший колхоз, который легче было бросить, чем восстановить: ни воды, ни скота, людей горстка — он начал с песни. В приказном порядке — уж такие это были времена — устроил хор. Через десять лет в этом поющем колхозе дети учились играть на фортепьяно, рисовали, занимались танцами и балетом в классах с зеркалами во всю стену. Таких процветающих хозяйств в Крыму, с театрами, с картинными галереями, были десятки. И все их богатство стояло на песне, на хорах. В хор собирались нищие, но распевшись, даже и не замечали потом, что женщины все в золоте, а мужчины все с машинами, с особняками. Смешно сказать, особняки навязывали, не больно в них шли, предпочитая жить в квартирах.

Шаляпин является в свет, видимо, лишь один раз. В 1922 году он покинул Россию, но традиции его сохранились и приумножились, а оперное искусство пошло в народ. Утешением русскому сердцу были братья Пироговы, знаменитые Александр и Григорий и менее известные Алексей и Михаил; Василий Родионович Петров, Иван Иванович Петров (Краузе), Максим Дормидонтович Михайлов, Александр Павлович Огневцев, Марк Осипович Рейзен. Все это великолепные басы, потрясавшие души слушателей не только со сцены, но и по радио. Радио делало певцов своими людьми в каждом доме.

Была эпоха воистину русских теноров Ивана Семеновича Козловского и Сергея Яковлевича Лемешева. Эпоха изумительно искреннего и чистого поклонения певческому дару.

Незабвенен голос Надежды Андреевны Обуховой, меццо-сопрано. Ее пение знало неведомые глубинные тайны бытия, но оно было согрето любовью, оно светило.

Народ не чаял души в песнях Лидии Андреевны Руслановой, обожал хрипотцу Леонида Осиповича Утесова, хотя эти величины в искусстве несравнимые.

«Синий платочек» Клавдии Ивановны Шульженко был воином в Великую Отечественную. Таким же воином-вдохновителем и самим памятником русскому духу стал Краснознаменный ансамбль Александрова.

Пели «Катюшу» Михаила Исаковского и другие его песни, пели песни Алексея Фатьянова.

Во время войны и когда страна поднималась из руин, песни были вторым солнцем для нашего народа.

Но отторжение на десятилетия церковного пения, православной музыки — потеря великая, ибо здесь живет вечность. Сейчас

восстанавливается эта огромная прореха на самой душе нации. Сотни и тысячи православных хоров, ежегодные фестивали православной музыки — это вехи надежды. Народ должен вернуться к своим истокам, петь свои песни, сочинять свои песни.

Мы, русские, — певческий народ. Пой, Федя! Пойте, Иван да Марья! Пойте, Василиса с Василием — царственные люди. Споем собором всей земли нашей до слезы на глазах. Споем едино, чтоб враги сокрушились. Споем детям нашим, пусть спят сладко, сны видят легкие, пусть вздыхают блаженно от материнской ласки, от отцовской могучей и нежной любви.

— Пой, Федя, пой!

И обретем все, что у нас отобрано: душу, землю, самих себя.

Ну, потихонечку: «Пой, Федя, пой!»

За что уничтожили Мамонтова

1

Отправляясь на утренний моцион, пить воду, Савва Иванович прихватил томик Пиндара. Лечиться всегда скучно, особенно за границей, но Савве Ивановичу нравились и скука, и Карлсбад и мудреный Пиндар.

Любуясь колоннадой Мюльбрунна и Шпруделя, Савва Иванович открыл томик и прочитал не без удовольствия:

Нестерпимая боль, укрощенная, умирает,
Заглушаясь радостями удач,
Когда Доля, ниспосланная от Бога,
Возносит наше счастье до небес.

Вспомнил вдруг Авилова, директора гимназии, — врага своего, и пожалел, что так скверно учил древние языки.

К нему подошел незнакомый человек, коснулся рукою полей шляпы, а потом, как бы спохватясь, снял, поклонился, сказал почти заговорщицки:

— Сегодня мне удалось узнать — я это проверил — температура термы Шпруделя с 73,8 градуса упала на две десятые!

— И что следует из этого?

— Перемены, Савва Иванович! Простите, мы не представлены. Мое имя для вас несколько не интересно, мелкий человек. А вас знаю, потому как не знать Мамонтова — наглость. Кстати говоря, Алексей Семенович Суворин сочувствует всем вашим великим делам и начинаниям, несмотря на то, что вы доставили ему нынешней весной серьезные неприятности. Впрочем, не берите мою болтовню в голову... Я из одного глупого тщеславия позволил себе заговорить с вами. Мы — песок истории, а вы — бриллиант. Испаряюсь, господин Мамонтов, испаряюсь!

Савва Иванович вины перед Сувориным за собой не чувствовал. Амфитеатров из «Нового времени» ушел по своей воле. Был всего лишь московским фельетонистом «Нового времени», а теперь он редактор. Алексей Семенович должен бы радоваться, как ценят его сотрудников, как они растут.

Знать бы Савве Ивановичу, что писал Суворин в своем дневнике.

«26 марта 1899 г. Вчера слышал, что Мамонтов с Морозовым затевают газету с капиталом 250 тысяч на первый год. Сотрудникам жалованье платят вперед на 9 месяцев. Хотят сыграть на неудовольствии против „Нового времени“ и спешат. Приглашали Амфитеатрова в редакторы.

27 марта. Амфитеатров ушел из газеты, написал мне обидное и фальшивое письмо.

26 апреля. „Россия“ Амфитеатрова выйдет 28-го. Купцы во главе с Мамонтовым подписались на 180 тысяч. Но денег Амфитеатрову не дали».

— Вот она, дань известности, — бурчал Савва Иванович, болтовня незнакомца поселила в душе необъяснимую, раздражающую тревогу.

Дома ждали письма. От Воки и от Пасхаловой.

— Что там птичка-певунья нащебетала? — Савва Иванович открыл надушенный конверт.

Фотография. Милое улыбающееся лицо. Ничего не скажешь — красивых женщин рождает русская земля. Письмо было совсем коротенькое: «Меня страшно мучит вопрос, на который Вы мне положительно ни разу не ответили: буду ли я служить у Вас?.. Я теперь начинаю учить Травиату, потом Офелию... Страшно соскучилась об сцене и опере... К тому же мне так хочется всех увидеть и зажить какой-то новой жизнью, что я сплю и вижу, когда выеду...»

Савва Иванович улыбался. Приятно, когда служить в Частной опере — спят и видят. Впереди — «Царская невеста», «Громовой» Верстовского, «Кавказский пленник» Кюи и нечто свое собственное: «Ожерелье». Музыка Кроткова, либретто Мамонтова. Да-с! Да-с!

Подержал в руках письмо сына, но не вскрыл. У Воки на уме, как и положено директору, — железные дороги, а хотелось подумать об искусствах, о том, что сделано только им, Саввой Грешным. О своем даре XX столетию. Превосходный XIX превосходнейшему XX, и наш пострел тоже кое-что успел.

Дурное впечатление от утренней встречи развеялось, Савва Иванович решил посмотреть последний акт «Ожерелья». Сюжет древнегреческий... Для вдохновения, для разбега мысли открыл сборничек Пиндара: «Над вращением людского ума несчетные нависают заблуждения».

Повернул несколько страниц: «Пагубное пресыщение сламывает острие торопливой надежды, слух о чужих подвигах больно ложится на скрытные умы, пусть! Лучше зависть, чем жалость».

— Не обо мне ли это сказано? — усмехнулся, открыл еще одну страницу: «Люби и служи любви, пока дано тебе время; не гонись, душа, за

счетом старческих тягот»... — Молодцы были древние греки! Молодцы!

Писал, держа Пиндара в голове, а в сердце великий, канувший в Лету мир.

Закончил сцену. Поставил жирную точку.

Обедал, спал, гулял. И только вечером вспомнил о письме сына.

Письмо было очень тревожное.

Понаехали ревизоры, судебные следователи, копают так, словно им велено — найти вину во что бы то ни стало. И кое-что уже наскребли.

Савва Иванович распорядился укладываться в дорогу.

2

Комиссию, присланную товарищем государственного контролера сенатора Иващенко, возглавлял инженер Шульц.

Савва Иванович знал: Шульц — человек Витте, его борзая. Видимо, господин министр финансов вынужден принять грозный вид, показать обществу суровое, воистину государственное лицо свое. При встрече улыбнется умной улыбкой, блеснет лукавыми глазами...

Комиссия Шульца основательно перевернула бумаги расходов по земляным и каменным работам на строительстве Северной железной дороги. Ничего противозаконного найти не удалось, но выводы были сделаны для Мамонтова неприятные: расходы искусственно завышены. По книгам проходит, что работы исполнены подрядчиками, а на самом деле в большинстве случаев они производились инженерами дороги, по более низким ценам, по договорным.

Пока Савва Иванович составлял объяснительную записку, дело о махинациях Правления железной дороги передали судебному следователю по фамилии Чистов. Хватка у господина Чистова была совершенно бульдожья.

«Интересы Правительства требуют, — написал следователь в своем заключении, — чтобы по этой линии были отнесены на облигационный капитал Общества лишь действительно произведенные, для дела необходимые расходы, так как платеж процентов и погашения по сему капиталу будет отнесен на чистый доход Дороги, остаток которого в определенной уставом Общества доле поступает в казну. Единственно возможным в этом случае средством мне представляется возбуждение по этому делу судебного исследования, при котором необходимые для выяснения стоимости постройки сведения могут быть пополнены

свидетельскими показаниями и вообще такими данными, кои нынче для проверочной комиссии совершенно недоступны».

Это был крепко, умело слепленный снежок, но Савва Иванович не сразу понял: снежок уже пустили с горы. С высокой горы! Стало быть, жди лавину.

9 августа Валентин Александрович Серов писал Илье Семеновичу Остроухову из Петербурга: «А какие дела-то в Москве, а? Жаль мне по-своему и Савву Ивановича и Елизавету Григорьевну, говорят, она может пострадать. Напиши мне, как там обстоит, сколько знаешь — положение их меня тревожит — все-таки более 20 лет Мамонтовский дом для меня кое-чем был. Грустная история, но, быть может, всё это и не так ужасно, как об этом говорят здесь».

Крах великого богача, знаменитости — ярмарка болтовни. Всем было интересно, как богач вывернется, кому даст взятки. Но лавина уже рухнула и накрыла дом Мамонтовых.

Следствие «обнаружило» фиктивные сделки, фиктивные счета. Огромные суммы денег перекачивались из кассы железной дороги в кассы убыточных заводов, Невского в Петербурге, Николаевского в Нижнеудинске и обратно. Бумаги Правления свидетельствовали о благополучии и кредитоспособности всех предприятий Общества. На самом же деле в финансах зияла дыра. И в этой дыре уже мелькали крысиные морды.

Обнаружить запрещенные государством финансовые выкрутасы бухгалтерии Мамонтова было очень несложно. Савва Иванович, почитая Витте за человека близкого, трудящегося ради блага Отечества, не скрывал своих трудностей. Ярославско-Архангельская железная дорога была бездоходная, дорога будущего. Первый шаг к мечте — сотворить на Русском Севере новую Норвегию. Возместить затраты могла концессия на строительство высокодоходной дороги. Министр финансов такую концессию своему соратнику предоставил. Линия Петербург — Вологда — Вятка обещала огромные прибыли. Указ Государственного Совета, подпись царя подтвердили права Мамонтова на это строительство. Доходы акционерного Общества железных дорог, возглавляемого Саввой Ивановичем, за 1898 год составили более пяти миллионов рублей. Акции Общества пошли вверх. Незачем было Мамонтову скрывать от Витте явного. И разве Сергей Юлиевич не понимал: бухгалтерия Ярославско-Архангельской дороги совершает нарушения не ради наживы хозяев, а ради государственной пользы. Понимал и другое: проложив путь через топи, разрешив немислимые инженерные задачи ради пользы Отечества,

Мамонтов почувствовал себя одним из предпринимателей, в руках которых — будущее страны.

Вулкану, извергающемуся добрыми деяниями, имя которому Савва Иванович Мамонтов, нужен был подходящий кратер. И он сыскал место для нового кратера. Мы уже говорили, что в «Новом времени» инженер и писатель Гарин-Михайловский напечатал статью о проектируемой железной дороге вдоль западной границы Китая от Томска через Барнаул, Семипалатинск, Верный до Ташкента, длиною с лишком в две тысячи верст, стоимостью до ста пятидесяти миллионов рублей. Этот проект, очень важный не только для страны, но и для Китая, Гарин-Михайловский посвящает Витте, о чем письмо Савве Ивановичу от 23 июля 1898 года: «Я докладывал министру о Ташкентско-Томской дороге после его возвращения. Он весь за эту дорогу и собирался делать государю доклад. Я передал ему наши записки. Слышал, что и военный министр за эту дорогу».

Казалось бы, о чем беспокоиться? Впереди сложнейшая, замечательная работа, новый уровень богатства — мировой уровень! — мировое значение имени, дома.

А вместо этого через год всего великий строитель, радетель о благополучии страны оказался в положении заурядного растратчика, жулика средней руки.

Ударили в спину. Ударил Витте. Уже во время судебного разбирательства был пущен слух, позже подхваченный всеми биографами Мамонтова. Дескать, Савва Иванович — жертва вражды между всемогущим министром финансов С. Ю. Витте и восходящей звездой русской политической жизни министром юстиции Н. В. Муравьевым. Это тот самый Муравьев, за которого вышла замуж актриса Климентова, любовь Василия Дмитриевича Поленова.

У многих биографов объяснение причин краха Мамонтова укладывается в одном абзаце.

Установив крупную недостачу в кассе Ярославской железной дороги, Муравьев решил, уничтожив Мамонтова, подкосить Витте, уличить министра финансов во взяточничестве. Витте, чтобы спасти собственную шкуру, ничего не оставалось, как выдать Мамонтова на закланье.

Все это чепуха. А вернее, сокрытие истины. Ревизоров к Мамонтову послал сам Сергей Юлиевич, его люди установили недостачу в кассе Ярославской дороги. Документ о взятке директору Железнодорожного департамента был следствием найден. Но Витте отнюдь не погиб, замаял без особых хлопот это неприятное для себя и для министерства дельце. А вот коммерции советника, купца в третьем поколении, знатока человеческой

натуры Савву Ивановича Мамонтова надули, как мальчишку. Облапошили на глазах всей честной публики, раздели догола при полном сочувствии царя, царских советников, купечества, деятелей отечественной культуры, всего русского народа. Потянули за ниточку, смотали в клубок все нажитое Саввой Ивановичем и отпустили с миром доживать. Может, потому и не добились до конца, чтобы примером был для неслухов, для залетающих высоко, куда русскому человеку залетать не следует.

О деле Мамонтова и впрямь можно рассказать совсем коротко.

Чтобы продать казне Донецкую железную дорогу, Савве Ивановичу пришлось купить паровозо-и судостроительный завод Семенникова. Как было не согласиться на такое условие, когда ставил его сам Витте, министр финансов. Большая часть вырученных за продажу дороги средств канула на восстановление завода, этой огромной развалины. А завод-то изготовлял не только гражданские, но и военные суда, поставлял на рынок отечественные паровозы. Завод был куплен в 1890 году. С той поры он именовался Невским. Мамонтов поднял его из руин финансовых, производственных, сделал доходным, очень нужным стране.

Добившись концессии на строительство Ярославско-Архангельской железной дороги, Савва Иванович доведком получил завод промышленника Глотова, в долгах, как в шелках, тот самый Нижнеудинский, Николаевский. Чтобы возродить это производственно-финансовое ничтожество, пришлось брать деньги из кассы Северной дороги. Разумеется, власти «не замечали» подобного нарушения финансовой дисциплины.

Мамонтов, взваливая на себя махины-развалины, думал о будущем. О едином концерне. Николаевский металлургический завод — это сырье для Невского. Свой металл, свои рельсы, свои шпалы, свои паровозы. Нужно и вагоны свои иметь. Начинается строительство в Мытищах вагоноремонтного завода.

Сколько веревочке ни виться, говорят в народе...

1826 верст Ярославско-Архангельской бездорожной дороги, дороги будущего, истощили семейную казну Мамонтовых, но это был не крах, ступенька к новому благополучию. Деньги должны были вернуться со строительством линии на Вятку. Сибирско-Средне-Азиатская железная дорога превратила бы дом Мамонтовых в могущественную финансово-промышленную империю.

На все эти грандиозные затеи реакция Витте, который до сих пор ходит у нас в государственниках, была зловеще быстрой.

Концессию на строительство железнодорожной ветки Петербург — Вологда — Вятка у Мамонтова отобрали и передали в казну.

Государственный указ отменил постановление Комитета министров, органа декоративного и неправового. Николай II, впрочем, бумажку подмахнул.

Дело было настолько нечистое, противозаконное, что министр финансов даже не пытался отмыться от грязи. Он влез в нее с головой: организовал судебное дело Мамонтова.

На бирже поднялась паника, акции Мамонтова упали ниже некуда.

Спасти от банкротства Савву Ивановича мог только солидный денежный заем. Пришлось заложить акции железной дороги в Московский банк Общества взаимного кредита — детище Чижова. Но из Петербурга последовал приказ: прижать Мамонтова. Банк послушно потребовал доплату, очень солидную. Савва Иванович, еще не понимая, для какой кошки стал он мышкой, кинулся за помощью к умнейшему, к справедливейшему Сергею Юлиевичу. Витте предложил обратиться к А. Ю. Ротштейну, директору Петербургского международного коммерческого банка, товарищу министра финансов.

Ротштейн был рад оказать услугу. Савве Ивановичу предложили перевести заложенные акции в Петербургский международный банк без доплаты, поставив всего одно условие: продать 1650 акций по цене, за какую они были заложены, и таким образом согласиться участвовать в банковском «синдикате».

В архиве Мамонтова, хранящемся в ЦГАЛИ, есть машинопись на французском языке без подписи, озаглавленная «Через десять лет после процесса». Читаем: «Как только синдикат был подписан, акции, благодаря баснословному таланту фокусника — директора банка, перешли в исключительную собственность названного банка... Общее собрание акционеров Ярославской ж.д., собрание исключительно русских людей, внезапно увидело в своей среде целый ряд интернациональных типов-брюнетов, представивших акции вышеназванного банка, которые не только перевернули все вверх дном, но и сняли даже висевший на стене зала портрет Мамонтова».

Снятие портрета не самое страшное в этом финансовом шабаше. Правление Ярославско-Архангельской железной дороги ушло в отставку еще в конце июля 1899 года. Директорам Правления Анатолию Ивановичу Мамонтову, Всеволоду Саввичу Мамонтову, Сергею Саввичу Мамонтову, председателю Правления Савве Ивановичу Мамонтову было предъявлено обвинение в растрате кассы железной дороги. Обвинение справедливое, но не смертельное. Деньги пошли на дело, на производство. Это были свои деньги, истраченные на восстановление и строительство своих заводов. Незаконно, но на свои, ради интересов государства. Ужасало другое. Акции

Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги были принудительно отчуждены в казну по убыточной цене. И тотчас проданы чиновникам банка. Разорение. Ротштейном и Витте. На министра финансов управы не доищешься.

Смеркалось. Савва Иванович сидел в Большом кабинете за огромным, пустым, как пустыня, столом, смотрел на фотографию жены — единственное, что оставил на столе.

Сердце щемило, как в детстве, когда хочется расплакаться и плакать, плакать, заливая слезами весь Божий свет.

Подумалось — предал ангела своего, Лизу, — и получил сполна.

Поднял глаза на «Ковер-самолет». Иван-царевич держал в руке фонарь, словно хотел осветить русской земле.

Выдвинул ящик стола, но тотчас задвинул. Принес с другого стола бумагу, чернильницу, перо. Написал быстро, не задумываясь над словами:

«Тянуть далее незачем: без меня все скорее и проще разрешится. Ухожу с сознанием, что никому зла намеренно не делал, кому делал добро, тот вспомнит меня в своей совести. Фарисеем не был никогда».

Вдруг подумалось: мог бы за тем столом все это написать. Привычка к столу. Привычка жить.

Записку спрятал во внутренний карман.

Снова открыл ящик, достал шкатулку. В шкатулке лежал револьвер. Пачка с патронами. Вставил в гнездо барабана один патрон, другой, потянулся за третьим и отдернул руку. Виновато улыбнулся. Почувствовал эту виноватость.

Положил револьвер в карман брюк, в специально вшитый карман. Почти во всех брюках были у него такие карманы.

Подошел к картине «Битва русских со скифами». «Хряснуть бы... Да кого? Кого?!»

Под одеяло захотелось, в теплое гнездышко.

Лег на диване, подобрал ноги к груди, рукой ощупывая револьвер.

Не желал ни борьбы, ни справедливости... Лучше всего было бы и впрямь... Но не хотелось Витте обрадовать. Вампира. Ах, как он ухмыльнется. И не при людях, наедине.

Задремал. Почудилось: диван покачивается, как вагон. Колес не слышно, паровоза не слышно, а скорость нарастала, нарастала. И вдруг

понял — впереди тупик. Конец рельсам!

«Вот и хорошо, — сказал он себе, пробуждаясь. — Греха не надо брать на душу».

И пощупал карман.

— Савва Иванович! Савва Иванович! — Перед ним стоял Фотинька. — Полиция пришла.

Савва Иванович сел.

В кабинете было несколько полицейских и чиновник. Видимо, следователь.

— Господин Мамонтов! — не сказал, а почти прокричал чиновник. — По причине растраты в кассе Правления Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги дом, принадлежащий вам, санкцией прокурора города Москвы подлежит обыску! Вам же вменяется в обязанность немедленно вернуть в кассу недостающую сумму, а именно, сто тысяч рублей!

Савва Иванович развел руками:

— Таких денег у меня нет. Деньги потрачены не на какую-то наживу... На строительство потрачены, на паровозы, пароходы, вагоны... Ищите, господа, ищите.

Господа искали. Нашли пятьдесят три рубля пятьдесят копеек.

Подвергся обыску и сам Савва Иванович. У него изъяли револьвер — заряженный! — кредитный билет в сто марок, сорок рублей по курсу сентября 1899 года и записку: «Тянуть далее незачем...»

— Я налагаю арест на весь домашний архив и на всю переписку, — объявил следователь.

Бумаги тотчас начали сваливать в мешки.

— Позвольте, господа! — взорвался Савва Иванович. — Вы хозяйничаете в моем доме хуже грабителей. Большинство писем — от известных всему миру художников, от артистов. Зачем вы забираете это?

— Для производства судебного расследования.

— Господин чиновник, я протестую. О ваших действиях я немедленно сообщу прокурору.

— Сколько угодно, господин Мамонтов. Но сообщите вы свою жалобу не господину прокурору, а тюремному надзирателю. Ввиду того, что вы собирались сбежать от правосудия, я вынужден избрать для вас мерой пресечения арест, содержание под крепкой стражей, в тюрьме. Господа полицейские, доставьте обвиняемого в «Каменщики», на Таганку.

— Но это же произвол! Выдумка! Откуда вы взяли, что я собираюсь бежать?

— Не хитрите, господин Мамонтов. Мы успели вовремя. Вот билет Варшавско-Венской дороги, вот иностранный паспорт, иностранные деньги и, главное, экипаж у крыльца. А это? — Следователь, тонко улыбаясь, показал на револьвер и записку.

— Не сходится. Со ста марками в бега не ударяются... И зачем бежать, если человек зарядил оружие.

— Вот-вот! Охладитесь, подумайте хорошенько. Тюрьма пойдет вам на пользу, господин Мамонтов. — И приказал полицейским: — Уведите злого растратчика!

Почему-то у полиции не нашлось для коммерции советника, кавалера ордена Святого Владимира даже худого тарантаса, вели пешком, через всю Москву...

Ночь 11 сентября 1899 года Савва Иванович Мамонтов провел в одиночной камере знаменитых «Каменщиков».

В архиве Мамонтова сохранился черновик прошения к судебному следователю по особо важным делам от 15 сентября 1899 года. Прощение написано от имени сына. Всеволод Саввич его автор. Сергей Саввич жил в Италии и не успел приехать, хотя о случившемся уже знал.

По всей видимости, адвоката форма письма не удовлетворила, он посоветовал подать прошение не от имени сына, оставшегося на свободе, а от имени арестованного. Читаем: «Господин следователь, Вами признана, по роду преступления, в котором обвиняется мой отец, применимая мера, указанная в 6 п. 416 ст. У.У.С. с заменой ее залогом в размере 763 000 рублей». Слова «обвиняется мой отец» зачеркнуты, и вписано слово «обвиняюсь».

Приведем документ полностью, он свидетельствует прежде всего о том, что Мамонтовы, отец и сын, сознавали свою виновность перед законом и ходатайствовали о перемене меры пресечения на более гуманную не гордыни ради и не помышляя уйти от ответственности, от суда, замять дело — Савва Иванович действительно был очень нездоров.

«Я надеюсь, что близкие (отцу) мне люди в течение нескольких дней найдут эту сумму, — писал далее автор прошения. — Но есть причины, которые дают мне основания просить Вас, господин следователь, о замене до залога принятой меры переходом к мере по 5 п. 416 статьи. Основания эти следующие. (Отец) Я дал себе слово и сдержу его — ни единым словом

не затемнять истины, не умалять вины (своей) моей и долгом своим счесть не переносить на чужую голову (своих) моих незаконных поступков. Отсюда свобода (отца) моя не страшна для следствия, (он) я не буду злоупотреблять ею в целях извращения процесса... (Отцу губительно) Мне невыносимо преждевременное тюремное заключение по состоянию (его) моего здоровья: мое сердце (его) и припадки грудных болезней требуют постоянной заботы и присутствия около (него) меня преданной (ему) мне личности».

Только через неделю, 22 сентября, следователь соизволил наложить резолюцию на прошение: «Замены содержания под стражей в тюрьме домашним арестом допущено быть не может».

Елизавета Григорьевна, жившая в Абрамцеве, узнав о несчастье, кинулась к родственникам. Сапожниковы, Мамонтовы, Морозовы — Сергей Тимофеевич, Савва Тимофеевич, начали хлопоты, стали собирать деньги на залог.

Но кому-то Мамонтов нужен был в тюрьме. В одиночке держали. Величину залога с 763 тысяч подняли до пяти миллионов. Таких денег, свободных, не нашлось ни у родственников, ни у компаньонов, ни у друзей.

Но ведь и в тюрьме живут.

Вот письмо Саввы Ивановича Поленову от 21 сентября 1899 года, написанное на казенной бумаге со штампом Московской Городской Тюрьмы, камера номер... Номер не поставлен. «Дорогой друг Василий Дмитриевич! Никогда я не сознавал так глубоко великого значения искусства, как сейчас. Я всегда искренне любил его, и оно в тяжелые дни спасает мой дух. У меня к тебе есть трогательная просьба. Я сочинил оперный сюжет, Щепкина-Куперник написала его в красивых стихах, а Кротков сделал, кажется, недурную музыку. Я слышал первый акт, мне нравится — благородно и деликатно. Называется опера „Ожерелье“. Фабула взята мною из времен греческих колоний на юге Италии. Бедная Частная опера хочет поставить „Ожерелье“, и надо по возможности помочь им справиться с художественной частью. Она незамысловата, но требует такого благородного художника, как ты, т. е. тут должен быть дан тон, который ты сумел так недостижимо высоко поставить в „Афродите“ и „Орфее“. Будь великодушен и сделай рисунки трех актов».

Письмо нашло Василия Дмитриевича в деревне, он жил в Борках. Откликнулся тотчас: «Об отказе, конечно, не может быть и речи. Я с особым вниманием постараюсь исполнить твою просьбу. Мы ведь часто понимали друг друга на поприще искусства, оно нас связывало, и на нем главным образом основана наша дружба. Нет человека, который имел бы

для меня, в моей художественной деятельности, такое большое значение, и прямо скажу, что без твоего сочувствия и помощи я не мог бы исполнить моей большой работы. В твоём жизненном отношении к искусству я почерпал бодрость; мажорность твоего настроения всегда оживляюще действовала на меня. Но рядом с этим в тяжелые минуты жизни, когда у меня случились личные невзгоды, ты всегда приходил ко мне на помощь...»

Письмо замечательно простодушием, искренностью. Василий Дмитриевич перечисляет все доброе, что сделал для него Савва Иванович, и ради этого доброго сам готов платить добром.

Савву Ивановича не покоробили счета, пусть в добром, но счета. Оценил детскую бесхитрость Василия Дмитриевича. Было дорого сочувствие. Поленов — человек солнечный, алмаз его совести — незамутненный.

«Что бы там ни было, — писал Савва Иванович из тюрьмы в ответ, — но то чистое, святое, что мы видели и видим в искусстве, дает нам такую связь, которая может быть нарушена только смертью».

О делах даже не поминал. Искусство всю жизнь вело с горы на гору, открывая новые и новые сияющие вершины. Дела же до тюрьмы довели. Вчера — герой и гордость государства, а сегодня — жулье. Станешь доказывать, что все-таки не жулье, — не поверят. Василий Дмитриевич тоже не поверит...

Поленов и впрямь не верил в невиновность Саввы Ивановича, не осуждал, но душою болел очень. Вот его письмо Виктору Михайловичу Васнецову из Борков, отправленное 1 ноября 1899 года: «Думаешь, думаешь — и ничего не придумаешь! Что это было? Легкомыслие увлечения или непоколебимая вера в свое счастье, в свою звезду? Нам-де все возможно, все сойдет! Или что-то умышленное и тогда преступное? Но для последнего слишком просто, откровенно и глупо. Как бы то ни было, но так обидно, так скверно, что лучше бы и не думать. Ведь как хорошо, как счастливо можно было жить, как много хорошего можно было еще сделать, как много драгоценного было дано! Так нет же... фантазия разыгрывалась, мания размаха все росла!.. Как-то тускло на душе от всего этого».

Беда светлого человека для живущих в свету людей — общая беда.

Вот как современники приняли крах Саввы Ивановича, его падение, арест...

Поэт В. Я. Брюсов записал в дневнике 28 сентября 1899 года: «В городе только и говорят, что о двух громких делах: о Кредитном обществе и

С. Мамонтове. Директоров Кредитки общественное мнение считает грабителями, о Мамонтове все жалеют, говорят, что его недочеты — это взятки, которые он дал в высоких сферах».

Любопытно, что в тот же день, 28 сентября, хозяин и редактор «Нового времени» А. С. Суворин тоже сделал запись в дневнике: «Сколько происшествий — Дрейфус, Мамонтов, биржевой крах. Банки затрещали. Петербургские дамы, гвардейские офицеры, Трансваль, заговор в Париже, форт Шаброль... А у нас дождь, дождь, дождь и золотая валюта трещит. Шарапов, кажется, прав. Витте трещит вместе с нею. Муравьев — в Париже».

Суворин был недоброжелателем Мамонтова, его подручные всегда искали криминал в действиях Саввы Ивановича: то дорогу плохо строит, то капитал Чижова растратил. (На самом деле капиталы Чижова были утроены. Правда, со строительством костромского промышленного училища Савва Иванович не поторопился, но в 1891 году все-таки построил его.)

А вот В. А. Теляковский сочувствовал своему конкуренту по опере, писал об аресте Саввы Ивановича с негодованием: «И после того, как многие финансовые тузы по часам дожидались у него в передней благословенного приема, его провели для большего назидания православных москвичей по улицам Москвы под конвоем, как арестанта-преступника».

Даже Нестеров, очень не любивший Савву Ивановича, откликнулся сочувственно.

«Глубокоуважаемая Елизавета Григорьевна, — писал он из Киева 6 октября 1899 года. — Событие последнего времени, несчастье, постигшее Савву Ивановича, — вызывает к Вам и семейству Вашему общие симпатии. Те же, которые, как и я, имели возможность узнать Вас лично, иногда быть свидетелями Вашей тихой жизни, добрых дел Ваших, — те опечалены случившимся еще более. Глубокая вера и присущее Вам мужество духа, конечно, и в настоящем исключительном случае утвердят Вас, помогут пережить столь тяжелое испытание... Абрамцево и жизнь моя там остаются в моей памяти чем-то столь юношески привлекательным, что хотелось бы впечатления этого хорошего бывшего поддержать и сохранить еще надолго».

А вот письмо А. М. Керзина — человека малоизвестного в нашей культуре — ценное потому, что это мнение чиновника, присяжного поверенного. Письмо Керзина помечено 17 февраля 1900 года, это последний день, проведенный Саввой Ивановичем в тюрьме.

«Позвольте принести Вам искреннюю благодарность за память обо мне, за вылепленный Вами рельеф Н. А. Римского-Корсакова. Иногда... участие бывает очень тяжело — вот единственная причина, почему я и жена моя до сих пор молчали. Пусть делают свое дело „те, коих дело обвинять как иных книги сочинять“, а имя Саввы Ивановича Мамонтова не умрет, и всякий, любящий родное искусство, вспомнит о том, что было сделано Вами для этого искусства... Располагайте мной по Вашему усмотрению и само собой разумеется ни о каком материальном эквиваленте не может и не должно быть речи».

Такие разные люди — близкие и далекие, и очень далекие, и даже настроенные враждебно — не прошли мимо беды Мамонтова. Чтобы столь богатому и столь известному человеку удостоиться от русского народа сочувствия, надобно прослыть за достойнейшего, за ахти как некорыстолобивого. Русский народ к своим русским людям суров. Видно, было за что жалеть Савву Ивановича. Было, было за что! Взять хотя бы тюремное сидение. О себе ни разу друзьям не пожаловался. О них беспокойство, под замком не сидящих.

«Я буду ужасно рад, — пишет Савва Иванович Поленову, — если Кротков как композитор займет подобающее ему место. Как обидно, что люди, имеющие возможность поддержать способного человека, стараются, наоборот, замять, не дать ходу. Это старая история, но она остается вечно новой. А ведь он так привык к этому, что сам первый уже подставляет шею и, получив толчок, принимает его как должное...» К этому письму есть приписка: «Все время мое проходит в работе. Пока светло — леплю, а вечером кропаю. За это время перевел „Дон-Жуана“, — давно собирался, наконец нашел время».

Савва Иванович понимал: если его и выпустят из тюрьмы, так нищим. Не смирился, но принял удар судьбы. Вот и спалось ему покойно, так спят только в детстве. Ему снились сны. Италия снилась. Небо, море, яркие бабочки. Он все ходил по каким-то огромным храмам, среди толп незнакомых, нерусских людей.

— Церкви к испытаниям снятся, — сказал ему тюремщик, приносивший еду.

— Довольно бы, кажется, испытаний, — сказал Савва Иванович. — Разве что на каторгу погонят...

Каторга его не пугала. Терпят же другие.

Шел второй месяц заключения. Без суда.

Ему казалось, что он отмирает. Не умирает, а отмирает, как отмирают отжившие на геранях листья. Желтеют, сохнут, потом опадают. Почему-то вспомнились герани.

За день по два, по три раза мучило удушье. Его одиночка была заурядной каморкой. Разве что на окне — решетка и форточки нет. Ему чудилось, что воздух убывает, и когда он думал об этом, обязательно начинался припадок удушья. Кончались припадки сладкой грезой. Он видел себя на снегу, под дубами в инее, в Абрамцеве милом.

Мелькают лица... Одно совсем рядом. Это — Елизавета Григорьевна.

— Лиза, — говорит он. — Прости, голубушка!

За голубушку неловко. Ему ли называть голубушкой преданную, поруганную в любви и вере... Но она смотрит на него, как на ребенка. Ему стыдно и хорошо, и оттого, что хорошо, он чувствует себя полным ничтожеством. Ему хочется наказания. Пусть грудь сдавит удушьем. Предательство должно быть наказано. Елизавета Григорьевна строго качает головой, идет туда, где стоит Витте. В руках у нее свеча. Свеча трепещет, но хорошо видно: угол пуст.

Слезы катятся по лицу, и он сквозь сон знает, что плачет.

— Лиза! — признается он в страшном. — Я ведь и вправду хотел кончить со всем. Ты меня спасла. Я о тебе думал и не смог еще раз тебя предать. Обещаю, умру христианином. Но пусть это будет скорее. Ты помолись, Бог твою молитву примет.

— Ты будешь жить долго, Савва, — сказала Елизавета Григорьевна. — Ты переживешь нас.

И он увидел Витте, стоявшего в другом, в темном углу.

— Витте...

Он услышал, как сказал это имя, и проснулся.

Министру финансов Сергею Юлиевичу Витте в июне 1899 года исполнялось пятьдесят лет. Родился он в Тифлисе, учился в Новороссийске, математик, служил в Обществе юго-западных железных дорог. К тридцати семи дорос до управляющего, в тридцать девять попал в директора департамента железнодорожных дел при Министерстве финансов. Слыл специалистом по тарифам, написал о тарифах книгу и вообще не брезговал

писанием. Сотрудничал в газетах «Киевское слово», «Заря», «Московские ведомости», в журнале «Русский Инженер». С февраля 1892 года Витте — министр путей сообщения, с августа — министр финансов.

Современникам Сергей Юлиевич казался большой умницей и большим преобразователем. Он был душой строительства Великого Сибирского железнодорожного пути — от Москвы до Владивостока, Маньчжурской ветки, дороги на Архангельск, на Казань. Добился удешевления пассажирского тарифа. Ввел налог квартирный, но отменил паспортный. Отменил остатки подушной подати, подымный налог на Кавказе. Уменьшил государственный поземельный, но установил прогрессивное обложение торговли и промыслов. Ввел казенную продажу вина — винную монополию, ввел в обращение золотую монету. Расширил круг фабричной инспекции, провел закон о нормировке рабочего времени для взрослых на фабриках и заводах, поощрял конвертирование процентных бумаг... Чем не светоч? Умного племени человек, по матери его теткой была сама Блаватская.

О Витте много писали при жизни. Писали с восторгом и с ненавистью. И никто не добирался до его сути, не искал причин его великих и его «странных» деяний. Восторги и обиды одинаково застыт глаза.

Князь В. П. Мещерский в воспоминаниях пытался нарисовать объемный, объективный портрет человека, которому помогал всходить по лестнице чинов: «Высокий, умный. Черный сюртук, развязный и свободный в своей речи и в каждом своем действии — английский государственный человек. Замечательный внимательно-умный взгляд».

Но заметил не без досады: Витте, выбившись в министры финансов, переступил через прежние знакомства, «искал друзей от мамы».

Недостатки Витте князь Мещерский не скрывает: очень слабое владение французским языком, не знает немецкого. «Литература всего образованного мира — и русская — мир искусства, знание истории, все это было для него чуждое и очень мало известное, — записал князь, — но беседовать с ним было одно удовольствие».

Друг Мещерского поэт Аполлон Николаевич Майков был в восторге от ума Сергея Юлиевича. Сергей Юлиевич необычайно быстро схватывал мысль собеседника. Но он не только умел говорить и слушать, он умел работать. Князь Мещерский свидетельствует: когда министр финансов Вышнеградский поручил Витте учреждение департамента железнодорожных дел, этот вновь испеченный чиновник «с огненной энергиею принялся за порученное ему дело. Работал, как вол».

Витте высоко взлетел в царствие Александра III, государя, в слове и в

деле твердого. Николай II, не умевший сказать ни «да», ни тем более «нет», в конце-то концов распознал изнанку своего ближнего министра, но расстаться с ним быстро не умел, тянул, оставляя за ним важнейшие государственные дела и саму судьбу России, аж до 1906 года.

Непросто было разглядеть изнанку такого мудреца, как Витте. Вот характеристика нашего героя, данная Анатолием Федоровичем Кони, юристом, членом Государственного совета: «Излюбленный идеал Витте — самодержавие, опирающееся на умелую и искусно подобранную бюрократию. Конституция — великая ложь нашего времени... Витте находил, что в России, при ее разноязычности и разноплеменности, она (конституция. — В. Б.) неприменима без разложения государственного строя и управления, почему не только дальнейшего расширения деятельности земству давать нельзя, но надо провести для него демаркационную линию, не позволяя ни под каким видом переступить ее».

Где же сыскать более ретивого, более преданного самодержавию служаку? А ревность престолу Витте выказывал иной раз самым неожиданным образом. Например, запретил съезд Императорского общества поощрения русской торговли и промышленности во время Нижегородской ярмарки 1896 года. На этом съезде, видите ли, могут быть высказаны социалистические теории. В социалистах оказались граф Игнатъев, председатель общества, и все русское купечество. Итак, социализм для министра финансов — чума, и главное — предлог для срыва съезда. Это, пожалуй, первая значительная антигосударственная акция Витте — помешал русскому купечеству, русской промышленности объединиться в противостоянии Западу, иностранному капиталу, которому Витте открыл и окна, и ворота, и щели. Тут будет любопытно мнение Кони. «В экономике идеал Витте, — утверждает сторонник и доброжелатель министра финансов, — это научный государственный христианский социализм». О том же самом пишет яростный враг Сергея Юлиевича И. Ф. Цион, происками последнего лишенный русского подданства и прав, приобретенных службой российскому императору. В одной из обличительных брошюр, изданной на Западе, Цион кричит на весь белый свет: «Из всех систем социализма г. Витте подобрал для России самую смертоносную, именно тот государственный социализм, который стремится превратить страну в обширную казарму, где армия чиновников заправляет деспотически всеми проявлениями общественной жизни».

Только, думается, Витте все же не социализм исподтишка внедрял в России, а попросту рыл медвежьей яму, куда Россия должна была завалиться неминуячи. Ради кого старался — вопрос другой, да и

соображал ли, что делает? Где были царь, Победоносцев, Суворин, Столыпин? Задавать подобные вопросы — только воздух колебать напрасно.

Вот чем оборачивались якобы благие для самодержавного государства деяния мудрого Витте. Что дали русскому народу государственное производство и продажа вина? Читаем у Кони: «Со времени введения монополии в 1894 г. в течение 20 лет население России увеличилось на 20 процентов, а доход этот возрос на 133 процента. Уже в 1906 году население России пропивало ежегодно 2 миллиона рублей и еще в 1902 г. в полицейские камеры для вытрезвления в Петербурге при населении в миллион двести тысяч было принято 52 тысячи человек (1 на 26). В Берлине при населении 2 миллиона — 6 тысяч (1 на 320)».

И. Ф. Цион приводит конкретные данные увеличения пьянства. Витте запретил кабаки, но поднял производство водки на 24 миллиона ведер в год. Доход государственной казны обозначился впечатляющей цифрой в 279 миллионов рублей.

А за денежками этими царскими — сплошное горе. Вместо русского богатыря — косая сажень в плечах — являлся на белый свет вырожденец, дебил.

Всякая реформа, даже продуманная, подготовленная, не обходится без побочных осложнений. Предупреждая самогоноварение, Витте поднял цены на сахар. Чаепитие для народа стало недоступным. Суворинское «Новое время» писало: «Мы хотим сделать так, чтобы и английские животные кормились русским сахаром, в то время как русский человек боится съесть кусок сахара». А господин министр финансов уже и на соль замахивался, желая возродить старый налог. Чуть было не лишил народ солений, заготовок на зиму впрок грибов, капусты, свинины, рыбы и прочего.

Не зная русской литературы, чуждый искусству, Витте умел выказать себя защитником национальной культуры. В дни столетия Пушкина в 1899 году Сергей Юлиевич воспротивился сбору средств на памятник поэту в Петербурге. Предложил истратить деньги на восстановление Российской Академии. Замышлял такую академию, которая могла бы вместить не только литературу, но и все искусства. Вторая часть предложения была отвергнута — у художников существовала своя академия, а первая принята с восторгом. Академию изящной словесности учредили.

Все мы начитаны, сколь укрепило Российскую державу введение золотого обращения, свободного обмена кредитного рубля на золото! Золотая русская валюта — самое выдающееся достижение реформатора

Витте. Из вечного должника французских банков российская казна превратилась в могущественную финансовую, золотом горящую державу.

Много сказок сложено о благополучии России в преддверии трехсотлетия Дома Романовых, о благословенном 1913 году.

Сотрудник и близкий человек Витте, скрывшийся под псевдонимом «Баян», о денежной реформе министра финансов сказал коротко: «Осушил страну от золота».

И ведь, действительно, осушил, увел русское золото из-под носа русского царя. Ведь уже в 1906 году благодетель Витте выпрашивал и, разумеется, выпросил у Ротшильда и других французских банкиров заём в два с половиной миллиарда франков.

Савва Иванович Мамонтов, наверное, так же, как Аполлон Николаевич Майков, был пленен широтою взглядов министра, свободой в слове, в прямоте оценок, в необычайной для государственного человека смелости. В спокойной смелости, когда язвы государства обнажаются с откровенностью, никак не ожидаемой. Каждому ясно, так может говорить врач, у которого есть рецепт лечения. В таких руках даже скальпель не страшен. Если — такой-то человек! — взял в руки скальпель, значит, знает, что надо отрезать.

В том и подлость. Всеи учености — широкий лоб да пронзительный взгляд. Рука такого режет и впрямь уверенно, не дрогнув. Не потому, что умелая, а потому, что не от себя отрезает, потому, что не дорого чужое благополучие или даже сама жизнь. Это как у шпионов. В своей стране шпион всего лишь капитан, в чужой — глава торговой фирмы, пароходства, концерна; он покупает и продает, ворочает капиталами так, что у компаньонов поджилки трясутся, но — победа за победой. А победителей, особенно отважных, кто же осмелится судить.

Для Витте Россия — родина, но всю свою деловую молодость он жил среди «победителей», среди «отважных». Он не только усвоил стиль подобного отношения к делу. Он врос в эту жизнь, стал частью ее. Принять умом все это бывает легко — кажется игрой. Позже обнаруживается изумляющая выгода такой жизни. Игра становится захватывающей. Совесть хоть и трепещет крылышками, хоть и приходится в молодости эти крылышки подстригать, но со временем отмирает совершенно. О совести ли думать, когда сделана ставка именно на тебя и когда тебя выталкивают на самую макушку пирамиды. Где там сомневаться в правильности выбора. Успевай служить, а служа, купаться в славе, в богатстве... Не дорожить всем этим невозможно.

Однако ж сколько веревочке ни виться... В 1904 году министр

внутренних дел, шеф жандармов Вячеслав Константинович Плеве положил на стол Николаю II письма, сообщавшие о причастности Витте к заговору «жидо-масонов».

Резолюция государя безнадежно усталая: «Тяжело разочаровываться в своих министрах». И пальцем не пошевелил.

А Плеве через месяц-другой был убит террористом эсером Е. С. Сазоновым.

Обвинение Витте в заговоре жидо-масонов — отнюдь не черносотенский поклев на мудрого государственного деятеля.

Вот свидетельства человека весьма осведомленного — Алексея Александровича Лопухина. Во время суда над Мамонтовым Лопухин был товарищем прокурора Москвы, а с 1902 года директором департамента полиции. Но это не полицейское суконое рыло. Лопухин — аристократ, двоюродный брат князя Сергея Трубецкого. Он нарисовал такой портрет Витте: «Большой ум, крайнее невежество, беспринципность и карьеризм... Отсутствие элементарной научной подготовки и нравственных устоев было причиной того, что будучи государственным деятелем, он (Витте. — В. Б.) не был человеком государственным». Но этот портрет неполный. Витте — политик эры черного преобразования, первая ласточка, точнее, одна из первых, «нового мышления».

Ошибается тот, кто видит в мудром Витте порядочного человека, для которого трусливый антисемитизм Николая II невыносим.

Будучи премьером правительства, диктатором, Сергей Юлиевич даже не подумал наказать за погром гомельских евреев жандармского ротмистра графа Подгоригани. Ему не дороги были ни честь русского дворянина, ни гражданская совесть, ни, тем более, слезы ни в чем не повинных еврейских семейств. Интересы Сергея Юлиевича узки, как лезвие бритвы.

Еврейский вопрос ему стал интересен, когда пришлось просить у еврейских французских банков заём. Вот какие два вопроса поставил Витте в 1906 году перед тайной полицией, а стало быть, перед Лопухиным: Первое. Какие льготы в правовом положении евреев необходимо провести немедленно, чтобы привлечь к русскому займу еврейские банковские круги за границей? Второе. Как внести успокоение в революционно настроенные еврейские массы в России? С какими центральными еврейскими организациями надлежит войти в сношения?

Лопухин пишет в воспоминаниях: «Я сказал, что такая организация — Всемирный кагал — существует только в области антисемитских легенд... Еврейское Колонизационное Общество (ЕКО) слабое и существует на пожертвования барона Гирша».

Документы, подтверждающие близость Витте к масонам, если и существуют, то навряд ли когда-либо увидят свет. Вопросы Лопухину свидетельствуют как раз о невинности диктатора, о полной некомпетентности в вопросах международного сионизма. Но политик чаще всего спрашивает не для того, чтобы обогатить себя знаниями, а выяснить, до каких глубин докопалась другая сторона, будь то друг, враг, общественность, полиция. А факты таковы.

Берлинский банкир Мендельсон присылал к Витте своих нарочных. Тут любовь была взаимная, прочнее самой смерти, уж очень на больших деньгах стояла. Мендельсон заплатил долги мадам Витте, проигравшей в Биаррице, в казино, миллионы. Подобную услугу надо отрабатывать. Вот и горбилась Россия-матушка на Мендельсона и на Ротшильда, сама о том не ведая.

О дружбе с главой дома Ротшильдов Альфонсом Сергей Юлиевич обронил всего-то словечко в «Воспоминаниях». О такой дружбе помалкивают. Близость государственного деятеля к иностранным банкирам, да и к отечественным — подозрительна. Ведь именно в Париже мадам Витте покупала безумно дорогие колье, изумруды и бриллианты, жемчуг... И, разумеется, одевалась. Кто-то платил.

В конце-то концов даже у терпеливейшего русского царя Николая Александровича появилась решительность. Витте, отставленному от министерских дел, живущему в Париже, министр Двора генерал Фредерикс, стало быть, сам Николай II, сделал «предложение» не возвращаться в Россию. На большее, однако, духа не хватило.

Сердитость с царя сошла, Витте возвратился в Петербург и до самой смерти в 1915 году оставался членом Государственного совета и, самое поразительное, — председателем Комитета финансов России.

Осведомленность государя — вот что грустно. Лопухин в своей книге «Отрывки из воспоминаний» рассказывает о плане смещения министра внутренних дел Плеве, разработанном триумvirатом: Витте — князь Мещерский — Зубатов. Зубатов сочинил письмо от имени верноподданного (письмо якобы перехватили), в котором этот верноподданный уповал на Витте, на единственного человека, могущего оградить царя от нынешних и грядущих бед. Мещерский должен был передать письмо в руки Николаю. План сорвался только потому, что Зубатов посвятил в дело агента, революционера Гуровича, а тот, имея свои виды, явился к Плеве и провалил не больно хитрую затею.

Но Витте шел много дальше. Всячески приближая к себе Лопухина, любил говорить с ним на тему могущества департамента полиции.

— У вас в руках жизнь и смерть всякого, в том числе — царя.

И не впрямую — упаси Боже! — склонял к мысли взять на себя миссию, великую миссию спасения Отечества. Ведь совершенно понятно каждому человеку в государстве — Николай ничтожество! Если царем станет его брат Михаил, человек благородный, умный, решительный, то, во-первых, Россия воспрянет, а во-вторых, это выгодно. Он, Витте, в фаворе у Михаила, а Лопухин будет в фаворе у Витте... Далее следовали речи о несчастном времени, о человечестве, сошедшем с ума. Столько террористов развелось! За каждым углом — террорист! Соображай, чурбан-полицейский!

Политика — сточная канава государства, финансы — сам сток.

Получив в августе 1892 года портфель с деньгами России, Витте унаследовал все махинации, совершенные до него Абазой и Вышнеградским. И прежде всего аферу одесского банка Александра Федоровича Рафаловича.

В 1891 году, спасая этот банк от крушения, Вышнеградский дал из казны 1,7 миллиона рублей ссуды. Витте добавил еще 300 тысяч. В обеспечение было принято имущество Рафаловича и крымские имения помещика Дуранте. Дуранте был в родстве с Рафаловичами, его дочь была замужем за Георгием Федоровичем. Желая помочь хорошим людям, Дуранте дал закладные на четыре имения: «Кок Асан» и «Бурульча» — восемнадцать тысяч десятин, в основном леса возле села Зуи, «Кермут» — две тысячи десятин в Феодосийском уезде и «Мамай» — две тысячи шестьсот десятин в Евпатории.

Высочайшим повелением Государственный банк предоставил ссуду Рафаловичу на три года. Рафалович подписывает закладные вместо Дуранте и оформляет бумаги на заём, якобы им сделанный, в 900 тысяч рублей на шесть месяцев. Шесть месяцев истекают, и поручитель Дуранте, не ведая о том, превращается в должника. Банк, возглавляемый Ротштейном, тайно продает имения Дуранте крымскому финансисту Гинзбургу. Вот мнения адвокатов по этому делу: «Дуранте обобран самым противозаконным образом, при соблюдении всех формальностей».

Незадачливый помещик начинает хлопотать, ведет переговоры с министром финансов Витте и получает милостивое разрешение внести миллион двести тысяч рублей в погашение долга, процентов, издержек. Дуранте ищет деньги, но когда нужная сумма наконец собрана, ему объявляют — имения проданы. Концов не сыскать! Гинзбург за 685 тысяч продал свое право господину Завойко — это зять одного из Рафаловичей — Марка. Завойко продал земли Тработти. Тработти, спеша нажиться, сбывал

землю частями. С крымских колонистов брал по 150 рублей за десятину, с крестьян — по 175. Тысяча десятин досталась херсонским крестьянам, большой кус отхватил земельный спекулянт болгарин Руссов, хлопотали о покупке имения «Бурульча» крестьяне Зуи...

Только через пятнадцать лет Дуранте сыскал правду у Столыпина, который приказал исследовать «вопиющее дело» ограбления крымского помещика Дуранте.

Разумеется, Рафаловичи сложа руки не ждали суда. В номере «Европейской» гостиницы в Петербурге заново переписывались книги, подделывались бумаги. Рыльце в пушку было не только у Витте, но и у Абазы, который с благословения Александра Федоровича Рафаловича играл на бирже под еврейским именем, получая полмиллиона в год.

Сам Сергей Юлиевич был клиентом и другом основателя Одесского банка Рафаловичей Федора (отчество неизвестно) еще во времена своей службы на Одесской железной дороге. Пришелся ко двору. Услуги, оказанные Рафаловичами, были столь существенны для Витте, что он платил им полным доверием и ответной службой.

Герман Федорович, парижский рантье, был неофициальным агентом Министерства финансов России, его сын, заботами Витте, получил статус агента официального. Все Рафаловичи сделали карьеру в российских банках или получили теплые места за рубежом.

Быть преданным другом было за что. С помощью Рафаловичей Витте наживался, играя на повышение и понижение рубля. Через Рафаловичей держал связь с парижской биржей, с другими денежными рынками Европы и главное, с Лондонским, с Парижским домами Ротшильдов.

Вот какого человека Савва Иванович Мамонтов принял за благодетеля России, за единомышленника. Но ведь и другие были в восторге от ясной головы лучшего министра Александра III и Николая II. Другие тоже, под водительством решительного и мудрого, спешили принести пользу Отечеству. И служили Витте и Бог весть кому.

«Баян», человек из самого близкого окружения министра финансов, понял это и пишет с ненавистью: «Вас хамски тянуло к титулам. Вы раздарили кучи народного достояния, лучшие куски России, князьям и графам (Белосельским, Воронцовым, Гудовичам и проч.) лишь за право переступить их пороги».

«Баян» обвиняет Витте в низкопоклонстве, в угодничестве. Посадил в министры путей сообщения бездарного М. И. Хилкова, чтобы угодить царице-матери. Ластился к министру иностранных дел графу В. Н. Ламздорфу ради благосклонности все той же Александры Федоровны.

Знал, кто ему нужнее всего нынче. Александр III не терпел шашней, разводов, измен. Но Витте, поступая к нему на службу, заодно поменял жену. Прежняя не умела проигрывать миллионы. Развели в три дня. И еще через три дня обвенчали с разведенной... Все это так, но железные-то дороги его ведь детище! Его заслуга!

А вот что говорят критики Витте.

У Циона читаем: «Без разрешения министра частные железнодорожные общества не смеют заказать ни вагона, ни локомотива, другими словами, они принуждены заказывать их у тех заводчиков, немецких по преимуществу, которые пользуются специальным покровительством гг. Витте и Ротштейна. Заводы не смеют выдавать дивидендов акционерам, не испросивши первоначально разрешения у г. Витте. Он терроризирует частные банки, как терроризирует все сколько-нибудь выдающиеся промышленные и торговые предприятия».

Не потому ли и был уничтожен Мамонтов, что вознамерился водить по своим дорогам свои отечественные паровозы, грузы возить в вагонах, сделанных на своем заводе?

«Баян» указывает еще на одно деяние Витте, которое ставилось ему в заслугу. Именно на постройку Восточно-Китайской и Персидской железных дорог. Строились на русские средства, да не на русской территории. А ведь плакали денежки наших прадедов, наше с вами наследство.

Восточно-Китайская железная дорога была любимейшим детищем Витте. Правда, ветку на Порт-Артур он считал подкидышем. На докладе военного министра Куропаткина в 1900 году Витте написал: «Мы историческим путем будем идти на юг. Из-за Маньчжурии не стоило и огород городить. Весь Китай — все его богатства находятся преимущественно на юге. Но, конечно, это дело будущего».

Вон куда устремлял жадные взоры «великий» политик. И опять возникает вопрос, для кого старался, хотел добыть жар-птицу русскими деньгами, русскими жизнями. Что за мудрецы желали столкнуть Россию с Китаем, два величайших народа, кто желал этой невиданной в истории истребительной схватки?

Для строительства Восточно-Китайской дороги был создан специальный Лихунчанский фонд. Ли Хун-чан был фактически главой правительства Китая. С ним Витте вел переговоры с глазу на глаз на частной петербургской квартире. Речь шла о взятке, о сумме взятки. Ли Хун-чану был обещан миллион, а сколько осело в бездонных карманах Витте?

Взятки, взятки со взяток... Брали великие князья, брал министр финансов. Разумеется, не из рук в руки, через агентов, через банки.

Сергей Юлиевич деньгами не брезговал, какими бы они ни были.

Например, Иван Логинович Горемыкин, министр внутренних дел, а позже председатель Совета министров никогда не брал пятидесяти тысяч, которые полагались министрам для бесконтрольного пользования. Граф Владимир Николаевич Коковцов, уходя в отставку с поста министра финансов, не принял от царя триста тысяч рублей. «Я берег народные деньги, — сказал граф, — не для того, чтобы набивать ими свои карманы».

Витте смотрел на пожалования иначе. Он считал, что ему дают не по заслугам мало. Имел особняк в Петербурге, виллу в Биаррице. Уходя в отставку, получил от Николая II, которого оплевал в своих «Воспоминаниях», шестьсот двадцать тысяч весомых русских рубликов.

Под удава попал Савва Иванович, под змею ядовитейшую. Уничтожая чрезмерно активного, патриотически настроенного промышленника, Витте не только убирал из международного бизнеса опасного для немцев и французов конкурента, но и давал возможность банковской банде Ротштейна хорошо нажиться. Разумеется, о себе не забывал. Железнодорожную линию Пермь — Котлас, подавляющую часть которой составляла дорога Петербург — Вологда — Вятка (эту концессию как раз и отняли у Мамонтова), строил инженер Быховец, свояк Витте. Они были женаты на сестрах, урожденных Хотимских.

Драгоценное детище Саввы Ивановича, Ярославско-Архангельская дорога была отдана врачу Леви — опять-таки родственнику жены Витте.

В трех томах «Воспоминаний» Сергей Юлиевич уделил Мамонтову несколько строк, в связи с увольнением директора департамента железнодорожных дел В. В. Максимова. Витте пишет: «Он... запутался на одном деле, касавшемся железнодорожных предприятий известного москвича Мамонтова. Дело это касалось постройки дороги на Архангельск, и здесь Максимов явился в таком виде, который показывал, если не его некорректность, то во всяком случае увлечение, так как он дал обойти себя Мамонтову. Дело Мамонтова разбиралось в Московском суде, и Мамонтов должен был отсиживать под арестом, чуть ли не в тюрьме». Вот и все.

Впрочем, и Савва Иванович о Витте сказал совсем скупо. Отвечая некоему Леопольду Христиановичу 2 ноября 1915 года, Савва Иванович пишет: «Я получил Ваше письмо от 8-го октября и, признаюсь, затруднился ответить Вам на поставленный Вами вопрос. Вы желаете узнать мое мнение о Витте. Могу сказать только одно: он очевидно знал мудрую латинскую поговорку: „о мертвых говорят хорошо или ничего“ и покончил

с жизнью потому, что ему грозила петля за тайные сношения с германцами. Не дай Бог никому идти по его следам. Вот все, что я могу сказать».

Как это ни странно, нигде не удалось прочитать о смерти графа Витте. А ведь из письма Саввы Ивановича следует, что Сергей Юлиевич совершил самоубийство.

Заклацали задвижки, лязгнули, размыкаясь, запоры, дверь отворилась, и вошел... Поленов. Савва Иванович сидел на табурете, перед ним — другой табурет с глиняными фигурками.

— Вася! — сказал наконец сиделец. И стало видно, как он бледнеет.

— Савва, тебе плохо?

— Хорошо, Вася... Сейчас пройдет. У меня вчера обморок был...

— Савва, а почему был обморок... Сердце?

— Сердце... Подзудыкивал сам себя. Раздумался о подлости человеческой вообще, о Витте... О своей тоже... Все пуще да пуще, вот и грохнулся.

— Савва, мне дали пять минут. Я о главном скажу.

— Скажи, Вася. Только дай я тебя обниму... Руки-то вот. — Опустил руки в ведро с водой. — Видишь, балуют. Думают, в детство впал бывший миллионер. А я леплю и, поверишь ли, действительно чувствую себя ребенком.

Обтер руки о полотенце, о брюки. Обнялись, заплакали.

— Все обойдется, — говорил Савва Иванович, — не век же мне сидеть. Выпустят когда-нибудь.

— Савва, дай скажу! — Стояли, не снимая рук с плеч. — Савва, нас у тебя, братьев художников, — две дюжины и больше, конечно. А иные ведь высоко залетели. Я подумал: нам всем надо сказать о тебе. Чтоб весь белый свет встрепенулся. Царь, высокие сферы, общество. Одним словом, Россия. Ты для нее хороший сын, а она что же? Должна позаботиться. Но прежде всего мы должны позаботиться. Квартиры у всех у нас разные, а семья одна.

Савва Иванович опустился на краешек постели. Лицом размяк, а лоб мыслью стянуло.

— Ты думаешь, неудачно я придумал? — спросил Василий Дмитриевич.

— Вася, только вы и спасете меня из ямы этой... Мне остается

пожалеть, что мало делал для художников доброго.

— Не о том речь. Ты наша печь, русская печь-матушка. Мы же все грелись возле тебя.

Заскрежетали засовы, в камеру вошел надзиратель. Поленов поднялся, поднялся Савва Иванович:

— Спасибо тебе, Вася! Ты как Архангел с небес. Поклонился вдруг. И Василий Дмитриевич поклонился.

Пошел, не дожидаясь, когда надзиратель прикажет. В дверях остановился и снова отдал земной поклон. Савва Иванович казался махоньким старичком.

В письме товарищу прокурора Москвы А. А. Лопухину Поленов писал 16 октября 1899 года: «Сегодня я воспользовался разрешенным Вами мне свиданием с Саввой Ивановичем Мамонтовым и спешу самым сердечным образом благодарить Вас за этот истинно человеколюбивый поступок... Мне показалось, что состояние его здоровья внушает серьезные опасения... Происшедший вчера утром обморок с удушьем и, вероятно, ослаблением деятельности сердца, о чем Вы, конечно, уже осведомлены, внушает мне опасения за его жизнь... Извините решимость, с которой я обращаюсь к Вам с просьбой заменить Савве Ивановичу это заключение домашним арестом... Мне говорили, что заключение его, между прочим, является мерою к предупреждению самоубийства. Так долго и так близко зная С. И., я не могу допустить этой мысли. Я уверен, что он всегда найдет в себе достаточно силы духа, чтобы перенести испытание».

Мысль Поленова поднять художников на защиту собрата, само участие преобразило Савву Ивановича. Он писал через несколько дней Василию Дмитриевичу: «Твое посещение было мне не только отрадно, но прямо живительно, как благодатный дождь, упавший на засыхающую ниву... Ты сказал мне мысль, которая может иметь самый победоносный результат по отношению к моей художественной деятельности. Если ты, Васнецов, Репин, Антокольский, Суриков — словом, русские авторитетные художественные силы, — могут примкнуть и другие (позднейшие формации), — скажете *искренно, смело* свое слово, свое определенное художественное мнение, то из этого может вырасти такой цветок, который всех нас будет до конца дней радовать... Надо решительно, твердым словом повлиять на общество, а это более чем возможно».

Следующим посетителем тюремного сидельца была Елизавета Григорьевна. Савва Иванович вышел к ней в смятении, какое испытал в

иной, в давно прожитой жизни, в Ницце. Но тогда он знал, что должен сказать, тогда решалась его судьба. Теперь сказать было нечего, и в судьбе была записана, может, уже последняя страница.

Они встретились глазами в то самое мгновение, как вошел он в комнату свиданий. И он опустил глаза.

— Я была на «Ожерелье», — сказала Елизавета Григорьевна. — Очень красиво. Музыка, сюжет... Василий Дмитриевич и Коровин сделали изумительные декорации.

Савва Иванович не ожидал, что Елизавета Григорьевна заговорит об опере, о том его детище, которое она считала своим несчастьем.

— Как же это Костенька так расхрабрился? Слух был, узнавши о моем аресте, он все письма мои сжег...

— Сережа был у Витте. Принял любезно.

— А теперь следователи переворачивают вверх дном документацию Невского завода... Как Вера, Саша?

— Все хорошо.

Савва Иванович только теперь поднял глаза:

— Вот как я тебе дался. Столько горя от одного.

— Ты дал мне счастье, Савва. Детей. Жизнь, полную смысла. Я никогда не сетовала на судьбу. Я благодарна Господу... и тебе.

— Ах, Лиза! — вырвалось у него, и больше нечего было сказать.

Время уже кончилось, конвоир деликатно кашлянул. Савва Иванович быстро сказал:

— Ни перед кем более, перед тобой виновен.

Строгое прекрасное лицо, строгие любящие глаза. И ничего уже нельзя поправить.

Шок, поразивший Мамонтовых и всех друзей семьи, миновал. Пошли послабления от судебных властей. Хоть и трудно было добиться свидания с подследственным, но самые настойчивые получали разрешение. Пробились Серов и Коровин.

В приемную комнату для свиданий Савва Иванович вышел в своем платье, не в арестантском, улыбался.

— Рад, — сказал Серову, пожал руки обоим, но на Коровина не смотрел, будто это был чужой, лишний человек. — Какую знаменитость, Антон, теперь пишешь? И вообще какие дела на воле?

— Готовимся к Всемирной Парижской выставке. Хотели часть картин, назначенных на выставку, показать на Дягилевской, в музее Штиглица. А господин Остроухов взбрыкнул, не дал. В том числе портрет супруги, мною

написанный.

— Кто участвует в выставке?

— Тридцать картин дает Левитан, шестнадцать моих. Выцарапали у Ильи Семеновича панно Аполлинария Васнецова «Сказка о рыбаке и рыбке» и большую картину Бакста «Адмирал Авелан в Париже». Нестеров дает картины, Костя дает, — покосился на Коровина, но Савва Иванович опять никак не отозвался на приглашение увидеть своего любимца.

— А почему Илья настроен против Дягилевской выставки?

— По глупости. Выставка уж тем замечательна, что весь модерн русский. Ни одной заграничной картины. Илья Семенович этому рад. А не хочет ничего отпускать из своей коллекции, потому что дал зарок. Дягилев одну из его картин после первой международной выставки вернул помятой.

— Савва Иванович! — с надрывом сказал Коровин. — Да посмотри же ты на меня. Что я тебе, чужой? Ну, слаб! Каюсь! За Шляпиным потащился... Я в Петербург еду, найду Витте, буду говорить о тебе.

— Вот и хорошо, поговори, — сказал Савва Иванович, но на Костеньку все-таки не взглянул.

— Давайте о деле поговорим, — нахмурился Серов. — Савва, какая вина тебе вменяется? Мы были у твоего адвоката Муромцева — не знает. Были у Цубербиллера, это он нам дал разрешение на свидание, — тоже о твоей вине ничего не знает. С Кривошеиным говорили, с Чоколовым... В чем твоя вина?

— Я не знаю.

— Свидание окончено! — объявил тюремный надзиратель.

В автобиографических заметках «Моя жизнь» Коровин так написал о разговоре с Витте: «Сергей Юлиевич, к моему удивлению, сказал мне, что он тоже не знает акта обвинения Мамонтова.

— Против Саввы Ивановича, — сказал он, — всегда было много нападок. И на обвинение его „Новым временем“ в растрате он как душеприказчик чижовских капиталов ничего не ответил. А когда это дошло до царя, то он спросил меня, и я тоже не мог ничего сказать. Но Савва Иванович, когда я его просил это выяснить, предоставил отчет. Оставленные Чижовым капиталы он увеличил в три раза, и все деньги были в наличности. Молчание Саввы Ивановича, которое носит явную форму презрения к клевете, могло и сейчас сыграть такую же характерную для него роль. Я знаю, что Мамонтов честный человек, и в этом совершенно уверен.

И Витте, прощаясь со мной, как-то в сторону сказал про кого-то:

— Что делать, сердца нет...»

Весь Витте в этом разговоре. Солгал, показал дружелюбие к бедному, к чистому Мамонтову и возвел напраслину... на царя.

Палитра была приготовлена. Свет из окон лился матовый, но напоенный солнцем, — чудесный февральский свет, свет перед полководьем света.

Государь назначил время сеанса сразу после обеда, но задерживался. Валентину Александровичу было жаль потерять даже минуты этого дивного освещения.

— Я уже здесь, — сказал Николай Александрович, улыбаясь, занимая место. — Я правильно сел?

— Да, Ваше Величество. Вы совершенно точно запомнили все мои ужасные просьбы.

Серов взялся за кисти.

Работал молча, и государь молчал, чтобы не помешать художнику. За обедом выпили водки, с морозцу, и это молчание, этот загадочно-баюкающий свет из окна потянул в дрему. Лицо у государя стало открытым, доверчиво-детским, чистым. У Серова сжалось сердце: ему, художнику далеко не мировой известности, дано видеть государя так близко, таким... беззащитным. Как же он живет, великий самодержец, в этой круговерти тайных государственных дел, в этой узаконенной лжи, политической, придворной, семейной? Как он может нести на себе, молодой совсем, бесхитростный человек, это чудовищное бремя вожделений? Сколько глаз сверкает из тьмы, впивается в него, ожидая милостей, даров, чинов или только куска хлеба.

Государь открыл глаза, виновато улыбнулся:

— Кажется, сморило. Простите, Валентин Александрович!

И Антон решился. Он писал царя с воскресенья, с 13 февраля. Портрет был заговорщицкий, делался втайне от царицы. Николай Александрович собирался сделать ей нежданный подарок. Второй сеанс был во вторник. И вот пятница, третий сеанс.

— Ваше Величество! — Голос был глухой, и Антон вознегодовал на свою трусость. — Мой долг просить Ваше Величество о Мамонтове. О Савве Ивановиче. Мы все — Репин, Васнецов, Polenov, все наше множество, сожалеем о случившемся с Саввой Ивановичем. Он верный

друг художников. Всегда поддерживал самое даровитое, новое, а потому непризнанное. Того же Васнецова, когда над ним хохотали, улюлюкали...

— Я уже сделал распоряжение, — сказал быстро государь, и глаза его просияли.

Валентин Александрович тоже улыбнулся:

— Спасибо, Ваше Величество... Я в этом деле разобраться не могу, ничего не понимаю в коммерции.

— Я тоже ничего не понимаю. — И, помолчав, прибавил: — Третьякова и Мамонтова я всегда почитал за людей, много сделавших для русского искусства.

И тут в комнату вошла царица.

— Ах, Александра Федоровна! — ужаснулся государь. — Вы нас изловили на месте преступления. Наша тайна погибла.

Александра Федоровна внимательно смотрела на портрет царя в тужурке, переводя глаза на оригинал.

— Значит, под видом, что пишете портрет Михаила Николаевича, вы делаете это.

— По-моему, *это* очень хорошо. *Просто*, — сказал государь.

— Ваше Величество, я с большим удовольствием пишу портрет их Высочества. Утром Михаил Николаевич любезно надел все свои ордена, всю амуницию и простоял в позе целый час. Я благодарен их Высочеству. Но этот портрет, в тужурке, я признаюсь, мне очень дорог. Он получается.

— Да, это благородно, естественно. Но, по-моему, лучше шотландского сделать невозможно.

— Этот в помощь тому, — сказал Николай.

— Прекрасно! И все-таки я забираю тебя у Валентина Александровича.

Царь развел руками.

— Покоряюсь, — и спросил Серова: — Вы не против, если мы отложим сеанс до воскресенья?

— Я не против, Ваше Величество.

Царственная чета удалилась. Серов сел на стул. Сердце радостно стучало: Савва на свободе. Но хорошо, что хватило духу сказать о нем. А вот царице возразить духу не хватило: шотландский портрет Николая плоховат.

В тот же день 18 февраля 1900 года Поленов писал Виктору Михайловичу Васнецову: «Спешу сообщить тебе радостную весть, которую сейчас привезла мне Вера. Савва Иванович завтра переводится на домашний арест. Он выбрал для этого гончарную мастерскую за Бутырками. Мне кажется, что не шире ли будет, если мы поднесем ему оба завета — и Новый, и Ветхий, т. е. всю Библию, тем более что он из Ветхого Завета два раза черпал вдохновение для своих литературных созданий. А кроме того, можно прибавить что-нибудь хорошее из русской истории или поэзии. Всякий дар будет теперь ему впрок, так как все его достояние будет на днях продано».

Сделан был подсчет убытков, причиненных крахом Мамонтова. И снова творился чудовищный грабеж среди бела дня.

Молодой Солодовников приобрел почти что даром ценности Мамонтова и его семьи. Дельцы Грачев и Вишняков завладели самым богатым предприятием Северного Лесопромышленного общества. Грачев стал хозяином лесов стоимостью в сотни тысяч рублей, а скорее всего, в миллионы. Вишняков завладел недвижимостью — заводами.

Международный коммерческий банк Ротштейна ликвидировал все паи Невского завода, продал их чиновникам Государственного банка. Паи были оценены в тридцать процентов их подлинной стоимости. И никто не кричал: «Караул!»

На Савву Ивановича записали убытки чиновников банка, у которых погибли все корабли, груженные хлебом, отправленные за счет Северного общества в Англию. Это очень темная махинация. Вдруг сразу потонуло несколько кораблей. И ответчиком оказался опять-таки Мамонтов. Земли, железные дороги, дома, леса, заводы — все ушло по заграбастым рукам.

Оставалось пустить с молотка дом на Садовой, но с этим судебные власти почему-то повременили.

Будь Савва Иванович на свободе, он сумел бы недвижимость превратить в деньги, с лихвой бы покрыл трехмиллионную задолженность. Потому и сунули в «Каменщики». До суда было еще далеко, а у Мамонтова — ни коня, ни возу, ни что на воз положить.

Оставалось побороться за доброе имя.

Местом для домашнего ареста был избран дом на Басманной, принадлежавший Всеволоду Саввичу. Дом — не тюрьма, но арест не был пустой формальностью. Савву Ивановича караулили, сменяя друг друга, приставы, и некоторых из них Савва Иванович вылепил в глине. Домашние находили, что пристав Ермолов очень похож.

Витте тоже вылепил. Без злобы, без шаржа.

Отдохновение от тюрьмы могло быть кратким, семья приглашала к Савве Ивановичу врачей, и он, принимая заботу, лечился прилежно.

Друзья-художники наконец-то развили бурную деятельность, списывались, договаривались о совместном заявлении.

19 февраля Васнецов, не получив еще письма от Поленова, сообщал: «Тебе, конечно, уже известно, что С. И. разрешен домашний арест, но с теми же ограничениями, как и прежде... Наше же предприятие, мне теперь кажется, должно быть выполнено без грому, а совершенно дружески, интимно... Печатное заявление не ухудшило бы его без этого тяжкое положение!.. Впрочем, как будет решено, на то я и согласен. Затем в выражении наших дружеских чувств мы ни в каком случае не должны подчеркивать в нем мецената. Да это было бы и неверно... Он не меценат, а друг художников».

21 февраля откликнулся на призыв Поленова Репин: «Разумеется, я с удовольствием распишусь под вашим сочувствием С. И. Мамонтову как художнику, артисту, просветителю своего круга в изяществе. Идея ваша мне очень нравится».

Письмо Антокольского датировано 11 марта. «Мой добрый, дорогой Василь Дмитриевич. Твое письмо, равно как ваши добрые намерения, несказанно обрадовало меня, и чего бы Вы ни придумали, я подпишусь обеими руками, только поскорее».

Художник Кузнецов писал из Одессы: «От всего сердца желаю выразить хоть чем-нибудь свое сочувствие и горе дорогому и чудному Савве Ивановичу. Пожалуйста, присоедини мою подпись. Если успею, то пришлю химическую, а то и так подпиши за меня».

Если от кого и не получил Савва Иванович никакого сочувствия, так от Татьяны Спиридоновны Любатович. А сестрица ее Клавдия Спиридоновна Винтер, подставная хозяйка Частной оперы, та и вовсе дошла до подлости. Где о совести думать, когда миром правит госпожа Собственность. Отхватила, пользуясь разорением дома Мамонтовых, драгоценное имущество Частной оперы. Богатейшую нотную библиотеку, редчайшие клавиры старинных опер, собранные Саввой Ивановичем, чудо и сказку, созданные Васнецовыми, Поленовым, Коровиным, Левитаном, Врубелем — декорации, рисунки костюмов и сами костюмы, всю бутафорию, реквизит — очень иногда дорогой. Теперь все это Частная опера для постановок своих могла получить только напрокат, за самую безбожную плату.

Сочинение послания Савве Ивановичу от друзей-художников

затянулось. 25 марта Поленов переслал один из черновиков текста Илье Семеновичу Остроухову и просьбу: «Васнецов и немного я составили сочувственное письмо Савве Ивановичу... У Васнецова много порыва и огня в писании, а у меня есть некоторая запарина; но литературы у того и другого маловато. Будь так добр, обязательно посмотри и исправь».

Письмо распоряжением прокуратуры было не допущено до Мамонтова официально, но, как говорил Савва Иванович Станиславскому, посетившему его на Басманной, «пристава люди сердечные, гораздо добрее, чем те, наверху, в Петербурге». Потому и книги получил, и письмо читал 9 апреля на Пасху. Художники писали:

«Христос Воскресе, дорогой Савва Иванович!

Все мы, твои друзья, помня светлые прошлые времена, когда нам жилось так дружно, сплоченно и радостно в художественной атмосфере приветливого родного круга твоей семьи, близ тебя, — все мы в эти тяжелые дни твоей невзгоды хотим хоть чем-нибудь выразить тебе наше участие.

Твоя чуткая художественная душа всегда отзывалась на наши творческие порывы. Мы понимали друг друга без слов и работали дружно, каждый по-своему. Ты был нам другом и товарищем. Семья твоя была нам теплым пристанищем на нашем пути; там мы отдыхали и набирались сил. Эти художественные отдыхи около тебя, в семье твоей, были нашими праздниками.

Сколько намечено и выполнено в нашем кружке художественных задач и какое разнообразие: поэзия, музыка, живопись, скульптура, архитектура и сценическое искусство чередовались.

Прежде всего вспоминаются нам те чудные вечера в твоём доме, проводимые за чтением великих созданий поэзии, — эти вечера были началом нашего художественного единения. Мы шли в твой дом, как к родному очагу, и он всегда был открыт для нас. Исполнение многих наших больших работ значительно облегчалось благодаря тому, что твои мастерские давали нам гостеприимный уют; в них работалось легко рядом с тобою, работавшим свои скульптуры. С тобою же вместе, с таким общим энтузиазмом и порывом, создавалась и церковь в Абрамцево. Дальше мы перешли к сценическим постановкам, а ты — к первым опытам сценического творчества. Чудным воспоминанием остались для нас постановки в твоём доме сперва живых картин, потом твоих мистерий: „Иосифа“ и „Саула“ и, наконец, „Двух миров“, „Снегурочки“, твоих сказок и комических пьес. То было уже началом твоей главной последующей художественной деятельности.

С домашней сцены художественная мысль перешла на общественное поприще, и ты как прирожденный артист именно сцены начал на ней создавать новый мир истинно прекрасного. Все интересующиеся и живущие действительным искусством приветствовали твой чудесный почин. После „Снегурочки“, „Садко“, „Царя Грозного“, „Орфея“ и других всем эстетически чутким людям уже трудно стало переносить шаблонные чудеса бутафорного искусства. Мир художественного театра и есть мир твоего действительного творчества. В этой сфере искусства у нас твоими усилиями сделано то, что делают признанные реформаторы в других сферах. И роль твоя для нашей русской сцены является неоспоримо общественной и должна быть закреплена за тобою исторически.

Мы, художники, для которых без высокого искусства нет жизни, провозглашаем тебе честь и славу за все хорошее, внесенное тобою в родное искусство, и крепко жмем тебе руку.

Шлем тебе две книги: одна — всемирная, из нее ты не раз черпал вдохновение для своих работ; другая — сборник драгоценнейших самоцветных камней, извлеченных из глубин народного русского творчества. Прими их и цени не как дар, а как знак нашей искренней к тебе дружбы и сердечной привязанности.

Молим Бога, чтобы он помог тебе перенести дни скорби и испытаний и вернуться скорее к новой жизни, к новой деятельности добра и блага. Обнимаем тебя крепко.

Твои друзья: Виктор Васнецов, Василий Polenov, И. Репин, М. Антокольский, Н. Неврев, В. Суриков, Ап. Васнецов, Илья Остроухов, Валентин Серов, Н. Кузнецов, М. Врубель, Ал. Киселев, К. Коровин».

В черновиках стоят еще две фамилии: Левитан, очень больной уже в то время, и Римский-Корсаков.

23 июня 1900 года началось слушание дела Мамонтова в суде. Обвинителем выступал прокурор Московской судебной палаты П. Г. Курлов, защищал знаменитый Федор Никифорович Плевако. На скамью подсудимых сели Савва Иванович, Николай Иванович, Сергей Саввич, Всеволод Саввич Мамонтовы, Константин Дмитриевич Арцыбушев и Александр Васильевич Кривошеин.

Судьи судили, но само «мамонтовское дело» вызывало недоумение даже у судебных властей.

А. А. Лопухин, в то время прокурор Московского окружного суда, писал впоследствии: «Наличность злоупотреблений со стороны Мамонтова и его сотрудников была вне сомнений. Но вместе с тем сравнительно с распространенным типом дельцов, которые безо всяких церемоний перекладывали в свои карманы деньги из касс руководимых ими предприятий и оставались безнаказанными, они представлялись людьми более зарвавшимися в предпринимательстве, чем нечестными. Защищать нравственность их поступков, конечно, было невозможно, но и выбор министерством финансов именно их в качестве дани правосудию казался непонятным. Ясны были незаконность одних мер, избыток жестокости других, что вместе с отсутствием справедливых мотивов заставляло подозревать за всем этим наличность какой-то крупной интриги».

Опрос свидетелей получился не в пользу обвинения. Начальник мастерских Ярославской дороги выразил общее отношение к Мамонтову со стороны служащих и рабочих железной дороги.

— Знаю ли я Савву Ивановича? — удивился он вопросу Курлова. — Да ведь это — отец второй, добрая душа, другого такого не будет. Плакали мы горько, когда его взяли под арест. Все служащие сложиться хотели, внести кто сколько может, чтобы только вызволить его, сочувствие супруге их выразили. Две тысячи человек подписалось.

Инженер Гарин-Михайловский рассказал суду, как, выполняя просьбу Саввы Ивановича, ездил к Витте, и тот посоветовал обратиться за займом к Ротштейну.

— Я помог Савве Ивановичу петлю на шею надеть. Мы плохо понимаем, кого взялись судить и осуждать. Это Фауст из второй половины гётевской трагедии, где он создает жизнь на необитаемом острове.

Плохого о Мамонтове суд так ничего и не услышал. Зато было предложение поставить Савве Ивановичу памятники: один — в Мурманске, другой — в Архангельске, третий — на Донецкой железной дороге, а четвертый — на Театральной площади в Москве.

Получив от судьи последнее слово, Савва Иванович сказал: «Вы, господа присяжные заседатели, знаете теперь всю правду. Так все здесь было открыто. Вы знаете наши ошибки и наши несчастья. Вы знаете все, что мы делали и дурного и хорошего, — подведите итоги по чистой Вашей совести, в которую я крепко верю».

Вернувшись с заседания в зал суда, присяжные признали незаконность финансовых операций Мамонтова, но на все пункты обвинения дали один ответ: «Нет, не виновен».

Зал, заполненный до отказа, замер и разразился аплодисментами.

Люди со слезами на глазах обнимали Савву Ивановича, его сыновей, его компаньонов.

Это было 30 июня 1900 года.

В отчете о суде над Мамонтовым «Новое время» писало не без яда: «Это был ряд великолепных фейерверков, взлетевших вверх и эффектно рассыпавшихся разноцветными звездочками. Тут было все — и оживление Серова, и благодарная Россия, и художественное творчество, и ум русского человека, и беззаветная преданность высоким идеям, и труд, заслуживающий лавров, и лавры, увенчавшие труд, и все это более или менее удачно приложено было к подсудимым».

Иной тон статьи редактора «Русского слова» Власа Михайловича Дорошевича. «Это был удивительный процесс, — писал он в своей газете. — Человек обвиняется в преступлении с корыстными целями, а на суде если и говорилось, то только о его бескорыстности... Было ясно и каждую минуту только и говорилось, что Мамонтов, увлекаясь общественным значением предприятий своих, потерял на них все свое состояние и погубил своих близких. А его обвиняют в корыстолюбии».

3 июля Савва Иванович получил свободу. 7 июля его признали несостоятельным должником. Дом на Садово-Спасской стоял опечатанным. (Елизавета Григорьевна снимала квартиру на Садово-Кудринской, поблизости от квартиры Поленовых.)

Жить Савва Иванович отправился на окраину Москвы, за Бутырскую заставу. Отныне его пристанище в доме Иванова, 2-й участок Суцевской части, рядом с гончарной мастерской, владелицей которой была Александра Саввишна. Никаких средств к существованию, кроме этой мастерской, у Мамонтова не осталось, был долг — сто тысяч рублей.

Скосили поле жизни, остались дожинки.

Не всякий чувствует, что пришло время последнего снопа. Савва Иванович, получив свободу, не в монастырь отправился, а в Париж, на Всемирную выставку. Не пропустить новейшее, порадоваться за братцев-художников. Серов получил высшую награду выставки — почетную медаль, показал всего-то четыре работы, и среди них — портрет Верушки, известная отныне на весь мир «Девочка с персиками». Малявин за «Смех» золото отхватил, позолотили и Костеньку Коровина. При имени Костеньки тошнота подкатывала под самое горло, не мог Савва Иванович даже на чужих людях сдержать гадливого выражения лица. А душа, поди ж ты, радовалась за негодника. Человек Абрамцева.

Само Абрамцево тоже в козырях ходило. Изделия мастерской Елизаветы Григорьевны получили золотую медаль, но наш пострел тоже

поспел. Два майоликовых камина, произведенные в гончарной мастерской в Бутырках, удостоились не только золотых медалей, но были приобретены французским правительством.

Дожинки

Наконец-то он был свободен. Прежде всего от миллионов, от надобности служить им. Свободен от заботы творить великое будущее России, быть ответчиком за могущество, за прочность трона, устоев жизни. Освободился даже от своего сословия, которое предало его.

Впервые после безответственной своей юности он мог жить для себя.

Русский человек так говорит: деньги не Бог, а полбога есть.

Был Савва Иванович с деньгами, как с крыльями. И не думал про крылья — летал, как дышал. Но с первых же дней нового житья своего изведаль он и другую мудрость: после Бога — деньги первые. Разума много, да не к чему рук приложить.

Впрочем, старых ниточек было еще много на Савве Ивановиче. Вот очень интересное письмо из Киева от Моисея Когана от 29 ноября 1900 года.

«Так как Вы состоите во главе заграничного общества капиталистов по разработке и эксплуатации русских богатств в России, — обращался к Мамонтову киевский предприниматель, — имею честь предложить нижеследующее. Просить г. Управляющего Кабинетом Его Величества разрешить Вам купить 24 000 десятин соснового леса в Томской губернии, принадлежащих кабинету Его Величества, для разработки и эксплуатации такового на Европейских и Российских рынках сроком на 12 лет за сумму 12 000 000 рублей, то есть по 500 за десятину».

У Моисея Когана все продумано и просчитано.

«Лес можно транспортировать по Иртышу в Китай, по Оби в Европу и через Уфу в Европейскую Россию. От этого предприятия предполагается чистой прибыли не менее 1 000 000 рублей в год... Устроить также фабрику дубовых паркетов, которая будет изготовлять 100 000 кв. саженей в год, от этого предприятия предполагается чистой прибыли 200 000 руб. в год. Устроить также около сих предприятий проволочно-гвоздильный завод специально для выделки таких сортов гвоздей, которые имеют большой сбыт, а именно 3 дюйма называемых шелевочными и 5 дюймов называемых половыми, от такого предприятия предполагается чистой прибыли не менее 150 000 рублей в год...»

Несколько сотен тысяч, а то и миллионов от этой долговременной сделки Савве Ивановичу перепало бы, но он в компаньоны к Моисею Когану не пошел. Хотел иной жизни. В интервью корреспонденту

парижской газеты «Фигаро» так сказал: «Я больше всего люблю искусство и все проявления художественной красоты. В сфере искусства я могу жить счастливым, и этого счастья никто у меня не может отнять».

Савва Иванович мог бы, пожалуй, и поклониться тюрьме. В тюрьме к нему вернулось детство... Теперь в Бутырках самым близким человеком стал Врубель — дитя неразумное.

Михаил Александрович в эти два года, такие трудные для Саввы Ивановича, писал «Летящего Демона», «Пана», «Сирень», «Царевну-Лебедь». Теперь он готов дневать и ночевать в Гончарной мастерской, не замечая того, что Бутырки это не дом на Спасской, не Абрамцево. Одну за другой творит Врубель сверкающие, как драгоценные камни, майоликовые скульптуры: «Садко», «Лель», «Купава», «Снегурочка». Все это надо смотреть вместе, это симфония, музыка любви и восторга. Врубеля и на театр хватало, все декорации новых постановок Частной оперы за 1900 год — его труд. «Ася», «Сказка о царе Салтане», «Чародейка», «Вильям Ратклиф», «Тангейзер». Публику поразили декорации «Сказки о царе Салтане». Жемчужные, перламутровые тона сменялись мрачными картинами, отяжелявшими душу. Но вот из волн морских всплывал город Леденец. Ослепительное чудо. Души зрителей озарялись музыкой, пением, красотой сказочного города.

Как в «Салтане», где светлое перемежается с темным, новая жизнь Саввы Ивановича не состояла из одних радостей. Пришлось и подлости переживать.

Новый удар нанес ему Секар-Рожанский.

Ограбил Мамонтова, ограбил артистов Частной оперы по крайней мере на тридцать тысяч. Вдруг канули в небытие костюмы и реквизит. Исчезновение этого громоздкого добра не могло обойтись без участия Клавдии Спиридоновны Винтер, директрисы Частной оперы. А Секар и Винтер — не только одна лавочка, но одна семья. Секар стал зятем Клавдии Спиридоновны.

Частная опера умирала медленно. Москвичи полюбили детище Мамонтова и не желали потерять.

Кто же спасал оперу от разора и гибели? Миллиончики, губернатор, интеллигенция? Ничуть. Перед осенним сезоном 1902 года деньги на аренду театра, на зарплату новым артистам предоставила артель театральных... гардеробщиков. Вот кому были дороги русский театр, русская песенная душа, русская мысль в звуках. На следующий год, чтобы выплатить зарплату хористам, рабочим сцены, балету, все утренние спектакли закупили не Рябушинские, не Морозовы — Общество народной

трезвости, солисты же отказались от гонорара.

Финансовые трудности начались уже в 1901 году, когда судебный исполнитель опечатал двери Частной оперы. Спасла театр актриса Вера Николаевна Петрова-Званцева, она от себя лично подписала договор на аренду театра с Солодовниковым.

Нельзя не сказать об этой певице, совершенно забытой, хотя бы несколько добрых слов.

Когда Частная опера все-таки опустила свой занавес, Петрова-Званцева перешла в Театр Зимина. На репетиции «Самсона и Далилы» ее услышал француз дирижер Э. Колонн. Он поднялся на сцену, поцеловал Веру Николаевну и обратился к артистам с речью:

— Мой друг Сен-Санс был бы ошеломлен, слыша это чудо, как ошеломлен я. Это пение есть живое воплощение весны, ее томление, погибельное очарование...

Колонн разнес весть о русской певице по Европе. На репетиции «Кармен» в Берлине в Бетховенском зале после первой арии артисты растерялись, повскакали со своих мест: «Мы никогда не слышали такого голоса!»

Рихард Штраус приглашал Петрову-Званцеву петь в операх Вагнера, ее звал знаменитый дирижер Артур Никиш. Приглашения поменять русскую сцену на европейскую, на мировую актриса не приняла.

Зрители говорили о Vere Николаевне:

— Как только Петрова является на сцене, тут-то и начало театру.

Последняя премьера Частной оперы «Манон Леско» Пуччини была показана 22 января 1904 года. Спели и ликвидировали театр.

Прощальное представление состоялось 11 апреля. Дали вторую картину «Онегина», второй акт «Кармен» и коротенькую оперу Кюи «Мадемуазель Фифи».

День рождения Савва Иванович справлял 3 октября. Прошлый свой праздник он встретил в тюрьме. Теперь ему исполнилось 59 лет.

Был Врубель, молодые художники, были актрисы и актеры, дети...

Приехал Шаляпин. Привез цветы, шампанское, был весел, да чересчур громко говорил, громко смеялся. Савва Иванович сказал ему:

— Встань в позу Мефистофеля. Ты ведь с Мефистофеля в Большом театре начал, когда я сидел.

— Я восемь спектаклей в Частной опере спел, когда ты сидел, и еще бы спел, да не позволили, — огрызнулся Федор Иванович, но сник.

Ушел незаметно. Савва Иванович видел, как уходил, но задержать не захотел, сказал, глядя на дверь: «Он теперь занят не искусством, а постройкой себе золотого памятника при жизни».

Птица-судьба грохнулась оземь с высоты заоблачной — косточек не собрать. Был всем, был царю нужен, государству, народу, стал нужен одному себе. И то не очень. Ни денег, ни чинов, крыша над головой и то не собственная, дочери. Так Савве Ивановичу казалось иногда. Да только без него, без Мамонтова, ни один праздник музыки, праздник театра был не праздник.

19 декабря 1900 года Москва отметила тридцати пятилетний творческий юбилей Римского-Корсакова. В Частной опере Ипполитов-Иванов заново поставил «Садко». В Большом давали «Снегурочку». Композитора пригласили оба театра, но Николай Андреевич появился в ложе Мамонтовского на радость Савве Ивановичу, который был в своем театре только гостем. Позже Римский-Корсаков напишет: «Московская частная опера соединяется для меня со светлыми воспоминаниями — житейскими и композиторскими, которые суть для меня одно и то же».

Станиславский, приглашая Савву Ивановича в октябре 1898 года на генеральную репетицию, на своего рода открытие МХАТа для избранных, приправляя приглашение лъстящей самолюбию просьбой художественной помощи: «Вас же, как театрального человека, понимающего разницу между репетицией и спектаклем, как знатока русской старины и большого художника, — мы бы были очень рады видеть на репетиции: помогите нам исправить те ошибки, которые вкрались в столь сложную постановку, какой является „Царь Федор“». Это приглашение учителю.

А вот приглашение, сделанное Савве Ивановичу через двенадцать лет, больному старому человеку. 8 января 1910 года Сергей Иванович Зимин, хозяин оперного театра на Большой Дмитровке, писал Мамонтову в Бутырки: «Не откажите почтить Вашим присутствием спектакль, посвященный памяти дня открытия Частной оперы. 10 января в 8 ч. вечера будет поставлена „Майская ночь“. Сердечно буду рад видеть Вас в театре».

Отмечается 25-летие «Снегурочки». Зовут Мамонтова, читают экспромт в его честь:

Всю жизнь с искусством тесно связан
И, не щадя ни средств, ни сил,
Был за любовь к нему наказан,

Но все ж его не разлюбил.

У Саввы Ивановича давно уже нет театра. Его не упрекнешь в пристрастии к фаворитизму, в произволе, в деспотической крепколюбости. Но многим, многим, плакавшим от него, хотелось бы испытать вновь и фаворитизм, и произвол с деспотизмом.

Актрисы делятся с ним своими переживаниями. К нему присылают молодых, талантливых, чтоб только послушал, благословил. Просит Надежда Васильевна Салина, хотя сама актриса Большого театра: «Сделайте, пожалуйста, мне удовольствие — послушайте одну 25-летнюю деву, ученицу Петерб. консерватории, сестру Сеницыной, которую Вы знаете. Дело в том, что у Сеницыной 2-ой нет средств учиться долго и ей очень хочется куда-либо попасть, даже хоть в хор, как она говорит. Но я считаю, что голос ее достоин лучшей участи и сказала ей, что попрошу Вас послушать ее».

Просит советов певица М. Д. Черненко, а ее опыта на десятерых хватило бы. Савва Иванович отвечает: «Ты решаешься перейти на партии драматических сопрано. Рано или поздно это должно было быть по характеру твоего голоса. Ты пишешь, что у тебя развились блестящие верхи. Ну, а весь голос? Пропала ли глуховатость тембра? Есть ли тот светлый густой звон, который необходим в драматическом сопрано... Я послал тебе Шекспира, желая поддержать в тебе постоянный интерес к высокой поэзии. Читала ты все, конечно, но Шекспира, Гёте, Шиллера сколько ни читай, все поднимешься выше. Вообще у тебя должны быть остатки времени — вот и пополняй свою память высокой пробы сценической литературой... Это так же полезно, как смотреть постоянно на великие произведения художников. Я Венеру Милосскую знаю с детства, до мелочей, а и сейчас, когда долго не вижу ее, скучаю».

Таков он, Савва Иванович Мамонтов.

Может, и от чистого сердца говорил Савва Иванович о счастье жить искусством и ради искусства, но плоть от плоти, кровь от крови был он купец.

Родной брат Станиславского, известный промышленник Владимир Сергеевич Алексеев, совершив поездку в Среднюю Азию, вспомнил о

мамонтовском проекте железной дороги Томск — Ташкент. От предложения создать компанию сладко закружилась голова у Саввы Ивановича. Это не лес сибирский пустить под пилу.

Ожил, вострепнулся, помчался в Петербург, по старым товарищам и связям, уже и статьи пошли в газетах о возвращении к делам знаменитого Мамонтова. И отклики были. Вот письмо от некоего Владимира Лупандина, жителя Ярославля. Пишет, что лично Савву Ивановича не знает, но с открытой душой приветствует прокладку «пути, который свяжет наши Средне-Азиатские владения со всею Сибирью, и что эта громада будет... в Ваших руках».

Человеку из-под суда трудно рассчитывать на высочайшую милость, концессии Савва Иванович не получил. Получил приглашение от Витте участвовать в строительстве ветки, которую укажет Министерство финансов. Пойти на сотрудничество с Витте для Саввы Ивановича было все равно что себе самому плюнуть в физиономию. Отказался, не колеблясь.

Не раз еще вспыхивала надежда о возвращении к делам, казалось, вот-вот и пойдет прежняя карусель, потянется к горизонту двумя нитями новый путь...

В 1909 году Мамонтов издал брошюру «О железнодорожном хозяйстве в России». Сравнивая стоимость дорог, проложенных частными строительными компаниями и казенными, Савва Иванович предпочтению отдает частнику. Одна верста казенной дороги стоит 57 741 рубль, а верста, построенная на деньги частного капитала, — 48 061 рубль.

«Возьмем как пример, — пишет автор, — одну из последних казенных построек Московскую Окружную ж.д. Мы не будем касаться того, что, несмотря на жирную расценку, ее выстроили все-таки с перерасходом около 1,5 млн. рублей, да кроме того, по слухам, контрагенты предъявляют ей претензий и исков более чем на 3 млн. рублей. Возьмем только одно обстоятельство: постройка должна была быть закончена к 1 января 1905 г., а будет закончена, как слышно, фактически со сдачей отчета, лишь к 1 января 1910 г.»

Брошюра тоненькая, но сказано много. Провидец был Савва Иванович, а проще сказать, человек государственного ума. Его беспокоили стратегические дороги России, вернее, отсутствие таких дорог. Он пишет: «Сравним хотя бы стратегические дороги, направляющиеся к границе Германии. Со стороны России их всего 4, а со стороны Германии 9. О коммерческих путях и говорить нечего: в Германии они подобны паутине, в России же целые громадные районы еще не имеют не только ж.д., но и

вообще никаких сносных путей сообщения».

Не обошел молчанием Савва Иванович и свое детище, Ярославско-Архангельскую дорогу. Современное состояние этого, как он считал, важного для государства пути, было тревожное: «Казенные чиновники в силу каких-то мертворожденных циркуляров нанесли своими действиями убыток казне в сумме свыше 400 тыс. на Северной дороге».

Брошюра Мамонтова была его заявкой к возвращению в мир деловых людей. Преданный Савве Ивановичу милейший Николай Сергеевич Кротков, бывший служащий, бывший музыкант и композитор, писал в Бутырки из Боровичей 10 августа 1909 года: «И сюда проникли слухи, что Вы опять становитесь во главе Ярославской ж.д. Если это действительно так, то, ради 28-него неуклонного уважения к Вам и дружеской преданности, вспомните обо мне и дайте лишь возможность вздохнуть от всех моих долгих невзгод.

Вам нужен же будет безусловно честный человек, испытанной к Вам преданности».

Этот слух, как и прежние, оказался для друзей Саввы Ивановича и для него самого дразнящим, но неверным миражом.

К старости круг знакомств даже у знаменитых людей год от года становится уже. Того не скажешь о Мамонтове. Тюрьма и суд не только не отпугнули от него людей, но притягивали магнитом.

«Вами интересуется очень Горький (писатель), который будет у меня завтра обедать, — сообщал Станиславский 27 сентября 1900 года в Бутырки. — Не соберетесь ли Вы? Мы всей компанией отправляемся в наш театр смотреть „Грозного“».

Горький Савве Ивановичу тоже был интересен. Собрался к Станиславскому, а впоследствии был гостем Горького на Капри.

О третьей волне молодых дарований, которая нахлынула на Бутырки, пишут немного. А ведь эта волна по-своему тоже замечательная. У Саввы Ивановича бывали, пили и ели, а главное, работали рядом, в Гончарной его мастерской Павел Кузнецов, Судейкин, Сапунов, Бромирский, Букша, Матвеев, очень талантливая, но рано умершая скульптор Богословская. Это только художники, а сколько перебивало в деревянных пенатах Саввы Ивановича молодых артистов!

Новый светлячок в искусстве — радость, но были и потери.

Жесточайшие.

9 июля 1902 года умер Антокольский, в Германии, в Бад-Гомбурге. Последняя его работа, последняя надежда достучаться до людей — горельефы «Всемирная трагедия». «Когда я это сделаю, — говорил перед смертью Марк Матвеевич, — все меня поймут».

Хоронили Антокольского в России, в Петербурге на Преображенском кладбище.

Савва Иванович приехал на похороны, его попросили сказать слово. Первым говорил вице-президент Академии Художеств Иван Иванович Толстой, потом — Стасов, адвокат Грузенберг и Савва Иванович.

Был летний день, 18 июля. Над раскрытой могилой общаются с вечностью. И сказал Савва Иванович: «Сердце мое сжалось, но не от впечатления смерти. Нет! Чем больше живешь, тем больше свыкаешься с ней — ведь она так проста, ее права так ясны, так непреложны. Нет, я пришел не для слез, не для жалоб и стенаний. Наоборот, сердце мое радостно трепетало от сознания торжества идеи, я чувствовал законную победу искусства над тлением, искусства, как мировой силы души человеческой, созданной по образу и подобию Божию. А перед этим образом несть ни элина, ни иудея, есть только правда, добро и любовь, одинаковые для всех людей... Жизнь Марка Антокольского пресеклась! Бранный сосуд разрушился. Пусть! Но душа его в сознании правды, любви, добра, красоты засияла в лучах высшего мира!.. Здесь не время делать оценку творений мудрого ваятеля, музеи бережно сохранят миру его образы, история справедливо и спокойно оценит его заслуги в искусстве. Я же как близкий человек почившего, переживший с ним лучшие молодые годы, могу только выразить желание, чтобы преподанная им чистая любовь жила неугасимо из рода в род».

Для Саввы Ивановича за каждым словом стояли картины живой, полной смысла и души, их жизни. Слова звенели, как высоко настроенные, приносящие боль тому, кто трогает их, струны. Говорил о трепете, радости, а закончив слово, заплакал.

Горе одно не ходит. Не успели повянуть цветы на могиле Антокольского, 22 июля новое скорбное известие для всей художественной России — умер Левитан.

1902 год для Мамонтова, для семьи его, тяжелейший. Весной дом на Садово-Спасской и все, что в нем было, пошли с молотка.

В архиве Мамонтова, в ЦГАЛИ, хранится газетная вырезка. Статья называется «Помпея в Москве». Газетчик пробрался зимой в гнездо

Мамонтовых и ужаснулся: в нетопленном огромном доме хозяйничали мороз и мерзость запустения. Гипсы античных статуй потрескались, полопалась лепнина на потолке, обвалилась со стен штукатурка. Драгоценная старинная итальянская мебель — в паутине трещин, ссыпалась инкрустация с крышки рояля. Картины же были убраны инеем. В инее полотна Васнецова, Серова, Поленова, Репина, Коровина, Врубеля, Аполлинария Васнецова, Владимира Маковского, Ярошенко, Остроухова... И всюду сургучные печати. На ногах Христа, мрамора Антокольского, веревка и печать. На голове Иоанна Крестителя, лежащей на блюде, веревка и печать. На бронзовых статуях, на погибающих гипсах — веревки, печати... В спальне на столе забытые очки и запонки, и на них — веревка и печать.

«Не хочется верить, — писал газетчик, — в существование сознательного вандализма в просвещенном XX веке... Если Мамонтов даже и грешен — из этого все-таки не следует, чтобы художественная коллекция, провинившаяся только тем, что с любовью собиралась им, разделила с ним его тяжелую долю».

Статья не прибавила участия и внимания властей к мамонтовскому собранию картин и древностей. Распродажа национальных русских сокровищ была совершена равнодушными чиновниками по дешевке. Этюды и небольшие картины Коровина, Врубеля, Серова шли по двадцать пять рублей, кому попало. «Христос перед судом народа» Антокольского потянул на десять тысяч. Статую купил Рябушинский. По десять тысяч были проданы полотна Виктора Васнецова. Картинная галерея Александра III (Русский музей) приобрела «Витязя на распутье», Третьяковская галерея — «Битву русских со скифами». По двадцать пять рублей были проданы скульптурные работы самого Саввы Ивановича.

Бог дал, Бог и взял. Шло хорошее охапками, худое щепотью, да, видно, поменялся Савва Иванович шапкой с неудачником, все и перевернулось. Пошла жизнь по иной заповеди: сколько дней у Бога наперед, столько напастей.

В январе 1902 года Врубель закончил «Демона поверженного». Картину смотрели Остроухов, Серов, Поленов, восхищались, но не без огорчения. Грандиозная стихия первозданного мира сверкала фантастической феерией красок, потрясал взор Демона, разбитого, но не

сломленного. И через всю эту картину — нескладные, нелепые ноги.

Врубелю говорили:

— Ноги нехороши!

Он взрывался, как бомба, кричал, скрежетал зубами... Вознегодовать художнику было отчего. Он писал своего «Демона» по семнадцать часов в сутки. Разучился спать. У него кисти выпадали из рук от изнеможения. Его тело было таким же разбитым, растекшимся, как на полотне, но возбужденный мозг пылал, жег. Чудилось: голова оставляет черные дыры в воздухе.

Одного Поленова Врубель выслушал молча. Потом сидел перед «Демоном», окаменев, час и два.

Когда Надежда Ивановна пришла к нему, обеспокоенная этим молчанием, этой неподвижностью, он сказал:

— Я написал мое великое произведение.

И вдруг закрыл лицо руками:

— Надо забрать у меня картину. Освободить лучший зал в Третьяковской галерее и поставить на всеобщее, на вселенское обозрение. Чтоб люди могли поклониться. Художнички, друзья мои, будут вилять, виться, как бескостные черви, будут льстить, выворачивать передо мной пустые карманы — денег нет! Они пойдут на все, лишь бы не пустить моего «Демона» в царство Третьякова.

Воздел руки к своему детищу, лицо сияло.

— Какие это были крылья! Надя, ты посмотри! Ты видишь? Это не павлиний глаз — банальщина... Это крылья высшего из ангелов! Да, он восстал, он выказал безумную непокорность, он повержен... У него только глаза живы. Но они живы! Они ужасны, эти глаза. Знаешь, Надя, это они сожгли меня! — Заломил над головой руки, копируя Демона. — Не поймут! — И спросил спокойно: — Надя, я очень соскучился по театру... Я все писал, писал. Он, — кивнул на картину, — не хотел отпустить меня. Я должен был достичь божественного совершенства. Так он хотел... Сегодня что в театре?

— «Кармен».

— Как это хорошо. Ты поешь Микаэлу... Поедем пораньше... Я соскучился по запаху грима, по музыке, по твоему голосу.

Театр жил своей хлопотной, но вполне заурядной жизнью. Обычный театральный вечер. «Кармен» идет уже в который раз, зрители оперу любят, любят певцов.

— Нынче будет полный зал, — сказал артистам Платон Николаевич Мамонтов, работавший в Частной опере администратором.

Обычная суэта перед спектаклем, одни кучкуются в артистических, другие, у которых выход не скоро, собираются группами, травят анекдоты. Мимо в свою уборную прошла Петрова-Званцева да и выскочила опрометью. За нею, размахивая руками, вышел Врубель. Совершенно голый. Тело расписано коричневым с черными пятнами, гримом. Подошел к Гецевичу:

— Я сегодня спою тореадора. Покажу, как надо его исполнять. Объявите, пожалуйста, публике.

Все онемели.

— Ну, что же вы стоите? Публика собралась, я ее слышу. Объявите о моем дебюте.

Гецевич отер испарину со лба:

— Миша, сегодня уже поздно. Объявлен Веков. Давай в следующий раз. Поставим тебя в афишу, ты и споешь.

— Опять этот выбор?! Веков или Врубель. Объявите меня, и дело с концом.

На голоса вышла из своей уборной Забела. Ни страха, ни удивления не выказала.

— Миша, Гецевич прав, — сказала ровно, покойно. — Публика знает, сегодня поет Веков. Она собирается слушать Векова.

Михаил Александрович опустил голову и вдруг ужасно сконфузился:

— Пардон, господа!

Веков подхватил его под руку, увел одеваться.

Все стояли, не зная, что сказать Надежде Ивановне.

— Михаил Александрович закончил своего «Демона», — сказала она. — Ужасное переутомление. Он совершенно не спит.

— Но какой грим! — не сдержался Тамарин. — Это же целая картина, написанная на самом себе.

Через несколько дней Врубель явился к Савве Ивановичу с жалобой на Серова:

— Он как все! Ноги, ноги! Словно на картине, кроме ног, и нет ничего. Я хватил его по голове палитрой.

— Антона? По голове? Про какие ноги ты говоришь?

Врубель молча положил перед Саввой Ивановичем вскрытый конверт. Серов писал: «Михаил Александрович! Демон твой сильно исправился и лично мне нравится, но этого далеко не достаточно, чтобы вещь эту приобрести — для чего Остроухов и я были в Думе у князя Голицына — сейчас он занят комиссией по памятнику Гоголю. Сегодня же вечером

Остроухов повидает его, дабы решить этот вопрос Советом. Свой голос я передал Остроухову, т. е. он его заявит на Совете. P.S. Хотя для тебя и безразлично мнение мое, т. е. вернее, критика моя, но все же скажу — ноги не хороши еще».

Врубель следил, когда Савва Иванович закончит чтение.

— За «ноги» он и получил! Это — икона.

— Твоего «Демона» Поленов смотрел, какое у него мнение?

— Не помню. — Михаил Александрович отвел глаза. — Что вам дался этот Демон? Он же поверженный... Я закончил вчера акварелью портрет моего сына, моего Саввы. Ты ведь догадываешься, в чью честь назвал я сына? — Вдруг рухнул на скамью, тиская голову ладонями. — Как глина. Из нее бы кувшин слепить. На твоём круге.

Схватил письмо со стола и выбежал.

Почти тотчас появился Платон Николаевич:

— Встретил Врубеля. Напился, что ли?

— Ничего не пил. Просто он уже погибший человек. — Савва Иванович подошел к полке, где сверкала, переливалась радугой майоликовая симфония Врубеля. — Боже мой, какое несчастье! Ты знаешь, Платон, что у Миши произошло с Антоном? Говорит, по голове ударил, палитрой.

— Валентин Александрович в закупочной комиссии Третьяковки, и, кажется, «Демона» все-таки не покупают.

— Глупо, — сказал Савва Иванович. — О Врубеле еще будут вздыхать. Он прав, что негодует.

Картину действительно не купили, и Врубель, кипящий злобой и жадной мести, обзавелся револьвером, чтобы казнить Серова. Ни в чем не повинного. Валентин Александрович, уезжая в Петербург, оставил Остроухову письмо-заявление: «На случай, если Совет по поводу Врубеля состоится — он должен состояться — прошу на нем заявить мой голос за приобретение „Демона“».

26 февраля 1902 года Илья Семенович писал Валентину Александровичу: «Тороплюсь послать тебе это письмо ввиду того, что Врубель едет завтра или послезавтра в Петербург. Ты помнишь его последний визит ко мне... На вопрос: „Что, „Демон“ куплен?“ — я ответил роковым — „Нет“. — „Почему?“ — „Извини меня, Михаил Александрович, но я могу сообщить тебе только это решение и не имею права сообщать все происходившее в закрытом заседании Совета“. — „В таком случае я с тобой не разговариваю...“ И, не простясь, вышел в большом возбуждении.

Сегодня я приехал в Москву. Бедный Врубель все время не выходил из головы... Вдруг перед обедом он приходит к нам и между нами произошел следующий разговор...

„Я пришел к тебе на минутку, сказать тебе, что я глубоко извиняюсь опять за мой поступок; еще сказать тебе, что ты вел себя во всем деле со мною героем, истинным героем, что я обязан тебе, твоему, прямо говоря, героизму, что я исправил недостатки рисунка и пр. Теперь мы больше о „Демоне“ говорить не будем. Я его продал Мекку и Тенишевой!.. Серов вел себя нехорошо (не стоит приводить подлинных выражений)...“

Сели наскоро обедать... Говорили о том, о сем. Вдруг Михаил Александрович бледнеет и опять своим криком, с странным выражением в глазах, начинает: „Вы делаете преступление, не передо мной, перед всем искусством, что не приобретаете „Демона“... Это великое создание... „Демон“ должен быть в галерее“... и пошел, и пошел. Я молчу, жена тревожится. Положение отчаянное... С резкостью я вдруг меняю тему разговора, Врубель также быстро переходит на спокойное лицо... Я поспешил в Думу и увез с собою жену. Перед самым выездом я устроил так, что Врубель дал мне слово посоветоваться с Ротом, которому я написал уже письмо. Оказалось, что, очевидно, под давлением домашних он уже лечится у каких-то мне неизвестных докторов душевных болезней и берет ежедневно 30-градусные ванны и принимал от сплошной бессонницы какие-то средства. Врубель везет „Демона“ в Петербург на выставку „Мира искусства“.

Прошу мне верить, хотя я не специалист: Врубель болен. Это ужасно, но это для меня истина... Устройте показать его специалисту, которого можете свести незаметно с ним в нашей компании. Быть может, вовремя принятыми тактично мерами его можно вылечить. Лечить его необходимо и неотложно».

Вот она русская дружба. Сначала довели до болезни, а потом всполошились, да чересчур поздно.

27 мая Остроухов сообщал Серову о здоровье Врубеля: «Очень буен. День и ночь несколько надзирателей дежурят у него в комнате... В спокойные минуты он иногда говорит довольно разумно, рисует, но надо видеть эти ужасные рисунки! Все — сплошная порнография».

О болезни художника-декадента не без ехидной радости раструбила газета «Русский листок», тем более что это был второй случай. Сначала сошел с ума художник-декадент Радугин, теперь Врубель. Приводились слова психиатра, владельца лечебницы для душевнобольных Федора Андреевича Савей-Могилевича: «Декадентское направление и в

литературе, и в живописи, и в сценическом искусстве подготавливает душевнобольных». Не забыл газетчик помянуть и о больничных рисунках Врубеля: «Большой частью изображены парочки в самых невозможных эротических положениях».

Савва Иванович привез Врубелю самый изысканный и уж, конечно, очень дорогой обед из французского ресторана. Тут были устрицы, рыба по-провансальски, суп из трепангов, омары.

Врубель сидел у окна, безучастно взглядывая на сокровища кулинарии.

— Угрызения совести, грызение сухарей, усохшие мумии, грызение глазури, — бормотал он окоlesiцу, и у Саввы Ивановича больно сжалось сердце.

— Миша! Михаил Александрович! Врубель! Ты узнаешь меня?

— Почему я должен тебя не узнавать? — сказал больной, не достаивая посетителя взглядом.

— Так кто я?

— Мамонтов... Я все прекрасно помню. Я сегодня же прикажу содрать выгоревшие, потерявшие цвет небеса и заменю их белым холстом. На холсте напишу розы. Они пылают во мне... Ах, если бы вы могли видеть эти розы! Они огромные, напоенные светом. Но я обещаю, я покажу их вам...

— С ним бесполезно теперь разговаривать, — сказал врач.

— Дозвольте одно средство испробовать?

Врач снисходительно улыбнулся, а Савва Иванович грянул вдруг арию тореадора.

— Савва! — воскликнул Врубель, словно пробудившись. — Как рад я тебе!

И увидел сервированный стол.

— Это все мне? Савва! Ты балуешь меня, как инфанта. С вашего позволения, доктор, я сяду за трапезу.

Сел за стол, озорно поблескивая глазами.

Ел очень красиво, наслаждался едой. А Савва рассказывал ему новости.

— Артель «36-ти художников» собирается зимой дать бой Дягилеву. Это будет не просто. Дягилев, сколько мне известно, собирает изумительную выставку.

— Я буду выставляться у Дягилева. Все мое лучшее покажу на этой выставке. Я обещал Сергею Павловичу, но мне совсем не противны эти «36». — Он отложил нож и вилку, тяжело задумался: — Нет, не противны,

хотя... грызение сухарей и не грызение, а огрузение глазури согласуется с угрызениями совести...

На глазах пучина болезни затягивала бедного Михаила Александровича в свою жуткую крутящуюся воронку. Савва Иванович подскочил к доктору, но тот только руками развел:

— Если кто и вылечит его, так время.

Савва Иванович подошел к Врубелю, погладил по голове, как ребенка, и шепнул в самое ухо:

— Я помолюсь за тебя!

Врубель вынырнул вдруг из бреда и сказал ясно, здраво:

— Доктора не верят, что я спасусь. Меня Сербский смотрел, светило, тоже не верит. Ты верь. Я отсюда выйду.

Покинул больницу Михаил Александрович в феврале 1903 года.

Он не чувствовал себя сломленным, больным. Принял участие в составлении устава «Союза русских художников». Ему понравилось, что художники «Мира искусства» и основатели выставок «З6-ти» соединились в одно братство. У Врубеля было одно требование, но самое важное — дать художнику полную свободу творчества и возможности показать произведение зрителям. Никакого посреднического сита! «Независимость от всякого менторства, от вкусов, часто капризов того или иного судьи — словом, установление полного отсутствия жюри». Врубеля поддержали, он был доволен, его обступали замыслы новых картин.

В 1903 году жизнь одарила Савву Ивановича двумя большими радостями. 26 января пошла под венец Вера Саввишна. Ее избранник Александр Дмитриевич Самарин принужден был отстаивать любовь и счастье перед самыми близкими людьми своего семейства. Отец и мать не пришли в восторг от выбора их сына. Жениться на купчихе — значит разбавить голубую древнюю кровь дворян чересчур густой, чересчур красной. Да ведь и само имя Мамонтовых было запятнано. Тюрьмой, судом, сплетнями. Да ведь и миллионы просвистели...

Была в свадьбе Александра и Веры правда. Наследница Абрамцева, гнезда Аксаковых, гнездовья русской живописи, русской оперы, русской мысли, роднилась с племянником Юрия Федоровича Самарина, единомышленника Константина Аксакова и Алексея Хомякова.

Да ведь не замарашку какую-нибудь брал отпрыск Самариных, не

сундук с деньгами, а само Вдохновение русских художников.

На свадьбе Виктор Михайлович Васнецов поднес, как и обещал Вере Саввишне, ее портрет Александру Дмитриевичу.

Вторая большая радость ждала Савву Ивановича Великим постом. Московское общество любителей оркестровой, камерной и вокальной музыки арендовало театр «Эрмитаж» и поставило оперу Эспозито «Каморра». Либретто и постановка Саввы Ивановича Мамонтова, декорации Василия Дмитриевича Поленова. Слово молодость вернулась. Спектакли были благотворительные, но все делалось всерьез, с полной отдачей сил, с любовью. Ибо все эти люди служили одному самодержавному государю — Искусству.

Мальчишку-попрошайку пела стройная, гибкая Шорникова, Джиджи — будущий соперник Собинова Смирнов, графа Тюльпанова — Грызунов, обещающий певец и артист.

Платон Мамонтов пишет в «Воспоминаниях»: «С каким огнем, с каким блестящим, актерским показом проводились дядей Саввой репетиции. Смотря на него, на его живость, с какой он переходил от одного участвующего к другому, ему нельзя было дать шестидесяти трех лет. Он весь перевоплощался в живого, темпераментного итальянца».

Два старика, Эспозито да Мамонтов, творили веселое, молодое дело — музыкальную, радостную оперу. «Каморра» прошла по всей России, провинциальные театры брали ее охотно. Опера ставилась и после революции, в Москве, на сцене Грузинского Народного Дома. Несколько сезонов продержалась.

Начало века, особенно 1902–1903 годы, счастливое время для русского искусства.

Михаил Васильевич Нестеров писал другу своему Турыгину: «Были мы в Москве на выставке „Мира искусства“, там есть два „слона“ — Серова портрет М. Абр. Морозова (Джентльмена) и великолепные, хотя снова „красные“ бабы Малявина. Портрет Серова — это целая характеристика, гораздо более ценная, чем в пресловутой пьесе Сумбатова (Малый театр ставил пьесу Сумбатова-Южина „Джентльмен“. — В. Б.) плюс живопись „почти“ старых мастеров, умная, простая, энергичная. Это прямо великолепно без оговорок. Портрет царя в красном (в форме Шотландского полка. — В. Б.) — хорошо, красиво, но менее „ясно“ в худож. отношении. Жаль, что у бедного Филиппа Малявина „голова“ слабее таланта. Какой удивительный живописец, какой дерзкий талант опять живописца, и какое „животное“ в остальном, даже досадно! А впрочем, все хорошо, что хорошо, а живопись-то у Малявина ах как хороша! Дальше

Рерихи, очень много Рерихов и Бразов, Сомов, хотя и оценен в 12 тысяч, но до жалости плох (я ведь, знаешь, люблю его). „36“ сильно портят дела Дягилева в Москве. Газетки молчат в ожидании выставки „36-ти“, где будет участвовать Викт. Васнецов с рисунками к „Снегурочке“.

Ну, потом, братец мой, были в Большом на Шаляпине и Собинове, были в Художественном на „Мещанах“ и „Штокмане“, ах, как это все хорошо, ну разве это не возрождение?! Какой живой, горячий подход к искусству — сколько во всем этом еще увлечения, вдумчивости, желания изыскать новые формы. Сердце радуется, сам молодеешь... Слава Станиславским, Шаляпиным, слава всем тем, кто с таким искусством, талантом, энергией раскрывает пред нами великолепные, полные трагизма, веселости, тонкой прелести жизни и поэзии страницы!»

В этом письме ни слова о Мамонтове, но ведь это ему пропета слава. Ему, предтече и работнику русского возрождения. Римский-Корсаков признает: «В некотором отношении влияние Мамонтова на оперу было подобно влиянию Станиславского на драму». Но ведь Савва Иванович и на Станиславского повлиял. И повлиял сильно. А значит, и во МХАТе витал мамонтовский дух.

А каково влияние Мамонтова на Шаляпина, разговор особый. Этого влияния ни метром не измеришь, ни мензуркой. Сам же Савва Иванович в оценке своего учительского, вдохновляющего дара был строг, а Шаляпина долгое время считал для искусства потерянным.

Марк Исаевич Копшицер в книге о Мамонтове приводит беседу Саввы Ивановича с великим князем Владимиром Александровичем — президентом Академии Художеств. Великий князь сказал Мамонтову:

«— Ведь вы первый изобрели Шаляпина.

— Шаляпина первый выдумал Бог, — ответил Савва Иванович.

— Да, — заметил великий князь, — но ведь вы его первый открыли.

— Нет, ваше высочество, он еще до меня служил на императорской Мариинской сцене в Петербурге, с которой он и перешел ко мне на Нижегородскую выставку.

— Но, — горячо воскликнул великий князь, — ведь все-таки вам принадлежит заслуга открытия такого гениального артиста, которого раньше не замечали.

— Позвольте, ваше высочество, — ответил Савва Иванович, — надо прежде условиться в понятии гениальности. Гений делает всегда что-нибудь новое, гений идет вперед, а Шаляпин застыл на „Фаусте“, „Мефистофеле“, „Псковитянке“, „Борисе Годунове“».

Не гордился Савва Иванович, а скорее стыдился в те годы

шляпинского триумфа. Ему казалось: Шаляпин проматывает сокровища своего таланта, меняя бесценное на деньги, шубы, дома. Божественное на сатанинское.

Когда была железная дорога и работы невпроворот, к Савве Ивановичу ближе всего стоял сын Всеволод. Теперь открылся, стал понятнее, роднее неприкаянный в жизни, не бездарный, да не очень-то удачливый Сергей. После краха отцовских предприятий он, однако, не потерялся, а скорее ожил, нашел дело по себе. Писал драмы, стихи, рассказы, статьи. К его критическому голосу художники внимательно прислушивались. Сама фамилия Мамонтов завораживала.

Сергей и Савва Иванович вдвоем обошли и Дягилевскую выставку, о которой пишет Нестеров Турыгину, и позже выставку «36-ти».

Обеим этим выставкам предшествовала напряженная закулисная борьба.

Дягилев перепугался соперничества московских художников, это видно по тону его письма Серову. Сергей Павлович не доволен Сомовым, который не согласился отложить свою выставку. Просит Валентина Александровича съездить в рязанскую деревню к Малявину: «Убеди его выставить что-нибудь новое — это обязательно». Требуется переговорить с Виноградовым, Пастернаком, Михаилом Мамонтовым. «Необходимо их вырвать из когтей „36“! Затем на твоей ответственности молодежь: Петровичев, (Павел) Кузнецов и Сапунов, они должны быть „наши“». Просит зайти к Жуковскому и Чиркову. И, наконец, почти умоляет выцарапать картины Врубеля — у Мекка, а картины Марии Якунчиковой — у ее отца.

Хлопоты Дягилева и Серова не были напрасными. Выставка «Мир искусства», открывшаяся 12 декабря 1902 года, стала выдающимся явлением художественной жизни России.

Савва Иванович с любопытством, но не радуясь, смотрел картины петербуржцев, всей этой новой волны: А. Бенуа, Л. Бакст, О. Браз, Е. Лансере, И. Билибин, А. Остроумова, К. Сомов, П. Щербов, С. Яремич, Н. Рерих.

— Затеяливо. Красиво. Очень красиво! А ведь не горячо! — сказал Савва Иванович Сергею. — Ты погляди, какие они все умники. Что ни картина, то шарада. Мудрствуют, мудрствуют. А мозги не русские. Душа молчит, а ум — юлой вертится, аж искры летят. Рерих вон Русь показывает, а на меня от его Руси холодом тянет. Пишет, как поклоны кладет, поученому, по-писаному. Погляди-ка на Малявина! Вот уж где горячо! Господи! Это все равно, что русская печь в пляс пошла.

Малявин дал на выставку картину «Три бабы». Картину-праздник, чистую правду о русской душе, когда душе этой весело. Редкий русский человек видел сие чудо. «Три бабы» — достояние французов.

У Врубеля было выставлено тридцать работ.

— Великий художник, — сказал Сергей.

— Самое горькое, мы так и не узнаем никогда, какой это художник. — Савва Иванович посмотрел Сергею в глаза. — Не для красного словца говорю. Все это — изумительные осколки осыпавшейся и, главное, никогда не существовавшей мозаики. Она была, но в его воображении. И он не совладал с этой чудовищной красотой.

Художники, посетители выставки группами, поодиночке, заметив Мамонтовых, останавливались, прекращали разговоры и только делали вид, что смотрят на картины. Всем было интересно, о ком говорит Савва Великолепный, на что он посмотрел, как посмотрел, сколько простоял у картины, кто этот счастливец, удостоенный столь высокого внимания.

— Серов считает «Пана» лучшей картиной Врубеля, — сказал Сергей.

— Вещь самая законченная, это верно. Но лучшая ли? Вон как распластался рухнувший с небес демон!.. Врубель — великий грешник. Самому Господу Богу быть судьей. И Бога любить, и демона. Ты видел эскизы к «Царевне Лебедь»? На одном лебедь, взлетающий, хлопающий крыльями, с черным жутким глазом, на другом — ворох перьев и какое-то постное, отвратительное женское лицо. А «Надгробный плач»? Зловещие, рыскающие глаза Магдалины, совершенно зеленая физиономия. Посмотри, какая изумительная сирень! А кто в сирени? Ведь эта дамочка на ведьму смахивает.

— Отец, пошли молодых посмотрим. Мне очень нравятся и Петровичев, и Жуковский.

— Крылышки у птенчиков отрасли, скоро будут летать... Павел Кузнецов, думаю, высоких небес достигнет.

— А Сапунов?

— Этот раб цвета. Добровольное рабство — неизживно. В театр ему надо идти. Пожалуй, Коровина переплюнет.

— Отец, — сказал Сергей, приглушая голос, — а ведь это всё, вся выставка имеет прямое отношение к тебе. Это ты ее приготовил.

— Хорошо хоть говоришь тихо! — Савва Иванович засмеялся. — Не преувеличивай. Этак мы можем сказать: Лев Толстой потому Лев Толстой, что мы его современники.

Был Сергей с отцом и на выставке «36-ти». Новые имена, свежие цветные ветры с полотен: Юон, Рылов, Бакшеев, Пырин... Савве

Ивановичу очень понравился Андрей Рябушкин: «Едут» и особенно «Втерся парень в хоровод, ну старуха охать». Красная, зимняя, с морозцем картина Сергея Иванова «Царь».

Москвичи боялись провала, но выставку посетило восемь тысяч человек — успех, на Дягилевской побывало десять тысяч. Пресса отзывалась о работах москвичей благожелательно. Дягилев понял: Петербург Москву не сломил, и — умный человек — предложил объединиться.

Через год Сергей Мамонтов писал о выставке «Союза русских художников»: «Когда вы приходите на периодическую выставку и даже на выставку передвижников, вы тоже видите все знакомые лица, вы узнаете своих — то любимых, то известных мастеров, но они вам не говорят ничего нового, и вам кажется, что вы все это видели у них на предыдущих выставках и совсем в другом варианте, и отсюда получается впечатление какой-то неподвижности, застоя, посредственности и скуки. И в самом деле, кому это интересно, когда все это одно и то же, а современному человеку нужно свежее, живое! И вот этому исканию современного человека дает некоторое удовлетворение выставка „Союза“. Эти знакомые ему мастера говорят что-то новое. Другой вопрос — хорошо это или дурно, но это свежо, в этом есть пытлиное искание истины, это заставляет и зрителя работать умом, жить сердцем, а не только безразлично относиться и безучастно скользить не столько по картинам, сколько по рамам».

Это очень сдержанная оценка. Первая выставка «Союза русских художников», открывшаяся в конце декабря 1903 года, была хоть и разномастная, но яркая. Аполлинарий Васнецов выставил «Базар», «Озеро» и «Площадь Ивана Великого в Кремле», Виктор Васнецов — «Витязя на распутье», Бенуа — «Парад при Павле I», Рябушкин — «Чаепитие», Малявин — «Девку», Юон — «К Троице», «В монастырском посаде», Коровин — «Зиму», эскизы к «Золотой рыбке», Рерих — «Божий дом», Головин — эскизы к опере «Руслан и Людмила», Врубель — «Демона» и «Валькирию».

Савва Иванович был щедрее Сергея в оценках, посмеялся над его педантичностью, осторожностью.

— Отныне, сын мой, — сказал он, гордо заломив берет, — не во Францию будут ездить за художественной модой, все новое — в России... — Вздохнул: — Врубеля жалко до отчаяния. Пришло его время! А он, как его Демон, расшибся в прах. Напророчил.

Врубель опять был пациентом клиники нервных болезней. Лежал в Риге.

3 мая 1903 года, простудившись, умер двух лет от роду его Саввочка. Михаил Александрович не перенес этой душевной боли.

Просветления у него будут, но болезнь уже не отпустит из кокона бредовых грез.

Он еще напишет волшебную свою «Жемчужину», портреты жены на фоне берез, возле камина, несколько автопортретов, портреты петербургского психиатра Усольцева, будет рисовать больных, товарищей по несчастью. Последняя его работа — портрет поэта Брюсова. Уголь, сангина, мел. 1906 год. Портрет не закончен. Вернулся разум, но погасло зрение.

В 1908 году Савва Иванович приезжал в Петербург, был у врача Усольцева, на квартире которого жил Михаил Александрович. Врубель забыл, кто это — Мамонтов. Тогда Савва Иванович прибегнул к старому средству: запел «Санта-Лючию». Врубель обнял друга, омочил слезами и все шептал:

— Это от радости! Это от радости!

Скончался Михаил Александрович Врубель 1 апреля 1910 года.

В 1904 году Сергей Мамонтов, помолившись с матерью, с Елизаветой Григорьевной, в их церковке, в Абрамцеве, получив благословение Саввы Ивановича, пошел под Стукалов монастырь, на проклятую для России войну с японцем.

К солдатской жизни Сергей Саввич был не годен, но хлебнул ее сполна, служа корреспондентом газеты «Русское слово».

В том 1904 году в России много слез пролилось. Побила война мужичков, потопила в море, покалечила. Правду говорят: войну хорошо слышать, да тяжело видеть... Куда денешься, научила жизнь на обрубки человеческие, сердце заперев, глазами хлопать.

Утеху нашли в героях. Постоять за батюшку царя, за матушку Россию жизнь положить охочих людей нашлось несчетно.

«Варяга», сочиненного немцем, всем народом пели: умыли кровью русского мужика. Стерпел, но запомнил обиду. Не на японца, на своих генералов. Яблоко покатилося уже под гору. Было то яблоко — державой.

Попал в герои Витте, царь ему доверил мир заключать. Удостоил титула графа, а народ прозвал того графа Полусахалинским за то, что отдал японцам половину острова.

Революция — суд человеческий, плата за тысячу лет обиды, бессовестное дело, творимое ради совести.

В кругу семьи, когда в Москве гремели ружейные залпы вооруженного восстания, Савва Иванович сказал как на духу:

— Мы перед народом виноваты.

Совесть подхлестывала что-то делать для народа, но не много мог в ту пору бывший богач Мамонтов: помогал любительским театрам при фабриках, в селах.

Протестовал против глупейших правительственных мер. А глупого вершилось много. Вдруг личным постановлением великий князь Константин Константинович уволил из числа профессоров Петербургской консерватории Римского-Корсакова. Среди подписавших протест есть подпись Саввы Ивановича.

Кому-то Мамонтов все еще был нужен. Станиславский и Мейерхольд пригласили Савву Ивановича поучаствовать в работе театральной студии на Поварской, а у него вдруг деньги появились нежданные. Вот какое уведомление пришло в Бутырки из Канцелярии Николая II: «Коммерции советнику С. И. Мамонтову... По воле Его Императорского Величества министром финансов в 25 день Августа сего (1905. — В. Б.) года Всемилостивейше соизволил на возврат Вам из казны залогов...»

И Савва Иванович снова возмечтал о своем театре. Вот что он пишет своему единомышленнику режиссеру Петру Ивановичу Мельникову: «Я в сообществе с несколькими товарищами арендовал на 25 лет целый квартал в Москве (против Малого театра, где гостиница Метрополь) и страховое Общество, владеющее этим местом, обещалось истратить по 1500 тысяч на постройку первоклассной гостиницы, ресторана и художественных зал, из коих одна на 3100 человек (т. е. театр в 6 ярусов). Мы, арендаторы, образуем акционерное общество, которое будет все это эксплуатировать. Таким путем осуществится моя заветная мечта и Частная опера уже не будет случайным капризным предприятием».

Увы! Не дано было вернуться Савве Ивановичу к большому делу, хотя имя Мамонтова для театрального мира оставалось притягательным.

В 1907 году директор Парижского театра «Опера Комик» г. Карре обратился к Римскому-Корсакову за помощью в постановке «Снегурочки». Николай Андреевич порекомендовал в консультанты Мамонтова. Савва Иванович тотчас загорелся, послал в Париж эскизы декораций, костюмы, закупленные когда-то в Туле. «Если нужно помочь в постановке, — писал он Римскому-Корсакову, — я сам готов поехать. Надо, чтобы это было очень хорошо, чтобы это была настоящая победа».

К сожалению, в Париж Савву Ивановича не пригласили.

Театральная жизнь Москвы была пестрой. Мамонтов следил за нею, но верен он театру Незлобиной да МХАТу. У Незлобиной служил его племянник Платон Мамонтов. Однажды Савва Иванович сказал о нем Незлобиной: «Вы имеете в лице Платона помощника, единственного пошедшего по моим стопам. Я вижу, он серьезно любит театр».

Очень понравились Савве Ивановичу у Незлобиной декорации «Орлеанской девы». Написал их молодой художник Петров-Водкин. Но к большинству постановок старый театрал относился критически. Сохранился черновик незаконченного обзора оперных театров Москвы. Савва Иванович, видно, попробовал себя в критике, статью не закончил, но нам его суждения уже потому интересны, что это единственная возможность ощутить мысль Мамонтова, его требования к оперному спектаклю.

«Большой театр, — начинает свой обзор Савва Иванович, — пока почит на лаврах и не торопится готовить в новом здании „Нерона“ Рубинштейна.

Трудно объяснить себе, какими соображениями руководствовалась дирекция в своем решении сделать серьезные затраты на роскошную и сложную постановку этого бесцветного и скучного произведения. Шла эта опера и в Петербурге и в Москве в разное время и в разных видах, и результат всегда был более или менее отрицательным.

В Солодовниковском театре после „Сна на Волге“ и „Бориса Годунова“ очевидно старательно принялись полным оперным ансамблем за обработку „Орфея в аду“ Оффенбаха по последнему изданию. Что из этого выйдет, конечно, трудно предугадать, но судя по тенденциям, обнаруженным в „Борисе“ Мусоргского, мы можем рассчитывать на смелую изобретательность и новаторство вроде спелого помидора на носу фонографа, автомобиля, новых куплетов и тому подобных смехотворных аргументов, мало имеющих общего с чистым искусством.

Кстати сказать, я помню „Орфея в аду“ в первом издании с первоклассными парижскими исполнителями. Это было ново, жизненно и очень смело.

...Опера Зимина пригласила нового тенора Алчевского, который и дебютировал на днях в опере Сен-Санса „Самсон и Далила“. Партия Самсона представляет тенору проявить свои героические вокальные качества. Тут никакими рекламами не спасешься. Прежде всего нужен голос, и давать его приходится широко, как говорится, „на совесть“. С именем Самсона у нас связано понятие о чрезвычайной библейской

физической мощи, и автор этой прекрасной оперы очевидно так и понимал своего героя. Г. Алчевский несомненно обладает хорошо поставленным звучным и верным голосом и как хороший музыкант понимает смысл фразы...»

На этом статья обрывается.

Модернизм перевернул понятие о прекрасном в живописи, совратил литературу бумажными цветами красоты, мистицизмом.

Взламывалась и традиционная оперная эстетика, место которой агрессивно занимали вычурность, вульгарный натурализм.

После посещения «Сорочинской ярмарки» Мусоргского в Свободном театре Мамонтов возмущался и гневных критических слов не жалел:

— Эти Оленины! Эти Арбатовы! Мержановы! Ничтожества! Они выдали себя с головой. Их ультранатурализм — не что иное, как полное отсутствие вкуса. Не за свое дело взялись! Музыка Мусоргского — прекрасна, хорош оркестр, но эта сверххудожественность режиссеров, их потуги вытащить на сцену такое, чего до них не было, для сцены убийственно, смехотворно, наконец. Вместо откровений искусства зритель увидел сумятицу и нелепость. Эти Арбатовы, Мержановы — у них за душою пустота, им нечем наполнить артистов, музыкантов, дирижера, но они хорошо знают: надо быть новыми, надо быть ближе к жизни. И вот ярмарка, свадьба. Каждый статист из кожи лезет, чтобы сыграть роль. Все играют, забыв об опере, о Гоголе, о Мусоргском, о том, что это театр, сцена. Такая получается толчея, такая возня, что кроме раздражения зритель ничего не получает. Полная антихудожественность. Причем артисты, ведущие, просто молодцы. Хорош Черевик, еще краше Хивря. Когда они на сцене, появляется настоящий, неподдельный комизм. «Сорочинская ярмарка» — чудесная комическая опера. Но ее же загубили, изничтожили!

Платон, который был вместе с Саввой Ивановичем на спектакле, примирительно возразил:

— Я думаю, скотный двор на сцене, который так рассердил вас, — поветрие моды. Все это пройдет.

— Не будь наивным, Платон. Сегодня на сцене волы, лошади, козы — хорошо хоть свиней нет — а завтра сцена будет совершенно пустая. Ее и вовсе сломают или, может быть, посадят зрителя на сцену, сами же актеришки бездарные, новаторы бездуховные, будут среди кресел бегать. Все это — трюкачество, Платон. Изжить трюкачество будет очень трудно. Потому что это — сатана, ему по силам разрушить на время гармонию. На время, ибо гармония — от Бога. Безобразия, которые грядут в искусстве, — сатана. Никаких новых путей, про которые распространяются газетные

писаки, Свободный театр не указал. Сейчас нужно, чтобы в театре царствовала благородная, строгая красота, а вместо этого нам преподносят шарж. На жизнь, на театр. Приучают к безобразию. Не нужны такие театры России... Время все это отметет. Так и будет... Оперная и театральная эстетика, ее творцы еще не раз вспомнят наш опыт, еще не раз обратятся к нему и помянут нас добрым словом.

Утром приехали гости: Анюта Любатович, младшая сестра Татьяны Спиридоновны, и ее подруга Женя Решетилова. У них были последние студенческие каникулы. Закончили Сиротский петербургский институт имени императора Николая I и получили направление в Торжок, учительствовать.

Анюта считала Савву Ивановича своим другом, ей были отвратительны подлости Клавдии, старшей сестры Татьяны.

Девушки завтракали с Александрой Саввишной. Анюта чувствовала себя своей, а Женечка Решетилова кусала губку, волнуясь, как перед экзаменом. Оказаться в доме великого человека — испытание. Да и сам дом, изумляя, приводил в трепет. Говорили — бывший миллионщик впал в бедность. Тогда что же такое богатство, если бедность — это сказочный терем.

С полок сверкала волшебным сиянием врубелевская симфония майолики. Комната бревенчатая, но в два этажа. На уровне второго этажа резной балкон. Стол, как в древнем Киеве. За таким столом сиживать князю с богатырями.

Завтрак, правда, был очень простой: яйца, творог, сметана, мед, зелень, ягоды и самовар с баранками.

Спальня Саввы Ивановича была на втором этаже. Девушки невольно поглядывали на балкон, ожидая выхода хозяина. А он, видимо, вел теперь жизнь барскую, разучился вставать спозаранок.

В самоваре пел уголек. Чай со смородиновым листом был крепкий, душистый, солнце озаряло стену за спиной, и сказочные врубелевские дивы светились с затененной стены заговорщицки.

— Мы были в Эрмитаже перед отъездом, — сказала Анюта Александре Саввишне, — там много чудес, но такого чуда, как это — указала ресницами на врубелевскую симфонию, — там нет!

— Меня иногда пробирает до озноба от одной мысли, — призналась

Александра Саввишна. — Был дом, который я называла своим, огромный, с картинами, со статуями, и теперь нет этого дома. Он стоит, слава Богу, не сгорел, не разрушился, но он исчез из моей жизни... Я с ужасом озираюсь вокруг. Господи, как все непрочно в этом мире. Уж какой чудесный человек был Антокольский, и нет его. Врубель жив, но его тоже нет. Он за стеной жизни... А его симфония может в любой день, в любой час превратиться в черепки.

Анюта прочитала стихи:

— Где вы, грядущие гунны,
Что тучей нависли над миром!
Слышу ваш топот чугунный
По еще не открытым Памирам.

И тут сверху раздался звучный, отчетливый, хотя и с хрипотцою, голос:

— Мы бродим в неконченном здании
По шатким, дрожащим лесам,
В каком-то тупом ожидании...

Девушки подняли головы. На балконе стоял Савва Великолепный. В бархатной темно-малиновой куртке, в большом, темно-малиновом берете — пришелец иных времен.

— Здравствуйте, синьориты!

Женя невольно поднялась и поклонилась. И стала пунцовой. Девушки рассмеялись, и Женя рассмеялась. Савва Иванович постоял, поглядел на свои владения и спустился с небес к ожидавшим его красавицам.

— Я не люблю новых поэтов, — сказал он, принимая чашку чая от Александры Саввишны. — Их опусы — блудливое сладкоречие. Притворяются знатоками тайноведения, болтают о вечности, но сами — мотыльки.

— А Бальмонт? — спросила Женя и перестала дышать.

Я буду ждать тебя мучительно,
Я буду ждать тебя года,
Ты манишь сладко-исключительно.

Ты обещаешь навсегда.

— Вы это называете поэзией, Женя? «Ты манишь сладко-исключительно». Желаете поэзии? Так берите!

Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.

— Да! — сказала Анята. — Я с вами, Савва Иванович. «И пунша пламень голубой»!

— Шурка, запируем с утра. Доставай самое древнее и благородное.

Объявилась на столе темная, веющая древностью бутылка. Вино было густое, от одного только прикосновения губами к этому золотому жидкому кристаллу в крови начиналось кипение и радость.

— Савва Иванович, а как вы относитесь к Тургеневу? — спросила Анята, демонстрируя своего любимца подруге.

— Встречали мы Ивана Сергеевича в Абрамцеве благоговейно. Для Елизаветы Григорьевны проза Тургенева — свет и музыка. А я не могу забыть его слов о будущем России. Иван Сергеевич изволил так выразиться: русские, верящие в особое предназначение России, в ее будущность, — суть или наивные люди или невежды. «Мы, русские, — говаривал этот пророк нигилистов, — ничего не создали, кроме кнута...» Хотя кнут мы, должно быть, от Батыя унаследовали.

— Все-таки Тургенев истинный аристократ! Смотришь на его портрет и понимаешь — вон оно какое, русское дворянство, — сказала Анята.

— Дворянство — такое, купечество — сякое. Третьяков почитал себя за истинного купца и в дворяне, хотя сам царь звал, — не пошел. Я тоже горд моим званием. Дворяне произошли от убийц, это племя разбойников. Всеми государственными несчастьями Россия обязана дворянам. Все чудовищные предательства, перевороты — их дело. На них — грех цареубийства. Задушили Павла и Петра III, спровадили на тот свет Петра I,

замучили царевича Алексея. Погубив Шуйского, довели царство до Смуты, убили Лжедмитрия, а уж о княжеских временах говорить нечего. Благополучие царства, милые девицы, зависит от расторопности купцов... Между прочим, черногорский царь Николай, которого у нас любят, купеческой крови. Его матушка из рода Квекичей, богатейших купцов Триеста. Так что, Анюта, не больно гордись своей голубой кровью.

А у Анюты глазки сияли: Савва Иванович не устоял перед девичьей красотой, его понесло. Хитрая дева, подливая жара в огонь, перевела разговор на художников, а здесь Савве Ивановичу и вовсе удержу не было.

— Я могу так сказать, — трогал он белую свою, изысканную бородку, — моды, вкусы, направления в живописи, ее высшие мотивы меняются. Это естественно. Но вот уже три десятилетия во главе всех этих течений, пристрастий всегда стоит человек, причастный к Абрамцеву. Это был Антокольский, это были Репин, Поленов, Васнецов. Это теперь Врубель и Левитан. От молодежи, которая бывает здесь, в Бутырках, я ожидаю прежде всего великолепной живописи. Первенство в искусстве — относительно. Но какой бы она ни была, Васнецов останется для России Васнецовым, Врубель — Врубелем и Поленов — Поленовым... А вы слышали, что отмочил Антон, Серов Валентин Александрович? Царица, рассматривая портрет государя, который он писал, заметила, что левая сторона лица хуже правой. Тогда Антон вручил преподобной Александре Федоровне палитру и заявил: «Ваше Величество, пишите сами...» А знаете, почему Третьяков воспретил копирование картин своей коллекции? Он заметил, что копирующие подправляют копируемое. Это урок всем нам, надо быть очень осторожными, слушая новоявленных пророков от искусства. Они готовы перемазать и переправить картины прошлого на свой лад и вкус. Да вот ни ладу, ни вкуса у них пока не обнаружено.

Когда девушки остались наедине, Анюта спросила Женю:

— Ты могла бы влюбиться вот в такого старого человека?

Женя вспыхнула и промолчала, а Александра Саввишна обиделась:

— Почему могла бы, я вот в моего отца с детства влюблена.

— Он действительно Савва Великолепный, — согласилась Анюта. — Моя Татьяна — дура и предательница, а Клавдия так просто отвратительна.

В народе говорят: что день, то радость, а слез не убывает.

27 декабря 1907 года умерла Вера Саввишна Самарина, дочь

Мамонтова. Оставила мужу Александру Дмитриевичу трех детей мал мала: Юшу, Лизу, Сережу.

Бедой делятся только с самыми близкими людьми. «Страшный удар судьбы постиг нашу семью, — написал Савва Иванович в тот скорбный день Виктору Михайловичу Васнецову. — Дочь Вера Самарина в ночь на сегодня скончалась воспалением легких в Москве. Зная твое дружеское сердечное отношение к семье нашей, пишу тебе наскоро. Сейчас сидим на станции и ждем приезда Елизаветы Григорьевны из Абрамцева. Все мы в руках Божьих».

Похоронили Веру Саввишну возле Абрамцевской церкви. Кончилась земная жизнь светлой души. Осталась среди людей на радость всему белому свету — «Девочка с персиками».

Года не прошло, и разверзлась новая могила.

25 октября 1908 года ушла из жизни Елизавета Григорьевна. Когда-то она была нужна лучшим художникам России, а в последние годы только внучатам своим...

На похороны приехали Поленовы, Серов, пришли к могиле крестьяне соседних сел и деревень.

Антон попросили нарисовать Елизавету Григорьевну, он долго сидел у гроба, смотрел в лицо усопшей, а когда поднялся, был бледен, как мел.

— Не могу, — сказал он, — не могу.

Над могилой Валентин Александрович плакал, как ребенок, и крестьяне, не знавшие художника, спрашивали друг у друга:

— Это сын?

Утраты сказались на здоровье Саввы Ивановича. Он начал забываться, путать имена близких людей, в лице появилась отрешенность. Но в это тяжкое время, когда жизнь перестала быть желанной, Бог послал ему Сурикова. Василий Иванович тоже чувствовал себя одиноким, спасался гитарой. Мог играть с утра до ночи, сам для себя. А тут слушатель сыскался.

Бежали пальцы по струнам, извлекали из самой тонкой, серебряной, пронзительную сладкую грусть. И видел себя Василий Иванович в белом, в чистом поле, когда ехал он на санях за славою через всю Сибирь. Ехал и ехал, пока не влетел головой в окошко, выпав из раскатившихся розвальней. А Савва Иванович под ту музыку на коне себя представлял, рядом со своим Ала-Верды, в такой далекой, в жемчужной от давности Персии.

— Было ли это? — спрашивал Савва Иванович Сурикова, и тот

уверенно отвечал:

— Приснилось! Всё приснилось! Вся наша жизнь — сон.

— А «Боярыня Морозова»? А «Покорение Сибири»?

— Вот это не сон. Это явь. За «Покорение Сибири» государь мне отвалил сорок тысяч. Ни один из русских художников таких денег за картину не получал.

— Деньги — сон, Василий Иванович, а вот железные мои дороги — это явь. Мы сидим с тобой, песни поем, а поезда-трудяги бегут, вагоны тащат. Рельсы подрагивают, колеса постукивают. Жизнь, верно, приснилась, а дороги железные — явь.

— Савва Иванович, сколько же было у тебя денег, когда тебя разорили?

— Денег-то как раз и не было. Деньги под замком грех держать, они работать должны. А было у меня два дома в Москве, имение во Владимирской губернии, недалеко от Абрамцева. Земля на Черном море, на самом побережье, боры, лесопильные заводы на Севере. Претензий кредиторов набралось на 2230 тысяч рублей, а я имел недвижимости, не считая дороги и заводов, на 2660 тысяч.

— И ограбили?!

— И ограбили.

— Кто-то ведь очень постарался!

— Да уж постарались.

— Отчего же в тебе зла нет на твоих грабителей?

— Да ведь сам виноват. Деньги не знают дружбы. Они — змея, а я забыл.

— Тогда давай песни петь. — И трогал струны.

Суриков открыл Савве Ивановичу заветный сундучок народного богатства, сундук с песнями.

В Москве как раз всходила звезда Надежды Васильевны Плевицкой, курской крестьянки, с душой, вместившей всю русскую землю, все времена ее, со всеми печальями, со всеми радостями.

Когда пела Плевицкая, русскому человеку не стыдно было, что он русским рожден.

Соловей кукушечку уговаривал,
Молоденький рябую все сподманивал,
Полетим, кукушечка, во мой зелен сад,
Во моем садике гулять хорошо.

Савва Иванович подружился с Надеждой Васильевной на самом ее взлете, а взлет ее был, как у белого сокола, всем видно и у всех дух захватывает от высоты, от красоты лёта.

Сначала Плевицкую принял народ, а потом царь.

Плевицкая — автор замечательной книги «Мой путь с песней». Она пишет о первом своем выступлении перед государем на празднике Сводного Его Величества полка.

«С моим другом Марией Германовной Алешиной, которая умела меня уберечь от лишних волнений и усталости, я приехала в Петербург, а оттуда в Царское Село...

Через несколько мгновений я увижу близко Государя, своего Царя.

И вот распахнулась дверь, и я оказалась перед Государем. Это была небольшая гостиная, и только стол, прекрасно убранный бледно-розовыми тюльпанами, отделял меня от Государя.

Я поклонилась низко и посмотрела прямо Ему в лицо и встретила тихий свет лучистых глаз. Государь будто догадывался о моем волнении, приветил меня своим взглядом.

Словно чудо случилось, страх мой прошел, я вдруг успокоилась...

Он рукоплескал первый и горячо, и последний хлопок всегда был Его.

...Выбор песен был предоставлен мне, и я пела то, что было мне по душе. Спела я и песню революционную про мужика-горемыку, который попал в Сибирь за недоимки. Никто замечания мне не сделал...

А песни-то про горюшко горькое, про долю мужицкую, кому же и петь-рассказывать, как не Царю своему Батюшке?

Он слушал меня, и я видела в царских глазах свет печальный.

Пела я и про радости, шутила в песнях, и Царь смеялся. Он шутку понимал простую, крестьянскую, незатейную.

...После моего ямщика Государь сказал А. А. Мосолову:

— От этой песни у меня сдавило горло.

Стало быть, была понятна, близка Ему и ямщицкая тоска.

Во время перерыва В. А. Комаров сказал, что мне поручают поднести Государю задравную чару.

Чтобы не повторять задравную, какую все поют, я наскоро, как умела, тут же набросала слова и под блистающий марш, в который мой аккомпаниатор вложил всю душу, стоя у рояля, запела:

Пропоем задравную, славные солдаты,
Как певали с чаркою деда наши встарь,
Ура, ура грянемте, солдаты,

Да здравствует Русский наш сокол Государь.

И во время ритурнеля медленно приблизилась к Царскому столу. Помню, как дрожали мои затянутые в перчатки руки, на которых я несла золотой кубок. Государь встал. Я пела ему:

Солнышко красное, просим выпить, светлый Царь,
Так певали с чаркою деда наши встарь!
Ура, ура грянемте, солдаты,
Да здравствует Русский, родимый Государь!

Государь, приняв чару, медленно ее осушил и глубоко мне поклонился. В тот миг будто пламя вспыхнуло, запылало, — грянуло громовое „ура“, от которого побледнели лица и на глазах засверкали слезы.

Когда Государя уже провожали. Он ступил ко мне и крепко и просто пожал мою руку:

— Спасибо вам, Надежда Васильевна. Я слушал вас сегодня с большим удовольствием. Мне говорили, что вы никогда не учились петь. И не учитесь. Оставайтесь такою, какая вы есть. Я много слышал ученых соловьев, но они пели для уха, а вы поете для сердца. Самая простая песня в вашей передаче становится значительной и проникает вот сюда.

Государь слегка улыбнулся и прижал руку к сердцу».

После такого приема «деревенщина» Плевицкая стала желанной для европейца Петербурга. Пришлось отечественным полуиностранцам вспомнить о своих корнях, где-нибудь на рязанщине, на тамбовщине. А сила пения, проникновенность русской речи окатывала захлаждавшие петербургские души живым теплом, как живой водой.

Надежда Васильевна вспоминала:

«Тенишевский зал, где был мой первый петербургский концерт, блистал в тот вечер диадемами, эполетами, дорогими мехами.

Князь Ю. И. Трубецкой, командир Конвоя Его Величества, отечески позаботился о моем концерте и превратил его в большое событие петербургского дня.

В высшем обществе столицы каждый день той зимы приносил мне новую почетную встречу и новые знакомства, новую ступень вверх и новые радости, которые дает только прекраснейший труд художества.

В ту зиму Савва Иванович Мамонтов познакомил меня с Ф. И.

Шаляпиным.

Не забуду просторный светлый покой великого певца, светлую парчовую мебель, ослепительную скатерть на широком столе и рояль, покрытую светлым дорогим покрывалом. За той роялью Федор Иванович в первый же вечер разучил со мною песню — „Помню, я еще молодухой была“.

Кроме меня, у Шаляпина в тот вечер были С. И. Мамонтов и знаменитый художник Коровин, который носил после тифа черную шелковую ермолку.

Коровин, как сегодня помню, уморительно рассказывал про станового пристава на рыбной ловле, а Федор Иванович в свой черед рассыпался такими талантливыми пустяками, что я чуть не занемогла от хохота.

Удивительная в нем сила, в Шаляпине: если даже расскажет чепуху, то так расскажет, что сидишь с открытым ртом, боясь проронить хотя бы одно его слово.

На прощанье Федор Великий охватил меня своей богатырской рукой, да так, что я затерялась где-то у него под мышкой. Сверху, над моей головой, поплыл его незабываемый бархатный голос, мощный соборный орган.

— Помогай тебе Бог, родная Надюша. Пой свои песни, что от земли принесла, — у меня таких нет, — я слобожанин, не деревенский.

И попросту, будто давно со мной дружен, он поцеловал меня».

Ничего случайного нет ни в судьбах, ни во встречах, даже мимолетных.

Любовь к русской песне, обожание русской певицы офицерами царского полка были пророческими. Небо над Россией заволакивало тучей войны.

Гончарная мастерская на Бутырках выросла в небольшой керамический завод. Изделия завода имели хороший сбыт в Москве и даже в Тифлисе. Мастер Вакулин ушел, основал в Миргороде свое керамическое предприятие, но завод не пострадал: у Саввы Ивановича недостатка в талантливых людях никогда не было.

Жили Мамонтовы не богато, но и не бедно.

Снять этаж в центре Рима «заводчик» Мамонтов не мог, но денег хватало, чтобы отправить Александру Саввишну с детишками Веры в

Ниццу. В марте 1910 года Савва Иванович приезжал навестить внучат, а потом отправился дорогами своей молодости — в Неаполь, в Сорренто, а там и на Капри, в гости к Горькому.

Возвращаясь в Россию, был в Берлине, писал оттуда Евгении Николаевне Решетиловой, другу своему: «Верчусь среди финансистов и веду переговоры об осуществлении железной дороги». Коммерции советник Мамонтов был уже на пороге семидесятилетия, а надежда вернуться к большим делам не покидала его.

Щедрым людям Бог дает радости вдвое, чем скупым. Не получалось со своими делами, у друзей — удача.

В 1911 году устроители Всемирной выставки в Риме предоставили Серову целый зал. Впрочем, этот зал был не очень велик, Валентин Александрович прозвал его «спальным вагоном». Но к торжеству — вот как наши, ребятки из Абрамцева, пошли — примешивалась тревога. Серов перекинулся к декадентам.

— Может, шалит? — спрашивал Савва Иванович. — Антон может зло шутить.

Репин о его картине «Ида Рубинштейн» писал с ужасом: «Что это? Гальванизированный труп? Какой жесткий рисунок: сухой, безжизненный, неестественный; какая скверная линия спины до встречи с кушеткой; вытянутая рука, страдающая — совсем из другой оперы — голова!! И зачем я это видел!.. Что это с Серовым???

...И колорит: серый, мертвый... труп, да, это гальванизированный труп...»

Много шума наделала «Ида Рубинштейн». Наконец, все сошлись на мысли: доскообразная танцовщица — судорожная гримаса и подачка тонкого и благородного реалиста Серова его смутителям, сиятельным декадентам-дегенератам.

И вдруг молва, в которую уж никто не поверил, не посмел поверить: Серов умер. Не поверил и Савва Иванович, но Остроухов прислал за ним извозчика, просил быть на панихиде.

23 ноября 1911 года газета «Русское слово» сообщила: «Академик живописи Валентин Александрович Серов скончался 22 ноября в 9 час. утра. Панихида в 2 час. дня и в 8 час. вечера. Вынос тела в церковь Крестовоздвиженского женского монастыря, на Воздвиженке, 24 ноября, в 9 час. 30 мин. утра. Начало литургии в 10 час. утра. Погребение на кладбище Донского монастыря».

Корреспондент рассказал и о первой панихиде в доме усопшего, на которой были только близкие люди семьи: «художники Переплетчиков,

Ульянов, Остроухов, Мешков, президиум Школы живописи в лице кн. Львова и Гиацинтова, С. И. Мамонтов и человек двадцать учеников».

Над могилой Серова речей было множество. Говорили Репин и Шаляпин, от учеников — Владимир Маяковский.

Андрей Белый так писал о Серове: «Непоказной человек; с вида — дикий, по сути — нежнее мимозы, ум — вдесятеро больший, чем с вида; талант — тоже вдесятеро больший, чем с вида».

Последний портрет, над которым Валентин Александрович работал перед смертью, — Генриетты Гиршман. За несколько часов до кончины он шутил, разглядывая этот портрет: «Чем я не Рафаэль, чем вы не Мадонна?» Портрет остался неоконченным. Утром 22 ноября зазвонил телефон, и сын Серова сказал Генриетте Александровне: «Папа сегодня не может прийти, так как он умер».

Со смертью Антона Савва Иванович потерял себя наполовину. Мальчик, явившийся в Абрамцево на пир его, Саввы Мамонтова, жизни, нарушил все правила. Ушел из-за стола раньше патриархов.

Савва Иванович чувствовал себя уже не участником жизни, а только ее символом. Ему оказывали почет, ему аплодировали. Но — за прошлое!

Савва Иванович пишет Евгении Николаевне Решетиловой: «На днях был торжественный юбилей знаменитой актрисы Федотовой. Собралась вся интеллигентная Москва приветствовать старуху. Много было адресов и речей. В конце вышел я и был неожиданно встречен энергичными и продолжительными аплодисментами всей залы. Значит, Москва меня любит, это хорошо».

Как Елизавета Григорьевна стала в последний год своей жизни только бабушкой, так становился только дедушкой и Савва Иванович. Для внуков, детей Всеволода, который обосновался в Туле, посещение дома на Бутырках было походом за тридевять земель, в страну царя Берендея.

— Ну, Катенька, какое чудо сотворить для тебя? — спрашивал Савва Иванович, вел внучку в мастерскую.

Пускал гончарный круг. Бесформенный ошметок глины на глазах превращался в чудесный кувшин. Дедушка призадумывался:

— Чем бы его украсить? Хочешь, вылеплю паука, который тклет солнышко?

И появлялся на кувшине добрый ткач-паук.

— А ты чего желаешь? — спрашивал Савва Иванович тихо стоящего Андрея.

— Я желаю смотреть сокровища! — Глазки у Андрея блестели от ожидания чуда.

Савва Иванович гремел ключами, находил нужный и отпирал кладовую.

— Выбирайте! — предлагал хранитель чудес.

Дети выбирали самое волшебное, а потом шли смотреть врубелевские картины: «Богатыря» на огромном коне и «Принцессу Грёзу».

— Это панно теперь посреди Москвы красуется, — говорил с гордостью Савва Иванович. — На «Метрополе». Картина может пожухнуть, сгореть, а вот майолика — вечная.

В феврале 1913 года семья Мамонтовых понесла очередную горькую утрату. Похоронили Сережу Самарина — любимого внука Саввы Ивановича.

Чтобы отцу не было одиноко, к нему переселился Сергей Саввич с женой. Флигель заняли.

Это было весной 1914 года, а в августе грянула война с германцем.

Сергея Саввича мобилизовали. Отправили в Варшаву военным корреспондентом.

Война началась 14 августа, а 31 августа Савва Иванович звал Евгению Николаевну Решетилкову к себе на завод, где Александра Саввишна устраивала лазарет.

Евгения Николаевна оставила Торжок, и отныне жизнь ее посвящена Савве Ивановичу.

Мамонтов снова становился знаменитостью. 22 мая 1915 года газета «Русское слово» опубликовала статью писателя Дорошевича «Русский человек».

В 1915 году в незамерзающей Екатерининской бухте на Кольском полуострове, куда вел дорогу Мамонтов и не достроил из-за краха, основали порт и город Романов-на-Мурмане, нынешний Мурманск. Этот порт, эта дорога стали жизненно важными для воюющей России.

«Два колодца, в которые очень много плевали, пригодились, — писал Влас Михайлович Дорошевич. — Интересно, что и Донецкой, и Архангельской дорогой мы обязаны одному и тому же человеку. „Мечтателю“ и „Затейнику“, которому очень много в свое время доставалось за ту и за другую „бесполезные“ дороги — С. И. Мамонтову. Когда в 1875 году он „затеял“ Донецкую каменноугольную дорогу, протесты понеслись со всех сторон. „Бесполезная затея“. Лесов было сколько угодно. Топи — не хочу. „Дорога будет бездоходная“. „Не дело“. „Пойдет по пустынным местам“. Но он был упрям. Слава Богу, что есть еще на свете упрямые люди. И не все еще превратились в мягкую слякоть,

дрожащую перед чужим благоразумием. Когда С. И. Мамонтов на нашей памяти „затеял“ Архангельскую дорогу, поднялся хохот и возмущение. Было единогласно решено, что он собирается строить дорогу — вопреки здравому смыслу. Возить клюкву и морошку? У „упрямого человека“ выторговывали: хоть узкоколейку построить. И вот теперь мы живем благодаря двум мамонтовским „затеям“. „Бесполезное“ оказалось необходимым. Что это было? Какое-то изумительное предвидение? Что надо на всякий случай? Застраховаться? Какая-то гениальная прозорливость? Или просто — случай?

Но все-таки два изумительных случая случайно случились с этим человеком. Построить две железные дороги, которые оказались родине самыми необходимыми в самую трудную годину. Это тот самый Мамонтов, которого разорили, которого держали в „Каменщиках“, которого судили. Оправдали. А на следующий день к которому многие из его присяжных явились с визитом: засвидетельствовать свое почтение подсудимому.

Я помню этот суд. Было тяжело. Было лето и была духота. Недели две с лишним сидели мы в Митрофаньевском зале. Звон кремлевских колоколов прерывал заседание. Мешал. Словно не давал совершиться этому суду. Как над связанными, смеялся над подсудимыми гражданский истец казны: „Г. Мамонтов „оживил“ Север? Он все прикрывает патриотизмом“. И вот сейчас — то, что... казалось пустыми затеями, в 1915-м оказалось самым жизненным, самым насущным государственным предприятием. С. И. Мамонтов думал 40 лет тому назад, 20 лет тому назад. Мы узнали об этом только теперь. Какой счастливый „случай“. Каких два счастливых „случая“!

И как с благодарностью не вспомнить сейчас „Мечтателя“, „Затейника“, „московского Медичи“, „упрямого“ старика С. И. Мамонтова. Он должен чувствовать себя теперь счастливым. Он помог родине в трудный год. Есть пословица у нас: кого люблю, того и бью. Должно быть, мы очень „любим“ наших выдающихся людей. Потому что бьем мы их без всякого милосердия».

Уже на следующий день после выхода газеты со статьей «Русский человек» старый друг Саввы Ивановича Николай Сергеевич Кротков писал из Боровичей: «С восторгом прочитал Дорошевича... Да здравствует наш Савва Иванович! Честь, слава и хвала ему». И подпись: «Старый и верный».

1915 год, так хорошо начавшийся для Мамонтовых, принес семье большое горе. Заболел Сергей Саввич. Его отпустили из армии, но болезнь почек оказалась запущенной, смертельной.

Похоронили поэта, драматурга, военного журналиста Сергея

Мамонтова в Москве. Журнал «Рамка и жизнь» поместил фотографию: Савва Иванович Мамонтов на могиле сына Сергея Саввича.

И снова пришло письмо от верного Кроткова.

«19 августа... Ведь я знал Сережу Мамонтова мальчиком. На моих глазах он стал юношей. Я помню его первые шаги в творчестве, когда он вносил свою лепту в либретто „Алой Розы“. Я помню минуты, когда Вы, всматриваясь в него, узнавали в нем себя...»

11

Война называла героев. Война погребала и калечила миллионы русских людей, принужденных царем и государством надеть солдатские шинели. Но смерть и страдания, оказывается, приносили доход. Война была выгодным предприятием денежному мешку, который стал царем и богом земли. В этом были ужас и трагедия. Страна, народ нищали. Россия катилась в пропасть.

Но разве это видно по письму, полученному Саввой Ивановичем из Тулы от внучат?

«1916 г. 2 дек., пятница, Тула, Пирогова, 7.

Милый дедушка! Сердечно тебя поздравляем с твоими именинами. К нам собираются тетя Шура, Лиза и Юша, и мы очень рады. Квартира у нас в пять комнат. Комнаты большие и высокие, конечно, для Тулы даже роскошные. Учимся мы в тульской гимназии. Андрей — в дворянской, а мы, девочки, — в Арсеньевской.

Твои Соня, Катя, Андрей».

— Кто это? — спрашивал Савва Иванович Евгению Николаевну.

Евгения Николаевна терпеливо объясняла, и Савва Иванович вспоминал наконец:

— Катенька! Я паука ей вылепил.

Жесточайший склероз не пощадил светлую голову жизнелюбивейшего из людей.

Февральская революция 1917 года прошла мимо сознания Саввы Ивановича.

С ним стало трудно.

Старость убивает в человеке ум, но оставляет ему хитрость. Старики опасны...

Сохранилась записка от Александры Саввишны Евгении Николаевне: «Простите, что заленилась сегодня к Вам придти. Посылаю кусочек булки

для Саввы Ивановича. Приду завтра утром. Ал. Мих. и Юша рассказали мне о случившемся. Прошу Вас, успокойтесь и не смущайтесь слишком. Любящая Вас А. Мамонтова».

Савва Иванович дожил до блаженного беспамятства, а Россия — до голода.

Людям чудилось: пришел конец света. Вот-вот разверзнутся небеса, затрубит архангел Гавриил и явится с небесными силами Иисус Христос — Великий Судия Страшного суда. Но жизнь шла себе.

Летом Александра Саввишна продала завод. Савва Иванович и Евгения Николаевна перебрались в Абрамцево.

Он снова видел перед собою темные от елей горы. Ворю, терема, им построенные. Стоял под могучими дубами, над могилами родных людей — и когда разум светлел, слезы бежали из его глаз, неудержимые.

Сколько же дано человеку от Господа! И как поздно прозреваем. Восславить, возблагодарить за милость, за жизнь силы нет. Только заплакать.

Последний художник, с которым виделся Савва Иванович и которого узнал, был нелюбимый Нестеров. Михаил Васильевич писал своему другу Турыгину в начале октября 1917 года: «Лето прошло сносно. Жили в Абрамцево, много работал, написал двойной портрет ваших философов-богословов отца Павла Флоренского и проф. Булгакова. Сейчас пишу архиепископа Антония Храповицкого, возможного патриарха всероссийского».

Осенью Евгения Николаевна Решетилова поселилась в Москве, в Спиридоньевском переулке. Здесь, неподалеку жил Александр Дмитриевич Самарин, муж Веры Саввишны, вдовец. Евгения Николаевна поступила работать на летное поле, к авиаторам.

В гостях в их маленькой квартирке бывал лишь Михаил Дмитриевич Малинин с женой, с дочерью, будущей летчицей-героиней, которую мы знаем как Марину Раскову. Эта маленькая девочка была последним великим человеком в жизни Саввы Ивановича.

Однажды зашла Татьяна Спиридоновна. Савва Иванович ее не узнал. Не узнавал он и Александру Саввишну.

В воспоминаниях Константина Коровина «Последние годы Мамонтова», написанных в иммиграции, читаем: «Когда Савва Иванович был болен — это было в 1918 году — я навестил его: „Ну, что ж, Костенька, скоро умирать. Я помню, умирал мой отец, так последние слова его были: „Иван с печки упал“. Мы ведь русские“. Через неделю Савва Иванович скончался».

Хороший был писатель художник Константин Алексеевич, только веры ему нет. Выдумал и про печку с Иваном, и про саму встречу. Мамонтов, когда был в ясном уме, заповедал дочери Александре не пускать к своему гробу Шаляпина и Коровина.

Умер Савва Иванович Мамонтов 24 марта (по старому стилю) 1918 года.

Хоронить повезли в Абрамцево.

На вокзале рабочий-путеец спросил:

— Кого хоронят?

— Мамонтова, — ответили ему.

— Эх, буржуи! — сказал рабочий. — Такого человека похоронить не можете как следует.

В Центральном Государственном архиве литературы и искусства хранится листок, написанный торопливою рукой, — Погребальные венки.

Их было немного. «Савве Ивановичу Мамонтову от семьи Серовых», «Дорогому Савве Ивановичу Мамонтову от любящей семьи Шаляпина», «Савве Ивановичу Мамонтову вдохновителю и строителю пути по соединению Москвы с Архангельском», «От признательных служащих Северных железных дорог».

Люди искусства все-таки восторжеслись и в сороковой день собрались в Художественном театре и чествовали память почившего Саввы Ивановича Мамонтова. Константин Сергеевич Станиславский болел, его речь зачитал Иван Михайлович Москвин. «Это он, Мамонтов, провел железную дорогу на север, в Архангельск и Мурман, для выхода к океану, и на юг — к Донецким угольным копям, — читал артист, — и это он же, Мамонтов, дал могучий толчок культуре русского оперного дела: выдвинул Шаляпина, сделал при его посредстве популярным Мусоргского, забракованного многими знатоками, создал в своем театре огромный успех опере Римского-Корсакова „Садко“ и содействовал этим пробуждению его творческой энергии и созданию „Царской невесты“ и „Салтана“, написанных для мамонтовской оперы и впервые здесь исполнявшихся. В его театре мы впервые увидели вместо прежних ремесленных декораций ряд замечательных созданий кисти Васнецова, Поленова, Серова, Коровина, которые вместе с Репиным, Антокольским и другими лучшими русскими художниками того времени почти выросли и, можно сказать, прожили жизнь в доме и семье Мамонтова».

Помянула Савву Ивановича добрым словом артистка Большого театра Надежда Васильевна Салина. Александра Александровна Яблочкина зачитала письмо Василия Дмитриевича Поленова, выступил Михаил

Дмитриевич Малинин, сказал слово о друге, о незабвенном Савве Ивановиче, Виктор Михайлович Васнецов. «Для нас, художников, — говорил автор „Аленушки“ и „Трех богатырей“, — он был родной — свой человек... Он был надежный друг в самых рискованных и стремительных художественных полетах и подвигах... С ним художник не заснет, не погрузится в тину повседневья и меркантильной пошлости... Сам Савва Иванович не был в тесном специальном смысле художник, певец или актер, или скульптор, а была в нем какая-то электрическая струя, зажигающая энергию окружающих. Бог дал ему особый талант возбуждать творчество других... Мир ему, вечная бессмертная слава и память!»

Жизнь в бессмертии — это жизнь.

Свет заслоняется тьмою, тьма поглощает свет, но всякий раз в изнеможении отступает, рассеивается. И покуда свет светит, тьма ждет своего часа.

В 1918 году дом Мамонтова в Абрамцеве получил охранную грамоту Отдела Изобразительных Искусств Наркомпроса. Подписал грамоту ученик Серова и Коровина конструктивист Владимир Евграфович Татлин, создатель проекта памятника-башни 3-го Интернационала.

Александре Саввишне Мамонтовой выдали удостоверение, в котором она названа «ответственным хранителем всех ценностей Абрамцева». В организации музея ей помогал отец Павел (Флоренский). Он был секретарем Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры, которая опекала и Абрамцево.

Еще 30 июля 1917 года, задолго до Октября, Павел Александрович писал Александре Саввишне:

«С грустью я получил сегодня после обедни Ваше письмо. Вы пишете о своей апатии, даже о своем равнодушии к тому, над охранением чего стояли столько времени. Если Вы утомлены, если Вы расстроены физически, то я понимаю Вас: конечно, слишком много у каждого из „граждан“ нашего милого отечества поводов для усталости. Но, конечно, эта усталость пройдет в свое время. Однако Ваши слова звучат, кажется, и более значительно. Вы, как мне показалось из письма, допускаете в свое сердце равнодушие и более существенное, чем от нервного утомления. Но из-за чего?»

Все то, что происходит кругом нас, для нас, разумеется, мучительно. Однако я верю и надеюсь, что, исчерпав себя, нигилизм докажет свое ничтожество, всем надоест, вызовет ненависть к себе, и тогда, после краха всей этой мерзости, сердца и умы, уже не по-прежнему, вяло и с оглядкой, обратятся к русской идее, к идее России, к святой Руси.

Все то, что Вам дорого в Абрамцеве, воссияет с силой, с какой оно никогда еще не сияло, потому что наша интеллигенция всегда была на 1/2, 1/3, 1/4 и так далее нигилистичной, и этот нигилизм надо было изжить, как

надо бывает болезни пройти через кризис.

Я уверен, что худшее еще впереди, а не позади, что кризис еще не миновал. Но я верю в то, что кризис очистит русскую атмосферу, даже всемирную атмосферу, испорченную едва ли не с XVII века. Тогда „Абрамцево“ и Ваше Абрамцево будут оценены; тогда будут холить и беречь каждое бревнышко Аксаковского дома, каждую картину, каждое предание в Абрамцеве, в Абрамцевых. И Вы должны заботиться обо всем этом ради будущей России, вопреки всяким возгласам и крикам...

Скажу худшее. Если бы Абрамцево уничтожить физически, то и тогда, несмотря на это великое преступление уничтожения пред русским народом, если будет жива идея Абрамцева, не все погибло...

Преданный Вам священник Павел Флоренский».

Пророческие слова. Они и для нас пророческие, обнадеживающие.

Музей «Абрамцево» был открыт в конце октября 1919 года распоряжением Натальи Ивановны Троцкой, заведующей Отделом по делам музеев Народного Комиссариата Просвещения.

Назначенная хранителем музея Александра Саввишна Мамонтова занималась не только хозяйственными делами, но активно пополняла коллекции. Ей удалось перевезти из Москвы, из Бутырок, бесценные майолики Врубеля.

Сотрудниками музея стали близкие ей люди, дети Веры: Юрий Александрович и Елизавета Александровна Самарины. Но уже в 1921 году Хотьковский волисполком затеял дело по выселению Александры Саввишны из усадьбы-музея.

Наркомпрос ее защитил на время.

В марте 1922 года в Абрамцево после освобождения из тюрьмы приехал Александр Дмитриевич Самарин, муж Веры Саввишны. Его приняли в музей на работу. Он водил экскурсии, чинил крышу, колол дрова, чистил коровник, трудился в огороде.

Летом в Абрамцеве жили семейства Кончаловских, артиста Вишневого, Григорова, заместителя Троцкой, сама Наталья Ивановна тоже бывала и жила под крышей мамонтовского дома. Проводили здесь лето издатели Сабашниковы, профессор Шамбинаго, композитор Сергей Никифорович Василенко, чья опера «Сказание о граде великом Китеже» ставилась Частной оперой.

Дочь Веры Саввишны Елизавета Александровна Чернышова в своих записках поминает добрым словом это благополучное время: «В Абрамцевской церкви в праздники бывала служба и наш хор процветал. Мы даже пели венчание Леонида Леонова, который женился на дочери

Сабашникова. Помню, что на свадьбе были И. С. Остроухов и Г. А. Рачинский».

Но приведем еще один отрывок из воспоминаний Чернышовой, которые написаны были в Якутии, в ссылке:

«Милое, милое Абрамцево! Мог ли другой дом быть более уютным, родным, теплым, чем этот старый дом!..

И вот что вспоминаю я сегодня. Прошло с тех пор ровно 42 года. Была глухая, темная, бесснежная осень 1925 года. Земля замерзла, но не покрылась снегом. Ночи стояли темные и мрачные. В такую ночь раздался резкий стук в дверь дома. Обыск...

Чужие, чуждые люди пришли за моим отцом. Зажгли убогие керосиновые лампы, началось хождение по темному холодному дому. Мы жили тогда в разных концах дома, отапливались отдельные комнаты — оазисы. Музей занимал большую часть низа и на зиму был закрыт. Обыск...

Что может быть отвратительнее враждебных, чужих глаз и рук, имевших право пересматривать все самое дорогое и заветное. Кто не испытал этого, тот не поймет всей униженности, которую чувствует человек при виде этих рук и глаз, проникающих в его жизнь...

Ночь на исходе. Люди кончили свое „дело“. Отец готов идти. Почему-то в памяти не сохранились минуты прощания в эту ночь. Может быть потому, что мне разрешили проводить отца до станции Хотьково. Мы идем по такой знакомой, замерзшей дороге в Хотьково. Сколько раз ходили мы вместе, вдвоем, в столь любимый нами Хотьков-монастырь. Папа всегда впереди, высокий, легкой и быстрой походкой, я за ним почти вприпрыжку и тоже легко и радостно.

Хотьково мне второй родной дом. Как любили мы монашеское стройное пение, чинность службы, необычайную чистоту сияния в храме. В эту ночь мы шли молча, окруженные совсем чужими людьми. Вот и станция. Сидим в столь знакомом с детства станционном „зале“. Молчание. Проходит поезд из Сергиева Посада. Я отхожу в сторону. Что в это время на душе...

В этот день, вернее, в эту темную, мрачную, ноябрьскую ночь отец ушел из дома навсегда, а для нас ушел из жизни родной, милый Абрамцевский дом. Все, что было после этой ночи, было как бы тяжелым эпилогом нашего милого Абрамцева...»

В 1926 году собралась гроза и над головой Александры Саввишны. Вот документ — первая туча этой грозы: «По мотивам, Вам, надеюсь, известным, МОНО назначает нового заведующего усадьбой т. Смирнова.

Ни в какой мере не желая терять Вас для музея-усадьбы, мы предлагаем Вам остаться при музее в должности коменданта (по штату, официально), а фактически научным сотрудником и экскурсоводом. Теперешнего коменданта придется уволить».

Читаем в записках Чернышовой о новом хранителе музея: «Это был весьма пожилой человек, совершенно чуждый искусству, да и вообще чуждый культуре, но зато ярый атеист, священник, снявший сан и приехавший с Дальнего Востока.

Первое время он опирался на тетушку и от нее черпал кое-какие знания, на которые он был способен. Но наступил момент, когда она стала ему не нужна и 21 мая 1928 года ее арестовали. Это было под Николин день, когда в Сергиевом Посаде (Загорске) и Хотькове были изъяты сотни людей.

После недолгого пребывания в Бутырках, тетю Шуру освободили с обязательством немедленно, не побывав в Абрамцеве, выехать за пределы Московской области. Мы были в большом горе, получив известие об ее аресте. Я, конечно, не находила себе места. Оторванность, отдаленность, невозможность знать и принимать участие в ее судьбе были мучительны... Тетя Шура, выйдя из тюрьмы, уехала к брату своему Всеволоду Саввичу в Тульскую область...»

Нависла беда и над самим музеем.

«Нам стало известно, что президиум ВЦИКа решил изъять подмосковные музеи-усадьбы из ведения Главнауки и передать их в соответствующие Исполкомы, вводя их таким образом в число местных музейных учреждений, — бросились на защиту Абрамцева Виктор и Аполлинарий Васнецовы, Нестеров, Остроухов. — Между тем Абрамцево никак не может быть причислено к этой категории учреждений ввиду его общенародного и художественного значения.

В своем культурном прошлом Абрамцево имеет два периода, которые и создали его известность: период литературный и период художественный. Первый тесно связан с именами Гоголя, Тургенева, Щепкина и С. Т. Аксакова, около которого здесь собирались многие литературные силы того времени... Второй период связан с именами художников: Репина, Поленова, Антокольского, Виктора Васнецова, Серова, Сурикова, Нестерова, Е. Поленовой, Левитана, Ап. Васнецова, Коровина, Врубеля, Остроухова и др., которые объединялись вокруг С. И. Мамонтова. Наконец, в недавнее время в Абрамцеве много работал П. П. Кончаловский...»

Приходится сказать правду и о народе нашем. Вот две выписки из донесений директора музея Смирнова в Музейный отдел МОНО.

«21 марта я был на сходе в деревне Мутовках, которая ранее наиболее враждебно относилась к Абрамцевскому музею. Беседа продолжалась более двух часов. Крестьяне выразили свое неудовольствие на высокую аренду за луг, принадлежащий музею».

«28 марта. Сегодня музей посетили представители Уездного Комитета ВЛКСМ и заявили мне, что в Уездном исполкоме решено ликвидировать Абрамцевский музей к 1 мая и передать ВЛКСМ для дома отдыха на 70 человек».

Появились публикации на тему: нужен или не нужен Абрамцевский музей? В Сергиевской газете «Плуг и молот» в заметке, подписанной псевдонимом «Местный крестьянин», читаем: «Было бы целесообразней, чтобы ценности музея были переброшены в другое место — город: все равно на такие ценности, как „святые“ картины знаменитых художников, находящиеся в церкви на „царских вратах“, крестьянство внимания не обращает».

И пошла распродажа имущества церковной усадьбы, разворовывали мебель в музее, исчезали, разобранные по бревнышкам, сараи, службы.

В 1932 году музей был закрыт, усадьбу превратили в дом отдыха творческих работников.

Восстановили же музей только после Великой Отечественной войны.

Нам остается рассказать о прямых потомках Саввы Ивановича Мамонтова. Сергей и Александра не дали побегов на древе рода. Дети Веры Саввишны Самариной оставались в России, а вот сын Всеволода Саввича Андрей, совсем юноша, гимназист, попал на юг страны. Когда врангелевский Крым пал, поток беженцев увлек Андрея, и он очутился сначала на Кипре, а потом в Югославии.

В 1948 году семейству Андрея Всеволодовича пришлось снова испытать судьбу гонимых. Спасаясь от ареста, Мамонтовы бежали в Австрию, а из Австрии перебрались в Аргентину. Далеко Серебряная страна от Белой страны, но Россия жила в этих людях. Дочь Андрея Всеволодовича Елена Хасанова преподавала в одной из школ Буэнос-Айреса русский язык. Ставила для детей спектакли на русском языке, сама сочиняла пьесы, используя русские сказки. Ее брат Савва высшего образования не получил, но он владел французским, немецким, испанским, английским и русским языками. Работал в американских фирмах, продавал

оборудование для горной промышленности. Женился Савва Андреевич на русской дворянке Татьяне Петровне Веревкиной. Ее прадед был губернатором Литвы, дед — комендантом Петропавловской крепости.

У Саввы Андреевича и Татьяны Петровны три сына. Младшие осели в Соединенных Штатах. У Андрея — туристическая фирма, Александр — геолог. Старший — Сергей Саввич — совладелец строительной фирмы в Патагонии, одно время жил в Москве, один из основателей Палаты Российского предпринимательства.

Любопытно, что через несколько поколений Мамонтовы кровно породнились с Арцыбушевыми. Андрей Саввич женился на Надежде Константиновне, праправнучке компаньона Саввы Ивановича, Константина Дмитриевича Арцыбушева.

Пути Господни воистину неисповедимы.

3

Последнее слово наше в этой книге будет о чуде Абрамцева. Абрамцево — чудо, ибо это земля святого Сергия Радонежского, его отца и матери, святых Кирилла и Марии.

Это дом, где русское слово было почитаемо, как святыня, и где снизошли великие откровения на великих русских художников.

Мне, автору этой книги, довелось прийти сюда в студенческой юности. День был осенний, дождливый, но покинул я Абрамцево полный восторга. Я не понимал тогда, что, войдя в дом Аксакова и Мамонтова, я вошел в свет и ушел, наполненный светом. Но я унес с собой тогда простую и ясную мысль:

Я рожден русским. И слава Богу!

И многие приходят в этот дом.

И многие еще придут.

Поколение за поколением.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Мать С. И. Мамонтова — Мария Тихоновна.



Отец С. И. Мамонтова — Иван Федорович.



С. И. Мамонтов.



Савва Иванович с женой Елизаветой Григорьевной (в девичестве Сапожниковой).



Сергей Мамонтов.



Андрей Мамонтов.



Вера Мамонтова.



Шура Мамонтова.



Елизавета Григорьевна Мамонтова.



Савва Иванович с дочерьми Верой и Шурой.



Абрамцево: главный дом и кухня.



В кабинете С. И. Мамонтова в доме на Садово-Спасской. Слева направо: И. Е. Репин, В. И. Суриков, С. И. Мамонтов, К. А. Коровин, В. А. Серов, М. М. Антокольский. 1880-е гг.



В Абрамцеве. Сидят: В. А. Серов, И. С. Остроухов; стоят: С. С. Мамонтов, М. А. Мамонтов, Ю. А. Мамонтов.



Абрамцево: флигель «Мастерская». Архитектор В. А Гартман. 1873 г.



П. А Спиро и В. А. Серов в Абрамцево.



С. И. Мамонтов, К. А. Коровин и другие в салон-вагоне С. И. Мамонтова.



Елизавета Григорьевна с дочерьми Верой и Шурой. Начало 1890-х гг.



Абрамцевская церковь Во имя Спаса Нерукотворного. Строительство завершено летом 1882 г.



С. И. Мамонтов. Портрет Е. Г. Мамонтовой. 1874 г.



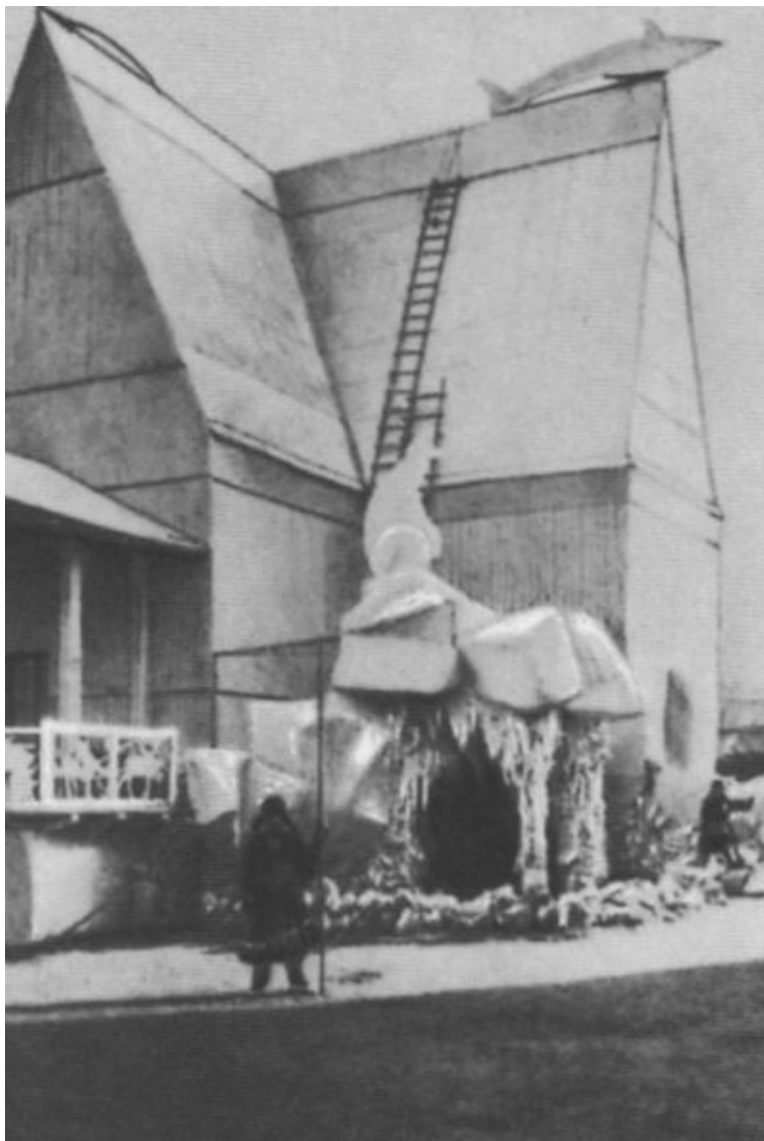
В. Д. Поленов. Обложка для книги «Хроника нашего художественного кружка». 1894 г.



С. И. Мамонтов среди художников. 1900 г.



В. Стасов.



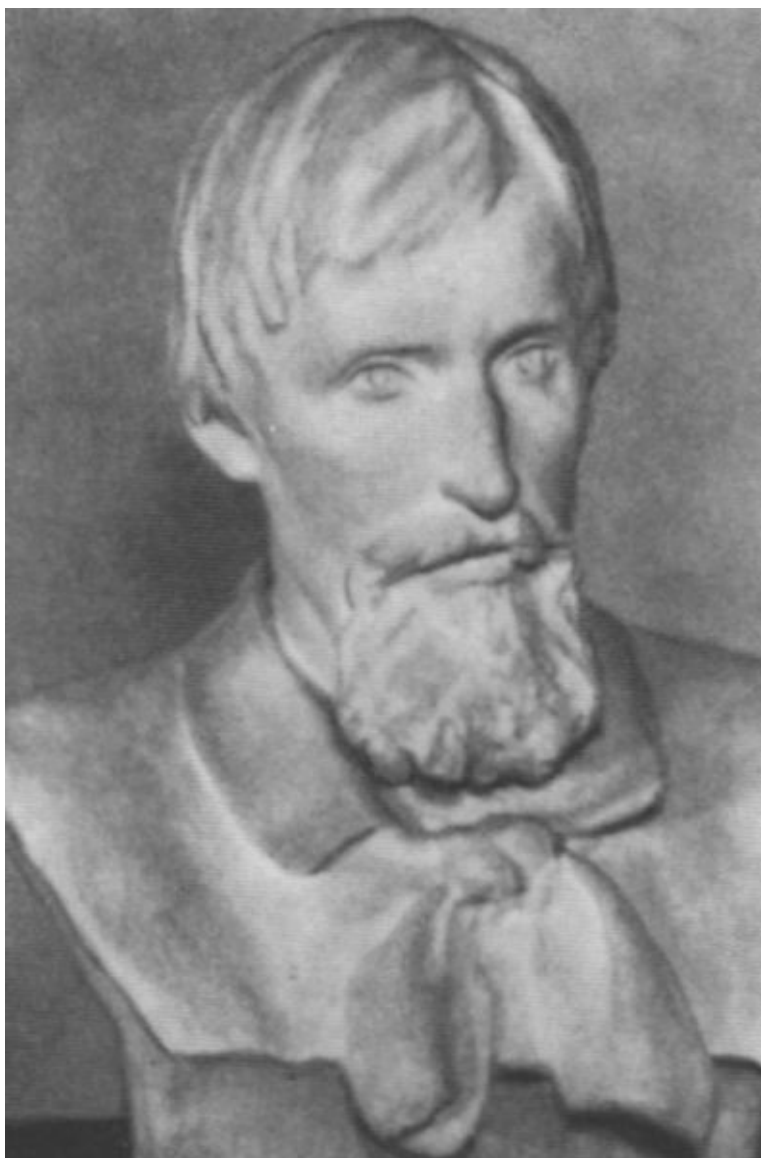
Павильон «Крайний Север» на Нижегородской выставке.



И. Е. Репин. С. И. Мамонтов.



С. И. Мамонтов. Портрет В. Д. Поленова.



С. И. Мамонтов. Портрет В. М. Васнецова.



*Надежда Забела в роли Снегурочки в опере Римского-Корсакова
«Снегурочка».*



Т. С. Любатович — Кармен («Кармен»).



Н. А. Римский-Корсаков.



А. К. Бедлевич — Кончак («Князь Игорь»).



Ф. И. Шаляпин в роли Ивана Грозного («Псковитянка»).



Ф. И. Шаляпин и Иола Торнаги.



Ф. И. Шаляпин и С. В. Рахманинов.



*Ф. К. Артеменков, С. И. Мамонтов и А. С. Мамонтов в мастерской в
Абрамцеве. 1880-е гг.*



С. И. Мамонтов с внуком Андреем и сыном С. С. Мамонтовым.



И. Е. Репин. Портрет С. И. Мамонтова.



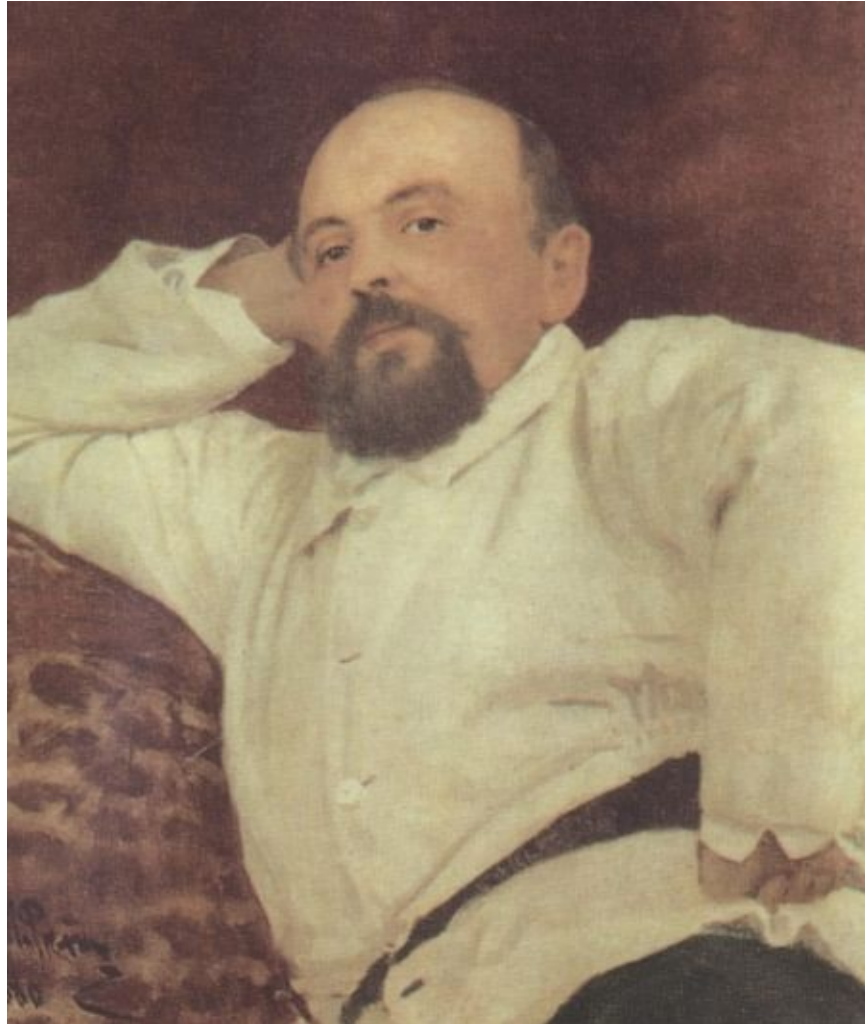
С. И. Мамонтов в скульптурной мастерской. Хутор на Бутырках.



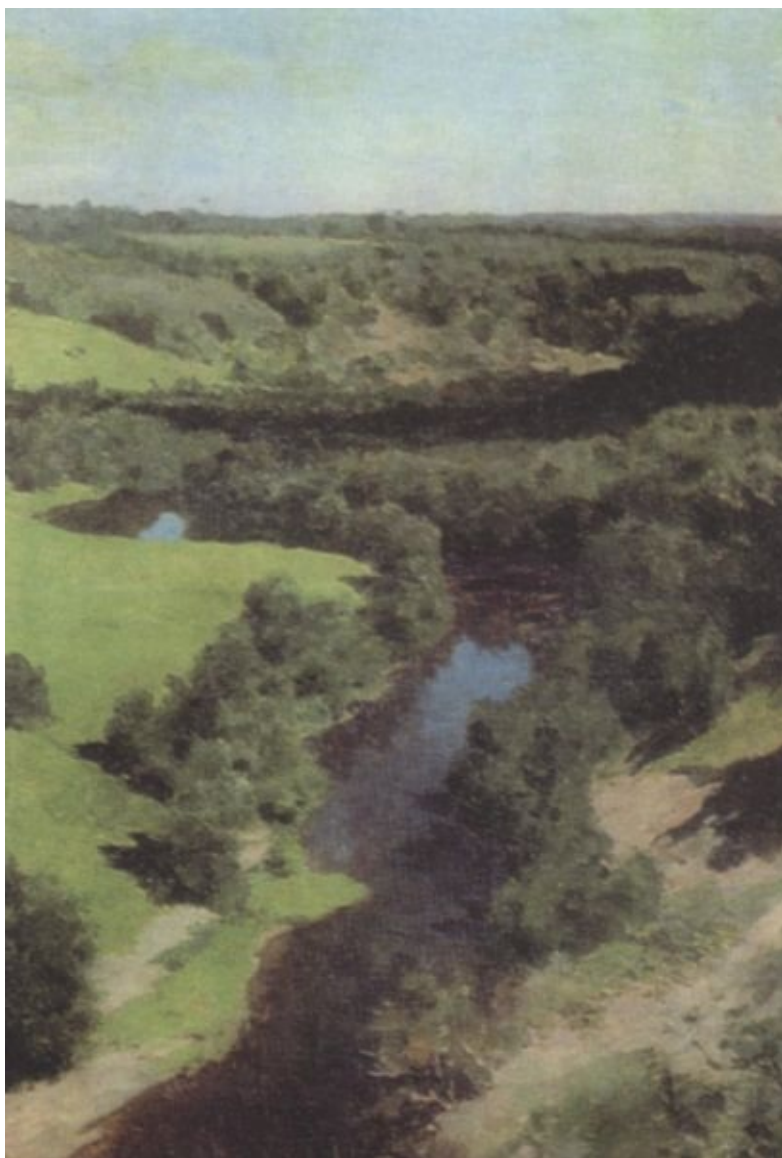
С. И. Мамонтов с дочерью Александрой. Хутор на Бутырках.



С. И. Мамонтов. Хутор на Бутырках.



И. Е. Репин. Портрет С. И. Мамонтова.



В. Д. Перов. Речка Воря. 1880 г.



В. Д. Поленов. Осень в Абрамцеве.



В. Д. Поленов. Заросший пруд.



И. Е. Репин. Портрет Е. Г. Мамонтовой.



Е. Д. Поленова. Аллея ранней весной. 1887 г.



Е. Д. Поленова. У опушки леса. Купальщицы. 1885 г.



В. А. Серов. Девочка с персиками.



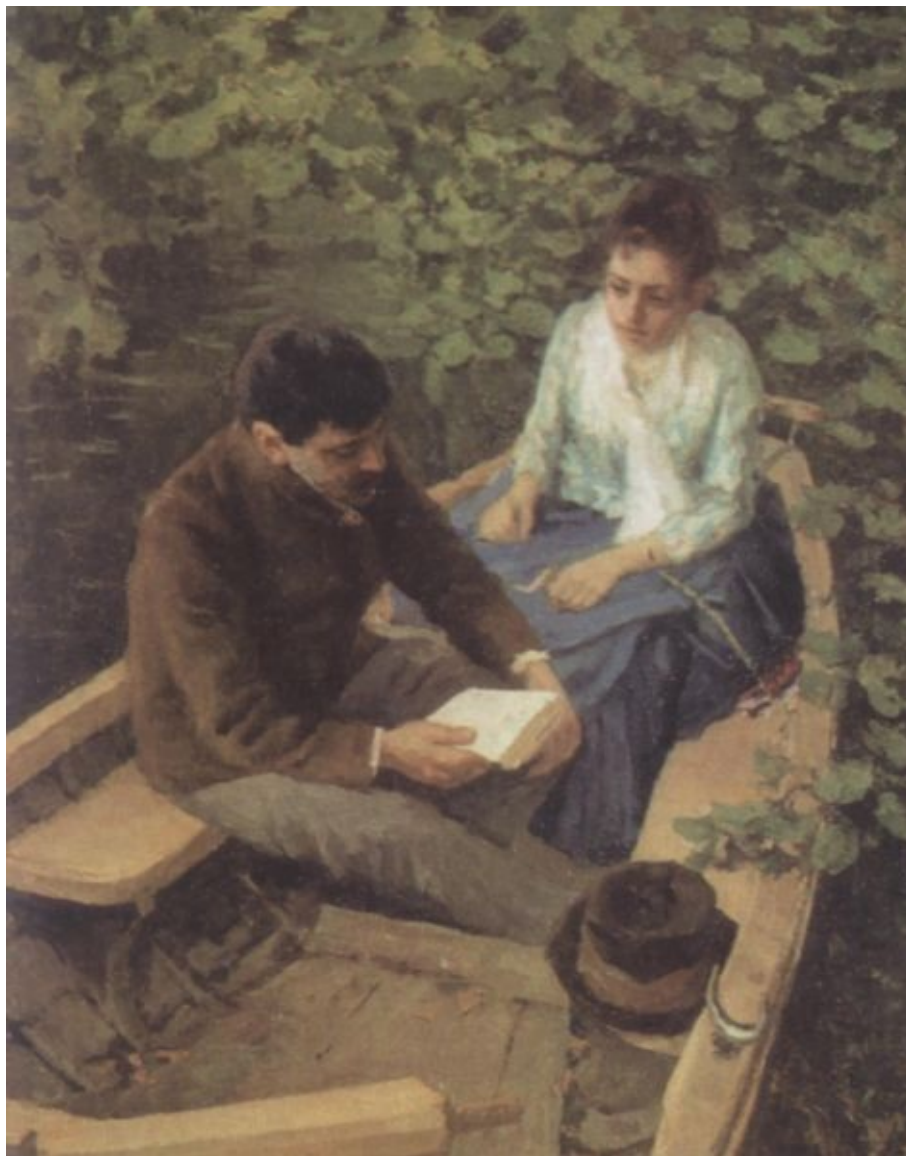
В. М. Васнецов. Портрет В. С. Мамонтовой. 1896 г. Верочке уже 20.



В. М. Васнецов. Алеша Попович (фрагмент картины «Богатыри»). А позировал Дрюша.



М. В. Нестеров. Видение отроку Варфоломею (фрагмент).



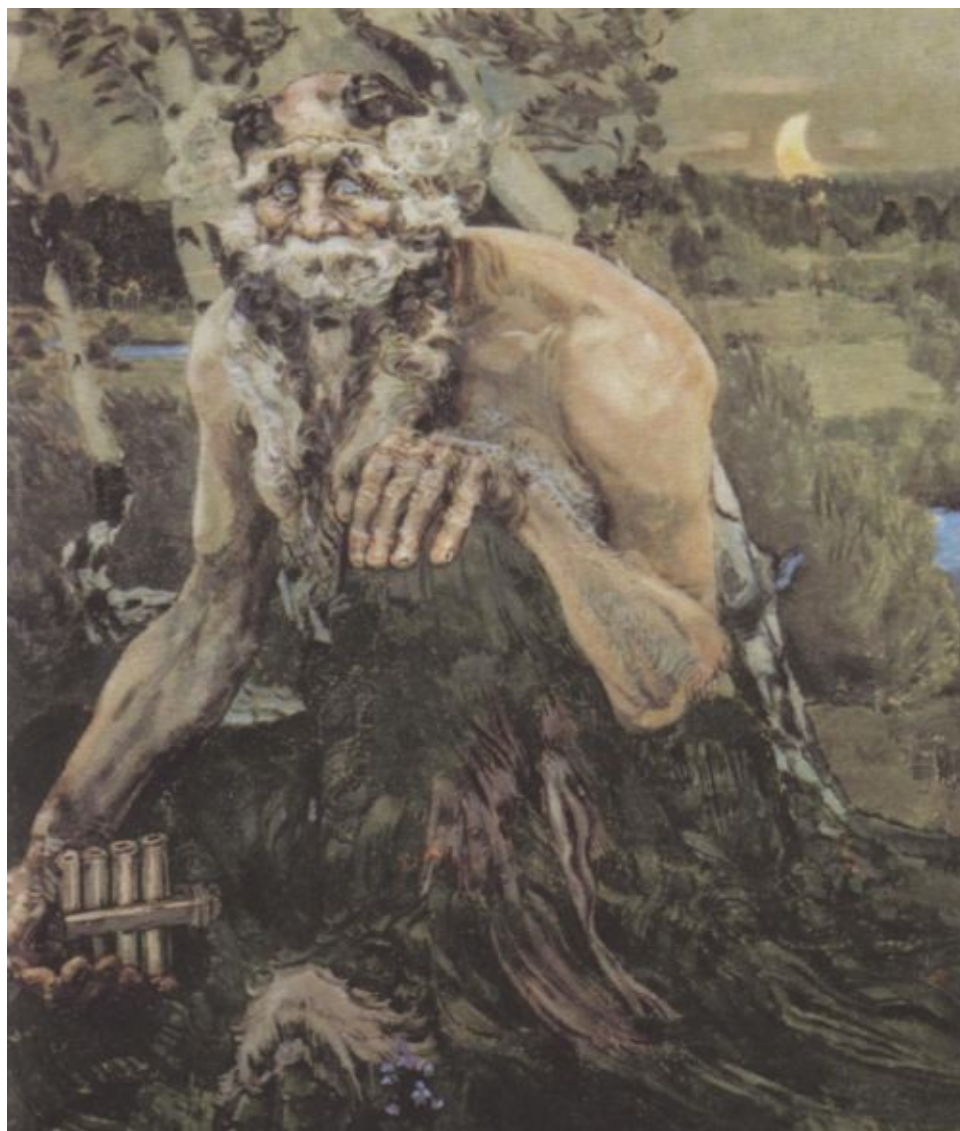
К. А. Коровин. В лодке. 1888 г.



К. А. Коровин. Портрет Т. С. Любатович. 1880-е гг.



М. А. Врубель. Царевна-Лебедь. 1900 г.



М. А. Врубель. Пан.



В. И. Суриков. Меншиков в Березове.



В. И. Суриков. Дорога в Хотьково. 1884 г.



В. Д. Поленов. С. И. Мамонтов и П. А. Спиро у рояля.



М. А. Врубель. Портрет С. И. Мамонтова.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С. И. МАМОНТОВА

1841, 2 октября — родился в Ялуторовске, Тюменской области, крещен 9 октября.

1852-1859 — учеба в Петербургском Институте корпуса горных инженеров и во 2-й Московской гимназии. Выпущен «как не окончивший полного курса».

1859 — поступает в Петербургский университет и переводится на юридический факультет МГУ.

1862 — спасая от репрессий, отец отправляет Савву в Баку клерком Закаспийского Торгового Товарищества. Работа в Шахруде.

1863 — возглавил торговый караван до Мешхеда. Возвращение в Москву. Зимой отправлен в Милан учиться торговать шелком. Берет уроки пения.

1865, 25 апреля — венчался с Елизаветой Григорьевной Сапожниковой.

1867, 4 апреля — родился сын Сергей.

1868, 19 мая — родился сын Андрей.

1869, 19 августа — скончался отец Иван Федорович Мамонтов, строитель железной дороги от Москвы до Сергиева Посада.

1870, 23 марта — приобретение у дочери Аксакова Софьи Сергеевны имения Абрамцево.

1871, 15 октября — родился сын Всеволод.

1875, 20 октября — рождение Веры Саввишны.

1878, 3 мая — родилась дочь Александра, имена детей составили САВВА.

1878 — сдана в эксплуатацию Донецкая дорога.

1881 — строительство в Абрамцево храма во имя Спаса.

1884, осень — основана Частная опера.

1885, 9 января — Театр Кроткова представил «Русалку» А. С. Даргомыжского.

1886 — Поленов пишет в кабинете Мамонтова картину «Христос и грешница».

1887, август — в Абрамцево Серов пишет «Девочку с персиками».

1890, май — Врубель пишет в кабинете Мамонтова «Демона».

1894 — Мамонтов подает С. Ю. Витте, министру финансов, записку о

богатствах Севера, о железной дороге на Архангельск.

1896, 14 мая — первое выступление Ф. И. Шаляпина в Мамонтовской опере в Нижнем Новгороде — партия Сусанина в опере М. И. Глинки «Иван Сусанин».

1896, 28 мая — Николай II посетил Нижегородскую выставку, павильон «Крайнего Севера», устроенный Мамонтовым.

1897, 29 мая — статья Н. Г. Гарина-Михайловского о проекте строительства ж.д. от Томска через Барнаул, Семипалатинск, Верный до Ташкента, 2 тыс. верст. Стоимость 150 миллионов рублей.

1897, осень — закончено строительство дороги Москва — Архангельск.

1899, сентябрь — интригами Витте С. И. Мамонтов заключен в Таганскую тюрьму.

1900, 3 июля — суд оправдал Мамонтова, но он разорен: акции, имения, дом в Москве и все картины проданы.

1908, 25 октября — умерла Е. Г. Мамонтова.

1915, 22 мая — статья В. М. Дорошевича о стратегическом значении дорог, построенных Мамонтовым.

1918, 29 марта — умер С. И. Мамонтов, похоронен в Абрамцеве.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Дневники С. И. Мамонтова и Е. Г. Мамонтовой. Письма. Документы. Неопубликованные рукописи. Архив С. И. Мамонтова. ЦГАЛИ.
Мамонтов С. И. О железнодорожном хозяйстве в России. — М., 1909.
Мамонтов В. С. Воспоминания о русских художниках. — М., 1950.
Мамонтов Платон. Воспоминания. Рукопись.
Абрамцево. История музея в документах и фактах 1917–1930 годы. Вып. 3, 1990, М.
Музей-заповедник «Абрамцево»: очерк-путеводитель. — М., 1984.
Белокурова Н. В. Поленов и Е. Поленова в Абрамцево. — Л., 1980.
Бурый П. А. Москва купеческая. — М., 1991.
Думова Наталья. Московские меценаты. — М., 1992.
Валентин Серов в переписке, документах и интервью. — Л., т. 1, 1985; т. 2, 1989.
Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 1–3. — М., 1960.
Гарин-Михайловский Н. Г. По поводу Архангельской дороги // Новое время. 1897. 12 июня.
Коган Д. Мамонтовский кружок. — М., 1970.
Константин Коровин вспоминает. — М., 1971.
Коровин Константин. Жизнь и творчество. — М., 1963.
Копицкий М. Валентин Серов. — М., 1967.
Копицкий М. Мамонтов. — М., 1972.
Никонова И. Нестеров. — М., 1979.
Нестеров М. Письма. — Л., 1988.
Поленов В. Письма.
Репин И. Е. Письма к писателям и литературным деятелям. 1880–1929. — М., 1950.
Репин И. Е. Письма к художникам и художественным деятелям. 1869–1930. — М., 1952.
Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. — М., 1932.
Росихина В. П. Оперный театр Мамонтова. 1985.
Салина Н. Жизнь и сцена. — Л.; М., 1941.
Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич Поленов. Письма, дневники, воспоминания. — М.; Л., 1948.
Соколова О. И. Сергей Васильевич Рахманинов. — М., 1984.

Стасов В. В. Избранные сочинения. Т. 1–3. — М., 1952.

Шаляпин Ф. И. Маска и душа. Мои сорок лет на театрах. — М., 1989.

Шаляпин Ф. И. Сборник в 3 т. М., 1976–1979.

notes

Примечания

За свои сделанные в Риме народные русские образы Матвей Афанасьевич получил звание академика, «Крестьянин в беде» принес ему золотую медаль Ржевской и Демидова за экспрессию. «Резвушка» имела множество повторений, она украшала Ливадийский царский дворец и получила золотую медаль имени Лебрёна на Всемирной Парижской выставке. Впоследствии Чижов стал автором множества памятников и статуй: бюстов М. И. Глинки в Мариинском театре, Н. А. Некрасова на кладбище петербургского Новодевичьего монастыря, огромной статуи Л. Г. Кнопа на Кренгольмской мануфактуре, величественного пьедестала и бюста Александра II в Калише, памятников Николаю I в Киеве, графу М. Н. Муравьеву в Вильне, императрице Екатерине II в Одессе, адмиралу Нахимову в Симферополе. Большинство этих работ уничтожено, но до сих пор зрители радуются «Резвухе», «Первой любви», выразительным сценам из жизни: «У колодца», «Урюк чтения», «Игра в жмурки».

В Кирееве его собаки насмерть загрызли женщину, проходившую мимо дома. Началось судебное разбирательство.

Мария ван Зандт — американская певица голландского происхождения. Лирико-колоратурное сопрано, покорившее лучшие театры мира. Гастролировала в России с 1885 года.